Аркадий и Борис

СТРУГАЦКИЕ

ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ



ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ

РУССКОЕ ПРОСВЕЩЕНСТВО

Собрание сочинений в 10 т. Т. 3. Трудно быть богом.

Аркадий Натанович Стругацкий, Борис Натанович Стругацкий

Аннотация
Аркадий и Борис Стругацкие. Собрание сочинений в 10 томах. Том третий. Трудно быть богом
ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ
- Пролог
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Эпилог

ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья

Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
ДАЛЕКАЯ РАДУГА
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
МАЛЫШ
Глава первая. Пустота и тишина
Глава вторая. Тишина и голоса
Глава третья. Голоса и призраки
Глава четвертая. Призраки и люди
Глава пятая. Люди и нелюди
Глава шестая. Нелюди и вопросы
Глава седьмая. Вопросы и сомнения
Глава восьмая. Сомнения и решения
Заключение

БЕСПОКОЙСТВО
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
ПРИМЕЧАНИЯ
КОММЕНТАРИИ
ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ
ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ
ДАЛЕКАЯ РАДУГА
МАЛЫШ
БЕСПОКОЙСТВО

Аннотация

В очередной том прославленных мастеров отечественной и мировой фантастики Аркадия и Бориса Стругацких вошли знаменитые произведения, повествующие о деятельности Института Экспериментальной истории и прогрессоров, а также о планетах грандиозных научно-технических и гуманитарных экспериментов — Радуге и Ковчеге.

Аркадий и Борис Стругацкие. Собрание сочинений в 10 томах. Том третий. Трудно быть богом

ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ

То были дни, когда я познал, что значит: страдать; что значит: стыдиться; что значит: отчаяться.

Пьер Абеляр

Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?

Эрнест Хемингуэй

Пролог

Ложа Анкиного арбалета была выточена из черной пластмассы, а тетива была из хромистой стали и натягивалась одним движением бесшумно скользящего рычага. Антон новшеств не признавал: у него было доброе боевое устройство в стиле маршала Тоца, короля Пица Первого, окованное черной медью, с колесиком, на которое наматывался шнур из воловьих жил. Что касается Пашки, то он взял пневматический карабин. Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и неспособен к столярному ремеслу.

Они причалили к северному берегу, где из желтого песчаного обрыва торчали корявые корни мачтовых сосен. Анка бросила рулевое весло и оглянулась. Солнце уже поднялось над лесом, и все было голубое, зеленое и желтое — голубой туман над озером, темно-зеленые сосны и желтый берег на той стороне. И небо над всем этим было ясное, белесовато-синее.

— Ничего там нет, — сказал Пашка.

Ребята сидели, перегнувшись через борт, и глядели в воду.

— Громадная щука, — уверенно сказал Антон.

— С вот такими плавниками? — спросил Пашка.

Антон промолчал. Анка тоже посмотрела в воду, но увидела только собственное отражение.

— Искупаться бы, — сказал Пашка, запуская руку по локоть в воду. — Холодная, — сообщил он.

Антон перебрался на нос и спрыгнул на берег. Лодка закачалась. Антон взялся за борт и выжидательно посмотрел на Пашку. Тогда Пашка поднялся, заложил весло за шею, как коромысло, и, извиваясь нижней частью туловища, пропел:

Старый шкипер Вицлипуцли!
Ты, приятель, не заснул?
Берегись, к тебе несутся
Стаи жареных акул!

Антон молча рванул лодку.

— Эй-эй! — закричал Пашка, хватаясь за борта.

— Почему жареных? — спросила Анка.

— Не знаю, — ответил Пашка. Они выбрались из лодки. — А верно, здорово? Стаи жареных акул!

Они потащили лодку на берег. Ноги проваливались во влажный песок, где было полным-полно высохших иголок и сосновых шишек. Лодка была тяжелая и скользкая, но они выволокли ее до самой кормы и остановились, тяжело дыша.

— Ногу отдавил, — сказал Пашка и принялся поправлять красную повязку на голове. Он внимательно следил за тем, чтобы узел повязки был точно над правым ухом, как у носатых ируканских пиратов. — Жизнь не дорог`а, о-хэй! — заявил он.

Анка сосредоточенно сосала палец.

— Занозила? — спросил Антон.

— Нет. Содрала. У кого-то из вас такие когти...

— Ну-ка, покажи.

Она показала.

— Да, — сказал Антон. — Травма. Ну, что будем делать?

— На пле-чо — и вдоль берега, — предложил Пашка.

— Стоило тогда вылезать из лодки, — сказал Антон.

— На лодке и курица может, — объяснил Пашка. — А по берегу: тростники — раз, обрывы — два, омуты — три. С налимами. И сомы есть.

— Стаи жареных сомов, — сказал Антон.

— А ты в омут нырял?

— Ну, нырял.

— Я не видел. Не довелось как-то увидеть.

— Мало ли чего ты не видел.

Анка повернулась к ним спиной, подняла ар-

балет и выстрелила в сосну шагах в двадцати. Посыпалась кора.

— Здорово, — сказал Пашка и сейчас же выстрелил из карабина. Он целился в Анкину стрелу, но промазал. — Дыхание не задержал, — объяснил он.

— А если бы задержал? — спросил Антон. Он смотрел на Анку.

Анка сильным движением оттянула рычаг тетивы. Мускулы у нее были отличные — Антон с удовольствием смотрел, как прокатился под смуглой кожей твердый шарик бицепса.

Анка очень тщательно прицелилась и выстрелила еще раз. Вторая стрела с треском воткнулась в ствол немного ниже первой.

— Зря мы это делаем, — сказала Анка, опуская арбалет.

— Что? — спросил Антон.

— Дерево портим, вот что. Один малек вчера стрелял в дерево из лука, так я его заставила зубами стрелы выдергивать.

— Пашка, — сказал Антон. — Сбегал бы, у тебя зубы хорошие.

— У меня зуб со свистом, — ответил Пашка.

— Ладно, — сказала Анка. — Давайте что-нибудь делать.

— Неохота мне лазить по обрывам, — сказал Антон.

— Мне тоже неохота. Пошли прямо.

— Куда? — спросил Пашка.

— Куда глаза глядят.

— Ну? — сказал Антон.

— Значит, в сайву, — сказал Пашка. — Тошка, пошли на Забытое Шоссе. Помнишь?

— Еще бы!

— Знаешь, Анечка... — начал Пашка.

— Я тебе не Анечка, — резко сказала Анка. Она терпеть не могла, когда ее называли не Анка, а как-нибудь еще.

Антон это хорошо запомнил. Он быстро сказал:

— Забытое Шоссе. По нему не ездят. И на карте его нет. И куда идет, совершенно неизвестно.

— А вы там были?

— Были. Но не успели исследовать.

— Дорога из ниоткуда в никуда, — изрек оправившийся Пашка.

— Это здорово! — сказала Анка. Глаза у нее стали как черные щелки. — Пошли. К вечеру дойдем?

— Ну что ты! До двенадцати дойдем.

Они полезли вверх по обрыву. На краю обрыва Пашка обернулся. Внизу было синее озеро с жел-

товатыми проплешинами отмелей, лодка на песке и большие расходящиеся круги на спокойной маслянистой воде у берега — вероятно, это плеснула та самая щука. И Пашка ощутил обычный неопределенный восторг, как всегда, когда они с Тошкой удирали из интерната и впереди был день полной независимости с неразведанными местами, с земляникой, с горячими безлюдными лугами, с серыми ящерицами, с ледяной водой в неожиданных родниках. И, как всегда, ему захотелось заорать и высоко подпрыгнуть, и он немедленно сделал это, и Антон, смеясь, поглядел на него, и он увидел в глазах Антона совершенное понимание. А Анка вложила два пальца в рот и лихо свистнула, и они вошли в лес.

Лес был сосновый и редкий, ноги скользили по опавшей хвое. Косые солнечные лучи падали между прямых стволов, и земля была вся в золотых пятнах. Пахло смолой, озером и земляникой; где-то в небе верещали невидимые пичужки.

Анка шла впереди, держа арбалет под мышкой, и время от времени нагибалась за кровавыми, будто лакированными, ягодами земляники. Антон шел следом с добрым боевым устройством маршала Тоца на плече. Колчан с добрыми боевыми стрелами тяжко похлопывал его по заду. Он

шел и поглядывал на Анкину шею — загорелую, почти черную, с выступающими позвонками. Иногда он озирался, ища Пашку, но Пашки не было видно, только по временам то справа, то слева вспыхивала на солнце его красная повязка. Антон представил себе, как Пашка бесшумно скользит между соснами с карабином наготове, вытянув вперед хищное худое лицо с облупленным носом. Пашка крался по сайве, а сайва не шутит. Сайва, приятель, спросит — и надо успеть ответить, подумал Антон и пригнулся было, но впереди была Анка, и она могла оглянуться. Получилось бы нелепо.

Анка оглянулась и спросила:

— Вы ушли тихо?

Антон пожал плечами.

— Кто же уходит громко?

— Я, кажется, все-таки нашумела, — озабоченно сказала Анка. — Я уронила таз — и вдруг в коридоре шаги. Наверное, Дева Катя — она сегодня в дежурных. Пришлось прыгать в клумбу. Как ты думаешь, Тошка, что за цветы растут на этой клумбе?

Антон сморщил лоб.

— У тебя под окном? Не знаю. А что?

— Очень упорные цветы. «Не гнет их ветер, не

валит буря». В них прыгают несколько лет, а им хоть бы что.

— Интересно, — сказал Антон глубокомысленно. Он вспомнил, что под его окном тоже клумба с цветами, которые «не гнет ветер и не валит буря». Но он никогда не обращал на это внимания.

Анка остановилась, подождала его и протянула горсть земляники. Антон аккуратно взял три ягоды.

— Бери еще, — сказала Анка.

— Спасибо, — сказал Антон. — Я люблю собирать по одной. А Дева Катя вообще ничего, верно?

— Это кому как, — сказала Анка. — Когда человеку каждый вечер заявляют, что у него ноги то в грязи, то в пыли...

Она замолчала. Было удивительно хорошо идти с нею по лесу плечом к плечу вдвоем, касаясь голыми локтями, и поглядывать на нее — какая она красивая, ловкая и необычно доброжелательная и какие у нее большие серые глаза с черными ресницами.

— Да, — сказал Антон, протягивая руку, чтобы снять блеснувшую на солнце паутину. — Уж у нее-то ноги не пыльные. Если тебя через лужи носят на руках, тогда, понимаешь, не запылишься...

— Кто это ее носит?

— Генрих с метеостанции. Знаешь, здоровый такой, с белыми волосами.

— Правда?

— А чего такого? Каждый малек знает, что они влюблены.

Они опять замолчали. Антон глянул на Анку. Глаза у Анки были как черные щелочки.

— А когда это было? — спросила она.

— Да было в одну лунную ночь, — ответил Антон без всякой охоты. — Только ты смотри не разболтай.

Анка усмехнулась.

— Никто тебя за язык не тянул, Тошка, — сказала она. — Хочешь земляники?

Антон машинально сгреб ягоды с испачканной ладошки и сунул в рот. Не люблю болтунов, подумал он. Терпеть не могу трепачей. Он вдруг нашел аргумент.

— Тебя тоже когда-нибудь будут таскать на руках. Тебе приятно будет, если начнут об этом болтать?

— Откуда ты взял, что я собираюсь болтать? — рассеянно сказала Анка. — Я вообще не люблю болтунов.

— Слушай, что ты задумала?

— Ничего особенного. — Анка пожала плечами. Немного погодя она доверительно сообщила: — Знаешь, мне ужасно надоело каждый божий вечер дважды мыть ноги.

Бедная Дева Катя, подумал Антон. Это тебе не сайва.

Они вышли на тропинку. Тропинка вела вниз, и лес становился все темнее и темнее. Здесь буйно росли папоротник и высокая сырая трава. Стволы сосен были покрыты мхом и белой пеной лишайников. Но сайва не шутит. Хриплый голос, в котором не было ничего человеческого, неожиданно проревел:

— Стой! Бросай оружие — ты, благородный дон, и ты, дона!

Когда сайва спрашивает, надо успеть ответить. Точным движением Антон сшиб Анку в папоротники налево, а сам прыгнул в папоротники направо, покатился и залег за гнилым пнем. Хриплое эхо еще отдавалось в стволах сосен, а тропинка была уже пуста. Наступила тишина.

Антон, завалившись на бок, вертел колесико, натягивая тетиву. Хлопнул выстрел, на Антона посыпался какой-то мусор. Хриплый нечеловеческий голос сообщил:

— Дон поражен в пятку!

Антон застонал и подтянул ногу.

— Да не в эту, в правую, — поправил голос.

Было слышно, как Пашка хихикает. Антон осторожно выглянул из-за пня, но ничего не было видно в сумеречной зеленой каше.

В этот момент раздался пронзительный свист и шум, как будто упало дерево.

— Уау!.. — сдавленно заорал Пашка. — Пощады! Пощады! Не убивайте меня!

Антон сразу вскочил. Навстречу ему из папоротников, пятясь, вылез Пашка. Руки его были подняты над головой. Голос Анки спросил:

— Тошка, ты видишь его?

— Как на ладони, — одобрительно отозвался Антон. — Не поворачиваться! — крикнул он Пашке. — Руки за голову!

Пашка покорно заложил руки за голову и объявил:

— Я ничего не скажу.

— Что полагается с ним делать, Тошка? — спросила Анка.

— Сейчас увидишь, — сказал Антон и удобно уселся на пень, положив арбалет на колени. — Имя! — рявкнул он голосом Гексы Ируканского.

Пашка изобразил спиной презрение и неповиновение. Антон выстрелил. Тяжелая стрела

с треском вонзилась в ветку над Пашкиной головой.

— Ого! — сказал голос Анки.

— Меня зовут Бон Саранча, — неохотно признался Пашка. — «И здесь он, по-видимому, ляжет — один из тех, что были с ним».

— Известный насильник и убийца, — пояснил Антон. — Но он никогда ничего не делает даром. Кто послал тебя?

— Меня послал дон Сатарина Беспощадный, — соврал Пашка.

Антон презрительно сказал:

— Вот эта рука оборвала нить зловонной жизни дона Сатарины два года назад в Урочище Тяжелых Мечей.

— Давай я всажу в него стрелу? — предложила Анка.

— Я совершенно забыл, — поспешно сказал Пашка. — В действительности меня послал Арата Красивый. Он обещал мне сто золотых за ваши головы.

Антон хлопнул себя по коленям.

— Вот брехун! — вскричал он. — Да разве станет Арата связываться с таким негодяем, как ты!

— Можно, я все-таки всажу в него стрелу? — кровожадно спросила Анка.

Антон демонически захохотал.

— Между прочим, — сказал Пашка, — у тебя отстрелена правая пятка. Пора бы тебе истечь кровью.

— Дудки! — возразил Антон. — Во-первых, я все время жую кору белого дерева, а во-вторых, две прекрасные варварки уже перевязали мне раны.

Папоротники зашевелились, и Анка вышла на тропинку. На щеке ее была царапина, колени были вымазаны в земле и зелени.

— Пора бросить его в болото, — объявила она. — Когда враг не сдается, его уничтожают.

Пашка опустил руки.

— Вообще-то ты играешь не по правилам, — сказал он Антону. — У тебя все время получается, что Гекса хороший человек.

— Много ты знаешь! — сказал Антон и тоже вышел на тропинку. — Сайва не шутит, грязный наемник.

Анка вернула Пашке карабин.

— Вы что, всегда так палите друг в друга? — спросила она с завистью.

— А как же! — удивился Пашка. — Что, нам кричать: «Кх-кх! Пу-пу!» — что ли? В игре нужен элемент риска!

Антон небрежно сказал:

— Например, мы часто играем в Вильгельма Телля.

— По очереди, — подхватил Пашка. — Сегодня я стою с яблоком, а завтра он.

Анка оглядела их.

— Вот как? — медленно сказала она. — Интересно было бы посмотреть.

— Мы бы с удовольствием, — ехидно сказал Антон. — Яблока вот нет.

Пашка широко ухмылялся. Тогда Анка сорвала у него с головы пиратскую повязку и быстро свернула из нее длинный кулек.

— Яблоко — это условность, — сказала она. — Вот отличная мишень. Сыграем в Вильгельма Телля.

Антон взял красный кулек и внимательно осмотрел его. Он взглянул на Анку — глаза у нее были как щелочки. А Пашка развлекался — ему было весело. Антон протянул ему кулек.

— «В тридцати шагах промаха в карту не дам, — ровным голосом сказал он. — Разумеется, из знакомых пистолетов».

— «Право? — сказала Анка и обратилась к Пашке: — А ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?»

Пашка пристраивал колпак на голове.

— «Когда-нибудь мы попробуем, — сказал он, скаля зубы. — В свое время я стрелял не худо».

Антон повернулся и пошел по тропинке, вслух считая шаги:

— Пятнадцать... шестнадцать... семнадцать...

Пашка что-то сказал — Антон не расслышал, и Анка громко рассмеялась. Как-то слишком громко.

— Тридцать, — сказал Антон и повернулся.

На тридцати шагах Пашка выглядел совсем маленьким. Красный треугольник кулька торчал у него на голове, как шутовской колпак. Пашка ухмылялся. Он все еще играл. Антон нагнулся и стал неторопливо натягивать тетиву.

— Благословляю тебя, отец мой Вильгельм! — крикнул Пашка. — И благодарю тебя за все, что бы ни случилось.

Антон наложил стрелу и выпрямился. Пашка и Анка смотрели на него. Они стояли рядом. Тропинка была как темный сырой коридор между высоких зеленых стен. Антон поднял арбалет. Боевое устройство маршала Тоца стало необычайно тяжелым. Руки дрожат, подумал Антон. Плохо. Зря. Он вспомнил, как зимой они с Пашкой целый час кидали снежки в чугунную шишку на столбе ограды. Кидали с двадцати шагов, с пятнадцати

и с десяти — и никак не могли попасть. А потом, когда уже надоело и они уходили, Пашка небрежно, не глядя бросил последний снежок и попал. Антон изо всех сил вдавил приклад в плечо. Анка стоит слишком близко, подумал он. Он хотел крикнуть ей, чтобы она отошла, но понял, что это было бы глупо. Выше. Еще выше... Еще... Его вдруг охватила уверенность, что, если он даже повернется к ним спиной, фунтовая стрела все равно вонзится точно в Пашкину переносицу, между веселыми зелеными глазами. Он открыл глаза и посмотрел на Пашку. Пашка больше не ухмылялся. А Анка медленно-медленно поднимала руку с растопыренными пальцами, и лицо у нее было напряженное и очень взрослое. Тогда Антон поднял арбалет еще выше и нажал на спусковой крючок. Он не видел, куда ушла стрела.

— Промазал, — сказал он очень громко.

Переступая на негнущихся ногах, он двинулся по тропинке. Пашка вытер красным кульком лицо, встряхнув, развернул его и стал повязывать голову. Анка нагнулась и подобрала свой арбалет. Если она этой штукой трахнет меня по голове, подумал Антон, я ей скажу спасибо. Но Анка даже не взглянула на него.

Она повернулась к Пашке и спросила:

— Пошли?

— Сейчас, — сказал Пашка.

Он посмотрел на Антона и молча постучал себя согнутым пальцем по лбу.

— А ты уже испугался, — сказал Антон.

Пашка еще раз постучал себя пальцем по лбу и пошел за Анкой. Антон плелся следом и старался подавить в себе сомнения.

А что я, собственно, сделал, вяло думал он. Чего они надулись? Ну Пашка ладно, он испугался. Только еще неизвестно, кто больше трусил — Вильгельм-папа или Телль-сын. Но Анка-то чего? Надо думать, перепугалась за Пашку. А что мне было делать? Вот тащусь за ними, как родственник. Взять и уйти. Поверну сейчас налево, там хорошее болото. Может, сову поймаю. Но он даже не замедлил шага. Это значит навсегда, подумал он. Он читал, что так бывает очень часто.

Они вышли на заброшенную дорогу даже раньше, чем думали. Солнце стояло высоко, было жарко. За шиворотом кололись хвойные иголки. Дорога была бетонная, из двух рядов серо-рыжих растрескавшихся плит. В стыках между плитами росла густая сухая трава. На обочинах было полно пыльного репейника. Над дорогой с гудением пролетали бронзовки, и одна нахально стукнула

Антона прямо в лоб. Было тихо и томно.

— Глядите! — сказал Пашка.

Над серединой дороги на ржавой проволоке, протянутой поперек, висел круглый жестяной диск, покрытый облупившейся краской. Судя по всему, там был изображен желтый прямоугольник на красном фоне.

— Что это? — без особого интереса спросила Анка.

— Автомобильный знак, — сказал Пашка. — «Въезд запрещен».

— «Кирпич», — пояснил Антон.

— А зачем он? — спросила Анка.

— Значит, вон туда ехать нельзя, — сказал Пашка.

— А зачем тогда дорога?

Пашка пожал плечами.

— Это же очень старое шоссе, — сказал он.

— Анизотропное шоссе, — заявил Антон. Анка стояла к нему спиной. — Движение только в одну сторону.

— Мудры были предки, — задумчиво сказал Пашка. — Этак едешь-едешь километров двести, вдруг — хлоп! — «кирпич». И ехать дальше нельзя, и спросить не у кого.

— Представляешь, что там может быть за этим

знаком! — сказала Анка. Она огляделась. Кругом на много километров был безлюдный лес, и не у кого было спросить, что там может быть за этим знаком. — А вдруг это вовсе и не «кирпич»? — сказала она. — Краска-то вся облупилась...

Тогда Антон тщательно прицелился и выстрелил. Было бы здорово, если бы стрела перебила проволоку и знак упал бы прямо к ногам Анки. Но стрела попала в верхнюю часть знака, пробила ржавую жесть, и вниз посыпалась только высохшая краска.

— Дурак, — сказала Анка, не оборачиваясь.

Это было первое слово, с которым она обратилась к Антону после игры в Вильгельма Телля. Антон криво улыбнулся.

— «And enterprises of great pitch and moment, — произнес он, — with this regard their currents turn awry and loose the name of action»1.

Верный Пашка закричал:

— Ребята, здесь прошла машина! Уже после грозы! Вон трава примята! И вот...

Везет Пашке, подумал Антон. Он стал разглядывать следы на дороге и тоже увидел примятую траву и черную полосу от протекторов в том месте, где автомобиль затормозил перед выбоиной в бетоне.

— Ага! — сказал Пашка. — Он выскочил из-под знака!

Это было ясно каждому, но Антон возразил:

— Ничего подобного, он ехал с той стороны.

Пашка поднял на него изумленные глаза.

— Ты что, ослеп?

— Он ехал с той стороны, — упрямо повторил Антон. — Пошли по следу.

— Ерунду ты городишь! — возмутился Пашка. — Во-первых, никакой порядочный водитель не поедет под «кирпич». Во-вторых, смотри: вот выбоина, вот тормозной след... Так откуда он ехал?

— Что мне твои порядочные! Я сам непорядочный, и я пойду под знак.

Пашка взбеленился.

— Иди куда хочешь! — сказал он, слегка заикаясь. — Недоумок. Совсем обалдел от жары!

Антон повернулся и, глядя прямо перед собой, пошел под знак. Ему хотелось только одного: чтобы впереди оказался какой-нибудь взорванный мост и чтобы нужно было прорваться на ту сторону. Какое мне дело до этого порядочного! — думал он. Пусть идут, куда хотят... со своим Пашенькой. Он вспомнил, как Анка срезала Павла, когда тот назвал ее Анечкой, и ему стало немного легче. Он оглянулся.

Пашку он увидел сразу: Бон Саранча, согнувшись в три погибели, шел по следу таинственной машины. Ржавый диск над дорогой тихонько покачивался, и сквозь дырку мелькало синее небо. А на обочине сидела Анка, уперев локти в голые колени и положив подбородок на сжатые кулаки.

...Они возвращались уже в сумерках. Ребята гребли, а Анка сидела на руле. Над черным лесом поднималась красная луна, неистово вопили лягушки.

— Так здорово все было задумано, — сказала Анка грустно. — Эх, вы!..

Ребята промолчали. Затем Пашка вполголоса спросил:

— Тошка, что там было, под знаком?

— Взорванный мост, — ответил Антон. — И скелет фашиста, прикованный цепями к пулемету. — Он подумал и добавил: — Пулемет весь врос в землю...

— Н-да, — сказал Пашка. — Бывает. А я там одному машину помог починить.

Глава 1

Когда Румата миновал могилу святого Мики — седьмую по счету и последнюю на этой дороге, было уже совсем темно. Хваленый хамахарский жеребец, взятый у дона Тамэо за карточный долг, оказался сущим барахлом. Он вспотел, сбил ноги и двигался скверной, вихляющейся рысью. Румата сжимал ему коленями бока, хлестал между ушами перчаткой, но он только уныло мотал головой, не ускоряя шага. Вдоль дороги тянулись кусты, похожие в сумраке на клубы застывшего дыма. Нестерпимо звенели комары. В мутном небе дрожали редкие тусклые звезды. Дул порывами несильный ветер, теплый и холодный одновременно, как всегда осенью в этой приморской стране с душными, пыльными днями и зябкими вечерами.

Румата плотнее закутался в плащ и бросил поводья. Торопиться не имело смысла. До полуночи оставался час, а Икающий лес уже выступил над горизонтом черной зубчатой кромкой. По сторонам тянулись распаханные поля, мерцали под звездами болота, воняющие неживой ржавчиной, темнели курганы и сгнившие частоколы

времен Вторжения. Далеко слева вспыхивало и гасло угрюмое зарево: должно быть, горела деревушка, одна из бесчисленных однообразных Мертвожорок, Висельников, Ограбиловок, недавно переименованных по августейшему указу в Желанные, Благодатные и Ангельские. На сотни миль — от берегов Пролива и до сайвы Икающего леса — простиралась эта страна, накрытая одеялом комариных туч, раздираемая оврагами, затопляемая болотами, пораженная лихорадками, морами и зловонным насморком.

У поворота дороги от кустов отделилась темная фигура. Жеребец шарахнулся, задирая голову. Румата подхватил поводья, привычно поддернул на правой руке кружева и положил ладонь на рукоять меча, всматриваясь. Человек у дороги снял шляпу.

— Добрый вечер, благородный дон, — тихо сказал он. — Прошу извинения.

— В чем дело? — осведомился Румата, прислушиваясь.

Бесшумных засад не бывает. Разбойников выдает скрип тетивы, серые штурмовички неудержимо рыгают от скверного пива, баронские дружинники алчно сопят и гремят железом, а монахи — охотники за рабами — шумно чешут-

ся. Но в кустах было тихо. Видимо, этот человек не был наводчиком. Да он и не был похож на наводчика — маленький плотный горожанин в небогатом плаще.

— Разрешите мне бежать рядом с вами? — сказал он, кланяясь.

— Изволь, — сказал Румата, шевельнув поводьями. — Можешь взяться за стремя.

Горожанин пошел рядом. Он держал шляпу в руке, и на его темени светлела изрядная лысина. Приказчик, подумал Румата. Ходит по баронам и прасолам, скупает лен или пеньку. Смелый приказчик, однако... А может быть, и не приказчик. Может быть, книгочей. Беглец. Изгой. Сейчас их много на ночных дорогах, больше, чем приказчиков... А может быть, шпион.

— Кто ты такой и откуда? — спросил Румата.

— Меня зовут Киун, — печально сказал горожанин. — Я иду из Арканара.

— *Бежишь* из Арканара, — сказал Румата, наклонившись.

— Бегу, — печально согласился горожанин.

Чудак какой-то, подумал Румата. Или все-таки шпион? Надо проверить... А почему, собственно, надо? Кому надо? Кто я такой, чтобы его проверять? Да не желаю я его проверять! Почему бы мне

просто не поверить? Вот идет горожанин, явный книгочей, бежит, спасая жизнь... Ему одиноко, ему страшно, он слаб, он ищет защиты... Встретился ему аристократ. Аристократы по глупости и из спеси в политике не разбираются, а мечи у них длинные, и серых они не любят. Почему бы горожанину Киуну не найти бескорыстную защиту у глупого и спесивого аристократа? И все. Не буду я его проверять. Незачем мне его проверять. Поговорим, скоротаем время, расстанемся друзьями...

— Киун... — произнес он. — Я знавал одного Киуна. Продавец снадобий и алхимик с Жестяной улицы. Ты его родственник?

— Увы, да, — сказал Киун. — Правда, дальний родственник, но им все равно... до двенадцатого потомка.

— И куда же ты бежишь, Киун?

— Куда-нибудь... Подальше. Многие бегут в Ирукан. Попробую и я в Ирукан.

— Так-так, — произнес Румата. — И ты вообразил, что благородный дон проведет тебя через заставу?

Киун промолчал.

— Или, может быть, ты думаешь, что благородный дон не знает, кто такой алхимик Киун с

Жестяной улицы?

Киун молчал. Что-то я не то говорю, подумал Румата. Он привстал на стременах и прокричал, подражая глашатаю на Королевской площади:

— Обвиняется и повинен в ужасных, непрощаемых преступлениях против бога, короны и спокойствия!

Киун молчал.

— А если благородный дон безумно обожает дона Рэбу? Если он всем сердцем предан серому слову и серому делу? Или ты считаешь, что это невозможно?

Киун молчал. Из темноты справа от дороги выдвинулась ломаная тень виселицы. Под перекладиной белело голое тело, подвешенное за ноги. Э-э, все равно ничего не выходит, подумал Румата. Он натянул повод, схватил Киуна за плечо и повернул лицом к себе.

— А если благородный дон вот прямо сейчас подвесит тебя рядом с этим бродягой? — сказал он, вглядываясь в белое лицо с темными ямами глаз. — Сам. Скоро и проворно. На крепкой арканарской веревке. Во имя идеалов. Что же ты молчишь, грамотей Киун?

Киун молчал. У него стучали зубы, и он слабо корчился под рукой Руматы, как придавлен-

ная ящерица. Вдруг что-то с плеском упало в придорожную канаву, и сейчас же, словно для того, чтобы заглушить этот плеск, он отчаянно крикнул:

— Ну, вешай! Вешай, предатель!

Румата перевел дыхание и отпустил Киуна.

— Я пошутил, — сказал он. — Не бойся.

— Ложь, ложь... — всхлипывая, бормотал Киун. — Всюду ложь!..

— Ладно, не сердись, — сказал Румата. — Лучше подбери, что ты там бросил, — промокнет...

Киун постоял, качаясь и всхлипывая, бесцельно похлопал ладонями по плащу и полез в канаву. Румата ждал, устало сгорбившись в седле. Значит, так и надо, думал он, значит, иначе просто нельзя... Киун вылез из канавы, пряча за пазуху сверток.

— Книги, конечно, — сказал Румата.

Киун помотал головой.

— Нет, — сказал он хрипло. — Всего одна книга. Моя книга.

— О чем же ты пишешь?

— Боюсь, вам это будет неинтересно, благородный дон.

Румата вздохнул.

— Берись за стремя, — сказал он. — Пойдем.

Долгое время они молчали.

— Послушай, Киун, — сказал Румата. — Я пошутил. Не бойся меня.

— Славный мир, — проговорил Киун. — Веселый мир. Все шутят. И все шутят одинаково. Даже благородный Румата.

Румата удивился.

— Ты знаешь мое имя?

— Знаю, — сказал Киун. — Я узнал вас по обручу на лбу. Я так обрадовался, встретив вас на дороге...

Ну, конечно, вот что он имел в виду, когда назвал меня предателем, подумал Румата. Он сказал:

— Видишь ли, я думал, что ты шпион. Я всегда убиваю шпионов.

— Шпион... — повторил Киун. — Да, конечно. В наше время так легко и сытно быть шпионом. Орел наш, благородный дон Рэба, озабочен знать, что говорят и думают подданные короля. Хотел бы я быть шпионом. Рядовым осведомителем в таверне «Серая Радость». Как хорошо, как почтенно! В шесть часов вечера я вхожу в распивочную и сажусь за свой столик. Хозяин спешит ко мне с моей первой кружкой. Пить я могу сколько влезет, за пиво платит дон Рэба — вернее, ни-

кто не платит. Я сижу, попиваю пиво и слушаю. Иногда я делаю вид, что записываю разговоры, и перепуганные людишки устремляются ко мне с предложениями дружбы и кошелька. В глазах у них я вижу только то, что мне хочется: собачью преданность, почтительный страх и восхитительную бессильную ненависть. Я могу безнаказанно трогать девушек и тискать жен на глазах у мужей, здоровенных дядек, и они будут только подобострастно хихикать... Какое прекрасное рассуждение, благородный дон, не правда ли? Я услышал его от пятнадцатилетнего мальчишки, студента Патриотической школы...

— И что же ты ему сказал? — с любопытством спросил Румата.

— А что я мог сказать? Он бы не понял. И я рассказал ему, что люди Ваги Колеса, изловив осведомителя, вспарывают ему живот и засыпают во внутренности перец... А пьяные солдаты засовывают осведомителя в мешок и топят в нужнике. И это истинная правда, но он не поверил. Он сказал, что в школе они это не проходили. Тогда я достал бумагу и записал наш разговор. Это нужно было мне для моей книги, а он, бедняга, решил, что для доноса, и обмочился от страха...

Впереди сквозь кустарник мелькнули огонь-

ки корчмы Скелета Бако. Киун споткнулся и замолчал.

— Что случилось? — спросил Румата.

— Там серый патруль, — пробормотал Киун.

— Ну и что? — сказал Румата. — Послушай лучше еще одно рассуждение, почтенный Киун. Мы любим и ценим этих простых, грубых ребят, нашу серую боевую скотину. Они нам нужны. Отныне простолюдин должен держать язык за зубами, если не хочет вывешивать его на виселице! — Он захохотал, потому что сказано было отменно — в лучших традициях серых казарм.

Киун съежился и втянул голову в плечи.

— Язык простолюдина должен знать свое место. Бог дал простолюдину язык вовсе не для разглагольствований, а для лизания сапог своего господина, каковой господин положен простолюдину от века...

У коновязи перед корчмой топтались оседланные кони серого патруля. Из открытого окна доносилась азартная хриплая брань. Стучали игральные кости. В дверях, загораживая проход чудовищным брюхом, стоял сам Скелет Бако в драной кожаной куртке с засученными рукавами. В мохнатой лапе он держал тесак — видно, только что рубил собачину для похлебки, вспотел

и вышел отдышаться. На ступеньках сидел, пригорюнясь, серый штурмовик, поставив боевой топор между коленей. Рукоять топора стянула ему физиономию набок. Было видно, что ему томно с перепоя. Заметив всадника, он подобрал слюни и сипло взревел:

— С-стой! Как тебя там... Ты, бла-ародный!..

Румата, выпятив подбородок, проехал мимо, даже не покосившись.

— ...А если язык простолюдина лижет не тот сапог, — громко говорил он, — то язык этот надлежит удалить напрочь, ибо сказано: «Язык твой — враг мой»...

Киун, прячась за круп лошади, широко шагал рядом. Краем глаза Румата видел, как блестит от пота его лысина.

— Стой, говорят! — заорал штурмовик.

Было слышно, как он, гремя топором, катится по ступеням, поминая разом бога, черта и всякую благородную сволочь.

Человек пять, подумал Румата, поддергивая манжеты. Пьяные мясники. Вздор.

Они миновали корчму и свернули к лесу.

— Я мог бы идти быстрее, если надо, — сказал Киун неестественно твердым голосом.

— Вздор! — сказал Румата, осаживая жеребца.

— Было бы скучно проехать столько миль и ни разу не подраться. Неужели тебе никогда не хочется подраться, Киун? Все разговоры, разговоры...

— Нет, — сказал Киун. — Мне никогда не хочется драться.

— В том-то и беда, — пробормотал Румата, поворачивая жеребца и неторопливо натягивая перчатки.

Из-за поворота выскочили два всадника и, увидев его, разом остановились.

— Эй ты, благородный дон! — закричал один. — А ну, предъяви подорожную!

— Хамье! — стеклянным голосом произнес Румата. — Вы же неграмотны, зачем вам подорожная?

Он толкнул жеребца коленом и рысью двинулся навстречу штурмовикам. Трусят, подумал он. Мнутся... Ну хоть пару оплеух! Нет... Ничего не выйдет. Так хочется разрядить ненависть, накопившуюся за сутки, и, кажется, ничего не выйдет. Останемся гуманными, всех простим и будем спокойны, как боги. Пусть они режут и оскверняют, мы будем спокойны, как боги. Богам спешить некуда, у них впереди вечность...

Он подъехал вплотную. Штурмовики неуверенно подняли топоры и попятились.

— Н-ну? — сказал Румата.

— Так это, значит, что? — растерянно сказал первый штурмовик. — Так это, значит, благородный дон Румата?

Второй штурмовик сейчас же повернул коня и галопом умчался прочь. Первый все пятился, опустив топор.

— Прощенья просим, благородный дон, — скороговоркой говорил он. — Обознались. Ошибочка произошла. Дело государственное, ошибочки всегда возможны. Ребята малость подпили, горят рвением... — Он стал отъезжать боком. — Сами понимаете, время тяжелое... Ловим беглых грамотеев. Нежелательно бы нам, чтобы жалобы у вас были, благородный дон...

Румата повернулся к нему спиной.

— Благородному дону счастливого пути! — с облегчением сказал вслед штурмовик.

Когда он уехал, Румата негромко позвал:

— Киун!

Никто не отозвался.

— Эй, Киун!

И опять никто не отозвался. Прислушавшись, Румата различил сквозь комариный звон шорох кустов. Киун торопливо пробирался через поле на запад, туда, где в двадцати милях проходила

ируканская граница. Вот и все, подумал Румата. Вот и весь разговор. Всегда одно и то же. Проверка, настороженный обмен двусмысленными притчами... Целыми неделями тратишь душу на пошлую болтовню со всяким отребьем, а когда встречаешь настоящего человека, поговорить нет времени. Нужно прикрыть, спасти, отправить в безопасное место, и он уходит, так и не поняв, имел ли дело с другом или с капризным выродком. Да и сам ты ничего не узнаешь о нем. Чего он хочет, что может, зачем живет...

Он вспомнил вечерний Арканар. Добротные каменные дома на главных улицах, приветливый фонарик над входом в таверну, благодушные, сытые лавочники пьют пиво за чистыми столами и рассуждают о том, что мир совсем не плох, цены на хлеб падают, цены на латы растут, заговоры раскрываются вовремя, колдунов и подозрительных книгочеев сажают на кол, король, по обыкновению, велик и светел, а дон Рэба безгранично умен и всегда начеку. «Выдумают, надо же!.. Мир круглый! По мне хоть квадратный, а умов не мути!..», «От грамоты, от грамоты все идет, братья! Не в деньгах, мол, счастье, мужик, мол, тоже человек, дальше — больше, оскорбительные стишки, а там и бунт...», «Всех их на кол,

братья!.. Я бы делал что? Я бы прямо спрашивал: грамотный? На кол тебя! Стишки пишешь? На кол! Таблицы знаешь? На кол, слишком много знаешь!», «Бина, пышка, еще три кружечки и порцию тушеного кролика!» А по булыжной мостовой — грррум, грррум, грррум — стучат коваными сапогами коренастые красномордые парни в серых рубахах, с тяжелыми топорами на правом плече. «Братья! Вот они, защитники! Разве эти допустят? Да ни в жисть! А мой-то, мой-то... На правом фланге! Вчера еще его порол! Да, братья, это вам не смутное время! Прочность престола, благосостояние, незыблемое спокойствие и справедливость. Ура, серые роты! Ура, дон Рэба! Слава королю нашему! Эх, братья, жизнь-то какая пошла чудесная!..»

А по темной равнине королевства Арканарского, озаряемой заревами пожаров и искрами лучин, по дорогам и тропкам, изъеденные комарами, со сбитыми в кровь ногами, покрытые потом и пылью, измученные, перепуганные, убитые отчаянием, но твердые как сталь в своем единственном убеждении, бегут, идут, бредут, обходя заставы, сотни несчастных, объявленных вне закона за то, что они умеют и хотят лечить и учить свой изнуренный болезнями и

погрязший в невежестве народ; за то, что они, подобно богам, создают из глины и камня вторую природу для украшения жизни не знающего красоты народа; за то, что они проникают в тайны природы, надеясь поставить эти тайны на службу своему неумелому, запуганному старинной чертовщиной народу... Беззащитные, добрые, непрактичные, далеко обогнавшие свой век...

Румата стянул перчатку и с размаху треснул ею жеребца между ушами.

— Ну, мертвая! — сказал он по-русски.

Была уже полночь, когда он въехал в лес.

Теперь никто не может точно сказать, откуда взялось это странное название — Икающий лес. Существовало официальное предание о том, что триста лет назад железные роты имперского маршала Тоца, впоследствии первого Арканарского короля, прорубались через сайву, преследуя отступающие орды меднокожих варваров, и здесь на привалах варили из коры белых деревьев брагу, вызывающую неудержимую икоту. Согласно преданию, маршал Тоц, обходя однажды утром лагерь, произнес, морща аристократический нос: «Поистине, это невыносимо! Весь лес икает и провонял брагой!» Отсюда якобы и пошло странное название.

Так или иначе, это был не совсем обыкновенный лес. В нем росли огромные деревья с твердыми белыми стволами, каких не сохранилось нигде больше в Империи — ни в герцогстве Ируканском, ни тем более в торговой республике Соан, давно уже пустившей все свои леса на корабли. Рассказывали, что таких лесов много за Красным Северным хребтом в стране варваров, но мало ли что рассказывают про страну варваров...

Через лес проходила дорога, прорубленная века два назад. Дорога эта вела к серебряным рудникам и по ленному праву принадлежала баронам Пампа, потомкам одного из сподвижников маршала Тоца. Ленное право баронов Пампа обходилось Арканарским королям в двенадцать пудов чистого серебра ежегодно, поэтому каждый очередной король, вступив на престол, собирал армию и шел воевать замок Бау, где гнездились бароны. Стены замка были крепки, бароны отважны, каждый поход обходился в тридцать пудов серебра, и после возвращения разбитой армии короли Арканарские вновь и вновь подтверждали ленное право баронов Пампа наряду с другими привилегиями, как-то: ковырять в носу за королевским столом, охотиться к западу от

Арканара и называть принцев прямо по имени, без присовокупления титулов и званий.

Икающий лес был полон темных тайн. Днем по дороге на юг тянулись обозы с обогащенной рудой, а ночью дорога была пуста, потому что мало находилось смельчаков ходить по ней при свете звезд. Говорили, что по ночам с Отца-дерева кричит птица Сиу, которую никто не видел и которую видеть нельзя, поскольку это не простая птица. Говорили, что большие мохнатые пауки прыгают с ветвей на шеи лошадям и мигом прогрызают жилы, захлебываясь кровью. Говорили, что по лесу бродит огромный древний зверь Пэх, который покрыт чешуей, дает потомство раз в двенадцать лет и волочит за собой двенадцать хвостов, потеющих ядовитым потом. А кое-кто видел, как среди бела дня дорогу пересекал, бормоча свои жалобы, голый вепрь Ы, проклятый святым Микой, — свирепое животное, неуязвимое для железа, но легко пробиваемое костью.

Здесь можно было встретить и беглого раба со смоляным клеймом между лопаток — молчаливого и беспощадного, как мохнатый паук-кровосос. И скрюченного в три погибели колдуна, собирающего тайные грибы для своих колдовских настоев, при помощи которых можно стать неви-

димым, превращаться в некоторых животных или приобрести вторую тень. Хаживали вдоль дороги и ночные молодцы грозного Ваги Колеса, и беглецы с серебряных рудников с черными ладонями и белыми, прозрачными лицами. Знахари собирались здесь для своих ночных бдений, а разухабистые егеря барона Пампы жарили на редких полянах ворованных быков, целиком насаженных на вертел.

Едва ли не в самой чаще леса, в миле от дороги, под громадным деревом, засохшим от старости, вросла в землю покосившаяся изба из громадных бревен, окруженная почерневшим частоколом. Стояла она здесь с незапамятных времен, дверь ее была всегда закрыта, а у сгнившего крыльца торчали покосившиеся идолы, вырезанные из цельных стволов. Эта изба была самое что ни на есть опасное место в Икающем лесу. Говорили, что именно сюда приходит раз в двенадцать лет древний Пэх, чтобы родить потомка, и тут же, заползши под избу, издыхает, так что весь подпол в избе залит черным ядом, а когда яд потечет наружу — вот тут-то и будет всему конец. Говорили, что в ненастные ночи идолы сами собой выкапываются из земли, выходят к дороге и подают знаки. И говорили еще, что изредка в мертвых ок-

нах загорается нелюдской свет, раздаются звуки, и дым из трубы идет столбом до самого неба.

Не так давно непьющий деревенский дурачок Ирма Кукиш с хутора Благорастворение (по-простому — Смердуны) сдуру забрел вечером к избе и заглянул в окно. Домой он вернулся совсем уже глупым, а оклемавшись немного, рассказал, что в избе был яркий свет и за простым столом сидел с ногами на скамье человек и отхлебывал из бочки, которую держал одной рукой. Лицо человека свисало чуть не до пояса и все было в пятнах. Был это, ясно, сам святой Мика еще до приобщения к вере, многоженец, пьяница и сквернослов. Глядеть на него можно было, только побарывая страх. Из окошка тянуло сладким тоскливым запахом, и по деревьям вокруг ходили тени. Рассказ дурачка сходились слушать со всей округи. А кончилось дело тем, что приехали штурмовики и, загнув ему локти к лопаткам, угнали в город Арканар. Говорить об избе все равно не перестали и называли ее теперь не иначе, как Пьяной Берлогой...

Продравшись через заросли гигантского папоротника, Румата спешился у крыльца Пьяной Берлоги и обмотал повод вокруг одного из идолов. В избе горел свет, дверь была раскрыта и висела на одной петле. Отец Кабани сидел за столом в

полной прострации. В комнате стоял могучий спиртной дух, на столе среди обглоданных костей и кусков вареной брюквы возвышалась огромная глиняная кружка.

— Добрый вечер, отец Кабани, — сказал Румата, перешагивая через порог.

— Я вас приветствую, — отозвался отец Кабани хриплым, как боевой рог, голосом.

Румата, звеня шпорами, подошел к столу, бросил на скамью перчатки и снова посмотрел на отца Кабани. Отец Кабани сидел неподвижно, положив обвисшее лицо на ладони. Мохнатые полуседые брови его свисали над щеками, как сухая трава над обрывом. Из ноздрей крупнопористого носа при каждом выдохе со свистом вылетал воздух, пропитанный неусвоенным алкоголем.

— Я сам выдумал его! — сказал он вдруг, с усилием задрав правую бровь и поведя на Румату заплывшим глазом. — Сам! Зачем?.. — Он высвободил из-под щеки правую руку и помотал волосатым пальцем. — А все-таки я ни при чем!.. Я его выдумал... и я же ни при чем, а?!. Точно — ни при чем... И вообще мы не выдумываем, а черт знает что!..

Румата расстегнул пояс и потащил через голову перевязи с мечами.

— Ну, ну! — сказал он.

— Ящик! — рявкнул отец Кабани и надолго замолчал, делая странные движения щеками.

Румата, не спуская с него глаз, перенес через скамью ноги в покрытых пылью ботфортах и уселся, положив мечи рядом.

— Ящик... — повторил отец Кабани упавшим голосом. — Это мы говорим, будто мы выдумываем. На самом деле все давным-давно выдумано. Кто-то давным-давно все выдумал, сложил все в ящик, провертел в крышке дыру и ушел... Ушел спать... Тогда что? Приходит отец Кабани, закрывает глаза, с-сует руку в дыру. — Отец Кабани посмотрел на свою руку. — Х-хвать! Выдумал! Я, говорит, это вот самое и выдумывал!.. А кто не верит, тот дурак... Сую руку — р-раз! Что? Проволока с колючками. Зачем? Скотный двор от волков... Молодец! Сую руку — дв-ва! Что? Умнейшая штука — мясокрутка называемая. Зачем? Нежный мясной фарш... Молодец! Сую руку — три! Что? Г-горючая вода... Зачем? С-сырые дрова разжигать... А?!

Отец Кабани замолк и стал клониться вперед, словно кто-то пригибал его, взяв за шею. Румата взял кружку, заглянул в нее, потом вылил несколько капель на тыльную сторону ладони.

Капли были сиреневые и пахли сивушными маслами. Румата кружевным платком тщательно вытер руку. На платке остались маслянистые пятна. Нечесаная голова отца Кабани коснулась стола и тотчас вздернулась.

— Кто сложил все в ящик — он знал, для чего это выдумано... Колючки от волков?! Это я, дурак, — от волков... Рудники, рудники оплетать этими колючками... Чтобы не бегали с рудников государственные преступники. А я не хочу!.. Я сам государственный преступник! А меня спросили? Спросили! Колючка, грят? Колючка. От волков, грят? От волков... Хорошо, грят, молодец! Оплетем рудники... Сам дон Рэба и оплел. И мясокрутку мою забрал. Молодец, грит! Голова, грит, у тебя!.. И теперь, значит, в Веселой Башне нежный фарш делает... Очень, говорят, способствует...

Знаю, думал Румата. Все знаю. И как кричал ты у дона Рэбы в кабинете, как в ногах у него ползал, молил: «Отдай, не надо!» Поздно было. Завертелась твоя мясокрутка...

Отец Кабани схватил кружку и приник к ней волосатой пастью. Глотая ядовитую смесь, он рычал, как вепрь Ы, потом сунул кружку на стол и принялся жевать кусок брюквы. По щекам его ползли слезы.

— Горючая вода! — провозгласил он, наконец, перехваченным голосом. — Для растопки костров и произведения веселых фокусов. Какая же она горючая, если ее можно пить? Ее в пиво подмешивать — цены пиву не будет! Не дам! Сам выпью... И пью. День пью. Ночь. Опух весь. Падаю все время. Давеча, дон Румата, не поверишь, к зеркалу подошел — испугался... Смотрю — помоги господи! — где же отец Кабани?! Морской зверь спрут — весь цветными пятнами иду. То красный. То синий. Выдумал, называется, воду для фокусов...

Отец Кабани сплюнул на стол и пошаркал ногой под лавкой, растирая. Затем вдруг спросил:

— Какой нынче день?

— Канун Каты Праведного, — сказал Румата.

— А почему нет солнца?

— Потому что ночь.

— Опять ночь... — с тоской сказал отец Кабани и упал лицом в объедки.

Некоторое время Румата, посвистывая сквозь зубы, смотрел на него. Потом выбрался из-за стола и прошел в кладовку. В кладовке между кучей брюквы и кучей опилок поблескивал стеклянными трубками громоздкий спиртогонный агрегат отца Кабани — удивительное творение прирожденного инженера, инстинктивного

химика и мастера-стеклодува. Румата дважды обошел «адскую машину» кругом, затем нашарил в темноте лом и несколько раз наотмашь ударил, никуда специально не целясь. В кладовке залязгало, задребезжало, забулькало. Гнусный запах перекисшей барды ударил в нос.

Хрустя каблуками по битому стеклу, Румата пробрался в дальний угол и включил электрический фонарик. Там под грудой хлама стоял в прочном силикетовом сейфе малогабаритный полевой синтезатор «Мидас». Румата разбросал хлам, набрал на диске комбинацию цифр и поднял крышку сейфа. Даже в белом электрическом свете синтезатор выглядел странно среди развороченного мусора. Румата бросил в приемную воронку несколько лопат опилок, и синтезатор тихонько запел, автоматически включив индикаторную панель. Румата носком ботфорта придвинул к выходному желобу ржавое ведро. И сейчас же — дзинь, дзинь, дзинь! — посыпались на мятое жестяное дно золотые кружочки с аристократическим профилем Пица Шестого, короля Арканарского.

Румата перенес отца Кабани на скрипучие нары, стянул с него башмаки, повернул на правый бок и накрыл облысевшей шкурой какого-то дав-

но вымершего животного. При этом отец Кабани на минуту проснулся. Двигаться он не мог, соображать тоже. Он ограничился тем, что пропел несколько стихов из запрещенного к распеванию светского романса «Я как цветочек аленький в твоей ладошке маленькой», после чего гулко захрапел.

Румата убрал со стола, подмел пол и протер стекло единственного окна, почерневшее от грязи и химических экспериментов, которые отец Кабани производил на подоконнике. За облупленной печкой он нашел бочку со спиртом и опорожнил ее в крысиную дыру. Затем он напоил хамахарского жеребца, засыпал ему овса из седельной сумки, умылся и сел ждать, глядя на коптящий огонек масляной лампы. Шестой год он жил этой странной, двойной жизнью и, казалось бы, совсем привык к ней, но время от времени, как, например, сейчас, ему вдруг приходило в голову, что нет на самом деле никакого организованного зверства и напирающей серости, а разыгрывается причудливое театральное представление с ним, Руматой, в главной роли. Что вот-вот после особенно удачной его реплики грянут аплодисменты и ценители из Института экспериментальной истории восхищенно за-

кричат из лож: «Адекватно, Антон! Адекватно! Молодец, Тошка!» Он даже огляделся, но не было переполненного зала, были только почерневшие, замшелые стены из голых бревен, заляпанные наслоениями копоти.

Во дворе тихонько ржанул и переступил копытами хамахарский жеребец. Послышалось низкое ровное гудение, до слез знакомое и совершенно здесь невероятное. Румата вслушивался, приоткрыв рот. Гудение оборвалось, язычок пламени над светильником заколебался и вспыхнул ярче. Румата стал подниматься, и в ту же минуту из ночной темноты в комнату шагнул дон Кондор, Генеральный судья и Хранитель больших государственных печатей торговой республики Соан, вице-президент Конференции двенадцати негоциантов и кавалер имперского Ордена Десницы Милосердной.

Румата вскочил, едва не опрокинув скамью. Он готов был броситься, обнять, расцеловать его в обе щеки, но ноги, следуя этикету, сами собой согнулись в коленях, шпоры торжественно звякнули, правая рука описала широкий полукруг от сердца и в сторону, а голова нагнулась так, что подбородок утонул в пенно-кружевных брыжах. Дон Кондор сорвал бархатный берет с простым

дорожным пером, торопливо, как бы отгоняя комаров, махнул им в сторону Руматы, а затем, швырнув берет на стол, обеими руками расстегнул у шеи застежки плаща. Плащ еще медленно падал у него за спиной, а он уже сидел на скамье, раздвинув ноги, уперев левую руку в бок, а отставленной правой держась за эфес золоченого меча, вонзенного в гнилые доски пола. Был он маленький, худой, с большими выпуклыми глазами на узком бледном лице. Его черные волосы были схвачены таким же, как у Руматы, массивным золотым обручем с большим зеленым камнем над переносицей.

— Вы один, дон Румата? — спросил он отрывисто.

— Да, благородный дон, — грустно ответил Румата.

Отец Кабани вдруг громко и трезво сказал: «Благородный дон Рэба!.. Гиена вы, вот и все».

Дон Кондор не обернулся.

— Я прилетел, — сказал он.

— Будем надеяться, — сказал Румата, — что вас не видели.

— Легендой больше, легендой меньше, — раздраженно сказал дон Кондор. — У меня нет времени на путешествия верхом. Что случилось с

Будахом? Куда он делся? Да сядьте же, дон Румата, прошу вас! У меня болит шея.

Румата послушно опустился на скамью.

— Будах исчез, — сказал он. — Я ждал его в Урочище Тяжелых Мечей. Но явился только одноглазый оборванец, назвал пароль и передал мне мешок с книгами. Я ждал еще два дня, затем связался с доном Гугом, и дон Гуг сообщил, что проводил Будаха до самой границы и что Будаха сопровождает некий благородный дон, которому можно доверять, потому что он вдребезги проигрался в карты и продался дону Гугу телом и душой. Следовательно, Будах исчез где-то здесь, в Арканаре. Вот и все, что мне известно.

— Не много же вы знаете, — сказал дон Кондор.

— Не в Будахе дело, — возразил Румата. — Если он жив, я его найду и вытащу. Это я умею. Не об этом я хотел с вами говорить. Я хочу еще и еще раз обратить ваше внимание на то, что положение в Арканаре выходит за пределы базисной теории... — На лице дона Кондора появилось кислое выражение. — Нет уж, вы меня выслушайте, — твердо сказал Румата. — Я чувствую, что по радио я с вами никогда не объяснюсь. А в Арканаре все переменилось! Возник какой-то новый, система-

тически действующий фактор. И выглядит это так, будто дон Рэба сознательно натравливает на ученых всю серость в королевстве. Все, что хоть немного поднимается над средним серым уровнем, оказывается под угрозой. Вы слушайте, дон Кондор, это не эмоции, это факты! Если ты умен, образован, сомневаешься, говоришь непривычное — просто не пьешь вина, наконец! — ты под угрозой. Любой лавочник вправе затравить тебя хоть насмерть. Сотни и тысячи людей объявлены вне закона. Их ловят штурмовики и развешивают вдоль дорог. Голых, вверх ногами... Вчера на моей улице забили сапогами старика, узнали, что он грамотный. Топтали, говорят, два часа, тупые, с потными звериными мордами... — Румата сдержался и закончил спокойно: — Одним словом, в Арканаре скоро не останется ни одного грамотного. Как в Области Святого Ордена после Барканской резни.

Дон Кондор пристально смотрел на него, поджав губы.

— Ты мне не нравишься, Антон, — сказал он по-русски.

— Мне тоже многое не нравится, Александр Васильевич, — сказал Румата. — Мне не нравится, что мы связали себя по рукам и ногам самой

постановкой проблемы. Мне не нравится, что она называется Проблемой Бескровного Воздействия. Потому что в моих условиях это научно обоснованное бездействие... Я знаю все ваши возражения! И я знаю теорию. Но здесь нет никаких теорий, здесь типично фашистская практика, здесь звери ежеминутно убивают людей! Здесь все бесполезно. Знаний не хватает, а золото теряет цену, потому что опаздывает.

— Антон, — сказал дон Кондор. — Не горячись. Я верю, что положение в Арканаре совершенно исключительное, но я убежден, что у тебя нет ни одного конструктивного предложения.

— Да, — согласился Румата, — конструктивных предложений у меня нет. Но мне очень трудно держать себя в руках.

— Антон, — сказал дон Кондор. — Нас здесь двести пятьдесят на всей планете. Все держат себя в руках, и всем это очень трудно. Самые опытные живут здесь уже двадцать два года. Они прилетели сюда всего-навсего как наблюдатели. Им было запрещено вообще что бы то ни было предпринимать. Представь себе это на минуту: запрещено вообще. Они бы не имели права даже спасти Будаха. Даже если бы Будаха топтали ногами у них на глазах.

— Не надо говорить со мной, как с ребенком, — сказал Румата.

— Вы нетерпеливы, как ребенок, — объявил дон Кондор. — А надо быть очень терпеливым.

Румата горестно усмехнулся.

— А пока мы будем выжидать, — сказал он, — примериваться да нацеливаться, звери ежедневно, ежеминутно будут уничтожать людей.

— Антон, — сказал дон Кондор. — Во Вселенной тысячи планет, куда мы еще не пришли и где история идет своим чередом.

— Но сюда-то мы уже пришли!

— Да, пришли. Но для того, чтобы помочь этому человечеству, а не для того, чтобы утолять свой справедливый гнев. Если ты слаб, уходи. Возвращайся домой. В конце концов, ты действительно не ребенок и знал, что здесь увидишь.

Румата молчал. Дон Кондор, какой-то обмякший и сразу постаревший, волоча меч за эфес, как палку, прошелся вдоль стола, печально кивая носом.

— Все понимаю, — сказал он. — Я же все это пережил. Было время — это чувство бессилия и собственной подлости казалось мне самым страшным. Некоторые, послабее, сходили от этого с ума, их отправляли на Землю и теперь лечат.

Пятнадцать лет понадобилось мне, голубчик, чтобы понять, что же самое страшное. Человеческий облик потерять страшно, Антон. Запачкать душу, ожесточиться. Мы здесь боги, Антон, и должны быть умнее богов из легенд, которых здешний люд творит кое-как по своему образу и подобию. А ведь ходим по краешку трясины. Оступился — и в грязь, всю жизнь не отмоешься. Горан Ируканский в «Истории Пришествия» писал: «Когда бог, спустившись с неба, вышел к народу из Питанских болот, ноги его были в грязи».

— За что Горана и сожгли, — мрачно сказал Румата.

— Да, сожгли. А сказано это про нас. Я здесь пятнадцать лет. Я, голубчик, уж и сны про Землю видеть перестал. Как-то, роясь в бумагах, нашел фотографию одной женщины и долго не мог сообразить, кто же она такая. Иногда я вдруг со страхом осознаю, что я уже давно не сотрудник Института, я экспонат музея этого Института, генеральный судья торговой феодальной республики, и есть в музее зал, куда меня следует поместить. Вот что самое страшное — войти в роль. В каждом из нас благородный подонок борется с коммунаром. И все вокруг помогает подонку, а коммунар один-одинешенек — до Зем-

ли тысяча лет и тысяча парсеков. — Дон Кондор помолчал, гладя колени. — Вот так-то, Антон, — сказал он твердеющим голосом. — Останемся коммунарами.

Он не понимает. Да и как ему понять? Ему повезло, он не знает, что такое серый террор, что такое дон Рэба. Все, чему он был свидетелем за пятнадцать лет работы на этой планете, так или иначе укладывается в рамки базисной теории. И когда я говорю ему о фашизме, о серых штурмовиках, об активизации мещанства, он воспринимает это как эмоциональные выражения. «Не шутите с терминологией, Антон! Терминологическая путаница влечет за собой опасные последствия». Он никак не может понять, что нормальный уровень средневекового зверства — это счастливый вчерашний день Арканара. Дон Рэба для него — это что-то вроде герцога Ришелье, умный и дальновидный политик, защищающий абсолютизм от феодальной вольницы. Один я на всей планете вижу страшную тень, наползающую на страну, но как раз я и не могу понять, чья это тень и зачем... И где уж мне убедить его, когда он вот-вот, по глазам видно, пошлет меня на Землю лечиться.

— Как поживает почтенный Синда? — спро-

сил он.

Дон Кондор перестал сверлить его взглядом и буркнул: «Хорошо, благодарю вас». Потом он сказал:

— Нужно, наконец, твердо понять, что ни ты, ни я, никто из нас реально ощутимых плодов своей работы не увидим. Мы не физики, мы историки. У нас единица времени не секунда, а век, и дела наши — это даже не посев, мы только готовим почву для посева. А то прибывают порой с Земли... энтузиасты, черт бы их побрал... Спринтеры с коротким дыханием...

Румата криво усмехнулся и без особой надобности принялся подтягивать ботфорты. Спринтеры. Да, спринтеры были.

Десять лет назад Стефан Орловский, он же дон Капада, командир роты арбалетчиков его императорского величества, во время публичной пытки восемнадцати эсторских ведьм приказал своим солдатам открыть огонь по палачам, зарубил имперского судью и двух судебных приставов и был поднят на копья дворцовой охраной. Корчась в предсмертной муке, он кричал: «Вы же люди! Бейте их, бейте!» — но мало кто слышал его за ревом толпы: «Огня! Еще огня!..»

Примерно в то же время в другом полушарии

Карл Розенблюм, один из крупнейших знатоков крестьянских войн в Германии и Франции, он же торговец шерстью Пани-Па, поднял восстание мурисских крестьян, штурмом взял два города и был убит стрелой в затылок, пытаясь прекратить грабежи. Он был еще жив, когда за ним прилетели на вертолете, но говорить не мог и только смотрел виновато и недоуменно большими голубыми глазами, из которых непрерывно текли слезы...

А незадолго до прибытия Руматы великолепно законспирированный друг-конфидент кайсанского тирана (Джереми Тафнат, специалист по истории земельных реформ) вдруг ни с того ни с сего произвел дворцовый переворот, узурпировал власть, в течение двух месяцев пытался внедрить Золотой Век, упорно не отвечая на яростные запросы соседей и Земли, заслужил славу сумасшедшего, счастливо избежал восьми покушений, был, наконец, похищен аварийной командой сотрудников Института и на подводной лодке переправлен на островную базу у Южного полюса...

— Подумать только! — пробормотал Румата. — До сих пор вся Земля воображает, что самыми сложными проблемами занимается нуль-фи-

зика...

Дон Кондор поднял голову.

— О, наконец-то! — сказал он негромко.

Зацокали копыта, злобно и визгливо заржал хамахарский жеребец, послышалось энергичное проклятье с сильным ируканским акцентом. В дверях появился дон Гуг, старший постельничий его светлости герцога Ируканского, толстый, румяный, с лихо вздернутыми усами, с улыбкой до ушей, с маленькими веселыми глазками под буклями каштанового парика. И снова Румата сделал движение броситься и обнять, потому что это же был Пашка, но дон Гуг вдруг подобрался, на толстощекой физиономии появилась сладкая приторность, он слегка согнулся в поясе, прижал шляпу к груди и вытянул губы дудкой. Румата вскользь поглядел на Александра Васильевича. Александр Васильевич исчез. На скамье сидел Генеральный судья и Хранитель больших печатей — раздвинув ноги, уперев левую руку в бок, а правой держась за эфес золоченого меча.

— Вы сильно опоздали, дон Гуг, — сказал он неприятным голосом.

— Тысяча извинений! — вскричал дон Гуг, плавно приближаясь к столу. — Клянусь рахитом моего герцога, совершенно непредвиденные

обстоятельства! Меня четырежды останавливал патруль его величества короля Арканарского, и я дважды дрался с какими-то хамами. — Он изящно поднял левую руку, обмотанную окровавленной тряпкой. — Кстати, благородные доны, чей это вертолет позади избы?

— Это мой вертолет, — сварливо сказал дон Кондор. — У меня нет времени для драк на дорогах.

Дон Гуг приятно улыбнулся и, усевшись верхом на скамью, сказал:

— Итак, благородные доны, мы вынуждены констатировать, что высокоученый доктор Будах таинственным образом исчез где-то между ируканской границей и Урочищем Тяжелых Мечей...

Отец Кабани вдруг заворочался на своем ложе.

— Дон Рэба, — густо сказал он, не просыпаясь.

— Оставьте Будаха мне, — с отчаянием сказал Румата, — и попытайтесь все-таки меня понять...

Глава 2

Румата вздрогнул и открыл глаза. Был уже день. Под окнами на улице скандалили. Кто-то, видимо военный, орал: «М-мэр-рзавец! Ты слижешь эту грязь языком! («С добрым утром!» — подумал Румата.) Ма-алчать!.. Клянусь спиной святого Мики, ты выведешь меня из себя!» Другой голос, грубый и хриплый, бубнил, что на этой улице надобно глядеть под ноги. «Под утро дождичек прошел, а мостили ее сами знаете когда...» — «Он мне еще указывает, куда смотреть!..» — «Вы меня лучше отпустите, благородный дон, не держите за рубаху». — «Он мне еще указывает!..» Послышался звонкий треск. Видимо, это была уже вторая пощечина — первая разбудила Румату. «Вы меня лучше не бейте, благородный дон...» — бубнили внизу.

Знакомый голос, кто бы это мог быть? Кажется, дон Тамэо. Надо будет сегодня проиграть ему хамахарскую клячу обратно. Интересно, научусь я когда-нибудь разбираться в лошадях? Правда, мы, Руматы Эсторские, спокон веков не разбираемся в лошадях. Мы знатоки боевых верблюдов. Хорошо, что в Арканаре почти нет верблюдов.

Румата с хрустом потянулся, нащупал в изголовье витой шелковый шнур и несколько раз дернул. В недрах дома зазвякали колокольчики. Мальчишка, конечно, глазеет на скандал, подумал Румата. Можно было бы встать и одеться самому, но это — лишние слухи. Он прислушался к брани под окнами. До чего же могучий язык! Энтропия невероятная. Не зарубил бы его дон Тамэо... В последнее время в гвардии появились любители, которые объявили, что для благородного боя у них только один меч, а другой они употребляют специально для уличной погани — ее-де заботами дона Рэбы что-то слишком много развелось в славном Арканаре. Впрочем, дон Тамэо не из таких. Трусоват наш дон Тамэо, да и политик известный...

Мерзко, когда день начинается с дона Тамэо... Румата сел, обхватив колени под роскошным рваным одеялом. Появляется ощущение свинцовой беспросветности, хочется пригорюниться и размышлять о том, как мы слабы и ничтожны перед обстоятельствами... На Земле это нам и в голову не приходит. Там мы здоровые, уверенные ребята, прошедшие психологическое кондиционирование и готовые ко всему. У нас отличные нервы: мы умеем не отворачиваться, когда избивают и

казнят. У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов. Мы забыли брезгливость, нас устраивает посуда, которую, по обычаю, дают вылизывать собакам и затем для красоты протирают грязным подолом. Мы великие имперсонаторы, даже во сне мы не говорим на языках Земли. У нас безотказное оружие — базисная теория феодализма, разработанная в тиши кабинетов и лабораторий, на пыльных раскопах, в солидных дискуссиях...

Жаль только, что дон Рэба понятия не имеет об этой теории. Жаль только, что психологическая подготовка слезает с нас, как загар, мы бросаемся в крайности, мы вынуждены заниматься непрерывной подзарядкой: «Стисни зубы и помни, что ты замаскированный бог, что они не ведают, что творят, и почти никто из них не виноват, и потому ты должен быть терпеливым и терпимым...» Оказывается, что колодцы гуманизма в наших душах, казавшиеся на Земле бездонными, иссякают с пугающей быстротой. Святой Мика, мы же были настоящими гуманистами там, на Земле, гуманизм был скелетом нашей натуры, в преклонении перед Человеком, в нашей любви к Человеку мы докатывались до антропоцентризма, а здесь вдруг с ужасом ловим себя на мысли,

что любили не Человека, а только коммунара, землянина, равного нам... Мы все чаще ловим себя на мысли: «Да полно, люди ли это? Неужели они способны стать людьми, хотя бы со временем?» И тогда мы вспоминаем о таких, как Кира, Будах, Арата Горбатый, о великолепном бароне Пампа, и нам становится стыдно, а это тоже непривычно и неприятно и, что самое главное, не помогает...

Не надо об этом, подумал Румата. Только не утром. Провалился бы этот дон Тамэо!.. Накопилось в душе кислятины, и некуда ее выплеснуть в таком одиночестве. Вот именно, в одиночестве! Мы-то, здоровые, уверенные, думали ли мы, что окажемся здесь в одиночестве? Да ведь никто не поверит! Антон, дружище, что это ты? На запад от тебя, три часа лету, Александр Васильевич, добряк, умница, на востоке — Пашка, семь лет за одной партой, верный веселый друг. Ты просто раскис, Тошка. Жаль, конечно, мы думали, ты крепче, но с кем не бывает? Работа адова, понимаем. Возвращайся-ка ты на Землю, отдохни, подзаймись теорией, а там видно будет...

А Александр Васильевич, между прочим, чистой воды догматик. Раз базисная теория не предусматривает серых («Я, голубчик, за пятна-

дцать лет работы таких отклонений от теории что-то не замечал...»), значит, серые мне мерещатся. Раз мерещатся, значит, у меня сдали нервы и меня надо отправить на отдых. «Ну, хорошо, я обещаю, я посмотрю сам и сообщу свое мнение. Но пока, дон Румата, прошу вас, никаких эксцессов...» А Павел, друг детства, эрудит, видите ли, знаток, кладезь информации... пустился напропалую по историям двух планет и легко доказал, что серое движение есть всего-навсего заурядное выступление горожан против баронов. «Впрочем, на днях заеду к тебе, посмотрю. Честно говоря, мне как-то неловко за Будаха...» И на том спасибо! И хватит! Займусь Будахом, раз больше ни на что не способен.

Высокоученый доктор Будах. Коренной ируканец, великий медик, которому герцог Ируканский чуть было не пожаловал дворянство, но раздумал и решил посадить в башню. Крупнейший в Империи специалист по ядолечению. Автор широко известного трактата «О травах и иных злаках, таинственно могущих служить причиною скорби, радости и успокоения, а равно о слюне и соках гадов, пауков и голого вепря Ы, таковыми же и многими другими свойствами обладающих». Человек, несомненно, замечательный и настоящий

интеллигент, убежденный гуманист и бессребреник: все имущество — мешок с книгами. Так кому же ты мог понадобиться, доктор Будах, в сумеречной невежественной стране, погрязшей в кровавой трясине заговоров и корыстолюбия?

Будем полагать, что ты жив и находишься в Арканаре. Не исключено, конечно, что тебя захватили налетчики-варвары, спустившиеся с отрогов Красного Северного хребта. На этот случай дон Кондор намерен связаться с нашим другом Шуштулетидоводусом, специалистом по истории первобытных культур, который работает сейчас шаманом-эпилептиком у вождя с сорокапятисложным именем. Если ты все-таки в Арканаре, то, прежде всего, тебя могли захватить ночные работнички Ваги Колеса. И даже не захватить, а прихватить, потому что для них главной добычей был бы твой сопровождающий, благородный проигравшийся дон. Но, так или иначе, они тебя не убьют: Вага Колесо слишком скуп для этого.

Тебя мог захватить и какой-нибудь дурак барон. Безо всякого злого умысла, просто от скуки и гипертрофированного гостеприимства. Захотелось попировать с благородным собеседником, выставил на дорогу дружинников и затащил к

себе в замок твоего сопровождающего. И будешь ты сидеть в вонючей людской, пока доны не упьются до обалдения и не расстанутся. В этом случае тебе тоже ничто не грозит.

Но есть еще засевшие где-то в Гниловражье остатки разбитой недавно крестьянской армии дона Кси и Пэрты Позвоночника, которых тайком подкармливает сейчас сам орел наш дон Рэба на случай весьма возможных осложнений с баронами. Вот эти пощады не знают, и о них лучше не думать. Есть еще дон Сатарина, родовитейший имперский аристократ, ста двух лет от роду, совершенно выживший из ума. Он пребывает в родовой вражде с герцогами Ируканскими и время от времени, возбудившись к активности, принимается хватать все, что пересекает ируканскую границу. Он очень опасен, ибо под действием приступов холецистита способен издавать такие приказы, что божедомы не успевают вывозить трупы из его темниц.

И, наконец, главное. Не потому главное, что самое опасное, а потому, что наиболее вероятное. Серые патрули дона Рэбы. Штурмовики на больших дорогах. Ты мог попасть в их руки случайно, и тогда следует рассчитывать на рассудительность и хладнокровие сопровождающего. Но что,

если дон Рэба заинтересован в тебе? У дона Рэбы такие неожиданные интересы... Его шпионы могли донести, что ты будешь проезжать через Арканар, тебе навстречу выслали наряд под командой старательного серого офицера, дворянского ублюдка из мелкопоместных, и ты сидишь сейчас в каменном мешке под Веселой Башней...

Румата снова нетерпеливо подергал шнур. Дверь спальни отворилась с отвратительным визгом, вошел мальчик-слуга, тощенький и угрюмый. Имя его было Уно, и его судьба могла бы послужить темой для баллады. Он поклонился у порога, шаркая разбитыми башмаками, подошел к кровати и поставил на столик поднос с письмами, кофе и комком ароматической жевательной коры для укрепления зубов и чистки оных. Румата сердито посмотрел на него.

— Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь смажешь дверь?

Мальчик промолчал, глядя в пол. Румата отбросил одеяло, спустил голые ноги с постели и потянулся к подносу.

— Мылся сегодня? — спросил он.

Мальчик переступил с ноги на ногу и, ничего не ответив, пошел по комнате, собирая разбросанную одежду.

— Я, кажется, спросил тебя, мылся ты сегодня или нет? — сказал Румата, распечатывая первое письмо.

— Водой грехов не смоешь, — проворчал мальчик. — Что я, благородный что ли, мыться?

— Я тебе про микробов что рассказывал? — сказал Румата.

Мальчик положил зеленые штаны на спинку кресла и омахнулся большим пальцем, отгоняя нечистого.

— Три раза за ночь молился, — сказал он. — Чего же еще?

— Дурачина ты, — сказал Румата и стал читать письмо.

Писала дона Окана, фрейлина, новая фаворитка дона Рэбы. Предлагала нынче же вечером навестить ее, «томящуюся нежно». В постскриптуме простыми словами было написано, чего она, собственно, ждет от этой встречи. Румата не выдержал — покраснел. Воровато оглянувшись на мальчишку, пробормотал: «Ну, в самом деле...» Об этом следовало подумать. Идти было противно, не идти было глупо — дона Окана много знала. Он залпом выпил кофе и положил в рот жевательную кору.

Следующий конверт был из плотной бумаги,

сургучная печать смазана; видно было, что письмо вскрывали. Писал дон Рипат, решительный карьерист, лейтенант серой роты галантерейщиков. Справлялся о здоровье, выражал уверенность в победе серого дела и просил отсрочить должок, ссылаясь на вздорные обстоятельства. «Ладно, ладно...» — пробормотал Румата, отложил письмо, снова взял конверт и с интересом его оглядел. Да, тоньше стали работать. Заметно тоньше.

В третьем письме предлагали рубиться на мечах из-за доны Пифы, но соглашались снять предложение, если дону Румате благоугодно будет привести доказательства того, что он, благородный дон Румата, к доне Пифе касательства не имел и не имеет. Письмо было стандартным: основной текст писал каллиграф, а в оставленных промежутках были коряво, с грамматическими ошибками вписаны имена и сроки.

Румата отшвырнул письмо и почесал искусанную комарами левую руку.

— Ну, давай умываться, — приказал он.

Мальчик скрылся за дверью и скоро, пятясь задом, вернулся, волоча по полу деревянную лохань с водой. Потом сбегал еще раз за дверь и притащил пустую лохань и ковшик.

Румата спрыгнул на пол, содрал через голо-

ву ветхую, с искуснейшей ручной вышивкой ночную рубаху и с лязгом выхватил из ножен висевшие у изголовья мечи. Мальчик из осторожности встал за кресло. Поупражнявшись минут десять в выпадах и отражениях, Румата бросил мечи в стену, нагнулся над пустой лоханью и приказал: «Лей!» Без мыла было плохо, но Румата уже привык. Мальчик лил ковш за ковшом на спину, на шею, на голову и ворчал: «У всех как у людей, только у нас с выдумками. Где это видано — в двух сосудах мыться. В отхожем месте горшок какой-то придумали... Полотенце им каждый день чистое... А сами, не помолившись, голый с мечами скачут...»

Растираясь полотенцем, Румата сказал наставительно:

— Я при дворе, не какой-нибудь барон вшивый. Придворный должен быть чист и благоухать.

— Только у его величества и забот, что вас нюхать, — возразил мальчик. — Все знают, его величество день и ночь молятся за нас, грешных. А вот дон Рэба и вовсе никогда не моются. Сам слышал, их лакей рассказывал.

— Ладно, не ворчи, — сказал Румата, натягивая нейлоновую майку.

Мальчик смотрел на эту майку с неодобрением.

О ней давно уже ходили слухи среди арканарской прислуги. Но тут Румата ничего не мог поделать из естественной человеческой брезгливости. Когда он надевал трусы, мальчик отвернул голову и сделал губами движение, будто оплевывал нечистого.

Хорошо бы все-таки ввести в моду нижнее белье, подумал Румата. Однако естественным образом это можно было сделать только через женщин, а Румата и в этом отличался непозволительной для разведчика разборчивостью. Кавалеру и вертопраху, знающему столичное обращение и сосланному в провинцию за дуэль по любви, следовало иметь по крайней мере двадцать возлюбленных. Румата прилагал героические усилия, чтобы поддержать свое реноме. Половина его агентуры, вместо того чтобы заниматься делом, распространяла о нем отвратительные слухи, возбуждавшие зависть и восхищение у арканарской гвардейской молодежи. Десятки разочарованных дам, у которых Румата специально задерживался за чтением стихов до глубокой ночи (третья стража, братский поцелуй в щечку и прыжок с балкона в объятия командира ночного обхода, знакомого офицера), наперебой рассказывали друг другу о

настоящем столичном стиле кавалера из метрополии. Румата держался только на тщеславии этих глупых и до отвращения развратных баб, но проблема нижнего белья оставалась открытой. Насколько было проще с носовыми платками! На первом же балу Румата извлек из-за обшлага изящный кружевной платочек и промокнул им губы. На следующем балу бравые гвардейцы уже вытирали потные лица большими и малыми кусками материи разных цветов, с вышивками и монограммами. А через месяц появились франты, носившие на согнутой руке целые простыни, концы которых элегантно волочились по полу.

Румата натянул зеленые штаны и белую батистовую рубашку с застиранным воротом.

— Кто-нибудь дожидается? — спросил он.

— Брадобрей ждет, — ответил мальчик. — Да еще два дона в гостиной сидят, дон Тамэо с доном Сэра. Вино приказали подать и режутся в кости. Ждут вас завтракать.

— Поди зови брадобрея. Благородным донам скажи, что скоро буду. Да не груби, разговаривай вежливо...

Завтрак был не очень обильный и оставлял место для скорого обеда. Было подано жареное мясо, сильно сдобренное специями, и собачьи уши,

отжатые в уксусе. Пили шипучее ируканское, густое коричневое эсторское, белое соанское. Ловко разделывая двумя кинжалами баранью ногу, дон Тамэо жаловался на наглость низших сословий. «Я намерен подать докладную на высочайшее имя, — объявил он. — Дворянство требует, чтобы мужикам и ремесленному сброду было запрещено показываться в публичных местах и на улицах. Пусть ходят через дворы и по задам. В тех же случаях, когда появление мужика на улице неизбежно, например, при подвозе им хлеба, мяса и вина в благородные дома, пусть имеет специальное разрешение министерства охраны короны». — «Светлая голова! — восхищенно сказал дон Сэра, брызгая слюнями и мясным соком. — А вот вчера при дворе...» И он рассказал последнюю новость. Пассия дона Рэбы, фрейлина Окана, неосторожно наступила королю на больную ногу. Его величество пришел в ярость и, обратившись к дону Рэбе, приказал примерно наказать преступницу. На что дон Рэба, не моргнув глазом, ответил: «Будет исполнено, ваше величество. Нынче же ночью!» — «Я так хохотал, — сказал дон Сэра, крутя головой, — что у меня на камзоле отскочили два крючка...»

Протоплазма, думал Румата. Просто жрущая и

размножающаяся протоплазма.

— Да, благородные доны, — сказал он. — Дон Рэба — умнейший человек...

— Ого-го! — сказал дон Сэра. — Еще какой! Светлейшая голова!..

— Выдающийся деятель, — сказал дон Тамэо значительно и с чувством.

— Сейчас даже странно вспомнить, — продолжал Румата, приветливо улыбаясь, — что говорилось о нем всего год назад. Помните, дон Тамэо, как остроумно вы осмеяли его кривые ноги?

Дон Тамэо поперхнулся и залпом осушил стакан ируканского.

— Не припоминаю, — пробормотал он. — Да и какой из меня осмеятель...

— Было, было, — сказал дон Сэра, укоризненно качая головой.

— Действительно! — воскликнул Румата. — Вы же присутствовали при этой беседе, дон Сэра! Помню, вы еще так хохотали над остроумными пассажами дона Тамэо, что у вас что-то там отлетело в туалете...

Дон Сэра побагровел и стал длинно и косноязычно оправдываться, причем все время врал. Помрачневший дон Тамэо приналег на крепкое

эсторское, а так как он, по его собственным словам, «как начал с позавчерашнего утра, так по сю пору не может остановиться», его, когда они выбрались из дома, пришлось поддерживать с двух сторон.

День был солнечный, яркий. Простой народ толкался между домами, ища, на что бы поглазеть, визжали и свистели мальчишки, кидаясь грязью, из окон выглядывали хорошенькие горожанки в чепчиках, вертлявые служаночки застенчиво стреляли влажными глазками, и настроение стало понемногу подниматься. Дон Сэра очень ловко сшиб с ног какого-то мужика и чуть не помер от смеха, глядя, как мужик барахтается в луже. Дон Тамэо вдруг обнаружил, что надел перевязи с мечами задом наперед, закричал: «Стойте!» — и стал крутиться на месте, пытаясь перевернуться внутри перевязей. У дона Сэра опять что-то отлетело на камзоле. Румата поймал за розовое ушко пробегавшую служаночку и попросил ее помочь дону Тамэо привести себя в порядок. Вокруг благородных донов немедленно собралась толпа зевак, подававших служаночке советы, от которых та стала совсем пунцовой, а с камзола дона Сэра градом сыпались застежки, пуговки и пряжки. Когда они, наконец, двинулись дальше,

дон Тамэо принялся во всеуслышание сочинять дополнение к своей докладной, в котором он указывал на необходимость «непричисления хорошеньких особ женского пола к мужикам и простолюдинам». Тут дорогу им преградил воз с горшками. Дон Сэра обнажил оба меча и заявил, что благородным донам не пристало обходить всякие там горшки и он проложит себе дорогу сквозь этот воз. Но пока он примеривался, пытаясь различить, где кончается стена дома и начинаются горшки, Румата взялся за колеса и развернул воз, освободив проход. Зеваки, восхищенно наблюдавшие за происходившим, прокричали Румате тройное «ура». Благородные доны двинулись было дальше, но из окна на третьем этаже высунулся толстый сивый лавочник и стал распространяться о бесчинствах придворных, на которых «орел наш дон Рэба скоро найдет управу». Пришлось задержаться и переправить в это окно весь груз горшков. В последний горшок Румата бросил две золотые монеты с профилем Пица Шестого и вручил остолбеневшему владельцу воза.

— Сколько вы ему дали? — спросил дон Тамэо, когда они пошли дальше.

— Пустяк, — небрежно ответил Румата. — Два

золотых.

— Спина святого Мики! — воскликнул дон Тамэо. — Вы богаты! Хотите, я продам вам своего хамахарского жеребца?

— Я лучше выиграю его у вас в кости, — сказал Румата.

— Верно! — сказал дон Сэра и остановился. — Почему бы нам не сыграть в кости!

— Прямо здесь? — спросил Румата.

— А почему бы нет? — спросил дон Сэра. — Не вижу, почему бы трем благородным донам не сыграть в кости там, где им хочется!

Тут дон Тамэо вдруг упал. Дон Сэра зацепился за его ноги и тоже упал.

— Я совсем забыл, — сказал он. — Нам ведь пора в караул.

Румата поднял их и повел, держа за локти. У огромного мрачного дома дона Сатарины он остановился.

— А не зайти ли нам к старому дону? — спросил он.

— Совершенно не вижу, почему бы трем благородным донам не зайти к старому дону Сатарине, — сказал дон Сэра.

Дон Тамэо открыл глаза.

— Находясь на службе короля, — провозгласил

он, — мы должны всемерно смотреть в будущее. Д-дон Сатарина — это пройденный этап. Вперед, благородные доны! Мне нужно на пост...

— Вперед, — согласился Румата.

Дон Тамэо снова уронил голову на грудь и больше уже не просыпался. Дон Сэра, загибая пальцы, рассказывал о своих любовных победах. Так они добрались до дворца. В караульном помещении Румата с облегчением положил дона Тамэо на скамью, а дон Сэра уселся за стол, небрежно отодвинул пачку ордеров, подписанных королем, и заявил, что пришла, наконец, пора выпить холодного ируканского. Пусть хозяин катит бочку, приказал он, а эти девочки (он указал на караульных гвардейцев, игравших в карты за другим столом) пусть идут сюда. Пришел начальник караула, лейтенант гвардейской роты. Он долго присматривался к дону Тамэо и приглядывался к дону Сэра; и когда дон Сэра осведомился у него, «зачем увяли все цветы в саду таинственном любви», решил, что посылать их сейчас на пост, пожалуй, не стоит. Пусть пока так полежат.

Румата проиграл лейтенанту золотой и поговорил с ним о новых форменных перевязях и о способах заточки мечей. Он заметил между прочим, что собирается зайти к дону Сатарине, у

которого есть оружие старинной заточки, и был очень огорчен, узнав, что почтенный вельможа окончательно спятил: еще месяц назад выпустил своих пленников, распустил дружину, а богатейший пыточный арсенал безвозмездно передал в казну. Стодвухлетний старец заявил, что остаток жизни намеревается посвятить добрым делам, и теперь, наверное, долго не протянет.

Попрощавшись с лейтенантом, Румата вышел из дворца и направился в порт. Он шел, огибая лужи и перепрыгивая через рытвины, полные зацветшей водой, бесцеремонно расталкивая зазевавшихся простолюдинов, подмигивая девушкам, на которых внешность его производила, по-видимому, неотразимое впечатление, раскланивался с дамами, которых несли в портшезах, дружески здоровался со знакомыми дворянами и нарочито не замечал серых штурмовиков.

Он сделал небольшой крюк, чтобы зайти в Патриотическую школу. Школа эта была учреждена иждивением дона Рэбы два года назад для подготовки из мелкопоместных и купеческих недорослей военных и административных кадров. Дом был каменный, современной постройки, без колонн и барельефов, с толстыми стенами, с узкими бойницеобразными окнами,

с полукруглыми башнями по сторонам главного входа. В случае надобности в доме можно было продержаться.

По узким ступеням Румата поднялся на второй этаж и, звеня шпорами по камню, направился мимо классов к кабинету прокуратора школы. Из классов неслось жужжание голосов, хоровые выкрики. «Кто есть король? Светлое величество. Кто есть министры? Верные, не знающие сомнений...», «...И бог, наш создатель, сказал: «Прокляну». И проклял...», «...А ежели рожок дважды протрубит, рассыпаться по двое как бы цепью, опустив притом пики...», «...Когда же пытуемый впадает в беспамятство, испытание, не увлекаясь, прекратить...»

Школа, думал Румата. Гнездо мудрости. Опора культуры...

Он, не стучась, толкнул низкую сводчатую дверь и вошел в кабинет, темный и ледяной, как погреб. Навстречу из-за огромного стола, заваленного бумагой и тростями для наказаний, выскочил длинный угловатый человек, лысый, с провалившимися глазами, затянутый в узкий серый мундир с нашивками министерства охраны короны. Это и был прокуратор Патриотической школы высокоученый отец Кин — садист-убийца,

постригшийся в монахи, автор «Трактата о доносе», обратившего на себя внимание дона Рэбы.

Небрежно кивнув в ответ на витиеватое приветствие, Румата сел в кресло и положил ногу на ногу. Отец Кин остался стоять, согнувшись в позе почтительного внимания.

— Ну, как дела? — спросил Румата благосклонно. — Одних грамотеев режем, других учим?

Отец Кин осклабился.

— Грамотей не есть враг короля, — сказал он. — Враг короля есть грамотей-мечтатель, грамотей усомнившийся, грамотей неверящий! Мы же здесь...

— Ладно, ладно, — сказал Румата. — Верю. Что пописываешь? Читал я твой трактат — полезная книга, но глупая. Как же это ты? Нехорошо. Прокуратор!..

— Не умом поразить тщился, — с достоинством ответил отец Кин. — Единственно, чего добивался, — успеть в государственной пользе. Умные нам не надобны. Надобны верные. И мы...

— Ладно, ладно, — сказал Румата. — Верю. Так пишешь что новое или нет?

— Собираюсь подать на рассмотрение министру рассуждение о новом государстве, образцом коего полагаю Область Святого Ордена.

— Это что же ты? — удивился Румата. — Всех нас в монахи хочешь?..

Отец Кин стиснул руки и подался вперед.

— Разрешите пояснить, благородный дон, — горячо сказал он, облизнув губы. — Суть совсем в ином! Суть в основных установлениях нового государства. Установления просты, и их всего три: слепая вера в непогрешимость законов, беспрекословное оным повиновение, а также неусыпное наблюдение каждого за всеми!

— Гм, — сказал Румата. — А зачем?

— Что «зачем»?

— Глуп ты все-таки, — сказал Румата. — Ну ладно, верю. Так о чем это я?.. Да! Завтра ты примешь двух новых наставников. Их зовут: отец Тарра, очень почтенный старец, занимается этой... космографией, и брат Нанин, тоже верный человек, силен в истории. Это мои люди, и прими их почтительно. Вот залог. — Он бросил на стол звякнувший мешочек. — Твоя доля здесь — пять золотых... Все понял?

— Да, благородный дон, — сказал отец Кин.

Румата зевнул и огляделся.

— Вот и хорошо, что понял, — сказал он. — Мой отец почему-то очень любил этих людей и завещал мне устроить их жизнь. Вот объясни мне,

ученый человек, откуда в благороднейшем доне может быть такая привязанность к грамотею?

— Возможно, какие-нибудь особые заслуги? — предположил отец Кин.

— Это ты о чем? — подозрительно спросил Румата. — Хотя почему же? Да... Дочка там хорошенькая или сестра... Вина, конечно, у тебя здесь нет?

Отец Кин виновато развел руки. Румата взял со стола один из листков и некоторое время подержал перед глазами.

— «Споспешествование»... — прочел он. — Мудрецы! — Он уронил листок на пол и встал. — Смотри, чтобы твоя ученая свора их здесь не обижала. Я их как-нибудь навещу, и если узнаю... — Он поднес под нос отцу Кину кулак. — Ну ладно, ладно, не бойся, не буду...

Отец Кин почтительно хихикнул. Румата кивнул ему и направился к двери, царапая пол шпорами.

На улице Премногоблагодарения он заглянул в оружейную лавку, купил новые кольца для ножен, попробовал пару кинжалов (покидал в стену, примерил к ладони — не понравились), затем, присев на прилавок, поговорил с хозяином, отцом Гауком. У отца Гаука были печальные

добрые глаза и маленькие бледные руки в неотмытых чернильных пятнах. Румата немного поспорил с ним о достоинствах стихов Цурэна, выслушал интересный комментарий к строчке «Как лист увядший падает на душу...», попросил прочесть что-нибудь новенькое и, повздыхав вместе с автором над невыразимо грустными строфами, продекламировал перед уходом «Быть или не быть?» в своем переводе на ируканский.

— Святой Мика! — вскричал воспламененный отец Гаук. — Чьи это стихи?

— Мои, — сказал Румата и вышел.

Он зашел в «Серую Радость», выпил стакан арканарской кислятины, потрепал хозяйку по щеке, перевернул, ловко двинув мечом, столик штатного осведомителя, пялившего на него пустые глаза, затем прошел в дальний угол и отыскал там обтрепанного бородатого человечка с чернильницей на шее.

— Здравствуй, брат Нанин, — сказал он. — Сколько прошений написал сегодня?

Брат Нанин застенчиво улыбнулся, показав мелкие испорченные зубы.

— Сейчас пишут мало прошений, благородный дон, — сказал он. — Одни считают, что просить бесполезно, а другие рассчитывают в ближайшее

время взять без спроса.

Румата наклонился к его уху и рассказал, что дело с Патриотической школой улажено.

— Вот тебе два золотых, — сказал он в заключение. — Оденься, приведи себя в порядок. И будь осторожнее... хотя бы в первые дни. Отец Кин опасный человек.

— Я прочитаю ему свой «Трактат о слухах», — весело сказал брат Нанин. — Спасибо, благородный дон.

— Чего не сделаешь в память о своем отце! — сказал Румата. — А теперь скажи, где мне найти отца Тарра?

Брат Нанин перестал улыбаться и растерянно замигал.

— Вчера здесь случилась драка, — сказал он. — А отец Тарра немного перепил. И потом, он же рыжий... Ему сломали ребро.

Румата крякнул от досады.

— Вот несчастье! — сказал он. — И почему вы так много пьете?

— Иногда бывает трудно удержаться, — грустно сказал брат Нанин.

— Это верно, — сказал Румата. — Ну что ж, вот еще два золотых, береги его.

Брат Нанин наклонился, ловя его руку. Румата

отступил.

— Ну-ну, — сказал он. — Это не самая лучшая из твоих шуток, брат Нанин. Прощай.

В порту пахло, как нигде в Арканаре. Пахло соленой водой, тухлой тиной, пряностями, смолой, дымом, лежалой солониной, из таверн несло чадом, жареной рыбой, прокисшей брагой. В душном воздухе висела густая разноязыкая ругань. На пирсах, в тесных проходах между складами, вокруг таверн толпились тысячи людей дикованного вида: расхлюстанные матросы, надутые купцы, угрюмые рыбаки, торговцы рабами, торговцы женщинами, раскрашенные девки, пьяные солдаты, какие-то неясные личности, увешанные оружием, фантастические оборванцы с золотыми браслетами на грязных лапах. Все были возбуждены и обозлены. По приказу дона Рэбы вот уже третий день ни один корабль, ни один челнок не мог покинуть порта. У причалов поигрывали ржавыми мясницкими топорами серые штурмовики — поплевывали, нагло и злорадно поглядывая на толпу. На арестованных кораблях группами по пять-шесть человек сидели на корточках ширококостные меднокожие люди в шкурах шерстью наружу и медных колпаках — наемники-варвары, никудышные в

рукопашном бою, но страшные вот так, на расстоянии, своими длиннющими духовыми трубками, стреляющими отравленной колючкой. А за лесом мачт, на открытом рейде чернели в мертвом штиле длинные боевые галеры королевского флота. Время от времени они испускали красные огненно-дымные струи, воспламеняющие море, — жгли нефть для устрашения.

Румата миновал таможенную канцелярию, где перед запертыми дверями сгрудились угрюмые морские волки, тщетно ожидающие разрешения на выход, протолкался через крикливую толпу, торгующую чем попало (от рабынь и черного жемчуга до наркотиков и дрессированных пауков), вышел к пирсам, покосился на выложенные в ряд для всеобщего обозрения на самом солнцепеке раздутые трупы в матросских куртках и, описав дугу по захламленному пустырю, проник в вонючие улочки портовой окраины. Здесь было тише. В дверях убогих притончиков дремали полуголые девки, на перекрестке валялся разбитой мордой вниз упившийся солдат с вывернутыми карманами, вдоль стен крались подозрительные фигуры с бледными ночными физиономиями.

Днем Румата был здесь впервые и сначала удивился, что не привлекает внимания: встреч-

ные заплывшими глазами глядели либо мимо, либо как бы сквозь него, хотя и сторонились, давая дорогу. Но, сворачивая за угол, он случайно обернулся и успел заметить, как десятка полтора разнокалиберных голов, мужских и женских, лохматых и лысых, мгновенно втянулись в двери, в окна, в подворотни. Тогда он ощутил странную атмосферу этого гнусного места, атмосферу не то чтобы вражды или опасности, а какого-то нехорошего, корыстного интереса.

Толкнув плечом дверь, он вошел в один из притонов, где в полутемной зальце дремал за стойкой длинноносый старичок с лицом мумии. За столами было пусто. Румата неслышно подошел к стойке и примерился уже щелкнуть старика в длинный нос, как вдруг заметил, что спящий старик вовсе не спит, а сквозь голые прижмуренные веки внимательно его разглядывает. Румата бросил на стойку серебряную монетку, и глаза старичка сейчас же широко раскрылись.

— Что будет угодно благородному дону? — деловито осведомился он. — Травку? Понюшку? Девочку?

— Не притворяйся, — сказал Румата. — Ты знаешь, зачем я сюда прихожу.

— Э-э, да никак это дон Румата! — с необы-

чайным удивлением вскричал старик. — Я и то смотрю, что-то знакомое...

Сказавши это, он снова опустил веки. Все было ясно. Румата обошел стойку и пролез сквозь узкую дверь в соседнюю комнатушку. Здесь было тесно, темно и воняло душной кислятиной. Посредине за высокой конторкой стоял, согнувшись над бумагами, сморщенный пожилой человек в плоской черной шапочке. На конторке мигала коптилка, и в сумраке виднелись только лица людей, неподвижно сидевших у стен. Румата, придерживая мечи, тоже нашарил табурет у стены и сел. Здесь были свои законы и свой этикет. Внимания на вошедшего никто не обратил: раз пришел человек, значит, так надо, а если не надо, то мигнут — и не станет человека. Ищи его хоть по всему свету... Сморщенный старик прилежно скрипел пером, люди у стен были неподвижны. Время от времени то один из них, то другой протяжно вздыхал. По стенам, легонько топоча, бегали невидимые ящерицы-мухоловки.

Неподвижные люди у стен были главарями банд — некоторых Румата давно знал в лицо. Сами по себе эти тупые животные стоили немного. Их психология была не сложнее психологии среднего лавочника. Они были невежественны,

беспощадны и хорошо владели ножами и короткими дубинками. А вот человек у конторки...

Его звали Вага Колесо, и он был всемогущим, не знающим конкурентов главою всех преступных сил Запроливья — от Питанских болот на западе Ирукана до морских границ торговой республики Соан. Он был проклят всеми тремя официальными церквами Империи за неумеренную гордыню, ибо называл себя младшим братом царствующих особ. Он располагал ночной армией общей численностью до десяти тысяч человек, богатством в несколько сотен тысяч золотых, а агентура его проникала в святая святых государственного аппарата. За последние двадцать лет его четырежды казнили, каждый раз при большом стечении народа; по официальной версии, он в настоящий момент томился сразу в трех самых мрачных застенках Империи, а дон Рэба неоднократно издавал указы «касательно возмутительного распространения государственными преступниками и иными злоумышленниками легенд о так называемом Ваге Колесе, на самом деле не существующем и, следовательно, легендарном». Тот же дон Рэба вызывал к себе, по слухам, некоторых баронов, располагающих сильными дружинами, и предлагал им вознаграждение: пятьсот золотых

за Вагу мертвого и семь тысяч золотых за живого. Самому Румате пришлось в свое время потратить немало сил и золота, чтобы войти в контакт с этим человеком. Вага вызывал в нем сильнейшее отвращение, но иногда был чрезвычайно полезен — буквально незаменим. Кроме того, Вага сильно занимал Румату как ученого. Это был любопытнейший экспонат в его коллекции средневековых монстров, личность, не имеющая, по-видимому, совершенно никакого прошлого...

Вага, наконец, положил перо, распрямился и сказал скрипуче:

— Вот так, дети мои. Две с половиной тысячи золотых за три дня. А расходов всего одна тысяча девятьсот девяносто шесть. Пятьсот четыре маленьких кругленьких золотых за три дня. Неплохо, дети мои, неплохо...

Никто не пошевелился. Вага отошел от конторки, сел в углу и сильно потер сухие ладони.

— Есть чем порадовать вас, дети мои, — сказал он. — Времена настают хорошие, изобильные... Но придется потрудиться. Ох как придется! Мой старший брат, король Арканарский, решил извести всех ученых людей в нашем с ним королевстве. Ну что ж, ему виднее. Да и кто мы такие, чтобы обсуждать его высокие решения? Однако

выгоду из этого его решения извлечь можно и должно. И поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы его ночные подданные, мы и свою малую толику не упустим. Он этого не заметит и не будет гневаться на нас. Что?

Никто не пошевелился.

— Мне показалось, что Пига вздохнул. Это правда, Пига, сынок?

В темноте заерзали и прокашлялись.

— Не вздыхал я, Вага, — сказал грубый голос. — Как можно...

— Нельзя, Пига, нельзя! Правильно! Все вы сейчас должны слушать меня, затаив дыхание. Все вы разъедетесь отсюда и возьметесь за тяжкий труд, и некому будет тогда посоветовать вам. Мой старший брат, его величество, устами министра своего дона Рэбы обещал за головы некоторых бежавших и скрывающихся ученых людей немалые деньги. Мы должны доставить ему эти головы и порадовать его, старика. А с другой стороны, некоторые ученые люди хотят скрыться от гнева моего старшего брата и не пожалеют для этого своих средств. Во имя милосердия и чтобы облегчить душу моего старшего брата от бремени лишних злодейств, мы поможем этим людям.

Впрочем, впоследствии, если его величеству понадобятся и эти головы, он их получит. Дешево, совсем дешево...

Вага замолчал и опустил голову. По щекам его вдруг потекли старческие медленные слезы.

— А ведь я старею, дети мои, — сказал он, всхлипнув. — Руки мои дрожат, ноги подгибаются подо мною, и память начинает мне изменять. Забыл ведь, совсем забыл, что среди нас, в этой душной, тесной клетушке томится благородный дон, которому совершенно нет дела до наших грошовых расчетов. Уйду я. Уйду на покой. А пока, дети мои, давайте извинимся перед благородным доном...

Он встал и, кряхтя, согнулся в поклоне. Остальные тоже встали и тоже поклонились, но с явной нерешительностью и даже с испугом. Румата буквально слышал, как трещат их тупые, примитивные мозги в тщетном стремлении угнаться за смыслом слов и поступков этого согбенного старичка.

Дело было, конечно, ясное: разбойничек пользовался лишним шансом довести до сведения дона Рэбы, что ночная армия в происходящем погроме намерена действовать вместе с серыми. Теперь же, когда настало время давать конкрет-

ные указания, называть имена и сроки операций, присутствие благородного дона становилось, мягко выражаясь, обременительным, и ему, благородному дону, предлагалось быстренько изложить свое дело и выметаться вон. Темненький старичок. Страшненький. И почему он в городе? Вага терпеть не может города.

— Ты прав, почтенный Вага, — сказал Румата. — Мне недосуг. Однако извиниться должен я, потому что беспокою тебя по совершенно пустяковому делу. — Он продолжал сидеть, и все слушали его стоя. — Случилось так, что мне нужна твоя консультация... Ты можешь сесть.

Вага еще раз поклонился и сел.

— Дело вот в чем, — продолжал Румата. — Три дня назад я должен был встретиться в Урочище Тяжелых Мечей со своим другом, благородным доном из Ирукана. Но мы не встретились. Он исчез. Я знаю точно, что ируканскую границу он пересек благополучно. Может быть, тебе известна его дальнейшая судьба?

Вага долго не отвечал. Бандиты сопели и вздыхали. Потом Вага откашлялся.

— Нет, благородный дон, — сказал он. — Нам ничего не известно о таком деле.

Румата сейчас же встал.

— Благодарю тебя, почтенный, — сказал он. Он шагнул на середину комнаты и положил на конторку мешочек с десятком золотых. — Оставляю тебя с просьбой: если тебе станет что-нибудь известно, дай мне знать. — Он прикоснулся к шляпе. — Прощай.

Возле самой двери он остановился и небрежно сказал через плечо:

— Ты тут говорил что-то об ученых людях. Мне пришла сейчас в голову мысль. Я чувствую, трудами короля в Арканаре через месяц не отыщешь ни одного порядочного книгочея. А я должен основать в метрополии университет, потому что дал обет за излечение меня от черного мора. Будь добр, когда подналовишь книгочеев, извести сначала меня, а потом уже дона Рэбу. Может статься, я отберу себе парочку для университета.

— Недешево обойдется, — сладким голосом предупредил Вага. — Товар редкостный, не залеживается.

— Честь дороже, — высокомерно сказал Румата и вышел.

Глава 3

Этого Вагу, думал Румата, было бы очень интересно изловить и вывезти на Землю. Технически это не сложно. Можно было бы сделать это прямо сейчас. Что бы он стал делать на Земле? Румата попытался представить себе, что Вага стал бы делать на Земле. В светлую комнату с зеркальными стенами и кондиционированным воздухом, пахнущим хвоей или морем, бросили огромного мохнатого паука. Паук прижался к сверкающему полу, судорожно повел злобными глазками и — что делать? — боком, боком кинулся в самый темный угол, вжался, угрожающе выставив ядовитые челюсти. Конечно, прежде всего Вага стал бы искать обиженных. И, конечно, самый глупый обиженный показался бы ему слишком чистым и непригодным к использованию. А ведь захирел бы старичок. Пожалуй, даже и умер бы. А впрочем, кто его знает! В том-то все и дело, что психология этих монстров — совершенно темный лес. Святой Мика! Разобраться в ней гораздо сложнее, чем в психологии негуманоидных цивилизаций. Все их действия можно объяснить, но чертовски трудно эти действия предсказать. Да,

может быть, и помер бы с тоски. А может быть, огляделся бы, приспособился, прикинул бы, что к чему, и поступил бы лесничим в какой-нибудь заповедник. Ведь не может же быть, чтобы не было у него мелкой, безобидной страстишки, которая здесь ему только мешает, а там могла бы стать сутью его жизни. Кажется, он кошек любит. В берлоге у него, говорят, целое стадо, и специальный человек к ним приставлен. И он этому человеку даже платит, хотя скуп и мог бы просто пригрозить. Но что бы он стал делать на Земле со своим чудовищным властолюбием — непонятно!

Румата остановился перед таверной и хотел было зайти, но обнаружил, что у него пропал кошелек. Он стоял перед входом в полной растерянности (он никак не мог привыкнуть к таким вещам, хотя это случилось с ним не впервые) и долго шарил по всем карманам. Всего было три мешочка, по десятку золотых в каждом. Один получил прокуратор, отец Кин, другой получил Вага. Третий исчез. В карманах было пусто, с левой штанины были аккуратно срезаны все золотые бляшки, а с пояса исчез кинжал.

Тут он заметил, что неподалеку остановились двое штурмовиков, глазеют на него и скалят зубы.

Сотруднику Института было на это наплевать, но благородный дон Румата Эсторский осатанел. На секунду он потерял контроль над собой. Он шагнул к штурмовикам, рука его непроизвольно поднялась, сжимаясь в кулак. Видимо, лицо его изменилось страшно, потому что насмешники шарахнулись и с застывшими, как у паралитиков, улыбками торопливо юркнули в таверну.

Тогда он испугался. Ему стало так страшно, как было только один раз в жизни, когда он — в то время еще сменный пилот рейсового звездолета — ощутил первый приступ малярии. Неизвестно, откуда взялась эта болезнь, и уже через два часа его с удивленными шутками и прибаутками вылечили, но он навсегда запомнил потрясение, испытанное им, совершенно здоровым, никогда не болевшим человеком, при мысли о том, что в нем что-то разладилось, что он стал ущербным и словно бы потерял единоличную власть над своим телом.

Я же не хотел, подумал он. У меня и в мыслях этого не было. Они же ничего особенного не делали — ну, стояли, ну, скалили зубы... Очень глупо скалили, но у меня, наверное, был ужасно нелепый вид, когда я шарил по карманам. Ведь я их чуть не зарубил, вдруг понял он. Если бы они

не убрались, я бы их зарубил. Он вспомнил, как совсем недавно на пари разрубил одним ударом сверху донизу чучело, одетое в двойной соанский панцирь, и по спине у него побежали мурашки... Сейчас бы они валялись вот здесь, как свиные туши, а я бы стоял с мечом в руке и не знал что делать... Вот так бог! Озверел...

Он почувствовал вдруг, что у него болят все мышцы, как после тяжелой работы. Ну-ну, тихо, сказал он про себя. Ничего страшного. Все прошло. Просто вспышка. Мгновенная вспышка, и все уже прошло. Я же все-таки человек, и все животное мне не чуждо... Это просто нервы. Нервы и напряжение последних дней... А главное — это ощущение наползающей тени. Непонятно чья, непонятно откуда, но она наползает и наползает совершенно неотвратимо...

Эта неотвратимость чувствовалась во всем. И в том, что штурмовики, которые еще совсем недавно трусливо жались к казармам, теперь с топорами наголо свободно разгуливают прямо посередине улиц, где раньше разрешалось ходить только благородным донам. И в том, что исчезли из города уличные певцы, рассказчики, плясуны, акробаты. И в том, что горожане перестали распевать куплеты политического содержания, стали

очень серьезными и совершенно точно знали, что необходимо для блага государства. И в том, что внезапно и необъяснимо был закрыт порт. И в том, что были разгромлены и сожжены «возмущенным народом» все лавочки, торгующие раритетами, — единственные места в королевстве, где можно было купить или взять на время книги и рукописи на всех языках Империи и на древних, ныне мертвых, языках аборигенов Запроливья. И в том, что украшение города, сверкающая башня астрологической обсерватории, торчала теперь в синем небе черным гнилым зубом, спаленная «случайным пожаром». И в том, что потребление спиртного за два последних года выросло в четыре раза — в Арканаре-то, издревле славившемся безудержным пьянством! И в том, что привычно забитые, замордованные крестьяне окончательно зарылись под землю в своих Благорастворениях, Райских Кущах и Воздушных Лобзаниях, не решаясь выходить из землянок даже для необходимых полевых работ. И, наконец, в том, что старый стервятник Вага Колесо переселился в город, чуя большую поживу... Где-то в недрах дворца, в роскошных апартаментах, где подагрический король, двадцать лет не видевший солнца из страха перед всем на свете,

сын собственного прадеда, слабоумно хихикая, подписывает один за другим жуткие приказы, обрекающие на мучительную смерть самых честных и бескорыстных людей, где-то там вызревал чудовищный гнойник, и прорыва этого гнойника надо было ждать не сегодня-завтра...

Румата поскользнулся на разбитой дыне и поднял голову. Он был на улице Премногоблагодарения, в царстве солидных купцов, менял и мастеров-ювелиров. По сторонам стояли добротные старинные дома с лавками и лабазами, тротуары здесь были широки, а мостовая выложена гранитными брусьями. Обычно здесь можно было встретить благородных да тех, кто побогаче, но сейчас навстречу Румате валила густая толпа возбужденных простолюдинов. Румату осторожно обходили, подобострастно поглядывая, многие на всякий случай кланялись. В окнах верхних этажей маячили толстые лица, на них остывало возбужденное любопытство. Где-то впереди начальственно покрикивали: «А ну проходи!.. Разойдись!.. А ну, быстро!..» В толпе переговаривались:

— В них-то самое зло и есть, их-то и опасайся больше всего. На вид-то они тихие, благонравные, почтенные, поглядишь — купец купцом, а

внутри яд горький!..

— Как они его, черта... Я уж на что привычный, да, веришь, замутило смотреть...

— А им хоть что... Во ребята! Прямо сердце радуется. Такие не выдадут.

— А может, не надо бы так? Все-таки человек, живое дыхание... Ну, грешен — так накажите, поучите, а зачем вот так-то?..

— Ты, это, брось!.. Ты, это, потише: во-первых, люди кругом...

— Хозяин, а хозяин! Сукно есть хорошее, отдадут, не подорожатся, если нажать... Только быстрее надо, а то опять Пакиновы приказчики перехватят...

— Ты, сынок, главное, не сомневайся. Поверь, главное. Раз власти поступают — значит, знают, что делают...

Опять кого-то забили, подумал Румата. Ему захотелось свернуть и обойти стороной то место, откуда текла толпа и где кричали проходить и разойтись. Но он не свернул. Он только провел рукой по волосам, чтобы упавшая прядь не закрыла камень на золотом обруче. Камень был не камень, а объектив телепередатчика, и обруч был не обруч, а рация. Историки на Земле видели и слышали все, что видели и слышали двести

пятьдесят разведчиков на девяти материках планеты. И потому разведчики были обязаны смотреть и слушать.

Задрав подбородок и растопырив в стороны мечи, чтобы задевать побольше народу, он пошел прямо на людей посередине мостовой, и встречные поспешно шарахались, освобождая дорогу. Четверо коренастых носильщиков с раскрашенными мордами пронесли через улицу серебристый портшез. Из-за занавесок выглянуло красивое холодное личико с подведенными ресницами. Румата сорвал шляпу и поклонился. Это была дона Окана, нынешняя фаворитка орла нашего, дона Рэбы. Увидя великолепного кавалера, она томно и значительно улыбнулась ему. Можно было, не задумываясь, назвать два десятка благородных донов, которые, удостоившись такой улыбки, кинулись бы к женам и любовницам с радостным известием: «Теперь все прочие пусть поберегутся, всех теперь куплю и продам, все им припомню!..» Такие улыбки — штука редкая и подчас неоценимо дорогая. Румата остановился, провожая взглядом портшез. Надо решаться, подумал он. Надо, наконец, решаться... Он поежился при мысли о том, чего это будет стоить. Но ведь надо! Надо... Решено, подумал он, все равно дру-

гого пути нет. Сегодня вечером. Он поравнялся с оружейной лавкой, куда заглядывал давеча прицениться к кинжалам и послушать стихи, и снова остановился. Вон оно что... Значит, это была твоя очередь, добрый отец Гаук...

Толпа уже рассосалась. Дверь лавки была сорвана с петель, окна выбиты. В дверном проеме стоял, упершись ногой в косяк, огромный штурмовик в серой рубахе. Другой штурмовик, пожиже, сидел на корточках у стены. Ветер катал по мостовой мятые исписанные листы.

Огромный штурмовик сунул палец в рот, пососал, потом вынул изо рта и оглядел внимательно. Палец был в крови. Штурмовик поймал взгляд Руматы и благодушно просипел:

— Кусается, стерва, что твой хорек...

Второй штурмовик торопливо хихикнул. Этакий жиденький, бледный парнишка, неуверенный, с прыщавой мордой, сразу видно: новичок, гаденыш, щенок...

— Что здесь произошло? — спросил Румата.

— За скрытого книгочея подержались, — нервно сказал щенок.

Верзила опять принялся сосать палец, не меняя позы.

— Смир-рна! — негромко скомандовал Румата.

Щенок торопливо вскочил и подобрал топор. Верзила подумал, но все-таки опустил ногу и встал довольно прямо.

— Так что за книгочей? — осведомился Румата.

— Не могу знать, — сказал щенок. — По приказу отца Цупика...

— Ну и что же? Взяли?

— Так точно! Взяли!

— Это хорошо, — сказал Румата.

Это действительно было совсем не плохо. Время еще оставалось. Нет ничего дороже времени, подумал он. Час стоит жизни, день бесценен.

— И куда же вы его? В Башню?

— А? — растерянно спросил щенок.

— Я спрашиваю, он в Башне сейчас?

На прыщавой мордочке расплылась неуверенная улыбка. Верзила заржал. Румата стремительно обернулся. Там, на другой стороне улицы, мешком тряпья висел на перекладине ворот труп отца Гаука. Несколько оборванных мальчишек, раскрыв рты, глазели на него со двора.

— Нынче в Башню не всякого отправляют, — благодушно просипел за спиной верзила. — Нынче у нас быстро. Узел за ухо — и пошел прогуляться...

Щенок снова захихикал. Румата слепо огля-

нулся на него и медленно перешел улицу. Лицо печального поэта было черным и незнакомым. Румата опустил глаза. Только руки были знакомы, длинные слабые пальцы, запачканные чернилами...

Теперь не уходят из жизни,
Теперь из жизни уводят.
И если кто-нибудь даже
Захочет, чтоб было иначе,
Бессильный и неумелый,
Опустит слабые руки,
Не зная, где сердце спрута
И есть ли у спрута сердце...

Румата повернулся и пошел прочь. Добрый слабый Гаук... У спрута есть сердце. И мы знаем, где оно. И это всего страшнее, мой тихий, беспомощный друг. Мы знаем, где оно, но мы не можем разрубить его, не проливая крови тысяч запуганных, одурманенных, слепых, не знающих сомнения людей. А их так много, безнадежно много, темных, разъединенных, озлобленных вечным неблагодарным трудом, униженных, не способных еще подняться над мыслишкой о лишнем медяке... И их еще нельзя научить, объ-

единить, направить, спасти от самих себя. Рано, слишком рано, на столетия раньше, чем можно, поднялась в Арканаре серая топь, она не встретит отпора, и остается одно: спасать тех немногих, кого можно успеть спасти. Будаха, Тарру, Нанина, ну еще десяток, ну еще два десятка...

Но одна только мысль о том, что тысячи других, пусть менее талантливых, но тоже честных, по-настоящему благородных людей фатально обречены, вызывала в груди ледяной холод и ощущение собственной подлости. Временами это ощущение становилось таким острым, что сознание помрачалось, и Румата словно наяву видел спины серой сволочи, озаряемые лиловыми вспышками выстрелов, и перекошенную животным ужасом всегда такую незаметную, бледненькую физиономию дона Рэбы, и медленно обрушивающуюся внутрь себя Веселую Башню... Да, это было бы сладостно. Это было бы настоящее дело. Настоящее макроскопическое воздействие. Но потом... Да, они в Институте правы. Потом неизбежное. Кровавый хаос в стране. Ночная армия Ваги, выходящая на поверхность, десять тысяч головорезов, отлученных всеми церквами, насильников, убийц, растлителей; орды меднокожих варваров, спускающиеся с

гор и истребляющие все живое, от младенцев до стариков; громадные толпы слепых от ужаса крестьян и горожан, бегущих в леса, в горы, в пустыни; и твои сторонники — веселые люди, смелые люди! — вспарывающие друг другу животы в жесточайшей борьбе за власть и за право владеть пулеметом после твоей неизбежно насильственной смерти... И эта нелепая смерть — из чаши вина, поданной лучшим другом, или от арбалетной стрелы, свистнувшей в спину из-за портьеры. И окаменевшее лицо того, кто будет послан с Земли тебе на смену и найдет страну, обезлюдевшую, залитую кровью, догорающую пожарищами, в которой все, все, все придется начинать сначала...

Когда Румата пнул дверь своего дома и вошел в великолепную обветшалую прихожую, он был мрачен, как туча. Муга, седой, сгорбленный слуга с сорокалетним лакейским стажем, при виде его съежился и только смотрел, втянув голову в плечи, как свирепый молодой хозяин срывает с себя шляпу, плащ и перчатки, швыряет на лавку перевязи с мечами и поднимается в свои покои. В гостиной Румату ждал мальчик Уно.

— Вели подать обедать, — прорычал Румата. — В кабинет.

Мальчик не двинулся с места.

— Вас там дожидаются, — угрюмо сообщил он.

— Кто еще?

— Девка какая-то. А может, дона. По обращению вроде девка — ласковая, а одета по-благородному... Красивая.

Кира, подумал Румата с нежностью и облегчением. Ох, как славно! Как чувствовала, маленькая моя... Он постоял, закрыв глаза, собираясь с мыслями.

— Прогнать, что ли? — деловито спросил мальчик.

— Балда ты, — сказал Румата. — Я тебе прогоню!.. Где она?

— Да в кабинете, — сказал мальчик, неумело улыбаясь.

Румата скорым шагом направился в кабинет.

— Вели обед на двоих, — приказал он на ходу. — И смотри: никого не пускать! Хоть король, хоть черт, хоть сам дон Рэба...

Она была в кабинете, сидела с ногами в кресле, подпершись кулачком, и рассеянно перелистывала «Трактат о слухах». Когда он вошел, она вскинулась, но он не дал ей подняться, подбежал, обнял и сунул нос в пышные душистые ее волосы, бормоча: «Как кстати, Кира!.. Как кстати!..»

Ничего в ней особенного не было. Девчонка как девчонка, восемнадцать лет, курносенькая, отец — помощник писца в суде, брат — сержант у штурмовиков. И замуж ее медлили брать, потому что была рыжая, а рыжих в Арканаре не жаловали. По той же причине была она на удивление тиха и застенчива, и ничего в ней не было от горластых, пышных мещанок, которые очень ценились во всех сословиях. Не была она похожа и на томных придворных красавиц, слишком рано и на всю жизнь познающих, в чем смысл женской доли. Но любить она умела, как любят сейчас на Земле, — спокойно и без оглядки...

— Почему ты плакала?

— Почему ты такой сердитый?

— Нет, ты скажи, почему ты плакала?

— Я тебе потом расскажу. У тебя глаза совсем-совсем усталые... Что случилось?

— Потом. Кто тебя обидел?

— Никто меня не обидел. Увези меня отсюда.

— Обязательно.

— Когда мы уедем?

— Я не знаю, маленькая. Но мы обязательно уедем.

— Далеко?

— Очень далеко.

— В метрополию?

— Да... в метрополию. Ко мне.

— Там хорошо?

— Там дивно хорошо. Там никто никогда не плачет.

— Так не бывает.

— Да, конечно. Так не бывает. Но ты там никогда не будешь плакать.

— А какие там люди?

— Как я.

— Все такие?

— Не все. Есть гораздо лучше.

— Вот это уж не бывает.

— Вот это уж как раз бывает!

— Почему тебе так легко верить? Отец никому не верит. Брат говорит, что все свиньи, только одни грязные, а другие нет. Но я им не верю, а тебе всегда верю...

— Я люблю тебя...

— Подожди... Румата... Сними обруч... Ты говорил — это грешно...

Румата счастливо засмеялся, стянул с головы обруч, положил его на стол и прикрыл книгой.

— Это глаз бога, — сказал он. — Пусть закроется... — Он поднял ее на руки. — Это очень грешно, но когда я с тобой, мне не нужен бог. Правда?

— Правда, — сказала она тихонько.

Когда они сели за стол, жаркое простыло, а вино, принесенное с ледника, степлилось. Пришел мальчик Уно и, неслышно ступая, как учил его старый Муга, пошел вдоль стен, зажигая светильники, хотя было еще светло.

— Это твой раб? — спросила Кира.

— Нет, это свободный мальчик. Очень славный мальчик, только очень скупой.

— Денежки счет любят, — заметил Уно, не оборачиваясь.

— Так и не купил новые простыни? — спросил Румата.

— Чего там, — сказал мальчик. — И старые сойдут...

— Слушай, Уно, — сказал Румата. — Я не могу месяц подряд спать на одних и тех же простынях.

— Хэ, — сказал мальчик. — Его величество по полгода спят и не жалуются...

— А маслице, — сказал Румата, подмигивая Кире, — маслице в светильниках. Оно что — бесплатное?

Уно остановился.

— Так ведь гости у вас, — сказал он, наконец, решительно.

— Видишь, какой он! — сказал Румата.

— Он хороший, — серьезно сказала Кира. — Он тебя любит. Давай возьмем его с собой.

— Посмотрим, — сказал Румата.

Мальчик подозрительно спросил:

— Это куда еще? Никуда я не поеду.

— Мы поедем туда, — сказала Кира, — где все люди как дон Румата.

Мальчик подумал и презрительно сказал: «В рай, что ли, для благородных?..» Затем он насмешливо фыркнул и побрел из кабинета, шаркая разбитыми башмаками. Кира посмотрела ему вслед.

— Славный мальчик, — сказала она. — Угрюмый, как медвежонок. Хороший у тебя друг.

— У меня все друзья хорошие.

— А барон Пампа?

— Откуда ты его знаешь? — удивился Румата.

— А ты больше ни про кого и не рассказываешь. Я от тебя только и слышу — барон Пампа да барон Пампа.

— Барон Пампа — отличный товарищ.

— Как это так: барон — товарищ?

— Я хочу сказать, хороший человек. Очень добрый и веселый. И очень любит свою жену.

— Я хочу с ним познакомиться... Или ты стесняешься меня?

— Не-ет, я не стесняюсь. Только он хоть и хороший человек, а все-таки барон.

— А... — сказала она.

Румата отодвинул тарелку.

— Ты все-таки скажи мне, почему плакала. И прибежала одна. Разве сейчас можно одной по улицам бегать?

— Я не могла дома. Я больше не вернусь домой. Можно, я у тебя служанкой буду? Даром.

Румата просмеялся сквозь комок в горле.

— Отец каждый день доносы переписывает, — продолжала она с тихим отчаянием. — А бумаги, с которых переписывает, все в крови. Ему их в Веселой Башне дают. И зачем ты только меня читать научил? Каждый вечер, каждый вечер... Перепишет пыточную запись — и пьет... Так страшно, так страшно!.. «Вот, — говорит, — Кира, наш сосед-каллиграф учил людей писать. Кто, ты думаешь, он есть? Под пыткой показал, что колдун и ируканский шпион. Кому же, — говорит, — теперь верить? Я, — говорит, — сам у него письму учился». А брат придет из патруля — пьяней пива, руки все в засохшей крови... «Всех, — говорит, — вырежем до двенадцатого потомка...» Отца допрашивает, почему, мол, грамотный... Сегодня с приятелями затащил в дом какого-то

человека... Били его, все кровью забрызгали. Он уж и кричать перестал. Не могу я так, не вернусь, лучше убей меня!..

Румата встал возле нее, гладя по волосам. Она смотрела в одну точку блестящими сухими глазами. Что он мог ей сказать? Поднял на руки, отнес на диван, сел рядом и стал рассказывать про хрустальные храмы, про веселые сады на много миль без гнилья, комаров и нечисти, про скатерть-самобранку, про ковры-самолеты, про волшебный город Ленинград, про своих друзей — людей гордых, веселых и добрых, про дивную страну за морями, за горами, которая называется по-странному — Земля... Она слушала тихо и внимательно и только крепче прижималась к нему, когда под окнами на улице — грррум, грррум, грррум — протопывали подкованные сапоги.

Было в ней чудесное свойство: она свято и бескорыстно верила в хорошее. Расскажи такую сказку крепостному мужичку — хмыкнет с сомнением, утрет рукавом сопли да и пойдет, ни слова не говоря, только оглядываясь на доброго, трезвого, да только — эх, беда-то какая! — тронутого умом благородного дона. Начни такое рассказывать дону Тамэо с доном Сэра — не дослушают: один заснет, а другой, рыгнув, скажет:

«Это, — скажет, — очень все бла-ародно, а вот как там насчет баб?..» А дон Рэба выслушал бы до конца внимательно, а выслушав, мигнул бы штурмовичкам, чтобы заломили благородному дону локти к лопаткам да выяснили бы точно, от кого благородный дон сих опасных сказок наслушался да кому уже успел их рассказать...

Когда она заснула, успокоившись, он поцеловал ее в спокойное спящее лицо, накрыл зимним плащом с меховой опушкой и на цыпочках вышел, притворив за собой противно скрипнувшую дверь. Пройдя по темному дому, спустился в людскую и сказал, глядя поверх склонившихся в поклоне голов:

— Я взял домоправительницу. Имя ей Кира. Жить будет наверху, при мне. Комнату, что за кабинетом, завтра же прибрать тщательно. Домоправительницу слушаться, как меня. — Он обвел слуг глазами: не скалится ли кто. Никто не скалился, слушали с должной почтительностью. — А если кто болтать за воротами станет, язык вырву!

Окончив речь, он еще некоторое время постоял для внушительности, потом повернулся и снова поднялся к себе. В гостиной, увешанной ржавым оружием, заставленной причудливой, источен-

ной жучками мебелью, он встал у окна и, глядя на улицу, прислонился лбом к холодному темному стеклу. Пробили первую стражу. В окнах напротив зажигали светильники и закрывали ставни, чтобы не привлекать злых людей и злых духов. Было тихо, только один раз где-то внизу ужасным голосом заорал пьяный — то ли его раздевали, то ли ломился в чужие двери.

Самым страшным были эти вечера, тошные, одинокие, беспросветные. Мы думали, что это будет вечный бой, яростный и победоносный. Мы считали, что всегда будем сохранять ясные представления о добре и зле, о враге и друге. И мы думали в общем правильно, только многого не учли. Например, этих вечеров не представляли себе, хотя точно знали, что они будут...

Внизу загремело железо — задвигали засовы, готовясь к ночи. Кухарка молилась святому Мике, чтобы послал какого ни на есть мужа, только был бы человек самостоятельный и с понятием. Старый Муга зевал, омахиваясь большим пальцем. Слуги на кухне допивали вечернее пиво и сплетничали, а Уно, поблескивая недобрыми глазами, говорил им по-взрослому: «Будет языки чесать, кобели вы...»

Румата отступил от окна и прошелся по го-

стиной. Это безнадежно, подумал он. Никаких сил не хватит, чтобы вырвать их из привычного круга забот и представлений. Можно дать им все. Можно поселить их в самых современных спектроглассовых домах и научить их ионным процедурам, и все равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лупит жена. И не будет для них лучшего времяпрепровождения. В этом смысле дон Кондор прав: Рэба — чушь, мелочь в сравнении с громадой традиций, правил стадности, освященных веками, незыблемых, проверенных, доступных любому тупице из тупиц, освобождающих от необходимости думать и интересоваться. А дон Рэба не попадет, наверное, даже в школьную программу. «Мелкий авантюрист в эпоху укрепления абсолютизма».

Дон Рэба, дон Рэба! Не высокий, но и не низенький, не толстый и не очень тощий, не слишком густоволос, но и далеко не лыс. В движениях не резок, но и не медлителен, с лицом, которое не запоминается, которое похоже сразу на тысячи лиц. Вежливый, галантный с дамами, внимательный собеседник, не блещущий, впрочем, никакими особенными мыслями...

Три года назад он вынырнул из каких-то за-

плесневелых подвалов дворцовой канцелярии, мелкий, незаметный чиновник, угодливый, бледненький, даже какой-то синеватый. Потом тогдашний первый министр был вдруг арестован и казнен, погибли под пытками несколько одуревших от ужаса, ничего не понимающих сановников, и словно на их трупах вырос исполинским бледным грибом этот цепкий, беспощадный гений посредственности. Он никто. Он ниоткуда. Это не могучий ум при слабом государе, каких знала история, не великий и страшный человек, отдающий всю жизнь идее борьбы за объединение страны во имя автократии. Это не златолюбец-временщик, думающий лишь о золоте и бабах, убивающий направо и налево ради власти и властвующий, чтобы убивать. Шепотом поговаривают даже, что он и не дон Рэба вовсе, что дон Рэба — совсем другой человек, а этот — бог знает кто, оборотень, двойник, подменыш...

Что он ни задумывал, все проваливалось. Он натравил друг на друга два влиятельных рода в королевстве, чтобы ослабить их и начать широкое наступление на баронство. Но роды помирились, под звон кубков провозгласили вечный союз и отхватили у короля изрядный кусок земли, искони принадлежавший Тоцам

Арканарским. Он объявил войну Ирукану, сам повел армию к границе, потопил ее в болотах и растерял в лесах, бросил все на произвол судьбы и сбежал обратно в Арканар. Благодаря стараниям дона Гуга, о котором он, конечно, и не подозревал, ему удалось добиться у герцога Ируканского мира — ценой двух пограничных городов, а затем королю пришлось выскрести до дна опустевшую казну, чтобы бороться с крестьянскими восстаниями, охватившими всю страну. За такие промахи любой министр был бы повешен за ноги на верхушке Веселой Башни, но дон Рэба каким-то образом остался в силе. Он упразднил министерства, ведающие образованием и благосостоянием, учредил министерство охраны короны, снял с правительственных постов родовую аристократию и немногих ученых, окончательно развалил экономику, написал трактат «О скотской сущности земледельца» и, наконец, год назад организовал «охранную гвардию» — «Серые роты». За Гитлером стояли монополии. За доном Рэбой не стоял никто, и было очевидно, что штурмовики в конце концов сожрут его, как муху. Но он продолжал крутить и вертеть, нагромождать нелепость на нелепость, выкручивался, словно старался обмануть самого себя, словно

не знал ничего, кроме параноической задачи — истребить культуру. Подобно Ваге Колесу, он не имел никакого прошлого. Два года назад любой аристократический ублюдок с презрением говорил о «ничтожном хаме, обманувшем государя», зато теперь, какого аристократа ни спроси, всякий называет себя родственником министра охраны короны по материнской линии.

Теперь вот ему понадобился Будах. Снова нелепость. Снова какой-то дикий финт. Будах — книгочей. Книгочея — на кол. С шумом, с помпой, чтобы все знали. Но шума и помпы нет. Значит, нужен живой Будах. Зачем? Не настолько же Рэба глуп, чтобы надеяться заставить Будаха работать на себя? А может быть, глуп? А может быть, дон Рэба просто глупый и удачливый интриган, сам толком не знающий, чего он хочет, и с хитрым видом валяющий дурака у всех на виду? Смешно, я три года слежу за ним и так до сих пор и не понял, что он такое. Впрочем, если бы он следил за мной, он бы тоже не понял. Ведь все может быть, вот что забавно! Базисная теория конкретизирует лишь основные виды психологической целенаправленности, а на самом деле этих видов столько же, сколько людей, у власти может оказаться кто угодно! Например, человечек, всю жизнь зани-

мавшийся уязвлением соседей. Плевал в чужие кастрюли с супом, подбрасывал толченое стекло в чужое сено. Его, конечно, сметут, но он успеет вдосталь наплеваться, нашкодить, натешиться... И ему нет дела, что в истории о нем не останется следа или что отдаленные потомки будут ломать голову, подгоняя его поведение под развитую теорию исторических последовательностей.

Мне теперь уже не до теории, подумал Румата. Я знаю только одно: человек есть объективный носитель разума, все, что мешает человеку развивать разум, — зло, и зло это надлежит устранять в кратчайшие сроки и любым путем. Любым? Любым ли?.. Нет, наверное, не любым. Или любым? Слюнтяй! — подумал он про себя. Надо решаться. Рано или поздно все равно придется решаться.

Он вдруг вспомнил про дону Окану. Вот и решайся, подумал он. Начни именно с этого. Если бог берется чистить нужник, пусть не думает, что у него будут чистые пальцы... Он ощутил дурноту при мысли о том, что ему предстоит. Но это лучше, чем убивать. Лучше грязь, чем кровь. Он на цыпочках, чтобы не разбудить Киру, прошел в кабинет и переоделся. Повертел в руках обруч с передатчиком, решительно сунул в ящик стола. Затем воткнул в волосы за правым ухом

белое перо — символ любви страстной, прицепил мечи и накинул лучший плащ. Уже внизу, отодвигая засовы, подумал: а ведь если узнает дон Рэба — конец доне Окане. Но было уже поздно возвращаться.

Глава 4

Гости уже собрались, но дона Окана еще не выходила. У золоченого столика с закусками картинно выпивали, выгибая спины и отставляя поджарые зады, королевские гвардейцы, прославленные дуэлями и сексуальными похождениями. Возле камина хихикали худосочные дамочки в возрасте, ничем не примечательные и потому взятые доной Оканой в конфидентки. Они сидели рядышком на низких кушетках, а перед ними хлопотали трое старичков на тонких, непрерывно двигающихся ногах — знаменитые щеголи времен прошлого регентства, последние знатоки давно забытых анекдотов. Все знали, что без этих старичков салон не салон. Посередине зала стоял, расставив ноги в ботфортах, дон Рипат, верный и неглупый агент Руматы, лейтенант серой роты галантерейщиков, с великолепными усами и без каких бы то ни было принципов. Засунув большие красные руки за кожаный пояс, он слушал дона Тамэо, путано излагавшего новый проект ущемления мужиков в пользу торгового сословия, и время от времени поводил усом в сторону дона Сэра, который бродил от

стены к стене, видимо, в поисках двери. В углу, бросая по сторонам предупредительные взгляды, доедали тушенного с черемшой крокодила двое знаменитых художников-портретистов, а рядом с ними сидела в оконной нише пожилая женщина в черном — нянька, приставленная доном Рэбой к доне Окане. Она строго смотрела перед собой неподвижным взглядом, иногда неожиданно ныряя всем телом вперед. В стороне от остальных развлекались картами особа королевской крови и секретарь соанского посольства. Особа передергивала, секретарь терпеливо улыбался. В гостиной это был единственный человек, занятый делом: он собирал материал для очередного посольского донесения.

Гвардейцы у столика приветствовали Румату бодрыми возгласами. Румата дружески подмигнул им и произвел обход гостей. Он раскланялся со старичками-щеголями, отпустил несколько комплиментов конфиденткам, которые немедленно уставились на белое перо у него за ухом, потрепал особу королевской крови по жирной спине и направился к дону Рипату и дону Тамэо. Когда он проходил мимо оконной ниши, нянька снова сделала падающее движение, и от нее пахнуло густым винным перегаром.

При виде Руматы дон Рипат выпростал руки из-под ремня и щелкнул каблуками, а дон Тамэо вскричал вполголоса:

— Вы ли это, мой друг? Как хорошо, что вы пришли, я уже потерял надежду... «Как лебедь с подбитым крылом взывает тоскливо к звезде...» Я так скучал... Если бы не милейший дон Рипат, я бы умер с тоски!

Чувствовалось, что дон Тамэо протрезвился было к обеду, но остановиться так и не смог.

— Вот как? — удивился Румата. — Мы цитируем мятежника Цурэна?

Дон Рипат сразу подобрался и хищно посмотрел на дона Тамэо.

— Э-э... — произнес дон Тамэо, потерявшись. — Цурэна? Почему, собственно?.. Ну да, я в ироническом смысле, уверяю вас, благородные доны! Ведь что есть Цурэн? Низкий, неблагодарный демагог. И я хотел лишь подчеркнуть...

— Что доны Оканы здесь нет, — подхватил Румата, — и вы заскучали без нее.

— Именно это я и хотел подчеркнуть.

— Кстати, где она?

— Ждем с минуты на минуту, — сказал дон Рипат и, поклонившись, отошел.

Конфидентки, одинаково раскрыв рты, не отры-

ваясь смотрели на белое перо. Старички-щеголи жеманно хихикали. Дон Тамэо, наконец, тоже заметил перо и затрепетал.

— Мой друг! — зашептал он. — Зачем это вам? Не ровен час, войдет дон Рэба... Правда, его не ждут сегодня, но все равно...

— Не будем об этом, — сказал Румата, нетерпеливо озираясь. Ему хотелось, чтобы все скорее кончилось.

Гвардейцы уже приближались с чашами.

— Вы так бледны... — шептал дон Тамэо. — Я понимаю, любовь, страсть... Но, святой Мика! Государство превыше... И это опасно, наконец... Оскорбление чувств...

В лице его что-то изменилось, и он стал пятиться, отступать, отходить, непрерывно кланяясь. Румату обступили гвардейцы. Кто-то протянул ему полную чашу.

— За честь и короля! — заявил один гвардеец.

— И за любовь, — добавил другой.

— Покажите ей, что такое гвардия, благородный Румата, — сказал третий.

Румата взял чашу и вдруг увидел дону Окану. Она стояла в дверях, обмахиваясь веером и томно покачивая плечами. Да, она была хороша! На расстоянии она была даже прекрасна. Она была

совсем не во вкусе Руматы, но она была несомненно хороша, эта глупая, похотливая курица. Огромные синие глаза без тени мысли и теплоты, нежный многоопытный рот, роскошное, умело и старательно обнаженное тело... Гвардеец за спиной Руматы, видимо, не удержавшись, довольно громко чмокнул. Румата, не глядя, сунул ему кубок и длинными шагами направился к доне Окане. Все в гостиной отвели от них глаза и деятельно заговорили о пустяках.

— Вы ослепительны, — пробормотал Румата, глубоко кланяясь и лязгая мечами. — Позвольте мне быть у ваших ног... Подобно псу борзому лечь у ног красавицы нагой и равнодушной...

Дона Окана прикрылась веером и лукаво прищурилась.

— Вы очень смелы, благородный дон, — проговорила она. — Мы, бедные провинциалки, неспособны устоять против такого натиска... — У нее был низкий, с хрипотцой голос. — Увы, мне остается только открыть ворота крепости и впустить победителя...

Румата, скрипнув зубами от стыда и злости, поклонился еще глубже. Дона Окана опустила веер и крикнула:

— Благородные доны, развлекайтесь! Мы с

доном Руматой сейчас вернемся! Я обещала ему показать мои новые ируканские ковры...

— Не покидайте нас надолго, очаровательница! — проблеял один из старичков.

— Прелестница! — сладко произнес другой старичок. — Фея!

Гвардейцы дружно громыхнули мечами. «Право, у него губа не дура...» — внятно сказала королевская особа. Дона Окана взяла Румату за рукав и потянула за собой. Уже в коридоре Румата услыхал, как дон Сэра с обидой в голосе провозгласил: «Не вижу, почему бы благородному дону не посмотреть на ируканские ковры...»

В конце коридора дона Окана внезапно остановилась, обхватила Румату за шею и с хриплым стоном, долженствующим означать прорвавшуюся страсть, впилась ему в губы. Румата перестал дышать. От феи остро несло смешанным ароматом немытого тела и эсторских духов. Губы у нее были горячие, мокрые и липкие от сладостей. Сделав над собой усилие, он попытался ответить на поцелуй, и это, по-видимому, ему удалось, так как дона Окана снова застонала и повисла у него на руках с закрытыми глазами. Это длилось целую вечность. Ну, я тебя, потаскуха, подумал Румата и сжал ее в объятиях. Что-то хрустнуло,

не то корсаж, не то ребра, красавица жалобно пискнула, изумленно раскрыла глаза и забилась, стараясь освободиться. Румата поспешно разжал руки.

— Противный... — тяжело дыша, сказала она с восхищением. — Ты чуть не сломал меня...

— Я сгораю от любви, — виновато пробормотал он.

— Я тоже. Я так ждала тебя! Пойдем скорей...

Она потащила его за собой через какие-то холодные темные комнаты. Румата достал платок и украдкой вытер рот. Теперь эта затея казалась ему совершенно безнадежной. Надо, думал он. Мало ли что надо!.. Тут разговорами не отделаешься. Святой Мика, почему они здесь во дворце никогда не моются? Ну и темперамент. Хоть бы дон Рэба пришел... Она тащила его молча, напористо, как муравей дохлую гусеницу. Чувствуя себя последним идиотом, Румата понес какую-то куртуазную чепуху о быстрых ножках и алых губках — дона Окана только похохатывала. Она втолкнула его в жарко натопленный будуар, действительно весь завешанный коврами, бросилась на огромную кровать и, разметавшись на подушках, стала глядеть на него влажными гиперстеничными глазами. Румата стоял как

столб. В будуаре отчетливо пахло клопами.

— Ты прекрасен, — прошептала она. — Иди же ко мне. Я так долго ждала!..

Румата завел глаза, его подташнивало. По лицу, гадко щекоча, покатились капли пота. Не могу, подумал он. К чертовой матери всю эту информацию... Лисица... Мартышка... Это же противоестественно, грязно... Грязь лучше крови, но *это* гораздо хуже грязи!

— Что же вы медлите, благородный дон? — визгливым, срывающимся голосом закричала дона Окана. — Идите же сюда, я жду!

— К ч-черту... — хрипло сказал Румата.

Она вскочила и подбежала к нему.

— Что с тобой? Ты пьян?

— Не знаю, — выдавил он из себя. — Душно.

— Может быть, приказать тазик?

— Какой тазик?

— Ну ничего, ничего... Пройдет... — Трясущимися от нетерпения пальцами она принялась расстегивать его камзол. — Ты прекрасен... — задыхаясь, бормотала она. — Но ты робок, как новичок. Никогда бы не подумала... Это же прелестно: клянусь святой Барой!..

Ему пришлось схватить ее за руки. Он смотрел на нее сверху вниз и видел блестящие от

лака неопрятные волосы, круглые голые плечи в шариках свалявшейся пудры, маленькие малиновые уши. Скверно, подумал он. Ничего не выйдет. А жаль, она должна кое-что знать... Дон Рэба болтает во сне... Он водит ее на допросы, она очень любит допросы... Не могу.

— Ну? — сказала она раздраженно.

— Ваши ковры прекрасны, — громко сказал он. — Но мне пора.

Сначала она не поняла, затем лицо ее исказилось.

— Как ты смеешь? — прошептала она, но он уже нащупал лопатками дверь, выскочил в коридор и быстро пошел прочь. С завтрашнего дня перестаю мыться, подумал он. Здесь нужно быть боровом, а не богом!

— Мерин! — крикнула она ему вслед. — Кастрат сопливый! Баба! На кол тебя!..

Румата распахнул какое-то окно и спрыгнул в сад. Некоторое время он стоял под деревом, жадно глотая холодный воздух. Потом вспомнил о дурацком белом пере, выдернул его, яростно смял и отбросил. У Пашки бы тоже ничего не вышло, подумал он. Ни у кого бы не вышло. «Ты уверен?» — «Да, уверен». — «Тогда грош вам всем цена!» — «Но меня тошнит от этого!» — «Эксперименту нет

дела до твоих переживаний. Не можешь — не берись». — «Я не животное!» — «Если Эксперимент требует, надо стать животным». — «Эксперимент не может этого требовать». — «Как видишь, может». — «А тогда!..» — «Что «тогда»?» Он не знал, что тогда. «Тогда... Тогда... Хорошо, будем считать, что я плохой историк. — Он пожал плечами. — Постараемся стать лучше. Научимся превращаться в свиней...»

Было около полуночи, когда он вернулся домой. Не раздеваясь, только распустив пряжки перевязи, повалился в гостиной на диван и заснул как убитый.

Его разбудили негодующие крики Уно и благодушный басистый рев:

— Пошел, пошел, волчонок, отдавлю ухо!..

— Да спят они, говорят вам!

— Брысь, не путайся под ногами!..

— Не велено, говорят вам!

Дверь распахнулась, и в гостиную ввалился огромный, как зверь Пэх, барон Пампа дон Бау, краснощекий, белозубый, с торчащими вперед усами, в бархатном берете набекрень и в роскошном малиновом плаще, под которым тускло блестел медный панцирь. Следом волочился Уно, вцепившийся барону в правую штанину.

— Барон! — воскликнул Румата, спуская с дивана ноги. — Как вы очутились в городе, дружище? Уно, оставь барона в покое!

— На редкость въедливый мальчишка, — рокотал барон, приближаясь с распростертыми объятиями. — Из него выйдет толк. Сколько вы за него хотите? Впрочем, об этом потом... Дайте мне обнять вас!

Они обнялись. От барона вкусно пахло пыльной дорогой, конским потом и смешанным букетом разных вин.

— Я вижу, вы тоже совершенно трезвы, мой друг, — с огорчением сказал он. — Впрочем, вы всегда трезвы. Счастливец!

— Садитесь, мой друг, — сказал Румата. — Уно! Подай нам эсторского, да побольше!

Барон поднял огромную ладонь.

— Ни капли!

— Ни капли эсторского? Уно, не надо эсторского, принеси ируканского!

— Не надо вообще вин! — с горечью сказал барон. — Я не пью.

Румата сел.

— Что случилось? — встревоженно спросил он. — Вы нездоровы?

— Я здоров как бык. Но эти проклятые семейные

сцены... Короче говоря, я поссорился с баронессой — и вот я здесь.

— Поссорились с баронессой?! Вы?! Полно, барон, что за странные шутки!

— Представьте себе. Я сам как в тумане. Сто двадцать миль проскакал как в тумане!

— Мой друг, — сказал Румата. — Мы сейчас же садимся на коней и скачем в Бау.

— Но моя лошадь еще не отдохнула! — возразил барон. — И потом, я хочу наказать ее!

— Кого?

— Баронессу, черт подери! Мужчина я или нет, в конце концов?! Она, видите ли, недовольна Пампой пьяным, так пусть посмотрит, каков он трезвый! Я лучше сгнию здесь от воды, чем вернусь в замок...

Уно угрюмо сказал:

— Скажите ему, чтобы ухи не крутил...

— Па-шел, волчонок! — добродушно пророкотал барон. — Да принеси пива! Я вспотел, и мне нужно возместить потерю жидкости.

Барон возмещал потерю жидкости в течение получаса и слегка осоловел. В промежутках между глотками он поведал Румате свои неприятности. Он несколько раз проклял «этих пропойц соседей, которые повадились в замок. Приезжают с утра

якобы на охоту, а потом охнуть не успеешь — уже все пьяны и рубят мебель. Они разбредаются по всему замку, везде пачкают, обижают прислугу, калечат собак и подают отвратительный пример юному баронету. Потом они разъезжаются по домам, а ты, пьяный до неподвижности, остаешься один на один с баронессой...»

В конце своего повествования барон совершенно расстроился и даже потребовал было эсторского, но спохватился и сказал:

— Румата, друг мой, пойдемте отсюда. У вас слишком богатые погреба!.. Уедемте!

— Но куда?

— Не все ли равно — куда! Ну, хотя бы в «Серую Радость»...

— Гм... — сказал Румата. — А что мы будем делать в «Серой Радости»?

Некоторое время барон молчал, ожесточенно дергая себя за ус.

— Ну как что? — сказал он наконец. — Странно даже... Просто посидим, поговорим...

— В «Серой Радости»? — спросил Румата с сомнением.

— Да. Я понимаю вас, — сказал барон. — Это ужасно... Но все-таки уйдем. Здесь мне все время хочется потребовать эсторского!..

— Коня мне, — сказал Румата и пошел в кабинет взять передатчик.

Через несколько минут они бок о бок ехали верхом по узкой улице, погруженной в кромешную тьму. Барон, несколько оживившийся, в полный голос рассказывал о том, какого позавчера затравили вепря, об удивительных качествах юного баронета, о чуде в монастыре святого Тукки, где отец настоятель родил из бедра шестипалого мальчика... При этом он не забывал развлекаться: время от времени испускал волчий вой, улюлюкал и колотил плеткой в запертые ставни.

Когда они подъехали к «Серой Радости», барон остановил коня и глубоко задумался. Румата ждал. Ярко светились грязноватые окна распивочной, топтались лошади у коновязи, лениво переругивались накрашенные девицы, сидевшие рядком на скамейке под окнами, двое слуг с натугой вкатили в распахнутые двери огромную бочку, покрытую пятнами селитры.

Барон грустно сказал:

— Один... Страшно подумать, целая ночь впереди и — один!.. И она там одна...

— Не огорчайтесь так, мой друг, — сказал Румата. — Ведь с нею баронет, а с вами я.

— Это совсем другое, — сказал барон. — Вы ни-

чего не понимаете, мой друг. Вы слишком молоды и легкомысленны... Вам, наверное, даже доставляет удовольствие смотреть на этих шлюх...

— А почему бы и нет? — возразил Румата, с любопытством глядя на барона. — По-моему, очень приятные девочки.

Барон покачал головой и саркастически усмехнулся.

— Вон у той, что стоит, — сказал он громко, — отвислый зад. А у той, что сейчас причесывается, и вовсе нет зада... Это коровы, мой друг, в лучшем случае это коровы. Вспомните баронессу! Какие руки, какая грация!.. Какая осанка, мой друг!..

— Да, — согласился Румата. — Баронесса прекрасна. Поедемте отсюда.

— Куда? — с тоской сказал барон. — И зачем? — На лице его вдруг обозначилась решимость. — Нет, мой друг, я никуда не поеду отсюда. А вы как хотите. — Он стал слезать с лошади. — Хотя мне было бы очень обидно, если бы вы оставили меня здесь одного.

— Разумеется, я останусь с вами, — сказал Румата. — Но...

— Никаких «но», — сказал барон.

Они бросили поводья подбежавшему слуге, гордо прошли мимо девиц и вступили в зал. Здесь

было не продохнуть. Огни светильников с трудом пробивались сквозь туман испарений, как в большой и очень грязной парной бане. На скамьях за длинными столами пили, ели, божились, смеялись, плакали, целовались, орали похабные песни потные солдаты в расстегнутых мундирах, морские бродяги в цветных кафтанах на голое тело, женщины с едва прикрытой грудью, серые штурмовики с топорами между колен, ремесленники в прожженных лохмотьях. Слева в тумане угадывалась стойка, где хозяин, сидя на особом возвышении среди гигантских бочек, управлял роем проворных жуликоватых слуг, а справа ярким прямоугольником светился вход в чистую половину — для благородных донов, почтенных купцов и серого офицерства.

— В конце концов, почему бы нам не выпить? — раздраженно спросил барон Пампа, схватил Румату за рукав и устремился к стойке в узкий проход между столами, царапая спины сидящих шипами поясной оторочки панциря. У стойки он выхватил из рук хозяина объемистый черпак, которым тот разливал вино по кружкам, молча осушил его до дна и объявил, что теперь все пропало и остается одно — как следует повеселиться. Затем он повернулся к хозяину и громогласно

осведомился, есть ли в этом заведении место, где благородные люди могут прилично и скромно провести время, не стесняясь соседством всякой швали, рвани и ворья. Хозяин заверил его, что именно в этом заведении такое место существует.

— Отлично! — величественно сказал барон и бросил хозяину несколько золотых. — Подайте для меня и вот этого дона все самое лучшее, и пусть нам служит не какая-нибудь смазливая вертихвостка, а почтенная пожилая женщина!

Хозяин сам проводил благородных донов в чистую половину. Народу здесь было немного. В углу мрачно веселилась компания серых офицеров — четверо лейтенантов в тесных мундирчиках и двое капитанов в коротких плащах с нашивками министерства охраны короны. У окна за большим узкогорлым кувшином скучала пара молодых аристократов с кислыми от общей разочарованности физиономиями. Неподалеку от них расположилась кучка безденежных донов в потертых колетах и штопаных плащах. Они маленькими глотками пили пиво и ежеминутно обводили помещение жаждущими взорами.

Барон рухнул за свободный стол, покосился на серых офицеров и проворчал: «Однако и здесь не

без швали...» Но тут дородная тетка в переднике подала первую перемену. Барон крякнул, вытащил из-за пояса кинжал и принялся веселиться. Он молча пожирал увесистые ломти жареной оленины, груды маринованных моллюсков, горы морских раков, кадки салатов и майонезов, заливая все это водопадами вина, пива, браги и вина, смешанного с пивом и брагой. Безденежные доны по одному и по двое начали перебираться за его стол, и барон встречал их молодецким взмахом руки и утробным ворчанием.

Вдруг он перестал есть, уставился на Румату выпученными глазами и проревел лесным голосом:

— Я давно не был в Арканаре, мой благородный друг! И скажу вам по чести, мне что-то здесь не нравится.

— Что именно, барон? — с интересом спросил Румата, обсасывая крылышко цыпленка.

На лицах безденежных донов изобразилось почтительное внимание.

— Скажите мне, мой друг! — произнес барон, вытирая замасленные руки о край плаща. — Скажите, благородные доны! С каких пор в столице его величества короля нашего повелось так, что потомки древнейших родов Империи шагу не

могут ступить, чтобы не натолкнуться на всяких там лавочников и мясников?!

Безденежные доны переглянулись и стали отодвигаться. Румата покосился в угол, где сидели серые. Там перестали пить и глядели на барона.

— Я вам скажу, в чем дело, благородные доны, — продолжал барон Пампа. — Это все потому, что вы здесь перетрусили. Вы их терпите потому, что боитесь. Вот ты боишься! — заорал он, уставясь на ближайшего безденежного дона. Тот сделал постное лицо и отошел с бледной улыбкой. — Трусы! — рявкнул барон. Усы его встали дыбом.

Но от безденежных донов толку было мало. Им явно не хотелось драться, им хотелось выпить и закусить.

Тогда барон перекинул ногу через лавку, забрал в кулак правый ус и, вперив взгляд в угол, где сидели серые офицеры, заявил:

— А вот я ни черта не боюсь! Я бью серую сволочь, как только она мне попадается!

— Что там сипит эта пивная бочка? — громко осведомился серый капитан с длинным лицом.

Барон удовлетворенно улыбнулся. Он с грохотом выбрался из-за стола и взгромоздился на скамью. Румата, подняв брови, принялся за второе крылышко.

— Эй вы, серые подонки! — заорал барон, надсаживаясь, словно офицеры были за версту от него. — Знайте, что третьего дня я, барон Пампа дон Бау, задал вашим ха-ар-рошую трепку! Вы понимаете, мой друг, — обратился он к Румате из-под потолка, — пили это мы с отцом Кабани вечером у меня в замке. Вдруг прибегает мой конюх и сообщает, что шайка серых р-разносит корчму «Золотая Подкова». Мою корчму, на моей родовой земле! Я командую: «На коней!..» — и туда. Клянусь шпорой, их была там целая шайка, человек двадцать! Они захватили каких-то троих, перепились, как свиньи... Пить эти лавочники не умеют... и стали всех лупить и все ломать. Я схватил одного за ноги — и пошла потеха! Я гнал их до самых Тяжелых Мечей... Крови было — вы не поверите, мой друг, — по колено, а топоров осталось столько...

На этом рассказ барона был прерван. Капитан с длинным лицом взмахнул рукой, и тяжелый метательный нож лязгнул о нагрудную пластину баронского панциря.

— Давно бы так! — сказал барон и выволок из ножен огромный двуручный меч.

Он с неожиданной ловкостью соскочил на пол, меч сверкающей полосой прорезал воздух и

перерубил потолочную балку. Барон выругался. Потолок просел, на головы посыпался мусор.

Теперь все были на ногах. Безденежные доны отшатнулись к стенам. Молодые аристократы взобрались на стол, чтобы лучше видеть. Серые, выставив перед собой клинки, построились полукругом и мелкими шажками двинулись на барона. Только Румата остался сидеть, прикидывая, с какой стороны от барона можно встать, чтобы не попасть под меч.

Широкое лезвие зловеще зашелестело, описывая сверкающие круги над головой барона. Барон поражал воображение. Было в нем что-то от грузового вертолета с винтом на холостом ходу.

Окружив его с трех сторон, серые были вынуждены остановиться. Один из них неудачно стал спиной к Румате, и Румата, перегнувшись через стол, схватил его за шиворот, опрокинул на спину в блюда с объедками и стукнул ребром ладони ниже уха. Серый закрыл глаза и замер. Барон вскричал:

— Прирежьте его, благородный Румата, а я прикончу остальных!

Он их всех поубивает, с неудовольствием подумал Румата.

— Слушайте, — сказал он серым. — Не будем

портить друг другу веселую ночь. Вам не выстоять против нас. Бросайте оружие и уходите отсюда.

— Ну вот еще, — сердито возразил барон. — Я желаю драться! Пусть они дерутся! Деритесь же, черт вас подери!

С этими словами он двинулся на серых, все убыстряя вращение меча. Серые отступали, бледнея на глазах. Они явно никогда в жизни не видели грузового вертолета. Румата перепрыгнул через стол.

— Погодите, мой друг, — сказал он. — Нам совершенно незачем ссориться с этими людьми. Вам не нравится их присутствие здесь? Они уйдут.

— Без оружия мы не уйдем, — угрюмо сообщил один из лейтенантов. — Нам попадет. Я в патруле.

— Черт с вами, уходите с оружием, — разрешил Румата. — Клинки в ножны, руки за головы, проходить по одному! И никаких подлостей! Кости переломаю!

— Как же мы уйдем? — раздраженно осведомился длиннолицый капитан. — Этот дон загораживает нам дорогу!

— И буду загораживать! — упрямо сказал барон.

Молодые аристократы обидно захохотали.

— Ну хорошо, — сказал Румата. — Я буду держать барона, а вы пробегайте, да побыстрее, — долго я его не удержу! Эй, там, в дверях, освободите проход!.. Барон, — сказал он, обнимая Пампу за обширную талию. — Мне кажется, мой друг, что вы забыли одно важное обстоятельство. Ведь этот славный меч употреблялся вашими предками только для благородного боя, ибо сказано: «Не обнажай в тавернах».

На лице барона, продолжавшего вертеть мечом, появилась задумчивость.

— Но у меня же нет другого меча, — нерешительно сказал он.

— Тем более!.. — значительно сказал Румата.

— Вы так думаете? — Барон все еще колебался.

— Вы же знаете это лучше меня!..

— Да, — сказал барон. — Вы правы. — Он посмотрел вверх, на свою бешено работающую кисть. — Вы не поверите, дорогой Румата, но я могу вот так три-четыре часа подряд — и нисколько не устану... Ах, почему она не видит меня сейчас?!

— Я расскажу ей, — пообещал Румата.

Барон вздохнул и опустил меч. Серые, согнувшись, кинулись мимо него. Барон проводил их взглядом.

— Не знаю, не знаю... — нерешительно сказал

он. — Как вы думаете, я правильно сделал, что не проводил их пинками в зад?

— Совершенно правильно, — заверил его Румата.

— Ну что ж, — сказал барон, втискивая меч в ножны. — Раз нам не удалось подраться, то уж теперь-то мы имеем право слегка выпить и закусить.

Он стащил со стола за ноги серого лейтенанта, все еще лежавшего без сознания, и зычным голосом гаркнул:

— Эй, хозяюшка! Вина и еды!

Подошли молодые аристократы и учтиво поздравили с победой.

— Пустяки, пустяки, — благодушно сказал барон. — Шесть плюгавых молодчиков, трусливых, как все лавочники. В «Золотой Подкове» я раскидал их два десятка... Как удачно, — обратился он к Румате, — что тогда при мне не было моего боевого меча! Я мог бы в забывчивости обнажить его. И хотя «Золотая Подкова» не таверна, а всего лишь корчма...

— Некоторые так и говорят, — сказал Румата. — «Не обнажай в корчме».

Хозяйка принесла новые блюда с мясом и новые кувшины вина. Барон засучил рукава и принялся

за работу.

— Кстати, — сказал Румата. — Кто были те три пленника, которых вы освободили в «Золотой Подкове»?

— Освободил? — Барон перестал жевать и уставился на Румату. — Но, мой благородный друг, я, вероятно, недостаточно точно выразился! Я никого не освобождал. Ведь они были арестованы, это государственное дело... С какой стати я бы стал их освобождать? Какой-то дон, вероятно, большой трус, старик книгочей и слуга... — Он пожал плечами.

— Да, конечно, — грустно сказал Румата.

Барон вдруг налился кровью и страшно выкатил глаза.

— Что?! Опять?! — заревел он.

Румата оглянулся. В дверях стоял дон Рипат. Барон заворочался, опрокидывая скамьи и роняя блюда. Дон Рипат значительно посмотрел в глаза Руматы и вышел.

— Прошу прощенья, барон, — сказал Румата, вставая. — Королевская служба...

— А... — разочарованно произнес барон. — Сочувствую... Ни за что не пошел бы на службу!

Дон Рипат ждал сразу за дверью.

— Что нового? — спросил Румата.

— Два часа назад, — деловито сообщил дон Рипат, — по приказу министра охраны короны дона Рэбы я арестовал и препроводил в Веселую Башню дону Окану.

— Так, — сказал Румата.

— Час назад дона Окана умерла, не выдержав испытания огнем.

— Так, — сказал Румата.

— Официально ее обвинили в шпионаже. Но... — Дон Рипат замялся и опустил глаза. — Я думаю... Мне кажется...

— Я понимаю, — сказал Румата.

Дон Рипат поднял на него виноватые глаза.

— Я был бессилен... — начал он.

— Это не ваше дело, — хрипло сказал Румата.

Глаза дона Рипата снова стали оловянными. Румата кивнул ему и вернулся к столу. Барон доканчивал блюдо с фаршированными каракатицами.

— Эсторского! — сказал Румата. — И пусть принесут еще! — Он откашлялся. — Будем веселиться. Будем, черт побери, веселиться...

...Когда Румата пришел в себя, он обнаружил, что стоит посреди обширного пустыря. Занимался серый рассвет, вдали сиплыми голосами орали петухи-часомеры. Каркали вороны, густо

кружившиеся над какой-то неприятной кучей неподалеку, пахло сыростью и тленом. Туман в голове быстро рассеивался, наступало знакомое состояние пронзительной ясности и четкости восприятий, на языке приятно таяла мятная горечь. Сильно саднили пальцы правой руки. Румата поднес к глазам сжатый кулак. Кожа на косточках была ободрана, а в кулаке была зажата пустая ампула из-под каспарамида, могучего средства против алкогольного отравления, которым Земля предусмотрительно снабжала своих разведчиков на отсталых планетах. Видимо, уже здесь, на пустыре, перед тем как впасть в окончательно свинское состояние, он бессознательно, почти инстинктивно высыпал в рот все содержимое ампулы.

Места были знакомые — прямо впереди чернела башня сожженной обсерватории, а левее проступали в сумраке тонкие, как минареты, сторожевые вышки королевского дворца. Румата глубоко вдохнул сырой холодный воздух и направился домой.

Барон Пампа повеселился в эту ночь на славу. В сопровождении кучи безденежных донов, быстро теряющих человеческий облик, он совершил гигантское турне по арканарским кабакам, пропив

все, вплоть до роскошного пояса, истребив неимоверное количество спиртного и закусок, учинив по дороге не менее восьми драк. Во всяком случае, Румата мог отчетливо вспомнить восемь драк, в которые он вмешивался, стараясь развести и не допустить смертоубийства. Дальнейшие его воспоминания тонули в тумане. Из этого тумана всплывали то хищные морды с ножами в зубах, то бессмысленно-горькое лицо последнего безденежного дона, которого барон Пампа пытался продать в рабство в порту, то разъяренный носатый ируканец, злобно требовавший, чтобы благородные доны отдали его лошадей...

Первое время он еще оставался разведчиком. Пил он наравне с бароном: ируканское, эсторское, соанское, арканарское, но перед каждой переменой вин украдкой клал под язык таблетку каспарамида. Он еще сохранял рассудительность и привычно отмечал скопления серых патрулей на перекрестках и у мостов, заставу конных варваров на соанской дороге, где барона наверняка бы пристрелили, если бы Румата не знал наречия варваров. Он отчетливо помнил, как поразила его мысль о том, что неподвижные ряды чудны´х солдат в длинных черных плащах с капюшонами, выстроенные перед Патриотической школой,

— это монастырская дружина. При чем здесь церковь? — подумал он тогда. С каких это пор церковь в Арканаре вмешивается в светские дела?

Он пьянел медленно, но все-таки опьянел, както сразу, скачком; и когда в минуту просветления увидел перед собой разрубленный дубовый стол в совершенно незнакомой комнате, обнаженный меч в своей руке и рукоплещущих безденежных донов вокруг, то подумал было, что пора идти домой. Но было поздно. Волна бешенства и отвратительной, непристойной радости освобождения от всего человеческого уже захватила его. Он еще оставался землянином, разведчиком, наследником людей огня и железа, не щадивших себя и не дававших пощады во имя великой цели. Он не мог стать Руматой Эсторским, плотью от плоти двадцати поколений воинственных предков, прославленных грабежами и пьянством. Но он больше не был и коммунаром. У него больше не было обязанностей перед Экспериментом. Его заботили только обязанности перед самим собой. У него больше не было сомнений. Ему было ясно все, абсолютно все. Он точно знал, кто во всем виноват, и он точно знал, чего хочет: рубить наотмашь, предавать огню, сбрасывать с дворцовых ступеней на копья и вилы ревущей толпы...

Румата встрепенулся и вытащил из ножен мечи. Клинки были зазубрены, но чисты. Он помнил, что рубился с кем-то, но с кем? И чем все кончилось?..

...Коней они пропили. Безденежные доны куда-то исчезли. Румата — это он тоже помнил — приволок барона к себе домой. Пампа дон Бау был бодр, совершенно трезв и полон готовности продолжать веселье — просто он больше не мог стоять на ногах. Кроме того, он почему-то считал, что только что распрощался с милой баронессой и находится теперь в боевом походе против своего исконного врага барона Каску, обнаглевшего до последней степени. («Посудите сами, друг мой, этот негодяй родил из бедра шестипалого мальчишку и назвал его Пампой...») «Солнце заходит, — объявил он, глядя на гобелен, изображающий восход солнца. — Мы могли бы провеселиться всю эту ночь, благородные доны, но ратные подвиги требуют сна. Ни капли вина в походе. К тому же баронесса была бы недовольна».

Что? Постель? Какие постели в чистом поле? Наша постель — попона боевого коня! С этими словами он содрал со стены несчастный гобелен, завернулся в него с головой и с грохотом рухнул в угол под светильником. Румата велел

мальчику Уно поставить рядом с бароном ведро рассола и кадку с маринадами. У мальчишки было сердитое, заспанное лицо. «Во набрались-то, — ворчал он. — Глаза в разные стороны смотрят...» — «Молчи, дурак», — сказал тогда Румата и... Что-то случилось потом. Что-то очень скверное, что погнало его через весь город на пустырь. Что-то очень, очень скверное, непростительное, стыдное...

Он вспомнил, когда уже подходил к дому, и, вспомнив, остановился.

...Отшвырнув Уно, он полез вверх по лестнице, распахнул дверь и ввалился к ней, как хозяин, и при свете ночника увидел белое лицо, огромные глаза, полные ужаса и отвращения, и в этих глазах — самого себя, шатающегося, с отвисшей слюнявой губой, с ободранными кулаками, в одежде, заляпанной дрянью, наглого и подлого хама голубых кровей, и этот взгляд швырнул его назад, на лестницу, вниз, в прихожую, за дверь, на темную улицу и дальше, дальше, дальше, как можно дальше...

Стиснув зубы и чувствуя, что все внутри оледенело и смерзлось, он тихонько отворил дверь и на цыпочках вошел в прихожую. В углу, подобно гигантскому морскому млекопитающему,

сопел в мирном сне барон. «Кто здесь?» — воскликнул Уно, дремавший на скамье с арбалетом на коленях. «Тихо, — шепотом сказал Румата. — Пошли на кухню. Бочку воды, уксусу, новое платье, живо!»

Он долго, яростно, с острым наслаждением обливался водой и обтирался уксусом, сдирая с себя ночную грязь. Уно, против обыкновения молчаливый, хлопотал вокруг него. И только потом, помогая дону застегивать идиотские сиреневые штаны с пряжками на заду, сообщил угрюмо:

— Ночью, как вы укатили, Кира спускалась и спрашивала, был дон или нет, решила, видно, что приснилось. Сказал ей, что как с вечера ушли в караул, так и не возвращались...

Румата глубоко вздохнул, отвернувшись. Легче не стало. Хуже.

— ...А я всю ночь с арбалетом над бароном сидел: боялся, что спьяну наверх полезут.

— Спасибо, малыш, — с трудом сказал Румата.

Он натянул башмаки, вышел в прихожую, постоял немного перед темным металлическим зеркалом. Каспарамид работал безотказно. В зеркале виднелся изящный, благородный дон с лицом, несколько осунувшимся после утомительного ночного дежурства, но в высшей степени

благопристойным. Влажные волосы, прихваченные золотым обручем, мягко и красиво спадали по сторонам лица. Румата машинально поправил объектив над переносицей. Хорошенькие сцены наблюдали сегодня на Земле, мрачно подумал он.

Тем временем рассвело. В пыльные окна заглянуло солнце. Захлопали ставни. На улице перекликались заспанные голоса. «Как спали, брат Кирис?» — «Благодарение господу, спокойно, брат Тика. Ночь прошла, и слава богу». — «А у нас кто-то в окна ломился. Благородный дон Румата, говорят, ночью гуляли». — «Сказывают, гость у них». — «Да нынче разве гуляют? При молодом короле, помню, гуляли — не заметили, как полгорода сожгли». — «Что я вам скажу, брат Тика. Благодарение богу, что у нас в соседях такой дон. Раз в год загуляет, и то много...»

Румата поднялся наверх, постучавшись, вошел в кабинет. Кира сидела в кресле, как и вчера. Она подняла глаза и со страхом и тревогой взглянула ему в лицо.

— Доброе утро, маленькая, — сказал он, подошел, поцеловал ее руки и сел в кресло напротив.

Она все испытующе смотрела на него, потом спросила:

— Устал?

— Да, немножко. И надо опять идти.

— Приготовить тебе что-нибудь?

— Не надо, спасибо. Уно приготовит. Вот разве воротник подуши...

Румата чувствовал, как между ними вырастает стена лжи. Сначала тоненькая, затем все толще и прочнее. На всю жизнь! — горько подумал он. Он сидел, прикрыв глаза, пока она осторожно смачивала разными духами его пышный воротник, щеки, лоб, волосы. Потом она сказала:

— Ты даже не спросишь, как мне спалось.

— Как, маленькая?

— Сон. Понимаешь, страшный-страшный сон.

Стена стала толстой, как крепостная.

— На новом месте всегда так, — сказал Румата фальшиво. — Да и барон, наверное, внизу шумел очень.

— Приказать завтрак? — спросила она.

— Прикажи.

— А вино какое ты любишь утром?

Румата открыл глаза.

— Прикажи воды, — сказал он. — По утрам я не пью.

Она вышла, и он услышал, как она спокойным звонким голосом разговаривает с Уно. Потом она

вернулась, села на ручку его кресла и начала рассказывать свой сон, а он слушал, заламывая бровь и чувствуя, как с каждой минутой стена становится все толще и неколебимей и как она навсегда отделяет его от единственного по-настоящему родного человека в этом безобразном мире. И тогда он с размаху ударил в стену всем телом.

— Кира, — сказал он. — Это был не сон.

И ничего особенного не случилось.

— Бедный мой, — сказала Кира. — Погоди, я сейчас рассолу принесу...

Глава 5

Еще совсем недавно двор Арканарских королей был одним из самых просвещенных в Империи. При дворе содержались ученые, в большинстве, конечно, шарлатаны, но и такие, как Багир Киссэнский, открывший сферичность планеты; лейб-знахарь Тата, высказавший гениальную догадку о возникновении эпидемий от мелких, незаметных глазу червей, разносимых ветром и водой; алхимик Синда, искавший, как все алхимики, способ превращать глину в золото, а нашедший закон сохранения вещества. Были при Арканарском дворе и поэты, в большинстве блюдолизы и льстецы, но и такие, как Пэпин Славный, автор исторической трагедии «Поход на север»; Цурэн Правдивый, написавший более пятисот баллад и сонетов, положенных в народе на музыку; а также Гур Сочинитель, создавший первый в истории Империи светский роман — печальную историю принца, полюбившего прекрасную варварку. Были при дворе и великолепные артисты, танцоры, певцы. Замечательные художники покрывали стены нетускнеющими фресками, славные скульпторы

украшали своими творениями дворцовые парки. Нельзя сказать, чтобы Арканарские короли были ревнителями просвещения или знатоками искусств. Просто это считалось приличным, как церемония утреннего одевания или пышные гвардейцы у главного входа. Аристократическая терпимость доходила порой до того, что некоторые ученые и поэты становились заметными винтиками государственного аппарата. Так, всего полстолетия назад высокоученый алхимик Ботса занимал ныне упраздненный за ненадобностью пост министра недр, заложил несколько рудников и прославил Арканар удивительными сплавами, секрет которых был утерян после его смерти. А Пэпин Славный вплоть до недавнего времени руководил государственным просвещением, пока министерство истории и словесности, возглавляемое им, не было признано вредным и растлевающим умы.

Бывало, конечно, и раньше, что художника или ученого, неугодного королевской фаворитке, тупой и сладострастной особе, продавали за границу или травили мышьяком, но только дон Рэба взялся за дело по-настоящему. За годы своего пребывания на посту всесильного министра охраны короны он произвел в мире арканар-

ской культуры такие опустошения, что вызвал неудовольствие даже у некоторых благородных вельмож, заявлявших, что двор стал скучен и во время балов ничего не слышишь, кроме глупых сплетен.

Багир Киссэнский, обвиненный в помешательстве, граничащем с государственным преступлением, был брошен в застенок и лишь с большим трудом вызволен Руматой и переправлен в метрополию. Обсерватория его сгорела, а уцелевшие ученики разбежались кто куда. Лейб-знахарь Тата вместе с пятью другими лейб-знахарями оказался вдруг отравителем, злоумышлявшим по наущению герцога Ируканского против особы короля, под пыткой признался во всем и был повешен на Королевской площади. Пытаясь спасти его, Румата роздал тридцать килограммов золота, потерял четырех агентов (благородных донов, не ведавших, что творят), едва не попался сам, раненный во время попытки отбить осужденных, но сделать ничего не смог. Это было его первое поражение, после которого он понял, наконец, что дон Рэба фигура не случайная. Узнав через неделю, что алхимика Синду намереваются обвинить в сокрытии от казны тайны философского камня, Румата, разъяренный поражением, устро-

ил у дома алхимика засаду, сам, обернув лицо черной тряпкой, обезоружил штурмовиков, явившихся за алхимиком, побросал их, связанных, в подвал и в ту же ночь выпроводил так ничего и не понявшего Синду в пределы Соана, где тот, пожав плечами, и остался продолжать поиски философского камня под наблюдением дона Кондора. Поэт Пэпин Славный вдруг постригся в монахи и удалился в уединенный монастырь. Цурэн Правдивый, изобличенный в преступной двусмысленности и потакании вкусам низших сословий, был лишен чести и имущества, пытался спорить, читал в кабаках теперь уже откровенно разрушительные баллады, дважды был смертельно бит патриотическими личностями и только тогда поддался уговорам своего большого друга и ценителя дона Руматы и уехал в метрополию. Румата навсегда запомнил его, иссиня-бледного от пьянства, как он стоит, вцепившись тонкими руками в ванты, на палубе уходящего корабля и звонким, молодым голосом выкрикивает свой прощальный сонет «Как лист увядший падает на душу». Что же касается Гура Сочинителя, то после беседы в кабинете дона Рэбы он понял, что Арканарский принц не мог полюбить вражеское отродье, сам бросал на Королевской площади

свои книги в огонь и теперь, сгорбленный, с мертвым лицом, стоял во время королевских выходов в толпе придворных и по чуть заметному жесту дона Рэбы выступал вперед со стихами ультрапатриотического содержания, вызывающими тоску и зевоту. Артисты ставили теперь одну и ту же пьесу — «Гибель варваров, или Маршал Тоц, король Пиц Первый Арканарский». А певцы предпочитали в основном концерты для голоса с оркестром. Оставшиеся в живых художники малевали вывески. Впрочем, двое или трое ухитрились остаться при дворе и рисовали портреты короля с доном Рэбой, почтительно поддерживающим его под локоть (разнообразие не поощрялось: король изображался двадцатилетним красавцем в латах, а дон Рэба — зрелым мужчиной со значительным лицом).

Да, арканарский двор стал скучен. Тем не менее вельможи, благородные доны без занятий, гвардейские офицеры и легкомысленные красавицы доны — одни из тщеславия, другие по привычке, третьи из страха — по-прежнему каждое утро наполняли дворцовые приемные. Говоря по чести, многие вообще не заметили никаких перемен. В концертах и состязаниях поэтов прошлых времен они более всего ценили антракты, во время кото-

рых благородные доны обсуждали достоинства легавых, рассказывали анекдоты. Они еще были способны на не слишком продолжительный диспут о свойствах существ потустороннего мира, но уж вопросы о форме планеты и о причинах эпидемий полагали попросту неприличными. Некоторое уныние вызывало у гвардейских офицеров исчезновение художников, среди которых были мастера изображать обнаженную натуру...

Румата явился во дворец, слегка запоздав. Утренний прием уже начался. В залах толпился народ, слышался раздраженный голос короля и раздавались мелодичные команды министра церемоний, распоряжающегося одеванием его величества. Придворные в основном обсуждали ночное происшествие. Некий преступник с лицом ируканца проник ночью во дворец, вооруженный стилетом, убил часового и ворвался в опочивальню его величества, где якобы и был обезоружен лично доном Рэбой, схвачен и по дороге в Веселую Башню разорван в клочья обезумевшей от преданности толпой патриотов. Это было уже шестое покушение за последний месяц, и потому сам факт покушения интереса почти не вызвал. Обсуждались только детали. Румата узнал, что при виде убийцы его вели-

чество приподнялся на ложе, заслонив собою прекрасную дону Мидару, и произнес исторические слова: «Пшел вон, мерзавец!» Большинство охотно верило в исторические слова, полагая, что король принял убийцу за лакея. И все сходились во мнении, что дон Рэба, как всегда, начеку и несравненен в рукопашной схватке. Румата в приятных выражениях согласился с этим мнением и в ответ рассказал только что выдуманную историю о том, как на дона Рэбу напали двенадцать разбойников, троих он уложил на месте, а остальных обратил в бегство. История была выслушана с большим интересом и одобрением, после чего Румата как бы случайно заметил, что историю эту рассказал ему дон Сэра. Выражение интереса немедленно исчезло с лиц присутствующих, ибо каждому было известно, что дон Сэра — знаменитый дурак и враль. О доне Окане никто не говорил ни слова. Об этом либо еще не знали, либо делали вид, что не знают.

Рассыпая любезности и пожимая ручки дамам, Румата мало-помалу продвигался в первые ряды разряженной, надушенной, обильно потеющей толпы. Благородное дворянство вполголоса беседовало. «Вот-вот, та самая кобыла. Она засекалась, но будь я проклят, если не проиграл ее тем же

вечером дону Кэу...», «Что же касается бедер, благородный дон, то они необыкновенной формы. Как это сказано у Цурэна... М-м-м... Горы пены прохладной... м-м-м... нет, холмы прохладной пены... В общем, мощные бедра», «Тогда я тихонько открываю окно, беру кинжал в зубы и, представьте себе, мой друг, чувствую, что решетка подо мной прогибается...», «Я съездил ему по зубам эфесом меча, так что эта серая собака дважды перевернулась через голову. Вы можете полюбоваться на него, вон он стоит с таким видом, будто имеет на это право...», «А дон Тамэо наблевал на пол, поскользнулся и упал головой в камин...», «...Вот монах ей и говорит: «Расскажи-ка мне, красавица, твой сон...» га-га-га!..»

Ужасно обидно, думал Румата. Если меня сейчас убьют, эта колония простейших будет последним, что я вижу в своей жизни. Только внезапность. Меня спасет внезапность. Меня и Будаха. Улучить момент и внезапно напасть. Захватить врасплох, не дать ему раскрыть рта, не дать убить меня, мне совершенно незачем умирать.

Он пробрался к дверям опочивальни и, придерживая обеими руками мечи, слегка согнув по этикету ноги в коленях, приблизился к королевской постели. Королю натягивали чулки.

Министр церемоний, затаив дыхание, внимательно следил за ловкими руками двух камердинеров. Справа от развороченного ложа стоял дон Рэба, неслышно беседуя с длинным костлявым человеком в военной форме серого бархата. Это был отец Цупик, один из вождей арканарских штурмовиков, полковник дворцовой охраны. Дон Рэба был опытным придворным. Судя по его лицу, речь шла не более чем о статях кобылы или о добродетельном поведении королевской племянницы. Отец же Цупик, как человек военный и бывший бакалейщик, лицом владеть не умел. Он мрачнел, кусал губу, пальцы его на рукояти меча сжимались и разжимались; и в конце концов он вдруг дернул щекой, резко повернулся и, нарушая все правила, пошел вон из опочивальни прямо на толпу оцепеневших от такой невоспитанности придворных. Дон Рэба, извинительно улыбаясь, поглядел ему вслед, а Румата, проводив глазами нескладную серую фигуру, подумал: «Вот и еще один покойник». Ему было известно о трениях между доном Рэбой и серым руководством. История коричневого капитана Эрнста Рема готова была повториться.

Чулки были натянуты. Камердинеры, повинуясь мелодичному приказу министра церемоний,

благоговейно, кончиками пальцев, взялись за королевские туфли. Тут король, отпихнув камердинеров ногами, так резко повернулся к дону Рэбе, что живот его, похожий на туго набитый мешок, перекатился на одно колено.

— Мне надоели ваши покушения! — истерически завизжал он. — Покушения! Покушения! Покушения!.. Ночью я хочу спать, а не сражаться с убийцами! Почему нельзя сделать, чтобы они покушались днем? Вы дрянной министр, Рэба! Еще одна такая ночь, и я прикажу вас удавить! (Дон Рэба поклонился, прижимая руку к сердцу.) После покушений у меня болит голова!

Он внезапно замолчал и тупо уставился на свой живот. Момент был подходящий. Камердинеры замешкались. Прежде всего следовало обратить на себя внимание. Румата вырвал у камердинера правую туфлю, опустился перед королем на колено и стал почтительно насаживать туфлю на жирную, обтянутую шелком ногу. Такова была древнейшая привилегия рода Руматы — собственноручно обувать правую ногу коронованных особ Империи. Король мутно смотрел на него. В глазах его вспыхнул огонек интереса.

— А, Румата! — сказал он. — Вы еще живы? А Рэба обещал мне удавить вас! — Он захихикал.

— Он дрянной министр, этот Рэба. Он только и делает, что обещает. Обещал искоренить крамолу, а крамола растет. Каких-то серых мужланов понапихал во дворец... Я болен, а он всех лейб-знахарей поперевешал.

Румата кончил надевать туфлю и, поклонившись, отступил на два шага. Он поймал на себе внимательный взгляд дона Рэбы и поспешил придать лицу высокомерно-тупое выражение.

— Я совсем больной, — продолжал король, — у меня же все болит. Я хочу на покой. Я бы уже давно ушел на покой, так вы же все пропадете без меня, бараны...

Ему надели вторую туфлю. Он встал и сейчас же охнул, скривившись, и схватился за колено.

— Где знахари? — завопил он горестно. — Где мой добрый Тата? Вы повесили его, дурак! А мне от одного его голоса становилось легче! Молчите, я сам знаю, что он отравитель! И плевать я на это хотел! Что тут такого, что он отравитель? Он был зна-а-а-ахарь! Понимаете, убийца? Знахарь! Одного отравит, другого вылечит! А вы только травите! Лучше бы вы сами повесились! (Дон Рэба поклонился, прижимая руку к сердцу, и остался в таком положении.) Ведь всех же повесили! Остались одни ваши шарлатаны! И попы, которые

поят меня святой водой вместо лекарства... Кто составит микстуру? Кто разотрет мне ногу мазью?

— Государь! — во весь голос сказал Румата, и ему показалось, что во дворце все замерло. — Вам стоит приказать, и лучший лекарь Империи будет во дворце через полчаса!

Король оторопело уставился на него. Риск был страшный. Дону Рэбе стоило только мигнуть... Румата физически ощутил, сколько пристальных глаз смотрят сейчас на него поверх оперения стрел, — он-то знал, зачем идут под потолком спальни ряды круглых черных отдушин. Дон Рэба тоже смотрел на него с выражением вежливого и благожелательного любопытства.

— Что это значит? — брюзгливо осведомился король. — Ну, приказываю, ну, где ваш лекарь?

Румата весь напрягся. Ему казалось, что наконечники стрел уже колют его лопатки.

— Государь, — быстро сказал он, — прикажите дону Рэбе представить вам знаменитого доктора Будаха!

Видимо, дон Рэба все-таки растерялся. Главное было сказано, а Румата был жив. Король перекатил мутные глаза на министра охраны короны.

— Государь, — продолжал Румата, теперь уже не торопясь и надлежащим слогом. — Зная о

ваших поистине невыносимых страданиях и памятуя о долге моего рода перед государями, я выписал из Ирукана знаменитого высокоученого лекаря доктора Будаха. К сожалению, однако, путь доктора Будаха был прерван. Серые солдаты уважаемого дона Рэбы захватили его на прошлой неделе, и дальнейшая его судьба известна одному только дону Рэбе. Я полагаю, что лекарь где-то поблизости, скорее всего в Веселой Башне, и я надеюсь, что странная неприязнь дона Рэбы к лекарям еще не отразилась роковым образом на судьбе доктора Будаха.

Румата замолчал, сдерживая дыхание. Кажется, все обошлось превосходно. Держись, дон Рэба! Он взглянул на министра — и похолодел. Министр охраны короны нисколько не растерялся. Он кивал Румате с ласковой отеческой укоризной. Этого Румата никак не ожидал. Да он в восторге, ошеломленно подумал Румата. Зато король вел себя, как ожидалось.

— Мошенник! — заорал он. — Удавлю! Где доктор? Где доктор, я вас спрашиваю! Молчать! Я вас спрашиваю, где доктор?

Дон Рэба выступил вперед, приятно улыбаясь.

— Ваше величество, — сказал он, — вы поистине счастливый государь, ибо у вас так много верных

подданных, что они порой мешают друг другу в стремлении услужить вам. (Король тупо смотрел на него.) Не скрою, как и все, происходящее в вашей стране, был мне известен и благородный замысел пылкого дона Руматы. Не скрою, что я выслал навстречу доктору Будаху наших серых солдат — исключительно для того, чтобы уберечь почтенного пожилого человека от случайностей дальней дороги. Не буду я скрывать и того, что не торопился представить Будаха Ируканского вашему величеству...

— Как же это вы осмелились? — укоризненно спросил король.

— Ваше величество, дон Румата молод и столь же неискушен в политике, сколь многоопытен в благородной схватке. Ему и невдомек, на какую низость способен герцог Ируканский в своей бешеной злобе против вашего величества. Но мы-то с вами это знаем, государь, не правда ли? (Король покивал.) И поэтому я счел необходимым произвести предварительно небольшое расследование. Я бы не стал торопиться, но если вы, ваше величество (низкий поклон королю), и дон Румата (кивок в сторону Руматы) так настаиваете, то сегодня же после обеда доктор Будах, ваше величество, предстанет перед вами, чтобы

начать курс лечения.

— А вы не дурак, дон Рэба, — сказал король, подумав. — Расследование — это хорошо. Это никогда не помешает. Проклятый ируканец... — Он взвыл и снова схватился за колено. — Проклятая нога! Так, значит, после обеда? Будем ждать, будем ждать.

И король, опираясь на плечо министра церемоний, медленно прошел в тронный зал мимо ошеломленного Руматы. Когда он погрузился в толпу расступающихся придворных, дон Рэба приветливо улыбнулся Румате и спросил:

— Сегодня ночью вы, кажется, дежурите при опочивальне принца? Я не ошибаюсь?

Румата молча поклонился.

Румата бесцельно брел по бесконечным коридорам и переходам дворца, темным, сырым, провонявшим аммиаком и гнилью, мимо роскошных, убранных коврами комнат, мимо запыленных кабинетов с узкими зарешеченными окнами, мимо кладовых, заваленных рухлядью с ободранной позолотой. Людей здесь почти не было. Редкий придворный рисковал посещать этот лабиринт в тыльной части дворца, где королевские апартаменты незаметно переходили в канцелярию министерства охраны короны. Здесь

было легко заблудиться. Все помнили случай, когда гвардейский патруль, обходивший дворец по периметру, был напуган истошными воплями человека, тянувшего к нему сквозь решетку амбразуры исцарапанные руки. «Спасите меня! — кричал человек. — Я камер-юнкер! Я не знаю, как выбраться! Я два дня ничего не ел! Возьмите меня отсюда!» (Десять дней между министром финансов и министром двора шла оживленная переписка, после чего решено было все-таки выломать решетку, и на протяжении этих десяти дней несчастного камер-юнкера кормили, подавая ему мясо и хлеб на кончике пики.) Кроме того, здесь было небезопасно. В тесных коридорах сталкивались подвыпившие гвардейцы, охранявшие особу короля, и подвыпившие штурмовики, охранявшие министерство. Резались отчаянно, а удовлетворившись, расходились, унося раненых. Наконец, здесь бродили и убиенные. За два века их накопилось во дворце порядочно.

Из глубокой ниши в стене выступил штурмовик-часовой с топором наготове.

— Не велено, — мрачно объявил он.

— Что ты понимаешь, дурак! — небрежно сказал Румата, отводя его рукой.

Он слышал, как штурмовик нерешительно топ-

чется сзади, и вдруг поймал себя на мысли о том, что оскорбительные словечки и небрежные жесты получаются у него рефлекторно, что он уже не играет высокородного хама, а в значительной степени стал им. Он представил себя таким на Земле, и ему стало мерзко и стыдно. Почему? Что со мной произошло? Куда исчезло воспитанное и взлелеянное с детства уважение и доверие к себе подобным, к человеку, к замечательному существу, называемому «человек»? А ведь мне уже ничто не поможет, подумал он с ужасом. Ведь я же их по-настоящему ненавижу и презираю... Не жалею, нет — ненавижу и презираю. Я могу сколько угодно оправдывать тупость и зверство этого парня, мимо которого я сейчас проскочил, социальные условия, жуткое воспитание, все, что угодно, но я теперь отчетливо вижу, что это мой враг, враг всего, что я люблю, враг моих друзей, враг того, что я считаю самым святым. И ненавижу я его не теоретически, не как «типичного представителя», а его самого, его как личность. Ненавижу его слюнявую морду, вонь его немытого тела, его слепую веру, его злобу ко всему, что выходит за пределы половых отправлений и выпивки. Вот он топчется, этот недоросль, которого еще полгода назад толстопузый папаша порол,

тщась приспособить к торговле лежалой мукой и засахарившимся вареньем, сопит, стоеросовая дубина, мучительно пытаясь вспомнить параграфы скверно вызубренного устава, и никак не может сообразить, нужно ли рубить благородного дона топором, орать ли «караул!» или просто махнуть рукой — все равно никто не узнает. И он махнет на все рукой, вернется в свою нишу, сунет в пасть ком жевательной коры и будет чавкать, пуская слюни и причмокивая. И ничего на свете он не хочет знать, и ни о чем на свете он не хочет думать. Думать! А чем лучше орел наш дон Рэба? Да, конечно, его психология запутанней и рефлексы сложней, но мысли его подобны вот этим пропахшим аммиаком и преступлениями лабиринтам дворца, и он совершенно уже невыразимо гнусен — страшный преступник и бессовестный паук. Я пришел сюда любить людей, помочь им разогнуться, увидеть небо. Нет, я плохой разведчик, подумал он с раскаянием. Я никуда не годный историк. И когда это я успел провалиться в трясину, о которой говорил дон Кондор? Разве бог имеет право на какое-нибудь чувство, кроме жалости?

Позади раздалось торопливое бух-бух-бух сапогами по коридору. Румата повернулся и опустил руки крест-накрест на рукояти мечей. К нему

бежал дон Рипат, придерживая на боку клинок.

— Дон Румата!.. Дон Румата!.. — закричал он еще издали хриплым шепотом.

Румата оставил мечи. Подбежав к нему, дон Рипат огляделся и проговорил едва слышно на ухо:

— Я вас ищу уже целый час. Во дворце Вага Колесо! Разговаривает с доном Рэбой в лиловых покоях.

Румата даже зажмурился на секунду. Затем, осторожно отстранившись, сказал с вежливым удивлением:

— Вы имеете в виду знаменитого разбойника? Но ведь он не то казнен, не то вообще выдуман.

Лейтенант облизнул сухие губы.

— Он существует. Он во дворце... Я думал, вам будет интересно.

— Милейший дон Рипат, — внушительно сказал Румата, — меня интересуют слухи. Сплетни. Анекдоты... Жизнь так скучна... Вы меня, очевидно, неправильно понимаете... (Лейтенант смотрел на него безумными глазами.) Посудите сами — какое мне дело до нечистоплотных связей дона Рэбы, которого, впрочем, я слишком уважаю, чтобы как-то судить?.. И потом, простите, я спешу... Меня ждет дама.

Дон Рипат снова облизнул губы, неловко по-

клонился и боком пошел прочь. Румату вдруг осенила счастливая мысль.

— Кстати, мой друг, — приветливо окликнул он. — Как вам понравилась небольшая интрига, которую мы провели сегодня утром с доном Рэбой?

Дон Рипат с готовностью остановился.

— Мы очень удовлетворены, — сказал он.

— Не правда ли, это было очень мило?

— Это было великолепно! Серое офицерство очень радо, что вы, наконец, открыто приняли нашу сторону. Такой умный человек, как вы, дон Румата, и якшается с баронами, с благородными выродками...

— Мой дорогой Рипат! — высокомерно сказал Румата, поворачиваясь, чтобы идти. — Вы забываете, что с высоты моего происхождения не видно никакой разницы даже между королем и вами. До свиданья.

Он широко зашагал по коридорам, уверенно сворачивая в поперечные проходы и молча отстраняя часовых. Он плохо представлял себе, что собирается сделать, но он понимал, что это удивительная, редкостная удача. Он должен слышать разговор между двумя пауками. Недаром дон Рэба обещал за живого Вагу в четырнадцать раз больше, чем за Вагу мертвого...

Из-за лиловых портьер ему навстречу выступили два серых лейтенанта с клинками наголо.

— Здравствуйте, друзья, — сказал дон Румата, останавливаясь между ними. — Министр у себя?

— Министр занят, дон Румата, — сказал один из лейтенантов.

— Я подожду, — сказал Румата и прошел под портьеры.

Здесь было непроглядно темно. Румата ощупью пробирался среди кресел, столов и чугунных подставок для светильников. Несколько раз он явственно слышал чье-то сопение над ухом, и его обдавало густым чесночно-пивным духом. Потом он увидел слабую полоску света, расслышал знакомый гнусавый тенорок почтенного Ваги и остановился. В ту же секунду острие копья осторожно уперлось ему между лопатками. «Тише, болван, — сказал он раздраженно, но негромко. — Это я, дон Румата». Копье отодвинулось. Румата подтащил кресло к полоске света, сел, вытянув ноги, и зевнул так, чтобы было слышно. Затем он стал смотреть.

Пауки встретились. Дон Рэба сидел в напряженной позе, положив локти на стол и сплетя пальцы. Справа от него лежал на куче бумаг тяжелый метательный нож с деревянной руко-

ятью. На лице министра была приятная, хотя и несколько оцепенелая улыбка. Почтенный Вага сидел на софе спиной к Румате. Он был похож на старого чудаковатого вельможу, проведшего последние тридцать лет безвыездно в своем загородном дворце.

— Выстребаны обстряхнутся, — говорил он, — и дутой чернушенькой объятно хлюпнут по маргазам. Это уже двадцать длинных хохарей. Марко было бы тукнуть по пестрякам. Да хохари облыго ружуют. На том и покалим сростень. Это наш примар...

Дон Рэба пощупал бритый подбородок.

— Студно туково, — задумчиво сказал он.

Вага пожал плечами.

— Таков наш примар. С нами габузиться для вашего оглода не сростно. По габарям?

— По габарям, — решительно сказал министр охраны короны.

— И пей круг, — произнес Вага, поднимаясь.

Румата, оторопело слушавший эту галиматью, обнаружил на лице Ваги пушистые усы и острую седую бородку. Настоящий придворный времен прошлого регентства.

— Приятно было побеседовать, — сказал Вага.

Дон Рэба тоже встал.

— Беседа с вами доставила мне огромное удовольствие, — сказал он. — Я впервые вижу такого смелого человека, как вы, почтенный...

— Я тоже, — скучным голосом сказал Вага. — Я тоже поражаюсь и горжусь смелостью первого министра нашего королевства.

Он повернулся к дону Рэбе спиной и побрел к выходу, опираясь на жезл. Дон Рэба, не спуская с него задумчивого взгляда, рассеянно положил пальцы на рукоять ножа. Сейчас же за спиной Руматы кто-то страшно задышал, и длинный коричневый ствол духовой трубки просунулся мимо его уха к щели между портьерами. Секунду дон Рэба стоял, словно прислушиваясь, затем сел, выдвинул ящик стола, извлек кипу бумаг и погрузился в чтение. За спиной Руматы сплюнули, трубка убралась. Все было ясно. Пауки договорились. Румата встал и, наступая на чьи-то ноги, начал пробираться обратно к выходу из лиловых покоев.

Король обедал в огромной двусветной зале. Тридцатиметровый стол накрывался на сто персон: сам король, дон Рэба, особы королевской крови (два десятка полнокровных личностей, обжор и выпивох), министры двора и церемоний, группа родовитых аристократов, приглашаемых

традиционно (в том числе и Румата), дюжина заезжих баронов с дубоподобными баронетами и на самом дальнем конце стола — всякая аристократическая мелочь, правдами и неправдами добившаяся приглашения за королевский стол. Этих последних, вручая им приглашение и номерок на кресло, предупреждали: «Сидите неподвижно, король не любит, когда вертятся. Руки держите на столе, король не любит, когда руки прячут под стол. Не оглядывайтесь, король не любит, когда оглядываются». За каждым таким обедом пожиралось огромное количество тонкой пищи, выпивались озера старинных вин, разбивалась и портилась масса посуды знаменитого эсторского фарфора. Министр финансов в одном из своих докладов королю похвастался, что один-единственный обед его величества стоит столько же, сколько полугодовое содержание Соанской Академии наук.

В ожидании, когда министр церемоний под звуки труб трижды провозгласит «к столу!», Румата стоял в группе придворных и в десятый раз слушал рассказ дона Тамэо о королевском обеде, на котором он, дон Тамэо, имел честь присутствовать полгода назад.

— ...Я нахожу свое кресло, мы стоим, входит

король, садится, садимся и мы. Обед идет своим чередом. И вдруг, представьте себе, дорогие доны, я чувствую, что подо мной мокро... Мокро! Ни повернуться, ни поерзать, ни пощупать рукой я не решаюсь. Однако, улучив момент, я запускаю руку под себя — и что же? Действительно мокро! Нюхаю пальцы — нет, ничем особенным не пахнет. Что за притча! Между тем обед кончается, все встают, а мне, представьте себе, благородные доны, встать как-то страшно... Я вижу, что ко мне идет король — король! — но продолжаю сидеть на месте, словно барон-деревенщина, не знающий этикета. Его величество подходит ко мне, милостиво улыбается и кладет руку мне на плечо. «Мой дорогой дон Тамэо, — говорит он, — мы уже встали и идем смотреть балет, а вы все еще сидите. Что с вами, уж не объелись ли вы?» — «Ваше величество, — говорю я, — отрубите мне голову, но подо мной мокро». Его величество изволил рассмеяться и приказал мне встать. Я встал — и что же? Кругом хохот! Благородные доны, я весь обед просидел на ромовом торте! Его величество изволил очень смеяться. «Рэба, Рэба, — сказал, наконец, он, — это все ваши шутки! Извольте почистить благородного дона, вы испачкали ему седалище!» Дон Рэба, заливаясь смехом, вынима-

ет кинжал и принимается счищать торт с моих штанов. Вы представляете мое состояние, благородные доны? Не скрою, я трясся от страха при мысли о том, что дон Рэба, униженный при всех, отомстит мне. К счастью, все обошлось. Уверяю вас, благородные доны, это самое счастливое впечатление моей жизни! Как смеялся король! Как был доволен его величество!

Придворные хохотали. Впрочем, такие шутки были в обычае за королевским столом. Приглашенных сажали в паштеты, в кресла с подпиленными ножками, на гусиные яйца. Саживали и на отравленные иглы. Король любил, чтобы его забавляли. Румата вдруг подумал: любопытно, как бы я поступил на месте этого идиота? Боюсь, что королю пришлось бы искать себе другого министра охраны, а Институту пришлось бы прислать в Арканар другого человека. В общем, надо быть начеку. Как наш орел дон Рэба...

Загремели трубы, мелодично взревел министр церемоний, вошел, прихрамывая, король, и все стали рассаживаться. По углам залы, опершись на двуручные мечи, неподвижно стояли дежурные гвардейцы. Румате достались молчаливые соседи. Справа заполняла кресло трясущаяся туша угрюмого обжоры дона Пифы, супруга из-

вестной красавицы, слева бессмысленно смотрел в пустую тарелку Гур Сочинитель. Гости замерли, глядя на короля. Король затолкал за ворот сероватую салфетку, окинул взглядом блюда и схватил куриную ножку. Едва он впился в нее зубами, как сотня ножей с лязгом опустилась на тарелки и сотня рук протянулась над блюдами. Зал наполнился чавканьем и сосущими звуками, забулькало вино. У неподвижных гвардейцев с двуручными мечами алчно зашевелились усы. Когда-то Румату тошнило на этих обедах. Сейчас он привык.

Разделывая кинжалом баранью лопатку, он покосился направо и сейчас же отвернулся: дон Пифа висел над целиком зажаренным кабаном и работал, как землеройный автомат. Костей после него не оставалось. Румата задержал дыхание и залпом осушил стакан ируканского. Затем он покосился налево. Гур Сочинитель вяло ковырял ложкой в блюдечке с салатом.

— Что нового пишете, отец Гур? — спросил Румата вполголоса.

Гур вздрогнул.

— Пишу?.. Я?.. Не знаю... Много.

— Стихи?

— Да... стихи...

— У вас отвратительные стихи, отец Гур. (Гур странно посмотрел на него.) Да-да, вы не поэт.

— Не поэт... Иногда я думаю, кто же я? И чего я боюсь? Не знаю.

— Глядите в тарелку и продолжайте кушать. Я вам скажу, кто вы. Вы гениальный сочинитель, открыватель новой и самой плодотворной дороги в литературе. (На щеках Гура медленно выступил румянец.) Через сто лет, а может быть и раньше, по вашим следам пойдут десятки сочинителей.

— Спаси их господь! — вырвалось у Гура.

— Теперь я скажу вам, чего вы боитесь.

— Я боюсь тьмы.

— Темноты?

— Темноты тоже. В темноте мы во власти призраков. Но больше всего я боюсь тьмы, потому что во тьме все становятся одинаково серыми.

— Отлично сказано, отец Гур. Между прочим, можно еще достать ваше сочинение?

— Не знаю... И не хочу знать.

— На всякий случай знайте: один экземпляр находится в метрополии, в библиотеке императора. Другой хранится в Музее раритетов в Соане. Третий — у меня.

Гур трясущейся рукой положил себе ложку желе.

— Я... не знаю... — Он с тоской посмотрел на Румату огромными запавшими глазами. — Я хотел бы почитать... перечитать...

— Я с удовольствием ссужу вам...

— И потом?..

— Потом вы вернете.

— И потом вам вернут! — резко сказал Гур.

Румата покачал головой.

— Дон Рэба очень напугал вас, отец Гур.

— Напугал... Вам приходилось когда-нибудь жечь собственных детей? Что вы знаете о страхе, благородный дон!..

— Я склоняю голову перед тем, что вам пришлось пережить, отец Гур. Но я от души осуждаю вас за то, что вы сдались.

Гур Сочинитель вдруг принялся шептать так тихо, что Румата едва слышал его сквозь чавканье и гул голосов:

— А зачем все это?.. Что такое правда?.. Принц Хаар действительно любил прекрасную медно-кожую Яиневнивору... У них были дети... Я знаю их внука... Ее действительно отравили... Но мне объяснили, что это ложь... Мне объяснили, что правда — это то, что сейчас во благо королю... Все остальное ложь и преступление. Всю жизнь я писал ложь... И только сейчас я пишу правду...

Он вдруг встал и громко нараспев выкрикнул:

Велик и славен, словно вечность,
Король, чье имя — Благородство!
И отступила бесконечность,
И уступило первородство!

Король перестал жевать и тупо уставился на него. Гости втянули головы в плечи. Только дон Рэба улыбнулся и несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Король выплюнул на скатерть кости и сказал:

— Бесконечность?.. Верно. Правильно, уступила... Хвалю. Можешь кушать.

Чавканье и разговоры возобновились. Гур сел.

— Легко и сладостно говорить правду в лицо королю, — сипло проговорил он.

Румата промолчал.

— Я передам вам экземпляр вашей книги, отец Гур, — сказал он. — Но с одним условием. Вы немедленно начнете писать следующую книгу.

— Нет, — сказал Гур. — Поздно. Пусть Киун пишет. Я отравлен. И вообще все это меня больше не интересует. Сейчас я хочу только одного — научиться пить. И не могу... Болит желудок...

Еще одно поражение, подумал Румата. Опоздал.

— Послушайте, Рэба, — сказал вдруг король. — А где же лекарь? Вы обещали мне лекаря после обеда.

— Он здесь, ваше величество, — сказал дон Рэба. — Велите позвать?

— Велю? Еще бы! Если бы у вас так болело колено, вы бы визжали, как свинья!.. Давайте его сюда немедленно!

Румата откинулся на спинку кресла и приготовился смотреть. Дон Рэба поднял руку над головой и щелкнул пальцами. Дверь отворилась, и в залу, непрерывно кланяясь, вошел сгорбленный пожилой человек в долгополой мантии, украшенной изображениями серебряных пауков, звезд и змей. Под мышкой он держал плоскую продолговатую сумку. Румата был озадачен: он представлял себе Будаха совсем не таким. Не могло быть у мудреца и гуманиста, автора всеобъемлющего «Трактата о ядах» таких бегающих выцветших глазок, трясущихся от страха губ, жалкой, заискивающей улыбки. Но он вспомнил Гура Сочинителя. Вероятно, следствие над подозреваемым ируканским шпионом стоило литературной беседы в кабинете дона Рэбы. Взять Рэбу за ухо, подумал он сладостно. Притащить его в застенок. Сказать палачам: «Вот ируканский шпион, переодевшийся

нашим славным министром, король велел выпытать у него, где настоящий министр, делайте свое дело, и горе вам, если он умрет раньше, чем через неделю...» Он даже прикрылся рукой, чтобы никто не видел его лица. Что за страшная штука ненависть...

— Ну-ка, ну-ка, пойди сюда, лекарь, — сказал король. — Экий ты, братец, мозгляк. А ну-ка приседай, приседай, говорят тебе!

Несчастный Будах начал приседать. Лицо его исказилось от ужаса.

— Еще, еще, — гнусавил король. — Еще разок! Еще! Коленки не болят, вылечил-таки свои коленки. А покажи зубы! Та-ак, ничего зубы. Мне бы такие... И руки ничего, крепкие. Здоровый, здоровый, хотя и мозгляк... Ну давай, голубчик, лечи, чего стоишь...

— Ва-ваше величество... со-соизволит показать ножку... Ножку... — услыхал Румата. Он поднял глаза.

Лекарь стоял на коленях перед королем и осторожно мял его ногу.

— Э... Э! — сказал король. — Ты что это? Ты не хватай! Взялся лечить, так лечи!

— Мне все по-понятно, ваше величество, — пробормотал лекарь и принялся торопливо копаться

в своей сумке.

Гости перестали жевать. Аристократики на дальнем конце стола даже привстали и вытянули шеи, сгорая от любопытства.

Будах достал из сумки несколько каменных флаконов, откупорил их и, поочередно нюхая, расставил в ряд на столе. Затем он взял кубок короля и налил до половины вином. Произведя над кубком пассы обеими руками и прошептав заклинания, он быстро опорожнил в вино все флаконы. По залу распространился явственный запах нашатырного спирта. Король поджал губы, заглянул в кубок и, скривив нос, посмотрел на дона Рэбу. Министр сочувственно улыбнулся. Придворные затаили дыхание.

Что он делает, удивленно подумал Румата, ведь у старика подагра! Что он там намешал? В трактате ясно сказано: растирать опухшие сочленения настоем на трехдневном яде белой змеи Ку. Может быть, это для растирания?

— Это что, растирать? — спросил король, опасливо кивая на кубок.

— Отнюдь нет, ваше величество, — сказал Будах. Он уже немного оправился. — Это внутрь.

— Вну-утрь? — Король надулся и откинулся в кресле. — Я не желаю внутрь. Растирай.

— Как угодно, ваше величество, — покорно сказал Будах. — Но осмелюсь предупредить, что от растирания пользы не будет никакой.

— Почему-то все растирают, — брюзгливо сказал король, — а тебе обязательно надо вливать в меня эту гадость.

— Ваше величество, — сказал Будах, гордо выпрямившись, — это лекарство известно одному мне! Я вылечил им дядю герцога Ируканского. Что же касается растирателей, то ведь они не вылечили вас, ваше величество...

Король посмотрел на дона Рэбу. Дон Рэба сочувственно улыбнулся.

— Мерзавец ты, — сказал король лекарю неприятным голосом. — Мужичонка. Мозгляк паршивый. — Он взял кубок. — Вот как тресну тебя кубком по зубам... — Он заглянул в кубок. — А если меня вытошнит?

— Придется повторить, ваше величество, — скорбно произнес Будах.

— Ну ладно, с нами бог! — сказал король и поднес было кубок ко рту, но вдруг так резко отстранил его, что плеснул на скатерть. — А ну, выпей сначала сам! Знаю я вас, ируканцев, вы святого Мику варварам продали! Пей, говорят!

Будах с оскорбленным видом взял кубок и от-

пил несколько глотков.

— Ну как? — спросил король.

— Горько, ваше величество, — сдавленным голосом произнес Будах. — Но пить надо.

— На-адо, на-адо... — забрюзжал король. — Сам знаю, что надо. Дай сюда. Ну вот, полкубка вылакал, дорвался...

Он залпом опрокинул кубок. Вдоль стола понеслись сочувственные вздохи — и вдруг все затихло. Король застыл с разинутым ртом. Из глаз его градом посыпались слезы. Он медленно побагровел, затем посинел. Он протянул над столом руку, судорожно щелкая пальцами. Дон Рэба поспешно сунул ему соленый огурец. Король молча швырнул огурцом в дона Рэбу и опять протянул руку.

— Вина... — просипел он.

Кто-то кинулся, подал кувшин. Король, бешено вращая глазами, гулко глотал. Красные струи текли по его белому камзолу. Когда кувшин опустел, король бросил его в Будаха, но промахнулся.

— Стервец! — сказал он неожиданным басом. — Ты за что меня убил? Мало вас вешали! Чтоб ты лопнул!

Он замолчал и потрогал колено.

— Болит! — прогнусавил он прежним голосом.

— Все равно болит!

— Ваше величество, — сказал Будах. — Для полного излечения надо пить микстуру ежедневно в течение по крайней мере недели...

В горле у короля что-то пискнуло.

— Вон! — взвизгнул он. — Все вон отсюда!

Придворные, опрокидывая кресла, гурьбой бросились к дверям.

— Во-о-он!.. — истошно вопил король, сметая со стола посуду.

Выскочив из зала, Румата нырнул за какую-то портьеру и стал хохотать. За соседней портьерой тоже хохотали — надрывно, задыхаясь, с повизгиванием.

Глава 6

На дежурство у опочивальни принца заступали в полночь, и Румата решил зайти домой, чтобы посмотреть, все ли в порядке, и переодеться. Вечерний город поразил его. Улицы были погружены в гробовую тишину, кабаки закрыты. На перекрестках стояли, позвякивая железом, группы штурмовиков с факелами в руках. Они молчали и словно ждали чего-то. Несколько раз к Румате подходили, вглядывались и, узнав, так же молча давали дорогу. Когда до дому оставалось шагов пятьдесят, за ним увязалась кучка подозрительных личностей. Румата остановился, погремел ножнами о ножны, и личности отстали, но сейчас же в темноте заскрипел заряжаемый арбалет. Румата поспешно пошел дальше, прижимаясь к стенам, нашарил дверь, повернул ключ в замке, все время чувствуя свою незащищенную спину, и с облегченным вздохом вскочил в прихожую.

В прихожей собрались все слуги, вооруженные кто чем. Оказалось, что дверь уже несколько раз пробовали. Румате это не понравилось. «Может, не ходить? — подумал он. — Черт с ним, с

принцем».

— Где барон Пампа? — спросил он.

Уно, до крайности возбужденный, с арбалетом на плече, ответил, что «барон проснулись еще в полдень, выпили в доме весь рассол и опять ушли веселиться». Затем, понизив голос, он сообщил, что Кира сильно беспокоится и уже не раз спрашивала о хозяине.

— Ладно, — сказал Румата и приказал слугам построиться.

Слуг было шестеро, не считая кухарки, — народ все тертый, привычный к уличным потасовкам. С серыми они, конечно, связываться не станут, испугаются гнева всесильного министра, но против оборванцев ночной армии устоять смогут, тем более что разбойнички в эту ночь будут искать добычу легкую. Два арбалета, четыре секиры, тяжелые мясницкие ножи, железные шапки, двери добротные, окованы, по обычаю, железом... Или, может быть, все-таки не ходить?

Румата поднялся наверх и прошел на цыпочках в комнату Киры. Кира спала одетая, свернувшись калачиком на нераскрытой постели. Румата постоял над нею со светильником. Идти или не идти? Ужасно не хочется идти. Он накрыл ее пледом, поцеловал в щеку и вернулся в ка-

бинет. Надо идти. Что бы там ни происходило, разведчику надлежит быть в центре событий. И историкам польза. Он усмехнулся, снял с головы обруч, тщательно протер мягкой замшей объектив и вновь надел обруч. Потом позвал Уно и велел принести военный костюм и начищенную медную каску. Под камзол, прямо на майку, натянул, ежась от холода, металлопластовую рубашку, выполненную в виде кольчуги (здешние кольчуги неплохо защищали от меча и кинжала, но арбалетная стрела пробивала их насквозь). Затягивая форменный пояс с металлическими бляхами, сказал Уно:

— Слушай меня, малыш. Тебе я доверяю больше всех. Что бы здесь ни случилось, Кира должна остаться живой и невредимой. Пусть сгорит дом, пусть все деньги разграбят, но Киру ты мне сохрани. Уведи по крышам, по подвалам, как хочешь, но сохрани. Понял?

— Понял, — сказал Уно. — Не уходить бы вам сегодня...

— Ты слушай. Если я через три дня не вернусь, бери Киру и вези ее в сайву, в Икающий лес. Знаешь, где это? Так вот, в Икающем лесу найдешь Пьяную Берлогу, изба такая, стоит недалеко от дороги. Спросишь — покажут. Только смотри, у

кого спрашивать. Там будет человек, зовут его отец Кабани. Расскажешь ему все. Понял?

— Понял. А только лучше вам не уходить...

— Рад бы. Не могу: служба... Ну, смотри.

Он легонько щелкнул мальчишку в нос и улыбнулся в ответ на его неумелую улыбку. Внизу он произнес короткую ободряющую речь перед слугами, вышел за дверь и снова очутился в темноте. За его спиной загремели засовы.

Покои принца во все времена охранялись плохо. Возможно, именно поэтому на Арканарских принцев никто никогда не покушался. И уж в особенности не интересовались нынешним принцем. Никому на свете не нужен был этот чахлый голубоглазый мальчик, похожий на кого угодно, только не на своего отца. Мальчишка нравился Румате. Воспитание его было поставлено из рук вон плохо, и потому он был сообразителен, не жесток, терпеть не мог — надо думать, инстинктивно — дона Рэбу, любил громко распевать разнообразные песенки на слова Цурэна и играть в кораблики. Румата выписывал для него из метрополии книжки с картинками, рассказывал про звездное небо и однажды навсегда покорил мальчика сказкой о летающих кораблях. Для Руматы, редко сталкивавшегося

с детьми, десятилетний принц был антиподом всех сословий этой дикой страны. Именно из таких обыкновенных голубоглазых мальчишек, одинаковых во всех сословиях, вырастали потом и зверство, и невежество, и покорность, а ведь в них, в детях, не было никаких следов и задатков этой гадости. Иногда он думал, как здорово было бы, если бы с планеты исчезли все люди старше десяти лет.

Принц уже спал. Румата принял дежурство — постоял рядом со сменяющимся гвардейцем возле спящего мальчика, совершая сложные, требуемые этикетом движения обнаженными мечами, традиционно проверил, все ли окна заперты, все ли няньки на местах, во всех ли покоях горят светильники, вернулся в переднюю, сыграл со сменяющимся гвардейцем партию в кости и поинтересовался, как относится благородный дон к тому, что происходит в городе. Благородный дон, большого ума мужчина, глубоко задумался и высказал предположение, что простой народ готовится к празднованию дня святого Мики.

Оставшись один, Румата придвинул кресло к окну, сел поудобнее и стал смотреть на город. Дом принца стоял на холме, и днем город просматривался отсюда до самого моря. Но сейчас все тонуло

во мраке, только виднелись разбросанные кучки огней — где на перекрестках стояли и ждали сигнала штурмовики с факелами. Город спал или притворялся спящим. Интересно, чувствовали ли жители, что сегодня ночью на них надвигается что-то ужасное? Или, как благородный дон большого ума, тоже считали, что кто-то готовится к празднованию дня святого Мики? Двести тысяч мужчин и женщин. Двести тысяч кузнецов, оружейников, мясников, галантерейщиков, ювелиров, домашних хозяек, проституток, монахов, менял, солдат, бродяг, уцелевших книгочеев ворочались сейчас в душных, провонявших клопами постелях: спали, любились, пересчитывали в уме барыши, плакали, скрипели зубами от злости или от обиды… Двести тысяч человек! Было в них что-то общее для пришельца с Земли. Наверное, то, что все они почти без исключений были еще не людьми в современном смысле слова, а заготовками, болванками, из которых только кровавые века истории выточат когда-нибудь настоящего гордого и свободного человека. Они были пассивны, жадны и невероятно, фантастически эгоистичны. Психологически почти все они были рабами — рабами веры, рабами себе подобных, рабами страстишек, рабами корыстолюбия. И ес-

ли волею судеб кто-нибудь из них рождался или становился господином, он не знал, что делать со своей свободой. Он снова торопился стать рабом — рабом богатства, рабом противоестественных излишеств, рабом распутных друзей, рабом своих рабов. Огромное большинство из них ни в чем не было виновато. Они были слишком пассивны и слишком невежественны. Рабство их зиждилось на пассивности и невежестве, а пассивность и невежество вновь и вновь порождали рабство. Если бы они все были одинаковы, руки опустились бы и не на что было бы надеяться. Но все-таки они были людьми, носителями искры разума. И постоянно, то тут, то там вспыхивали и разгорались в их толще огоньки неимоверно далекого и неизбежного будущего. Вспыхивали, несмотря ни на что. Несмотря на всю их кажущуюся никчемность. Несмотря на гнет. Несмотря на то, что их затаптывали сапогами. Несмотря на то, что они были не нужны никому на свете и все на свете были против них. Несмотря на то, что в самом лучшем случае они могли рассчитывать на презрительную недоуменную жалость...

Они не знали, что будущее за них, что будущее без них невозможно. Они не знали, что в этом мире страшных призраков прошлого они

являются единственной реальностью будущего, что они — фермент, витамин в организме общества. Уничтожьте этот витамин, и общество загниет, начнется социальная цинга, ослабеют мышцы, глаза потеряют зоркость, вывалятся зубы. Никакое государство не может развиваться без науки — его уничтожат соседи. Без искусств и общей культуры государство теряет способность к самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребительство и самонадеянность и в конце концов опять-таки становится жертвой более благоразумных соседей. Можно сколько угодно преследовать книгочеев, запрещать науки, уничтожать искусства, но рано или поздно приходится спохватываться и со скрежетом зубовным, но открывать дорогу всему, что так ненавистно властолюбивым тупицам и невеждам. И как бы ни презирали знание эти серые люди, стоящие у власти, они ничего не могут сделать против исторической объективности, они могут только притормозить, но не остановить. Презирая и боясь знания, они все-таки неизбежно приходят к поощрению его для того, чтобы удержаться. Рано или поздно

им приходится разрешать университеты, научные общества, создавать исследовательские центры, обсерватории, лаборатории, создавать кадры людей мысли и знания, людей, им уже неподконтрольных, людей с совершенно иной психологией, с совершенно иными потребностями, а эти люди не могут существовать и тем более функционировать в прежней атмосфере низкого корыстолюбия, кухонных интересов, тупого самодовольства и сугубо плотских потребностей. Им нужна новая атмосфера — атмосфера всеобщего и всеобъемлющего познания, пронизанная творческим напряжением, им нужны писатели, художники, композиторы, и серые люди, стоящие у власти, вынуждены идти и на эту уступку. Тот, кто упрямится, будет сметен более хитрыми соперниками в борьбе за власть, но тот, кто делает эту уступку, неизбежно и парадоксально, против своей воли роет тем самым себе могилу. Ибо смертелен для невежественных эгоистов и фанатиков рост культуры народа во всем диапазоне — от естественнонаучных исследований до способности восхищаться большой музыкой... А затем приходит эпоха гигантских социальных потрясений, сопровождающихся невиданным ранее развитием науки и связанным с этим

широчайшим процессом интеллектуализации общества, эпоха, когда серость дает последние бои, по жестокости возвращающие человечество к средневековью, в этих боях терпит поражение и исчезает как реальная сила навсегда.

Румата все смотрел на замерший во мраке город. Где-то там, в вонючей каморке, скорчившись на жалком ложе, горел в лихорадке изувеченный отец Тарра, а брат Нанин сидел возле него за колченогим столиком, пьяный, веселый и злой, и заканчивал свой «Трактат о слухах», с наслаждением маскируя казенными периодами яростную насмешку над серой жизнью. Где-то там слепо бродил в пустых роскошных апартаментах Гур Сочинитель, с ужасом ощущая, как, несмотря ни на что, из глубин его растерзанной, растоптанной души возникают под напором чего-то неведомого и прорываются в сознание яркие миры, полные замечательных людей и потрясающих чувств. И где-то там неведомо как коротал ночь надломленный, поставленный на колени доктор Будах, затравленный, но живой... Братья мои, подумал Румата. Я ваш, мы плоть от плоти вашей! С огромной силой он вдруг почувствовал, что никакой он не бог, ограждающий в ладонях светлячков разума, а брат, помогающий

брату, сын, спасающий отца. «Я убью дона Рэбу». — «За что?» — «Он убивает моих братьев». — «Он не ведает, что творит». — «Он убивает будущее». — «Он не виноват, он сын своего века». — «То есть он не знает, что он виноват? Но мало ли чего он не знает? Я, я знаю, что он виноват». — «А что ты сделаешь с отцом Цупиком? Отец Цупик многое бы дал, чтобы кто-нибудь убил дона Рэбу. Молчишь? Многих придется убивать, не так ли?» — «Не знаю, может быть, и многих. Одного за другим. Всех, кто поднимет руку на будущее». — «Это уже было. Травили ядом, бросали самодельные бомбы. И ничего не менялось». — «Нет, менялось. Так создавалась стратегия революции». — «Тебе не нужно создавать стратегию революции. Тебе ведь хочется просто убить». — «Да, хочется». — «А ты умеешь?» — «Вчера я убил дону Окану. Я знал, что убиваю, еще когда шел к ней с пером за ухом. И я жалею только, что убил без пользы. Так что меня уже почти научили». — «А ведь это плохо. Это опасно. Помнишь Сергея Кожина? А Джорджа Лэнни? А Сабину Крюгер?» Румата провел ладонью по влажному лбу. Вот так думаешь, думаешь, думаешь — и в конце концов выдумываешь порох...

Он вскочил и распахнул окно. Кучки огней в

темном городе пришли в движение, распались и потянулись цепочками, появляясь и исчезая между невидимыми домами. Какой-то звук возник над городом — отдаленный многоголосый вой. Вспыхнули два пожара и озарили соседние крыши. Что-то заполыхало в порту. События начались. Через несколько часов станет понятно, что означает союз серых и ночных армий, противоестественный союз лавочников и грабителей с большой дороги, станет ясно, чего добивается дон Рэба и какую новую провокацию он задумал. Говоря проще: кого сегодня режут. Скорее всего, началась ночь длинных ножей, уничтожение зарвавшегося серого руководства, попутное истребление находящихся в городе баронов и наиболее неудобных аристократов. Как там Пампа, подумал он. Только бы не спал — отобьется...

Додумать ему не удалось. В дверь с истошным криком: «Отворите! Дежурный, отворите!» — забарабанили кулаками. Румата откинул засов. Ворвался полуодетый, сизый от ужаса человек, схватил Румату за отвороты камзола и закричал трясясь:

— Где принц? Будах отравил короля! Ируканские шпионы подняли бунт в городе! Спасайте принца!

Это был министр двора, человек глупый и крайне преданный. Оттолкнув Румату, он кинулся в спальню принца. Завизжали женщины. А в двери уже лезли, выставив ржавые топоры, потные мордастые штурмовики в серых рубахах. Румата обнажил мечи.

— Назад! — холодно сказал он.

За спиной из спальни донесся короткий задавленный вопль. Плохо дело, подумал Румата. Ничего не понимаю. Он отскочил в угол и загородился столом. Штурмовики, тяжело дыша, заполняли комнату. Их набралось человек пятнадцать. Вперед протолкался лейтенант в серой тесной форме, клинок наголо.

— Дон Румата? — сказал он, задыхаясь. — Вы арестованы. Отдайте мечи.

Румата оскорбительно засмеялся.

— Возьмите, — сказал он, косясь на окно.

— Взять его! — рявкнул офицер.

Пятнадцать упитанных увальней с топорами — не слишком много для человека, владеющего приемами боя, которые станут известны здесь лишь три столетия спустя. Толпа накатилась и откатилась. На полу осталось несколько топоров, двое штурмовиков скрючились и, бережно прижимая к животам вывихнутые руки, пролезли

в задние ряды. Румата в совершенстве владел веерной защитой, когда перед нападающими сплошным сверкающим занавесом крутится сталь и кажется невозможным прорваться через этот занавес. Штурмовики, отдуваясь, нерешительно переглядывались. От них остро тянуло пивом и луком.

Румата отодвинул стол и осторожно пошел к окну вдоль стены. Кто-то из задних рядов метнул нож, но промахнулся. Румата опять засмеялся, поставил ногу на подоконник и сказал:

— Сунетесь еще раз — буду отрубать руки. Вы меня знаете...

Они его знали. Они его очень хорошо знали, и ни один из них не двинулся с места, несмотря на ругань и понукания офицера, державшегося, впрочем, тоже очень осторожно. Румата встал на подоконник, продолжая угрожать мечами, и в ту же минуту из темноты, со двора, в спину ему ударило тяжелое копье. Удар был страшен. Он не пробил металлопластовую рубашку, но сшиб Румату с подоконника и бросил на пол. Мечей Румата не выпустил, но толку от них уже не было никакого. Вся свора разом насела на него. Вместе они весили, наверное, больше тонны, но мешали друг другу, и ему удалось подняться на ноги. Он

ударил кулаком в чьи-то мокрые губы, кто-то по-заячьи заверещал у него под мышкой, он бил и бил локтями, кулаками, плечами (давно он не чувствовал себя так свободно), но он не мог стряхнуть их с себя. С огромным трудом, волоча за собой кучу тел, он пошел к двери, по дороге наклоняясь и отдирая вцепившихся в ноги штурмовиков. Потом он ощутил болезненный удар в плечо и повалился на спину, под ним бились задавленные, но снова встал, нанося короткие, в полную силу удары, от которых штурмовики, размахивая руками и ногами, тяжело шлепались в стены; уже мелькало перед ним перекошенное лицо лейтенанта, выставившего перед собой разряженный арбалет, но тут дверь распахнулась, и навстречу ему полезли новые потные морды. На него накинули сеть, затянули на ногах веревки и повалили.

Он сразу перестал отбиваться, экономя силы. Некоторое время его топтали сапогами — сосредоточенно, молча, сладострастно хакая. Затем схватили за ноги и поволокли. Когда его тащили мимо раскрытой двери спальни, он успел увидеть министра двора, приколотого к стене копьем, и ворох окровавленных простыней на кровати. «Так это переворот! — подумал он. — Бедный

мальчик...» Его поволокли по ступенькам, и тут он потерял сознание.

Глава 7

Он лежал на травянистом пригорке и смотрел на облака, плывущие в глубоком синем небе. Ему было хорошо и покойно, но на соседнем пригорке сидела колючая костлявая боль. Она была вне его и в то же время внутри, особенно в правом боку и в затылке. Кто-то рявкнул: «Сдох он, что ли? Головы оторву!» И тогда с неба обрушилась масса ледяной воды. Он действительно лежал на спине и смотрел в небо, только не на пригорке, а в луже, и небо было не синее, а черно-свинцовое, подсвеченное красным. «Ничего, — сказал другой голос. — Они живые, глазами лупают». Это я живой, подумал он. Это обо мне. Это я лупаю глазами. Но зачем они кривляются? Говорить разучились по-человечески?

Рядом кто-то зашевелился и грузно зашлепал по воде. На небе появился черный силуэт головы в остроконечной шапке.

— Ну как, благородный дон, сами пойдете или волочь вас?

— Развяжите ноги, — сердито сказал Румата, ощущая острую боль в разбитых губах. Он попробовал их языком. Ну и губы, подумал он. Оладьи,

а не губы.

Кто-то завозился над его ногами, бесцеремонно дергая и ворочая их. Вокруг переговаривались негромкими голосами:

— Здорово вы его отделали...

— Так как же, он чуть не ушел... Заговоренный, стрелы отскакивают...

— Я одного знал такого, хоть топором бей, все нипочем.

— Так то небось мужик был...

— Ну, мужик...

— То-то и оно. А это благородных кровей.

— А, хвостом тя по голове... Узлов навязали, не разберешься... Огня дайте сюда!

— Да ты ножом.

— Ай, братья, ай, не развязывайте. Как он опять пойдет нас махать... Мне мало что голову не раздавил.

— Ладно, небось не начнет...

— Вы, братья, как хотите, а копьем я его бил по-настоящему. Я же так кольчуги пробивал.

Властный голос из темноты крикнул:

— Эй, скоро вы там?

Румата почувствовал, что ноги его свободны, напрягся и сел. Несколько приземистых штурмовиков молча смотрели, как он ворочается в луже.

Румата стиснул челюсти от стыда и унижения. Он подергал лопатками: руки были скручены за спиной, да так, что он даже не понимал, где у него локти, а где кисти. Он собрал все силы, рывком поднялся на ноги, и его сейчас же перекосило от страшной боли в боку. Штурмовики засмеялись.

— Небось не убежит, — сказал один.

— Да, притомились, хвостом тя по голове...

— Что, дон, не сладко?

— Хватит болтать, — сказал из темноты властный голос. — Идите сюда, дон Румата.

Румата пошел на голос, чувствуя, как его мотает из стороны в сторону. Откуда-то вынырнул человечек с факелом, пошел впереди. Румата узнал это место: один из бесчисленных внутренних двориков министерства охраны короны, где-то возле королевских конюшен. Он быстро сообразил — если поведут направо, значит, в Башню, в застенок. Если налево — в канцелярию. Он потряс головой. Ничего, подумал он. Раз жив, еще поборемся. Они свернули налево. Не сразу, подумал Румата. Будет предварительное следствие. Странно. Если дело дошло до следствия, в чем меня могут обвинить? Пожалуй, ясно. Приглашение отравителя Будаха, отравление короля, заговор против короны... Возможно, убийство принца. И,

разумеется, шпионаж в пользу Ирукана, Соана, варваров, баронов, Святого Ордена и прочее, и прочее... Просто удивительно, как я еще жив. Значит, еще что-то задумал этот бледный гриб.

— Сюда, — сказал человек с властным голосом.

Он распахнул низенькую дверь, и Румата, согнувшись, вошел в обширное, освещенное дюжиной светильников помещение. Посередине на потертом ковре сидели и лежали связанные, окровавленные люди. Некоторые из них были либо уже мертвы, либо без сознания. Почти все были босы, в рваных ночных рубашках. Вдоль стен, небрежно опираясь на топоры и секиры, стояли красномордые штурмовики, свирепые и самодовольные — победители. Перед ними прохаживался — руки за спину — офицер при мече, в сером мундире с сильно засаленным воротником. Спутник Руматы, высокий человек в черном плаще, подошел к офицеру и что-то шепнул на ухо. Офицер кивнул, с интересом взглянул на Румату и скрылся за цветастыми портьерами на противоположном конце комнаты.

Штурмовики тоже с интересом рассматривали Румату. Один из них, с заплывшим глазом, сказал:

— А хорош камушек у дона!

— Камушек будь здоров, — согласился другой. — Королю впору. И обруч литого золота.

— Нынче мы сами короли.

— Так что, снимем?

— Пр-рекратить, — негромко сказал человек в черном плаще.

Штурмовики с недоумением воззрились на него.

— Это еще кто на нашу голову? — сказал штурмовик с заплывшим глазом.

Человек в плаще, не отвечая, повернулся к нему спиной, подошел к Румате и встал рядом. Штурмовики недобро оглядывали его с головы до ног.

— Никак поп? — сказал штурмовик с заплывшим глазом. — Эй, поп, хошь в лоб?

Штурмовики загоготали. Штурмовик с заплывшим глазом поплевал на ладони, перебрасывая топор из руки в руку, и двинулся к Румате. Ох и дам я ему сейчас, подумал Румата, медленно отводя назад правую ногу.

— Кого я всегда бил, — продолжал штурмовик, останавливаясь перед ним и разглядывая человека в черном, — так это попов, грамотеев всяких и мастеровщину. Бывало...

Человек в плаще вскинул руку ладонью вверх. Что-то звонко щелкнуло под потолком. Ж-ж-ж!

Штурмовик с заплывшим глазом выронил топор и опрокинулся на спину. Из середины лба у него торчала короткая толстая арбалетная стрела с густым оперением. Стало тихо. Штурмовики попятились, боязливо шаря глазами по отдушинам под потолком. Человек в плаще опустил руку и приказал:

— Убрать падаль, быстро!

Несколько штурмовиков кинулись, схватили убитого за ноги и за руки и поволокли прочь. Из-за портьеры вынырнул серый офицер и приглашающе помахал.

— Пойдемте, дон Румата, — сказал человек в плаще.

Румата пошел к портьерам, огибая кучу пленных. Ничего не понимаю, думал он. За портьерами в темноте его схватили, обшарили, сорвали с пояса пустые ножны и вытолкнули на свет.

Румата сразу понял, куда он попал. Это был знакомый кабинет дона Рэбы в лиловых покоях. Дон Рэба сидел на том же месте и в совершенно той же позе, напряженно выпрямившись, положив локти на стол и сплетя пальцы. А ведь у старика геморрой, ни с того ни с сего с жалостью подумал Румата. Справа от дона Рэбы восседал отец Цупик, важный, сосредоточенный, с поджатыми губами,

слева — благодушно улыбающийся толстяк с нашивками капитана на сером мундире. Больше в кабинете никого не было. Когда Румата вошел, дон Рэба тихо и ласково сказал:

— А вот, друзья, и благородный дон Румата.

Отец Цупик пренебрежительно скривился, а толстяк благосклонно закивал.

— Наш старый и весьма последовательный недруг, — сказал дон Рэба.

— Раз недруг — повесить, — хрипло сказал отец Цупик.

— А ваше мнение, брат Аба? — спросил дон Рэба, предупредительно наклоняясь к толстяку.

— Вы знаете... Я как-то даже... — Брат Аба растерянно, по-детски улыбнулся, разведя коротенькие ручки. — Как-то мне, знаете ли, все равно. Но, может быть, все-таки не вешать?.. Может быть, сжечь, как вы полагаете, дон Рэба?

— Да, пожалуй, — задумчиво сказал дон Рэба.

— Вы понимаете, — продолжал очаровательный брат Аба, ласково улыбаясь Румате, — вешают отребье, мелочь... А мы должны сохранять у народа уважительное отношение к сословиям. Все-таки отпрыск древнего рода, крупный ируканский шпион... Ируканский, кажется, я не ошибаюсь? — Он схватил со стола листок и

близоруко всмотрелся. — Ах, еще и соанский... Тем более!

— Сжечь так сжечь, — согласился отец Цупик.

— Хорошо, — сказал дон Рэба. — Договорились. Сжечь.

— Впрочем, я думаю, дон Румата может облегчить свою участь, — сказал брат Аба. — Вы меня понимаете, дон Рэба?

— Признаться, не совсем...

— Имущество! Мой благородный дон, имущество! Руматы — сказочно богатый род!..

— Вы, как всегда, правы, — сказал дон Рэба.

Отец Цупик зевнул, прикрывая рот рукой, и покосился на лиловые портьеры справа от стола.

— Что ж, тогда начнем по всей форме, — со вздохом сказал дон Рэба.

Отец Цупик все косился на портьеры. Он явно чего-то ждал и совершенно не интересовался допросом. Что за комедия? — думал Румата. Что это значит?

— Итак, мой благородный дон, — сказал дон Рэба, обращаясь к Румате, — было бы чрезвычайно приятно услышать ваши ответы на некоторые интересующие нас вопросы.

— Развяжите мне руки, — сказал Румата.

Отец Цупик встрепенулся и с сомнением поже-

вал губами. Брат Аба отчаянно замотал головой.

— А? — сказал дон Рэба и посмотрел сначала на брата Аба, а потом на отца Цупика. — Я вас понимаю, друзья мои. Однако, принимая во внимание обстоятельства, о которых дон Румата, вероятно, догадывается... — Он выразительным взглядом обвел ряды отдушин под потолком. — Развяжите ему руки, — сказал он, не повышая голоса.

Кто-то неслышно подошел сзади. Румата почувствовал, как чьи-то странно мягкие, ловкие пальцы коснулись его рук, послышался скрип разрезаемых веревок. Брат Аба с неожиданной для его комплекции резвостью извлек из-под стола огромный боевой арбалет и положил перед собой прямо на бумаги. Руки Руматы, как плети, упали вдоль тела. Он почти не чувствовал их.

— Итак, начнем, — бодро сказал дон Рэба. — Ваше имя, род, звание?

— Румата, из рода Румат Эсторских. Благородный дворянин до двадцать второго предка.

Румата огляделся, сел на софу и стал массировать кисти рук. Брат Аба, взволнованно сопя, взял его на прицел.

— Ваш отец?

— Мой благородный отец — имперский советник, преданный слуга и личный друг импера-

тора.

— Он жив?

— Он умер.

— Давно?

— Одиннадцать лет назад.

— Сколько вам лет?

Румата не успел ответить. За лиловой портьерой послышался шум, брат Аба недовольно оглянулся. Отец Цупик, зловеще усмехаясь, медленно поднялся.

— Ну, вот и все, государи мои!.. — начал он весело и злорадно.

Из-за портьер выскочили трое людей, которых Румата меньше всего ожидал увидеть здесь. Отец Цупик, по-видимому, тоже. Это были здоровенные монахи в черных рясах с клобуками, надвинутыми на глаза. Они быстро и бесшумно подскочили к отцу Цупику и взяли его за локти.

— А... н-ня... — промямлил отец Цупик. Лицо его покрылось смертельной бледностью. Несомненно, он ожидал чего-то совсем другого.

— Как вы полагаете, брат Аба? — спокойно осведомился дон Рэба, наклоняясь к толстяку.

— Ну, разумеется! — решительно отозвался тот. — Несомненно!

Дон Рэба сделал слабое движение рукой. Мо-

нахи приподняли отца Цупика и, все так же бесшумно ступая, вынесли за портьеры. Румата гадливо поморщился. Брат Аба потер мягкие лапки и бодро сказал:

— Все обошлось превосходно, как вы думаете, дон Рэба?

— Да, неплохо, — согласился дон Рэба. — Однако продолжим. Итак, сколько же вам лет, дон Румата?

— Тридцать пять.

— Когда вы прибыли в Арканар?

— Пять лет назад.

— Откуда?

— До этого я жил в Эсторе, в родовом замке.

— А какова была цель этого перемещения?

— Обстоятельства вынудили меня покинуть Эстор. Я искал столицу, сравнимую по блеску со столицей метрополии...

По рукам побежали, наконец, огненные мурашки. Румата терпеливо и настойчиво продолжал массировать распухшие кисти.

— А все-таки, что же это были за обстоятельства? — спросил дон Рэба.

— Я убил на дуэли члена августейшей семьи.

— Вот как? Кого же именно?

— Молодого герцога Экину.

— В чем причина дуэли?

— Женщина, — коротко сказал Румата.

У него появилось ощущение, что все эти вопросы ничего не значат. Что это такая же игра, как и обсуждение способа казни. Все трое чего-то ждут. Я жду, когда у меня отойдут руки. Брат Аба — дурак — ждет, когда ему на колени посыплется золото из родовой сокровищницы дона Руматы. Дон Рэба тоже чего-то ждет... Но монахи, монахи! Откуда во дворце монахи? Да еще такие умелые бойкие ребята?..

— Имя женщины?

Ну и вопросы, подумал Румата. Глупее не придумаешь. Попробую-ка я их расшевелить...

— Дона Рита, — ответил он.

— Не ожидал, что вы ответите. Благодарю вас...

— Всегда готов к услугам.

Дон Рэба поклонился.

— Вам приходилось бывать в Ирукане?

— Нет.

— Вы уверены?

— Вы тоже.

— Мы хотим правды! — наставительно сказал дон Рэба. Брат Аба покивал. — Одной только правды!

— Ага, — сказал Румата. — А мне показалось...

— Он замолчал.

— Что вам показалось?

— Мне показалось, что вы главным образом хотите прибрать к рукам мое родовое имущество. Решительно не представляю себе, дон Рэба, каким образом вы надеетесь его получить?

— А дарственная? А дарственная? — вскричал брат Аба.

Румата засмеялся как можно более нагло.

— Ты дурак, брат Аба, или как тебя там... Сразу видно, что ты лавочник. Тебе что, неизвестно, что майорат не подлежит передаче в чужие руки?

Было видно, что брат Аба здорово рассвирепел, но сдерживается.

— Вам не следует разговаривать в таком тоне, — мягко сказал дон Рэба.

— Вы хотите правды? — возразил Румата. — Вот вам правда, истинная правда и только правда: брат Аба — дурак и лавочник.

Однако брат Аба уже овладел собой.

— Мне кажется, мы отвлеклись, — сказал он с улыбкой. — Как вы полагаете, дон Рэба?

— Вы, как всегда, правы, — сказал дон Рэба. — Благородный дон, а не приходилось ли вам бывать в Соане?

— Я был в Соане.

— С какой целью?

— Посетить Академию наук.

— Странная цель для молодого человека вашего положения.

— Мой каприз.

— А знакомы ли вы с генеральным судьей Соана доном Кондором?

Румата насторожился.

— Это старинный друг нашей семьи.

— Благороднейший человек, не правда ли?

— Весьма почтенная личность.

— А вам известно, что дон Кондор — участник заговора против его величества?

Румата задрал подбородок.

— Зарубите себе на носу, дон Рэба, — сказал он высокомерно. — Для нас, коренного дворянства метрополии, все эти Соаны и Ируканы, да и Арканар, были и всегда останутся вассалами имперской короны. — Он положил ногу на ногу и отвернулся.

Дон Рэба задумчиво глядел на него.

— Вы богаты?

— Я мог бы скупить весь Арканар, но меня не интересуют помойки...

Дон Рэба вздохнул.

— Мое сердце обливается кровью, — сказал он.

— Обрубить столь славный росток столь славного рода!.. Это было бы преступлением, если бы не вызывалось государственной необходимостью.

— Поменьше думайте о государственной необходимости, — сказал Румата, — и побольше думайте о собственной шкуре.

— Вы правы, — сказал дон Рэба и щелкнул пальцами.

Румата быстро напряг и вновь распустил мышцы. Кажется, тело работало. Из-за портьеры снова выскочили трое монахов. Все с той же неуловимой быстротой и точностью, свидетельствующими об огромном опыте, они сомкнулись вокруг еще продолжавшего умильно улыбаться брата Аба, схватили его и завернули руки за спину.

— Ой-ей-ей-ей!.. — завопил брат Аба. Толстое лицо его исказилось от боли.

— Скорее, скорее, не задерживайтесь! — брезгливо сказал дон Рэба.

Толстяк бешено упирался, пока его тащили за портьеры. Слышно было, как он кричит и взвизгивает, затем он вдруг заорал жутким, неузнаваемым голосом и сразу затих. Дон Рэба встал и осторожно разрядил арбалет. Румата ошарашенно следил за ним.

Дон Рэба прохаживался по комнате, задумчиво почесывая спину арбалетной стрелой. «Хорошо, хорошо, — бормотал он почти нежно. — Прелестно!..» Он словно забыл про Румату. Шаги его все убыстрялись, он помахивал на ходу стрелой, как дирижерской палочкой. Потом он вдруг резко остановился за столом, отшвырнул стрелу, осторожно сел и сказал, улыбаясь во все лицо:

— Как я их, а?.. Никто и не пикнул!.. У вас, я думаю, так не могут...

Румата молчал.

— Да-а... — протянул дон Рэба мечтательно. — Хорошо! Ну что ж, а теперь поговорим, дон Румата... А может быть, не Румата?.. И, может быть, даже и не дон? А?..

Румата промолчал, с интересом его разглядывая. Бледненький, с красными жилками на носу, весь трясется от возбуждения, так и хочется ему закричать, хлопая в ладоши: «А я знаю! А я знаю!» А ведь ничего ты не знаешь, сукин сын. А узнаешь, так не поверишь. Ну, говори, говори, я слушаю.

— Я вас слушаю, — сказал он.

— Вы не дон Румата, — объявил дон Рэба. — Вы самозванец. — Он строго смотрел на Румату. — Румата Эсторский умер пять лет назад и лежит в

фамильном склепе своего рода. И святые давно упокоили его мятежную и, прямо скажем, не очень чистую душу. Вы как, сами призна´етесь, или вам помочь?

— Сам признаюсь, — сказал Румата. — Меня зовут Румата Эсторский, и я не привык, чтобы в моих словах сомневались.

Попробую-ка я тебя немножко рассердить, подумал он. Бок болит, а то бы я тебя поводил за салом.

— Я вижу, что нам придется продолжать разговор в другом месте, — зловеще сказал дон Рэба.

С лицом его происходили удивительные перемены. Исчезла приятная улыбка, губы сжались в прямую линию. Странно и жутковато задвигалась кожа на лбу. Да, подумал Румата, такого можно испугаться.

— У вас правда геморрой? — участливо спросил он.

В глазах у дона Рэбы что-то мигнуло, но выражения лица он не изменил. Он сделал вид, что не расслышал.

— Вы плохо использовали Будаха, — сказал Румата. — Это отличный специалист. Был... — добавил он значительно.

В выцветших глазах снова что-то мигнуло. Ага,

подумал Румата, а ведь Будах-то еще жив... Он уселся поудобнее и обхватил руками колено.

— Итак, вы отказываетесь признаться, — произнес дон Рэба.

— В чем?

— В том, что вы самозванец.

— Почтенный Рэба, — сказал Румата наставительно, — такие вещи доказывают. Ведь вы меня оскорбляете!

На лице дона Рэбы появилась приторность.

— Мой дорогой дон Румата, — сказал он. — Простите, пока я буду называть вас этим именем. Так вот, обыкновенно я никогда ничего не доказываю. Доказывают там, в Веселой Башне. Для этого я содержу опытных, хорошо оплачиваемых специалистов, которые с помощью мясокрутки святого Мики, поножей господа бога, перчаток великомученицы Паты или, скажем, сиденья... э-э-э... виноват, кресла Тоца-воителя могут доказать все, что угодно. Что бог есть и бога нет. Что люди ходят на руках и люди ходят на боках. Вы понимаете меня? Вам, может быть, неизвестно, но существует целая наука о добывании доказательств. Посудите сами: зачем мне доказывать то, что я и сам знаю? И потом ведь признание вам ничем не грозит...

— Мне не грозит, — сказал Румата. — Оно грозит вам.

Некоторое время дон Рэба размышлял.

— Хорошо, — сказал он. — Видимо, начать придется все-таки мне. Давайте посмотрим, в чем замечен дон Румата Эсторский за пять лет своей загробной жизни в Арканарском королевстве. А вы потом объясните мне смысл всего этого. Согласны?

— Мне бы не хотелось давать опрометчивых обещаний, — сказал Румата, — но я с интересом вас выслушаю.

Дон Рэба, покопавшись в письменном столе, вытащил квадратик плотной бумаги и, подняв брови, просмотрел его.

— Да будет вам известно, — начал он, приветливо улыбаясь, — да будет вам известно, что мною, министром охраны арканарской короны, были предприняты некоторые действия против так называемых книгочеев, ученых и прочих бесполезных и вредных для государства людей. Эти акции встретили некое странное противодействие. В то время как весь народ в едином порыве, храня верность королю, а также арканарским традициям, всячески помогал мне: выдавал укрывшихся, расправлялся самосудно, указывал

на подозрительных, ускользнувших от моего внимания, — в это время кто-то неведомый, но весьма энергичный выхватывал у нас из-под носа и переправлял за пределы королевства самых важных, самых отпетых и отвратительных преступников. Так ускользнули от нас: безбожный астролог Багир Киссэнский; преступный алхимик Синда, связанный, как доказано, с нечистой силой и с ируканскими властями; мерзкий памфлетист и нарушитель спокойствия Цурэн и ряд иных рангом поменьше. Куда-то скрылся сумасшедший колдун и механик Кабани. Кем-то была затрачена уйма золота, чтобы помешать свершиться гневу народному в отношении богомерзких шпионов и отравителей, бывших лейб-знахарей его величества. Кто-то при поистине фантастических обстоятельствах, заставляющих опять-таки вспомнить о враге рода человеческого, освободил из-под стражи чудовище разврата и растлителя народных душ, атамана крестьянского бунта Арату Горбатого... — Дон Рэба остановился и, двигая кожей на лбу, значительно посмотрел на Румату. Румата, подняв глаза к потолку, мечтательно улыбался. Арату Горбатого он похитил, прилетев за ним на вертолете. На стражников это произвело громадное впечатление. На Арату, впрочем,

тоже. А все-таки я молодец, подумал он. Хорошо поработал.

— Да будет вам известно, — продолжал дон Рэба, — что указанный атаман Арата в настоящее время гуляет во главе взбунтовавшихся холопов по восточным областям метрополии, обильно проливая благородную кровь и не испытывая недостатка ни в деньгах, ни в оружии.

— Верю, — сказал Румата. — Он сразу показался мне очень решительным человеком.

— Итак, вы признаетесь? — сейчас же сказал дон Рэба.

— В чем? — удивился Румата.

Некоторое время они смотрели друг другу в глаза.

— Я продолжаю, — сказал дон Рэба. — На спасение этих растлителей душ вы, дон Румата, по моим скромным и неполным подсчетам, потратили не менее трех пудов золота. Я не говорю о том, что при этом вы навеки осквернили себя общением с нечистой силой. Я не говорю также и о том, что за все время пребывания в пределах Арканарского королевства вы не получили из своих эсторских владений даже медного гроша, да и с какой стати? Зачем снабжать деньгами покойника, хотя бы даже и родного? Но ваше золото!

Он открыл шкатулку, погребенную под бумагами на столе, и извлек из нее горсть золотых монет с профилем Пица Шестого.

— Одного этого золота достаточно было бы для того, чтобы сжечь вас на костре! — завопил он. — Это дьявольское золото! Человеческие руки не в силах изготовить металл такой чистоты!

Он сверлил Румату взглядом. Да, великодушно подумал Румата, это он молодец. Этого мы, пожалуй, недодумали. И, пожалуй, он первый заметил. Это надо учесть... Рэба вдруг снова погас. В голосе его зазвучали участливые отеческие нотки:

— И вообще вы ведете себя очень неосторожно, дон Румата. Я все это время так волновался за вас... Вы такой дуэлянт, вы такой задира! Сто двадцать шесть дуэлей за пять лет! И ни одного убитого... В конце концов из этого могли сделать выводы. Я, например, сделал. И не только я. Этой ночью, например, брат Аба — нехорошо говорить дурно о покойниках, но это был очень жестокий человек, я его терпел с трудом, признаться... Так вот, брат Аба выделил для вашего ареста не самых умелых бойцов, а самых толстых и сильных. И он оказался прав. Несколько вывихнутых рук, несколько отдавленных шей, выбитые зубы не в счет... и вот вы здесь! А ведь вы не могли не знать, что дере-

тесь за свою жизнь. Вы мастер. Вы, несомненно, лучший меч Империи. Вы, несомненно, продали душу дьяволу, ибо только в аду можно научиться этим невероятным, сказочным приемам боя. Я готов даже допустить, что это умение было дано вам с условием не убивать. Хотя трудно представить, зачем дьяволу понадобилось такое условие. Но пусть в этом разбираются наши схоласты...

Тонкий поросячий визг прервал его. Он недовольно посмотрел на лиловые портьеры. За портьерами дрались. Слышались глухие удары, визг: «Пустите! Пустите!» — и еще какие-то хриплые голоса, ругань, возгласы на непонятном наречии. Потом портьера с треском оборвалась и упала. В кабинет ввалился и рухнул на четвереньки какой-то человек, плешивый, с окровавленным подбородком, с дико вытаращенными глазами. Из-за портьеры высунулись огромные лапы, схватили человека за ноги и поволокли обратно. Румата узнал его: это был Будах. Он дико кричал:

— Обманули!.. Обманули!.. Это же был яд! За что?..

Его утащили в темноту. Кто-то в черном быстро подхватил и повесил портьеру. В наступившей тишине из-за портьер послышались отвратительные звуки — кого-то рвало. Румата понял.

— Где Будах? — спросил он резко.

— Как видите, с ним случилось какое-то несчастье, — ответил дон Рэба, но было заметно, что он растерялся.

— Не морочьте мне голову, — сказал Румата. — Где Будах?

— Ах, дон Румата, — сказал дон Рэба, качая головой. Он сразу оправился. — На что вам Будах? Он что, ваш родственник? Ведь вы его даже никогда не видели.

— Слушайте, Рэба! — сказал Румата бешено. — Я с вами не шучу! Если с Будахом что-нибудь случится, вы подохнете, как собака. Я раздавлю вас.

— Не успеете, — быстро сказал дон Рэба. Он был очень бледен.

— Вы дурак, Рэба. Вы опытный интриган, но вы ничего не понимаете. Никогда в жизни вы еще не брались за такую опасную игру, как сейчас. И вы даже не подозреваете об этом.

Дон Рэба сжался за столом, глазки его горели, как угольки. Румата чувствовал, что сам он тоже никогда еще не был так близок к гибели. Карты раскрывались. Решалось, кому быть хозяином в этой игре. Румата напрягся, готовясь прыгнуть. Никакое оружие — ни копье, ни стрела — не убивает мгновенно. Эта мысль отчетливо проступила

на физиономии дона Рэбы. Геморроидальный старик хотел жить.

— Ну что вы, в самом деле, — сказал он плаксиво. — Сидели, разговаривали... Да жив ваш Будах, успокойтесь, жив и здоров. Он меня еще лечить будет. Не надо горячиться.

— Где Будах?

— В Веселой Башне.

— Он мне нужен.

— Мне он тоже нужен, дон Румата.

— Слушайте, Рэба, — сказал Румата, — не сердите меня. И перестаньте притворяться. Вы же меня боитесь. И правильно делаете. Будах принадлежит мне, понимаете? Мне!

Теперь они оба стояли. Рэба был страшен. Он посинел, губы его судорожно дергались, он что-то бормотал, брызгая слюной.

— Мальчишка! — прошипел он. — Я никого не боюсь! Это я могу раздавить тебя, как пиявку!

Он вдруг повернулся и рванул гобелен, висевший за его спиной. Открылось широкое окно.

— Смотри!

Румата подошел к окну. Оно выходило на площадь перед дворцом. Уже занималась заря. В серое небо поднимались дымы пожаров. На площади валялись трупы. А в центре ее чернел

ровный неподвижный квадрат. Румата вгляделся. Это были всадники, стоящие в неправдоподобно точном строю, в длинных черных плащах, в черных клобуках, скрывающих глаза, с черными треугольными щитами на левой руке и с длинными пиками в правой.

— Пр-рошу! — сказал дон Рэба лязгающим голосом. Он весь трясся. — Смиренные дети господа нашего, конница Святого Ордена. Высадились сегодня ночью в Арканарском порту для подавления варварского бунта ночных оборванцев Ваги Колеса вкупе с возомнившими о себе лавочниками! Бунт подавлен. Святой Орден владеет городом и страной, отныне Арканарской областью Ордена...

Румата невольно почесал в затылке. Вот это да, подумал он. Так вот для кого мостили дорогу несчастные лавочники. Вот это провокация! Дон Рэба торжествующе скалил зубы.

— Мы еще не знакомы, — тем же лязгающим голосом продолжал он. — Позвольте представиться: наместник Святого Ордена в Арканарской области, епископ и боевой магистр раб божий Рэба!

А ведь можно было догадаться, думал Румата. Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные. Эх, историки, хвостом вас по

голове... Но он заложил руки за спину и покачался с носков на пятку.

— Сейчас я устал, — сказал он брезгливо. — Я хочу спать. Я хочу помыться в горячей воде и смыть с себя кровь и слюни ваших головорезов. Завтра... точнее, сегодня... скажем, через час после восхода, я зайду в вашу канцелярию. Приказ на освобождение Будаха должен быть готов к этому времени.

— Их двадцать тысяч! — крикнул дон Рэба, указывая рукой в окно.

Румата поморщился.

— Немножко тише, пожалуйста, — сказал он. — И запомните, Рэба: я отлично знаю, что никакой вы не епископ. Я вижу вас насквозь. Вы просто грязный предатель и неумелый дешевый интриган... — Дон Рэба облизнул губы, глаза его остекленели. Румата продолжал: — Я беспощаден. За каждую подлость по отношению ко мне или к моим друзьям вы ответите головой. Я вас ненавижу, учтите это. Я согласен вас терпеть, но вам придется научиться вовремя убираться с моей дороги. Вы поняли меня?

Дон Рэба торопливо сказал, просительно улыбаясь:

— Я хочу одного. Я хочу, чтобы вы были при

мне, дон Румата. Я не могу вас убить. Не знаю почему, но не могу.

— Боитесь, — сказал Румата.

— Ну и боюсь, — согласился дон Рэба. — Может быть, вы дьявол. Может быть, сын бога. Кто вас знает? А может быть, вы человек из могущественных заморских стран: говорят, есть такие... Я даже не пытаюсь заглянуть в пропасть, которая вас извергла. У меня кружится голова, и я чувствую, что впадаю в ересь. Но я тоже могу убить вас. В любую минуту. Сейчас. Завтра. Вчера. Это вы понимаете?

— Это меня не интересует, — сказал Румата.

— А что же? Что вас интересует?

— А меня ничто не интересует, — сказал Румата. — Я развлекаюсь. Я не дьявол и не бог, я кавалер Румата Эсторский, веселый благородный дворянин, обремененный капризами и предрассудками и привыкший к свободе во всех отношениях. Запомнили?

Дон Рэба уже пришел в себя. Он утерся платочком и приятно улыбнулся.

— Я ценю ваше упорство, — сказал он. — В конце концов, вы тоже стремитесь к каким-то идеалам. И я уважаю эти идеалы, хотя и не понимаю их. Я очень рад, что мы объяснились. Возможно, вы

когда-нибудь изложите мне свои взгляды, и совершенно не исключено, что вы заставите меня пересмотреть мои. Люди склонны совершать ошибки. Может быть, я ошибаюсь и стремлюсь не к той цели, ради которой стоило бы работать так усердно и бескорыстно, как работаю я. Я человек широких взглядов, и я вполне могу представить себе, что когда-нибудь стану работать с вами плечом к плечу...

— Там видно будет, — сказал Румата и пошел к двери. Ну и слизняк! — подумал он. Тоже мне сотрудничек. Плечом к плечу...

Город был поражен невыносимым ужасом. Красноватое утреннее солнце угрюмо озаряло пустынные улицы, дымящиеся развалины, сорванные ставни, взломанные двери. В пыли кроваво сверкали осколки стекол. Неисчислимые полчища ворон спустились на город, как на чистое поле. На площадях и перекрестках по двое и по трое торчали всадники в черном — медленно поворачивались в седлах всем туловищем, поглядывая сквозь прорези в низко надвинутых клобуках. С наспех врытых столбов свисали на цепях обугленные тела над погасшими углями. Казалось, ничего живого не осталось в городе — только орущие вороны и деловитые убийцы

в черном.

Половину дороги Румата прошел с закрытыми глазами. Он задыхался, мучительно болело избитое тело. Люди это или не люди? Что в них человеческого? Одних режут прямо на улицах, другие сидят по домам и покорно ждут своей очереди. И каждый думает: кого угодно, только не меня. Хладнокровное зверство тех, кто режет, и хладнокровная покорность тех, кого режут. Хладнокровие, вот что самое страшное. Десять человек стоят, замерев от ужаса, и покорно ждут, а один подходит, выбирает жертву и хладнокровно режет ее. Души этих людей полны нечистот, и каждый час покорного ожидания загрязняет их все больше и больше. Вот сейчас в этих затаившихся домах невидимо рождаются подлецы, доносчики, убийцы; тысячи людей, пораженных страхом на всю жизнь, будут беспощадно учить страху своих детей и детей своих детей. Я не могу больше, твердил про себя Румата. Еще немного, и я сойду с ума и стану таким же, еще немного, и я окончательно перестану понимать, зачем я здесь... Нужно отлежаться, отвернуться от всего этого, успокоиться...

«...В конце года Воды — такой-то год по новому летосчислению — центробежные процессы в

древней Империи стали значимыми. Воспользовавшись этим, Святой Орден, представлявший, по сути, интересы наиболее реакционных групп феодального общества, которые любыми средствами стремились приостановить диссипацию...» А как пахли горящие трупы на столбах, вы знаете? А вы видели когда-нибудь голую женщину со вспоротым животом, лежащую в уличной пыли? А вы видели города, в которых люди молчат и кричат только вороны? Вы, еще не родившиеся мальчики и девочки перед учебным стереовизором в школах Арканарской Коммунистической Республики?

Он ударился грудью в твердое и острое. Перед ним был черный всадник. Длинное копье с широким, аккуратно зазубренным лезвием упиралось Румате в грудь. Всадник молча глядел на него черными щелями в капюшоне. Из-под капюшона виднелся только тонкогубый рот с маленьким подбородком. Надо что-то делать, подумал Румата. Только что? Сбить его с лошади? Нет. Всадник начал медленно отводить копье для удара. Ах да!.. Румата вяло поднял левую руку и оттянул на ней рукав, открывая железный браслет, который ему дали при выходе из дворца. Всадник присмотрелся, поднял копье и проехал мимо.

«Во имя господа», — глухо сказал он со странным акцентом. «Именем его», — пробормотал Румата и пошел дальше мимо другого всадника, который старался достать копьем искусно вырезанную деревянную фигурку веселого чертика, торчащую под карнизом крыши. За полуоторванной ставней на втором этаже мелькнуло помертвевшее от ужаса толстое лицо — должно быть, одного из тех лавочников, что еще три дня назад за кружкой пива восторженно орали: «Ура дону Рэбе!» и с наслаждением слушали гррум, гррум, гррум подкованных сапог по мостовым. Эх, серость, серость... Румата отвернулся.

А как у меня дома? — вспомнил вдруг он и ускорил шаги. Последний квартал он почти пробежал. Дом был цел. На ступеньках сидели двое монахов, капюшоны они откинули и подставили солнцу плохо выбритые головы. Увидев его, они встали. «Во имя господа», — сказали они хором. «Именем его, — отозвался Румата. — Что вам здесь надо?» Монахи поклонились, сложив руки на животе. «Вы пришли, и мы уходим», — сказал один. Они спустились со ступенек и неторопливо побрели прочь, ссутулившись и сунув руки в рукава. Румата поглядел им вслед и вспомнил, что тысячи раз он видел на улицах эти смирен-

ные фигуры в долгополых черных рясах. Только раньше не волочились за ними в пыли ножны тяжеленных мечей. Проморгали, ах, как проморгали! — подумал он. Какое это было развлечение для благородных донов — пристроиться к одиноко бредущему монаху и рассказывать друг другу через его голову пикантные истории. А я, дурак, притворяясь пьяным, плелся позади, хохотал во все горло и так радовался, что Империя не поражена хоть религиозным фанатизмом... А что можно было сделать? Да, *что можно было сделать*?

— Кто там? — спросил дребезжащий голос.

— Открой, Муга, это я, — сказал Румата негромко.

Загремели засовы, дверь приоткрылась, и Румата протиснулся в прихожую. Здесь все было, как обычно, и Румата облегченно вздохнул. Старый, седой Муга, тряся головой, с привычной почтительностью потянулся за каской и мечами.

— Что Кира? — спросил Румата.

— Кира наверху, — сказал Муга. — Она здорова.

— Отлично, — сказал Румата, вылезая из перевязей с мечами. — А где Уно? Почему он не встречает меня?

Муга принял меч.

— Уно убит, — сказал он спокойно. — Лежит в людской.

Румата закрыл глаза.

— Уно убит... — повторил он. — Кто его убил?

Не дождавшись ответа, он пошел в людскую. Уно лежал на столе, накрытый до пояса простыней, руки его были сложены на груди, глаза широко открыты, рот сведен гримасой. Понурые слуги стояли вокруг стола и слушали, как бормочет монах в углу. Всхлипывала кухарка. Румата, не спуская глаз с лица мальчика, стал отстегивать непослушными пальцами воротник камзола.

— Сволочи... — сказал он. — Какие все сволочи!..

Он качнулся, подошел к столу, всмотрелся в мертвые глаза, приподнял простыню и сейчас же снова опустил ее.

— Да, поздно, — сказал он. — Поздно... Безнадежно... Ах, сволочи! Кто его убил? Монахи?

Он повернулся к монаху, рывком поднял его и нагнулся над его лицом.

— Кто убил? — сказал он. — Ваши? Говори!

— Это не монахи, — тихо сказал за его спиной Муга. — Это серые солдаты...

Румата еще некоторое время вглядывался в ху-

дое лицо монаха, в его медленно расширяющиеся зрачки. «Во имя господа...» — просипел монах. Румата отпустил его, сел на скамью в ногах Уно и заплакал. Он плакал, закрыв лицо ладонями, и слушал дребезжащий равнодушный голос Муги. Муга рассказывал, как после второй стражи в дверь постучали именем короля и Уно кричал, чтобы не открывали, но открыть все-таки пришлось, потому что серые грозились поджечь дом. Они ворвались в прихожую, избили и повязали слуг, а затем полезли по лестнице наверх. Уно, стоявший у входа в покои, начал стрелять из арбалетов. У него было два арбалета, и он успел выстрелить дважды, но один раз промахнулся. Серые метнули ножи, и Уно упал. Они стащили его вниз и стали топтать ногами и бить топорами, но тут в дом вошли черные монахи. Они зарубили двух серых, а остальных обезоружили, накинули им петли на шеи и выволокли на улицу.

Голос Муги умолк, но Румата еще долго сидел, опершись локтями на стол в ногах у Уно. Потом он тяжело поднялся, стер рукавом слезы, застрявшие в двухдневной щетине, поцеловал мальчика в ледяной лоб и, с трудом переставляя ноги, побрел наверх.

Он был полумертв от усталости и потрясения.

Кое-как вскарабкавшись по лестнице, он прошел через гостиную, добрался до кровати и со стоном повалился лицом в подушки. Прибежала Кира. Он был так измучен, что даже не мог помочь ей раздеть себя. Она стащила с него ботфорты, потом, плача над его опухшим лицом, содрала с него рваный мундир, металлопластовую рубашку и еще поплакала над его избитым телом. Только теперь он почувствовал, что у него болят все кости, как после испытаний на перегрузку. Кира обтирала его губкой, смоченной в уксусе, а он, не открывая глаз, шипел сквозь стиснутые губы и бормотал: «А ведь мог его стукнуть... Рядом стоял... Двумя пальцами придавить... Разве это жизнь, Кира? Уедем отсюда... Это Эксперимент надо мной, а не над ними». Он даже не замечал, что говорит по-русски. Кира испуганно взглядывала на него стеклянными от слез глазами и только молча целовала его в щеки. Потом она накрыла его изношенными простынями — Уно так и не собрался купить новые — и побежала вниз приготовить ему горячего вина, а он сполз с постели и, охая от ломающей тело боли, пошлепал босыми ногами в кабинет, открыл в столе секретный ящичек, покопался в аптечке и принял несколько таблеток спорамина. Когда Кира вернулась с

дымящимся котелком на тяжелом серебряном подносе, он лежал на спине и слушал, как уходит боль, унимается шум в голове и тело наливается новой силой и бодростью. Опростав котелок, он почувствовал себя совсем хорошо, позвал Мугу и велел приготовить одеться.

— Не ходи, Румата, — сказала Кира. — Не ходи. Оставайся дома.

— Надо, маленькая.

— Я боюсь, останься... Тебя убьют.

— Ну что ты? С какой стати меня убивать? Они меня все боятся.

Она снова заплакала. Она плакала тихо, робко, как будто боялась, что он рассердится. Румата усадил ее к себе на колени и стал гладить ее волосы.

— Самое страшное позади, — сказал он. — И потом ведь мы собирались уехать отсюда...

Она затихла, прижавшись к нему. Муга, тряся головой, равнодушно стоял рядом, держа наготове хозяйские штаны с золотыми бубенчиками.

— Но прежде нужно многое сделать здесь, — продолжал Румата. — Сегодня ночью многих убили. Нужно узнать, кто цел и кто убит. И нужно помочь спастись тем, кого собираются убить.

— А тебе кто поможет?

— Счастлив тот, кто думает о других... И потом

нам с тобой помогают могущественные люди.

— Я не могу думать о других, — сказала она. — Ты вернулся чуть живой. Я же вижу: тебя били. Уно они убили совсем. Куда же смотрели твои могущественные люди? Почему они не помешали убивать? Не верю... Не верю...

Она попыталась высвободиться, но он крепко держал ее.

— Что поделаешь, — сказал он. — На этот раз они немного запоздали. Но теперь они снова следят за нами и берегут нас. Почему ты не веришь мне сегодня? Ведь ты всегда верила. Ты сама видела: я вернулся чуть живой, а взгляни на меня сейчас!..

— Не хочу смотреть, — сказала она, пряча лицо. — Не хочу опять плакать.

— Ну вот! Несколько царапин! Пустяки... Самое страшное позади. По крайней мере для нас с тобой. Но есть люди очень хорошие, замечательные, для которых этот ужас еще не кончился. И я должен им помочь.

Она глубоко вздохнула, поцеловала его в шею и тихонько высвободилась.

— Приходи сегодня вечером, — попросила она. — Придешь?

— Обязательно! — горячо сказал он. — Я приду

раньше и, наверное, не один. Жди меня к обеду.

Она отошла в сторону, села в кресло и, положив руки на колени, смотрела, как он одевается. Румата, бормоча русские слова, натянул штаны с бубенчиками (Муга сейчас же опустился перед ним на корточки и принялся застегивать многочисленные пряжки и пуговки), вновь надел поверх чистой майки благословенную кольчугу и, наконец, сказал с отчаянием:

— Маленькая, ну пойми, ну, надо мне идти — что я могу поделать?! Не могу я не идти!

Она вдруг сказала задумчиво:

— Иногда я не могу понять, почему ты не бьешь меня.

Румата, застегивавший рубашку с пышными брыжами, застыл.

— То есть как это, почему не бью? — растерянно спросил он. — Разве тебя можно бить?

— Ты не просто добрый, хороший человек, — продолжала она, не слушая. — Ты еще и очень странный человек. Ты словно архангел... Когда ты со мной, я делаюсь смелой. Сейчас вот я смелая... Когда-нибудь я тебя обязательно спрошу об одной вещи. Ты — не сейчас, а потом, когда все пройдет, — расскажешь мне о себе?

Румата долго молчал. Муга подал ему оран-

жевый камзол с краснополосыми бантиками. Румата с отвращением натянул его и туго подпоясался.

— Да, — сказал он наконец. — Когда-нибудь я расскажу тебе все, маленькая.

— Я буду ждать, — сказала она серьезно. — А сейчас иди и не обращай на меня внимания.

Румата подошел к ней, крепко поцеловал в губы разбитыми губами, затем снял с руки железный браслет и протянул ей.

— Надень на левую руку, — сказал он. — Сегодня к нам в дом больше не должны приходить, но если придут — покажешь это.

Она смотрела ему вслед, и он точно знал, что она думает. Она думает: «Я не знаю, может быть, ты дьявол, или сын бога, или человек из сказочных заморских стран, но если ты не вернешься, я умру». И оттого, что она молчала, он был ей бесконечно благодарен, так как уходить ему было необычайно трудно — словно с изумрудного солнечного берега он бросался вниз головой в зловонную лужу.

Глава 8

До канцелярии епископа Арканарского Румата добирался задами. Он крадучись проходил тесные дворики горожан, путаясь в развешенном для просушки тряпье, пролезал через дыры в заборах, оставляя на ржавых гвоздях роскошные банты и клочья драгоценных соанских кружев, на четвереньках пробегал между картофельными грядками. Все же ему не удалось ускользнуть от бдительного ока черного воинства. Выбравшись в узкий кривой переулок, ведущий к свалке, он столкнулся с двумя мрачными подвыпившими монахами.

Румата попытался обойти их — монахи вытащили мечи и заступили дорогу. Румата взялся за рукояти мечей — монахи засвистели в три пальца, созывая подмогу. Румата стал отступать к лазу, из которого только что выбрался, но навстречу ему в переулок вдруг выскочил маленький юркий человечек с неприметным лицом. Задев Румату плечом, он подбежал к монахам и что-то сказал им, после чего монахи, подобрав рясы над голенастыми, обтянутыми сиреневым ногами, пустились рысью прочь и скрылись за домами.

Маленький человечек, не обернувшись, засеменил за ними.

Понятно, подумал Румата. Шпион-телохранитель. И даже не очень скрывается. Предусмотрителен епископ Арканарский. Интересно, чего он больше боится — меня или за меня? Проводив глазами шпиона, он повернул к свалке. Свалка выходила на зады канцелярии бывшего министерства охраны короны и, надо было надеяться, не патрулировалась.

Переулок был пуст. Но уже тихо поскрипывали ставни, хлопали двери, плакал младенец, слышалось опасливое перешептывание. Из-за полусгнившей изгороди осторожно высунулось изможденное, худое лицо, темное от въевшейся сажи. На Румату уставились испуганные, ввалившиеся глаза.

— Прощения прошу, благородный дон, и еще прошу прощения. Не скажет ли благородный дон, что в городе? Я кузнец Кикус, по прозвищу Хромач, мне в кузню идти, а я боюсь...

— Не ходи, — посоветовал Румата. — Монахи не шутят. Короля больше нет. Правит дон Рэба, епископ Святого Ордена. Так что сиди тихо.

После каждого слова кузнец торопливо кивал, глаза его наливались тоской и отчаянием.

— Орден, значит... — пробормотал он. — Ах, холера... Прошу прощения, благородный дон. Орден, стало быть... Это что же, серые или как?

— Да нет, — сказал Румата, с любопытством его разглядывая. — Серых, пожалуй, перебили. Это монахи.

— Ух ты! — сказал кузнец. — И серых, значит, тоже... Ну и Орден! Серых перебили — это, само собой, хорошо. Но вот насчет нас, благородный дон, как вы полагаете? Приспособимся, а? Под Орденом-то, а?

— Отчего же? — сказал Румата. — Ордену тоже пить-есть надо. Приспособитесь.

Кузнец оживился.

— И я так полагаю, что приспособимся. Я полагаю, главное — никого не трогай, и тебя не тронут, а?

Румата покачал головой.

— Ну нет, — сказал он. — Кто не трогает, тех больше всего и режут.

— И то верно, — вздохнул кузнец. — Да только куда денешься... Один ведь как перст, да восемь сопляков за штаны держатся. Эх, мать честная, хоть бы моего мастера прирезали! Он у серых в офицерах был. Как вы полагаете, благородный дон, могли его прирезать? Я ему пять золотых

задолжал.

— Не знаю, — сказал Румата. — Возможно, и прирезали. Ты лучше вот о чем подумай, кузнец. Ты один как перст, да таких перстов вас в городе тысяч десять.

— Ну? — сказал кузнец.

— Вот и думай, — сердито сказал Румата и пошел дальше.

Черта с два он чего-нибудь надумает. Рано ему еще думать. А казалось бы, чего проще: десять тысяч таких молотобойцев, да в ярости, кого хочешь раздавят в лепешку. Но ярости-то у них как раз еще нет. Один страх. Каждый за себя, один бог за всех.

Кусты бузины на окраине квартала вдруг зашевелились, и в переулок вполз дон Тамэо. Увидев Румату, он вскрикнул от радости, вскочил и, сильно пошатнувшись, двинулся навстречу, простирая к нему измазанные в земле руки.

— Мой благородный дон! — вскричал он. — Как я рад! Я вижу, вы тоже в канцелярию?

— Разумеется, мой благородный дон, — ответил Румата, ловко уклоняясь от объятий.

— Разрешите присоединиться к вам, благородный дон?

— Сочту за честь, благородный дон.

Они раскланялись. Очевидно было, что дон Тамэо как начал со вчерашнего дня, так по сю пору остановиться не может. Он извлек из широчайших желтых штанов стеклянную флягу тонкой работы.

— Не желаете ли, благородный дон? — учтиво предложил он.

— Благодарствуйте, — сказал Румата.

— Ром! — заявил дон Тамэо. — Настоящий ром из метрополии. Я заплатил за него золотой.

Они спустились к свалке и, зажимая носы, пошли шагать через кучи отбросов, трупы собак и зловонные лужи, кишащие белыми червями. В утреннем воздухе стоял непрерывный гул мириадов изумрудных мух.

— Вот странно, — сказал дон Тамэо, закрывая флягу, — я здесь никогда раньше не был.

Румата промолчал.

— Дон Рэба всегда восхищал меня, — сказал дон Тамэо. — Я был убежден, что он в конце концов свергнет ничтожного монарха, проложит нам новые пути и откроет сверкающие перспективы. — С этими словами он, сильно забрызгавшись, въехал ногой в желто-зеленую лужу и, чтобы не свалиться, ухватился за Румату. — Да! — продолжал он, когда они выбрались на твердую почву.

— Мы, молодая аристократия, всегда будем с доном Рэбой! Наступило, наконец, желанное послабление. Посудите сами, дон Румата, я уже час хожу по переулкам и огородам, но не встретил ни одного серого. Мы смели серую нечисть с лица земли, и так сладко и вольно дышится теперь в возрожденном Арканаре! Вместо грубых лавочников, этих наглых хамов и мужиков, улицы полны слугами господними. Я видел: некоторые дворяне уже открыто прогуливаются перед своими домами. Теперь им нечего опасаться, что какой-нибудь невежа в навозном фартуке забрызгает их своей нечистой телегой. И уже не приходится прокладывать себе дорогу среди вчерашних мясников и галантерейщиков. Осененные благословением великого Святого Ордена, к которому я всегда питал величайшее уважение и, не буду скрывать, сердечную нежность, мы придем к неслыханному процветанию, когда ни один мужик не осмелится поднять глаза на дворянина без разрешения, подписанного окружным инспектором Ордена. Я несу сейчас докладную записку по этому поводу.

— Отвратительная вонь, — с чувством сказал Румата.

— Да, ужасная, — согласился дон Тамэо, за-

крывая флягу. — Но зато как вольно дышится в возрожденном Арканаре! И цены на вино упали вдвое...

К концу пути дон Тамэо осушил флягу до дна, швырнул ее в пространство и пришел в необычайное возбуждение. Два раза он упал, причем во второй раз отказался чиститься, заявив, что многогрешен, грязен от природы и желает в таком виде предстать. Он снова и снова принимался во все горло цитировать свою докладную записку. «Крепко сказано! — восклицал он. — Возьмите, например, вот это место, благородные доны: дабы вонючие мужики... А? Какая мысль!» Когда они выбрались на задний двор канцелярии, он рухнул на первого же монаха и, заливаясь слезами, стал молить об отпущении грехов. Полузадохшийся монах яростно отбивался, пытался свистом звать на помощь, но дон Тамэо ухватил его за рясу, и они оба повалились на кучу отбросов. Румата их оставил и, удаляясь, еще долго слышал жалобный прерывистый свист и возгласы: «Дабы вонючие мужики!.. Бла-асловения!.. Всем сердцем!.. Нежность испытывал, нежность, понимаешь ты, мужицкая морда?»

На площади перед входом, в тени квадратной Веселой Башни, располагался отряд пеших

монахов, вооруженных устрашающего вида узловатыми дубинками. Покойников убрали. От утреннего ветра на площади крутились желтые пыльные столбы. Под широкой конической крышей башни, как всегда, орали и ссорились вороны — там, с выступающих балок, свешивались вздернутые вниз головой. Башня была построена лет двести назад предком покойного короля исключительно для военных надобностей. Она стояла на прочном трехэтажном фундаменте, в котором хранились некогда запасы пищи на случай осады. Потом башню превратили в тюрьму. Но от землетрясения все перекрытия внутри обрушились, и тюрьму пришлось перенести в подвалы. В свое время одна из Арканарских королев пожаловалась своему повелителю, что ей мешают веселиться вопли пытаемых, оглашающие округу. Августейший супруг приказал, чтобы в башне с утра и до ночи играл военный оркестр. С тех пор башня получила свое нынешнее название. Давно она уже представляла собой пустой каменный каркас, давно уже следственные камеры переместились во вновь отрытые, самые нижние этажи фундамента, давно уже не играл там никакой оркестр, а горожане все еще называли эту башню Веселой.

Обычно вокруг Веселой Башни бывало пустынно. Но сегодня здесь царило большое оживление. К ней вели, тащили, волокли по земле штурмовиков в изодранных серых мундирах, вшивых бродяг в лохмотьях, полуодетых, пупырчатых от страха горожан, истошно вопящих девок, целыми бандами гнали угрюмо озирающихся оборванцев из ночной армии. И тут же из каких-то потайных выходов вытаскивали крючьями трупы, валили на телеги и увозили за город. Хвост длиннейшей очереди дворян и зажиточных горожан, торчащий из отверстых дверей канцелярии, со страхом и смятением поглядывал на эту жуткую суету.

В канцелярию пускали всех, а некоторых даже приводили под конвоем. Румата протолкался внутрь. Там было душно, как на свалке. За широким столом, обложившись списками, сидел чиновник с желто-серым лицом, с большим гусиным пером за оттопыренным ухом. Очередной проситель, благородный дон Кэу, спесиво надувая усы, назвал свое имя.

— Снимите шляпу, — произнес бесцветным голосом чиновник, не отрывая глаз от бумаг.

— Род Кэу имеет привилегию носить шляпу в присутствии самого короля, — гордо провозгласил дон Кэу.

— Никто не имеет привилегий перед Орденом, — тем же бесцветным голосом произнес чиновник.

Дон Кэу запыхтел, багровея, но шляпу снял. Чиновник вел по списку длинным желтым ногтем.

— Дон Кэу... дон Кэу... — бормотал он, — дон Кэу... Королевская улица, дом двенадцать?

— Да, — жирным раздраженным голосом сказал дон Кэу.

— Номер четыреста восемьдесят пять, брат Тибак.

Брат Тибак, сидевший у соседнего стола, грузный, малиновый от духоты, поискал в бумагах, стер с лысины пот и монотонно прочел, поднявшись:

— «Номер четыреста восемьдесят пять, дон Кэу, Королевская, двенадцать, за поношение имени его преосвященства епископа Арканарского дона Рэбы, имевшее место на дворцовом балу в позапрошлом году, назначается три дюжины розог по обнаженным мягким частям с целованием ботинка его преосвященства».

Брат Тибак сел.

— Пройдите по этому коридору, — сказал чиновник бесцветным голосом, — розги направо, ботинок налево. Следующий...

К огромному изумлению Руматы, дон Кэу не протестовал. Видимо, он уже всякого насмотрелся в этой очереди. Он только крякнул, с достоинством поправил усы и удалился в коридор. Следующий, трясущийся от жира гигантский дон Пифа, уже стоял без шляпы.

— Дон Пифа... дон Пифа... — забубнил чиновник, ведя пальцем по списку. — Улица Молочников, дом два?

Дон Пифа издал горловой звук.

— Номер пятьсот четыре, брат Тибак.

Брат Тибак снова утерся и снова встал.

— Номер пятьсот четыре, дон Пифа, Молочников, два, ни в чем не замечен перед его преосвященством — следовательно, чист.

— Дон Пифа, — сказал чиновник, — получите знак очищения. — Он наклонился, достал из сундука, стоящего возле кресла, железный браслет и подал его благородному Пифе. — Носить на левой руке, предъявлять по первому требованию воинов Ордена. Следующий...

Дон Пифа издал горловой звук и отошел, разглядывая браслет. Чиновник уже бубнил следующее имя. Румата оглядел очередь. Тут было много знакомых лиц. Некоторые были одеты привычно богато, другие явно прибеднялись, но все были

основательно измазаны в грязи. Где-то в середине очереди громко, так, чтобы все слышали, дон Сэра уже третий раз за последние пять минут провозглашал: «Не вижу, почему бы даже благородному дону не принять пару розог от имени его преосвященства!»

Румата подождал, пока следующего отправили в коридор (это был известный рыботорговец, ему назначили пять розог без целования за невосторженный образ мыслей), протолкался к столу и бесцеремонно положил ладонь на бумаги перед чиновником.

— Прошу прощения, — сказал он. — Мне нужен приказ на освобождение доктора Будаха. Я дон Румата.

Чиновник не поднял головы.

— Дон Румата... дон Румата... — забормотал он и, отпихнув руку Руматы, повел ногтем по списку.

— Что ты делаешь, старая чернильница? — сказал Румата. — Мне нужен приказ на освобождение!

— Дон Румата... дон Румата... — Остановить этот автомат было, видимо, невозможно. — Улица Котельщиков, дом восемь. Номер шестнадцать, брат Тибак.

Румата чувствовал, что за его спиной все зата-

или дыхание. Да и самому ему, если признаться, стало не по себе. Потный и малиновый брат Тибак встал.

— Номер шестнадцать, дон Румата, Котельщиков, восемь, за специальные заслуги перед Орденом удостоен особой благодарности его преосвященства и благоволит получить приказ об освобождении доктора Будаха, с каковым Будахом поступит по своему усмотрению — смотри лист шесть-семнадцать-одиннадцать.

Чиновник немедленно извлек этот лист из-под списков и протянул Румате.

— В желтую дверь, на второй этаж, комната шесть, прямо по коридору, направо и налево, — сказал он. — Следующий...

Румата просмотрел лист. Это не был приказ на освобождение Будаха. Это было основание для получения пропуска в пятый, специальный отдел канцелярии, где ему надлежало взять предписание в секретариат тайных дел.

— Что ты мне дал, дубина? — спросил Румата. — Где приказ?

— В желтую дверь, на второй этаж, комната шесть, прямо по коридору, направо и налево, — повторил чиновник.

— Я спрашиваю, где приказ? — рявкнул Ру-

мата.

— Не знаю... не знаю... Следующий!

Над ухом Руматы послышалось сопение, и что-то мягкое и жаркое навалилось ему на спину. Он отстранился. К столу снова протиснулся дон Пифа.

— Не лезет, — сказал он пискляво.

Чиновник мутно поглядел на него.

— Имя? Звание? — спросил он.

— Не лезет, — снова сказал дон Пифа, дергая браслет, едва налезающий на три жирных пальца.

— Не лезет... не лезет... — пробормотал чиновник и вдруг быстро притянул к себе толстую книгу, лежащую справа на столе. Книга была зловещего вида — в черном засаленном переплете. Несколько секунд дон Пифа оторопело смотрел на нее, потом вдруг отшатнулся и, не говоря ни слова, устремился к выходу. В очереди загомонили: «Не задерживайтесь, быстрее!» Румата тоже отошел от стола. Вот это трясина, подумал он. Ну, я вас... Чиновник принялся бубнить в пространство: «Если же указанный знак очищения не помещается на левом запястье очищенного или ежели очищенный не имеет левого запястья как такового...» Румата обошел стол, запустил обе

руки в сундук с браслетами, захватил, сколько мог, и пошел прочь.

— Эй, эй, — без выражения окликнул его чиновник. — Основание!

— Во имя господа, — значительно сказал Румата, оглянувшись через плечо. Чиновник и брат Тибак дружно встали и нестройно ответили: «Именем его». Очередь глядела вслед Румате с завистью и восхищением.

Выйдя из канцелярии, Румата медленно направился к Веселой Башне, защелкивая по дороге браслеты на левой руке. Браслетов оказалось девять, и на левой руке уместилось только пять. Остальные четыре Румата нацепил на правую руку. На измор хотел меня взять епископ Арканарский, думал он. Не выйдет. Браслеты звякали на каждом шагу, в руке Румата держал на виду внушительную бумагу — лист шесть-семнадцать-одиннадцать, украшенный разноцветными печатями. Встречные монахи, пешие и конные, торопливо сворачивали с дороги. В толпе на почтительном расстоянии то появлялся, то исчезал неприметный шпион-телохранитель. Румата, немилосердно колотя замешкавшихся ножнами мечей, пробрался к воротам, грозно рыкнул на сунувшегося было стражника и, миновав двор,

стал спускаться по осклизлым, выщербленным ступеням в озаренный коптящими факелами полумрак. Здесь начиналась святая святых бывшего министерства охраны короны — королевская тюрьма и следственные камеры.

В сводчатых коридорах через каждые десять шагов торчал из ржавого гнезда в стене смердящий факел. Под каждым факелом в нише, похожей на пещеру, чернела дверца с зарешеченным окошечком. Это были входы в тюремные помещения, закрытые снаружи тяжелыми железными засовами. В коридорах было полно народу. Толкались, бегали, кричали, командовали... Скрипели засовы, хлопали двери, кого-то били, и он вопил, кого-то волокли, и он упирался, кого-то заталкивали в камеру, и без того набитую до отказа, кого-то пытались из камеры вытянуть и никак не могли, он истошно кричал: «Не я, не я!» — и цеплялся за соседей. Лица встречных монахов были деловиты до ожесточенности. Каждый спешил, каждый творил государственной важности дела. Румата, пытаясь разобраться, что к чему, неторопливо проходил коридор за коридором, спускаясь все ниже и ниже. В нижних этажах было поспокойнее. Здесь, судя по разговорам, экзаменовались выпускники Патриотической

школы. Полуголые грудастые недоросли в кожаных передниках стояли кучками у дверей пыточных камер, листали засаленные руководства и время от времени подходили пить воду к большому баку с кружкой на цепи. Из камер доносились ужасные крики, звуки ударов, густо тянуло горелым. И разговоры, разговоры!..

— У костоломки есть такой винт сверху, так он сломался. А я виноват? Он меня выпер. «Дубина, — говорит, — стоеросовая, получи, — говорит, — пять по мягкому и опять приходи...»

— А вот узнать бы, кто сечет, может, наш же брат студент и сечет. Так договориться заранее, грошей по пять с носу собрать и сунуть...

— Когда жиру много, накалять зубец не след, все одно в жиру остынет. Ты щипчики возьми и сало слегка отдери...

— Так ведь поножи господа бога для ног, они пошире будут и на клиньях, а перчатки великомученицы — на винтах, это для руки специально, понял?

— Смехота, братья! Захожу, гляжу — в цепях-то кто? Фика Рыжий, мясник с нашей улицы, уши мне все пьяный рвал. Ну, держись, думаю, уж порадуюсь я...

— А Пэкора Губу как с утра монахи уволокли,

так и не вернулся. И на экзамен не пришел.

— Эх, мне бы мясокрутку применить, а я его сдуру ломиком по бокам, ну, сломал ребро. Тут отец Кин меня за виски, сапогом под копчик, да так точно, братья, скажу вам — света я невзвидел, до се больно. «Ты что, — говорит, — мне матерьял портишь?»

Смотрите, смотрите, друзья мои, думал Румата, медленно поворачивая голову из стороны в сторону. Это не теория. Этого никто из людей еще не видел. Смотрите, слушайте, кинографируйте... и цените, и любите, черт вас возьми, свое время, и поклонитесь памяти тех, кто прошел через это! Вглядывайтесь в эти морды, молодые, тупые, равнодушные, привычные ко всякому зверству, да не воротите нос, ваши собственные предки были не лучше...

Его заметили. Десяток пар всякого повидавших глаз уставился на него.

— Во, дон стоят. Побелели весь.

— Хе... Так благородные, известно, не в привычку...

— Воды, говорят, в таких случаях дать, да цепь коротка, не дотянуть...

— Чего там, оклемаются...

— Мне бы такого... Такие про что спросишь, про

то и ответят...

— Вы, братья, потише, не то как рубанет... Колец-то сколько... И бумага.

— Как-то они на нас уставились... Отойдем, братья, от греха.

Они группой стронулись с места, отошли в тень и оттуда поблескивали осторожными паучьими глазками. Ну, хватит с меня, подумал Румата. Он примерился было поймать за рясу пробегающего монаха, но тут заметил сразу трех, не суетящихся, а занятых делом на месте. Они лупили палками палача: видимо, за нерадивость. Румата подошел к ним.

— Во имя господа, — негромко сказал он, бряк-нув кольцами.

Монахи опустили палки, присмотрелись.

— Именем его, — сказал самый рослый.

— А ну, отцы, — сказал Румата, — проводите к коридорному смотрителю.

Монахи переглянулись. Палач проворно отполз и спрятался за баком.

— А он тебе зачем? — спросил рослый монах.

Румата молча поднял бумагу к его лицу, подержал и опустил.

— Ага, — сказал монах. — Ну, я нынче буду коридорный смотритель.

— Превосходно, — сказал Румата и свернул бумагу в трубку. — Я дон Румата. Его преосвященство подарил мне доктора Будаха. Ступай и приведи его.

Монах сунул руку под клобук и громко поскребся.

— Будах? — сказал он раздумчиво. — Это который же Будах? Растлитель, что ли?

— Не, — сказал другой монах. — Растлитель — тот Рудах. Его и выпустили еще ночью. Сам отец Кин его расковал и наружу вывел. А я...

— Вздор, вздор! — нетерпеливо сказал Румата, похлопывая себя бумагой по бедру. — Будах. Королевский отравитель.

— А-а... — сказал смотритель. — Знаю. Так он уже на колу, наверное... Брат Пакка, сходи в двенадцатую, посмотри. А ты что, выводить его будешь? — обратился он к Румате.

— Естественно, — сказал Румата. — Он мой.

— Тогда бумажечку позволь сюда. Бумажечка в дело пойдет. — Румата отдал бумагу.

Смотритель повертел ее в руках, разглядывая печати, затем сказал с восхищением:

— Ну и пишут же люди! Ты, дон, постой в сторонке, подожди, у нас тут пока дело... Э, а куда этот-то подевался?

Монахи стали озираться, ища провинившегося палача. Румата отошел. Палача вытащили из-за бака, снова разложили на полу и принялись деловито, без излишней жестокости пороть. Минут через пять из-за поворота появился посланный монах, таща за собой на веревке худого, совершенно седого старика в темной одежде.

— Вот он, Будах-то! — радостно закричал монах еще издали. — И ничего он не на колу, живой Будах-то, здоровый! Маленько ослабел, правда, давно, видать, голодный сидит...

Румата шагнул им навстречу, вырвал веревку из рук монаха и снял петлю с шеи старика.

— Вы Будах Ируканский? — спросил он.

— Да, — сказал старик, глядя исподлобья.

— Я Румата, идите за мной и не отставайте. — Румата повернулся к монахам. — Во имя господа, — сказал он.

Смотритель разогнул спину и, опустив палку, ответил, чуть задыхаясь: «Именем его».

Румата поглядел на Будаха и увидел, что старик держится за стену и еле стоит.

— Мне плохо, — сказал он, болезненно улыбаясь. — Извините, благородный дон.

Румата взял его под руку и повел. Когда монахи скрылись из виду, он остановился, достал из

ампулы таблетку спорамина и протянул Будаху. Будах вопросительно взглянул на него.

— Проглотите, — сказал Румата. — Вам сразу станет легче.

Будах, все еще опираясь на стену, взял таблетку, осмотрел, понюхал, поднял косматые брови, потом осторожно положил на язык и почмокал.

— Глотайте, глотайте, — с улыбкой сказал Румата.

Будах проглотил.

— М-м-м... — произнес он. — Я полагал, что знаю о лекарствах все. — Он замолчал, прислушиваясь к своим ощущениям. — М-м-м-м! — сказал он. — Любопытно! Сушеная селезенка вепря Ы? Хотя нет, вкус не гнилостный.

— Пойдемте, — сказал Румата.

Они пошли по коридору, поднялись по лестнице, миновали еще один коридор и поднялись еще по одной лестнице. И тут Румата остановился как вкопанный. Знакомый густой рев огласил тюремные своды. Где-то в недрах тюрьмы орал во всю мочь, сыпля чудовищными проклятиями, понося бога, святых, преисподнюю, Святой Орден, дона Рэбу и еще многое другое, душевный друг барон Пампа дон Бау-но-Суруга-но-Гатта-но-Арканара. Все-таки попался барон, подумал Румата

с раскаянием. Я совсем забыл о нем. А он бы обо мне не забыл... Румата поспешно снял с руки два браслета, надел на худые запястья доктора Будаха и сказал:

— Поднимайтесь наверх, но за ворота не выходите. Ждите где-нибудь в сторонке. Если пристанут, покажите браслеты и держитесь нагло.

Барон Пампа ревел, как атомоход в полярном тумане. Гулкое эхо катилось под сводами. Люди в коридорах застыли, благоговейно прислушиваясь с раскрытыми ртами. Многие омахивались большим пальцем, отгоняя нечистого. Румата скатился по двум лестницам, сбивая с ног встречных монахов, ножнами мечей проложил себе дорогу сквозь толпу выпускников и пинком распахнул дверь камеры, прогибающуюся от рева. В мятущемся свете факелов он увидел друга Пампу: могучий барон был распят голый на стене вниз головой. Лицо его почернело от прилившей крови. За кривоватым столиком сидел, заткнув уши, сутулый чиновник, а лоснящийся от пота палач, чем-то похожий на дантиста, перебирал в железном тазу лязгающие инструменты.

Румата аккуратно закрыл за собой дверь, подошел сзади к палачу и ударил его рукоятью меча по затылку. Палач повернулся, охватил голову и

сел в таз. Румата извлек из ножен меч и перерубил стол с бумагами, за которым сидел чиновник. Все было в порядке. Палач сидел в тазу, слабо икая, а чиновник очень проворно убежал на четвереньках в угол и прилег там. Румата подошел к барону, с радостным любопытством глядевшему на него снизу вверх, взялся за цепи, державшие баронские ноги, и в два рывка вырвал их из стены. Затем он осторожно поставил ноги барона на пол. Барон замолчал, застыл в странной позе, затем рванулся и освободил руки.

— Могу ли я поверить, — снова загремел он, вращая налитыми кровью белками, — что это вы, мой благородный друг?! Наконец-то я нашел вас!

— Да, это я, — сказал Румата. — Пойдемте отсюда, мой друг, вам здесь не место.

— Пива! — сказал барон. — Где-то здесь было пиво. — Он пошел по камере, волоча обрывки цепей и не переставая громыхать. — Полночи я бегал по городу! Черт возьми, мне сказали, что вы арестованы, и я перебил массу народу! Я был уверен, что найду вас в этой тюрьме! А, вот оно!

Он подошел к палачу и смахнул его, как пыль, вместе с тазом. Под тазом обнаружился бочонок. Барон кулаком выбил дно, поднял бочонок и опрокинул его над собой, задрав голову. Струя

пива с клокотанием устремилась в его глотку. Что за прелесть, думал Румата, с нежностью глядя на барона. Казалось бы, бык, безмозглый бык, но ведь искал же меня, хотел спасти, ведь пришел, наверное, сюда в тюрьму за мной, сам... Нет, есть люди и в этом мире, будь он проклят... Но до чего удачно получилось!

Барон осушил бочонок и швырнул в угол, где шумно дрожал чиновник. В углу пискнуло.

— Ну вот, — сказал барон, вытирая бороду ладонью. — Теперь я готов следовать за вами. Это ничего, что я голый?

Румата огляделся, подошел к палачу и вытряхнул его из фартука.

— Возьмите пока это, — сказал он.

— Вы правы, — сказал барон, обвязывая фартук вокруг чресел. — Было бы неудобно явиться к баронессе голым...

Они вышли из камеры. Ни один человек не решился заступить им дорогу, коридор пустел за двадцать шагов.

— Я их всех разнесу! — ревел барон. — Они заняли мой замок! И посадили там какого-то отца Ариму! Не знаю, чей он там отец, но дети его, клянусь господом, скоро осиротеют. Черт побери, мой друг, вы не находите, что здесь удивительно

низкие потолки? Я исцарапал всю макушку...

Они вышли из башни. Мелькнул перед глазами и шарахнулся в толпу шпион-телохранитель. Румата дал Будаху знак следовать за ними. Толпа у ворот раздалась, как будто ее рассекли мечом. Было слышно, как одни кричат, что сбежал важный государственный преступник, а другие, что «вот он, Голый Дьявол, знаменитый эсторский палач-расчленитель».

Барон вышел на середину площади и остановился, морщась от солнечного света. Следовало торопиться. Румата быстро огляделся.

— Где-то тут была моя лошадь, — сказал барон. — Эй, кто там! Коня!

У коновязи, где топтались лошади орденской кавалерии, возникла суета.

— Не ту! — рявкнул барон. — Вон ту — серую в яблоках!

— Во имя господа! — запоздало крикнул Румата и потащил через голову перевязь с правым мечом.

Испуганный монашек в замаранной рясе подвел барону лошадь.

— Дайте ему что-нибудь, дон Румата, — сказал барон, тяжело поднимаясь в седло.

— Стой, стой! — закричали у башни.

Через площадь, размахивая дубинками, бежали монахи. Румата сунул барону меч.

— Торопитесь, барон, — сказал он.

— Да, — сказал Пампа. — Надо спешить. Этот Арима разграбит мой погреб. Я жду вас у себя завтра или послезавтра, мой друг. Что передать баронессе?

— Поцелуйте ей руку, — сказал Румата. Монахи уже были совсем близко. — Скорее, скорее, барон!..

— Но вы-то в безопасности? — с беспокойством осведомился барон.

— Да, черт возьми, да! Вперед!

Барон бросил коня в галоп, прямо на толпу монахов. Кто-то упал и покатился, кто-то заверещал, поднялась пыль, простучали копыта по каменным плитам — и барон исчез. Румата смотрел в переулок, где сидели, ошалело тряся головами, сбитые с ног, когда вкрадчивый голос произнес над его ухом:

— Мой благородный дон, а не кажется ли вам, что вы слишком много себе позволяете?

Румата обернулся. В лицо ему с несколько напряженной улыбкой пристально глядел дон Рэба.

— Слишком много? — переспросил Румата.

— Мне не знакомо это слово — «слишком». — Он вдруг вспомнил дона Сэра. — И вообще не вижу, почему бы одному благородному дону не помочь другому в беде.

Мимо, уставив пики, тяжко проскакали всадники — в погоню. В лице дона Рэбы что-то изменилось.

— Ну хорошо, — сказал он. — Не будем об этом... О, я вижу здесь высокоученого доктора Будаха... Вы прекрасно выглядите, доктор. Мне придется обревизовать свою тюрьму. Государственные преступники, даже отпущенные на свободу, не должны выходить из тюрьмы — их должны выносить.

Доктор Будах, как слепой, двинулся на него. Румата быстро встал между ними.

— Между прочим, дон Рэба, — сказал он, — как вы относитесь к отцу Ариме?

— К отцу Ариме? — Дон Рэба высоко поднял брови. — Прекрасный военный. Занимает видный пост в моей епископии. А в чем дело?

— Как верный слуга вашего преосвященства, — кланяясь, с острым злорадством сказал Румата, — спешу сообщить вам, что этот видный пост вы можете считать вакантным.

— Но почему?

Румата посмотрел в переулок, где еще не рассеялась желтая пыль. Дон Рэба тоже посмотрел туда. На лице его появилось озабоченное выражение.

Было уже далеко за полдень, когда Кира пригласила благородного господина и его высокоученого друга к столу. Доктор Будах, отмывшийся, переодетый во все чистое, тщательно побритый, выглядел очень внушительно. Движения его оказались медлительны и исполнены достоинства, умные серые глаза смотрели благосклонно и даже снисходительно. Прежде всего он извинился перед Руматой за свою вспышку на площади. «Но вы должны меня понять, — говорил он. — Это страшный человек. Это оборотень, который явился на свет только упущением божьим. Я врач, но мне не стыдно признаться, что при случае я охотно умертвил бы его. Я слыхал, что король отравлен. И теперь понимаю, чем он отравлен. (Румата насторожился.) Этот Рэба явился ко мне в камеру и потребовал, чтобы я составил для него яд, действующий в течение нескольких часов. Разумеется, я отказался. Он пригрозил мне пытками — я засмеялся ему в лицо. Тогда этот негодяй крикнул палачей, и они привели ему с улицы дюжину мальчиков и девочек не старше десяти лет. Он поставил их передо мной, раскрыл мой

мешок со снадобьями и объявил, что будет пробовать на этих детях все снадобья подряд, пока не найдет нужное. Вот как был отравлен король, дон Румата...» Губы Будаха начали подергиваться, но он взял себя в руки. Румата, деликатно отвернувшись, кивал. Понятно, думал он. Все понятно. Из рук своего министра король не взял бы и огурца. И мерзавец подсунул королю какого-то шарлатанчика, которому был обещан титул лейб-знахаря за излечение короля. И понятно, почему Рэба так возликовал, когда я обличал его в королевской опочивальне: трудно было придумать более удобный способ подсунуть королю лже-Будаха. Вся ответственность падала на Румату Эсторского, ируканского шпиона и заговорщика. Щенки мы, подумал он. В Институте надо специально ввести курс феодальной интриги. И успеваемость оценивать в рэбах. Лучше, конечно, в децирэбах. Впрочем, куда там...

По-видимому, доктор Будах был очень голоден. Однако он мягко, но решительно отказался от животной пищи и почтил своим вниманием только салаты и пирожки с вареньем. Он выпил стакан эсторского, глаза его заблестели, на щеках появился здоровый румянец. Румата есть не мог. Перед глазами у него трещали и чадили багровые

факелы, отовсюду несло горелым мясом, и в горле стоял клубок величиною с кулак. Поэтому, ожидая, пока гость насытится, он стоял у окна, ведя вежливую беседу, медлительную и спокойную, чтобы не мешать гостю жевать.

Город постепенно оживал. На улице появились люди, голоса становились все громче, слышался стук молотков и треск дерева — с крыш и со стен сбивали языческие изображения. Толстый лысый лавочник прокатил тележку с бочкой пива — продавать на площади по два гроша за кружку. Горожане приспосабливались. В подъезде напротив, ковыряя в носу, болтал с тощей хозяйкой маленький шпион-телохранитель. Потом под окном поехали подводы, нагруженные до второго этажа. Румата сначала не понял, что это за подводы, а потом увидел синие и черные руки и ноги, торчащие из-под рогож, и поспешно отошел к столу.

— Сущность человека, — неторопливо жуя, говорил Будах, — в удивительной способности привыкать ко всему. Нет в природе ничего такого, к чему бы человек не притерпелся. Ни лошадь, ни собака, ни мышь не обладают таким свойством. Вероятно, бог, создавая человека, догадывался, на какие муки его обрекает, и дал ему огромный

запас сил и терпения. Затруднительно сказать, хорошо это или плохо. Не будь у человека такого терпения и выносливости, все добрые люди давно бы уже погибли, и на свете остались бы злые и бездушные. С другой стороны, привычка терпеть и приспосабливаться превращает людей в бессловесных скотов, кои ничем, кроме анатомии, от животных не отличаются и даже превосходят их в беззащитности. И каждый новый день порождает новый ужас зла и насилия...

Румата поглядел на Киру. Она сидела напротив Будаха и слушала, не отрываясь, подперев щеку кулачком. Глаза у нее были грустные: видно, ей было очень жалко людей.

— Вероятно, вы правы, почтенный Будах, — сказал Румата. — Но возьмите меня. Вот я — простой благородный дон (у Будаха высокий лоб пошел морщинами, глаза удивленно и весело округлились), я безмерно люблю ученых людей, это дворянство духа. И мне невдомек, почему вы, хранители и единственные обладатели высокого знания, так безнадежно пассивны? Почему вы безропотно даете себя презирать, бросать в тюрьмы, сжигать на кострах? Почему вы отрываете смысл своей жизни — добывание знаний — от практических потребностей жизни — борьбы

против зла?

Будах отодвинул от себя опустевшее блюдо из-под пирожков.

— Вы задаете странные вопросы, дон Румата, — сказал он. — Забавно, что те же вопросы задавал мне благородный дон Гуг, постельничий нашего герцога. Вы знакомы с ним? Я так и подумал... Борьба со злом! Но что есть зло? Всякому вольно понимать это по-своему. Для нас, ученых, зло в невежестве, но церковь учит, что невежество — благо, а все зло от знания. Для землепашца зло — налоги и засухи, а для хлеботорговца засухи — добро. Для рабов зло — это пьяный и жестокий хозяин, для ремесленника — алчный ростовщик. Так что же есть зло, против которого надо бороться, дон Румата? — Он грустно оглядел слушателей. — Зло неистребимо. Никакой человек не способен уменьшить его количество в мире. Он может несколько улучшить свою собственную судьбу, но всегда за счет ухудшения судьбы других. И всегда будут короли, более или менее жестокие, бароны, более или менее дикие, и всегда будет невежественный народ, питающий восхищение к своим угнетателям и ненависть к своему освободителю. И все потому, что раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого

жестокого, чем своего освободителя, ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина, но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя. Таковы люди, дон Румата, и таков наш мир.

— Мир все время меняется, доктор Будах, — сказал Румата. — Мы знаем время, когда королей не было...

— Мир не может меняться вечно, — возразил Будах, — ибо ничто не вечно, даже перемены... Мы не знаем законов совершенства, но совершенство рано или поздно достигается. Взгляните, например, как устроено наше общество. Как радует глаз эта четкая, геометрически правильная система! Внизу крестьяне и ремесленники, над ними дворянство, затем духовенство и, наконец, король. Как все продумано, какая устойчивость, какой гармонический порядок! Чему еще меняться в этом отточенном кристалле, вышедшем из рук небесного ювелира? Нет зданий прочнее пирамидальных, это вам скажет любой знающий архитектор. — Он поучающе поднял палец. — Зерно, высыпаемое из мешка, не ложится ровным слоем, но образует так называемую коническую пирамиду. Каждое зернышко цепляется за другое, стараясь не скатиться вниз. Так же и человече-

ство. Если оно хочет быть неким целым, люди должны цепляться друг за друга, неизбежно образуя пирамиду.

— Неужели вы серьезно считаете этот мир совершенным? — удивился Румата. — После встречи с доном Рэбой, после тюрьмы...

— Мой молодой друг, ну конечно же! Мне многое не нравится в мире, многое я хотел бы видеть другим... Но что делать? В глазах высших сил совершенство выглядит иначе, чем в моих. Какой смысл дереву сетовать, что оно не может двигаться, хотя оно и радо было бы, наверное, бежать со всех ног от топора дровосека.

— А что, если бы можно было изменить высшие предначертания?

— На это способны только высшие силы...

— Но все-таки, представьте себе, что вы бог...

Будах засмеялся.

— Если бы я мог представить себя богом, я бы стал им!

— Ну, а если бы вы имели возможность посоветовать богу?

— У вас богатое воображение, — с удовольствием сказал Будах. — Это хорошо. Вы грамотны? Прекрасно! Я бы с удовольствием позанимался с вами...

— Вы мне льстите... Но что же вы все-таки посоветовали бы всемогущему? Что, по-вашему, следовало бы сделать всемогущему, чтобы вы сказали: вот теперь мир добр и хорош?..

Будах, одобрительно улыбаясь, откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Кира жадно смотрела на него.

— Что ж, — сказал он, — извольте. Я сказал бы всемогущему: «Создатель, я не знаю твоих планов, может быть, ты и не собираешься делать людей добрыми и счастливыми. Захоти этого! Так просто этого достигнуть! Дай людям вволю хлеба, мяса и вина, дай им кров и одежду. Пусть исчезнут голод и нужда, а вместе с тем и все, что разделяет людей».

— И это все? — спросил Румата.

— Вам кажется, что этого мало?

Румата покачал головой.

— Бог ответил бы вам: «Не пойдет это на пользу людям. Ибо сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые по-прежнему останутся нищими».

— Я бы попросил бога оградить слабых. «Вразуми жестоких правителей», — сказал бы я.

— Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу, и другие жестокие

заменят их.

Будах перестал улыбаться.

— Накажи жестоких, — твердо сказал он, — чтобы неповадно было сильным проявлять жестокость к слабым.

— Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие из сильных, их место займут сильные из слабых. Тоже жестокие. Так придется карать всех, а я не хочу этого.

— Тебе виднее, всемогущий. Сделай тогда просто так, чтобы люди получили все и не отбирали друг у друга то, что ты дал им.

— И это не пойдет людям на пользу, — вздохнул Румата, — ибо когда получат они все даром, без труда, из рук моих, то забудут труд, потеряют вкус к жизни и обратятся в моих домашних животных, которых я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно.

— Не давай им всего сразу! — горячо сказал Будах. — Давай понемногу, постепенно!

— Постепенно люди и сами возьмут все, что им понадобится.

Будах неловко засмеялся.

— Да, я вижу, это не так просто, — сказал он. — Я как-то не думал раньше о таких вещах... Кажется,

мы с вами перебрали все. Впрочем, — он подался вперед, — есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знание, чтобы труд и знание стали единственным смыслом их жизни!

Да, это мы тоже намеревались попробовать, подумал Румата. Массовая гипноиндукция, позитивная реморализация. Гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках...

— Я мог бы сделать и это, — сказал он. — Но стоит ли лишать человечество его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое?

Будах, сморщив лоб, молчал обдумывая. Румата ждал. За окном снова тоскливо заскрипели подводы. Будах тихо проговорил:

— Тогда, господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными... или, еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой.

— Сердце мое полно жалости, — медленно сказал Румата. — Я не могу этого сделать.

И тут он увидел глаза Киры. Кира глядела на него с ужасом и надеждой.

Глава 9

Уложив Будаха отдохнуть перед дальней дорогой, Румата направился к себе в кабинет. Действие спорамина кончалось, он снова чувствовал себя усталым и разбитым, снова заныли ушибы и стали вспухать изуродованные веревкой запястья. Надо поспать, думал он, надо обязательно поспать, и надо связаться с доном Кондором. И надо связаться с патрульным дирижаблем, пусть сообщат на Базу. И надо прикинуть, что мы теперь должны делать, и можем ли мы что-нибудь сделать, и как быть, если мы ничего больше не сможем сделать.

В кабинете за столом сидел, сгорбившись в кресле, положив руки на высокие подлокотники, черный монах в низко надвинутом капюшоне. Ловко, подумал Румата.

— Кто ты такой? — устало спросил он. — Кто тебя пустил?

— Добрый день, благородный дон Румата, — произнес монах, откидывая капюшон.

Румата покачал головой.

— Ловко! — сказал он. — Добрый день, славный Арата. Почему вы здесь? Что случилось?

— Все как обычно, — сказал Арата. — Армия разбрелась, все делят землю, на юг идти никто не хочет. Герцог собирает недорезанных и скоро развесит моих мужиков вверх ногами вдоль Эсторского тракта. Все как обычно, — повторил он.

— Понятно, — сказал Румата.

Он повалился на кушетку, заложил руки за голову и стал смотреть на Арату. Двадцать лет назад, когда Антон мастерил модельки и играл в Вильгельма Телля, этого человека звали Аратой Красивым, и был он тогда, вероятно, совсем не таким, как сейчас.

Не было у Араты Красивого на великолепном высоком лбу этого уродливого лилового клейма — оно появилось после мятежа соанских корабельщиков, когда три тысячи голых рабов-ремесленников, согнанных на соанские верфи со всех концов Империи и замордованных до потери инстинкта самосохранения, в одну ненастную ночь вырвались из порта, прокатились по Соану, оставляя за собой трупы и пожары, и были встречены на окраине закованной в латы имперской пехотой...

И были, конечно, у Араты Красивого целы оба глаза. Правый глаз выскочил из орбиты от молодецкого удара баронской булавы, когда

двадцатитысячная крестьянская армия, гоняясь по метрополии за баронскими дружинами, сшиблась в открытом поле с пятитысячной гвардией императора, была молниеносно разрезана, окружена и вытоптана шипастыми подковами боевых верблюдов...

И был, наверное, Арата Красивый строен как тополь. Горб и новое прозвище он получил после вилланской войны в герцогстве Убанском за два моря отсюда, когда после семи лет мора и засух четыреста тысяч живых скелетов вилами и оглоблями перебили дворян и осадили герцога Убанского в его резиденции; и герцог, слабый ум которого обострился от невыносимого ужаса, объявил подданным прощение, впятеро снизил цены на хмельные напитки и пообещал вольности; и Арата, уже видя, что все кончено, умолял, требовал, заклинал не поддаваться на обман, был взят атаманами, полагавшими, что от добра добра не ищут, избит железными палками и брошен умирать в выгребную яму...

А вот это массивное железное кольцо на правом запястье было у него, наверное, еще когда он назывался Красивым. Оно было приковано цепью к веслу пиратской галеры, и Арата расклепал цепь, ударил этим кольцом в висок капитана

Эгу Любезника, захватил корабль, а потом и всю пиратскую армаду и попытался создать вольную республику на воде... И кончилась эта затея пьяным кровавым безобразием, потому что Арата тогда был молод, не умел ненавидеть и считал, что одной лишь свободы достаточно, чтобы уподобить раба богу...

Это был профессиональный бунтовщик, мститель божьей милостью, в средние века фигура довольно редкая. Таких щук рождает иногда историческая эволюция и запускает в социальные омуты, чтобы не дремали жирные караси, пожирающие придонный планктон... Арата был здесь единственным человеком, к которому Румата не испытывал ни ненависти, ни жалости, и в своих горячечных снах землянина, прожившего пять лет в крови и вони, он часто видел себя именно таким вот Аратой, прошедшим все ады Вселенной и получившим за это высокое право убивать убийц, пытать палачей и предавать предателей...

— Иногда мне кажется, — сказал Арата, — что все мы бессильны. Я вечный главарь мятежников, и я знаю, что вся моя сила в необыкновенной живучести. Но эта сила не помогает моему бессилию. Мои победы волшебным образом обо-

рачиваются поражениями. Мои боевые друзья становятся врагами, самые храбрые бегут, самые верные предают или умирают. И нет у меня ничего, кроме голых рук, а голыми руками не достанешь раззолоченных идолов, сидящих за крепостными стенами...

— Как вы очутились в Арканаре? — спросил Румата.

— Приплыл с монахами.

— Вы с ума сошли. Вас же так легко опознать...

— Только не в толпе монахов. Среди офицеров Ордена половина юродивых и увечных, как я. Калеки угодны богу. — Он усмехнулся, глядя Румате в лицо.

— И что вы намерены делать? — спросил Румата, опуская глаза.

— Как обычно. Я знаю, что такое Святой Орден; не пройдет и года, как арканарский люд полезет из своих щелей с топорами — драться на улицах. И поведу их я, чтобы они били тех, кого надо, а не друг друга и всех подряд.

— Вам понадобятся деньги? — спросил Румата.

— Да, как обычно. И оружие... — Он помолчал, затем сказал вкрадчиво: — Дон Румата, вы помните, как я был огорчен, когда узнал, кто вы такой? Я ненавижу попов, и мне очень горько, что их

лживые сказки оказались правдой. Но бедному мятежнику надлежит извлекать пользу из любых обстоятельств. Попы говорят, что боги владеют молниями... Дон Румата, мне очень нужны молнии, чтобы разбивать крепостные стены.

Румата глубоко вздохнул. После чудесного спасения на вертолете Арата настоятельно потребовал объяснений. Румата попытался рассказать о себе, он даже показал в ночном небе Солнце — крошечную, едва видную звездочку. Но мятежник понял только одно: проклятые попы правы, за небесной твердью действительно живут боги, всеблагие и всемогущие. И с тех пор каждый разговор с Руматой он сводил к одному: бог, раз уж ты существуешь, дай мне свою силу, ибо это лучшее, что ты можешь сделать.

И каждый раз Румата отмалчивался или переводил разговор на другое.

— Дон Румата, — сказал мятежник, — почему вы не хотите помочь нам?

— Одну минутку, — сказал Румата. — Прошу прощения, но я хотел бы знать, как вы проникли в дом.

— Это неважно. Никто, кроме меня, не знает этой дороги. Не уклоняйтесь, дон Румата. Почему вы не хотите дать нам вашу силу?

— Не будем говорить об этом.

— Нет, мы будем говорить об этом. Я не звал вас. Я никогда никому не молился. Вы пришли ко мне сами. Или вы просто решили позабавиться?

Трудно быть богом, подумал Румата. Он сказал терпеливо:

— Вы не поймете меня. Я вам двадцать раз пытался объяснить, что я не бог, — вы так и не поверили. И вы не поймете, почему я не могу помочь вам оружием...

— У вас есть молнии?

— Я не могу дать вам молнии.

— Я уже слышал это двадцать раз, — сказал Арата. — Теперь я хочу знать: почему?

— Я повторяю: вы не поймете.

— А вы попытайтесь.

— Что вы собираетесь делать с молниями?

— Я выжгу золоченую сволочь, как клопов, всех до одного, весь их проклятый род до двенадцатого потомка. Я сотру с лица земли их крепости. Я сожгу их армии и всех, кто будет защищать их и поддерживать. Можете не беспокоиться — ваши молнии будут служить только добру, и когда на земле останутся только освобожденные рабы и воцарится мир, я верну вам ваши молнии и никогда больше не попрошу их.

Арата замолчал, тяжело дыша. Лицо его потемнело от прилившей крови. Наверное, он уже видел охваченные пламенем герцогства и королевства, и груды обгорелых тел среди развалин, и огромные армии победителей, восторженно ревущих: «Свобода! Свобода!»

— Нет, — сказал Румата. — Я не дам вам молний. Это было бы ошибкой. Постарайтесь поверить мне, я вижу дальше вас... (Арата слушал, уронив голову на грудь.) — Румата стиснул пальцы. — Я приведу вам только один довод. Он ничтожен по сравнению с главным, но зато вы поймете его. Вы живучи, славный Арата, но вы тоже смертны; и если вы погибнете, если молнии перейдут в другие руки, уже не такие чистые, как ваши, тогда мне даже страшно подумать, чем это может кончиться...

Они долго молчали. Потом Румата достал из погребца кувшин эсторского и еду и поставил перед гостем. Арата, не поднимая глаз, стал ломать хлеб и запивать вином. Румата ощущал странное чувство болезненной раздвоенности. Он знал, что прав, и тем не менее эта правота странным образом унижала его перед Аратой. Арата явно превосходил его в чем-то, и не только его, а всех, кто незваным пришел на эту планету и полный

бессильной жалости наблюдал страшное кипение ее жизни с разреженных высот бесстрастных гипотез и чужой здесь морали. И впервые Румата подумал: ничего нельзя приобрести, не утратив, — мы бесконечно сильнее Араты в нашем царстве добра и бесконечно слабее Араты в его царстве зла...

— Вам не следовало спускаться с неба, — сказал вдруг Арата. — Возвращайтесь к себе. Вы только вредите нам.

— Это не так, — мягко сказал Румата. — Во всяком случае, мы никому не вредим.

— Нет, вредите. Вы внушаете беспочвенные надежды...

— Кому?

— Мне. Вы ослабили мою волю, дон Румата. Раньше я надеялся только на себя, а теперь вы сделали так, что я чувствую вашу силу за своей спиной. Раньше я вел каждый бой так, словно это мой последний бой. А теперь я заметил, что берегу себя для других боев, которые будут решающими, потому что вы примете в них участие... Уходите отсюда, дон Румата, вернитесь к себе на небо и никогда больше не приходите. Либо дайте нам ваши молнии, или хотя бы вашу железную птицу, или хотя бы просто обнажите ваши мечи

и встаньте во главе нас.

Арата замолчал и снова потянулся за хлебом. Румата глядел на его пальцы, лишенные ногтей. Ногти специальным приспособлением вырвал два года тому назад лично дон Рэба. Ты еще не знаешь всего, подумал Румата. Ты еще тешишь себя мыслью, что обречен на поражение только ты сам. Ты еще не знаешь, как безнадежно само твое дело. Ты еще не знаешь, что враг не столько вне твоих солдат, сколько внутри них. Ты еще, может быть, свалишь Орден, и волна крестьянского бунта забросит тебя на Арканарский трон, ты сровняешь с землей дворянские замки, утопишь баронов в Проливе, и восставший народ воздаст тебе все почести, как великому освободителю, и ты будешь добр и мудр — единственный добрый и мудрый человек в твоем королевстве. И по дороге ты станешь раздавать земли своим сподвижникам, *а на что сподвижникам земли без крепостных*? И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов. Так уже бывало, мой славный Арата, и на Земле, и на твоей планете.

— Молчите? — сказал Арата. Он отодвинул от

себя тарелку и смел рукавом рясы крошки со стола. — Когда-то у меня был друг, — сказал он. — Вы, наверное, слыхали — Вага Колесо. Мы начинали вместе. Потом он стал бандитом, ночным королем. Я не простил ему измены, и он знал это. Он много помогал мне — из страха и из корысти, — но так и не захотел никогда вернуться: у него были свои цели. Два года назад его люди выдали меня дону Рэбе... — Он посмотрел на свои пальцы и сжал их в кулак. — А сегодня утром я настиг его в Арканарском порту... В нашем деле не может быть друзей наполовину. Друг наполовину — это всегда наполовину враг. — Он поднялся и надвинул капюшон на глаза. — Золото на прежнем месте, дон Румата?

— Да, — сказал Румата медленно, — на прежнем.

— Тогда я пойду. Благодарю вас, дон Румата.

Он неслышно прошел по кабинету и скрылся за дверью. Внизу в прихожей слабо лязгнул засов.

Вот и еще одна забота, подумал Румата. Как же он все-таки проник в дом?..

Глава 10

В Пьяной Берлоге было сравнительно чисто, пол тщательно подметен, стол выскоблен добела, в углах для благовония лежали охапки лесных трав и лапника. Отец Кабани чинно сидел в углу на лавочке, трезвый и тихий, сложив мытые руки на коленях. В ожидании, пока Будах заснет, говорили о пустяках. Будах, сидевший за столом возле Руматы, с благосклонной улыбкой слушал легкомысленную болтовню благородных донов и время от времени сильно вздрагивал, задремывая. Впалые щеки его горели от лошадиной дозы тетралюминала, незаметно подмешанной ему в питье. Старик был очень возбужден и засыпал трудно. Нетерпеливый дон Гуг сгибал и разгибал под столом верблюжью подкову, сохраняя, однако, на лице выражение веселой непринужденности. Румата крошил хлеб и с усталым интересом следил, как дон Кондор медленно наливается желчью: Хранитель больших печатей нервничал, опаздывая на чрезвычайное ночное заседание Конференции двенадцати негоциантов, посвященное перевороту в Арканаре, на котором ему надлежало председательствовать.

— Мои благородные друзья! — звучно сказал, наконец, доктор Будах, встал и упал на Румату.

Румата бережно обнял его за плечи.

— Готов? — спросил дон Кондор.

— До утра не проснется, — сказал Румата, поднял Будаха на руки и отнес на ложе отца Кабани.

Отец Кабани проговорил с завистью:

— Доктору, значит, можно закладывать, а отцу Кабани, значит, нельзя, вредно. Нехорошо получается!

— У меня четверть часа, — сказал дон Кондор по-русски.

— Мне хватит и пяти минут, — ответил Румата, с трудом сдерживая раздражение. — И я так много говорил вам об этом раньше, что хватит и минуты. В полном соответствии с базисной теорией феодализма, — он яростно поглядел прямо в глаза дону Кондору, — это самое заурядное выступление горожан против баронства, — он перевел взгляд на дона Гуга, — вылилось в провокационную интригу Святого Ордена и привело к превращению Арканара в базу феодально-фашистской агрессии. Мы здесь ломаем головы, тщетно пытаясь втиснуть сложную, противоречивую, загадочную фигуру орла нашего дона Рэбы в один ряд с Ришелье, Неккером, То-

кугавой Иэясу, Монком, а он оказался мелким хулиганом и дураком! Он предал и продал все, что мог, запутался в собственных затеях, насмерть струсил и кинулся спасаться к Святому Ордену. Через полгода его зарежут, а Орден останется. Последствия этого для Запроливья, а затем и для всей Империи я просто боюсь себе представить. Во всяком случае, вся двадцатилетняя работа в пределах Империи пошла насмарку. Под Святым Орденом не развернешься. Вероятно, Будах — это последний человек, которого я спасаю. Больше спасать будет некого. Я кончил.

Дон Гуг сломал, наконец, подкову и швырнул половинки в угол.

— Да, проморгали, — сказал он. — А может быть, это не так уж страшно, Антон?

Румата только посмотрел на него.

— Тебе надо было убрать дона Рэбу, — сказал вдруг дон Кондор.

— То есть как это «убрать»?

На лице дона Кондора вспыхнули красные пятна.

— Физически! — резко сказал он.

Румата сел.

— То есть убить?

— Да. Да! Да!!! Убить! Похитить! Сместить! Зато-

чить! Надо было действовать. Не советоваться с двумя дураками, которые ни черта не понимали в том, что происходит.

— Я тоже ни черта не понимал.

— Ты по крайней мере чувствовал.

Все помолчали.

— Что-нибудь вроде Барканской резни? — вполголоса осведомился дон Кондор, глядя в сторону.

— Да, примерно. Но более организованно.

Дон Кондор покусал губу.

— Теперь его убирать уже поздно? — сказал он.

— Бессмысленно, — сказал Румата. — Во-первых, его уберут без нас, а во-вторых, это вообще не нужно. Он по крайней мере у меня в руках.

— Каким образом?

— Он меня боится. Он догадывается, что за мною сила. Он уже даже предлагал сотрудничество.

— Да? — проворчал дон Кондор. — Тогда не имеет смысла.

Дон Гуг сказал, чуть заикаясь:

— Вы что, товарищи, серьезно все это?

— Что именно? — спросил дон Кондор.

— Ну все это... Убить, физически убрать... Вы что, с ума сошли?

— Благородный дон поражен в пятку, — тихонько сказал Румата.

Дон Кондор медленно отчеканил:

— При чрезвычайных обстоятельствах действенны только чрезвычайные меры.

Дон Гуг, шевеля губами, переводил взгляд с одного на другого.

— В-вы... Вы знаете, до чего так докатитесь? — проговорил он. — В-вы понимаете, до чего вы так докатитесь, а?

— Успокойся, пожалуйста, — сказал дон Кондор. — Ничего не случится. И хватит пока об этом. Что будем делать с Орденом? Я предлагаю блокаду Арканарской области. Ваше мнение, товарищи? И побыстрее, я тороплюсь.

— У меня никакого мнения еще нет, — возразил Румата. — А у Пашки тем более. Надо посоветоваться с Базой. Надо оглядеться. А через неделю встретимся и решим.

— Согласен, — сказал дон Кондор и встал. — Пошли.

Румата взвалил Будаха на плечо и вышел из избы. Дон Кондор светил ему фонариком. Они подошли к вертолету, и Румата уложил Будаха на заднее сиденье. Дон Кондор, гремя мечом и путаясь в плаще, забрался в водительское кресло.

— Вы не подбросите меня до дому? — спросил Румата. — Я хочу, наконец, выспаться.

— Подброшу, — буркнул дон Кондор. — Только быстрее, пожалуйста.

— Я сейчас вернусь, — сказал Румата и побежал в избу.

Дон Гуг все еще сидел за столом и, уставясь перед собой, тер подбородок. Отец Кабани стоял рядом с ним и говорил:

— Так оно всегда и получается, дружок. Стараешься, как лучше, а получается хуже...

Румата сгреб в охапку мечи и перевязи.

— Счастливо, Пашка, — сказал он. — Не огорчайся, просто мы все устали и раздражены.

Дон Гуг помотал головой.

— Смотри, Антон, — проговорил он. — Ох, смотри!.. О дяде Саше я не говорю, он здесь давно, не нам его переучивать. А вот ты...

— Спать я хочу, вот что, — сказал Румата. — Отец Кабани, будьте любезны, возьмите моих лошадей и отведите их к барону Пампе. На днях я у него буду.

Снаружи мягко взвыли винты. Румата махнул рукой и выскочил из избы. В ярком свете фар вертолета заросли гигантского папоротника и белые стволы деревьев выглядели причудливо и жутко. Румата вскарабкался в кабину и захлопнул дверцу.

В кабине пахло озоном, органической обшивкой и одеколоном. Дон Кондор поднял машину и уверенно повел ее над Арканарской дорогой. Я бы сейчас так не смог, с легкой завистью подумал Румата. Позади мирно причмокивал во сне старый Будах.

— Антон, — сказал дон Кондор, — я бы... э-э... не хотел быть бестактным, и не подумай, будто я... э-э... вмешиваюсь в твои личные дела.

— Я вас слушаю, — сказал Румата. Он сразу догадался, о чем пойдет речь.

— Все мы разведчики, — сказал дон Кондор. — И все дорогое, что у нас есть, должно быть либо далеко на Земле, либо внутри нас. Чтобы его нельзя было отобрать у нас и взять в качестве заложника.

— Вы говорите о Кире? — спросил Румата.

— Да, мой мальчик. Если все, что я знаю о доне Рэбе, — правда, то держать его в руках — занятие нелегкое и опасное. Ты понимаешь, что я хочу сказать...

— Да, понимаю, — сказал Румата. — Я постараюсь что-нибудь придумать.

Они лежали в темноте, держась за руки. В городе было тихо, только изредка где-то неподалеку злобно визжали и бились кони. Время от времени

Румата погружался в дремоту и сразу просыпался, оттого что Кира затаивала дыхание — во сне он сильно стискивал ее руку.

— Ты, наверное, очень хочешь спать, — сказала Кира шепотом. — Ты спи.

— Нет-нет, рассказывай, я слушаю.

— Ты все время засыпаешь.

— Я все равно слушаю. Я, правда, очень устал, но еще больше я соскучился по тебе. Мне жалко спать. Ты рассказывай, мне очень интересно.

Она благодарно потерлась носом о его плечо и поцеловала в щеку и снова стала рассказывать, как нынче вечером пришел от отца соседский мальчик. Отец лежит. Его выгнали из канцелярии и на прощание сильно побили палками. Последнее время он вообще ничего не ест, только пьет — стал весь синий, дрожащий. Еще мальчик сказал, что объявился брат — раненый, но веселый и пьяный, в новой форме. Дал отцу денег, выпил с ним и опять грозился, что они всех раскатают. Он теперь в каком-то особом отряде лейтенантом, присягнул на верность Ордену и собирается принять сан. Отец просил, чтобы она домой пока ни в коем случае не приходила. Брат грозился с ней разделаться за то, что спуталась с благородным, рыжая стерва...

Да, думал Румата, уж конечно, не домой. И здесь тоже оставаться ей ни в коем случае нельзя. Если с ней хоть что-нибудь случится... Он представил себе, что с ней случилось плохое, и сделался весь как каменный.

— Ты спишь? — спросила Кира.

Он очнулся и разжал ладонь.

— Нет-нет... А еще что ты делала?

— А еще я прибрала твои комнаты. Ужасный у тебя все-таки развал. Я нашла одну книгу, отца Гура сочинение. Там про то, как благородный принц полюбил прекрасную, но дикую девушку из-за гор. Она была совсем дикая и думала, что он бог, и все-таки очень любила его. Потом их разлучили, и она умерла от горя.

— Это замечательная книга, — сказал Румата.

— Я даже плакала. Мне все время казалось, что это про нас с тобой.

— Да, это про нас с тобой. И вообще про всех людей, которые любят друг друга. Только нас не разлучат.

Безопаснее всего было бы на Земле, подумал он. Но как ты там будешь без меня? И как я здесь буду один? Можно было бы попросить Анку, чтобы дружила с тобою там. Но как я буду здесь без тебя? Нет, на Землю мы полетим вместе. Я

сам поведу корабль, а ты будешь сидеть рядом, и я буду все тебе объяснять. Чтобы ты ничего не боялась. Чтобы ты сразу полюбила Землю. Чтобы ты никогда не жалела о своей страшной родине. Потому что это не твоя родина. Потому что твоя родина отвергла тебя. Потому что ты родилась на тысячу лет раньше своего срока. Добрая, верная, самоотверженная, бескорыстная... Такие, как ты, рождались во все эпохи кровавой истории наших планет. Ясные, чистые души, не знающие ненависти, не приемлющие жестокость. Жертвы. Бесполезные жертвы. Гораздо более бесполезные, чем Гур Сочинитель или Галилей. Потому что такие, как ты, даже не борцы. Чтобы быть борцом, нужно уметь ненавидеть, а как раз этого вы не умеете. Так же, как и мы теперь...

...Румата опять задремал и сейчас же увидел Киру, как она стоит на краю плоской крыши Совета с дегравитатором на поясе, и веселая насмешливая Анка нетерпеливо подталкивает ее к полуторакилометровой пропасти.

— Румата, — сказала Кира. — Я боюсь.

— Чего, маленькая?

— Ты все молчишь и молчишь. Мне страшно...

Румата притянул ее к себе.

— Хорошо, — сказал он. — Сейчас я буду гово-

рить, а ты меня внимательно слушай. Далеко-далеко за сайвой стоит грозный, неприступный замок. В нем живет веселый, добрый и смешной барон Пампа, самый добрый барон в Арканаре. У него есть жена, красивая, ласковая женщина, которая очень любит Пампу трезвого и терпеть не может Пампу пьяного...

Он замолчал, прислушиваясь. Он услышал цокот множества копыт на улице и шумное дыхание многих людей и лошадей. «Здесь, что ли?» — спросил грубый голос под окном. «Вроде здесь...» — «Сто-ой!» По ступенькам крыльца загремели каблуки, и сейчас же несколько кулаков обрушились на дверь. Кира, вздрогнув, прижалась к Румате.

— Подожди, маленькая, — сказал он, откидывая одеяло.

— Это за мной, — сказала Кира шепотом. — Я так и знала!

Румата с трудом высвободился из рук Киры и подбежал к окну. «Во имя господа! — ревели внизу. — Открывай! Взломаем — хуже будет!» Румата отдернул штору, и в комнату хлынул знакомый пляшущий свет факелов. Множество всадников топталось внизу — мрачных черных людей в остроконечных капюшонах. Румата

несколько секунд глядел вниз, потом осмотрел оконную раму. По обычаю, рама была вделана в оконницу намертво. В дверь с треском били чем-то тяжелым. Румата нашарил в темноте меч и ударил рукоятью в стекло. Со звоном посыпались осколки.

— Эй, вы! — рявкнул он. — Вам что, жить надоело?

Удары в дверь стихли.

— И ведь всегда они напутают, — негромко сказали внизу. — Хозяин-то дома...

— А нам что за дело?

— А то дело, что он на мечах первый в мире.

— А еще говорили, что уехал и до утра не вернется.

— Испугались?

— Мы-то не испугались, а только про него ничего не велено. Не пришлось бы убить...

— Свяжем. Покалечим и свяжем! Эй, кто там с арбалетами?

— Как бы он нас не покалечил...

— Ничего, не покалечит. Всем известно: у него обет такой — не убивать.

— Перебью как собак, — сказал Румата страшным голосом.

Сзади к нему прижалась Кира. Он слышал,

как бешено стучит ее сердце. Внизу скомандовали скрипуче: «Ломай, братья! Во имя господа!» Румата обернулся и взглянул Кире в лицо. Она смотрела на него, как давеча, с ужасом и надеждой. В сухих глазах плясали отблески факелов.

— Ну что ты, маленькая, — сказал он ласково. — Испугалась? Неужели этой швали испугалась? Иди одевайся. Делать нам здесь больше нечего... — Он торопливо натягивал металлопластовую кольчугу. — Сейчас я их прогоню, и мы уедем. Уедем к Пампе.

Она стояла у окна, глядя вниз. Красные блики бегали по ее лицу. Внизу трещало и ухало. У Руматы от жалости и нежности сжалось сердце. Погоню, как псов, подумал он. Он наклонился, отыскивая второй меч, а когда снова выпрямился, Кира уже не стояла у окна. Она медленно сползала на пол, цепляясь за портьеру.

— Кира! — крикнул он.

Одна арбалетная стрела пробила ей горло, другая торчала из груди. Он взял ее на руки и перенес на кровать. «Кира...» — позвал он. Она всхлипнула и вытянулась. «Кира...» — сказал он. Она не ответила. Он постоял немного над нею, потом подобрал мечи, медленно спустился по лестнице в прихожую и стал ждать, когда упадет дверь...

Эпилог

— А потом? — спросила Анка.

Пашка отвел глаза, несколько раз хлопнул себя ладонью по колену, наклонился и потянулся за земляникой у себя под ногами. Анка ждала.

— Потом... — пробормотал он. — В общем-то никто не знает, что было потом, Анка. Передатчик он оставил дома, и когда дом загорелся, на патрульном дирижабле поняли, что дело плохо, и сразу пошли в Арканар. На всякий случай сбросили на город шашки с усыпляющим газом. Дом уже догорал. Сначала растерялись, не знали, где его искать, но потом увидели... — Он замялся. — Словом, видно было, где он шел.

Пашка замолчал и стал кидать ягоды в рот одну за другой.

— Ну? — тихонько сказала Анка.

— Пришли во дворец... Там его и нашли.

— Как?

— Ну... он спал. И все вокруг... тоже... лежали... Некоторые спали, а некоторые... так... Дона Рэбу тоже там нашли... — Пашка быстро взглянул на Анку и снова отвел глаза. — Забрали его, то есть Антона, доставили на Базу... Понимаешь, Анка,

ведь он ничего не рассказывает. Он вообще теперь говорит мало.

Анка сидела очень бледная и прямая и смотрела поверх Пашкиной головы на лужайку перед домиком. Шумели, легонько раскачиваясь, сосны, в синем небе медленно двигались пухлые облака.

— А что стало с девушкой? — спросила она.

— Не знаю, — жестко сказал Пашка.

— Слушай, Паша, — сказала Анка. — Может быть, мне не стоило приезжать сюда?

— Нет, что ты! Я думаю, он тебе обрадуется...

— А мне все кажется, что он прячется где-нибудь в кустах, смотрит на нас и ждет, пока я уеду.

Пашка усмехнулся.

— Вот уж нет, — сказал он. — Антон в кустах сидеть не станет. Просто он не знает, что ты здесь. Ловит где-нибудь рыбу, как обычно.

— А с тобой как он?

— Никак. Терпит. Но ты-то другое дело...

Они помолчали.

— Анка, — сказал Пашка. — Помнишь анизотропное шоссе?

Анка наморщила лоб.

— Какое?

— Анизотропное. Там висел «кирпич». Помнишь, мы втроем?..

— Помню. Это Антон сказал, что оно анизотропное.

— Антон тогда пошел под «кирпич», а когда вернулся, то сказал, будто нашел там взорванный мост и скелет фашиста, прикованный к пулемету.

— Не помню, — сказала Анка. — Ну и что?

— Я теперь часто вспоминаю это шоссе, — сказал Пашка. — Будто есть какая-то связь... Шоссе было анизотропное, как история. Назад идти нельзя. А он пошел. И наткнулся на прикованный скелет.

— Я тебя не понимаю. При чем здесь прикованный скелет?

— Не знаю, — признался Пашка. — Мне так кажется.

Анка сказала:

— Ты не давай ему много думать. Ты с ним все время о чем-нибудь говори. Глупости какие-нибудь. Чтобы он спорил.

Пашка вздохнул.

— Это я и сам знаю. Да только что ему мои глупости?.. Послушает, улыбнется и скажет: «Ты, Паша, тут посиди, а я пойду поброжу». И пойдет. А я сижу... Первое время, как дурак, незаметно ходил за ним, а теперь просто сижу и жду. Вот

если бы ты...

Анка вдруг поднялась. Пашка оглянулся и тоже встал. Анка не дыша смотрела, как через поляну к ним идет Антон — огромный, широкий, со светлым, не загорелым лицом. Ничего в нем не изменилось, он всегда был немного мрачный.

Она пошла ему навстречу.

— Анка, — сказал он ласково. — Анка, дружище...

Он протянул к ней огромные руки. Она робко потянулась к нему и тут же отпрянула. На пальцах у него... Но это была не кровь — просто сок земляники.

ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ

Другой раз встретишь такого и подумаешь: вроде парень ничего. А он, глядишь, разинет рот да и пойдет сыпать трескучими словесами: господствующая раса, безоговорочная преданность, фанатическая воля, ну в общем, крутит шарманку...

Д. Нолль, Приключения Вернера Хольта

Я по профессии учитель, таких ребят, как вы, я готовлю к выпускным экзаменам и хочу делать это и впредь. Что же мне, преподавать в пустых классах? Постарайтесь продержаться! Когда с войной будет покончено, тогда-то и начнется тяжелая борьба.

Там же

Глава первая

Ну и деревня! Сроду я таких деревень не видел и не знал даже, что такие деревни бывают. Дома круглые, бурые, без окон, торчат на сваях, как сторожевые вышки, а под ними чего только не навалено — горшки какие-то здоровенные, корыта, ржавые котлы, деревянные грабли, лопаты... Земля между домами — глина, и до того она выжжена и вытоптана, что даже блестит. И везде, куда ни поглядишь, — сети. Сухие. Что они здесь этими сетями ловят — я не знаю: справа болото, слева болото, воняет, как на помойке... Жуткая дыра. Тысячу лет они здесь гнили и, если бы не герцог, гнили бы еще тысячу лет. Север. Дичь. И жителей, конечно, никого не видать. То ли удрали, то ли угнали их, то ли они попрятались.

На площади около фактории дымила полевая кухня, снятая с колес. Здоровенный дикобраз — окорока поперек себя шире — в грязном белом фартуке поверх грязной серой формы ворочал в котле черпаком на длинной ручке. По-моему, от этого котла главным образом и воняло по деревне.

Мы подошли, и Гепард, задержавшись, спросил,

где командир. Это животное даже не обернулось — буркнуло что-то в свое варево и ткнуло черпаком куда-то вдоль улицы. Поддал я ему носком сапога под крестец, он живо повернулся, увидел нашу форму и сразу встал как положено. Морда у него оказалась под стать окорокам, да еще не бритая целую неделю, у дикобраза.

— Так где у вас тут командир? — снова спрашивает Гепард, упершись тросточкой ему в жирную шею под двойным подбородком.

Дикобраз выкатил глаза, пошлепал губами и просипел:

— Виноват, господин старший наставник... Господин штаб-майор на позициях... Извольте вот по этой улице... прямо на окраине... Примите извинения, господин старший наставник...

Он еще что-то там сипел и булькал, а из-за угла фактории выволоклись два новых дикобраза — еще страшнее этого, совсем уж чучела огородные, без оружия, без головных уборов, — увидели нас и обомлели по стойке «смирно». Гепард только посмотрел на них, вздохнул да и зашагал дальше, постукивая тросточкой по голенищу.

Да, вовремя мы сюда подоспели. Эти дикобразы, они бы нам тут навоевали! Всего-то я только троих пока еще видел, но уже меня от них тош-

нит, и уже мне ясно, что такая вот, извините за выражение, воинская часть, из тыловой вши сколоченная, да еще наспех, да еще кое-как, все эти полковые пекари, бригадные сапожники, писаря, интенданты, придурки, грыженосцы, слеподыры, орлы похоронных команд — все это ходячее удобрение, смазка для штыка. Имперские бронеходы прошли бы сквозь них и даже не заметили бы, что тут кто-то есть. Гуляючи.

Тут нас окликнули. Слева, между двумя домами, был натянут маскировочный тент и висела бело-зеленая тряпка на шесте. Медпункт. Еще двое дикобразов неторопливо копались в зеленых вьюках с медикаментами, а на циновках, брошенных прямо на землю, лежали раненые. Всего раненых было трое; один, с забинтованной головой, приподнявшись на локте, смотрел на нас. Когда мы обернулись, он снова позвал:

— Господин наставник! На минуточку, прошу вас!..

Мы подошли. Гепард опустился на корточки, а я остался стоять за его спиной. На раненом не было видно никаких знаков различия, был он в драном, обгоревшем маскировочном комбинезоне, расстегнутом на голой волосатой груди, но по лицу его, по бешеным глазам с опаленными

ресницами я сразу понял, что уж это-то не дикобраз, ребята, нет, этот — из настоящих. И точно.

— Бригад-егерь барон Трэгг, — представился он. Будто гусеницы лязгнули. — Командир отдельного восемнадцатого отряда лесных егерей.

— Старший наставник Дигга, — сказал Гепард. — Слушаю тебя, брат-храбрец.

— Сигарету... — попросил барон каким-то сразу севшим голосом.

Пока Гепард доставал портсигар, он торопливо продолжал:

— Попал под огнемет, опалило, как свинью... Слава богу, болото рядом, забрался по самые брови... Но сигареты — в кашу... Спасибо...

Он затянулся, прикрыв глаза, и сейчас же надсадно закашлялся, весь посинел, задергался, из-под повязки на щеку выползла капля крови и застыла. Как смола. Гепард, не оборачиваясь, протянул ко мне через плечо руку и щелкнул пальцами. Я сорвал с пояса флягу, подал. Барон сделал несколько глотков, и ему вроде бы полегчало. Двое других раненых лежали неподвижно — то ли они спали, то ли уже отошли. Санитары глядели на нас боязливо. Не глядели даже, а так, поглядывали.

— Славно... — произнес барон Трэгг, возвращая

флягу. — Сколько у тебя людей?

— Четыре десятка, — ответил Гепард. — Флягу оставь... Оставь себе.

— Сорок... Сорок Бойцовых Котов...

— Котят, — сказал Гепард. — К сожалению... Но мы сделаем все, что сумеем.

Барон смотрел на него из-под сгоревших бровей. В глазах у него была мука.

— Слушай, брат-храбрец, — сказал он. — У меня никого не осталось. Я отступаю от самого перевала, трое суток. Непрерывные бои. Крысоеды прут на бронеходах. Я сжег штук двадцать. Последние два — вчера... здесь, у самой околицы... увидишь. Этот штаб-майор... дурак и трус... старая рухлядь... Я его застрелить хотел, но ведь ни одного патрона не осталось. Представляешь? Ни одного патрона! Прятался в деревне со своими дикобразами и смотрел, как нас выжигают одного за другим... О чем это я? Да! Где бригада Гагрида? Рация вдребезги... Последнее: «Держитесь, бригада Гагрида на подходе...» Слушай, сигарету... И сообщи в штаб, что восемнадцатого отдельного больше нет.

Барон уже бредил. Бешеные глаза его затянулись мутью, язык едва ворочался. Он повалился на спину и все говорил, говорил, бормотал, хрипел, а скрюченные пальцы его беспокойно

шарили вокруг, вцепляясь то в края циновки, то в комбинезон. Потом он вдруг затих на полуслове, и Гепард поднялся.

Он медленно вытащил сигарету, не сводя глаз с запрокинутого лица, щелкнул зажигалкой, потом наклонился и положил портсигар вместе с зажигалкой рядом с черными пальцами, и пальцы жадно вцепились в портсигар и сжали его, а Гепард, не говоря ни слова, повернулся, и мы двинулись дальше.

Я подумал, что это, пожалуй, милосердно — бригад-егерь потерял сознание как раз вовремя. А то пришлось бы услышать ему, что бригады Гагрида тоже уже нет. Накрыли ее этой ночью на рокаде бомбовым ковром — два часа мы расчищали шоссе от обломков машин и завалов уже холодеющего мяса, отгоняя сумасшедших, лезущих под грузовики, чтобы спрятаться. От самого Гагрида мы нашли только генеральскую фуражку, заскорузлую от крови... Меня холодом продрало, когда я все это вспомнил, и я невольно взглянул на небо и порадовался, какое оно низкое, серое и беспросветное.

Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец.

Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялся хлебалом вниз дохлый крысоед — все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки! У них ботинки хорошие, бронеходы да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, всем известно, никуда не годные. Шакалы.

— Как тебе нравится эта позиция, Гаг? — спросил Гепард.

Я огляделся. Ну и позиция! Я прямо глазам своим не поверил. Дикобразы отрыли себе окопы по обе стороны от дороги, посередине поляны между околицей и джунглями. Джунгли стеной стояли перед окопами шагах ну в пятидесяти, никак не больше. Можешь там накопить полк, можешь — бригаду, что хочешь, в окопах об этом не узнают, а когда узнают, то сделать уже все равно ничего не смогут. Окопы на левом фланге имели позади себя трясину. Окопы на правом фланге имели позади себя ровное поле, на котором раньше было что-то посеяно, а теперь все сгорело. Да-а-а...

— Не нравится мне эта позиция, — сказал я.

— Мне тоже, — сказал Гепард.

Еще бы! Здесь ведь была не только эта позиция. Здесь вдобавок еще были дикобразы. Было их тут

штук сто, не меньше, и они бродили по этой своей позиции, как по базару. Одни, значит, собравшись кружками, палили костры. Другие просто стояли, засунув руки в рукава. А третьи бродили.

Возле окопов валялись винтовки, торчали пулеметы, бессмысленно задрав хоботы в низкое небо. Посередине дороги, увязнув в грязи по ступицы, ни к селу ни к городу пребывал ракетомет. На лафете сидел пожилой дикобраз — то ли часовой, то ли просто так присел, уставши бродить. Впрочем, вреда от него не было: сидел себе и ковырял щепочкой в ухе.

Кисло мне стало от всего этого. Эх, будь моя воля — полоснул бы я по всему этому базару из пулемета... Я с надеждой посмотрел на Гепарда, но Гепард молчал и только водил своим горбатым носом слева направо и справа налево.

Позади раздались рассерженные голоса, и я оглянулся. Под лестницей крайнего дома ссорились два дикобраза. Не поделили они между собой деревянное корыто — каждый тянул к себе, каждый изрыгал черную брань, и вот по этим я бы полоснул с особенным удовольствием. Гепард сказал мне:

— Приведи.

Я мигом подскочил к этим охламонам, стволом

автомата дал по рукам одному, дал другому и, когда они уставились на меня, выронивши свое корыто, мотнул им головой в сторону Гепарда. Не пикнули даже. Их обоих сразу потом прошибло, как в бане. Утираясь на ходу рукавами, они бабьей трусцой подбежали к Гепарду и застыли в двух шагах перед ним неопрятными потными кучами.

Гепард неторопливо поднял трость, примерился, словно в бильярд играл, и врезал — прямо по мордам, одному раз и другому раз, а потом посмотрел на них, на скотов, и только сказал:

— Командира ко мне. Быстро.

Нет, ребята. Все-таки Гепард явно не ожидал, что здесь будет до такой степени плохо. Конечно, хорошего ждать не приходилось. Уж если Бойцовых Котов бросают затыкать прорыв, то всякому ясно: дело дрянь. Но такое!.. У Гепарда даже кончик носа побелел.

Наконец появился ихний командир. Выбралась из-за домов, застегивая на ходу китель, длинная заспанная жердь в серых бакенбардах. Лет ему пятьдесят, не меньше. Нос красный, весь в прожилках, захватанное пальцами пенсне, какое носили штабные в ту войну, на длинном подбородке — мокрые крошки жевательного табака.

Представился он нам штаб-майором и попытался перейти с Гепардом на «ты».

Куда там! Гепард такого морозу на него напустил, что он как-то даже ростом приуменьшился: сначала был на полголовы длиннее, а через минуту смотрю — змеиное молоко! — он уже снизу вверх на Гепарда смотрит, седенький такой старикашка среднего росточка.

В общем, выяснилось такое дело. Где противник и сколько его, штаб-майору неизвестно; задачей своей имеет штаб-майор удержать деревню до подхода подкреплений; боевая сила его состоит из ста шестнадцати солдат при восьми пулеметах и двух ракетометах; почти все солдаты — ограниченно годные, а после вчерашнего марш-броска двадцать семь из них лежат вон в тех домах — кто с потертостями, кто с грыжей, кто с чем...

— Послушайте, — сказал вдруг Гепард. — Что это у вас там делается?

Штаб-майор оборвал себя на середине фразы и посмотрел, куда указывала полированная тросточка. Ну и глазищи все-таки у нашего Гепарда! Только сейчас я заметил: в самом большом кружке около одного из костров среди серых курток наших дикобразов гнусно маячат полосатые комбинезоны имперской бронепехоты. Змеиное

молоко! Раз, два, три... Четыре крысоеда у нашего костра, и эти свиньи с ними чуть ли не в обнимку. Курят. И еще гогочут чего-то...

— Это? — произнес штаб-майор и кроличьими своими глазами посмотрел на Гепарда. — Вы о пленных, господин старший наставник?

Гепард не ответил. Штаб-дикобраз снова нацепил пенсне и пустился в объяснения. Это, видите ли, пленные, но к нам они, видите ли, никакого отношения не имеют. Захвачены во вчерашнем бою егерями. Не имея средств транспорта, а также за недостатком личного состава для надлежащей охраны...

— Гаг, — произнес Гепард. — Отведи их и сдай Клещу. Только сначала пусть допросит...

Я щелкнул затвором и пошел к костру. Покуривают, скоты, и лакают что-то из кружек. Морды у всех довольные, лоснятся. Надо же, мерзость какая... А этот, белобрысый, дикобраза по спине похлопывает, а дикобраз, дубина безмозглая, животное, рад-радехонек, ржет и головой мотает. Пьяные они, что ли?

Я подошел к ним вплотную. Дикобразы заметили меня еще издали, разом замолчали и принялись потихоньку расползаться кто куда. А у некоторых, видимо, ноги отнялись со страху:

как сидели, так и сидят, выпучив глаза, только пасти раззявили. А полосатые — так те аж серые сделались: знают нашу эмблему крысоеды, наслышаны!

Я приказал им встать. Они встали. Нехотя. Я приказал им построиться. Построились, деваться некуда. Белобрысый принялся было что-то лопотать по-нашему — я ткнул его стволом между ребер, и он замолчал. Так они у меня и пошли — гуськом, понурившись, заложив руки за спину. Крысы. И запах-то от них какой-то крысиный... Двое — крепкие мужики, плечистые, а двое, видно, из последнего набора, хлипкие сопляки, чуть, может, постарше меня.

Я пленных ненавижу. Что это, понимаешь, за слизь такая — на войну пошел и в плен угодил? Нет, я понимаю, конечно: что с них взять, с крысоедов, а все-таки омерзительно, как хотите... Ну вот, пожалуйста: один сопляк согнулся пополам, и рвет его. Вперед, вперед, з-змеиное молоко! Второй начал. Тьфу! И как они, эти крысы, близкую смерть чувствуют — ведь как настоящие крысы. И сейчас ведь они ну на все готовы — предать, продать, в рабство пойти...

— Бегом марш! — гаркнул я по-ихнему.

Побежали. Медленно бегут, плохо. Белобрысый

этот хромает. Тяжело раненный, значит, ногу в нужнике подвернул. Ничего, дохромаешь.

Добежали мы до того края деревни, а там и грузовики — ребята увидели нас, заорали, засвистели. Я выбрал лужу побольше, положил пленных хлебальниками в грязь и пошел к переднему грузовику, где Клещ. А Клещ уже мне навстречу выскакивает — морда веселая, усики под носом торчком, в зубах костяной мундштук по моде старшего курса.

— Ну, что скажешь, брат-смертник? — говорит он мне.

Я ему докладываю: так, мол, и так, такое, мол, положение, а пленных обязательно сначала допросить. И уже от себя:

— Про меня не забудь, Клещ, — говорю. — Все-таки я их сюда привел...

— Это ты насчет ошейника? — рассеянно спрашивает он, а сам озирается.

— Ну да! Привел-то их все-таки кто?

— Не вижу вот я — на чем. Не до леса же их вести...

— А на сваях?

— Можно, конечно, и на сваях... Только зачем? — Он посмотрел на меня. — А если без свай? Возьмешься?

Ну вот. Так я и знал. Вечно мне не везет. Что я — виноват, что ли, что моего ведомого при штабе оставили? А одному — как? У меня и сил не хватит. Буду до вечера корячиться да потом еще всю ночь отмываться.

— Ты же знаешь, — сказал я Клещу. — У меня же ведомого нет.

— А один? — спрашивает он. — Шнурок у тебя с собой?

Тут меня азарт разобрал.

— А подержишь? — спрашиваю.

А он на меня посмотрел, и у меня сердце сразу упало.

— Котенок... — говорит. — Ты здесь развлекаться будешь, а Гепард там один? А ну, бери три двойки и дуй к Гепарду! Быстро!

Делать было нечего. Не судьба, значит, не повезло. Посмотрел я на моих полосатиков в последний раз, закинул автомат за плечо да и гаркнул что было силы:

— Пер-рвая, вторая, третья двойки — ко мне!

Котята горохом посыпались с грузовика: Заяц с Петухом, Носатый с Крокодилом, Снайпер с этим... как его... не привык я еще к нему, его только-только из Пигганской школы к нам перевели — убил он там кого-то не того, вот его и к нам.

Я уж давно заметил, да никому не говорю: шлепнет Кот под горячую руку какого-нибудь штатского — сейчас приказ по части. Такого-то и такого-то по кличке такой-то за совершение уголовного преступления расстрелять. И ведь выведут на плац, поставят перед строем лучших друзей, дадут по нему залп, тело в грузовик забросят на предмет бесчестного захоронения, а потом слышишь — видели его ребята либо на операции, либо в другой части... И правильно, по-моему.

Ну, скомандовал я «бегом», и поскакали мы обратно к Гепарду. А Гепард там времени зря не теряет. Смотрю — навстречу нам жердина эта, штаб-майор, рысью пылит, а за ним колонна, штук пятьдесят дикобразов с лопатами и кирко-мотыгами, бухают сапожищами, потные, только пар от них идет. Это, значит, погнал их Гепард новую позицию копать, настоящую, для нас. Под домом напротив медчасти, смотрю, лопаты уже мелькают, и стоит ракетомет, и вообще движение в деревне, как на главном проспекте в день тезоименитства, — дикобразы так и мельтешат, и ни одного не видно, чтобы был с пустыми руками: либо с оружием, но таких мало, а большинство волочат на себе ящики с боеприпасами и станки для пулеметов.

Гепард увидел нас — выразил удовольствие. Двойки Зайца и Снайпера с ходу послал в джунгли в передовой дозор, Носатого с Крокодилом оставил при себе для связи, а мне сказал:

— Гаг. Ты — лучший в отряде ракетометчик, и я на тебя надеюсь. Видишь этих тараканов? Бери их себе. Установишь ракетомет на той окраине, выбери позицию примерно там, где сейчас наши грузовики. Хорошенько замаскируйся, откроешь огонь, когда я зажгу деревню. Действуй, Кот.

Когда я все это услышал, я не то что поскакал, а прямо-таки полетел к своим тараканам. Эти тараканы мои вместе с ракетометом увязли в грязном ухабе посередине дороги и намеревались, видно, всю войну там провозиться. Еле лапами шевелят, грыженосцы. Ну, я одному по уху, другому пинок, третьего прикладом между лопаток, заорал так, что у самого в ушах зазвенело, — заработали мои тараканы по-настоящему, почти как люди. Ракетомет из ухаба на руках вынесли и — марш-марш — покатили по дороге, только колеса завизжали, только грязь полетела, и — в другой ухаб. Тут уж пришлось и мне впрячься. Нет, ребята, дикобразов тоже можно заставить работать, нужно только знать — как.

Значит, положение у меня было такое. Позицию

я уже выбрал — вспомнились мне неподалеку от грузовиков густые такие рыжие кустики и плоская низинка за ними, где можно было легко врыться в землю так, что ни один дьявол со стороны джунглей не увидит. А я оттуда все буду видеть: и дорогу до самых джунглей, и всю деревенскую окраину, если попрут прямо через дома, и болото слева, если бронепехота оттуда сунется... И подумал я еще, что надо бы не забыть попросить у Клеща несколько двоек для прикрытия с этой стороны. Ракет у меня в лотках двадцать штук, если только эти писаря по дороге сюда их не повыбрасывали для облегчения ноши... ну, это мы сейчас посмотрим, а в любом случае, как только окопаемся, надо будет послать тараканов за пополнением. Страсть не люблю, когда в бою приходится экономить. Это уже тогда не бой, а я не знаю что... Времени хватит до сумерек, а когда они в сумерках попрут, вспыхнет эта дикая деревня, и будут они все у меня как на ладони — бей на выбор. Не пожалеешь, Гепард, что на меня понадеялся!..

Вот эту последнюю мысль я машинально додумал, уже лежа на спине, а в сером небе надо мной, как странные птицы, летели какие-то горящие клочья. Ни выстрела, ни взрыва я не услышал,

а сейчас и вообще ничего не слышал. Оглох. Не знаю, сколько времени прошло, а потом я сел.

Из джунглей по четыре в ряд выползают бронеходы, плюют огнем и расходятся в боевой веер, а за ними выползает следующая четверка. Деревня горит. Над окопами впереди дым, ни души не видно. Походная кухня рядом с факторией перевернута, варево из нее разлилось бурым месивом, идет пар. Ракетомет мой тоже перевернут, а тараканы лежат в кювете кучей друг на друге. Одним словом, занял я удобную позицию, змеиное молоко!

Тут накрыло нас второй очередью. Снесло меня в кювет, перевернуло через голову, полон рот глины, глаза забило землей. Только на ноги поднялся — третья очередь. И пошло, и пошло...

Ракетомет мы все-таки на колеса поставили, скатили в кювет, и один бронеход я сжег. Тараканов стало уже двое, куда третий делся — неизвестно.

Потом — сразу, без перехода — я оказался на дороге. Впереди целая куча полосатиков — близко, совсем близко, рядом. На клинках у них кроваво отсвечивал огонь. Над ухом у меня оглушительно грохотал пулемет, в руке был нож, а у ног моих кто-то дергался, поддавая мне под коленки...

Потом я старательно, как на полигоне, наводил ракетомет в стальной щит, который надвигался на меня из дыма. Мне даже слышалась команда инструктора: «По бронепехоте... бронебойным...» И я никак не мог нажать на спуск, потому что в руке у меня опять был нож...

Потом вдруг наступила передышка. Были уже сумерки. Оказалось, что ракетомет мой цел, и сам я тоже цел, вокруг меня собралась целая куча дикобразов, человек десять. Все они курили, и кто-то сунул мне в руку флягу. Кто? Заяц? Не знаю... Помню, что на фоне пылающего дома шагах в тридцати чернела странная фигура: все сидели или лежали, а этот стоял, и было такое впечатление, будто он черный, но голый... Не было на нем одежды — ни шинели, ни куртки. Или не голый все-таки?.. «Заяц, кто это там торчит?» — «Не знаю, я не Заяц». — «А где Заяц?» — «Не знаю, ты пей, пей...»

Потом мы копали, торопились изо всех сил. Это было уже какое-то другое место. Деревня была уже теперь не сбоку, а впереди. То есть деревни больше не было вообще — груды головешек, зато на дороге горели бронеходы. Много. Несколько. Под ногами хлюпала болотная жижа... «Объявляю тебе благодарность, молодец, Кот...» — «Извините,

Гепард, я что-то плохо соображаю. Где все наши? Почему только дикобразы?..» — «Все в порядке, Гаг, работай, работай, брат-храбрец, все целы, все восхищены тобой...»

...Ага! Влепил! Прямо в тупое рыло. Пятится, оседает на корму, выбрасывает в черное небо сноп искр. Бегут, бегут! «Кот, справа! Справа! А-ап!..» Справа ничего не вижу, да и не смотрю. Разворачиваю туда ствол, и вдруг из черно-алой мути прямо в лицо ливень жидкого огня. Все сразу вспыхивает — и трупы, и земля, и ракетомет. И кусты какие-то. И я. Больно. Адская боль. Как барон Трэгг...

Лужу мне, лужу! Тут ведь лужа была! Они в ней лежали! Я их туда положил, змеиное молоко, а их в огонь надо было положить, в огонь! Нет лужи... Земля горела, земля дымилась, и кто-то вдруг с нечеловеческой силой вышиб ее у меня из-под ног...

Глава вторая

Возле койки Гага сидели двое. Один — сухопарый, с широкими костлявыми плечами, с большими костлявыми лапами. Он сидел, закинув ногу на ногу, обхватив колено мосластыми пальцами. Был на нем серый свитер со свободным воротом, узкие синие брюки непонятного покроя, не форменные, и красные с серым плетеные сандалии. Лицо было острое, загорелое, с ласкающей сердце твердостью в чертах, светлые глаза с прищуром, седые волосы — беспорядочной, но в то же время какой-то аккуратной копной. Из угла в угол большого тонкогубого рта передвигалась соломинка.

Другой был добряк в белом халате. Лицо у него было румяное, молодое, без единой морщинки. Странное какое-то лицо. То есть не само лицо, а выражение. Как у святых на древних иконах. Он глядел на Гага из-под светлого чуба, свисающего на лоб, и улыбался как именинник. Очень был чем-то доволен. Он и заговорил первым.

— Как мы себя чувствуем? — осведомился он.

Гаг уперся ладонями в постель, согнул ноги в коленях и легко перенес зад в изголовье.

— Нормально... — сказал он с удивлением.

Ничего на нем не было, даже простыни. Он посмотрел на свои ноги, на знакомый шрам выше колена, потрогал грудь и сразу же нащупал пальцами то, чего раньше не было: два углубления под правым соском.

— Ого! — сказал он, не удержавшись.

— И еще одна в боку, — заметил добряк. — Выше, выше...

Гаг нащупал шрам в правом боку. Потом он быстро оглядел голые руки.

— Погодите... — пробормотал он. — Я же горел...

— Еще как! — вскричал румяный и руками показал — как. Получалось, что Гаг горел как бочка с бензином.

Сухопарый в свитере молчал, разглядывая Гага, и было в его взгляде что-то такое, отчего Гаг подтянулся и произнес:

— Благодарю вас, господин врач. Долго я был без памяти?

Румяный добряк почему-то перестал улыбаться.

— А что ты помнишь последнее? — спросил он почти вкрадчиво.

Гаг наморщился.

— Я подбил... Нет! Я горел. Огнемет, наверное. И я побежал искать воду... — Он замолчал и снова ощупал шрамы на груди. — В этот момент меня, наверное, подстрелили... — сказал он неуверенно. — Потом... — Он замолчал и посмотрел на сухопарого. — Мы их задержали? Да?.. Где я? В каком госпитале?

Однако сухопарый не ответил, и снова заговорил добряк.

— Да как тебе сказать... — Как бы в затруднении, он с силой погладил себя по круглым коленям. — А ты сам как думаешь?

— Виноват... — сказал Гаг и спустил ноги с койки. — Неужели так много времени прошло? Полгода? Или год... Скажите мне прямо, — потребовал он.

— Да что время... — сказал румяный. — Времени-то прошло всего пять суток.

— Сколько?

— Пять суток, — повторил румяный. — Верно? — спросил он, обращаясь к сухопарому.

Тот молча кивнул. Гаг улыбнулся снисходительно.

— Ну хорошо, — сказал он. — Ну ладно. Вам, врачам, виднее. В конце концов, какая разница... Я бы хотел только знать, господин... — Он

специально сделал паузу, глядя на сухопарого, но сухопарый никак не отреагировал. — Я бы хотел только знать положение на фронте и когда я смогу вернуться в строй...

Сухопарый молча передвигал соломинку из одного угла тонкогубого рта в другой.

— Я ведь могу надеяться снова попасть в свою группу... в столичную школу.

— Вряд ли, — сказал румяный.

Гаг только глянул на него и снова стал смотреть на сухопарого.

— Ведь я — Бойцовый Кот, — сказал он. — Третий курс... Имею благодарности. Имею одну личную благодарность его высочества...

Румяный замотал головой.

— Это несущественно, — сказал он. — Не в этом дело.

— Как это — не в этом дело? — сказал Гаг. — Я — Бойцовый Кот! Вы что, не знаете? Вот! — Он поднял правую руку и показал — опять-таки сухопарому — татуировку под мышкой. — Если вы попытаетесь запихнуть меня куда-нибудь каптером, вы ответите! Мне пожимал руку его высочество, лично! Его высочество пожаловал мне...

— Да нет, мы верим, верим, знаем! — замахал

на него руками румяный, но Гаг оборвал его:

— Господин врач, я разговариваю не с вами! Я обращаюсь к господину офицеру!

Тут румяный почему-то вдруг фыркнул, закрыл лицо ладонями и захохотал тонким противным смехом. Гаг ошеломленно смотрел на него, потом перевел взгляд на сухопарого. Тот наконец заговорил:

— Не обращай внимания, Гаг. — Голос у него был глубокий, значительный, под стать лицу. — Однако ты действительно не представляешь своего положения. Мы не можем отправить тебя сейчас в столичную школу. Скорее всего, ты вообще никогда больше не попадешь в школу Бойцовых Котов...

Гаг открыл и снова закрыл рот. Румяный перестал хихикать.

— Но я же чувствую себя... — прошептал Гаг. — Я совершенно здоров. Или я калека? Скажите мне сразу, господин врач: я не калека?

— Нет-нет, — быстро сказал румяный. — Руки-ноги у тебя в полном порядке, а что касается психики... Кто такой был Ганг Гнук, ты помнишь?

— Так точно... Это был ученый. Утверждал множественность обитаемых миров... Имперские

фанатики повесили его за ноги и расстреляли из арбалетов... — Гаг замялся. — Вот точной даты я не помню, виноват. Но это было до первого алайского восстания...

— Очень хорошо! — похвалил румяный. — А как относится к учению Ганга современная наука?

Гаг опять замялся.

— Не могу сказать точно... Причин отрицать нет. У нас в школе на занятиях практической астрономией прямо об этом не говорилось. Говорилось только, что Айгон, Пирра... ну и другие... Какга, например... такие же планеты, как наша... Да, правильно! На Айгоне есть атмосфера, открытая великим основоположником алайской науки Гриддом, так что там вполне может существовать жизнь...

Он перевел дух и с тревогой взглянул на сухопарого.

— Очень хорошо, — снова сказал румяный. — Ну, а как на других звездах?

— Что — на других звездах, прошу прощения?

— Вблизи других звезд может существовать жизнь?

Гага прошибла испарина.

— Н-нет... — произнес он. — Нет, поскольку там безвоздушное пространство. Не может.

— А если около какой-нибудь звезды есть планеты? — неумолимо налегал доктор.

— А! Тогда может, конечно. Если около звезды имеется планета с атмосферой, на ней вполне может быть жизнь.

Румяный с удовлетворением откинулся на спинку кресла и посмотрел на сухопарого. Тогда сухопарый вынул соломинку изо рта и поглядел Гагу прямо в душу.

— Ты ведь Бойцовый Кот, Гаг? — сказал он.

— Так точно! — Гаг приосанился.

— А Бойцовый Кот есть боевая единица сама в себе, — в голосе сухопарого зазвенел уставной металл, — способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью, так?

— И обратить ее, — подхватил Гаг, — к чести и славе его высочества герцога и его дома!

Сухопарый кивнул.

— Созвездие Жука знаешь?

— Так точно! Эклиптикальное созвездие из двенадцати ярких звезд, видимое в летнее время года. Первая Жука является...

— Стоп. Седьмую Жука знаешь?

— Так точно. Оранжевая звезда...

— ...около которой, — прервал его сухопарый, подняв мосластый палец, — имеется планетная

система, неизвестная пока алайской астрономии. На одной из этих планет имеется атмосфера. Много миллиардов лет назад на ней возникла жизнь. Более того, на ней существует цивилизация разумных существ, значительно опередившая цивилизацию Гиганды. Ты на этой планете, Гаг.

Воцарилось молчание. Гаг, весь подобравшись, ждал продолжения. Сухопарый и врач пристально глядели на него. Молчание затягивалось. Наконец Гаг не выдержал.

— Я понял, господин офицер, — доложил он. — Продолжайте, пожалуйста.

Врач крякнул, а сухопарый мигнул несколько раз подряд.

— А-а, — сказал он спокойно. — Он решил, что мы продолжаем испытание психики и теперь даем ему вводную, — пояснил он врачу. — Это не вводная, Гаг. Это на самом деле так и есть. Я работал на вашей планете, на Гиганде, в северных джунглях герцогства. Случайно я оказался около тебя во время боя. Ты лежал на земле и горел, к тому же ты был смертельно ранен. Я перенес тебя на свой звездолет... это такой специальный аппарат для путешествия между звезд... и доставил сюда. Здесь мы тебя вылечили. Это все не вводная, Гаг. Я не офицер и, конечно, не алаец. Я

— землянин.

Гаг в задумчивости пригладил волосы.

— Предполагается, господин офицер, что я знаю ваш язык и условия жизни на этой планете. Или нет?

Снова наступило молчание. Потом сухопарый сказал, усмехнувшись:

— Ты, кажется, вообразил себя на занятиях по диверсионно-разведывательной подготовке...

Гаг тоже позволил себе улыбнуться.

— Не совсем так, господин офицер.

— А как же?

— Я полагаю... я надеюсь, что командование удостаивает меня пройти спецпроверку для того, чтобы принять новое, весьма ответственное назначение. Я горжусь, господин офицер. Приложу все усилия, чтобы оправдать...

— Послушай, — сказал вдруг румяный врач, поворачиваясь к сухопарому. — А может быть, так и оставить? Создать условия ничего не стоит. Ты ведь говоришь, что понадобится всего три-четыре месяца!

Сухопарый помотал головой и принялся что-то говорить румяному на непонятном языке. Гаг с нарочито рассеянным видом осматривался. Помещение было необычное. Прямоугольная

комната, гладкие кремовые стены, потолок расчерчен в шахматную клетку, причем каждая клетка светится изнутри красным, оранжевым, голубым, зеленым. Окон нет. Дверей тоже что-то не заметно. У изголовья постели в стене какие-то кнопки, над кнопками — длинные прозрачные окошечки, которые светятся ровным, очень чистым зеленым светом. Пол черный, матовый... и кресла, в которых сидят эти двое, словно бы растут из пола, а может быть, составляют с ним одно целое. Гаг незаметно погладил пол босой ступней. Прикосновение было приятное, словно к мягкому теплому животному...

— Ладно, — сказал наконец сухопарый. — Одевайся, Гаг. Я тебе кое-что покажу... Где его одежда?

Румяный, поколебавшись еще секунду, наклонился куда-то вбок и вытащил словно бы из стены плоский прозрачный пакет. Держа его в опущенной руке, он снова заговорил с сухопарым и говорил довольно долго, а сухопарый только все энергичнее крутил головой и в конце концов отобрал пакет у румяного и бросил его Гагу на колени.

— Одевайся, — приказал он снова.

Гаг осторожно осмотрел пакет со всех сторон.

Пакет был из какого-то прозрачного материала, бархатистого на ощупь, а внутри было что-то очень чистое, мягкое, легкое, белое с голубым. И вдруг пакет сам собой распался, рассыпался тающими в воздухе серебристыми искрами, и на постель упали, разворачиваясь, короткие голубые штаны, белая с голубым куртка и еще что-то.

Гаг с каменным лицом принялся одеваться. Румяный вдруг сказал громко:

— Но, может быть, мне все-таки пойти с вами?

— Не надо, — сказал сухопарый.

Румяный всплеснул белыми мягкими руками:

— Ну что у тебя за манера, Корней! Что это за порывы интуиции! Ведь, казалось бы, все расписали, обо всем договорились...

— Как видишь, не обо всем.

Гаг натянул совершенно невесомые сандалии, удивительно ладно пришедшиеся по ноге. Он встал, сдвинул пятки и наклонил голову.

— Я готов, господин офицер.

Сухопарый оглядел его.

— Как, нравится тебе это? — спросил он.

Гаг дернул плечом.

— Конечно, я предпочел бы форму...

— Обойдешься без формы, — проворчал сухопарый, поднимаясь.

— Слушаюсь, — сказал Гаг.

— Поблагодари врача, — сказал сухопарый.

Гаг отчетливым движением повернулся к румяному с лицом святого, снова сдвинул пятки и снова наклонил голову.

— Позвольте поблагодарить вас, господин врач, — сказал он.

Тот вяло махнул рукой.

— Иди уж... Кот...

Сухопарый уже уходил, направляясь прямо в глухую стену.

— До свидания, господин врач, — сказал Гаг весело. — Надеюсь, здесь мы больше не увидимся, а услышите вы обо мне только хорошее.

— Ох, надеюсь... — откликнулся румяный с явным сомнением.

Но Гаг больше не стал с ним разговаривать. Он догнал сухопарого как раз в тот момент, когда в стене перед ними не распахнулась, а как-то просто вдруг появилась прямоугольная дверь, и они ступили в коридор, тоже кремовый, тоже пустой, тоже без окон и дверей и тоже непонятно как освещенный.

— Что ты сейчас рассчитываешь увидеть? — спросил сухопарый.

Он шагал широко, вымахивая голенастыми

ногами, но ступни ставил с какой-то особой мягкостью, живо напомнившей Гагу неподражаемую походку Гепарда.

— Не могу знать, господин офицер, — ответил Гаг.

— Зови меня Корней, — сказал сухопарый.

— Понял, господин Корней.

— Просто — Корней...

— Так точно... Корней.

Коридор незаметно превратился в лестницу, которая вела вниз по плавной широкой спирали.

— Значит, ты не против того, чтобы оказаться на другой планете?

— Постараюсь справиться, Корней.

Они почти бежали вниз по ступенькам.

— Сейчас мы находимся в госпитале, — говорил Корней. — За его стенами ты увидишь много неожиданного, даже пугающего. Но учти, здесь ты в полной безопасности. Какие бы странные вещи ты ни увидел, они не могут угрожать тебе и не могут причинить вреда. Ты меня понимаешь?

— Да, Корней, — сказал Гаг и снова позволил себе улыбнуться.

— Постарайся сам разобраться, что к чему, — продолжал Корней. — Если чего-нибудь не понимаешь — обязательно спрашивай. Ответам

можешь верить. Здесь не врут.

— Слушаюсь... — ответствовал Гаг с самым серьезным видом.

Тут бесконечная лестница кончилась, и они вылетели в обширный светлый зал с прозрачной передней стеной, за которой было полно зелени, желтел песок дорожек, поблескивали на солнце непонятные металлические конструкции. Несколько человек в ярких и, прямо скажем, легкомысленных нарядах беседовали о чем-то посреди зала. И голоса у них были под стать нарядам — развязные, громкие до неприличия. И вдруг они разом замолчали, как будто их кто-то выключил. Гаг обнаружил, что все они смотрят на него... Нет, не на него. На Корнея. Улыбки сползали с лиц, лица застывали, взгляды опускались — и вот уже никто больше не смотрит на Корнея, вообще никто больше не смотрит в их сторону, а Корней знай себе вышагивает мимо них в полной тишине, словно ничего этого не заметив.

Он остановился перед прозрачной стеной и положил Гагу руку на плечо.

— Как тебе это нравится? — спросил он.

Огромные, во много обхватов, морщинистые стволы, клубы, облака, целые тучи ослепительной, пронзительной зелени над ними, желтые

ровные дорожки, а вдоль них — темно-зеленый кустарник, непроницаемо густой, пестрящий яркими, неправдоподобно лиловыми цветами, и вдруг из пятнистой от солнца тени на песчаную площадку выступил поразительный, совершенно невозможный зверь, состоящий как бы только из ног и шеи, остановился, повернул маленькую голову и взглянул на Гага огромными бархатистыми глазами.

— Колоссально... — прошептал Гаг. Голос у него сорвался. — Великолепно сделано!

— Зеброжираф, — непонятно и в то же время вроде бы и понятно пояснил Корней.

— Для человека опасен? — деловито осведомился Гаг.

— Я же тебе сказал: здесь нет ничего ни опасного, ни угрожающего.

— Я понимаю: здесь — нет. А там?

Корней покусал губу.

— Здесь — это и есть там, — сказал он.

Но Гаг уже не слышал его. Он потрясенно смотрел, как по песчаной дорожке мимо зеброжирафа, совсем рядом с ним, идет человек. Он увидел, как зеброжираф склонил бесконечную шею, будто пестрый шлагбаум опустился, а человек, не останавливаясь, потрепал животное по холке и

пошел дальше, мимо сооружения из скрученного шипастого металла, мимо радужных перьев, повисших прямо в воздухе, поднялся по нескольким плоским ступеням и сквозь прозрачную стену вошел в зал.

— Между прочим, это тоже инопланетянин, — сказал Корней вполголоса. — Его здесь вылечили, и скоро он вернется на свою планету.

Гаг сглотнул всухую, провожая выздоровевшего инопланетянина глазами. У того были странные уши. То есть, строго говоря, ушей почти не было, а голый череп неприятно поражал обилием каких-то бугров и узловатых гребенчатых выступов. Гаг снова глотнул и посмотрел на зеброжирафа.

— Разве... — начал он и замолчал.

— Да?

— Прошу прощения, Корней... Я думал... Я думал... это все... Ну, вот это все, за стеной...

— Нет, это не кино, — с оттенком нетерпения в голосе сказал Корней. — И не вольера. Это все на самом деле, и так здесь везде. Хочешь погладить его? — спросил он вдруг.

Гаг весь напрягся.

— Слушаюсь, — сказал он осипшим голосом.

— Да нет, если не хочешь — не надо. Просто ты должен понять...

Корней вдруг оборвал себя. Гаг поднял на него глаза. Корней смотрел поверх его головы в глубь зала, где снова уже раздавались голоса и смех, и лицо его неожиданно и странно изменилось. Новое выражение появилось на нем — смесь тоски, боли и ожидания. Гагу уже приходилось видеть такие лица, но он не успел вспомнить, где и когда. Он обернулся.

На той стороне зала у самой стены стояла женщина. Гаг даже не успел ее толком рассмотреть — через мгновение она исчезла. Но она была в красном, у нее были угольно-черные волосы и яркие, кажется синие, глаза на белом лице. Неподвижный язык красного пламени на кремовом фоне стены. И сразу — ничего. А Корней сказал спокойно:

— Ну что ж, пошли...

Лицо у него было прежнее, как будто ничего не произошло. Они шли вдоль прозрачной стены, и Корней говорил:

— Сейчас мы очутимся совсем в другом месте. Очутимся, понимаешь? Не перелетим, не переедем в другое место, а просто очутимся там, имей в виду...

Позади громко захохотали в несколько голосов. Гаг, вспыхнув ушами, оглянулся. Нет, смеялись

не над ним. На них вообще никто не смотрел.

— Заходи, — сказал Корней.

Это была круглая будка вроде телефонной, только стенки у нее были не прозрачные, а матовые. В будку вела дверь, и оттуда тянуло запахом, какой бывает после сильной грозы. Гаг несмело шагнул внутрь, Корней втиснулся следом, и дверной проем исчез.

— Я потом объясню тебе, как это делается, — говорил Корней. Он неторопливо нажимал клавиши на небольшом пульте, встроенном в стену. Такие пульты Гаг видел на арифметических машинах в бухгалтерии школы. — Вот я набираю шифр, — продолжал Корней. — Набрал... Видишь зеленый огонек? Это означает, что шифр имеет смысл, а финиш свободен. Теперь отправляемся... Вот эта красная кнопка...

Корней нажал на красную кнопку. Чтобы не упасть, Гаг вцепился в его свитер. Пол словно исчез на мгновение, а потом появился снова, и за матовыми стенками вдруг стало светлее.

— Все, — сказал Корней. — Выходи.

Зала не было. Был широкий, ярко освещенный коридор. Пожилая женщина в блестящей, как ртуть, накидке посторонилась, давая им дорогу, сурово смерила взглядом Гага, глянула на Корнея

— лицо ее вдруг дрогнуло, она торопливо нырнула в будку, и дверь за нею исчезла.

— Прямо, — сказал Корней.

Гаг пошел прямо. Только сделав несколько шагов, он тихонько перевел дух.

— Один миг — и мы в двадцати километрах, — сказал Корней у него за спиной.

— Потрясающе... — отозвался Гаг. — Я не знал, что мы умеем такие вещи...

— Ну, положим, вы еще не умеете... — возразил Корней. — Сюда, направо.

— Нет, я имел в виду — в принципе... Я понимаю, все засекречено, но для армии...

— Проходи, проходи. — Корней мягко подтолкнул его в спину.

— Для армии такая штука незаменима... Для армии, для разведки...

— Так, — произнес Корней. — Сейчас мы находимся в гостинице. Это мой номер. Я тут жил, пока тебя лечили.

Гаг осмотрелся. Комната была велика и совершенно пуста. Никаких следов мебели. Вместо передней стены — голубое небо, остальные стены разноцветные, пол белый, потолок, как и в госпитале, в разноцветную клетку.

— Давай побеседуем, — сказал Корней и сел.

Он должен был упасть своим сухопарым задом на этот белый пол. Но пол вспучился навстречу его падающему телу, как бы обтек его и превратился в кресло. Этого кресла только что не было. Оно просто мгновенно выросло. Прямо из пола. Прямо на глазах. Корней закинул ногу на ногу, привычно обхватил мосластыми пальцами колено.

— Мы тут много спорили, Гаг, — проговорил он, — как с тобой быть. Что тебе рассказать, что от тебя скрыть. Как сделать, чтобы ты, упаси бог, не свихнулся...

Гаг облизал пересохшие губы.

— Я...

— Предлагалось, например, оставить тебя на эти три-четыре месяца в бессознательном состоянии. Предлагалось загипнотизировать тебя. Много разной чепухи предлагалось. Я был против. И вот почему. Во-первых, я верю в тебя. Ты — сильный, тренированный мальчик, я видел тебя в бою и знаю, что ты можешь выдержать многое. Во-вторых, для всех будет лучше, если ты увидишь наш мир... пусть даже только кусочек нашего мира. Ну, а в-третьих, я тебе честно скажу: ты мне можешь понадобиться.

Гаг молчал. Ноги у него одеревенели, заложен-

ные за спину руки он стиснул изо всей силы, до боли. Корней вдруг подался вперед и сказал, словно заклиная:

— Ничего страшного с тобой не произошло. Ничего страшного с тобой не случится. Ты в полной безопасности. Ты просто совершаешь путешествие, Гаг. Ты в гостях, понимаешь?

— Нет, — сказал Гаг хрипло.

Он повернулся и пошел прямо в голубое небо. Остановился. Глянул. Стиснутые кулаки его побелели. Он сделал шаг назад, другой, третий и пятился до тех пор, пока не уперся лопатками.

— Значит... я уже там? — сказал он хрипло.

— Значит, ты уже здесь, — сказал Корней.

— Какое же у меня задание?.. — сказал Гаг.

Глава третья

Одним словом, ребята, влип я, как ни один еще Бойцовый Кот, наверное, до меня не влипал. Вот сижу я сейчас на роскошной лужайке по шею в мягкой травке-муравке. Вокруг меня — благодать, чистый курорт на озере Заггута, только самого озера нет. Деревья — никогда таких не видел: листья зеленые-зеленые, мягкие, шелковистые, а на ветвях висят здоровенные плоды — груши называются — объеденье, и ешь сколько влезет. Слева от меня роща, а прямо передо мной дом. Корней говорит, что сам его своими руками построил. Может быть, не знаю. Знаю только, что когда меня назначили в караул у охотничьего домика его высочества, так там тоже был дом — роскошный дом, и строили его ба-альшие головы, но куда ему до этого. Перед домом бассейн, вода чистая, как увидишь — пить хочется, купаться страшно. А вокруг — степь. Там я еще не был. И пока неохота. Не до степи мне сейчас. Мне бы сейчас понять, на каком языке я думаю, змеиное молоко! Ведь сроду я никаких языков, кроме родного алайского, не знал. Военный разговорник — это, натурально, не в счет: всякие там «руки вверх», «ложись», «кто

командир» и прочее. А теперь вот никак не могу понять, какой же язык мне родной — этот самый ихний русский или алайский. Корней говорит, что этот русский в количестве двадцати пяти тысяч слов и разных там идиом в меня запихнули за одну ночь, пока я спал после операции. Не знаю. Идиома... Как это будет по-алайски? Не знаю.

Нет, я ведь сначала что подумал? Спецлаборатория. Такие у нас есть, я знаю. Корней — офицер нашей разведки. Очень похож. И готовят они меня для какого-то особой важности задания. Может быть, интересы его высочества распространились на другой материк. А может быть, черт подери, и на другую планету. Почему бы и нет? Что я знаю?

Я даже, дурак, сначала думал, что вокруг все — декорация. А потом день здесь живу, другой — нет, ребята, не получается. Город этот — декорация? Синие эти громады, что на горизонте время от времени появляются, — декорация? А жратва? Показать ребятам эту жратву — не поверят, не бывает такой жратвы. Берешь тюбик, вроде бы с зубной пастой, выдавливаешь на тарелку, и на тебе — запузырилось, зашипело, и тут надо схватить другой тюбик, его давить, и ахнуть ты не успел, как на тарелке перед тобой — здоровенный

ломоть поджаренного мяса, весь золотистый, дух от него... э, что там говорить! Это, ребята, не декорация. Это мясо. Или, скажем, ночное небо: все созвездия перекошены. И Луна. Тоже декорация? Честно говоря, она-то на декорацию как раз очень похожа. Особенно когда высоко. Но на восходе — смотреть же страшно! Огромная, разбухшая, красная, лезет из-за деревьев... Который я уже здесь день, пятый, что ли, а до сих пор меня от этого зрелища просто в дрожь бросает.

Вот и получается, что дело дрянь. Могучие они здесь, стервецы, могучие, простым глазом видно. И против них, против всей их мощи я здесь один. И ведь никто же у нас про них ничего не знает, вот что самое страшное. Ходят они по нашей Гиганде, как у себя дома, знают про нас все, а мы про них — ничего. С чем они к нам пришли, что им у нас надо? Страшно... Как представишь себе всю ихнюю чертовщину — все эти мгновенные скачки на сотни километров без самолетов, без машин, без железных дорог... эти их здания выше облаков, невозможные, невероятные, как дурной сон... комнаты-самобранки, еда прямо из воздуха, врачи-чудодеи... А сегодня утром — приснилось мне, что ли? — Корней прямо из бассейна без ничего, в одних плавках, взмыл в небо, как птица,

развернулся над садом и пропал за деревьями...

Я как это вспомнил, продрало меня до самых печенок. Вскочил, пробежался по лужайке, грушу сожрал, чтобы успокоиться. А ведь я здесь всего-то-навсего пятый день! Что я за пять дней мог здесь увидеть? Вот хоть эта лужайка. У меня окно прямо на нее выходит. И вот давеча просыпаюсь ночью от какого-то хриплого мяуканья. Кошки дерутся, что ли? Но уже знаю, что не кошки. Подкрался к окну, выглянул. Стоит. Прямо посреди лужайки. Что — не понимаю. Вроде треугольное, огромное, белое. Пока я глаза протирал, смотрю — тает в воздухе. Как привидение, честное слово. Они у них так и называются: «призраки». Я наутро у Корнея спросил, а он говорит: это, говорит, наши звездолеты класса «призрак» для перелетов средней дальности, двадцать световых лет и ближе. Представляете? Двадцать световых лет — это у них средняя дальность! А до Гиганды, между прочим, всего восемнадцать...

Не-ет, от нас им только одно может понадобиться: рабы. Кто-то же у них здесь должен работать, кто-то же эту ихнюю благодать обеспечивает... Вот Корней мне все твердит: учись, присматривайся, читай, через три-четыре месяца, мол, домой вернешься, начнешь строить новую

жизнь, то, се, войне, говорит, через три-четыре месяца конец, мы, говорит, этой войной занялись и в самое ближайшее время с ней покончим. Тут-то я его и поймал. Кто же, говорю, в этой войне победит? А никто не победит, отвечает. Будет мир, и все. Та-ак... Все понятно. Это, значит, чтобы мы материал зря не переводили. Чтобы все было тихо-мирно, без всяких там возмущений, восстаний, кровопролития. Вроде как пастухи не дают быкам драться и калечиться. Кто у нас им опасен — тех уберут, кто нужен — тех купят, и пойдут они набивать трюмы своих «призраков» алайцами и крысоедами вперемешку...

Корней вот, правда... Ничего не могу с собой поделать: нравится он мне. Башкой понимаю, что иначе быть не может, что только такого человека они и могли ко мне приставить. Башкой понимаю, а ненавидеть его не могу. Наваждение какое-то. Верю ему как дурак. Слушаю его, уши развесив. А сам ведь знаю, что вот-вот начнет он мне внушать и доказывать, как ихний мир прекрасен, а наш — плох, и что наш мир надо бы переделать по образцу ихнего, и что я им в этом деле должен помочь, как парень умный, волевой, сильный, вполне пригодный для настоящей жизни...

Да чего там, он уже и начал понемногу. Ведь всех великих людей, на кого мы молимся, он уже обгадить успел. И фельдмаршала Брагга, и Одноглазого Лиса, великого шефа разведки, и про его высочество намекнул было, но тут я его, конечно, враз оборвал... Всем от него досталось. Даже имперцам — это, значит, чтобы показать, какие они здесь беспристрастные. И только про одного он говорил хорошо — про Гепарда. Похоже, он его знал лично. И ценил. В этом человеке, говорит, погиб великий педагог. Здесь, говорит, ему бы цены не было... Ладно.

Хотел я остановиться, но не успел — стал думать о Гепарде. Эх, Гепард... Ну ладно, ребята погибли, Заяц, Носатый... Клещ с ракетой под мышкой под бронеход бросился... пусть. На то нас родили на свет. А вот Гепард... Отца ведь я почти не помню, мать — ну что мать? А вот тебя я никогда не забуду. Я ведь слабый в школу пришел — голод, кошатину жрал, самого чуть не съели, отец с фронта пришел без рук, без ног, пользы от него никакой, все на водку променивал... А в казарме что? В казарме тоже не сахар, пайки сами знаете какие. И кто мне свои консервы отдавал? Стоишь ночью дневальным, жрать хочется — аж зубы скрипят; вдруг появится как из-под земли,

рапорт выслушает, буркнет что-то, сунет в руку ломоть хлеба с кониной — свой ведь ломоть хлеба с кониной, по тыловой норме, — и нет его... А как в марш-броске он меня двадцать километров на загривке тащил, когда я от слабости свалился? Ребята ведь должны были тащить, и они бы и рады, да сами падали через каждые десять шагов. А по инструкции как? Не может идти — не может служить. Валяй домой, под вонючую лестницу, за кошками охотиться...

Да, не забуду я тебя, Гепард. Погиб ты. Как нас учил погибать, так и сам погиб. Ну, а раз уж я уцелел, значит, и жить я теперь должен, твоей памяти не посрамив. А как жить? Влип я, Гепард. Ох и влип же я! Где ты там сейчас? Вразуми, подскажи...

Ведь они меня здесь купить хотят. Перво-наперво спасли мне жизнь. Вылечили, как новенького сделали, даже ни одного зуба дырявого не осталось — новые выросли, что ли? Дальше. Кормят на убой, знают, бродяги, как у нас со жратвой туго. Ласковые слова говорят, симпатичного человека приставили...

Тут он меня позвал: обедать пора.

Уселись мы за столом в гостиной, взяли эти самые тюбики, навертели себе еды. Корней что-то

странное соорудил — целый клубок прозрачных желтоватых нитей — что-то вроде дохлого болотного ежа, — все это залил коричневым соусом, сверху лежат кусочки и ломтики то ли мяса, то ли рыбы, и пахнет... не знаю даже — чем, но крепко пахнет. Ел он почему-то палочками. Зажал две палочки между пальцами, тарелку к самому подбородку поднес и пошел кидать все это в рот. Кидает, а сам мне подмигивает. Хорошее у него, значит, настроение. Ну, а у меня от всех моих мыслей, да и от груш, наверное, аппетита почти не осталось. Сделал себе мяса. Вареного. Хотел тушеного, а получилось вареное. Ладно, есть можно, и на том спасибо.

— Хорошо я сегодня поработал, — сообщил Корней, уплетая своего ежа. — А ты что поделывал?

— Да так. Ничего особенного. Купался. В траве сидел.

— В степь ходил?

— Нет.

— Зря. Я же тебе говорю: там для тебя много интересного.

— Я схожу. Потом.

Корней доел ежа и снова взялся за тюбики.

— Придумал, где бы тебе хотелось побывать?

— Нет. То есть да.

— Ну?

Что бы мне ему такое-этакое соврать? Никуда мне сейчас не хотелось, мне бы здесь, с этим домом разобраться, и я ляпнул:

— На Луне...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— А за чем же дело стало? Нуль-кабина — в саду, справочник по шифрам я тебе дал... Набирай номер и отправляйся.

Нужна мне эта Луна!..

— И отправлюсь, — сказал я. — Галоши вот только надену...

Сам не знаю, откуда эта присловка у меня взялась. Идиома, наверное, какая-нибудь. Засадили они мне ее в мозги, и теперь она время от времени у меня выскакивает.

— Что-что? — спросил Корней, подняв брови.

Я промолчал. Теперь вот на Луну надо. Раз сказал, значит придется. А чего я там не видел? Вообще-то, конечно, не мешает посмотреть... Подумал я, сколько мне еще здесь надо посмотреть, и в глазах у меня потемнело. И ведь это только посмотреть! А надо еще запомнить, уложить в башке все это кирпичик к кирпичику, а в башке и так все перемешалось, будто я сто лет уже здесь болтаюсь, и все эти сто лет днем и ночью

мне показывают какое-то сумасшедшее кино без начала и конца. Он ведь ничего от меня не скрывает. Нуль-транспортировка? Пожалуйста! Объясняет про нуль-транспортировку. И вроде бы понятно объясняет, модели показывает. Модели понимаю, а как работает нуль-кабина — нет, хоть кол на голове теши. Изгибание пространства, понял? Или, скажем, про эту пищу из тюбиков. Три часа мне объяснял, а что осталось в голове? Субмолекулярное сжатие. Ну, еще расширение. Субмолекулярное сжатие — это, конечно, хорошо и даже прекрасно. Химия. А вот откуда кусок жареного мяса берется?

— Ну что загрустил? — спросил Корней, утираясь салфеткой. — Трудно?

— Башка болит, — сказал я со злостью.

Он хмыкнул и принялся прибирать со стола. Я, конечно, как положено, сунулся ему помогать, только тут у них и одному делать нечего. Всего и приборки-то: в середине стола лючок открыть и все туда спихнуть, а уж закрывать и не надо, само закроется.

— Пойдем кино посмотрим, — сказал он. — Один мой знакомый отличную ленту сделал. В старинном стиле, плоскую, черно-белую. Тебе понравится.

— Про что? — спросил я вяло. Никаких кино мне не хотелось. Не до кино мне было. И так вокруг сплошное кино. В бредовом стиле. Цветное и выпуклое.

— Про войну тоже есть, — сказал он. — Правда, действие там происходит в средние века...

Короче, пришлось мне тут же сесть и смотреть это кино. Куролесица какая-то. Про любовь. Любят там друг друга двое аристократов, а родители против. Есть там, конечно, пара мест, где дерутся, но все на мечах. Снято, правда, здорово, у нас так не умеют. Один там другого ткнул мечом, так уж без обману: лезвие из спины на три пальца вылезло и даже вроде дымится... Вот им еще, например, зачем рабы нужны. Замутило меня от этой мысли, еле я дотерпел до конца. Вдобавок курить хотелось дико. Корней, как и Гепард, курение не одобряет. Предложил даже излечить от этой привычки, да я не согласился: всего-то от меня изначального одно это, может быть, и осталось... В общем, попросил я разрешения пойти к себе. Почитать, говорю. Про Луну. Поверил. Отпустил.

И вошел я в свою комнату, будто домой вернулся. Я ее сразу, как приехал, для себя переоборудовал. Тоже, между прочим, намучился. Корней мне, конечно, все объяснил, но я, конечно, ни-

чего толком не понял. Стою посреди комнаты и ору, как псих: «Стул! Хочу стул!» Только потом понемногу приспособился. Здесь, оказывается, орать не надо, а надо только тихонечко представить себе этот стул во всех подробностях. Вот я и представил. Даже кожаная обивка на сиденье продрана, а потом аккуратно заштопана. Это когда Заяц, помню, после похода сразу сел, а потом встал и зацепился за обивку крючком от кошки. Ну, и все остальное я устроил как у Гепарда в его комнатушке: койка железная с зеленым шерстяным покрывалом, тумбочка, железный ящик для оружия, столик с лампой, два стула и шкаф для одежды. Дверь сделал как у людей, стены — в два цвета, оранжевый и белый, цвета его высочества. Вместо прозрачной стены сделал одно окно. Под потолком лампу подвесил с жестяным абажуром...

Конечно, все это декорация: ни жести, ни железа, ни дерева — ничего этого на самом деле здесь нет. И оружия у меня, конечно, никакого в железном ящике нет — лежит там один мой единственный автоматный патрон, который у меня в кармане куртки завалялся. И на тумбочке ничего нет. У Гепарда стояла фотография женщины с ребенком — рассказывали, что жены с

дочерью, сам он об этом никогда не говорил. Я тоже хотел поставить фотографию. Гепарда. Каким я его в последний раз видел. Но ничего у меня из этого не вышло. Наверное, Корней правильно объяснил, что для этого надо быть художником или там скульптором.

Но в общем мне моя конурка нравится. Я здесь отдыхаю душой, а то в других комнатах как в чистом поле, все насквозь простреливается. Правда, нравится она здесь только мне. Корней посмотрел, ничего не сказал, но, по-моему, он остался недоволен. Да это еще полбеды. Хотите верьте, хотите нет, но эта моя комната сама себе не нравится. Или самому дому. Или, змеиное молоко, той невидимой силе, которая всем здесь управляет. Чуть отвлечешься, глядь — стула нет. Или лампы под потолком. Или железный ящик в такую нишу превратится, в которой они свои микрокниги держат.

Вот и сейчас. Смотрю — нет тумбочки. То есть тумбочка есть, но не моя тумбочка, не Гепарда, да и не тумбочка вовсе. Шут знает что — какое-то полупрозрачное сооружение. Слава богу, хоть сигареты в нем остались как были. Родимые мои, самодельные. Ну, сел я на свой любимый стул, закурил сигаретку и это самое сооружение

изничтожил. Честно скажу — с удовольствием. А тумбочку вернул на место. И даже номер вспомнил: 0064. Не знаю уж, что этот номер значит.

Ну, сижу я, курю, смотрю на свою тумбочку. На душе стало поспокойнее, в комнате моей приятный полумрак, окно узкое, отстреливаться из него хорошо в случае чего. Было бы чем. И стал я думать: что бы это мне на тумбочку положить? Думал-думал и надумал. Снял я с шеи медальон, открыл крышечку и вынул портрет ее высочества. Обрастил я его рамкой, как сумел, пристроил посередине, закурил новую сигаретку, сижу и смотрю на прекрасное лицо Девы Тысячи Сердец. Все мы, Бойцовые Коты, до самой нашей смерти ее рыцари и защитники. Все, что есть в нас хорошего, принадлежит ей. Нежность наша, доброта наша, жалость наша — все это у нас от нее, для нее и во имя ее.

Сидел я так, сидел и вдруг спохватился: да в каком же это виде я перед нею нахожусь? Рубашка, штанишки, голоручка-голоножка... Тьфу! Я подскочил так, что даже стул упал, распахнул шкаф, сдернул с себя всю эту бело-синюю дрянь и натянул свое родимое — боевую маскировочную куртку и маскировочные штаны. Сандалии долой, на ноги — тяжелые рыжие сапоги с ко-

роткими голенищами. Подпоясался ремнем, аж дыхание сперло. Жалко, берета нет — видимо, совсем берет сгорел, в пыль, даже эти не сумели восстановить. А может, я его сам потерял в той суматохе... Погляделся я в зеркало. Вот это другое дело: не мальчишка сопливый, а Бойцовый Кот — пуговицы горят, Черный Зверь на эмблеме зубы скалит в вечной ярости, пряжка ремня точно на пупе, как влитая. Эх, берета нет!..

И тут я вдруг заметил, что ору я Марш Боевых Котят, ору во весь голос, до хрипа, и на глазах у меня слезы. Допел до конца, глаза вытер и начал сначала, уже вполголоса, просто для удовольствия, от самой первой строчки, от которой всегда сердце чуточку щемит: «Багровым заревом затянут горизонт», и до самой последней, развеселой: «Бойцовый Кот нигде не пропадет». Мы там еще один куплет сочинили сами, но такой куплет в трезвом виде, да еще имея перед глазами портрет Девы, исполнять никак невозможно. Гепард, помню, Крокодила за уши при всех оттаскал за этот куплет...

Змеиное молоко! Опять! Опять эта лампа в какой-то дурацкий светильник превратилась. Ну что ты будешь с ней делать... Попробовал я этот светильник обратно в лампу превратить, а

потом плюнул и изничтожил совсем. Отчаяние меня взяло. Ну где мне с ними справиться, когда я с собственной комнатой справиться не могу! С домом этим проклятущим... Поднял я стул и снова уселся. Дом. Как хотите, ребята, а с домом этим все неладно. Казалось бы, проще простого: стоит двухэтажный дом, рядом роща, вокруг на двадцать пять километров голая степь, как доска, в доме двое — я и Корней. Все. Так вот, ребята, оказывается, не все.

Во-первых — голоса. Говорит кто-то, и не один, и не радио какое-нибудь. По всему дому голоса. И не то чтобы ночью — среди бела дня. Кто говорит, с кем говорит, о чем говорит — ничего не понятно. Причем, заметьте, Корнея в доме в это время нет. Тоже, между прочим, вопрос: куда он девается... Хотя, кажется, на этот вопрос я ответ нашел. Страху набрался, но нашел. А было так. Позавчера сижу я у окна и наблюдаю за нуль-кабиной. Она наискосок, в конце песчаной дорожки, шагах в пятидесяти. Потом слышу — в глубине дома вроде бы хлопнула дверь, и сразу же — тишина, и чувствую я, что опять остался в доме один. Так, думаю, значит, он не через нуль-кабину уходит. И тут меня как обухом по голове ударило: дверь! Где же это, кроме моей комнаты, в нашем доме

двери, которые хлопать могут?

Выскочил я из комнаты, спустился на первый этаж. Сунулся туда, сюда — коридор какой-то светлый, окно вдоль стены... ну, это как всегда у них. И вдруг слышу — шаги. Не знаю, что меня остановило. Притаился, стою не дышу. Коридор пустой, в дальнем конце дверь, обыкновенная, крашеная... Как я ее раньше не замечал — не понимаю. Как я коридора этого раньше не замечал — тоже не понимаю. Ну, это ладно. Главное — шаги. Несколько человек. Ближе, ближе, и вот — у меня даже сердце сжалось — прямо из стены на середине коридора выходят один за другим трое. Змеиное молоко! Имперские парашютисты, в полном боевом, в этих своих разрисованных комбинезонах, автомат под мышкой, топорик на заду... Я сразу лег. Один ведь, и ничего нет — голые руки. Оглянутся — пропал. Не оглянулись. Протопали в дальний конец коридора к той самой двери, и нет их. Дверь хлопнула, как от сквозняка, и все. Ну, ребята... Как дунул я обратно к себе в комнату — и только там опомнился...

До сих пор не понимаю, что бы это могло значить. То есть ясно теперь, как Корней из дома исчезает. Через эту самую дверь. Но вот откуда здесь крысоеды взялись, да еще в полном бое-

вом?.. И что это за дверь?

Бросил я окурок на пол, посмотрел, как пол его в себя втягивает, и поднялся. Страшновато, конечно, но надо же когда-нибудь начинать. А если начинать, то с этой двери. В саду на лужайке с грушей за щекой оно, конечно, приятнее... или, скажем, марши распевать, запершись в комнате... Высунул я за дверь голову и прислушался. Тихо. Но Корней — у себя. Может, это даже и лучше. В случае чего заору благим матом — выручит. Спустился я в тот коридор, иду на цыпочках, даже руки расставил. До этой двери я целую вечность добирался. Пройду десять шагов, остановлюсь, послушаю — и дальше. Добрался. Дверь как дверь. Никелированная ручка. Приложил ухо — ничего не слыхать. Нажал плечом. Не открывается. Взялся за ручку, потянул. Опять не открывается. Интересно. Вытер я со лба пот, оглянулся. Никого. Снова взялся за ручку, снова потянул, и тут стала дверь открываться. Со страху или от неожиданности я ее, проклятущую, опять захлопнул. В башке у меня пустота, и только одна мыслишка там прыгает, как горошина в бензобаке: не лезь, дурак, не суйся, тебя не трогают, и ты не трогай... И тут из меня и эту последнюю мыслишку вышибло.

Смотрю: прямо на стене сбоку от двери ме-

ленькими аккуратными буковками написано по-алайски «значит». То есть там вообще-то много чего было написано, всего в количестве шести строчек, но все остальное была математика, причем такая математика, что я в ней одни только плюсы и минусы разбирал. Так это выглядело: четыре строчки этой самой математики, потом слово «значит», подчеркнутое двумя чертами, а потом еще две строчки формул, обведенные жирной рамкой, на ней у него грифель раскрошился, у того, кто писал. Вот так так... В бедной голове моей, в пустом моем бензобаке, такая тут толкотня поднялась, что я и про дверь забыл. Выходит, я не один тут, есть еще алайцы? Кто? Где? Почему я вас не видел до сих пор? Зачем вы это написали? Знак подаете? Кому? Мне? Так я же математики не знаю... Или эту математику вы развели только для отвода глаз? Ничего я не успел в этот раз додумать, потому что услыхал, как меня зовет Корней. Я как полоумный сорвался с места и на цыпочках взлетел к себе. Кое-как бухнулся на стул, закурил и схватил какую-то книжку. Корней внизу гаркнул еще пару раз, а потом слышу — стучит в дверь.

Это у него, между прочим, правильно: хоть он и в своем доме, но никогда не войдет без стука. Это

мне нравится. Мы к Гепарду тоже всегда стучали. Но сейчас-то мне было не до этого. «Войдите», — говорю и делаю на лице наивозможнейшую задумчивость, будто я так зачитался, что ничего не вижу и не слышу.

Он вошел, остановился на пороге, прислонился к косяку и смотрит. По лицу ничего не понять. Тут я сделал вид, что спохватился, и притушил окурок. Тогда он заговорил.

— Ну, как Луна? — спрашивает.

Я молчу. Сказать мне нечего. В таких вот случаях мне всегда кажется, что он костерить меня начнет, но этого никогда не бывает. Так вот и сейчас.

— Пойдем-ка, — говорит. — Я тебе кое-что покажу. А потом, может быть, и на Луну смотаемся.

Опять эта Луна! Она мне скоро плешь переест, наверное, эта Луна.

— Слушаюсь, — говорю. И на всякий случай спрашиваю: — Прикажете переодеться?

— А тебе в этом не жарко? — спрашивает он.

Я только усмехнулся. Не смог удержаться. Вот так вопросик!

— Ну, извини, — говорит он, словно мои мысли подслушал. — Пошли.

И повел он меня, куда раньше никогда не во-

дил. Не-ет, ребята, я с этим домом никогда не разберусь. Я даже и не знал, что в этом доме такое есть. В гостиной он ткнулся в стену рядом с книжной нишей — и открылась дверца, а за дверцей оказалась лестница вниз, в подпол. Оказывается, у этого дома еще целый этаж есть, под землей, такой же роскошный и освещен как бы дневным светом, но это не для жилья. У него там что-то вроде музея. Огромная комната, и чего там только нет!

— Понимаешь, Гаг, — говорит он мне с каким-то странным выражением — с грустью, что ли? — Я ведь раньше работал космозоологом, исследовал жизнь на других планетах. Ах, какое это было чудесное время! Сколько миров я повидал, и в каждом новом мире полно диковинных тайн — всей человеческой истории не хватит, наверное, чтобы эти тайны разгадать до конца... Вот посмотри-ка! — Он схватил меня за рукав и поволок в угол, где на черной лакированной подставке был растопырен какой-то странный скелет величиной с собаку. — Видишь, у него два позвоночника. Зверь с Нистагмы. Когда мы взяли первый экземпляр, то подумали сначала, что это какое-то уродство. Потом другой такой же, третий... Выяснилось, что на Нистагме обитает целый новый

бранч животного мира — двухордовые. Их нет больше нигде... да и на Нистагме только один вид. Откуда он взялся? Почему? Пятьдесят лет с тех пор прошло — никто эту задачу так и не решил... Или вот это...

И пошел, и пошел. Таскал он меня от скелета к скелету, руками размахивал, голос возвышал — я таким его еще не видывал. Здорово, наверное, он любил эту свою космозоологию. Или связаны были у него с ней какие-то особенные воспоминания.

Не знаю. Из того, что он мне говорил, я, конечно, мало что понял и мало что запомнил, да, в общем, и не особенно старался. Какое мне до всего этого дело? Забавно было только на него смотреть, а уж эти зверюги!.. У него их, наверное, штук сто. Либо скелеты, либо целиком, словно бы вплавленные в такие здоровенные прозрачные глыбы (как я понимаю — для особой сохранности), либо просто чучела, как в охотничьем домике у его высочества, а то — одни только головы или шкуры.

Вот во втором зале у него — мы как туда вошли, я даже попятился — вся стена справа завешена одной шкурой. Змеиное молоко! Длиной метров двадцать, в поперечнике метра три, а то и все четыре, аж на потолок краем залезает. И вся эта

шкура покрыта не то пластинами, не то чешуей, и каждая чешуища — с хорошее блюдо, и каждая сияет чистейшим изумрудным светом с красными огоньками, так что вся зала от этой шкуры кажется будто зеленоватой. Я обалдел, глаз не могу оторвать от этого сияния. Это же надо, что на свете бывает! А головка маленькая, в мой кулак, и глаз не видно, а в рот палец не просунешь — как это оно питало свою тушу, непонятно...

Потом смотрю — в конце зала вроде бы еще одна дверь. В темное помещение. Подошли поближе — да, ребята, это, оказывается, не дверь. Это, оказывается, пасть раскрытая. Ей-богу, дверь. И даже не в комнату дверь, а, скажем, в гараж. Или, может быть, в ангар. Называется эта зверюга — тахорг, и добывают ее на планете Пандора. А Корней мимо нее рассеянно этак прошел, как будто это черепаха какая-нибудь или, например, лягушка. А голова ведь — с два вагона хороших, в пасти всю нашу школу разместить можно. Это какое же должно быть тулово при такой голове! И каково его добывать было! Из ракетомета, наверное...

Ну, чего там еще было? Ну, там всякие птицы, насекомые громадные... Нога мне запомнилась. Стоит посередине зала нога. Тоже залита в этот

прозрачный материал. Ну, страшная нога, конечно. Выше меня ростом, узловатая, как старое дерево, когти — восемь штук, такие у дракона Гугу изображают, каждый коготь как сабля... Ладно. Замечательно что? Оказывается, кроме такой вот ноги или, скажем, хвоста, ни в одном музее ничего от этого зверя нет. Обитает он на планете Яйла, и сколько лет за ним ни охотятся, а целиком добыть так и не сумели. Пули его не берут, газы его не берут, из любой ловушки он уходит, мертвыми их вообще никогда не видали, а добывают вот так — по частям. У них, оказывается, поврежденные части запросто отваливаются, некоторое время еще как бы живут — скребутся там или дергаются, — ну, потом, конечно, замирают... Да, нога. Я перед этой ногой стоял с раззявленной пастью, что твой тахорг. Велик все-таки Создатель...

Ну, ходим мы вот так, ходим, Корней рассказывает, горячится, а мне уже все это малость надоело, и стал я снова думать о своем. Сначала об этой надписи в коридоре, как мне с ней быть и какие я из нее выводы должен сделать, а потом меня снова чего-то свернуло на Корнея. Почему это, думаю, он один живет? Богатый ведь человек, самостоятельный. Где у него жена, где дети? Вообще-то какая-то женщина у него есть. Первый

раз я ее еще в госпитале видел, они там через весь зал перемигивались. А потом она и сюда к нему приходила. То есть как она приходила, я не видел, но вот как он ее провожал, до самой нуль-кабины довел, — это у меня все на глазах было. Только у него с нею настоящего счастья нет. Он ей: «Я жду тебя каждый день, каждый час, всегда». А она ему: «Ненавижу, мол, каждый день, каждый час...» — или что-то в этом роде. Видали? А чего тогда приходила, спрашивается? Только расстроила человека до последней степени. Она в эту кабину — фр-р-р! — и как не было, а он стоит, бедняга, и на лице у него опять эта тоска с болью пополам, как тогда в госпитале, и я наконец вспомнил, у кого такие лица видел: у смертельно раненных, когда они кровью истекают... Нет, у него в личной жизни неудача, я уж на что посторонний человек — простым глазом вижу... Может, он потому и работает днем и ночью, чтобы отвлечься. И бзик этот зоологический у него из-за этого... Отпустит он меня когда-нибудь из этого подпола, или так и будем здесь всю жизнь ходить? Нет, не отпускает. Опять чего-то объяснять начал. Половину-то хоть мы осмотрели? Пожалуй, осмотрели...

Да-а, жило вот все это зверье, поживало за тыщи световых лет от этого места. Горя не знало,

хотя имело, конечно, свои заботы и хлопоты. Пришли, сунули в мешок и — в этот музей. С научной целью. И мы вот тоже — живем, сражаемся, историю делаем, врагов ненавидим, себя не жалеем, а они смотрят на нас и уже готовят мешок. С научной целью. Или еще с какой-нибудь. Какая нам, в конце концов, разница? И может быть, стоять нам всем в таких вот подвалах, а они будут около нас руками размахивать и спорить: почему мы такие, и откуда взялись, и зачем. И до того мне вдруг родными сделались все эти зверюги... Ну, не родными, конечно, а как бы это сказать... Вот, говорят, во время наводнений или там, скажем, когда пожар в джунглях, хищники с травоядными спасаются плечо к плечу и становятся как бы даже друзьями, даже помогают друг другу, я слыхал. Вот и у меня такое же появилось чувство. И, как на грех, именно в этот момент я увидел скелет.

Стоит в уголку скромно, без особенной какой-нибудь подсветки, невелик росточком — пониже меня. Человек. Череп, руки, ноги. Что я, скелетов человеческих не видел? Ну, может, грудная клетка пошире, ручки такие маленькие, между пальчиками вроде бы перепонки, и ножки кривоватые. Все равно — человек.

Наверное, что-то с моим лицом тут сделалось, потому что Корней вдруг остановился, посмотрел пристально на меня, потом на скелет, потом опять на меня.

— Ты что? — спрашивает. — Не понимаешь что-нибудь?

Я молчу, уставился на этот скелет, а на Корнея стараюсь не глядеть. Я ведь как ждал чего-нибудь такого. А Корней говорит спокойно:

— Да-а, это тот самый знаменитый псевдохомо, тоже знаменитая загадка природы. Ты уже где-нибудь прочитал про него?

— Нет, — сказал я, а сам думаю: сейчас он мне все объяснит. Он очень хорошо мне все объяснит. Да вот стоит ли верить?

— Это удивительная история, — сказал Корней, — и в некотором роде трагическая. Понимаешь, эти существа должны были оказаться разумными. По всем законам, какие нам известны, должны. — Тут он развел руками. — Но — не оказались. Скелет — чепуха, я тебе потом фотографии покажу. Страшно! В прошлом веке научная группа на Тагоре открыла этих псевдохомо. Долго пытались вступить с ними в контакт, наблюдали их в естественных условиях, исследовали и пришли к выводу, что это животные. Звучало это парадоксом,

но факт есть факт: животные. Соответственно, с ними и обращались как с животными: держали в зверинце, при необходимости забивали, анатомировали, препарировали, брали скелеты и черепа для коллекций. Как-никак ситуация в научном смысле уникальная. Животное обязано быть человеком, но человеком не является. И вот еще несколько лет спустя на Тагоре обнаруживают пустой город. Мощнейшая цивилизация. Совершенно не похожая ни на нашу земную, ни на вашу — невиданная, совершенно фантастической фактуры, но несомненная. Представляешь, какой это был ужас? Из первооткрывателей один сошел с ума, другой застрелился... И только еще через двадцать лет нашли! Оказалось: да, есть на планете разум. Но совершенно нечеловеческий. До такой степени не похож ни на нас, ни на вас, ни, скажем, на леонидян, что наука просто не могла даже предположить возможность такого феномена... Да... Это была трагедия. — Он вдруг как-то поскучнел и пошел из зала, словно забыв обо мне, но на пороге остановился и сказал, глядя на скелет в углу: — А сейчас есть гипотеза, что это вот — искусственные существа. Понимаешь, тагоряне их создали сами, смоделировали, что ли. Но для чего? Мы ведь так и не сумели найти

с тагорянами общего языка... — Тут он посмотрел на меня, хлопнул по плечу и сказал: — Вот так-то, брат-храбрец. А ты говоришь — космозоология...

Не знаю уж, правду он мне рассказал или выдумал все, чтобы мозги мне окончательно замутить, но только охота размахивать руками и излагать мне про всякие загадки природы у него после этого пропала. Пошли мы из музея вон. Он молчит, я тоже, в душе у меня какой-то курятник нечищеный, и таким манером пришли мы к нему в кабинет. Он уселся в свое кресло перед экранами, вынул из воздуха бокал со своей любимой шипучкой, стал тянуть через соломинку, а сам смотрит как бы сквозь меня. В кабинете у него, кроме этих экранов и ненормального количества книг, ничего, в общем-то, и нет. Даже стола у него нет, до сих пор не могу понять, что он делает, когда ему какую-нибудь бумагу надо, скажем, подписать. И нет у него в кабинете ни картин, ни фотографий, ни украшений каких-нибудь. А ведь он богатый человек, мог бы себе позволить. Я бы на его месте, если, скажем, наличности не хватает, шкуру бы эту изумрудную загнал, слуг бы нанял, статуй бы везде расставил, ковры бы навесил — знай наших... Правда, что с него взять — холостяк. А может быть, ему и по должности не положено

роскошествовать. Что я о его должности знаю? Ничего. То-то он музей в подвале держит...

— Слушай, Гаг, — говорит он вдруг, — а ведь тебе, наверное, скучно здесь, а?

Застал он меня этим вопросом врасплох. Кто его знает, как тут надо отвечать. Да и вообще — откуда я знаю, скучно мне здесь или нет? Тоскливо — это да. Неуютно — да. Места себе не нахожу — да. А скучно?.. Вот человеку в окопе под обстрелом — скучно? Ему, ребята, скучать некогда. И мне здесь скучать пока некогда.

— Никак нет, — говорю. — Я свое положение понимаю.

— Ну и как же ты его понимаешь?

— Всецело нахожусь в вашем распоряжении.

Он усмехнулся.

— В моем распоряжении... Ладно, не будем об этом. Я, как видишь, не могу уделять тебе все свое время. Да ты, по-моему, к этому и не стремишься особенно. Стараешься держаться от меня подальше...

— Никак нет, — возражаю я вежливо. — Никогда не забуду, что вы мой спаситель.

— Спаситель? Гм... До спасения еще далеко. А вот не хочешь ли ты познакомиться с одним интересным субъектом?

У меня сердце екнуло.

— Как прикажете, — говорю.

Он подумал.

— Пожалуй, прикажу, — сказал он, поднимаясь. — Пожалуй, это будет полезно.

И с этими непонятными словами подошел он к дальней стене, что-то там сделал, и стена раскрылась. Я глянул и попятился. Что стены у них здесь поминутно раскрываются и закрываются — к этому я уже привык, и это мне уже надоело. Но ведь я что думал? Думал, он меня с этим математиком хочет познакомить, а там — змеиное молоко! — стоит там, ребята, этакий долдон в два с половиной метра ростом, плечищи, ручищи, шеи нет совсем, а морда закрыта как бы забралом, частой такой матовой решеткой, а по сторонам головищи торчат то ли фары, то ли уши. Я честно скажу: не будь я в мундире, я бы удрал без памяти. Честно. Я бы и в мундире удрал, да ноги отнялись. А тут этот долдон вдобавок еще произносит густым басом:

— Привет, Корней.

— Привет, Драмба, — говорит ему Корней. — Выходи.

Тот выходит. И опять — чего я ожидал? Что от его шагов весь дом затрясется. Чудище ведь,

статуя! А он вышел, как по воздуху выплыл. Ни звука, ни шороха — только что стоял в нише, а теперь стоит посередине комнаты и эти свои уши-фары на меня навел. Я чувствую: за лопатками у меня стена, и отступать дальше некуда. А Корней смеется, бродяга, и говорит:

— Да ты не трусь, не трусь, Бойцовый Кот! Это же робот! Машина!

Спасибо, думаю. Легче мне стало оттого, что это машина, как же!

— Таких мы теперь больше не делаем, — говорит Корней, поглаживая долдона по локтю и сдувая с него какие-то там пылинки. — А вот мой отец с такими хаживал и на Яйлу, и на Пандору. Помнишь Пандору, Драмба?

— Я все помню, Корней, — басит долдон.

— Ну вот, познакомьтесь, — говорит Корней. — Это — Гаг, парень из преисподней. На Земле новичок, ничего здесь не знает. Переходишь в его распоряжение.

— Жду ваших приказаний, Гаг, — басит долдон и как бы в знак приветствия поднимает широченную свою ладонь под самый потолок.

В общем, все кончилось благополучно. А глубокой ночью, когда дом спал, я прокрался в тот самый коридор и под математическими форму-

лами написал: «Кто ты, друг?»

Глава четвертая

Когда они вышли к заброшенной дороге, солнце уже поднялось высоко над степью. Роса высохла, жесткая короткая трава шуршала и похрустывала под ногами. Мириады кузнечиков звенели и кричали вокруг, острый горький запах поднимался от нагретой земли.

Дорога была странная. Совершенно прямая, она выходила из-за мутно-синего горизонта, рассекала круг земли напополам и уходила снова за мутно-синий горизонт, туда, где круглые сутки, днем и ночью, что-то очень далекое и большое невнятно вспыхивало, мерцало, двигалось, вспучивалось и опадало. Дорога была широкая, она матово отсвечивала на солнце, и полотно ее как бы лежало поверх степи массивной, в несколько сантиметров толщиной, закругленной на краях полосой какого-то плотного, но не твердого материала. Гаг ступил на нее и, удивляясь неожиданной упругости, несколько раз легонько подпрыгнул на месте. Это, конечно, не был бетон, но это не был и прогретый солнцем асфальт. Что-то вроде очень плотной резины. От этой резины шла прохлада, а не душный зной раскаленного

покрытия. И на поверхности дороги не было видно никаких следов, даже пыли не было на ней. Гаг наклонился и провел рукой по гладкой, почти скользкой поверхности. Посмотрел на ладонь. Ладонь осталась чистой.

— Она сильно усохла за последние восемьдесят лет, — прогудел Драмба. — Когда я видел ее в последний раз, ее ширина была больше двадцати метров. И тогда она еще двигалась.

Гаг соскочил на землю.

— Двигалась? Как двигалась?

— Это была самодвижущаяся дорога. Тогда было много таких дорог. Они опоясывали весь Земной шар, и они текли — по краям медленнее, в центре очень быстро.

— У вас не было автомобилей? — спросил Гаг.

— Были. Я не могу вам сказать, почему люди увлеклись созданием таких дорог. Я имею только косвенную информацию. Это было связано с очищением среды. Самодвижущиеся дороги очищали. Они убирали из атмосферы, из воды, из земли все лишнее, все вредное.

— А почему она сейчас не движется? — спросил Гаг. — Ты не можешь ее включить?

— Нет. Дороги управлялись из специальных центров. Самый близкий был довольно далеко

отсюда. Но, наверное, этих центров больше нет. Стали не нужны. Я вижу, все очень изменилось. Раньше на этой дороге были толпы людей. Теперь никого нет. Раньше в этом небе в несколько горизонтов шли, шли, шли потоками летательные аппараты. Теперь в небе пусто. Раньше по обе стороны от дороги стояла пшеница в мой рост. Теперь это степь.

Гаг слушал, приоткрыв рот.

— Раньше через мои рецепторы, — продолжал Драмба монотонным голосом, — во всем диапазоне ежесекундно проходили сотни радиоимпульсов. Теперь я не ощущаю ничего, кроме атмосферных разрядов. Сначала мне показалось даже, что я заболел. Но теперь я знаю: я прежний. Изменился мир.

— Может быть, мир заболел? — спросил Гаг живо.

— Не понимаю, — сказал Драмба.

Гаг отвернулся и стал смотреть туда, где горизонт вспыхивал и шевелился. «Черта с два, — угрюмо подумал он. — Как же, заболеют они!»

— А там что? — спросил он.

— Там Антонов, — ответил Драмба. — Это город. Восемьдесят лет назад его не было видно отсюда. Это был сельскохозяйственный город.

— А сейчас?

— Не знаю. Я все время вызываю Информаторий, но мне никто не отвечает. Изменились средства связи, Гаг. Все изменилось.

Гаг смотрел на загадочное мерцание, и вдруг из-за горизонта возникло что-то невероятно огромное, похожее на косой парус невообразимых размеров, почти такое же серо-голубое, как небо, может быть — чуть темнее, медленно и величественно описало дугу, словно стрелка часов прошла по циферблату, и снова скрылось, растворилось в туманной дымке. Гаг перевел дух.

— Видел? — спросил он шепотом.

— Видел, — сказал Драмба удрученно. — Не знаю, что это такое. Раньше такого не было.

Гаг зябко передернул плечами.

— Толку от тебя... — проворчал он. — Ладно, пошли домой.

— Вы хотели посетить ракетодром, — напомнил Драмба.

— Господин! — резко сказал Гаг.

— Не понимаю...

— Когда обращаешься ко мне, изволь добавлять «господин»!

— Понял, господин.

Некоторое время они шли молча. Кузнечики

сухими брызгами разлетались из-под ног. Гаг искоса поглядывал на бесшумного колосса, который плавно покачивался рядом с ним. Он вдруг заметил, что около Драмбы, совсем как давеча около дороги, держится своя атмосфера — свежести и прохлады. Да и сделан был Драмба из чего-то похожего: такой же плотно-упругий, и так же матово отсвечивали кисти его рук, торчащие из рукавов синего комбинезона. И еще Гаг заметил, что Драмба все время держится так, чтобы быть между ним и солнцем.

— Ну-ка расскажи еще раз про себя, — приказал Гаг.

Драмба повторил, что он — робот-андроид номер такой-то из экспериментальной серии экспедиционных роботов, сконструирован тогда-то (около ста лет назад — ничего себе старикашечка!), задействован тогда-то. Работал в таких-то экспедициях, на Яйле претерпел серьезную аварию, был частично разрушен; реконструирован и модернизирован тогда-то, но больше в экспедициях не участвовал...

— В прошлый раз ты говорил, что пять лет простоял в музее, — прервал его Гаг.

— Шесть лет, господин. В Музее истории открытий в Любеке.

— Ладно, — проворчал Гаг. — А потом восемьдесят лет ты торчал в этой нише у Корнея...

— Семьдесят девять, господин.

— Ладно-ладно, нечего меня поправлять... — Гаг помолчал. — Скучно, наверное, было стоять?

— Я не знаю, что такое «скучно», господин.

— Ну а что ты там делал?

— Стоял, ждал приказаний, господин.

— Приказаний... Но ты хоть рад сейчас, что тебя выпустили?

— Не понимаю вопроса, господин.

— Экая дубина... Впрочем, это никого не интересует. Ты мне лучше вот что скажи. Чем ты отличаешься от людей?

— Я всем отличаюсь от людей, господин. Химией, принципом системы управления и контроля, назначением.

— Ну и какое у тебя, у дубины, назначение?

— Выполнять все приказания, которые я способен выполнить.

— Хе!.. А у людей какое назначение?

— У людей нет назначения, господин.

— Долдон ты, парень! Деревня. Что бы ты понимал в настоящих людях?

— Не понимаю вопроса, господин.

— А я тебя ни о чем и не спрашиваю пока.

Драмба промолчал.

Они шагали через степь, все больше уклоняясь от прямой дороги к дому, потому что Гагу стало вдруг интересно посмотреть, что за сооружение торчит на небольшом холме справа. Солнце было уже высоко, над степью дрожал раскаленный воздух, душный острый запах травы и земли все усиливался.

— Значит, ты готов выполнить любое мое приказание? — спросил Гаг.

— Да, господин. Если это в моих силах.

— Ну, хорошо... А если я прикажу тебе одно, а... м-м-м... кто-нибудь еще — совсем противоположное? Тогда что?

— Не понял, кто отдает второе приказание.

— Ну... м-м-м... Да все равно кто.

— Это не все равно, господин.

— Ну, например, Корней...

— Я выполню приказ Корнея, господин.

Некоторое время Гаг молчал. «Ах ты, скотина, — думал он. — Дрянь этакая».

— А почему? — спросил он наконец.

— Корней старше, господин. Индекс социальной значимости у него гораздо выше.

— Что еще за индекс?

— На нем больше ответственности перед об-

ществом.

— А ты откуда знаешь?

— Уровень информированности у него значительно выше.

— Ну и что же?

— Чем выше уровень информированности, тем больше ответственности.

«Ловко, — подумал Гаг. — Не придерешься. Все верно. Я здесь как дитя малое. Ну, мы еще посмотрим...»

— Да, Корней — великий человек, — сказал он. — Мне до него, конечно, далеко. Он все видит, все знает. Вот мы сейчас идем с тобой, болтаем, а он небось каждое наше слово слышит. Чуть что не так, он нам задаст...

Драмба молчал. Шут его знает, что происходило в его ушастой башке. Морды, можно сказать, нет, глаз нет — ничего не понять. И голос все время одинаковый...

— Правильно я говорю?

— Нет, господин.

— Как так — нет? По-твоему, Корней может чего-нибудь не знать?

— Да, господин. Он задает вопросы.

— Сейчас, что ли?

— Нет, господин. Сейчас у меня с ним нет свя-

зи.

— Что же он, по-твоему, не слышит, что ты сейчас говоришь? Или что я тебе говорю? Да он, если хочешь знать, даже наши мысли слышит! Не то что разговоры...

— Понял вас, господин.

Гаг посмотрел на Драмбу с ненавистью.

— Что ты понял, раздолбай?

— Понял, что Корней располагает аппаратурой для восприятия мыслей.

— Кто тебе сказал?

— Вы, господин.

Гаг остановился и плюнул в сердцах. Драмба тоже сейчас же остановился. Эх, садануть бы ему промеж ушей, да ведь не достанешь. Это надо же, какая дубина! Или притворяется? Спокойнее, Кот, спокойнее! Хладнокровие и выдержка.

— А до меня ты этого не знал, что ли?

— Нет, господин. Я ничего не знал о существовании такой аппаратуры.

— Так ты что же, дикобраз, хочешь сказать, что такой великий человек, как Корней, не видит нас сейчас и не слышит?

— Прошу уточнить: аппаратура для восприятия мыслей существует?

— Откуда я знаю? Да и не нужно аппаратуры!

Ты ведь умеешь передавать изображение, звук...

— Да, господин.

— Передаешь?

— Нет, господин.

— Почему?

— Не имею приказа, господин.

— Хе... Приказа не имеешь, — проворчал Гаг. — Ну, чего встал? Пошли!

Некоторое время они шли молча. Потом Гаг сказал:

— Слушай, ты! Кто такой Корней?

— Не понимаю вопроса, господин.

— Ну... какая у него должность? Чем он занимается?

— Не знаю, господин.

Гаг снова остановился.

— То есть как это не знаешь?

— Не имею информации.

— Он же твой хозяин! Ты не знаешь, кто твой хозяин?

— Знаю.

— Кто?

— Корней.

Гаг стиснул зубы.

— Странно как-то у тебя получается, Драмба, дружок, — сказал он вкрадчиво. — Корней — твой

хозяин, ты у него восемьдесят лет в доме и ничего о нем не знаешь?

— Не так, господин. Мой первый хозяин — Ян, отец Корнея. Ян передал меня Корнею. Это было тридцать лет назад, когда Ян удалился, а Корней выстроил дом на месте лагеря Яна. С тех пор Корней мой хозяин, но я с ним никогда не работал и потому не знаю, чем он занимается.

— Угу... — произнес Гаг и двинулся дальше. — Значит, ты про него вообще ничего не знаешь?

— Это не так. Я знаю про него очень много.

— Рассказывай, — потребовал Гаг.

— Корней Янович. Рост — сто девяносто два сантиметра, вес по косвенным данным — около девяноста килограммов, возраст по косвенным данным — около шестидесяти лет, индекс социальной значимости по косвенным данным — около ноль девять...

— Подожди, — ошеломленно сказал Гаг. — Заткнись на минутку. Ты о деле говори, что ты мне бубнишь!

— Не понял приказа, господин, — немедленно откликнулся Драмба.

— Н-ну... например, женат или нет, какое образование... дети... Понял?

— Сведений о жене Корнея не имею. Об обра-

зовании — тоже. — Робот сделал паузу. — Имею информацию о сыне: Андрей, около двадцати пяти лет.

— О жене ничего не знаешь, а о сыне, выходит, знаешь?

— Да, господин. Одиннадцать лет назад получил приказ перейти в распоряжение подростка, по косвенным сведениям четырнадцати лет, которого Корней называл «сын» и «Андрей». Находился в его распоряжении четыре часа.

— А потом?

— Не понял вопроса, господин.

— Потом ты его видел когда-нибудь?

— Нет, господин.

— Поня-атно, — задумчиво произнес Гаг. — Ну и чем вы с ним занимались эти четыре часа?

— Мы разговаривали. Андрей расспрашивал меня о Корнее.

Гаг споткнулся.

— Что ты ему сказал?

— Все, что знал: рост, вес. Потом он меня прервал. Потребовал, чтобы я рассказал ему о работе Яна на других планетах.

Да-а. Такие, значит, дела. Ну, это нас не касается. Но какова дубина! Уж о доме его и спрашивать нечего, ясно, что ничего не знает. Все планы мои

разрушил, бродяга... Зачем же все-таки Корней мне его подсунул? Неужели я ошибаюсь? Вот дьявол, как же мне его проверить? Мне ведь шагу нельзя будет ступить, если я его не проверю!

— Напоминаю, — подал голос Драмба, — что вы намеревались отправиться домой.

— Ну, намеревался. А в чем дело?

— Мы все больше уклоняемся от оптимального курса, господин.

— Тебя не спросили, — сказал Гаг. — Я хочу посмотреть, что это там за штука на холме...

— Это обелиск, господин. Памятник над братской могилой.

— Кому? — с живостью спросил Гаг.

— Героям последней войны. Сто лет назад археологи обнаружили в этом холме братскую могилу.

Посмотрим, подумал Гаг и ускорил шаг. Дерзкая и даже страшная мысль пришла ему в голову. Рискованно, подумал он. Ох, сорвут мне башку! А за что? Откуда мне знать, что к чему? Я здесь человек новый, ничего этого не понимаю и не знаю... Да и не выйдет, наверное, ничего. Но уж если выйдет... Если выйдет — тогда верняк. Ладно, попробуем.

Холм был невысокий, метров двадцать — два-

дцать пять, и еще на столько же возвышалась над ним гранитная плита, отполированная до глади с одной стороны и грубо стесанная со всех остальных. На полированной поверхности вырезана была надпись — старинными буквами, которых Гаг не знал. Гаг обошел обелиск и вернулся в тень. Сел.

— Рядовой Драмба! — сказал он негромко.

Робот повернул к нему ушастую голову.

— Когда я говорю «рядовой Драмба», — по-прежнему негромко произнес Гаг, — надо отвечать: «Слушаю, господин капрал».

— Понял, господин.

— Не господин, а господин капрал! — заорал Гаг и вскочил на ноги. — Господин капрал, понял? Корыто деревенское!

— Понял, господин капрал.

— Не понял, а так точно!

— Так точно, господин капрал!

Гаг подошел к нему вплотную, подбоченился и снизу вверх уставился в непроницаемую матовую решетку.

— Я из тебя сделаю солдата, дружок, — произнес он ласково-зловещим голосом. — Как стоишь, бродяга? Смир-рна!

— Не понял, господин капрал, — монотонно

прогудел Драмба.

— По команде «смирно» надлежит сомкнуть пятки и развернуть носки, выпятив грудь как можно дальше вперед, прижав ладони к бедрам и оттопырив локти... Вот так. Неплохо... Рядовой Драмба, вольно! По команде «вольно» надлежит отставить ногу и заложить руки за спину. Так. Уши твои мне не нравятся. Уши можешь опустить?

— Не понял, господин капрал.

— Вот эти штуки свои, которые торчат, можешь опустить по команде «вольно»?

— Так точно, господин капрал. Могу. Но буду хуже видеть.

— Ничего, потерпишь... А ну-ка, попробуем... Рядовой Драмба, смирно! Вольно! Смирно! Вольно!..

Гаг вернулся в тень обелиска и сел. Да, таких бы солдат хотя бы взвод. На лету схватывает. Он представил себе взвод таких вот драмб на позиции у той деревушки. Облизнул сухие губы. Да, такого дьявола, наверное, ракетой не прошибешь. Я только вот чего все-таки не понимаю: думает этот долдон или нет?

— Рядовой Драмба! — гаркнул он.

— Слушаю, господин капрал.

— О чем думаешь, рядовой Драмба?

— Ожидаю приказания, господин капрал.

— Молодец! Вольно!

Гаг вытер пальцами капельки пота, выступившие на верхней губе, и сказал:

— Отныне ты есть солдат его высочества герцога Алайского. Я — твой командир. Все мои приказания для тебя закон. Никаких рассуждений, никаких вопросов, никакой болтовни! Ты обязан с восторгом думать о той минуте, когда наступит счастливый миг сложить голову во славу его высочества...

Болван, наверное, половины не понимает, ну да ладно. Важно вбить ему в башку основы. Дурь из него вышибить. А понимает он там или не понимает — дело десятое.

— Все, чему тебя учили раньше, забудь. Я твой учитель! Я твой отец и твоя мать. Только мои приказы должны выполняться, только мои слова могут быть для тебя приказом. Все, о чем я говорю с тобой, все, что я тебе приказываю, есть военная тайна. Что такое тайна — знаешь?

— Нет, господин капрал.

— Гм... Тайна — это то, о чем должны знать только я и ты. И его высочество, разумеется.

Крутовато я взял, подумал он. Рано. Деревня

ведь. Ну ладно, там видно будет. Надо его сейчас погонять. Пусть с него семь потов сойдет, с бродяги.

— Смир-рна! — скомандовал он. — Рядовой Драмба, тридцать кругов вокруг холма — бегом марш!

И рядовой Драмба побежал. Бежал он легко и как-то странно, не по уставу и вообще не полюдски — не бежал даже, а летел огромными скачками, надолго зависая в воздухе, и при этом по-прежнему держал ладони прижатыми к бедрам. Гаг, приоткрыв рот, следил за ним. Ну и ну! Это было похоже на сон. Совершенно бесшумный полубег-полулет, ни топота, ни хриплого дыхания, и не оступится ведь ни разу, а там же кочки, камни, норы... и ведь поставь ему на голову котелок с водой — не расплескает ни капли! Какой солдат! Нет, ребята, какой солдат!

— Быстрее! — гаркнул он. — Шевелись, тараканья немочь!

Драмба сменил аллюр. Гаг замигал: у Драмбы исчезли ноги. Вместо ног под совершенно вертикальным туловищем видно было теперь только туманное мерцание, как у пропеллера на больших оборотах. Земля не выдерживала, за гигантом потянулась, темнея и углубляясь на

глазах, взрытая борозда, и появился звук — шелестящий свист рассекаемого воздуха и дробный шорох оседающей земли. Гаг еле успевал поворачивать голову. И вдруг все кончилось. Драмба снова стоял перед ним по стойке «смирно» — неподвижный, огромный, дышащий прохладой. Будто и не бежал вовсе.

Да-а, подумал Гаг. С такого, пожалуй, сгонишь пот... Но в разум-то я его привел или нет? Ладно, рискнем. Он посмотрел на обелиск. Гадко это, вот что. Солдаты ведь лежат... Герои. За что они там дрались, с кем дрались — этого я толком не понял, но как они дрались — я видел. Дай бог нам всем так драться в наш последний час. Ох, не зря Корней показал мне эти фильмы. Ох, не зря... В душе у Гага шевельнулся суеверный ужас. Неужели этот лукавый Корней еще тогда предвидел такую вот мою минуту? Да нет, ерунда, ничего он не мог предвидеть, не господь же он бог все-таки... Просто хотел тоненько мне намекнуть, с чьими потомками я имею дело... А они здесь лежат. Сколько веков уже они здесь лежат, и никто их не тревожил. Будь они живы — не допустили бы, шуганули бы меня отсюда... Ну ладно, а если бы это были крысоеды? Нет, пожалуй, все равно гадко... И потом, что за ерунда: крысоеды — трусы,

вонючки. А это же солдаты были, я же своими глазами видел! Тьфу, пропасть, даже тошнит... А если бы здесь Гепард стоял рядом? Доложил бы я ему свое решение — что бы он мне сказал? Не знаю. Знаю только, что его бы тоже замутило. Тут бы всякого замутило, если он, конечно, человек, а не мешок с навозом. Да только мало ли от чего солдата мутит? Кишки с шоссе соскребать — тоже мутило... Нет, Кот, кишки — это другое дело. Здесь — символ! Честь!

Он посмотрел на Драмбу. Драмба стоял по стойке «смирно», равнодушно поводя глазами-ушами. А что мне остается-то? Мыслишка-то правильная! Гаденькая — не спорю. Скользкая. Другому и в другое время я бы за такую мыслишку сам по рылу бы дал. А мне деваться некуда. Мне такой случай, может, никогда больше не представится. Сразу все проверю. И этого дурака проверю, и насчет наблюдения... Тут в том-то все и дело, что гадко. Тут бы никто не удержался, сразу бы за руку меня схватил, если бы мог. Ладно, хватит слюни распускать. Я это не для собственного удовольствия затеваю. Я не паразит какой-нибудь. Я — солдат и делаю свое солдатское дело как умею. Простите меня, братья-храбрецы. Если можете.

— Рядовой Драмба! — произнес он дребезжа-

щим голосом.

— Слушаю, господин капрал.

— Приказ! Повалить этот камень! Выполняй!

Он отскочил в сторону, не чуя под собой ног. Если бы здесь был окоп, он прыгнул бы в окоп.

— Живо! — завизжал он, срывая голос.

Когда он разжмурился, Драмба уже стоял, наклонившись, перед обелиском. Огромные руки-лопаты скользнули по граниту и погрузились в пересохшую землю. Гигантские плечи зашевелились. Это длилось секунду. Робот замер, и Гаг вдруг с ужасом увидел, что его могучие ноги как бы оплывают, укорачиваются на глазах, превращаясь в короткие, толстые, расплющенные внизу тумбы. А потом холм дрогнул. Послышался пронзительный скрип, и обелиск едва заметно накренился. И тогда Гаг не выдержал.

— Стой! — заорал он. — Отставить!

Он кричал еще что-то, уже не слыша самого себя, ругаясь по-русски и по-алайски, никакой нужды не было в этом крике, и он уже понимал это и все-таки кричал, а Драмба стоял перед ним по стойке «смирно», монотонно повторяя: «Слушаю, господин капрал, слушаю, господин капрал...»

Потом он опомнился. Саднило в глотке, все тело

болело. Спотыкаясь, он обошел обелиск кругом, трогая гранит дрожащими пальцами. Все было как прежде, только у основания, под непонятной надписью, зияли две глубокие дыры, и он принялся судорожно забивать в них землю каблуками.

Глава пятая

Всю ночь я не мог заснуть. Крутился, вертелся, курил, в сад высовывался для прохлаждения. Нервы, видимо, разгулялись после всего. Драмба торчал в углу и светился в темноте. В конце концов я его выгнал — просто так, чтобы злость сорвать. В голову лезла всякая чушь, картинки всякие, не относящиеся к делу. А тут еще эта койка подлая — я ее засек, что она норовит все время превратиться в этакое мягкое ложе, на каких здесь все, наверное, спят, да еще, подлюга, посягает меня укачивать. Как младенца.

Вообще-то не в том беда, что я заснуть не мог, — я по трое суток могу не спать, и ничего со мной не делается. А главное, что я думать не мог по-человечески. Ничего не соображал. Добился я вчера своего или не добился? Могу я Драмбе теперь доверять или нет? Не знаю. Следит за мной Корней или нет? Опять же не знаю. Вчера после ужина заглянул я к нему в кабинет. Сидит он перед своими экранами, на каждом экране — по рылу, а то и по два, и он со всеми этими рылами разговаривает. Меня как ножом ткнули. Представил я себе, как бешусь там на холме, истерику закатываю, а он

сидит себе здесь в прохладе, смотрит на все это через экран и хихикает. Да еще, может быть, Драмбе радирует: валяй, мол, разрешаю... Нет, про себя я точно знаю, что я бы так не мог. Чтобы на моих глазах оскверняли святыню моего народа, а я бы при этом хихикал и на экранчик смотрел — нет, у меня бы так не получилось. Я вам не крысоед.

Но ведь и Корней вроде бы не крысоед! Я всяких крысоедов насмотрелся, и алайских наших, и имперских, а такого видеть не приходилось. А с другой стороны, что я о нем знаю? Мягко стелет, сладко кормит... больше ведь ничего. А если у него такое задание, сказано ему: любой, мол, ценой... Не знаю, не знаю. Давеча, когда я вернулся, он меня сначала встретил как всегда, потом присмотрелся, насторожился и принялся расспрашивать, что да как. Отец родной, да и только. Я ему опять соврал, что башка болит. От степных запахов. Но он, по-моему, мне не поверил. Виду не подал, конечно, но не поверил. А я весь вечер за ним следил: будет он Драмбу допрашивать или нет. Нет, не допрашивал. Даже не поглядел на него... Ох, ребята, бедная моя голова! Хоть ложись на спинку, и пусть несет, куда несет.

Так промаялся я до самого рассвета. Ложился, вскакивал, кружил по комнате, опять ложился,

в окно высовывался, башку в сад свешивал, и в конце концов меня, видно, сморило — задремал я, положив ухо на подоконник. Проснулся весь в поту и сразу услышал это самое хриплое мяуканье — мрррряу-мрряу-мрряу, — словно самого дьявола ангелы небесные душат голыми руками в преисподней, и мне в лицо из сада фукнуло горячим, как бы шипучим ветром. Я еще глаз как следует не разлепил, а уже сижу на полу, рукой шарю автомат и высматриваю поверх подоконника, как из-за бруствера. И в этот раз я все увидел, как это у них делается, с самого начала и до самого конца.

Над моей круглой поляной, правей бассейна, загорелась в сумерках яркая точка, и потек от нее вниз и в стороны словно бы жидкий лиловый свет, еще прозрачный, еще кусты сквозь него видно, а он все течет, течет и вот уже заполнил здоровенный такой конус вроде химической банки в четыре метра высотой, заполнил и тут же стал отвердевать, остывать, меркнуть, и вот уже стоит на поляне ихний звездолет класса «призрак», каким я его увидел в первый раз. И тишина. Первобытная. Даже птицы замолчали. Над поляной — рассветное серо-голубое небо, вокруг поляны — черные кусты и деревья, а посередине поляны — это серебристое чудище, и никак я не

могу понять, то ли оно живое, то ли оно вещь.

Потом что-то слабо треснуло, раскрылась в нем черная пасть, звякнуло, зашипело, и выбрался оттуда человек. То есть это я сначала подумал, что человек: руки у него были, ноги. Голова. Весь он был какой-то черноватый, что ли... либо закоптило его, либо обгорел... и весь он был обвешан оружием. Я такого оружия, ребята, никогда не видывал, но с первого взгляда мне ясно стало, что это именно оружие. Оно свисало у него с обоих плеч и с пояса и лязгало и брякало на каждом шагу. По сторонам он не глядел, а двинулся прямо к крыльцу, как в собственный дом, и шагал как-то странно, но я не сразу понял, в чем тут дело, потому что глаз не мог оторвать от его лица. Оно у него тоже было черноватое, обгорелое, блестело и отсвечивало, и вдруг он поднял обе руки и принялся его с себя сдирать, как маску, — да это, видно, и была маска, потому что он в две секунды с нею управился и с размаху шмякнул ее оземь. И тут меня прошибло потом в другой раз, потому что под этим черноватым, обгорелым, липким и лакированным у него оказалось второе лицо, уже не человеческое — белое, как камень, безносое, безгубое, а глаза — как плошки и светятся. Я на это лицо только взглянул и сразу понял: не могу.

Стал глядеть ему на ноги — еще хуже. У него ведь почему такая странная походка была? Он по этой густой траве, по твердой земле шел, как мы с вами шли бы по зыбучему песку или, скажем, по трясине — на каждом шагу проваливался по щиколотку, а то и глубже. Не держала его земля, подавалась...

У крыльца он приостановился на секунду и разом стряхнул с себя всю свою амуницию. Залязгала она, загрохотала, а он шагнул в дверь — и снова тишина. И пусто. Как в бреду. И звездолета уже нет, словно и не было никогда. Только черные дыры от поляны до дома да груда невиданного оружия у крыльца. Все.

Очень мне захотелось протереть глаза, ущипнуть себя за ляжку и все такое, но я этого делать не стал. Я ведь Бойцовый Кот, ребята. Я весь этот бред от себя отмел. Не впервой. Я только главное оставил: оружие! Впервые я здесь увидел оружие. Я даже одеваться не стал — как был, в одних трусах, махнул через подоконник со второго этажа.

Роса была обильная, ноги мои моментально стали мокрые выше колен, и продрал меня озноб — то ли от этой сырости, то ли, опять же, от нервов. Около крыльца я присел на корточки и прислушался. Тихо, по-нормальному тихо, по-

утреннему. Птички завозились, сверчок какой-то заскрипел. Мне до этого дела не было, я ждал голоса услышать. Нет, не слышно голосов. В этом доме ведь всегда так: не должно быть голосов — галдят, бормочут, переругиваются, причем кто — неизвестно, потому что Корнея в доме нет, шляется где-то, беса тешит. А вот когда, как сейчас, должны люди — или даже пусть не совсем люди, — но должны же они здороваться, друг друга по спинам хлопать, восклицать что-нибудь приветственное! Нет, тут у них будет тишина. Могила. Ладно.

И вот сижу я на корточках и смотрю на эти штучки, которые передо мной лежат, даже на вид тяжеленные, гладкие, масленые, надежные. Никогда я таких не видел ни на картинках, ни в кино. Большой, видно, убойной силы аппараты, да вот беда, непонятно, с какой стороны к ним подступиться, за какое место их брать и на что в них нажимать. И даже прикасаться к ним как-то боязно: того и гляди — ахнет, костей не соберешь.

В общем, я растерялся, и это было плохо, потому что на самом-то деле мне следовало бы сразу ухватить что-нибудь и рвать когти. Ну, Гаг, давай! Давай быстро! Вот эту коротышку: ствол есть,

вместо дула, правда, стекляшка какая-то, зато и рукоятка вроде бы есть, два плоских магазина по сторонам ствола торчат... Все. Нет у меня больше времени. Потом разберусь. Протянул я руку и осторожно взялся за рукоятку. И тут произошла со мной странная вещь.

Взялся я, значит, за рукоятку. Рубчатая такая, теплая. Пальцы сомкнул. Тяну на себя. Осторожно, чтобы не брякнуло. Тяжесть даже почувствовал. А в кулаке — ничего. Сижу, как пьяный, гляжу на пустой кулак, а машинка эта как лежала на ступеньке, так и лежит. Я сгоряча ее хвать поперек — и опять под пальцами металл, твердое, тяжелое. Рванул на себя — опять ничего.

И захотелось мне тут заорать во весь голос. Еле сдержался. Посмотрел на ладонь — ладонь в масле. Вытер ее о траву, поднялся. Разочарование, конечно, страшное. Все у них учтено, все рассчитано и предусмотрено, у гадов. Перешагнул я через эту груду бесполезного для меня железа и пошел в дом. Вижу: в холле, в углу, торчит Драмба. Зашевелил своими ушами, уставился, а мне на него и смотреть было противно. И уже хотел я подняться к себе, как вдруг подумал: а что, если... В конце концов, не все ли равно, у кого в руках будет машинка, у меня или у этого долдона?

— Рядовой Драмба, — сказал я негромко.

— Слушаю, господин капрал, — отозвался он как положено.

— А ну-ка, иди за мной.

Вышли мы обратно на крыльцо. Оружие лежит, никуда не делось.

— Подай мне вот эту, крайнюю, — говорю. — Только осторожно.

— Не понял, господин капрал, — гудит эта дубина.

— Чего ты не понял?

— Не понял, что именно приказано подать.

Провались ты! Мне-то откуда знать, как это называется?

— Как называются эти предметы? — спрашиваю.

Драмба заработал ушами и рапортует:

— Трава, господин капрал. Ступени...

— А на ступенях? — спрашиваю я и чувствую, что меня мороз по коже начинает продирать.

— На ступенях пыль, господин капрал.

— А еще?

Впервые Драмба промедлил с ответом. Долго молчал. У него, видно, тоже шестеренка за шестеренку зашла, как и у меня.

— Еще на ступеньках имеются: господин ка-

прал, рядовой Драмба, четыре муравья... — Он снова помедлил. — А также всевозможные микроорганизмы.

Он их не видел! Понимаете? Не видел! Микроорганизмы он видел, а железяки эти метровой длины видеть ему было не положено. Ему их видеть не положено, а мне — брать. Все, все предусмотрели! И тут я с досады, не сообразив, маханул босой ногой по самой здоровенной железяке, что на крыльце валялась. Взвыл я, палец отшиб начисто, ноготь сломал. А железяка как лежала, так и осталась лежать. Все. Это уже было последней каплей. Захромал я к себе, зубами скриплю, чуть не плачу, кулаки стиснул. Пришел, повалился на койку, и взяло меня отчаяние, какого не испытывал я аж с того дня, когда пришел на побывку домой и увидел, что не то что дома моего — всего квартала нет, одни горелые кирпичи громоздятся и душит гарью. Почудилось мне в эти черные минуты, что никуда я не годен, ничего я не могу здесь сделать, в этом сытом и лукавом мире, где каждый мой шаг рассчитан и предусмотрен на сто лет вперед. И вполне может быть, что каждое мое действие, какое я еще только собираюсь совершить, они уже знают, как пресечь и обратить себе на пользу.

И чтобы разогнать мрак, я стал вспоминать самое светлое, самое счастливое, что было в моей жизни, и вспомнил тот морозный ясный день, столбы дыма, которые поднимались в зеленое небо, и треск пламени, пожирающего развалины, серый от сажи снег на площади, окоченевшие трупы, изуродованный ракетомет в огромной воронке... а герцог идет вдоль нашей шеренги, мы еще не успели остыть, глаза еще заливает пот, ствол автомата обжигает пальцы, а он идет, тяжело опираясь на руку адъютанта, и снег скрипит под его мягкими красными сапожками, и каждому из нас он внимательно заглядывает в глаза и говорит негромко слова благодарности и ободрения. А потом он остановился. Прямо передо мной. И Гепард, которого я не видел, — я никого не видел, кроме герцога, — назвал мое имя, и герцог положил мне руку на плечо и некоторое время смотрел мне прямо в глаза, и лицо у него было желтое от усталости, иссеченное глубокими морщинами, а вовсе не гладкое, как на портретах, веки красные и воспаленные, и мерно двигалась тяжелая, плохо выбритая челюсть. И все еще держа свою правую руку у меня на плече, он поднял левую и щелкнул пальцами, и адъютант поспешно вложил в эти пальцы черный кубик, а я все

еще не верил своему счастью, не мог поверить, но герцог произнес низким хриплым голосом: «Открой пасть, Котенок...» — и я зажмурился и открыл рот изо всех сил, почувствовал на языке шершавое и сухое и стал жевать. Волосы встали дыбом у меня под каской, из глаз покатились слезы. Это был личный его высочества жевательный табак пополам с известью и сушеной горчицей, а герцог хлопал меня по плечу и говорил растроганно: «О эти сопляки! Мои верные, непобедимые сопляки!..»

И тут я поймал вдруг себя на том, что улыбаюсь во всю морду. Не-ет, господа, еще не все кончено. Верные, непобедимые сопляки не подведут. Не подводили там, не подведут и здесь. Повернулся я на бок и заснул, чем и кончилось это мое приключение.

Это кончилось, зато другие начались, потому что тихий наш домик вдруг зашевелился. Раньше было как? Позавтракаем мы с Корнеем, потреплемся минут двадцать о том о сем, и все, до самого обеда я один. Хочешь — спи, хочешь — книжки читай, хочешь — голоса в доме слушай. А тут — не знаю, то ли кто-то этот ихний гадючник разворошил, то ли у них передышка какая кончилась, но только стало в нашем домике тесно.

А началось все с того, что отправился я в тот коридор посмотреть, как там моя переписка. Честно говоря, ничего нового я увидеть не ожидал, однако смотрю — хо! — отозвался мой математик. Прямо под моим вопросом теми же аккуратными меленькими буковками было выведено: «Твои друзья в аду». Вот тебе и на! Что же это получается? «Кто ты, друг?» — «Твои друзья в аду». Значит, их тут несколько... Почему же не пишут, кто они? Боятся? И почему в аду? Нормальному человеку тут, конечно, несладко приходится, но — в аду... Я посмотрел на эту крашеную дверь. Может быть, там тюрьма? Или что-нибудь похуже? Что же вы, ребята, толком ничего не сумели написать? Не-ет, этот коридорчик надо взять под наблюдение. Но это потом, а что мне сейчас написать? Чтобы они сразу все про меня поняли... Ч-черт, математики этой я не знаю. Может быть, у них в этой формуле все зашифровано. Напишу-ка я им, кто я есть, чтобы они знали, с кем имеют дело и на что я годен. Напишу я им... Я достал припасенный огрызок карандаша и нацарапал печатными буквами: «Бойцовый Кот нигде не пропадет». Очень мне понравилось, как я это придумал. Любому ясно, что я — Кот, что я бодр и готов к действию. Парашютистов этих я в гробу видал, ничего они мне

здесь не сделают. А если это ловушка и затеял эту переписку Корней — что ж, пожалуйста, ничего такого я не написал.

Ладно. За коридорчиком этим мы понаблюдаем. А сейчас пришла пора посмотреть, что же у них за этой дверью. Недолго думая, взялся я за ручку и потянул ее на себя. Открылась. Я думал — там комната какая-нибудь будет, или коридор, или лестница... ну что у людей за дверями бывает? Так вот, там ничего этого не было. Камера там была. Три на три. Стены черные, матовые. В стене напротив торчит круглая красная кнопка. И все. Ничего больше в этой камере не было. Я когда эту камеру увидел, мне сразу расхотелось в нее заходить. Да ну их, думаю, к шутам, чего я в этом склепе не видел? Кнопок красных я не видел, что ли?

Стою я в нерешительности и вдруг слышу сзади — голоса. Близко. Можно сказать, рядом. Ну, думаю, кажется, влип. Захлопнул дверь, зубы стиснул, оборачиваюсь. Переднему по горлу и — в сад, думаю, а там ищи меня, свищи...

Но оказалось, что это не парашютисты. Выворачивает в коридор из-за угла какой-то человек с тележкой, с этакой платформой на колесиках. Я засунул руки в карманы и этакой ленивой похо-

дочкой двинулся навстречу. Коридор широкий, разминемся спокойно. А он уже близко со своей тележкой. Глянул на него — змеиное молоко! — черный! Мне сперва даже показалось, что у него вообще головы нет, потом, конечно, присмотрелся и вижу: есть голова. Но черная. То есть вся черная! Не только волосы, но и щеки, уши, лоб, а губы красные, толстые, белки глаз так и сверкают, и зубы тоже. Это с какой же планеты его занесло сюда такого? Я прижался к стене, уступая дорогу изо всех сил, — проходи, мол, не задерживайся, только не трогай... Не тут-то было. Конечно же, он вместе со своей тележкой останавливается около меня, ослепляет меня своими белками и зубами и хриплым нутряным голосом произносит:

— По-моему, это типичный алаец...

Я сглотнул, киваю.

— Так точно, — говорю. — Алаец я.

И он начинает говорить со мной по-алайски, но уже не хриплым басом, а приятным таким, нормальным голосом — тенором или, я не знаю там, баритоном.

— Ты, — говорит, — наверное, Гаг. Бойцовый Кот.

— Так точно, — говорю.

— Ты, — спрашивает, — из Центра сейчас?

Ну что я ему отвечу?

— Н-никак нет, — говорю. — Я сам по себе...

Я уже разглядел его и вижу, что человек как человек. Ну, черный... Ну и что? У нас на островах голубые живут, и никто им в нос не тычет. Одет нормально, как все здесь одеваются, — рубашка навыпуск, короткие штаны. Только черный. Весь.

— Ты, может быть, Корнея ищешь? — спрашивает он.

Участливо так спрашивает. Совсем как Корней.

— Вид у тебя какой-то взъерошенный, — говорит.

— Да нет, — отвечаю я с досадой. — Это я вспотел просто. Жарко тут у вас...

— А-а... Так ты бы мундир свой снял, что ты в нем преешь... А Корнея ты пока лучше не ищи, Корней сейчас занят до предела...

Чисто так говорит по-алайски, между прочим, грамотно, и выговор у него такой столичный, с придыханием. Стильно говорит. Ну, объясняет он мне что-то про Корнея, где сейчас Корней и чем он занимается, а я все поглядываю на его тележку и, честно вам скажу, ребята, ничего уже не слышу, что он там мне говорит.

Значит, так. Ну, тележка — она тележка и есть,

не в тележке дело. А вот на этой тележке лежит у него громадный, вроде бы кожаный мешок. Кожаный и снаружи как бы маслом облитый, коричневый такой, вроде как куртка бронеходчика. Сверху он, значит, гладкий, без единой морщинки, а внизу весь какой-то смятый, весь в бороздах и складках. И вот там, в этих самых бороздах и складках, я еще в самом начале заприметил какое-то движение. Сначала думал — показалось. Потом... В общем, там был глаз. Оторвите мне руки-ноги — глаз! Какая-то складка там раздвинулась тихонько, и глянул на меня большой круглый темный глаз. Печальный такой и внимательный. Нет, ребята, зря я в этот коридор сегодня пошел. Оно, конечно, Бойцовый Кот есть боевая единица сама в себе и так далее, но все-таки о таких встречах в уставе ничего не говорится...

Стою я, держусь за стенку и знай себе долблю: «Так точно... Так точно...» А сам думаю: увези ты это от меня, в самом деле, ну чего ты здесь встал? И понял мой черный, понял, что мне надобно передохнуть. Говорит хриплым басом:

— Привыкай, алаец, привыкай... Пойдемте, Джонатан!

А потом по-алайски нормальным голосом:

— Ну, будь здоров, брат-храбрец... Эк тебя скрутило. Да не трусь ты, не трусь, Бойцовый Кот! Это ведь не джунгли...

— Так точно, — сказал я в сто сорок восьмой раз.

Блеснул он своими белками и зубами на прощанье и двинулся с тележкой дальше по коридору. Поглядел я ему вслед — змеиное молоко! — тележка-то катится сама по себе, а он рядом с ней вышагивает сам по себе, совсем отдельно, и уже раздаются опять голоса: один, значит, хриплый бас, а другой — нормальный, но говорят они уже оба на каком-то неизвестном языке. И на лопатках у этого черного надпись полукругом: ГИГАНДА. Хороша встреча, а? Еще одна такая встреча, и я в собственные сапоги прятаться начну. «Привыкай, алаец, привыкай». Не знаю, может быть, я когда-нибудь и привыкну, но в ближайшие полста лет вы меня в этот коридор пряником не заманите... Досмотрел я, как они в этот склеп втиснулись, захлопнули за собой дверь, да и пошел от этого поганого места. Держась за стену.

С этого самого дня стало у нас в домике тесновато. Валят валом. Через нуль-кабину прибывают по двое, по трое. По ночам и особенно под утро от

«призраков» в саду сплошной мяв стоит. Некоторые вываливаются прямо из чистого неба — один в бассейн угодил, когда я утром купался, тоже устроил мне переживание. И все они к Корнею, и все они галдят на разных языках, и у всех у них дела, и у всех срочные. В холл выйдешь — галдят. В столовую придешь пищу принять — сидят по двое, по трое, кушают и опять же галдят, причем одни поели — другие откуда-то приходят... Я на это просто смотреть не мог: сколько они хозяйского добра даром переводят, хоть бы с собой приносили, что ли... Неужели не понимают, что на всех не напасешься? Совести у людей нет, вот что я вам скажу. Правда, надо им все-таки отдать справедливость. Все-таки мешков среди них с глазами я больше не заметил. Были среди них, конечно, довольно жуткие экземпляры, но чтобы совсем уж мешок — нет, таких больше не было. И на том спасибо. Я день терпел, два терпел, а потом от этого нашествия, честно скажу, ребята, просто сбежал. Возьмешь с утра Драмбу — и на пруды километров за пятнадцать от этого постоялого двора. Я там пруды нашел, роскошное место, камыши, прохлада, уток видимо-невидимо...

Конечно, может быть, я поступил неправильно, смалодушничал. Наверное, я должен был там

среди них тореться, подслушивать там, подсматривать, мотать на ус. Но ведь, ребята, я же старался. Сядешь где-нибудь в уголке в гостиной, рот раскроешь, уши развесишь — ни черта не понять. Галдят на непонятных языках, чертят какие-то кривые, мотают друг у друга перед носом какие-то рулоны голубой бумаги со значками, один раз даже карту империи вывесили, битый час по ней пальцами ползали... уж, казалось бы, чего проще — карта, а так я и не понял, чего они друг от друга добивались, чего не поделили... Одно я, ребята, понял: что-то у нас там происходит или вот-вот должно произойти. Потому весь этот гадючник и зашевелился.

Короче говоря, решил я предоставить инициативу противнику. Разобраться в обстановке я не умею, помешать им никак не могу, и остается мне рассуждать примерно так: раз они меня здесь держат — значит я им зачем-то нужен, а раз я им нужен, то что бы они там ни затевали, а рано или поздно ко мне обратятся. Вот тогда мы и посмотрим, как действовать. А пока будем на пруды ходить, Драмбу муштровать и ждать — может, что-нибудь подвернется.

И, между прочим, подвернулось.

Как-то раз иду я на завтрак. Смотрю — за сто-

лом Корней. И притом один. Я последние дни Корнея редко видел, да и то вокруг него всегда народ толокся. А тут сидит один, молоко пьет. Ну, поприветствовал я его, сажусь напротив. И странно мне как-то стало — соскучился я по нему, что ли? Тут все дело, наверное, было в его лице. Хорошее у него все-таки лицо. Есть в нем что-то очень мужественное и в то же время, наоборот, детское, что ли? В общем, лицо человека безо всяких тайных умыслов. Такому и не хочется верить, а веришь. Разговариваем мы с ним, а я все время себе напоминаю: осторожно, Кот, другом он тебе быть никак не может, не с чего ему быть твоим другом, а раз он не друг — значит, враг... И тут он вдруг говорит ни с того ни с сего:

— А почему ты, Гаг, мне вопросов не задаешь никогда?

Вот тебе и на — вопросов я ему не задаю. А где мне ему вопросы задавать, когда я целыми днями его не вижу? И что-то мне так горько стало и ужасно захотелось сказать ему прямо: «А чтобы вранья поменьше слушать, друг лукавый». Но я, конечно, этого не сказал. Пробормотал только:

— Почему же не задаю? Задаю...

— Понимаешь, — говорит он, и тон у него такой, будто он передо мной извиняется, — я ведь не

могу тебе длинные лекции читать. Во-первых, у меня времени на это нет, сам видишь. И хотел бы с тобой побольше времени проводить, да не могу. А во-вторых, лекции — это, по-моему, скучища. Какой интерес выслушивать ответы на вопросы, которых ты не задавал? Или ты, может, иначе считаешь?

Я растерялся, замычал что-то самому мне непонятное, и тут вваливаются в столовую двое, а за ними еще и третий. Сияют все трое, как начищенные медные чайники. И будто все втроем несут крошечную круглую коробочку и с этой коробочкой — прямиком к Корнею.

— Она? — говорит Корней, поднимаясь им навстречу.

— Она, — отвечают они чуть ли не хором и тут же замолкают.

Я давно заметил, что при Корнее они не галдят. При Корнее они держатся как положено. Корней, видно, шутить не любит.

Да. Уплетаю я какую-то вроде бы рыбу, запиваю горячим пойлом, а Корней эту коробочку берет двумя пальцами, открывает ее осторожно и вытягивает из нее узкую красную ленту. Эти трое дышать перестали. В столовой тишина, и слышно только, как галдят в гостиной. Корней эту крас-

ную ленточку рассмотрел внимательно — просто так и на свет, — а потом сказал негромко:

— Молодцы. Размножьте и раздайте.

И пошел из столовой. Только у самой двери спохватился, повернулся ко мне и сказал:

— Извини, Гаг. Ничего не могу поделать.

Я только плечом дернул — мне-то что... пожалуйста! Ну, из этих троих двое поскакали за Корнеем, а третий остался и стал аккуратно укладывать эту красную ленточку обратно в коробочку. Я сижу злой, не люблю пищу принимать при посторонних. Но он на меня вроде бы и внимания не обращает. Он идет через всю столовую в угол, где у Корнея стоит какой-то шкаф не шкаф, сундук не сундук... ящик, в общем, поставленный на попа. Я этот ящик сто раз видел и никогда на него внимания не обращал. А он подходит к этому ящику и сдвигает кверху какую-то шторку, и в стенке ящика образуется ярко освещенная ниша. В эту нишу он кладет свою коробочку и шторку опускает. Раздается короткое гудение, на ящике вспыхивает желтый глаз. Этот тип снова поднимает шторку... и тут, ребята, я есть перестал. Потому что смотрю — а в нише уже две коробочки. Этот тип опять опускает шторку — опять загудело, опять загорелся желтый глаз,

поднимает он шторку — четыре коробочки. И пошел, и пошел... Я сижу и только глазами хлопаю, а он — шторку вверх, шторку вниз, гудок, желтый глаз, шторку вверх, шторку вниз... И через минуту у него этих коробочек набралась полная ниша. Выгреб он их оттуда, распихал по карманам, подмигнул мне и выскочил вон.

Ничего я опять не понял. Да здесь никакой нормальный человек бы не понял. Но одно я понял: это надо же, какая машина! Я встал — и к ящику. Осмотрел его со всех сторон, даже попробовал сзади заглянуть, но голова не пролезла, только ухо прищемил. Ладно. А шторка поднята, и ниша эта так светом и сияет мне в глаза. Змеиное молоко! Я огляделся и хвать со стола мятую салфетку... Скатал ее в шарик между ладонями и бросил в нишу — издали бросил на всякий случай, мало ли что. Нет, все нормально. Лежит себе бумажка, ничего ей не делается. Тогда я осторожненько взялся за эту шторку и потянул ее вниз. Шторка легко двинулась, прямо-таки сама пошла. Щелк! И, как следует быть, загудело, зажглась желтая лампа. Ну, Кот! Потянул я шторку вверх. Точно. Два бумажных шарика. Я их оттуда вилкой осторожно выгреб, смотрю — одинаковые. То есть точь-в-точь! Отличить совершенно невозможно.

Я их и так смотрел, и этак, и на просвет — даже, дурак, понюхал... Одинаковые.

Что же это получается? Золотой бы мне сейчас, я бы в миллионах ходил. Стал я рыскать по карманам. Ну, не золотой, думаю, так хотя бы грош медный... Нет гроша. И тут нашариваю я свой единственный патрон. Унитарный патрон калибра восемь и одна десятая. Нет, даже в этот момент я еще не соображал, что здесь к чему. Просто подумал: раз уж денег нет, так хоть патронов наделаю, они тоже денег стоят. И только когда в нише передо мной шестнадцать штучек медью засверкало, только тогда до меня наконец дошло: шестнадцать патронов — да ведь это же обойма! Полный магазин, ребята!

Стою я перед этим ящиком, смотрю на свои патрончики, и такие интересные мыслишки в голове у меня бродят, что я тут же спохватился и поглядел вокруг, не подслушивает ли кто и не подсматривает ли. Хорошую они машину здесь себе придумали, ничего не скажешь. Полезная машина. Много я у них всякого повидал, но вот такую полезную вещь всего второй раз вижу. (Первая — это Драмба, конечно.) Ну что ж, спасибо. Собрал я патрончики свои, ссыпал их в карман куртки, оттянули они мне карман, и почувство-

вал я, ребята, будто забрезжило наконец что-то передо мной вдали.

Машинкой этой я потом не раз еще пользовался. Запас патронов потихоньку пополнял; пуговица у меня оторвалась — я и пуговиц форменных на всякий случай два комплекта наделал; ну еще кое-чего по мелочам. Сначала я берегся, а потом совсем обнаглел: они тут же за столом кушают и галдят, а я стою себе у ящика и знай себе шторкой щелкаю. И хоть бы кто внимание обратил! Беспечный народ, ума не приложу, как это они собираются нашей планетой управлять при такой своей беспечности. Их же у нас перочинными ножиками резать будут. Ведь я здесь прямо у них на глазах мог бы всю их секретную документацию скопировать. Была бы документация... Они ведь на меня ну совсем никакого внимания не обращали. Хочешь подслушивать — подслушивай, хочешь подсматривать — подсматривай... Так, который-нибудь взглянет рассеянно, улыбнется тебе и — снова галдеть. Обидно даже, змеиное молоко! Все-таки я — Бойцовый Кот его высочества, не шпана какая-нибудь мелкая, передо мной такие вот шпаки с тротуара сходили и шляпу еще снимали... Правда, не каждый день снимали, а только в дни тезоименитства, но все равно. Так и

хотелось мне встать как-нибудь в дверях и гаркнуть по-гепардовски: «Смир-рна! Глаза на меня, тараканья немочь!» То-то забегали бы! Потом я, конечно, запретил себе на эти темы думать. Я свое достоинство унижать права не имею. Даже в мыслях. Пусть все идет как идет. Мне одному их всех по стойке «смирно» все равно не переставить. Да и нет передо мной такой задачи...

Корней мой в эти дни совсем извелся. Мало того, что ему этот галдеж нужно было регулировать, так свалились на него еще и личные неприятности. Всего я, конечно, не знаю, но вот однажды вернулся я под вечер с прудов — усталый, потный, ноги гудят, — искупался и завалился в траву под кустами, где меня никто не видит, а я всех вижу. То есть видеть-то особенно было некого — которые оставались, те все сидели в кабинете у Корнея, было у них там очередное совещание, — а в саду было пусто. И тут дверь нуль-кабины раскрывается, и выходит из нее человек, какого я до сих пор здесь никогда не видел. Во-первых, одежда на нем. Которые наши — они все больше в комбинезонах или в пестрых таких рубашках с надписями на спине. А этот — не знаю даже, как определить. Что-то такое строгое на нем, внушительное. Материальчик серый, понял?

— стильный, и сразу видно, что не каждому такой по карману. Аристократ. Во-вторых, лицо. Здесь я объяснить уж совсем не умею. Ну, волосы черные, глаза синие — не в этом дело. Напомнил он мне чем-то того румяного доктора, который меня выходил, хотя этот был совсем не румяный и уж никак не добряк. Выражение одинаковое, что ли?.. У наших такого выражения я не видел, наши либо веселые, либо озабоченные, а этот... нет, не знаю, как сказать.

В общем, вышел он из кабины, прошагал этак решительно мимо меня и — в дом. Слышу: галдеж в кабинете разом стих. Кто же это такой к нам пожаловал, думаю. Высшее начальство? В штатском? И стало мне ужасно интересно. Вот, думаю, взять бы такого. Заложником. Большое дело можно было бы провернуть... И стал я себе представлять во всех подробностях, как я это дело проворачиваю, — фантазия, значит, у меня разыгралась. Потом спохватился. В кабинете уже опять галдят, и тут на крыльцо выходят двое — Корней и этот самый аристократ. Спускаются и медленно идут по дорожке обратно к нуль-кабине. Молчат. У аристократа лицо замкнутое, рот сжат в линейку, голову несет высоко. Генерал, хоть и молод. А Корней мой голову повесил, глядит под ноги и

губы кусает. Расстроен.

Я только успел подумать, что и на Корнея здесь, видно, нашлась управа, как они останавливаются совсем недалеко от меня, и Корней говорит:

— Ну что ж... Спасибо, что пришел.

Аристократ молчит. Только плечами слегка повел, а сам смотрит в сторону.

— Ты знаешь, я всегда рад видеть тебя, — говорит Корней. — Пусть даже вот так, на скорую руку. Я ведь понимаю, ты очень занят...

— Не надо, — говорит аристократ с досадой. — Не надо. Давай лучше прощаться.

— Давай, — говорит Корней.

И с такой покорностью он это сказал, что мне даже страшно стало.

— И вот что, — говорит аристократ. Жестко так говорит, неприятно. — Меня теперь долго не будет. Мать остается одна. Я требую: перестань ее мучить. Раньше я об этом не говорил, потому что раньше я был рядом и... Одним словом, сделай что хочешь, но перестань ее мучить!

Корней что-то сказал, почти прошептал — так тихо, что я не уловил его слов.

— Можешь! — говорит аристократ с напором. — Можешь уехать, можешь исчезнуть... Все эти... все эти твои занятия... С какой стати они ценнее,

чем ее счастье?

— Это совсем разные вещи, — говорит Корней с каким-то тихим отчаянием. — Ты просто не понимаешь, Андрей...

Я чуть не подскочил в кустах. Ну ясно же — никакой это не начальник и не генерал. Это же его сын, они же даже похожи!

— Я не могу уехать, — продолжает Корней. — Я не могу исчезнуть. Это ничего не изменит. Ты воображаешь, что с глаз долой — из сердца вон. Это не так. Постарайся понять: сделать ничего невозможно. Это судьба. Понимаешь? Судьба.

Этот самый Андрей задрал голову, посмотрел на отца надменно, словно плюнуть в него хотел, но вдруг аристократическое лицо его жалко задрожало — вот-вот заревет, он как-то нелепо махнул рукой и, ничего не сказав, со всех ног пустился к нуль-кабине.

— Береги себя! — крикнул ему вслед Корней, но того уже не было.

Тогда Корней повернулся и пошел к дому. На крыльце он постоял некоторое время — не меньше минуты, наверное, стоял, словно собирался с силами и с мыслями, — потом расправил плечи и только после этого шагнул через порог.

Такие вот пироги. Насели на человека. И жена

эта, и сын — оба хороши. И чего насели? Непонятно же, чего им от него надо. Ладно, не мое это дело. Жалко только его. Я бы, конечно, на его месте накидал бы этому сыночку пачек, чтобы знал свое место и не встревал, но только на Корнея это не похоже. То есть не похоже, чтобы он кому-нибудь мог пачек накидать... вернее, пачек-то он накидать мог бы, по-моему, кому угодно, силищи и ловкости он неимоверной. Видел я, как они однажды возились возле бассейна — Корней, а против него трое его этих... ну, офицеров, что ли... Как он их кидал! Это же смотреть было приятно. Так что насчет пачек вы будьте спокойны. Но тут дело в том, что без крайней надобности он никому пачек кидать не станет... не то что пачек, резкого слова от него не услышишь... Хотя, с другой стороны, конечно, был один случай... Как-то раз сунулся я к нему в кабинет — не помню уже зачем. То ли книжку какую-то взять, то ли ленту для проектора. Одним словом, дождь был в тот день. Сунулся и попал вдруг в полную темноту. Я даже засомневался. Не было еще такого, чтобы я в этом доме среди бела дня попадал в темное помещение. Может, меня по ошибке в какую-нибудь кладовку занесло? И вдруг оттуда, из темноты, голос Корнея:

— Прогоните еще раз с самого начала...

Тогда я шагнул вперед. Стена за мной затянулась, и стало совсем уж темно, как в ночном тире. Я вытянул перед собой руки, чтоб не треснуться обо что-нибудь, двух шажков не сделал — запутался пальцами в какой-то материи. Я даже вздрогнул от неожиданности. Что еще за материя? Откуда она здесь, в кабинете? Никогда ее здесь раньше не было. И вдруг слышу голоса, и как я эти голоса услышал, так о материи и думать позабыл, и замер, и дышать перестал.

Я сразу понял, что говорят по-имперски. Я это ихнее хурли-мурли где хочешь узнаю, сипение это писклявое. Говорили двое: один — нормальный крысоед, так бы и полоснул его из автомата, а второй... вы, ребята, не поверите, я сначала сам не поверил. Второй был Корней. Ну точно — его голос. Только говорил он, во-первых, по-имперски, а во-вторых, на таких басах, каких я до сих пор не то что от Корнея — вообще на этой планете ни от кого не слыхивал. Это, ребята, был настоящий допрос, вот что это было. Я этих допросов навидался, знаю, как там разговаривают. Тут ошибки быть не может. Корней ему этак свирепо: гррум-ттрум-бррум! А тот, поганец трусливый, ему в ответ жалобно: хурли-мурли, хурли-мурли...

Сердце мое возрадовалось, честное слово.

Понимал вот, к сожалению, я только с пятого на десятое, да и то, что понимал, до меня как-то не доходило по-настоящему. Получалось вроде, что этот крысоед — не простой солдат или, скажем, горожанин, а какая-то большая шишка. Может, маршал, а может, и министр. И речь шла у них все время о корпусах и об армиях, а также о положении в столице. То есть это я вывел потому, что слова «корпус», «армия», «столица» мне знакомы, а они то и дело повторялись. И еще мне было понятно, что Корней все время нажимает, а крысоед хоть и юлит, хоть и подхалимничает, но чего-то не договаривает, полосатик, крутит, гадина. Корней гремел все яростнее, крысоед пищал все жалобнее, и лично мне было совершенно ясно, что вот именно сейчас и следовало бы влепить как следует, — я даже весь вперед подался, касаясь носом ткани, отделяющей меня от допросной, чтобы ничего не пропустить, когда эта сволочь завизжит и начнет выкладывать, чего от него добиваются. Но крысоед вдруг совсем замолчал — в обморок закатился, что ли? — а Корней сказал обыкновенным голосом, по-русски:

— Очень неплохо. Вольдемар, вы свободны. Теперь попробуем подвести итоги. Во-первых...

Так я, ребята, и не узнал, что там было во-первых. Засветили мне вдруг в лоб с такой силой, что стало мне светло в этом мраке, и очнулся я, ребята, уже в гостиной. Сижу на полу, глазами хлопаю, а надо мной стоит, потирая плечо, этот самый Вольдемар, здоровенный дядька, башка под самый потолок, лицо у него растерянное и расстроенное, смотрит он на меня из-под потолка и говорит — то ли укоризненно, то ли виновато:

— Ну что же ты, голубчик? Что же ты там торчал в темноте? Откуда же мне было знать? Ты уж извини меня, пожалуйста... Не ушибся?

Я потрогал осторожно свою переносицу — есть у меня там теперь переносица или ее уже вовсе нету, — кое-как поднялся и говорю:

— Нет, — говорю. — Не ушибся. Меня ушибли — это было.

Глава шестая

Когда Драмба закончил ход сообщения к корректировочному пункту, Гаг остановил его, спрыгнул в траншею и прошелся по позиции. Отрыто было на славу. Траншея полного профиля с чуть скошенными наружу идеально ровными стенками, с плотно утрамбованным дном, без всякой там рыхлой землицы и другого мусора, все в точности по наставлению, вела к огневой — идеально круглой яме диаметром в два метра, от которой отходили в тыл крытые бревнами блиндажи для боеприпасов и для расчета. Гаг посмотрел на часы. Позиция была полностью отрыта за два часа десять минут. И какая позиция! Такой могла гордиться его высочества Инженерная академия. Гаг оглянулся на Драмбу. Рядовой Драмба возвышался над ним и над краем траншеи. Огромные ладони его были прижаты к бедрам, локти оттопырены, уши опущены, грудь колесом, и от него, смешиваясь с запахом разрытой земли, исходила атмосфера свежести и прохлады.

— Молодец, — сказал Гаг негромко.

— Слуга его высочества, господин капрал! —

гаркнул робот.

— Чего нам теперь еще не хватает?

— Банки бодрящего и соленой рыбки, господин капрал!

Гаг ухмыльнулся.

— Да, — сказал он. — Я из тебя сделал солдата, из разгильдяя.

Он взялся за край траншеи и одним движением перебросил тело на траву, потом поднялся, отряхнул колени и еще раз осмотрел позицию — теперь уже сверху. Да, позиция была на славу.

Солнце поднялось высоко, от росы не осталось и следа, луна бледным безвредным куском тающего сахара висела над западным горизонтом, над туманными очертаниями города-чудовища. Вокруг мириадами кузнечиков стрекотала степь, ровная, рыже-зеленая, на всем своем протяжении одинаковая и пустая, как океан. Однообразие ее нарушало лишь облачко зелени вдали, в котором краснела черепичная крыша Корнеева дома. Стрекочущая, напоенная пряными запахами степь вокруг, чистое серо-голубое небо над нею, а в центре — он, Гаг. И ему хорошо.

Хорошо, потому что все далеко. Далеко отсюда непостижимый Корней, бесконечно добрый, бесконечно терпеливый, снисходительный,

внимательный, неуклонно, миллиметр за миллиметром вдавливающий в душу любовь к себе, и в то же время бесконечно опасный, словно бомба огромной силы, грозящая взорваться в самый неожиданный момент и разнести в клочья Вселенную Гага. Далеко отсюда лукавый дом, набитый невиданными и невозможными механизмами, невиданными и невозможными существами вперемешку с такими же, как Корней, людьми-ловушками, шумно кипящей беспорядочной деятельностью без всякой видимой разумной цели, а потому такой же непостижимый и отчаянно опасный для Вселенной Гага. Далеко отсюда весь этот лукавый обманный мир, где у людей есть все, чего они только могут пожелать, а потому желания их извращены, цели потусторонни и средства уже ничем не напоминают человеческие. И еще хорошо, потому что здесь удается хоть ненадолго забыть о гложущей непосильной ответственности, обо всех этих задачах, которые ноют, как язва, в воспаленной душе — неотложные, необходимые и совершенно неразрешимые. А здесь — все так просто и легко...

— Ого! — произнес Корней. — Вот это да!

Гаг подскочил на месте и обернулся. Корней

стоял по ту сторону траншеи, с веселым изумлением оглядывая позицию.

— Да ты фортификатор, — сказал он. — Что это у тебя такое?

Гаг помолчал, но деваться было некуда.

— Позиция, — неохотно буркнул он. — Для тяжелой мортиры.

Корней был поражен.

— Для чего, для чего?

— Для тяжелой мортиры.

— Гм... А где ты возьмешь мортиру?

Гаг молчал, глядя на него исподлобья.

— Ну ладно, это меня, в конце концов, не касается, — сказал Корней, подождав. — Извини, если помешал... Я тут получил кое-какие известия и поспешил, чтобы поделиться с тобой. Дело в том, что ваша война кончилась.

— Какая война? — тупо спросил Гаг.

— Ваша. Война герцогства Алайского с империей.

— Уже? — тихо проговорил Гаг. — Вы же говорили — четыре месяца.

Корней развел руки.

— Ну, извини, — сказал он. — Ошибся. Все мы ошиблись. Но это, знаешь ли, добрая ошибка. Согласись, что мы ошиблись в нужную сторону...

Управились за месяц.

Гаг облизнул губы, поднял голову, снова опустил.

— Кто... — Он замолчал.

Корней ждал, спокойно глядя на него. Тогда Гаг снова поднял голову и, глядя прямо ему в глаза, сказал:

— Я хочу знать, кто победил.

Корней очень долго молчал, по лицу его ничего нельзя было разобрать. Гаг сел — не держали ноги. Рядом из траншеи торчала голова Драмбы. Гаг бессмысленно уставился на нее.

— Я ведь уже объяснял тебе, — сказал наконец Корней. — Никто не победил. Вернее, все победили.

Гаг процедил сквозь зубы:

— Объясняли... Мало ли что вы мне объясняли. Я этого не понимаю. У кого осталось устье Тары? Это, может быть, вам все равно, у кого оно осталось, а нам не все равно!

Корней медленно покачал головой.

— Вам тоже все равно, — устало сказал он. — Армий там больше нет — только гражданское население...

— Ага! — сказал Гаг. — Значит, крысоедов оттуда выбили?

— Да нет же... — Корней страдальчески сморщился. — Армий вообще больше не существует, понимаешь? Из устья Тары никто никого не выбивал. Просто и алайцы, и имперцы побросали оружие и разошлись по домам.

— Это невозможно, — сказал Гаг спокойно. — Я не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете, Корней. Я вам не верю. Я вообще не понимаю, чего вам от меня надо. Зачем вы меня здесь держите? Если я вам не нужен — отпустите. А если нужен — говорите прямо...

Корней закряхтел и с силой ударил себя по бедру.

— Значит, так, — сказал он. — Ничего нового по этой части я тебе сообщить не могу. Вижу, что тебе здесь не нравится. Знаю, что ты стремишься домой. Но тебе придется еще потерпеть. Сейчас у тебя на родине слишком тяжело. Разруха. Голод. Эпидемии. А сейчас еще и политическая неразбериха... Герцог, как и следовало ожидать, плюнул на все и бежал, как последний трус. Бросил на произвол судьбы не только страну...

— Не говорите плохо о герцоге, — хрипло прорычал Гаг.

— Герцога больше нет, — холодно сказал Корней. — Герцог Алайский низложен. Впрочем,

можешь утешиться: императору тоже не повезло. Расстрелян в собственном дворце...

Гаг криво ухмыльнулся и снова окаменел лицом.

— Пустите меня домой, — сказал он. — Вы не имеете права меня здесь держать. Я не военнопленный и не раб.

— Давай-ка так, — сказал Корней. — Давай не будем ссориться. Ты плохо себе представляешь, что там у вас делается. А там такие, как ты, сколотили банды, им все хочется поставить скелет на ноги, а этого, кроме них, никто уже не хочет. За ними охотятся, как за бешеными псами, и они обречены. Если тебя сейчас отправить домой, ты, конечно же, примкнешь к такой банде, и тогда тебе конец. И дело, между прочим, не только в тебе, дело еще и в тех людях, которых ты успеешь убить и замучить. Ты опасен. И для себя, и для других. Вот так, если откровенно.

Оказывается, Корней мог быть и таким. Перед Гагом стоял боец, и хватка у этого бойца была железная, и бил он в самую точку. Ну что ж, за откровенность спасибо. Значит, теперь так и будем: ты мне сказал, но я тебе тоже сейчас скажу. Хватит строить из себя мальчика в штанишках. Надоело.

— Значит, боитесь, что я там буду опасен, — сказал Гаг. Он уже больше не мог и не хотел сдерживаться. — Что ж, воля ваша. Только смотрите, как бы я *здесь* не стал опасен!

Они стояли по сторонам траншеи, лицом к лицу, и сначала Гаг торжествовал, что ему удалось вызвать это холодное свечение в обычно добрых до отвращения глазах великого лукавца, а потом вдруг с изумлением и негодованием обнаружил, что свечение это исчезло, и снова у него, сатаны, улыбочка, и глаза снова прищурились по-отечески, змеиное молоко! И вдруг Корней фыркнул, захохотал, поперхнулся, закашлялся, снова захохотал и закричал, разведя руки:

— Кот! Ну кот и кот! Дикий... Ду-умай! — сказал он Гагу и постучал себя по темени. — Думай! Мозгами шевелить надо! Неужели ты зря здесь пятую неделю торчишь?

Тогда Гаг резко повернулся и пошел в степь.

— Думай! — в последний раз донеслось до него.

Он шел, не глядя под ноги, проваливаясь в сурчиные норы, спотыкаясь, царапая лодыжки колючками. Он ничего не видел и не слышал вокруг, перед глазами его стояло иссеченное морщинами землистое лицо с безмерно усталыми, покрасневшими глазами, и в ушах звучал

хрипловатый голос: «Сопляки! Мои верные, непобедимые сопляки!» И этот человек, последний родной человек, оставшийся в живых, сейчас где-то спасался, прятался, томился, а его гнали, охотились за ним, как за бешеным волком, вонючие орды обманутых, купленных, осатаневших от страха дикобразов. Чернь, сброд, отбросы — без чести, без славы, без совести... Вранье, вранье, не может этого быть! Лесные егеря, гвардия, десантники, Голубые Драконы... что, они тоже продались? Тоже бросили? Да ведь у них же ничего не было, кроме Него! Они ведь жили только для Него. Они умирали за Него! Нет, нет, ложь, чушь... Они взяли его в стальное кольцо, ощетинились штыками, стволами, огнеметами... это же лучшие бойцы в мире, они разгонят и раздавят взбесившуюся солдатню... О, как они будут их гнать, жечь, втаптывать в грязь... А я — я сижу здесь. Кот! Поганый щенок, а не Кот! Подобрали бедненького, залечили лапку, ленточкой украсили, а он знай себе машет хвостиком, молочко тепленькое лакает и все приговаривает «так точно» да «слушаюсь»...

Он споткнулся и упал всем телом в колючую, сухую траву и остался лежать, закрыв голову от нестерпимого стыда. Но ведь один же! Один

против всей этой махины! И ребята, друзья мои в этом лукавом аду, замолчали, который день не откликаются, ни строчки, ни буквы — может, их и в живых уже нет... а может, сдались? Неужели же я ничего не могу?

Он трясся как в лихорадке под палящим солнцем, в мозгу возникали, кружились, проносились совершенно невозможные, немыслимые способы борьбы, побега, освобождения... Весь ужас был в том, что Корней, конечно же, сказал правду. Недаром работала его машина, недаром съехались, сползлись, слетелись сюда все эти чудища с неведомых миров — сделали свое дело, разорили страну, загубили все лучшее, что в ней было, разоружили, обезглавили...

Он не услышал, как подошел Драмба, но потной спине под раскаленной рубашкой стало прохладно, когда тень робота упала на него, и ему стало легче. Все-таки он был не совсем один. Он еще долго лежал ничком, а солнце двигалось по небу, и Драмба бесшумно двигался возле, оберегая его от зноя. Потом он сел. Голые ноги были исполосованы колючками. На колено вспрыгнул кузнечик, бессмысленно уставился зелеными капельками глаз. Гаг брезгливо смахнул его и замер, разглядывая руку. Костяшки пальцев были

ободраны.

— Когда это я? — произнес он вслух.

— Не могу знать, господин капрал, — сейчас же откликнулся Драмба.

Гаг осмотрел другую руку. Тоже в крови. Землю-матушку, значит, молотил. Родительницу всех этих... ловкачей. Хорош Кот. Только истерики мне и не хватало. Он оглянулся в сторону дома. Зеленое облачко едва виднелось на горизонте.

— Много лишнего я сегодня наболтал, вот что... — сказал он медленно. — Дикобраз ты, а не Кот. Выдрать тебя некому. Угрожать вздумал, сопляк... То-то Корней закатился...

Он посмотрел на робота.

— Рядовой Драмба! Что делал Корней, когда я ушел?

— Приказал мне следовать за вами, господин капрал.

Гаг усмехнулся с горечью.

— А ты, конечно, подчинился... — Он поднялся, подошел к роботу вплотную. — Сколько тебя учить, дубина, — прошипел он яростно. — Кому ты подчиняешься? Кто твой непосредственный начальник?

— Капрал Гаг, Бойцовый Кот его высочества, — отчеканил Драмба.

— Так как же ты, дикобраз безмозглый, можешь подчиняться кому-то еще?

Драмба помедлил, потом сказал:

— Виноват, господин капрал.

— Э-эх... — произнес Гаг безнадежно. — Ладно, бери меня на плечи. Домой.

Дом встретил его непривычной тишиной. Дом был пуст. Улетели стервятники. На падаль. Гаг прежде всего искупался в бассейне, смыл кровь и пыль, тщательно причесался перед зеркалом и, переодевшись в свежее, решительно зашагал в столовую. К обеду он опоздал, Корней уже допивал свой сок. Он с нарочитым безразличием глянул на Гага и снова опустил взгляд в папку, лежащую перед ним. Гаг подошел к столу, кашлянул и проговорил стиснутым голосом:

— Я вел себя неправильно, Корней. (Корней кивнул, не поднимая глаз.) Я прошу у вас прощения.

Говорить было невыносимо трудно, язык едва ворочался. Пришлось остановиться на секунду и крепко стиснуть челюсти, чтобы привести себя в порядок.

— Конечно же, я... я буду все делать так, как вы приказываете. Я был не прав.

Корней вздохнул и отодвинул от себя папку.

— Я принимаю твои извинения... — Он поба-

рабанил пальцами по столу. — Да. Принимаю. Правда, к сожалению, я виноват больше тебя. Да ты садись, ешь...

Гаг сел, не сводя с него настороженного взгляда.

— Видишь ли, ты еще молод, тебе многое можно простить. Но я! — Корней потряс в воздухе растопыренными пальцами. — Старый дурень! Все-таки в моем возрасте и с моим опытом пора бы уже знать, что есть люди, которые могут выдержать удар судьбы, а есть люди, которые ломаются. Первым рассказывают правду, вторым рассказывают сказки. Так что ты тоже прости меня, Гаг. Давай-ка постараемся забыть эту историю. — И он снова взялся за свои бумаги.

Гаг ел какое-то месиво из мяса и овощей, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, словно вату жевал. Уши его пылали. Чушь какая-то опять получалась. Больше всего хотелось заорать и ударить кулаком по столу. Хватит строить из меня щенка! Хватит! Меня ударами судьбы не сломишь, понятно? Мы не из ржавого железа!.. Надо же, как повернул, опять я кругом дурак... Гаг плеснул себе в стакан из оплетенной бутыли с кокосовым молоком. Вообще-то говоря, я и на самом деле дурак. Он со мной как с мужчиной, а я как баба.

Вот и получается — щенок и дурак. Не хочу об этом думать. Не надо мне твоей правды, не надо мне твоих сказок. То есть за правду тебе, конечно, спасибо — я теперь хоть понял, что ждать больше нечего, что пора дело делать.

Корней поднялся, взял папку под мышку и ушел. Лицо у него было удрученное. Гаг, жуя и прихлебывая, поглядел в сад. На песчаную дорожку из густой травы выбрался большой кот рыжей масти, в зубах у него трепыхалось что-то пернатое. Кот угрюмо повел дикими глазами вправо, влево и заструился к дому — должно быть, под крыльцо. Давай, давай, работай, брат-храбрец, подумал Гаг. Мне бы как-нибудь до вечера дотянуть, а там можно будет и делом заняться. Он вскочил, сбросил посуду в лючок и, пройдя по дому на цыпочках, направился в тот самый коридор. Надписей не прибавилось. Друзья в аду молчали. Ладно. Значит, придется все-таки в одиночку. Драмба... Нет. На рядового Драмбу надежды плохи. Жалко, конечно. Солдат бесценный. Но веры ему настоящей нет. Лучше уж без него. Пусть только сделает то, что надо, а потом я его... откомандирую.

Он вернулся в свою комнату, лег на койку, заложил руки за голову.

— Рядовой Драмба! — позвал он.

Драмба вошел и остановился у двери.

— Продолжай, — приказал Гаг.

Драмба привычно загудел прямо с середины фразы:

— ...никакого другого выхода. Врач, однако, был против. Он аргументировал свой протест, во-первых, тем, что существо, не принадлежащее к бранчу гуманоидных сапиенсов, не может быть объектом контакта без посредника...

— Пропусти, — сонно сказал Гаг.

— Слушаюсь, господин капрал, — отозвался Драмба и, помолчав, продолжал, на этот раз — с начала фразы: — На контакт вышли: Эварист Козак, командир корабля, Фаина Каминска, старший ксенолог группы, ксенологи...

— Пропусти! — раздраженно сказал Гаг. — Что там было дальше?

Внутри Драмбы заурчало, и он принялся рассказывать, как в зоне контакта вспыхнул неожиданно пожар, контакт был прерван, из-за стены огня раздались вдруг выстрелы, штурман группы семи-гуманоид Кварр погиб, и тело его не было обнаружено, Эварист Козак, командир корабля, получил тяжелое проникающее ранение в область живота, сопровождавшееся разрывом

брюшины и множественными повреждениями желудка, печени, поджелудочной железы...

Гаг заснул.

Он проснулся словно от удара мокрым полотенцем по лицу: где-то рядом разговаривали по-алайски. Сердце колотилось как бешеное, трещала голова. Но это был не сон и не бред.

— ...Я обратил внимание на то, что большинство его работ написано в Гигне, — говорил незнакомый ломающийся голос. — Может быть, это вам поможет?

— Гигна... — отозвался голос Корнея. — Позволь. Где это?

— Это курортное местечко... западный берег Заггуты. Знаете, озеро такое...

— Знаю. Ты думаешь...

— По-видимому, он часто там работал... Жил, наверное, у какого-нибудь мецената...

Гаг бесшумно скатился с койки и подкрался к окну.

На крыльце Корней разговаривал с каким-то парнем лет шестнадцати, худым, белобрысым, с большими бледными глазами, как у куклы, — явным и очевидным алайцем с юга.

Гаг вцепился пальцами в подоконник.

— Это любопытно, — задумчиво сказал Корней.

Он похлопал парня по плечу. — Это идея, ты молодчина, Данг. А наши разини прозевали...

— Его надо обязательно найти, Корней! — Парень прижал кулаки к узкой груди. — Вы же сами говорили, что даже ваши ученые заинтересовались, и теперь я понимаю — почему... Он на вашем уровне! Он даже выше кое в чем... Вы просто обязаны его найти!

Корней тяжело вздохнул.

— Мы сделаем все, что сможем, голубчик... но знал бы ты, как это трудно! Ты ведь представления не имеешь, что там у вас сейчас делается...

— Имею, — коротко сказал парень.

Они помолчали.

— Лучше бы вы меня там оставили, а его вытащили, — тихо проговорил парень, глядя в сторону.

— На тебя нам повезло наткнуться, а на него — нет, — так же тихо отозвался Корней. Он снова взял парня за плечо. — Мы сделаем все, что в наших силах.

Парень кивнул.

— Хорошо.

Корней снова вздохнул.

— Ну ладно... Значит, ты прямо в Обнинск?

— Да.

— Тебе там больше понравится. По крайней мере, там у тебя будут квалифицированные собеседники. Не такие дремучие прагматики, как я.

Парень слабо улыбнулся, и они пожали друг другу руки — по-алайски, крест-накрест.

— Что ж, — сказал Корней. — Нуль-кабиной ты теперь пользоваться умеешь...

Они вдруг разом засмеялись, вспомнив, по-видимому, какую-то историю, связанную с нуль-кабиной.

— Да, — сказал парень. — Этому я научился... Умею... Но вы знаете, Корней, мы решили пробежаться до Антонова. Ребята обещали показать мне что-то в степи...

— А где они? — Корней огляделся.

— Сейчас подойдут, наверное. Мы условились, что я пойду вперед, а они меня нагонят... Вы идите, Корней, я и так вас задержал. Спасибо вам большое...

Они вдруг обнялись — Гаг даже вздрогнул от неожиданности, — а затем Корней слегка оттолкнул парня и быстро ушел в дом. Парень спустился с крыльца и пошел по песчаной дорожке, и тут Гаг увидел, что он сильно хромает, припадая на правую ногу. Эта нога у него была явно короче и тоньше левой.

Несколько секунд Гаг смотрел ему вслед, а потом рывком перебросил тело через подоконник, пал на четвереньки и сразу же нырнул в кусты. Он неслышно следовал за этим Дангом, уже испытывая к нему безотчетную неприязнь, то брезгливое отвращение, которое он всегда чувствовал к людям увечным, ущербным и вообще бесполезным. Но этот Данг был алаец, причем, судя по имени и по выговору, — южный алаец, а значит, алаец первого сорта, и, как бы там ни было, поговорить с ним было необходимо. Потому что это был все-таки шанс.

Гаг настиг его уже в степи, выждав момент, когда дом до самой крыши скрылся за деревьями.

— Эй, друг! — негромко сказал он по-алайски.

Данг стремительно обернулся. Он даже пошатнулся на покалеченной ноге. Кукольные глаза его раскрылись еще шире, и он попятился. Все краски сбежали с его тощего лица.

— Ты кто такой? — пробормотал он. — Ты... этот... Бойцовый Кот?

— Да, — сказал Гаг. — Я — Бойцовый Кот. Меня зовут Гаг. С кем имею честь?

— Данг, — отозвался тот, помолчав. — Извини, я спешу...

Он повернулся и, хромая еще сильнее, чем

раньше, пошел прочь прежней дорогой. Гаг нагнал его и схватил за руку повыше локтя.

— Подожди... Ты что, разговаривать не хочешь? — удивленно проговорил он. — Почему?

— Я спешу.

— Да брось ты, успеешь!.. Вот так картинка! Встретились в этом аду два алайца — и чтобы не поговорить? Что это с тобой? Одурел совсем, что ли?

Данг попытался высвободить руку, но куда там! Он был совсем хилый, этот недоносок из южан.

Гаг ничего не понимал.

— Слушай, друг... — начал он с наивозможной проникновенностью.

— В аду твои друзья! — сквозь зубы процедил Данг, глядя на него с явной ненавистью.

От неожиданности Гаг выпустил его руку. На мгновение он даже потерял дар речи. В аду твои друзья... Твои друзья в аду... Твои друзья — в аду! Он даже задохнулся от бешенства и унижения.

— Ах ты... — сказал он. — Ах ты, продажная шкура!

Задавить, на куски разодрать тварюгу...

— Сам ты барабанная шкура! — прошипел Данг сквозь зубы. — Палач недобитый, убийца.

Гаг, не размахиваясь, ударил его под ложечку,

и, когда хиляк согнулся пополам, Гаг, не теряя драгоценного времени, с размаху ахнул кулаком по белобрысому затылку, подставив колено под лицо. Он стоял над ним, опустив руки, глядел, как он корчится, захлебываясь кровью, в сухой траве, и думал: вот тебе и союзничек, вот тебе и друг в аду... Во рту у него была горечь, и ему хотелось плакать. Он присел на корточки, приподнял голову Данга и повернул к себе его залитое кровью лицо.

— Дрянь... — прохрипел Данг и всхлипнул. — Палач... Даже сюда...

— Зачем это? — произнес сумрачный голос.

Гаг поднял глаза. Над ним стояли двое — какие-то незнакомые из местных, тоже совсем молодые. Гаг осторожно опустил голову южанина на траву и поднялся.

— Зачем... — пробормотал он. — Откуда я знаю — зачем?

Он повернулся и пошел к дому.

Ломая кусты и топча клумбы, он напрямик прошел к крыльцу, поднялся к себе, упал ничком на койку и так пролежал до самого вечера. Корней звал его ужинать — он не пошел. Бубнили голоса в доме, слышалась музыка, потом стало тихо. Отругались воробьи, устраиваясь на ночь

в зарослях плюща, завели бесконечные песни цикады, в комнате становилось все темнее и темнее. И когда стало совсем темно, Гаг поднялся, поманил за собой Драмбу и прокрался в сад. Он прошел в самый дальний угол сада, в густые заросли сирени, уселся там прямо на теплую траву и сказал негромко:

— Рядовой Драмба. Слушай внимательно мои вопросы. Вопрос первый. По металлу работать умеешь?

Глава седьмая

За завтраком Корней не сказал мне ни слова, даже не поглядел на меня. Будто меня за столом и нет вовсе. Я, натурально, поджался, жду, что будет, и на душе, надо сказать, гадостно донельзя. Все время то ли вымыться хочется, то ли сдохнуть вообще. Ну, поел я кое-как, поднялся к себе, натянул форму — не помогает. Вроде бы даже еще хуже стало. Взял портрет ее высочества — выскользнул он у меня из рук, закатился под койку, я и искать не стал. Сел перед окошком, локти на подоконник поставил, гляжу в сад — ничего не вижу, ничего не хочу. Домой хочу. Просто домой, где все не так, как здесь. Что за судьба у меня собачья? Ничего ведь в жизни не видел. То есть видел, конечно, много, другому столько и не приснится, сколько я наяву видел, а вот радости — никакой. Стал вспоминать, как герцог меня табаком одарил, — бросил, не помогает. Вместо его лица все выплывает этот хиляк, тощая его физия, вся в кровище. А вместо его голоса — совсем другой голос, и он все повторяет: «Зачем это? Зачем это?» Откуда я знаю — зачем?

Потом вдруг распахнулась дверь, вошел Корней

— как туча, глаза — молнии, — ни слова не говоря, швырнул мне чуть ли не в лицо пачку каких-то листов (это Корней-то! Швырнул!) и, опять ничего не сказав, повернулся и ушел. И дверью грохнул. Я чуть не завыл от тоски, пнул эти листки ногой, по всей комнате они разлетелись. Стал снова в сад глядеть — черно перед глазами, не могу. Подобрал листок, что поближе, стал читать. Потом другой, потом третий... Потом собрал все, сложил по порядку, стал читать снова.

Это все были отчеты. Корнеевы люди, которые, как я понимаю, были заброшены к нам, работали там у нас: кто дворником, кто парикмахером, а кто и генералом. И вот они, значит, докладывали Корнею о своих наблюдениях. Чистая работа, ничего не скажешь. Профессионалы.

Ну, было там про этого парнишку, про Данга. Жил он, как и я, в столице и даже недалеко от меня, напротив зоопарка. Отца у него убили еще во время первого Тарского инцидента. Он был ученый, ловил в устье Тары каких-то своих научных рыб, ну, там его ненароком и шлепнули. Остался он один с матерью. Как и я. Только мать его была интеллигентная и пошла в учительницы, музыку преподавала. А он, между прочим, сам тоже был парень с головой. Премии всякие в школе хва-

тал, главным образом — по математике. У него способности были большие, вроде как у меня к технике, только больше. Когда началась эта война, он чуть ли не в самую первую бомбежку попал под бомбу, ребра ему поломало, правую ногу навеки изуродовало.

И пока я, значит, брал Арихаду, подавлял бунты и ходил в десант в устье Тары, он круглосуточно лежал дома. Я не в укор ему говорю, он там намучился, может быть, еще больше меня: в ихний дом попало две бомбы, его газами отравило, дом весь потом выселили, остались они вдвоем с матерью в этой руине — не знаю уж, почему мать не захотела переезжать. И вот, значит, мать его каждый день уходила на работу, уже теперь не в музыкальную школу, а на патронный завод. Иногда на сутки уходила, иногда на двое. Оставит ему кое-какую еду, суп в ватник завернет, чтобы он мог дотянуться, — сам он с постели почти что и не вставал — и уйдет. Ну вот она однажды ушла, да и не пришла. Неизвестно, что с нею сталось. Этот Данг совсем уже загибался, когда на него случайно вышел Корнеев разведчик. В общем, жуткая, конечно, история. Прямо посреди столицы погибал от голода и холода парень, причем большой математический талант, даже

огромный, и всем на него было наплевать. Так бы и подох, как собака под забором, если б не этот тип. Ну, он раз к нему пришел, два пришел, еду ему носит. А парень возьми его и расколи! Тот только рот разинул. А Данг ему вроде ультиматума: или вы меня отсюда к себе возьмете, в ваш мир то есть, или я повешусь. Вон, говорит, петелька висит, видите? Ну, Корней дал, конечно, распоряжение... Такая вот история.

Там еще много чего было. Но главным образом, конечно, о власть имущих. Было там и о герцоге, и об Одноглазом Лисе, и о господине фельдмаршале Брагге, обо всех там было. Как они политику делают, как они развлекаются в свободное время... Я то и дело читать бросал, ногти грыз, чтобы успокоиться. И об ее высочестве тоже было. Оказывается, гофмаршалом во дворце служил тоже человек Корнея, так что сомневаться не приходится. Это же не то что для меня материалы подбирались. Это ведь Корней их из какого-то дела надергал, прямо с мясом выдирал. Ну, ладно.

Сложил я эти листики аккуратной стопочкой, подровнял, взвесил на руке и опять по комнате пустил. Вообще-то, если говорить честно, оставалось мне одно: пуля в лоб. Хребет они мне переломили, вот что. Добились своего. Весь мир

в глазах перевернули вверх тормашками. Как жить — не знаю. Зачем жить — не понимаю. Как теперь Корнею в глаза смотреть — и вовсе не ведаю. Эх, думаю, разбегусь я сейчас по комнате, руки по швам и — в окошко, башкой вниз. И всему конец, хоть всего-то второй этаж. Но тут как раз приперся Драмба, требует очередной чертеж. Отвлек он меня. А когда ушел, стал я уже рассуждать поспокойнее. Целый час сидел, ногти грыз, а потом пошел и искупался. И странное вдруг у меня облегчение наступило. Словно какой-то пузырь болезненный у меня в душе надувался, надувался, а теперь вот лопнул. Словно я с какими-то долгами рассчитался. Словно я этим отчаянием своим какую-то вину перед кем-то искупил. Не знаю перед кем. И не знаю какую. И в голове у меня только одно: домой, ребята! По домам! Все мои долги, какие еще остались, — все они там, дома.

За обедом Корней мне говорит, не глядя, сурово, неприветливо:

— Прочитал?

— Да.

— Понял?

— Да.

На этом наш разговор и кончился.

После обеда заглянул я к Драмбе. Вкалывает мой рядовой вовсю, только стружка летит. Весь в опилках, в горячем масле, руки так и ходят. Одно удовольствие было на него смотреть. Быстро у него это дело продвигалось — просто на диво. А мне теперь оставалось только одно: ждать.

Ну, ждать пришлось мне недолго, дня два. Когда машинка была готова, я ее сложил в мешок, отнес к прудам, собрал там и опробовал с молитвою. Ничего машинка, молотит. Плюется, но все-таки получилась она получше, чем у наших повстанцев, которые делали свои сморкалки вообще из обрезков водопроводных труб. Ну, вернулся я, сунул ее вместе с мешком в железный ящик. Готов.

И вот в тот же вечер (я уже спать нацеливался) открывается дверь, и стоит у меня на пороге эта женщина. Слава богу, я еще не разделся — сидел на койке в форме и снимал сапоги. Правый снял, но только это за левый взялся, смотрю — она. Я ничего даже подумать не успел, только взглянул и, как был в одном сапоге, вскочил перед нею и вытянулся. Красивая она была, ребята, даже страшно — никогда я у нас таких не видел, да и не увижу, наверное, никогда.

— Простите, — говорит она, улыбаясь. — Я не знала, что здесь вы. Я ищу Корнея.

А я молчу, как болван деревянный, и только глазами ее ем, но почти ничего не вижу. Обалдел. Она обвела взглядом комнату, потом снова на меня посмотрела — пристально, внимательно, уже без улыбки, — ну, видит, что от меня толку добиться невозможно, кивнула и вышла, и дверь за собой тихонько прикрыла. И верите ли, ребята, мне показалось, что после ее ухода в комнате сразу стало темнее.

Долго я стоял вот так, в одном сапоге. Все мысли у меня спутались, ничегошеньки я не соображал. Не знаю уж, в чем тут дело: то ли освещение было какое-то особенное в ту минуту, а может быть, и сама эта минута была для меня особенной, но я потом полночи все крутился и не мог в себя прийти. Вспоминал, как она стояла, как глядела, что говорила. Сообразил, конечно, что она мне неправду сказала, что вовсе она не Корнея искала (нашла, где искать!), а зашла она сюда специально, на меня посмотреть.

Ну, это ладно. Другая мысль меня в тоску смертную вогнала: понял я, что довелось мне увидеть в эту минуту малую частичку настоящего большого мира этих людей. Корней ведь меня в этот мир не пустил, и правильно, наверное, сделал. Я бы в этом мире руки на себя наложил, потому

что это невозможно: видеть такое ежеминутно и знать, что никогда ты таким, как они, не будешь и никогда у тебя такого, как у них, не будет, а ты среди них, как сказано в священной книге, есть и до конца дней своих останешься «безобразен, мерзок и затхл»... В общем, плохо я спал в эту ночь, ребята, можно сказать, что и вовсе не спал. А едва рассвело, я выбрался в сад и залег в кустах на обычном своем наблюдательном пункте. Захотелось мне увидеть ее еще раз, разобраться, понять, чем же она меня вчера так ударила. Ведь видел же я ее и раньше, из этих самых кустов и видел...

И вот когда они шли по дорожке к нуль-кабине, рядом, но не касаясь друг друга, я смотрел на нее и чуть не плакал. Ничего опять я в ней не видел. Ну, красивая женщина, спору нет, — и все. Вся она словно погасла. Словно из нее душу живую вынули. В синих глазах у нее была пустота, и около рта появились морщинки.

Они прошли мимо меня молча, и только у самой кабины она, остановившись, проговорила:

— Ты знаешь, у него глаза убийцы...

— Он и есть убийца, — тихо ответил Корней. — Профессионал...

— Бедный ты мой, — сказала она и погладила

его ладонью по щеке. — Если бы только я могла с тобой остаться... но я правда не могу. Мне здесь тошно...

Я не стал дальше слушать. Ведь это они про меня говорили. Прокрался я к себе в комнату, посмотрел в зеркало. Глаза как глаза. Не знаю, чего ей надо. А Корней правильно ей сказал: профессионал. Тут стесняться нечего. Чему меня научили, то я и умею... И я всю эту историю от себя отмел. У вас свое, у меня свое. Мое дело сейчас — ждать и дождаться.

Как я оставшиеся три дня провел — не знаю. Ел, спал, купался. Опять спал. С Корнеем мы почти не разговаривали. И не то чтобы он меня не простил за тот случай или всякое там, нет. Просто он занят был по горло. Теперь уж до последнего предела. Даже осунулся. Народ к нам снова зачастил, так и прут. Не поверите — дирижабль прилетел, целые сутки висел над садом, а к вечеру как посыпались из него, как посыпались... Но вот что удивительно — за все это время ни одного «призрака». Я уже давно заметил: «призраки» у них здесь прибывают либо поздним вечером, либо рано утром, не знаю уж почему. Так что днем я как в тумане был, ни на что внимания не обращал, а как солнце сядет, звезды высыпят, так я у окна с машинкой

на коленях. А «призраков» нет, хоть ты лопни. Я жду, а их нет. Я уж, честно говоря, тревожиться начал. Что это, думаю, специально? И тут он все на сто лет вперед рассчитал?

За все это время только одно интересное событие и произошло. В последний день. Дрыхну это я перед ночной своей вахтой, и вдруг будит меня Корней.

— Что это ты среди бела дня завалился? — спрашивает он меня недовольно, но недовольство это, я вижу, какое-то ненастоящее.

— Жарко, — говорю. — Сморило.

Сморозил, конечно, спросонья. Как раз весь этот день дождик с самого утра моросил.

— Ох, распустил я тебя, — говорит он. — Ох, распустил. У меня руки не доходят, а ты пользуешься... Пойдем! Ты мне нужен.

Вот это номер, думаю. Понадобился. Ну, конечно, вскакиваю, постель привел в порядок, берусь за сандалии, и тут он мне преподносит.

— Нет, — говорит. — Это оставь. Надень форму. И оправься как следует... причешись. Вахлак вахлаком, смотреть стыдно...

Ну, ребята, думаю, моря горят, леса текут, мышка в камне утонула. Форму ему. И разобрало меня любопытство, сил нет. Облачаюсь, затягиваюсь

до упора, причесался. Каблуками щелкнул. Слуга вашего превосходительства. Он осмотрел меня с головы до ног, усмехнулся чему-то, и пошли мы через весь дом к нему в кабинет. Он входит первым, отступает на шаг в сторону и четко поалайски произносит:

— Разрешите, господин старший бронемастер, представить вам. Бойцовый Кот его высочества, курсант третьего курса Особой столичной школы Гаг.

Гляжу — и в глазах у меня потемнение, а в ногах дрожание. Прямо передо мной, как привидение, сидит, развалясь в кресле, офицер-бронеходчик. Голубой Дракон, «Огонь на колесах» в натуральную величину, в походной форме при всех знаках различия. Сидит, нога на ногу, ботинки сияют, шипами оскалились, коричневая кожаная куртка с подпалинами, с плеча свисает голубой шнур — тот еще волк, значит... и морда как у волка, горелая пересаженная кожа лоснится, голова бритая наголо, с коричневыми пятнами от ожогов, глаза как смотровые щели, без ресниц... Ладони у меня, ребята, сами собой уперлись в бедра, а каблуки так щелкнули, как никогда еще здесь не щелкали.

— Вольно, курсант, — произносит он сиплым

голосом, берет из пепельницы сигаретку и затягивается, не отрывая от меня своих смотровых щелей.

Я опустил руки.

— Несколько вопросов, курсант, — сказал он и положил сигаретку обратно на край пепельницы.

— Слушаю вас, господин старший бронемастер!

Это не я говорю, это мой рот сам собой отбарабанивает. А я в это время думаю: что же это такое, ребята? Что же это происходит? Ничего не соображаю. А он говорит, невнятно так, сглатывая слова, я эту ихнюю манеру знаю:

— Слышал, что его высочество удостоил тебя... а-а... жевательным табаком из собственной руки.

— Так точно, господин старший бронемастер!

— Это за какие же... а-а... подвиги?

— Удостоен как представитель курса после взятия Арихады, господин старший бронемастер!

Лицо у него равнодушное, мертвое. Что ему Арихада? Опять взял сигаретку, осмотрел тлеющий кончик, вернул в пепельницу.

— Значит, был удостоен... Раз так, значит... а-а... нес впоследствии караульную службу в ставке его высочества...

— Неделю, господин старший бронемастер, — сказал мой рот, а голова моя подумала: ну, чего пристал? Чего тебе от меня надо?

Он вдруг весь подался вперед.

— Маршала Нагон-Гига в ставке видел?

— Так точно, видел, господин старший бронемастер!

Змеиное молоко! Экий барин горелый выискался! Я с самим генералом Фраггой разговаривал, не тебе чета, и тот со второго моего ответа позволил и приказал: без званий. А этому, видно, как музыка: «Господин старший бронемастер». Новопроизведенный, что ли? А может, из холопов выслужился... опомниться не может.

— Если бы сейчас маршала встретил, узнал бы его?

Ну и вопросик! Маршал — он был такой низенький, грузный, глаза у него все слезились. Но это от насморка. Если бы у него глаза не было или, скажем, уха... а так — маршал как маршал. Ничего особенного. В ставке их много, Фрагга был еще из боевых...

— Не могу знать, — сказал я.

Он снова откинулся на спинку кресла и снова взялся за сигаретку. Не нравилась ему эта сигаретка. Он ее больше в руках держал да обнюхивал,

чем затягивался. Ну и не курил бы... вон бычок какой здоровенный, а я мох курю...

Он подобрал под себя свои голенастые ноги, поднялся, прошел к окну и стал спиною ко мне со своей сигареткой — только голубой дымок поднимается из-за плеча. Думает. Мыслитель.

— Ну хорошо, — говорит совсем уже невнятно, и получается у него «нухшо». — А нет ли у тебя... а-а... курсант, старшего брата у нас в Голубых бронеходцах?

Даже морду не повернул. Так, ухо немножко в мою сторону преклонил. А у меня, между прочим, три брата было... могли бы быть, да все в грудном возрасте померли. И такая меня злоба вдруг взяла, на все вместе разом.

— Какие у меня, змеиное молоко, братья? — говорю. — Откуда у нас братья? Мы сами-то еле живы...

Он мигом ко мне повернулся, словно его шилом ткнули. Уставился. Ну чисто бронеход! А я вроде бы в окопе сижу... У меня по старой памяти кожа на спине съежилась, а потом думаю: идите вы все с вашими взорами, тоже мне — старший бронемастер драной армии... Сам небось драпал, все бросил, аж сюда додрапал, от своих же небось солдат спасался... И отставляю я нагло правую

ногу, а руки завожу за спину и гляжу ему прямо в смотровые щели.

Полминуты он, наверное, молчал, а потом негромко просипел:

— Как стоишь, курсант?

Я хотел сплюнуть, но удержался, конечно, и говорю:

— А что? Стою как стою, с ног не падаю.

И тут он двинулся на меня через всю комнату. Медленно, страшно. И не знаю я, чем бы это все кончилось, но тут Корней из своего угла, где он все это время сидел с бумажками, подает вдруг голос:

— Бронемастер, друг мой, полегче... не заезжайте...

И все. По опаленной морде прошла какая-то судорога, и господин старший бронемастер, не дойдя до меня, свернул к своему креслу. Готов. Скис Голубой Дракон. Это тебе не комендатура. И ухмыльнулся я всем своим одеревенелым лицом как только мог нагло. А сам думаю: ну, а если бы Корнея не было? Вышел бы Корней на минуту? Ударил бы он меня, и я бы его убил. Точно, убил бы. Руками.

Он повалился в свое кресло, придавил наконец в пепельнице эту сигаретку и говорит Корнею:

— Все-таки у вас здесь очень жарко, господин Корней... Я бы не отказался от чего-нибудь... а-а... освежающего.

— Соку? — предлагает Корней.

— Соку? А-а... нет. Если можно, чего-нибудь покрепче.

— Вина?

— Пожалуй.

На меня он больше не смотрит. Игнорирует. Берет у Корнея бокал и запускает в него свой обгорелый нос. Сосет. А я обалдел. То есть как это? Нет, конечно, всякое бывает... тем более разгром... разложение... Да нет! Это же Голубой Дракон! Настоящий! И вдруг у меня как пелена с глаз упала. Шнурок... вино... Змеиное молоко, да это же все липа!

Корней говорит:

— Ты не выпьешь, Гаг?

— Нет, — говорю. — Не выпью. И сам не выпью, и этому не советую... господину старшему бронемастеру.

И такое меня веселье злое разобрало, я чуть не расхохотался. Они оба на меня вылупились. А я подошел к этому горелому барину, отобрал у него бокал и говорю — мягко так, отечески поучаю:

— Голубые Драконы, — говорю, — вина не пьют.

Они вообще спиртного не пьют. У них, господин старший бронемастер, зарок: ни капли спиртного, пока хоть одна полосатая крыса оскверняет своим дыханием атмосферу Вселенной. Это раз. А теперь шнурочек... — Берусь я за этот знак боевой доблести, отстегиваю от пуговицы куртки и аккуратненько пускаю его вдоль рукава. — Шнурок доблести только по уставу вам положено пристегивать к третьей пуговице сверху. Никакой настоящий Дракон его не пристегивает. На гауптвахтах сидят, но не пристегивают. Это, значит, два.

Ах, какое я наслаждение испытывал. Как мне было легко и прекрасно! Оглядел я еще раз их, как они меня слушают, будто я сам пророк Гагура, вещающий из ямы истину господню, да и пошел себе на выход. На пороге я остановился и напоследок добавил:

— А при разговоре с младшим по чину, господин старший бронемастер, не велите себя все время величать полным титулом. Ошибки здесь большой, конечно, нет, только уважать вас не будут. Это не фронтовик, скажут, это тыловая крыса в форме фронтовика. И лицо обгорелое вам не поможет. Мало ли где люди обгорают...

И пошел. Сел у окошка, ручки на коленях сло-

жил — хорошо мне так, спокойно, как будто я большое дело сделал. Сижу, перебираю в голове, как все это было. Как Корней сначала только глазами хлопал, а потом подобрался весь, каждое мое слово ловит, шею вытянув, а у этого фальшивого бронемастера даже варежка открылась от внимания... Но, конечно, я не долго так себя тешил, потому что очень скоро пришло мне в голову, что на самом-то деле получилась какая-то чушь, получилось, что они засылают к нам шпиона, а я этому помогаю. Консультирую, значит. Как последняя купленная дрянь. Обрадовался, дурак! Разоблачил! Взяли бы его там, поставили бы к стенке, и делу конец... Какому делу? Вот тут-то все и начинается. Корней ведь тоже у нас сидел, и, наверное, не один год. Уцелел. А мог бы и не уцелеть. Что ж, хорошо бы это было, а? Корней ведь. Я уж не говорю о том, что гнили бы мои кости сейчас в джунглях... Не-ет, это все не так просто. Я ведь почему завелся? Меня этот Дракон завел. Мне ж на него смотреть тошно было. Раньше небось не тошнило, раньше пал бы я перед ним на колени, перед братом-храбрецом, сапоги бы ему чистил с гордостью, хвастался бы потом... Знаешь, я кому сапоги чистил? Старшему бронемастеру! Со шнуром!.. Нет-нет, разобраться

надо, разобраться...

Сидел я аж до самых сумерек и все разбирался, а потом пришел Корней, руку мне положил на плечо, прямо как тому... Дангу.

— Ну, — говорит, — дружище, спасибо тебе. Я так и чувствовал, что ты что-нибудь заметишь. Понимаешь, мы его в большой спешке готовили... Человека одного спасти надо. Большого вашего ученого. Есть подозрение, что он скрывается на западном берегу озера Заггута, а там сейчас бронечасть окопалась, и никому туда проходу нет. Только своих принимают. Так что считай: ты сегодня двух человек спас. Двух хороших людей. Одного вашего и одного нашего.

Ладно. Много он мне еще всякого наговорил. Прямо медом по сердцу. Я уж не знал, куда глаза девать, потому что, когда я их, значит, консультировал, у меня, натурально, и в мыслях не было кого-нибудь спасать. Просто от злорадства у меня все это получилось.

— Когда же он отбывает? — спрашиваю. Просто так спросил — поток Корнеева красноречия немножко притормозить.

— Утром, — отвечает. — В пять утра.

И тут до меня дошло. Эге, думаю. Вот и дождался.

— Отсюда? — спрашиваю. Уже не просто так.

— Да, — отвечает он. — С этой поляны.

Так.

— Угу, — говорю. — Надо бы мне его проводить, посмотреть напоследок. Может, еще чего замечу...

Корней засмеялся, снова потрепал меня по плечу.

— Как хочешь, — говорит. — Но лучше бы тебе поспать. Ты что-то последнее время совсем от режима отбился. Пойдем ужинать, и ложись-ка ты спать.

Ну, пошли мы ужинать. За ужином Корней был веселый, давно я его таким не видел. Рассказывал разные смешные истории из тех времен, когда работал он у нас в столице курьером в одном банке, как его гангстеры вербовали и что из этого вышло. Спросил он меня, где Драмба, почему его последние дни не видно. Я ему по-честному сказал, что Драмба у меня строит укрепрайон около прудов.

— Укрепрайон — это хорошо, — говорит он серьезно. — Значит, в крайнем случае будет где отсидеться. Погоди, я освобожусь, мы еще настоящую военную игру устроим, все равно ребят нужно будет тренировать...

Ну, поговорили мы про муштровку, про маневры; я смотрю, какой он ласковый да приветливый, а сам думаю: попросить его, что ли, еще разок? Добром. Отпусти, мол, меня домой, а? Нет, не отпустит. Он меня до тех пор не отпустит, пока точно не убедится, что я безопасен. А как его убедить, что я уже и так безопасен, когда я и сам не знаю этого?..

Расстались мы. Пожелал он мне спокойного сна, и пошел я к себе. Спать я, конечно, не стал. Так, прилег немножко, подремал вполглаза. А в три часа уже поднялся, стал готовиться. Готовился я так, как ни в какой поиск никогда еще не готовился. Жизнь моя должна была решиться этим утром, ребята. В четыре часа я уже был в саду и сидел в засаде. Время, как всегда в таких случаях, еле ползло. Но я был совершенно спокоен. Никакого мандража, ничего. Я просто знал, что должен эту игру выиграть и что по-другому быть просто не может. А время... Что ж, медленно там или быстро, а оно в конце концов всегда проходит.

Ровно в пять, только роса выпала, раздалось у меня над самым ухом знакомое хриплое мяуканье, ударило по кустам горячим ветром, зажегся над поляной первый огонь, и вот — он уже стоит.

Рядом. Так близко я его еще никогда не видел. Огромный, теплый, живой, и бока у него, оказывается, вроде бы даже шерстью покрыты и заметно шевелятся, пульсируют, дышат... Черт знает, что за машина. Не бывает таких машин.

Я переменил позицию, чтобы быть поближе к дорожке. Смотрю — идут. Впереди мой Голубой Дракон, шнурок у него болтается как положено, в руке стек, это они хорошо додумались: у них ведь если шнурок заслужил, то обязательно и стек, я и сам об этом позабыл. В порядке мой Дракон. Корней шагает за ним следом, и оба они молчат — видно, все уже сказано, остается только руки пожать или, как у них здесь принято, обняться и на дорогу благословить.

Я подождал, пока подошли они к «призраку» вплотную, чвакнул, раскрываясь, люк, — и тут я вышел из кустов и наставил на них свою машинку.

— Стоять не шевелясь!

Они разом повернулись ко мне и застыли. Я стоял на полусогнутых, приподняв ствол автомата, — это на тот случай, если кто-нибудь из них вдруг прыгнет на меня через все десять метров, которые нас разделяют, и тогда я встречу его в воздухе.

— Я хочу домой, Корней, — сказал я. — И вы меня сейчас туда заберете. Без всяких разговоров и без всяких отсрочек...

В рассветных сумерках лица их были очень спокойны, и ничего на них не было, кроме внимания и ожидания, что я еще скажу. И краем сознания я отметил, что Корней остался Корнеем, а Голубой Дракон не сбросил маску, остался Голубым Драконом, и оба они были опасны. Ох, как они были опасны!

— Или мы туда отправимся вместе, — сказал я, — или туда не отправится никто. Я вас тут обоих положу и сам лягу.

Сказал и замолчал. Жду. Нечего мне больше сказать. Они тоже молчат. Потом Голубой Дракон чуть поворачивает голову к Корнею и говорит:

— Этот мальчишка... а-а... совершенно забылся. Может быть, мне взять его с собой? Мне же нужен... а-а... денщик...

— Он не годится в денщики, — сказал Корней, и на лице его ни с того ни с сего вдруг появилось то самое выражение предсмертной тоски: как в госпитале.

Я даже растерялся.

— Мне надо домой! — сказал я. Будто прощения просил.

Но Корней уже был прежним.

— Кот, — сказал он. — Эх ты, котяра... гроза мышей!

Глава восьмая

Гаг продрался через последние заросли и вышел к дороге. Он оглянулся. Ничего уже нельзя было разобрать за путаницей гнилых ветвей. Лил проливной дождь. Смрадом несло из кювета, где в глиняной жиже кисли кучи какого-то зловещего черного тряпья. Шагах в двадцати, на той стороне дороги, торчал, завалившись бортом в трясину, обгорелый бронеход — медный ствол огнемета нелепо целился в низкие тучи.

Гаг перепрыгнул через кювет и по обочине зашагал к городу. Дороги как таковой не было. Была река жидкой глины, и по этой жиже навстречу, из города, поминутно увязая, тащились запряженные изнемогающими волами расхлябанные телеги на огромных деревянных колесах, и закутанные до глаз женщины, поминутно оскальзываясь, плача и скверно ругаясь, неистово молотили волов по ребристым бокам, а на телегах, погребенные среди мокрых узлов, среди торчащих ножками стульев и столов, жались друг к другу бледные золотушные ребятишки, как обезьяны под дождем, — их было много, десятки на каждой телеге, и не было в этом плачевном

обозе ни одного мужчины...

На сапогах уже налипло по пуду грязи, дождь пропитал куртку, лил за воротник, струился по лицу. Гаг шагал и шагал, а навстречу тянулись беженцы, сгибались под мокрыми тюками и ободранными чемоданами, толкали перед собой тележки с жалкой поклажей, молча, выбиваясь из последних сил, давно, без остановок. И какой-то старик со сломанным костылем на коленях сидел прямо в грязи и монотонно повторял без всякой надежды: «Возьмите, ради бога... Возьмите, ради бога...» И на покосившемся телеграфном столбе висел какой-то чернолицый человек со скрученными за спиной руками...

Он был дома.

Он миновал застрявший в грязи военный санитарный автофургон. Водитель в грязном солдатском балахоне, в засаленной шапке блином, приоткрыв дверцу, надсадно орал что-то неслышное за ревом двигателя, а у заднего борта в струях грязи, летящих из-под буксующих колес, бестолково и беспомощно суетились двое — маленький военврач с бакенбардами и молоденькая женщина в форме, видимо медсестра. Проходя мимо, Гаг мельком подумал, что только этот автомобиль направляется в город навстречу общему потоку,

да и он вот застрял...

— Молодой человек! — услышал он. — Стойте! Я вам приказываю!

Он остановился и повернул голову. Военврач, оскальзываясь, нелепо размахивая руками, бежал к нему, а следом кабаном пер водитель, совершенно озверелый, красно-лиловый, квадратный, с прижатыми к бокам огромными кулаками.

— Немедленно извольте нам помочь! — фальцетом закричал врач, подбегая. Весь он был залит коричневой жижей, и непонятно было, что он мог видеть сквозь заляпанные стекляшки своего пенсне. — Немедленно! Я не позволяю вам отказываться!

Гаг молча смотрел на него.

— Поймите, там чума! — кричал врач, тыча грязной рукой в сторону города. — Я везу сыворотку! Почему никто не хочет мне помочь?

Что в нем было? Старенький, немощный, грязный... А Гаг почему-то вдруг увидел перед собой залитые солнцем комнаты, огромных, красивых, чистых людей в комбинезонах и пестрых рубашках и как вспыхивают огни «призраков» над круглой поляной... Это было словно наваждение.

— Р-разговаривать с ним, с заразой! — прохрипел водитель, отодвигая врача. Страшно сопя, он

ухватил автомат за ствол, выдернул его у Гага из-под мышки и с хрюканьем зашвырнул в лес.
— Вырядился, субчик, змеиное молоко... А ну!

Он с размаху влепил Гагу затрещину, и доктор сразу же закричал:

— Прекратите! Немедленно прекратите!

Гаг покачнулся, но устоял. Он даже не взглянул на водителя. Он все глядел на врача и медленно стирал с лица след удара. А врач уже тащил его за рукав.

— Прошу вас, прошу... — бормотал он. — У меня двадцать тысяч ампул. Прошу вас понять... Двадцать тысяч! Сегодня еще не поздно...

Да нет, это был алаец. Обыкновенный алаец-южанин... Наваждение. Они подошли к машине. Водитель, бурча и клокоча, полез в кабину, гаркнул оттуда: «Давай!» — и сейчас же заревел двигатель, и Гаг, встав между девушкой и врачом, изо всех сил уперся плечом в борт, воняющий мокрым железом. Завывал двигатель, грязь летела фонтаном, а он все нажимал, толкал, давил и думал: «Дома. Дома...»

ДАЛЕКАЯ РАДУГА

Глава 1

Танина ладонь, теплая и немного шершавая, лежала у него на глазах, и больше ему ни до чего не было дела. Он чувствовал горько-соленый запах пыли, скрипели спросонок степные птицы, и сухая трава колола и щекотала затылок. Лежать было жестко и неудобно, шея чесалась нестерпимо, но он не двигался, слушая тихое, ровное дыхание Тани. Он улыбался и радовался темноте, потому что улыбка была, наверное, до неприличия глупой и довольной.

Потом не к месту и не ко времени в лаборатории на вышке заверещал сигнал вызова. Пусть! Не первый раз. В этот вечер все вызовы не к месту и не ко времени.

— Робик, — шепотом сказала Таня. — Слышишь?

— Совершенно ничего не слышу, — пробормотал Роберт.

Он помигал, чтобы пощекотать Танину ладонь ресницами. Все было далеко-далеко и совершенно не нужно. Патрик, вечно обалделый от недосыпания, был далеко. Маляев со своими манерами Ледяного Сфинкса был далеко. Весь их мир посто-

янной спешки, постоянных заумных разговоров, вечного недовольства и озабоченности, весь этот внечувственный мир, где презирают ясное, где радуются только непонятному, где люди забыли, что они мужчины и женщины, — все это было далеко-далеко... Здесь была только ночная степь, на сотни километров одна только пустая степь, поглотившая жаркий день, теплая, полная темных, возбуждающих запахов.

Снова заверещал сигнал.

— Опять, — сказала Таня.

— Пускай. Меня нет. Я помер. Меня съели землеройки. Мне и так хорошо. Я тебя люблю. Никуда не хочу идти. С какой стати? А ты бы пошла?

— Не знаю.

— Это потому, что ты любишь недостаточно. Человек, который любит достаточно, никогда никуда не ходит.

— Теоретик, — сказала Таня.

— Я не теоретик. Я практик. И, как практик, я тебя спрашиваю: с какой стати я вдруг куда-то пойду? Любить надо уметь. А вы не умеете. Вы только рассуждаете о любви. Вы не любите любовь. Вы любите о ней рассуждать. Я много болтаю?

— Да. Ужасно!

Он снял ее руку с глаз и положил себе на губы. Теперь он видел небо, затянутое облаками, и красные опознавательные огоньки на фермах вышки на двадцатиметровой высоте. Сигнал верещал непрерывно, и Роберт представил себе сердитого Патрика, как он нажимает на клавишу вызова, обиженно выпятив добрые толстые губы.

— А вот я тебя сейчас выключу, — сказал Роберт невнятно. — Танек, хочешь, он у меня замолчит навеки? Пусть уж все будет навеки. У нас будет любовь навеки, а он замолчит навеки.

В темноте он видел ее лицо — светлое, с огромными блестящими глазами. Она отняла руку и сказала:

— Давай я с ним поговорю. Я скажу, что я галлюцинация. Ночью всегда бывают галлюцинации.

— У него никогда не бывает галлюцинаций. Такой уж это человек, Танечка. Он никогда себя не обманывает.

— Хочешь, я скажу тебе, какой он? Я очень люблю угадывать характеры по видеофонным звонкам. Он человек упрямый, злой и бестактный. И он ни за какие коврижки не станет сидеть с женщиной ночью в степи. Вот он какой — как на ладони. И про ночь он знает только, что ночью темно.

— Нет, — сказал справедливый Роберт. — Насчет коврижек верно. Но зато он добрый, мягкий и рохля.

— Не верю, — сказала Таня. — Ты только послушай. — Они послушали. — Разве это рохля? Это явный «tenacem propositi virum»2.

— Правда? Я ему скажу.

— Скажи. Пойди и скажи.

— Сейчас?

— Немедленно.

Роберт встал, а она осталась сидеть, обхватив руками колени.

— Только поцелуй меня сначала, — попросила она.

В кабине лифта он прислонился лбом к холодной стене и некоторое время стоял так, с закрытыми глазами, смеясь и трогая языком губы. В голове не было ни единой мысли, только какой-то торжествующий голос бессвязно вопил: «Любит!.. Меня!.. Меня любит!.. Вот вам, вы!.. Меня!..» Потом он обнаружил, что кабина давно остановилась, и попытался открыть дверь. Дверь нашлась не сразу, а в лаборатории оказалось множество лишней мебели: он ронял стулья, сдвигал столы и ударялся о шкафы до тех пор, пока не сообразил, что забыл включить свет. Заливаясь

смехом, он нащупал выключатель, поднял кресло и присел к видеофону.

Когда на экране появился сонный Патрик, Роберт приветствовал его по-дружески:

— Добрый вечер, поросеночек! И чего это тебе не спится, синичка ты моя, трясогузочка?

Патрик озадаченно глядел на него, часто помаргивая воспаленными веками.

— Что же ты молчишь, песик? Верещал-верещал, оторвал меня от важных занятий, а теперь молчишь!

Патрик наконец открыл рот.

— У тебя... Ты... — Он постучал себя по лбу, и на лице его появилось вопросительное выражение. — А?..

— Еще как! — воскликнул Роберт. — Одиночество! Тоска! Предчувствия! И мало того — галлюцинации! Чуть не забыл!

— Ты не шутишь? — серьезно спросил Патрик.

— Нет! На посту не шутят. Но ты не обращай внимания и приступай.

Патрик неуверенно моргал.

— Не понимаю, — признался он.

— Да где уж тебе, — злорадно сказал Роберт. — Это эмоции, Патрик! Знаешь?.. Как бы это тебе попроще, попонятнее?.. Ну, не вполне алгоритми-

руемые возмущения в сверхсложных логических комплексах. Воспринял?

— Ага, — сказал Патрик. Он поскреб пальцами подбородок, сосредоточиваясь. — Почему я тебе звоню, Роб? Вот в чем дело: опять где-то утечка. Может быть, это и не утечка, но, может быть, утечка. На всякий случай проверь ульмотроны. Какая-то странная сегодня Волна...

Роберт растерянно посмотрел в распахнутое окно. Он совсем забыл про извержение. Оказывается, я сижу здесь ради извержений. Не потому, что здесь Таня, а потому что где-то там — Волна.

— Что ты молчишь? — терпеливо спросил Патрик.

— Смотрю, как там Волна, — сердито сказал Роберт.

Патрик вытаращил глаза.

— Ты видишь Волну?

— Я? С чего ты взял?

— Ты только что сказал, что смотришь.

— Да, смотрю!

— Ну?

— И все. Чего тебе от меня надо?

Глаза у Патрика опять посоловели.

— Я тебя не понял, — сказал он. — О чем это мы говорили? Да! Так ты непременно проверь

ульмотроны.

— Ты понимаешь, что говоришь? Как я могу проверить ульмотроны?

— Как-нибудь, — сказал Патрик. — Хотя бы подключения... Мы совсем потерялись. Я тебе объясню сейчас. Сегодня в институте послали к Земле массу... Впрочем, это ты все знаешь. — Патрик помахал перед лицом растопыренными пальцами. — Мы ждали Волну большой мощности, а регистрируется какой-то жиденький фонтанчик. Понимаешь, в чем соль? Жиденький такой фонтанчик... Фонтанчик... — Он придвинулся к своему видеофону вплотную, так что на экране остался только огромный, тусклый от бессонницы глаз. Глаз часто мигал. — Понял? — оглушительно загремело в репродукторе. — Аппаратура у нас регистрирует квази-нуль-поле. Счетчик Юнга дает минимум... Можно пренебречь. Поля ульмотронов перекрываются так, что резонирующая поверхность лежит в фокальной гиперплоскости, представляешь? Квази-нуль-поле двенадцатикомпонентное, и приемник свертывает его по шести четным компонентам. Так что фокус шестикомпонентный.

Роберт подумал о Тане, как она терпеливо сидит внизу и ждет. Патрик все бубнил, при-

двигаясь и отодвигаясь, голос его то громыхал, то становился еле слышен, и Роберт, как всегда, очень скоро потерял нить его рассуждений. Он кивал, картинно морщил лоб, подымал и опускал брови, но он решительно ничего не понимал и с невыносимым стыдом думал, что Таня сидит там, внизу, уткнув подбородок в колени, и ждет, пока он закончит свой важный и непостижимый для непосвященных разговор с ведущими нуль-физиками планеты, пока он не выскажет ведущим нуль-физикам свою, совершенно оригинальную точку зрения по вопросу, из-за которого его беспокоят так поздно ночью, и пока ведущие нуль-физики, удивляясь и покачивая головами, не занесут эту точку зрения в свои блокноты.

Тут Патрик замолчал и поглядел на него со странным выражением. Роберт хорошо знал это выражение, оно преследовало его всю жизнь. Разные люди — и мужчины и женщины — смотрели на него так. Сначала смотрели равнодушно или ласково, затем выжидающе, потом с любопытством, но рано или поздно наступал момент, когда на него начинали смотреть *вот так*. И каждый раз он не знал, что ему делать, что говорить и как держать себя. И как жить дальше.

Он рискнул.

— Пожалуй, ты прав, — озабоченно заявил он. — Однако все это следует тщательно продумать.

Патрик опустил глаза.

— Продумай, — сказал он, неловко улыбаясь. — И не забудь, пожалуйста, проверить ульмотроны.

Экран погас, и наступила тишина. Роберт сидел сгорбившись, вцепившись обеими руками в холодные шероховатые подлокотники. Кто-то когда-то сказал, что дурак, понимающий, что он дурак, уже тем самым не дурак. Может быть, когда-нибудь так оно и было. Но сказанная глупость — всегда глупость, а я никак по-другому не могу. Я очень интересный человек: все, что я говорю, старо, все, о чем я думаю, банально, все, что мне удалось сделать, сделано в позапрошлом веке. Я не просто дубина, я дубина редкостная, музейная, как гетманская булава. Он вспомнил, как старый Ничепоренко поглядел однажды с задумчивостью в его, Роберта, преданные глаза и промолвил: «Милый Скляров, вы сложены как античный бог. И, как всякий бог, простите меня, вы совершенно не совместимы с наукой...»

Что-то треснуло. Роберт перевел дух и с изумлением уставился на обломок подлокотника, зажатый в белом кулаке.

— Да, — сказал он вслух. — Это я могу. Патрик не может. Ничепоренко тоже не может. Один я могу.

Он положил обломок на стол, встал и подошел к окну. За окном было темно и жарко. Может быть, мне уйти, пока не выгнали? Да только как я буду без них? И без этого удивительного чувства по утрам, что, может быть, сегодня лопнет наконец эта невидимая и непроницаемая оболочка в мозгу, из-за которой я не такой, как они, и я тоже начну понимать их с полуслова и вдруг увижу в каше логико-математических символов нечто совершенно новое, и Патрик похлопает меня по плечу и скажет радостно: «Эт-то здорово! Как это ты?», а Маляев нехотя выдавит: «Умело, умело... Не лежит на поверхности...» И я начну уважать себя.

— Урод, — пробормотал он.

Надо было проверить ульмотроны, а Таня пусть посидит и посмотрит, как это делается. Хорошо еще, что она не видела моей физиономии, когда погас экран.

— Танюшка, — позвал он в окно.

— Ау?

— Танек, ты знаешь, что в прошлом году Роджер ваял с меня «Юность Мира»?

Таня, помолчав, негромко сказала:
— Подожди, я поднимусь к тебе.

Роберт знал, что ульмотроны в порядке, он это чувствовал. Но все же он решил проверить все, что можно было проверить в лабораторных условиях, во-первых, для того, чтобы отдышаться после разговора с Патриком, а во-вторых, потому, что он умел и любил работать руками. Это всегда развлекало его и на какое-то время давало ему то радостное ощущение собственной значимости и полезности, без которого совершенно невозможно жить в наше время.

Таня — милый, деликатный человек — сначала молча сидела поодаль, а потом так же молча принялась помогать ему. В три часа ночи снова позвонил Патрик, и Роберт сказал ему, что никакой утечки нет. Патрик был обескуражен. Некоторое время он сопел перед экраном, подсчитывая что-то на клочке бумаги, потом скатал бумагу в трубочку и по обыкновению задал риторический вопрос. «И что мы по этому поводу должны думать, Роб?» — спросил он.

Роберт покосился на Таню, которая только что вышла из душевой и тихонько присела сбоку от видеофона, и осторожно ответил, что вообще не видит в этом ничего особенного. «Обычный оче-

редной фонтан, — сказал он. — После вчерашней нуль-транспортировки был такой. И на той неделе такой же». Затем он подумал и добавил, что мощность фонтана соответствует примерно ста граммам транспортированной массы. Патрик все молчал, и Роберту показалось, что он колеблется. «Все дело в массе, — сказал Роберт. Он посмотрел на счетчик Юнга и совсем уже уверенно повторил: — Да, сто — сто пятьдесят граммов. Сколько сегодня запустили?..» — «Двадцать килограммов», — ответил Патрик. «Ах, двадцать кило... Да, тогда не получается. — И тут Роберта осенило. — А по какой формуле вы подсчитывали мощность?» — спросил он. «По Драмбе», — безразлично ответил Патрик. Роберт так и думал: формула Драмбы оценивала мощность с точностью до порядка, а у Роберта давно уже была припасена своя собственная, тщательно выверенная и выписанная и даже обведенная цветной рамочкой универсальная формула оценки мощности извержения вырожденной материи. И сейчас, кажется, наступил самый подходящий момент, чтобы продемонстрировать Патрику все ее преимущества.

Роберт уже взялся было за карандаш, но тут Патрик вдруг уплыл с экрана. Роберт ждал, закусив губу. Кто-то спросил: «Ты собираешься выклю-

чать?» Патрик не отзывался. К экрану подошел Карл Гофман, рассеянно-ласково кивнул Роберту и позвал в сторону: «Патрик, ты еще будешь говорить?» Голос Патрика пробубнил издалека: «Ничего не понимаю. Придется этим заняться обстоятельно». — «Я спрашиваю, ты разговаривать будешь еще?» — повторил Гофман. «Да нет же, нет...» — раздраженно откликнулся Патрик. Тогда Гофман, виновато улыбаясь, сказал: «Прости, Роба, мы здесь спать укладываемся. Я выключу, а?»

Стиснув зубы так, что затрещало за ушами, Роберт нарочито медленным движением положил перед собой лист бумаги, несколько раз подряд написал заветную формулу, пожал плечами и бодро сказал:

— Я так и думал. Все ясно. Теперь будем пить кофе.

Он был отвратителен себе до последней степени и сидел перед шкафчиком с посудой до тех пор, пока снова не почувствовал себя в состоянии владеть лицом. Таня сказала:

— Кофе свари ты, ладно?

— Почему я?

— Ты вари, а я посмотрю.

— Что это ты?

— Люблю смотреть, как ты работаешь. Ты очень

совершенно работаешь. Ты не делаешь ни одного лишнего движения.

— Как кибер, — сказал он, но ему было приятно.

— Нет. Не как кибер. Ты работаешь совершенно. А совершенное всегда радует.

— «Юность Мира», — пробормотал он. Он был красен от удовольствия.

Он расставил чашки и подкатил столик к окну. Они сели, и он разлил кофе. Таня сидела боком к нему, положив ногу на ногу. Она была замечательно красива, и его опять охватили какое-то щенячье изумление и растерянность.

— Таня, — сказал он. — Этого не может быть. Ты галлюцинация.

Она улыбалась.

— Можешь смеяться сколько угодно. Я и без тебя знаю, что у меня сейчас жалкий вид. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне хочется сунуть голову тебе под мышку и вертеть хвостом. И чтобы ты похлопала меня по спине и сказала: «Фу, глупый, фу!..»

— Фу, глупый, фу! — сказала Таня.

— А по спине?

— А по спине потом. И голову под мышку потом.

— Хорошо, потом. А сейчас? Хочешь, я сделаю себе ошейник? Или намордник...

— Не надо намордник, — сказала Таня. — Зачем ты мне в наморднике?

— А зачем я тебе без намордника?

— Без намордника ты мне нравишься.

— Слуховая галлюцинация, — сказал Роберт. — Чем это я могу тебе нравиться?

— У тебя ноги красивые.

Ноги были слабым местом Роберта. У него они были мощные, но слишком толстые. Ноги «Юности Мира» были изваяны с Карла Гофмана.

— Я так и думал, — сказал Роберт. Он залпом выпил остывший кофе. — Тогда я скажу, за что я люблю тебя. Я эгоист. Может быть, я последний эгоист на земле. Я люблю тебя за то, что ты единственный человек, способный привести меня в хорошее настроение.

— Это моя специальность, — сказала Таня.

— Замечательная специальность! Плохо только, что от тебя приходят в хорошее настроение и стар и млад. Особенно млад. Какие-то совершенно посторонние люди. С нормальными ногами.

— Спасибо, Роби.

— В последний раз в Детском я заметил одного малька. Зовут его Валя... или Варя... Этакий бело-

брысый, конопатый, с зелеными глазами.

— Мальчик Варя, — сказала Таня.

— Не придирайся. Я обвиняю. Этот Варя своими зелеными глазами смел на тебя смотреть так, что у меня руки чесались.

— Ревность оголтелого эгоиста.

— Конечно, ревность.

— А теперь представь, как ревнует он.

— Что-о?

— И представь, какими глазами он смотрел на тебя. На двухметровую «Юность Мира». Атлет, красавец, физик-нулевик несет воспитательницу на плече, а воспитательница тает от любви...

Роберт счастливо засмеялся.

— Танюша, как же так? Мы же были тогда одни!

— Это вы были одни. Мы в Детском никогда не бываем одни.

— Да-а... — протянул Роберт. — Помню я эти времена, помню. Хорошенькие воспитательницы и мы, пятнадцатилетние балбесы... Я до того доходил, что бросал цветы в окно. Слушай, и часто это бывает?

— Очень, — задумчиво сказала Таня. — Особенно часто с девочками. Они развиваются раньше. А воспитатели у нас, знаешь, какие? Звездолет-

чики, герои... Это пока тупик в нашем деле.

Тупик, подумал Роберт. И она, конечно, очень рада этому тупику. Все они радуются тупикам. Для них это отличный предлог, чтобы ломать стены. Так и ломают всю жизнь одну стену за другой.

— Таня, — сказал он. — Что такое дурак?

— Ругательство, — ответила Таня.

— А еще что?

— Больной, которому не помогают никакие лекарства.

— Это не дурак, — возразил Роберт. — Это симулянт.

— Я не виновата. Это японская пословица: «Нет лекарства, которое излечивает дурака».

— Ага, — сказал Роберт. — Значит, влюбленный тоже дурак. «Влюбленный болен, он неисцелим». Ты меня утешила.

— А разве ты влюблен?

— Я неисцелим.

Тучи разошлись и открыли звездное небо. Близилось утро.

— Смотри, вон Солнце, — сказала Таня.

— Где? — спросил Роберт без особого энтузиазма.

Таня выключила свет, села к нему на колени

и, прижавшись щекой к его щеке, стала показывать.

— Вот четыре яркие звезды — видишь? Это Коса Красавицы. Левее самой верхней сла-абенькая звездочка. Вот там мы с вами, девочки, родились. Я раньше, вы позже. Это наше Солнце. Оленька, правда, родилась здесь, на Радуге, но ее мама и папа родились тоже там. И через год в летние каникулы мы всей группой туда слетаем.

— Ой, Татьяна Александровна! — запищал Роберт. — Мы правда полетим? Ой! Ай! — Он поцеловал ее в щеку. — Ой, как мы все полетим! На Д-сигма-звездолете! А мы все полетим? Ой, а можно я возьму с собой куклу? Ай, а мальчик Варя целуется! — И он поцеловал ее еще раз.

Она обняла его за шею.

— Мои девочки не играют в куклы.

Роберт поднял ее на руки, встал, осторожно обогнул столик и только тогда в зеленоватом сумеречном свете приборов увидел длинную человеческую фигуру в кресле перед рабочим столом. Он вздрогнул и остановился.

— Я думаю, теперь можно включить свет, — сказал человек, и Роберт сразу понял, кто это.

— И появился третий, — сказала Таня. — Пустика меня, Роб.

Она высвободилась и нагнулась, ища упавшую туфлю.

— Знаете что, Камилл, — раздраженно начал Роберт.

— Знаю, — сказал Камилл.

— Чудеса, — проговорила Таня, надевая туфлю. — Никогда не поверю, что у нас плотность населения один человек на миллион квадратных километров. Хотите кофе?

— Нет, благодарю вас, — сказал Камилл.

Роберт включил свет. Камилл, как всегда, сидел в очень неудобной, удивительно неприятной для глаз позе. Как всегда, на нем была белая пластмассовая каска, закрывающая лоб и уши, и, как всегда, лицо его выражало снисходительную скуку, и ни любопытства, ни смущения не было в его круглых немигающих глазах. Роберт, жмурясь от света, спросил:

— Вы хоть недавно здесь?

— Недавно. Но я не смотрел на вас и не слушал, что вы говорите.

— Спасибо, Камилл, — весело сказала Таня. Она причесывалась. — Вы очень тактичны.

— Бестактны только бездельники, — сказал Камилл.

Роберт разозлился.

— Между прочим, Камилл, что вам здесь надо? И что это за надоевшая манера появляться как привидение?

— Отвечаю по порядку, — спокойно произнес Камилл. Это тоже была его манера — отвечать по порядку. — Я приехал сюда потому, что начинается извержение. Вы отлично знаете, Роби, — он даже глаза закрыл от скуки, — что я приезжаю сюда каждый раз, когда перед фронтом вашего поста начинается извержение. Кроме того... — Он открыл глаза и некоторое время молча смотрел на приборы. — Кроме того, вы мне симпатичны, Роби.

Роберт покосился на Таню. Таня слушала очень внимательно, замерев с поднятой расческой.

— Что касается моих манер, — продолжал Камилл монотонно, — то они странны. Манеры любого человека странны. Естественными кажутся только собственные манеры.

— Камилл, — сказала Таня неожиданно. — А сколько будет шестьсот восемьдесят пять умножить на три миллиона восемьсот тысяч пятьдесят три?

К своему огромному изумлению, Роберт увидел, как на лице Камилла проступило нечто похожее на улыбку. Зрелище было жутковатое. Так мог бы

улыбаться счетчик Юнга.

— Много, — ответил Камилл. — Что-то около трех миллиардов.

— Странно, — вздохнула Таня.

— Что «странно»? — тупо спросил Роберт.

— Точность маленькая, — объяснила Таня. — Камилл, скажите, почему бы вам не выпить чашку кофе?

— Благодарю вас, я не люблю кофе.

— Тогда до свиданья. До Детского лететь четыре часа. Робик, ты меня проводишь вниз?

Роберт кивнул и с досадой посмотрел на Камилла. Камилл разглядывал счетчик Юнга. Словно в зеркало гляделся.

Как обычно на Радуге, солнце взошло на совершенно чистое небо — маленькое белое солнце, окруженное тройным галосом. Ночной ветер утих, и стало еще более душно. Желто-коричневая степь с проплешинами солончаков казалась мертвой. Над солончаками возникли зыбкие туманные холмики — пары летучих солей.

Роберт закрыл окно и включил кондиционирование, затем не торопясь и со вкусом починил подлокотник. Камилл мягко и бесшумно расхаживал по лаборатории, поглядывая в окно, выходившее на север. Видимо, ему совсем не бы-

ло жарко, а Роберту жарко было даже смотреть на него — на его толстую белую куртку, на длинные белые брюки, на круглую блестящую каску. Такие каски надевали иногда во время экспериментов нуль-физики: они предохраняли от излучений.

Впереди был целый день дежурства, двенадцать часов палящего солнца над крышей, пока не рассосутся извержения и не исчезнут все последствия вчерашнего эксперимента. Роберт сбросил куртку и брюки и остался в одних трусах. Кондиционирование работало на пределе, и ничего нельзя было сделать.

Хорошо бы плеснуть на пол жидкого воздуха. Жидкий воздух есть, но его мало, и он нужен для генератора. Придется страдать, подумал Роберт покорно. Он снова уселся перед приборами. Как славно, что хотя бы в кресле прохладно и обшивка совсем не липнет к телу!

В конце концов, говорят, что главное — это быть на своем месте. Мое место здесь. И я не хуже других выполняю свои маленькие обязанности. И в конце концов, не моя вина, что я не способен на большее. И, между прочим, дело даже не в том, на месте я или нет. Просто я не могу уйти отсюда, если бы даже и захотел. Я просто прикован к этим людям, которые так меня раздражают, и

к этой грандиозной затее, в которой я так мало понимаю.

Он вспомнил, как еще в школе поразила его эта задача: мгновенная переброска материальных тел через пропасти пространства. Эта задача была поставлена вопреки всему, вопреки всем сложившимся представлениям об абсолютном пространстве, о пространстве-времени, о каппа-пространстве... Тогда это называлось «проколом Римановой складки». Потом «гиперпросачиванием», «сигма-просачиванием», «нуль-сверткой». И, наконец, нуль-транспортировкой или, коротко, «нуль-Т». «Нуль-Т-установка». «Нуль-Т-проблематика». «Нуль-Т-испытатель». Нуль-физик. «Где вы работаете?» — «Я нуль-физик». Изумленно-восхищенный взгляд. «Слушайте, расскажите, пожалуйста, что это такое — нуль-физика? Я никак не могу понять». — «Я тоже». Н-да...

В общем-то кое-что рассказать было бы можно. И об этой поразительной метаморфозе элементарных законов сохранения, когда нуль-переброска маленького платинового кубика на экваторе Радуги вызывает на полюсах ее — почему-то именно на полюсах! — гигантские фонтаны вырожденной материи, огненные гейзеры, от которых слепнут, и страшную черную Волну,

смертельно опасную для всего живого...

И о свирепых, пугающих своей непримиримостью схватках в среде самих нуль-физиков, об этом непостижимом расколе среди замечательных людей, которым, казалось бы, работать и работать плечом к плечу, но они таки раскололись (хотя знают об этом немногие), и если Этьен Ламондуа упрямо ведет нуль-физику в русле нуль-транспортировки, то школа молодых считает самым важным в нуль-проблеме Волну, этого нового джинна науки, рвущегося из бутылки.

И о том, что по неясным причинам до сих пор никак не удается осуществить нуль-транспортировку живой материи, и несчастные собаки, вечные мученицы, прибывают на финиш комьями органического шлака... И о нуль-перелетчиках, об этой «ревущей десятке» во главе с великолепным Габой, об этих здоровых, сверхтренированных ребятах, которые вот уже три года слоняются по Радуге в постоянной готовности войти в стартовую камеру вместо собаки...

— Скоро мы расстанемся, Роби, — сказал вдруг Камилл.

Задремавший было Роберт встрепенулся. Камилл стоял спиной к нему у северного окна. Роберт выпрямился и провел рукой по лицу. Ла-

донь стала мокрой.

— Почему? — спросил он.

— Наука. Как это безнадежно, Роби!

— Я это давно знаю, — проворчал Роберт.

— Для вас наука — это лабиринт. Тупики, темные закоулки, внезапные повороты. Вы ничего не видите, кроме стен. И вы ничего не знаете о конечной цели. Вы заявили, что ваша цель — дойти до конца бесконечности, то есть вы попросту заявили, что цели нет. Мера вашего успеха не путь до финиша, а путь от старта. Ваше счастье, что вы не способны реализовать абстракции. Цель, вечность, бесконечность — это только лишь слова для вас. Абстрактные философские категории. В вашей повседневной жизни они ничего не значат. А вот если бы вы увидели весь этот лабиринт сверху...

Камилл замолчал. Роберт подождал и спросил:

— А вы видели?

Камилл не ответил, и Роберт решил не настаивать. Он вздохнул, положил подбородок на кулаки и закрыл глаза. Человек говорит и действует, думал он. И все это внешние проявления каких-то процессов в глубине его натуры. У большинства людей натура довольно мелкая, и поэтому любые ее движения немедленно про-

являются внешне, как правило, в виде пустой болтовни и бессмысленного размахивания руками. А у таких людей, как Камилл, эти процессы должны быть очень мощными, иначе они не пробьются к поверхности. Заглянуть бы в него хоть одним глазком. Роберту представилась зияющая бездна, в глубине которой стремительно проносятся бесформенные фосфоресцирующие тени.

Его никто не любит. Его все знают — нет на Радуге человека, который не знал бы Камилла, — но его никто-никто не любит. В таком одиночестве я бы сошел с ума, а Камилла это, кажется, совершенно не интересует. Он всегда один. Неизвестно, где он живет. Он внезапно появляется и внезапно исчезает. Его белый колпак видят то в Столице, то в открытом море; и есть люди, которые утверждают, что его неоднократно видели одновременно и там и там. Это, разумеется, местный фольклор, но вообще все, что говорят о Камилле, звучит странным анекдотом. У него странная манера говорить «я» и «вы». Никто никогда не видел, как он работает, но время от времени он является в Совет и говорит там непонятные вещи. Иногда его удается понять, и в таких случаях никто не может возразить ему. Ламондуа как-то сказал, что рядом с Камиллом

он чувствует себя глупым внуком умного деда. Вообще впечатление такое, будто все физики на планете от Этьена Ламондуа до Роберта Склярова пребывают на одном уровне...

Роберт почувствовал, что еще немного, и он сварится в собственном поту. Он поднялся и направился под душ. Он стоял под ледяными струями, пока кожа от холода не покрылась пупырышками и не пропало желание забраться в холодильник и заснуть.

Когда он вернулся в лабораторию, Камилл разговаривал с Патриком. Патрик морщил лоб, растерянно шевелил губами и смотрел на Камилла жалобно и заискивающе. Камилл скучно и терпеливо говорил:

— Постарайтесь учесть все три фактора. Все три фактора сразу. Здесь не нужна никакая теория, только немного пространственного воображения. Нуль-фактор в подпространстве и обеих временны´х координатах. Не можете?

Патрик медленно помотал головой. Он был жалок. Камилл подождал минуту, затем пожал плечами и выключил видеофон. Роберт, растираясь грубым полотенцем, сказал решительно:

— Зачем же так, Камилл? Это же грубо. Это оскорбляет.

Камилл снова пожал плечами. Это получалось у него так, будто голова его, придавленная каской, ныряла куда-то в грудь и снова выскакивала наружу.

— Оскорбляет? — сказал он. — А почему бы и нет?

Ответить на это было просто нечего. Роберт инстинктивно чувствовал, что спорить с Камиллом на моральные темы бесполезно. Камилл просто не поймет, о чем идет речь.

Он повесил полотенце и стал готовить завтрак. Они молча поели. Камилл удовольствовался кусочком хлеба с джемом и стаканом молока. Камилл всегда очень мало ел. Потом он сказал:

— Роби, вы не знаете, они отправили «Стрелу»?

— Позавчера, — сказал Роберт.

— Позавчера... Это плохо.

— А зачем вам «Стрела», Камилл?

Камилл сказал равнодушно:

— Мне «Стрела» не нужна.

Глава 2

На окраине Столицы Горбовский попросил остановиться. Он вылез из машины и сказал:

— Очень хочется прогуляться.

— Пойдемте, — сказал Марк Валькенштейн и тоже вылез.

На прямом блестящем шоссе было пусто, вокруг желтела и зеленела степь, а впереди сквозь сочную зелень земной растительности проглядывали разноцветными пятнами стены городских зданий.

— Слишком жарко, — возразил Перси Диксон. — Нагрузка на сердце.

Горбовский сорвал у обочины и поднес к лицу цветочек.

— Люблю, когда жарко, — сказал он. — Пойдемте с нами, Перси. Вы совсем обрюзгли.

Перси захлопнул дверцу.

— Как хотите. Если говорить честно, я ужасно устал от вас обоих за последние двадцать лет. Я старый человек, и мне хочется немножко отдохнуть от ваших парадоксов. И будьте любезны, не подходите ко мне на пляже.

— Перси, — сказал Горбовский, — поезжайте

лучше в Детское. Я, правда, не знаю, где это, но там детишки, наивный смех, простота нравов... «Дядя! — закричат они. — Давай играть в мамонта!»

— Только берегите бороду, — добавил Марк, осклабясь. — Они на ней повиснут.

Перси что-то буркнул себе под нос и умчался. Марк и Горбовский перешли на тропинку и неторопливо двинулись вдоль шоссе.

— Стареет бородач, — сказал Марк. — Вот и мы ему уже надоели.

— Да ну что вы, Марк, — сказал Горбовский. Он вытащил из кармана проигрыватель. — Ничего мы ему не надоели. Просто он устал. И потом он разочарован. Шутка сказать — человек потратил на нас двадцать лет: уж так ему хотелось узнать, как влияет на нас космос. А он почему-то не влияет... Я хочу Африку. Где моя Африка? Почему у меня всегда все записи перепутаны?

Он брел по тропинке следом за Марком, с цветком в зубах, настраивая проигрыватель и поминутно спотыкаясь. Потом он нашел Африку, и желто-зеленая степь огласилась звуками тамтама. Марк поглядел через плечо.

— Выплюньте вы эту дрянь, — сказал он брезгливо.

— Почему же дрянь? Цветочек.

Тамтам гремел.

— Сделайте хотя бы потише, — сказал Марк.

Горбовский сделал потише.

— Еще тише, пожалуйста.

Горбовский сделал вид, что делает тише.

— Вот так? — спросил он.

— Не понимаю, почему я его до сих пор не испортил? — сказал Марк в пространство.

Горбовский поспешно сделал совсем тихо и положил проигрыватель в нагрудный карман.

Они шли мимо веселых разноцветных домиков, обсаженных сиренью, с одинаковыми решетчатыми конусами энергоприемников на крышах. Через тропинку, крадучись, прошла рыжая кошка. «Кис-кис-кис!» — обрадованно позвал Горбовский. Кошка опрометью бросилась в густую траву и оттуда поглядела дикими глазами. В знойном воздухе лениво гудели пчелы. Откуда-то доносился густой рыкающий храп.

— Ну и деревня, — сказал Марк. — Столица. Спят до девяти...

— Ну зачем вы так, Марк, — возразил Горбовский. — Я, например, нахожу, что здесь очень мило. Пчелки... Киска вон давеча пробежала... Что вам еще нужно? Хотите, я громче сделаю?

— Не хочу, — сказал Марк. — Не люблю я таких

ленивых поселков. В ленивых поселках живут ленивые люди.

— Знаю я вас, знаю, — сказал Горбовский. — Вам бы все борьбу, чтобы никто ни с кем не соглашался, чтобы сверкали идеи, и драку бы неплохо, но это уже в идеале... Стойте, стойте! Тут что-то вроде крапивы. Красивая, и очень больно...

Он присел перед пышным кустом с крупными чернополосыми листьями. Марк сказал с досадой:

— Ну что вы тут расселись, Леонид Андреевич? Крапивы не видели?

— Никогда в жизни не видел. Но я читал. И знаете, Марк, давайте я спишу вас с корабля... Вы как-то испортились, избаловались. Разучились радоваться простой жизни.

— Я не знаю, что такое простая жизнь, — сказал Марк, — но все эти цветочки-крапивочки, все эти стежки-дорожки и разнообразные тропиночки — это, по-моему, Леонид Андреевич, только разлагает. В мире еще достаточно неустройства, рано еще перед всей этой буколикой ахать.

— Неустройства — да, есть, — согласился Горбовский. — Только они ведь всегда были и всегда будут. Какая же это жизнь без неустройства? А в общем-то все очень хорошо. Вот слышите, поет

кто-то... Невзирая ни на какие неустройства...

Навстречу им по шоссе вынесся гигантский грузовой атомокар. На ящиках в кузове сидели здоровенные полуголые парни. Один из них, самозабвенно изогнувшись, бешено бил рукой по струнам банджо, и все дружно ревели:

Мне нужна жена,
Лучше или хуже,
Лишь была бы женщиной,
Женщиной без мужа...3

Атомокар промчался мимо, и волна горячего воздуха на секунду пригнула траву. Горбовский сказал:

— Вам это должно нравиться, Марк. В девять часов люди уже на ногах и работают. А песня вам понравилась?

— Это тоже не то, — упрямо сказал Марк.

Тропинка свернула в сторону, огибая огромный бетонированный бассейн с темной водой. Они пошли через заросли высокой, по грудь, желтоватой травы. Стало прохладнее — сверху нависла густая листва черных акаций.

— Марк, — сказал Горбовский шепотом. — Девушка идет!

Марк остановился как вкопанный. Из травы

вынырнула высокая полная брюнетка в белых шортах и коротенькой белой курточке с оторванными пуговицами. Брюнетка с заметным напряжением тянула за собой тяжелый кабель.

— Здравствуйте! — сказали хором Горбовский и Марк.

Брюнетка вздрогнула и остановилась. На лице ее изобразился испуг. Горбовский и Марк переглянулись.

— Здравствуйте, девушка! — рявкнул Марк.

Брюнетка выпустила кабель из рук и понурилась.

— Здравствуйте, — прошептала она.

— У меня такое ощущение, Марк, — сказал Горбовский, — что мы помешали.

— Может быть, вам помочь? — галантно спросил Марк.

Девушка смотрела на него исподлобья.

— Змеи, — сказала вдруг она.

— Где? — воскликнул Горбовский с ужасом и поднял одну ногу.

— Вообще змеи, — пояснила девушка. Она оглядела Горбовского. — Видели сегодня восход? — вкрадчиво осведомилась она.

— Мы сегодня видели четыре восхода, — небрежно сказал Марк.

Девушка прищурилась и точно рассчитанным движением поправила волосы. Марк сейчас же представился:

— Валькенштейн. Марк.

— Д-звездолетчик, — добавил Горбовский.

— Ах, Д-звездолетчик, — сказала девушка со странной интонацией. Она подняла кабель, подмигнула Марку и скрылась в траве. Кабель зашуршал по тропинке. Горбовский посмотрел на Марка. Марк смотрел вслед девушке.

— Идите, Марк, идите, — сказал Горбовский. — Это будет вполне логично. Кабель тяжеленный, девушка слабая, красивая, а вы здоровенный звездолетчик.

Марк задумчиво наступил на кабель. Кабель задергался, и из травы донеслось:

— Вытравливай, Семен, вытравливай!..

Марк поспешно убрал ногу. Они пошли дальше.

— Странная девушка, — сказал Горбовский. — Но мила! Кстати, Марк, почему вы все-таки не женились?

— На ком? — спросил Марк.

— Ну-ну, Марк. Не надо так. Это же все знают. Очень славная и милая женщина. Тонкая очень и деликатная. Я всегда считал, что вы для нее

несколько грубоваты. Но она, кажется, так не считала...

— Да так, не женился, — сказал Марк неохотно. — Не получилось.

Тропинка снова вывела их к шоссе. Теперь слева тянулись какие-то длинные белые цистерны, а впереди блестел на солнце серебристый шпиль над зданием Совета. Вокруг по-прежнему было пусто.

— Она слишком любила музыку, — сказал Марк. — Нельзя же в каждый полет брать с собой хориолу. Хватит с нас и вашего проигрывателя. Перси терпеть не может музыки.

— В каждый полет, — повторил Горбовский. — Все дело в том, Марк, что мы слишком стары. Двадцать лет назад мы не стали бы взвешивать, что ценнее — любовь или дружба. А теперь уже поздно. Теперь мы уже обречены. Впрочем, не теряйте надежды, Марк. Может быть, мы еще встретим женщин, которые станут для нас дороже всего остального.

— Только не Перси, — сказал Марк. — Он даже не дружит ни с кем, кроме нас с вами. А влюбленный Перси...

Горбовский представил себе влюбленного Перси Диксона.

— Перси был бы отличный отец, — неуверенно предположил он.

Марк поморщился.

— Это было бы нечестно. А ребенку не нужен хороший отец. Ему нужен хороший учитель. А человеку — хороший друг. А женщине — любимый человек. И вообще поговорим лучше о стежках-дорожках.

Площадь перед зданием Совета была пуста, только у подъезда стоял большой неуклюжий аэробус.

— Мне бы хотелось повидаться с Матвеем, — сказал Горбовский. — Пойдемте со мной, Марк.

— Кто это — Матвей?

— Я вас познакомлю. Матвей Вязаницын. Матвей Сергеевич. Он здешний директор. Старый мой приятель, звездолетчик. Еще из десантников. Да вы его должны помнить, Марк. Хотя нет, это было до.

— Ну что ж, — сказал Марк. — Пойдемте. Визит вежливости. Только выключите ваш звучок. Неудобно все-таки — Совет.

Директор им очень обрадовался.

— Великолепно! — басил он, усаживая их в кресла. — Это великолепно, что вы прилетели! Молодчина, Леонид! Ах, какой молодец! Валькен-

штейн? Марк? Ну как же, как же!.. Однако почему вы не лысый? Леонид определенно говорил мне, что вы лысый... Ах да, это он о Диксоне! Правда, Диксон прославлен бородой, но это ничего не значит — я знаю массу бородатых лысых людей! Впрочем, вздор, вздор! Жарко у нас, вы заметили? Леонид, ты плохо питаешься, у тебя лицо дистрофика! Обедаем вместе... А пока позвольте предложить вам напитки. Вот апельсиновый сок, вот томатный, вот гранатовый... Наши собственные! Да! Вино! Свое вино на Радуге, ты представляешь, Леонид? Ну как? Странно, мне нравится... Марк, а вы? Ну, никогда бы не подумал, что вы не пьете вина! Ах, вы не пьете местных вин? Леонид, у меня к тебе тысяча вопросов... Я не знаю, с чего начать, а через минуту я буду уже не человек, а взбесившийся администратор. Вы никогда не видели взбесившегося администратора? Сейчас увидите. Я буду судить, карать, распределять блага! Я буду властвовать, предварительно разделив! Теперь я представляю, как плохо жилось королям и всяким там императорам-диктаторам! Слушайте, друзья, вы только, пожалуйста, не уходите! Я буду гореть на работе, а вы сидите и сочувствуйте. Мне здесь никто не сочувствует... Ведь вам хорошо здесь, правда? Окно я отворю,

пусть ветерок... Леонид, ты представить себе не можешь... Марк, вы можете отодвинуться в тень. Так вот, Леонид, ты понимаешь, что здесь происходит? Радуга взбесилась, и это тянется уже второй год.

Он рухнул в застонавшее кресло перед диспетчерским пультом — огромный, дочерна загорелый, косматый, с торчащими вперед, как у кота, усами, — распахнул до самого живота ворот сорочки и с удовольствием посмотрел через плечо на звездолетчиков, прилежно сосавших через соломинки ледяные соки. Усы его задвигались, и он раскрыл было рот, но тут на одном из шести экранов пульта появилась миловидная худенькая женщина с обиженными глазами.

— Товарищ директор, — сказала она очень серьезно. — Я Хаггертон, вы меня, возможно, не помните. Я обращалась к вам по поводу лучевого барьера на Алебастровой горе. Физики отказываются снимать барьер.

— Как так отказываются?

— Я говорила с Родригосом — он, кажется, там главный нулевик? Он заявил, что вы не имеете права вмешиваться в их работу.

— Они морочат вам голову, Элен! — сказал Матвей. — Родригос такой же главный нулевик,

как я ромашка-одуванчик. Он сервомеханик и в нуль-проблемах понимает меньше вас. Я займусь им сейчас же.

— Пожалуйста, мы вас очень просим...

Директор, мотая головой, щелкнул переключателями.

— Алебастровая! — гаркнул он. — Дайте Пагаву!

— Слушаю, Матвей.

— Шота? Здравствуй, дорогой! Почему не снимаешь барьер?

— Снял барьер. Почему не снимаю?

— Ага, хорошо. Передай Родригосу, чтобы перестал морочить людям голову, а то я его вызову к себе! Передай, что я его хорошо помню. Как ваша Волна?

— Понимаешь... — Шота помолчал. — Интересная Волна. Так долго рассказывать, потом расскажу.

— Ну, желаю удачи! — Матвей, перевалившись через подлокотник, повернулся к звездолетчикам. — Вот кстати, Леонид! — вскричал он. — Вот кстати! Что у вас говорят о Волне?

— Где у нас? — хладнокровно спросил Горбовский и пососал через соломинку. — На «Тариэле»?

— Ну вот что ты думаешь о Волне?

Горбовский подумал.

— Ничего не думаю, — сказал он. — Может быть, Марк? — Он неуверенно посмотрел на штурмана.

Марк сидел очень прямо и официально, держа бокал в руке.

— Если не ошибаюсь, — сказал он, — Волна — это некий процесс, связанный с нуль-транспортировкой. Я знаю об этом немного. Нуль-транспортировка, конечно, интересует меня, как и всякого звездолетчика, — он слегка поклонился директору, — но на Земле нуль-проблематике не придают особого значения. По-моему, для земных дискретников это слишком частная проблема, имеющая явно прикладное значение.

Директор желчно хохотнул.

— Как это тебе нравится, Леонид? — сказал он. — Частная проблема! Да, видно, слишком далеко от вас наша Радуга, и все, что у нас происходит, кажется вам слишком маленьким. Дорогой Марк, эта самая частная проблема битком набивает всю мою жизнь, а ведь я даже не нулевик! Я изнемогаю, друзья! Позавчера я вот в этом самом кабинете собственноручно разнимал Ламондуа и Аристотеля, и теперь я смотрю на свои руки, — он

вытянул перед собой мощные загорелые ладони, — и, честное слово, я удивляюсь, как это на них нет укусов и царапин. А под окнами ревели две толпы, и одна гремела: «Волна! Волна!» — а другая вопила: «Нуль-Т!» И вы думаете, это был научный диспут? Нет! Это была средневековая квартирная склока из-за электроэнергии! Помните эту смешную, хотя, признаюсь, не совсем понятную книгу, где человека высекли за то, что он не гасил свет в уборной? «Золотой козел» или «Золотой осел»?.. Так вот, Аристотель и его банда пытались высечь Ламондуа и его банду за то, что те прибрали к своим рукам весь резерв энергии... Честная Радуга! Еще год назад Аристотель ходил с Ламондуа в обнимку! Нулевик нулевику был друг, товарищ и брат, и никому в голову не приходило, что увлечение Форстера Волной расколет планету пополам! В каком мире я живу! Ничего не хватает: энергии не хватает, аппаратуры не хватает, из-за каждого желторотого лаборанта идет бой! Люди Ламондуа воруют энергию, люди Аристотеля ловят и пытаются вербовать аутсайдеров — этих несчастных туристов, прилетевших отдохнуть или написать о Радуге что-нибудь хорошее! Совет — Совет!!! — превратился в конфликтный орган! Я попросил прислать мне «Римское право»... Последнее время

я читаю одни исторические романы. Честная Радуга! Скоро я заведу здесь полицию и суд присяжных. Я привыкаю к новой, совершенно дикой терминологии. Позавчера я обозвал Ламондуа ответчиком, а Аристотеля истцом. Я без запинки произношу такие слова, как юриспруденция и полицейпрезидиум!..

Один из экранов засветился. Появились две круглолицые девочки лет десяти. Одна в розовом платьице, другая в голубом.

— Ну, ты говори! — сказала розовая полушепотом.

— Почему это я, когда договорились, что ты...

— Договорились, что ты!

— Вредная!.. Здравствуйте, Матвей Семенович.

— Сергеевич!..

— Матвей Сергеевич, здравствуйте!

— Здравствуйте, дети, — сказал директор. По лицу его было заметно, что он что-то забыл, а ему напомнили. — Здравствуйте, цыплята! Здравствуйте, мыши!

Розовая и голубая разом зарделись.

— Матвей Сергеевич, мы приглашаем вас в Детское на наш летний праздник.

— Сегодня, в двенадцать часов!..

— В одиннадцать!..

— Нет в двенадцать!

— Приеду! — закричал директор восторженно. — Обязательно приеду! И в одиннадцать приеду и в двенадцать!..

Горбовский допил бокал, налил себе еще, затем лег в кресле, вытянув ноги на середину комнаты, и поставил бокал себе на грудь. Ему было хорошо и уютно.

— Я тоже поеду в Детское, — заявил он. — Мне совершенно нечего делать. А там я скажу какую-нибудь речь. Я никогда в жизни не произносил речей, и мне ужасно хочется попробовать.

— Детское! — Директор снова перевалился через подлокотник. — Детское — это единственное место, где у нас сохраняется порядок. Дети — отличный народ! Они прекрасно понимают слово «нельзя»... О наших нулевиках этого не скажешь, нет! В прошлом году они съели два миллиона мегаватт-часов! В этом — уже пятнадцать и представили заявок еще на шестьдесят. Вся беда в том, что они абсолютно не желают знать слова «нельзя»...

— Мы тоже не знали этого слова, — заметил Марк.

— Дорогой Марк! Мы жили с вами в хорошее время. Это был период кризиса физики. Нам не

нужно было больше, чем нам давали. Да и зачем? Ну что у нас было? Д-процессы, электронная структура... Сопряженными пространствами занимались единицы, да и то на бумаге. А сейчас? Сейчас эта безумная эпоха дискретной физики, теория просачивания, подпространство!.. Честная Радуга! Все эти нуль-проблемы! Безусому мальчишке, тонконогому лаборанту на каждый плюгавый эксперимент нужны тысячи мегаватт, уникальнейшее оборудование, которое на Радуге не создашь и которое, между прочим, выходит после эксперимента из строя... Вот вы привезли сотню ульмотронов. Спасибо вам. Но нужно-то их шесть сотен! И энергия... Энергия! Откуда я ее возьму? Вы же не привезли нам энергию! Более того, вам самим нужна энергия. Мы с Канэко обращаемся к Машине: «Дай нам оптимальную стратегию!» Она, бедняга, только руками разводит...

Дверь распахнулась, и стремительно вошел невысокий, очень изящный и красиво одетый мужчина. В гладко зачесанных черных волосах его торчали какие-то репьи, неподвижное лицо выражало холодное, сдержанное бешенство.

— Легок на помине... — начал директор, простирая к нему руки.

— Прошу отставки, — звонким металлическим голосом сказал вошедший. — Я считаю, что не способен более работать с людьми, и поэтому прошу отставки. Извините, пожалуйста. — Он коротко поклонился звездолетчикам. — Канэко — план-энергетик Радуги. Бывший план-энергетик.

Горбовский торопливо заскреб ногами по скользкому полу, стараясь подняться и поклониться одновременно. Бокал с соком он при этом поднял над головой и стал похож на пьяного гостя в триклинии у Лукулла.

— Честная Радуга! — сказал директор озабоченно. — Что еще стряслось?

— Полчаса назад Симеон Галкин и Александра Постышева тайно подключились к зональной энергостанции и взяли всю энергию на двое суток вперед. — По лицу Канэко прошла судорога. — Машина рассчитана на честных людей. Мне неизвестна подпрограмма, учитывающая существование Галкина и Постышевой. Факт сам по себе недопустимый, хотя, к сожалению, и не новый для нас. Возможно, я справился бы с ними сам. Но я не дзюдотэ и не акробат. И я работаю не в детском саду. Я не могу допустить, чтобы мне устраивали ловушки... Они замаскировали подключение в густом кустарнике за оврагом,

а поперек тропинки натянули проволоку. Они прекрасно знали, что я должен был бежать, чтобы предотвратить огромную утечку... — Он вдруг замолчал и принялся нервно вытаскивать репьи из волос.

— Где Постышева? — спросил директор, наливаясь венозной кровью.

Горбовский сел прямо и с некоторым испугом поджал ноги. На лице Марка был написан живой интерес к происходящему.

— Постышева сейчас будет здесь, — ответил Канэко. — Я тоже уверен, что именно она является инициатором этого безобразия. Я вызвал ее сюда от вашего имени.

Матвей подтянул к себе микрофон всеобщего оповещения и негромко пробасил:

— Внимание, Радуга! Говорит директор. Инцидент с утечкой энергии мне известен. Инцидент разбирается.

Он встал, боком подобрался к Канэко, положил руку ему на плечо и как-то виновато проговорил:

— Ну что же делать, дружище... Я же тебе говорил: Радуга сошла с ума. Терпи, дружище!.. Я тоже терплю. А Постышеву я сейчас взгрею. Она у меня не обрадуется, вот увидишь...

— Я понимаю, — сказал Канэко. — Прошу извинить меня: я был взбешен. С вашего разрешения я отправляюсь на космодром. Самое, пожалуй, неприятное дело сегодня — выдача ульмотронов. Вы знаете, пришел десантник с грузом ульмотронов.

— Да, — сказал директор с чувством. — Я знаю. Вот. — Он уставил квадратный подбородок на звездолетчиков. — Настоятельно рекомендую — мои друзья. Командир «Тариэля» Леонид Андреевич Горбовский и его штурман Марк Вальценштейн.

— Рад, — сказал Канэко, наклонив голову с репьями.

Марк и Горбовский тоже наклонили головы.

— Постараюсь свести повреждения корабля к минимуму, — сказал Канэко без улыбки, повернулся и пошел к двери.

Горбовский с беспокойством посмотрел ему вслед.

Дверь перед Канэко отворилась, и он вежливо шагнул в сторону, уступая дорогу. В дверях стояла давешняя брюнетка в белой курточке с оторванными пуговицами. Горбовский заметил, что шорты ее были прожжены сбоку, а левая рука испачкана копотью. Рядом с нею изящный

и подтянутый Канэко казался пришельцем из далекого будущего.

— Извините, пожалуйста, — сказала брюнетка бархатным голоском. — Разрешите войти. Вы меня вызывали, Матвей Сергеевич?

Канэко, отвернув лицо, обошел ее стороной и скрылся за дверью. Матвей вернулся в кресло, сел и уперся руками в подлокотники. Лицо его вновь посинело.

— Ты что думаешь, Постышева, — едва слышно начал он, — я не знаю, чьи это затеи?..

На экране появился розовощекий юноша в кокетливо сдвинутом набок беретике.

— Простите, Матвей Сергеевич, — весело улыбаясь, сказал он. — Я хотел бы напомнить, что два комплекта ульмотронов наши.

— В порядке очереди, Карл, — буркнул Матвей.

— В порядке очереди мы первые, — сообщил юноша.

— Значит, вы получите первыми. — Матвей все время смотрел на Постышеву, сохраняя вид свирепый и неприступный.

— Простите еще раз, Матвей Сергеевич, но нас очень беспокоит поведение группы Форстера. Я видел, что они уже выслали на космодром свой грузовик...

— Не беспокойтесь, Карл, — сказал Матвей. Он не удержался и расплылся в улыбке. — Ты только полюбуйся, Леонид! Пришел и ябедничает! Кто? Гофман! На кого? На учителя своего — Форстера! Ступайте, ступайте, Карл! Никто не получит вне очереди!

— Спасибо, Матвей Сергеевич, — сказал Гофман. — Мы с Маляевым очень на вас рассчитываем.

— Он с Маляевым! — сказал директор, поднимая глаза к потолку.

Экран погас и через мгновение вспыхнул снова. Пожилой угрюмый человек в темных очках с какими-то приспособлениями на оправе прогудел недовольно:

— Матвей, я хотел бы уточнить относительно ульмотронов...

— Ульмотроны в порядке очереди, — сказал Матвей.

Брюнетка томно вздохнула, зорко поглядела на Марка и с покорным видом присела на край кресла.

— Нам полагается вне очереди, — сказал человек в очках.

— Значит, вы получите вне очереди, — сказал Матвей. — Существует очередь внеочередников, и ты там восьмым...

Брюнетка, грациозно изогнувшись, принялась рассматривать дырку на шортах, затем, послюнив палец, стерла сажу с локтя.

— Одну минуточку, Постышева, — сказал Матвей и наклонился к микрофону. — Внимание, Радуга! Говорит директор. Распределение ульмотронов, прибывших на звездолете «Тариэль», будет производиться по спискам, утвержденным в Совете, и никаких исключений делаться не будет. Так вот, Постышева... Вызвал я тебя для того, чтобы сказать, что ты мне надоела. Я был мягок... Да, да, я был терпелив. Я сносил все. Ты не можешь упрекнуть меня в жестокости. Но честная Радуга! Есть же предел всему! Одним словом, передай Галкину, что я отстранил тебя от работы и с первым же звездолетом отправляю тебя на Землю.

Огромные прекрасные глаза Постышевой немедленно наполнились слезами. Марк скорбно покачал головой, Горбовский пригорюнился. Директор, выпятив челюсть, смотрел на Постышеву.

— И поздно теперь плакать, Александра, — сказал он. — Плакать надо было раньше. Вместе с нами.

В кабинет вошла хорошенькая женщина в

плиссированной юбке и легкой кофточке. Она была подстрижена под мальчика, русая челка падала ей на глаза.

— Хэлло! — сказала она, приветливо улыбаясь. — Матвей, я не помешала вам? О! — Она заметила Постышеву. — Что такое? Мы плачем? — Она обняла Постышеву за плечи и прижала ее голову к груди. — Матвей, это вы? Как не стыдно! Вероятно, вы были грубы. Иногда вы бываете невыносимы!

Директор пошевелил усами.

— Доброе утро, Джина, — сказал он. — Отпустите Постышеву, она наказана. Она тяжко оскорбила Канэко, и она украла энергию...

— Какой вздор! — воскликнула Джина. — Успокойся, девочка! Какие слова: «украла», «оскорбила», «энергия»! У кого она украла энергию? Ведь не у Детского же! Не все ли равно, кто из физиков тратит энергию — Аля Постышева или этот ужасный Ламондуа!

Директор величественно поднялся.

— Леонид, Марк, — сказал он. — Это Джина Пикбридж, старший биолог Радуги. Джина, это Леонид Горбовский и Марк Валькенштейн, звездолетчики.

Звездолетчики встали.

— Хэлло, — сказала Джина. — Нет, я не хочу с

вами знакомиться... Почему вы — двое здоровых красивых мужчин — так равнодушны? Как вы можете сидеть и смотреть на плачущую девочку?

— Мы не равнодушны! — запротестовал Марк. Горбовский с изумлением посмотрел на него. — Мы как раз хотели вмешаться...

— Так вмешивайтесь же! Вмешивайтесь! — сказала Джина.

— Ну знаете, товарищи! — загремел директор. — Мне это совсем не нравится! Постышева, вы свободны. Идите, идите... В чем дело, Джина? Отпустите Постышеву и изложите ваше дело... Ну, вот видите, она вам всю кофту заревела. Постышева, идите, я вам сказал!

Постышева встала и, закрыв лицо ладонями, вышла. Марк вопросительно посмотрел на Джину.

— Ну, разумеется, — сказала она.

Марк одернул куртку, строго посмотрел на Матвея, поклонился Джине и тоже вышел. Матвей расслабленно махнул рукой.

— Отрекусь, — сказал он. — Никакой дисциплины. Вы понимаете, что вы делаете, Джина?

— Понимаю, — сказала Джина, подходя к столу. — Вся ваша физика и вся ваша энергия не стоят одной Алиной слезинки.

— Скажите это Ламондуа. Или Пагаве. Или Форстеру. Или, к примеру, Канэко. А что касается слезинок, то у каждого свое оружие. И хватит об этом, с вашего позволения! Я вас слушаю.

— Да, хватит, — сказала Джина. — Я знаю, что вы столь же упрямы, сколь и добры. А следовательно, упрямы бесконечно. Матвей, мне нужны люди. Нет-нет... — Она подняла маленькую ладонь. — Дело предстоит очень рискованное и интересное. Мне стоит только поманить пальцем, и половина физиков сбежит от своих зловещих руководителей.

— Если поманите вы, — сказал Матвей, — то сбегут и сами руководители...

— Благодарю вас, но я имею в виду охоту на кальмаров. Мне нужно двадцать человек, чтобы отогнать кальмаров от Берега Пушкина.

Матвей вздохнул.

— Чем вам не понравились кальмары? — сказал он. — У меня нет людей.

— Хотя бы десять человек. Кальмары систематически грабят рыбозаводы. Чем у вас сейчас заняты испытатели?

Матвей оживился.

— Да, верно! — сказал он. — Габа! Где у меня сейчас Габа? Ага, помню... Все в порядке, Джина,

у вас будут десять человек.

— Вот и хорошо. Я знала, что вы добры. Я пойду завтракать, и пусть они меня найдут. До свиданья, милый Леонид. Если захотите принять участие, мы будем только рады.

— Уф!.. — сказал Матвей, когда дверь закрылась. — Прелестная женщина, но работать я предпочитаю все-таки с Ламондуа... Но каков твой Марк!

Горбовский самодовольно ухмыльнулся и налил себе еще соку. Он снова блаженно вытянулся в кресле и, молвив тихо: «Можно?» — включил проигрыватель. Директор тоже откинулся на спинку кресла.

— Да! — мечтательно произнес он. — А помнишь, Леонид, — Слепое Пятно, Станислав Пишта кричит на весь эфир... Да, кстати! Ты знаешь...

— Матвей Сергеевич, — сказал голос из репродуктора. — Сообщение со «Стрелы».

— Читай, — сказал Матвей, наклоняясь вперед.

— «Выхожу на деритринитацию. Следующая связь через сорок часов. Все благополучно. *Антон*». Связь неважная, Матвей Сергеевич: магнитная буря...

— Спасибо, — сказал Матвей. Он озабоченно обернулся к Горбовскому. — Между прочим, Леонид, что ты знаешь о Камилле?

— Что он никогда не снимает шлема, — сказал Горбовский. — Я его однажды прямо об этом спросил, когда мы купались. И он мне прямо ответил.

— И что ты думаешь о нем?

Горбовский подумал.

— Я думаю, что это его право.

Горбовскому не хотелось говорить на эту тему. Некоторое время он слушал тамтам, затем сказал:

— Понимаешь, Матюша, как-то так получилось, что меня считают чуть ли не другом Камилла. И все меня спрашивают, что да как. А я этой темы не люблю. Если у тебя есть какие-нибудь конкретные вопросы, пожалуйста.

— Есть, — сказал Матвей. — Камилл не сумасшедший?

— Не-ет, ну что ты! Он просто обыкновенный гений.

— Ты понимаешь, я все время думаю: ну что он все предсказывает и предсказывает? Какая-то у него мания — предсказывать...

— И что же он предсказывает?

— Да так, пустяки, — сказал Матвей. — Конец света. Вся беда в том, что его, беднягу, никто-никто не может понять... Впрочем, не будем об этом. О чем это мы с тобой говорили?..

Экран снова осветился. Появился Канэко. Галстук у него съехал набок.

— Матвей Сергеевич, — сказал он, чуть задыхаясь. — Разрешите уточнить список. У вас должна быть копия.

— О, как мне все это надоело! — сказал Матвей. — Леонид, прости меня, пожалуйста. Мне придется уйти.

— Конечно, иди, — сказал Горбовский. — А я пока прогуляюсь обратно на космодром. Как там мой «Тариэль»...

— К двум часам ко мне обедать, — сказал Матвей.

Горбовский допил стакан, поднялся и с удовольствием увеличил громкость тамтама до предела.

Глава 3

К десяти часам жара стала невыносимой. Из раскаленной степи в щели закрытых окон сочились терпкие пары летучих солей. Над степью плясали миражи. Роберт установил у своего кресла два мощных вентилятора и полулежал, обмахиваясь старым журналом. Он утешал себя мыслью о том, что часам к трем будет гораздо тяжелее, а там, глядишь, и вечер. Камилл застыл у северного окна. Они больше не разговаривали.

Из регистратора тянулась бесконечная голубая лента, покрытая зубчатыми линиями автоматической записи, счетчик Юнга медленно, незаметно для глаза наливался густым сиреневым светом, тоненько пищали ульмотроны — за их зеркальными окошечками зловеще играли отблески ядерного пламени. Волна развивалась. Где-то за северным горизонтом, над необозримыми пустырями мертвой земли били в стратосферу исполинские фонтаны горячей ядовитой пыли...

Заверещал сигнал видеофона, и Роберт немедленно принял деловую позу. Он думал, что это Патрик или — что было бы страшно в такую жару — Маляев. Но это оказалась Таня, веселая

и свежая; и было сразу видно, что там у нее нет сорокаградусной жары, нет вонючих испарений мертвой степи, воздух сладок и прохладен, а с близкого моря ветер приносит чистые запахи цветников, обнажившихся при отливе.

— Как ты там без меня, Робик? — спросила она.

— Плохо, — пожаловался Роберт. — Пахнет. Жарко. Потно. Тебя нет. Спать хочется невыносимо, и никак не заснуть.

— Бедный мальчик! А я славно вздремнула в вертолете. У меня тоже будет трудный день. Летний праздник — всеобщее столпотворение, столоверчение и светопреставление. Ребята носятся как ошалелые. Ты один?

— Нет. Вон стоит Камилл и не видит нас и не слышит. Танек, я сегодня жду тебя. Только где?

— А ты разве сменяешься? Жалко. Полетим на юг!

— Давай. Помнишь кафе в Рыбачьем? Будем есть миноги, пить молодое вино... ледяное! — Роберт застонал и закатил глаза. — Сейчас я буду ждать этого вечера. О, как я буду его ждать!

— Я тоже... — Она оглянулась. — Целую, Роби, — сказала она. — Жди звонка.

— Очень буду ждать, — успел сказать Роберт.

Камилл все смотрел в окно, сцепив руки за

спиной. Пальцы его пребывали в непрерывном движении. У Камилла были необычайно длинные белые гибкие пальцы с коротко остриженными ногтями. Они причудливо сплетались и расплетались, и Роберт поймал себя на том, что пытается проделать то же самое с собственными пальцами.

— Началось, — сказал вдруг Камилл. — Советую посмотреть.

— Что началось? — спросил Роберт. Ему не хотелось подниматься.

— Пошла степь, — сказал Камилл.

Роберт неохотно встал и подошел к нему. Сначала он ничего не заметил. Затем ему показалось, что он видит мираж. Но, вглядевшись, он так стремительно подался вперед, что стукнулся лбом о стекло. Степь шевелилась. Степь быстро меняла цвет — жуткая красноватая каша ползла через желтое пространство. Внизу под вышкой можно было разглядеть, как копошатся среди высохших стеблей красные и рыжие точки.

— Мама моя!.. — ахнул Роберт. — Красная зерноедка! Что же вы стоите?! — Он метнулся к видеофону. — Пастухи! — крикнул он. — Дежурный!

— Дежурный слушает.

— Говорит пост Степной. С севера идет зерноедка! Вся степь покрыта зерноедкой!

— Что? Повторите... Кто говорит?

— Говорит пост Степной, наблюдатель Скляров! Красная зерноедка идет с севера! Хуже, чем в позапрошлом году! Поняли? Вся степь кишит зерноедкой!

— Есть... Ясно... Спасибо, Скляров... Вот беда! А у нас все на юге... Вот беда!.. Ну ладно...

— Дежурный! — крикнул Роберт. — Слушайте, свяжитесь с Алебастровой или с Гринфилдом, там полно нулевиков, они помогут!

— Все понял! Спасибо, Скляров. Когда зерноедка кончит идти, сообщите сразу, пожалуйста.

Роберт снова подскочил к окну. Зерноедка шла валом, травы уже не было видно.

— Вот несчастье! — бормотал Роберт, прижимаясь лицом к стеклу. — Вот уж действительно беда!

— Не обольщайтесь, Роби, — сказал Камилл. — Это еще не беда. Это просто интересно.

— А вот выжрет она посевы, — сказал Роберт со злостью, — останемся без хлеба, без скота.

— Не останемся, Роби. Она не успеет.

— Надеюсь. На это только и надеюсь. Вы только посмотрите, как она идет. Ведь вся степь крас-

ная.

— Катаклизм, — сказал Камилл.

Неожиданно наступили сумерки. Огромная тень упала на степь. Роберт оглянулся и перебежал к восточному окну. Широкая дрожащая туча закрыла солнце. И опять Роберт не сразу понял, что это. Сначала он просто удивился, потому что днем на Радуге никогда не бывало туч. Но потом он увидел, что это птицы. Тысячи тысяч птиц летели с севера, и даже сквозь закрытые окна слышались непрерывный шелестящий шум крыльев и пронзительные тонкие крики. Роберт попятился к столу.

— Откуда птицы? — проговорил он.

— Все спасается, — сказал Камилл. — Все бежит. На вашем месте, Роби, я бы тоже бежал. Идет Волна.

— Какая Волна? — Роберт нагнулся и посмотрел на приборы. — Нет же никакой Волны, Камилл...

— Нет? — сказал Камилл хладнокровно. — Тем лучше. Давайте останемся и посмотрим.

— Я и не собираюсь бежать. Меня просто удивляет все это. Надо, пожалуй, сообщить в Гринфилд. И главное, откуда эти птицы? Там же пустыня.

— Там очень много птиц, — сказал спокойно

Камилл. — Там огромные синие озера, тростники... — Он замолчал.

Роберт недоверчиво смотрел на него. Десять лет он работал на Радуге и всегда был убежден, что к северу от Горячей параллели нет ничего: ни воды, ни травы, ни жизни. Взять флаер и слетать туда с Танюшкой, мельком подумал он. Озера, тростники...

Затрещал сигнал вызова, и Роберт повернулся к экрану. Это был сам Маляев.

— Скляров, — сказал он обычным неприязненным тоном, и Роберт по привычке почувствовал себя виноватым, виноватым за все, в том числе за зерноедок и птиц. — Скляров, слушайте приказ. Немедленно эвакуируйте пост. Забирайте оба ульмотрона.

— Федор Анатольевич, — сказал Роберт, — идет зерноедка, летят птицы. Я только что хотел сообщить вам...

— Не отвлекайтесь. Я повторяю. Заберите оба ульмотрона, садитесь в вертолет и немедленно в Гринфилд. Поняли меня?

— Да.

— Сейчас... — Маляев посмотрел куда-то вниз. — Сейчас десять сорок пять. В одиннадцать ноль-ноль вы должны быть в воздухе. Имейте в виду,

я выдвигаю «харибды», и на всякий случай держитесь выше. Если не успеете демонтировать ульмотроны — бросьте их.

— А что случилось?

— Идет Волна, — сказал Маляев и впервые посмотрел Роберту в глаза. — Она перешла Горячую параллель. Торопитесь.

Секунду Роберт стоял, собираясь с мыслями. Затем он снова осмотрел приборы. Судя по приборам, извержение шло на убыль.

— Ну, это не мое дело, — сказал Роберт вслух. — Камилл, вы мне поможете?

— Теперь я уже никому не могу помочь, — отозвался Камилл. — Впрочем, это не мое дело. Что нужно — тащить ульмотроны?

— Да. Только сначала их нужно демонтировать.

— Хотите добрый совет? — сказал Камилл. — Добрый совет за номером семь тысяч восемьсот тридцать два.

Роберт уже отключил ток и, обжигая пальцы, скручивал разъемы.

— Давайте ваш совет, — сказал он.

— Бросьте эти ульмотроны, садитесь в вертолет и летите к Тане.

— Хороший совет, — сказал Роберт, торопливо

обрывая соединения. — Приятный. Помогите-ка мне его вытащить...

Ульмотрон весил около центнера, толстый гладкий цилиндр в полтора метра длиной. Они извлекли его из гнезда и внесли в кабину лифта. Завыл ветер, вышка начала вибрировать.

— Достаточно, — сказал Камилл. — Спустимся вместе.

— Надо взять второй.

— Роби, вам даже этот больше не понадобится. Послушайтесь моего совета.

Роберт посмотрел на часы.

— Время есть, — деловито сказал он. — Спускайтесь и выкатывайте его на землю.

Камилл закрыл дверцу. Роберт вернулся к установке. Снаружи стоял красный сумрак. Птиц больше не было, но небо затягивала мутная пелена, сквозь которую еле просвечивал маленький диск солнца. Вышка вздрагивала и раскачивалась под порывами ветра.

— Успеть бы! — вслух подумал Роберт.

Он, напрягаясь, вытянул второй ульмотрон, поднял на плечо и понес к лифту. Тут за его спиной с раздирающим хрустом вылетели оконные рамы, и в лабораторию ворвались облака колючей пыли пополам с раскаленным ветром. Что-то

с силой ударило по ногам. Роберт поспешно присел, прислонил ульмотрон к стене и нажал кнопку вызова. Двигатель подъемника взвыл вхолостую и сейчас же умолк.

— Ками-илл! — крикнул Роберт, прижавшись лицом к решетчатой двери.

Никто не отозвался. Ветер выл и свистел в разбитых окнах, вышка раскачивалась, и Роберт едва держался на ногах. Он снова нажал кнопку. Подъемник не действовал. Тогда, преодолевая ветер, он подобрался к окну и выглянул наружу. Степь была затянута клубами бешено несущейся пыли. Что-то блестящее мелькнуло внизу у подножия вышки, и Роберт похолодел, сообразив, что это бьется и мотается под ветром вывернутое и растерзанное крыло птерокара. Роберт закрыл глаза и облизал пересохшие губы. Рот наполнился едкой горечью. Хороша ловушка, подумал он. Патрика бы сюда...

— Ками-и-илл! — крикнул он изо всех сил.

Но он еле слышал собственный голос. Через окно... нельзя, сорвет ураганом. Стоит ли вообще барахтаться? Птерокар-то разбит... Тут она меня и накроет. Нет, надо слезть. Что там Камилл возится — я бы на его месте уже починил лифт... Лифт!

Перешагивая через обломки, он вернулся к ре-

шетчатой двери и вцепился в нее обеими руками. А ну-ка, «Юность Мира», подумал он. Дверь была сделана добротно. Если бы фермы вышки были сделаны так же, лифт нипочем не вышел бы из строя. Роберт лег спиной на дверь и согнутыми ногами уперся в стену тамбура. Ну-ка... Р-раз! В глазах у него потемнело. Что-то хрустело: не то дверь, не то мускулы. Еще р-раз! Дверь подалась. Сейчас она вылетит, подумал Роберт, и я свалюсь в шахту. Двадцать метров вниз головой, и сверху на меня упадет ульмотрон. Он перевернулся и уперся спиной в стену, а ногами в дверь. Тр-рах!.. У двери вылетела нижняя половина, и Роберт упал на спину, ударившись головой. Несколько секунд он лежал неподвижно. Он был весь мокрый от пота. Потом он заглянул в пролом. Далеко внизу виднелась крыша кабины. Лезть было очень страшно, но в это время вышка начала крениться, и Роберта потащило вниз. Он не сопротивлялся, потому что вышка все кренилась и кренилась, и не было этому конца.

Он спускался, цепляясь за фермы и распорки, и тугой, колючий от пыли ветер прижимал его к теплому металлу. Он успел заметить, что пыли стало гораздо меньше и что степь снова залита солнцем. Вышка все кренилась. Он так торопился

узнать, что с птерокаром и куда девался Камилл, что выпрыгнул из шахты, когда до земли оставалось еще метра четыре. Он больно стукнулся ногами и потом руками. И первое, что он увидел, были пальцы Камилла, вонзившиеся в сухую землю.

Камилл лежал под опрокинутым птерокаром, широко раскрыв круглые стеклянные глаза, и тонкие длинные пальцы его вцепились в землю, словно он пытался вытащить себя из-под разбитой машины, а может быть, ему было очень больно перед смертью. Пыль покрывала его белую куртку, пыль лежала на щеках и открытых глазах.

— Камилл, — позвал Роберт.

Ветер бешено мотал над его головой обломок исковерканного крыла. Ветер нес струи желтой пыли. Ветер свистел и визжал в фермах покосившейся вышки. В мутноватом небе свирепо пылало маленькое солнце. Оно казалось косматым.

Роберт поднялся на ноги и, навалившись, попытался сдвинуть птерокар. На секунду ему удалось приподнять тяжелую машину, но только на секунду. Он снова взглянул на Камилла. Все лицо его было засыпано пылью, и белая куртка стала

рыжей, и только к нелепой белой каске не пристало ни единой пылинки, и матовая пластмасса весело отсвечивала под солнцем.

У Роберта задрожали ноги, и он сел рядом с мертвым. Ему хотелось плакать. Прощайте, Камилл. Честное слово, я вас любил. Никто вас не любил, а я любил. Правда, я никогда не слушал вас, так же, как и другие, но, честное слово, я не слушал только потому, что не надеялся вас понять. Вы были на голову выше всех, а уж меня и подавно. А теперь я не могу столкнуть с вашей раздавленной груди эту кучу лома. По долгу дружбы мне следовало бы остаться рядом с вами. Но меня ждет Таня, меня, может быть, ждет даже Маляев, и потом я ужасно хочу жить. Тут не помогают никакие чувства и никакая логика. Я знаю, что мне не уйти. И все-таки я пойду. Я буду бежать, буду брести, может быть, даже ползти, но я буду уходить до последнего... Я дурак, мне нужно было послушаться вашего семитысячного совета, но я, как всегда, не понял вас, хотя, казалось бы, чего тут было понимать?..

Он был таким разбитым и усталым, что только с большим трудом заставил себя подняться и пойти. А когда он обернулся, чтобы последний раз поглядеть на Камилла, он увидел Волну.

Далеко-далеко над северным горизонтом за красноватой дымкой оседающей пыли сверкала в белесом небе ослепительная полоса, яркая, как солнце.

Ну, вот и все, вяло подумал Роберт. Далеко мне не уйти. Через полчаса она будет здесь и пойдет дальше, а здесь останется гладкая черная пустыня. Башня, конечно, останется, и ничего не случится с ульмотронами, и птерокар останется, и оторванное крыло повиснет в горячем безветрии. И, может быть, от Камилла останется шлем. А уж от меня вообще ничего не останется. Он, словно прощаясь, осмотрел себя — похлопал по голой груди, пощупал бицепсы. Жалко, подумал он. И тут он заметил флаер.

Флаер стоял за вышкой — маленький двухместный флаер, похожий на пеструю черепашку, скоростной, экономичный, удивительно простой и удобный в управлении. Это был флаер Камилла. Конечно же, это был флаер Камилла!

Роберт сделал к нему несколько неуверенных шагов, а потом сломя голову помчался, огибая вышку. Он не спускал глаз с флаера, словно боясь, что он вдруг исчезнет, споткнулся обо что-то и плашмя проехал по колючей траве, ободрав грудь и живот. Вскочив на ноги, он обернулся. Тяжелый

цилиндр ульмотрона с гладкими, досиня полированными боками еще тихонько покачивался от толчка. Роберт взглянул на север. Из-за горизонта уже поднималась черная стена. Роберт подбежал к флаеру, подняв тучу пыли, прыгнул на сиденье и, едва нащупав рукоятку управления, с места дал полный газ.

Степная зона тянулась до самого Гринфилда, и Роберт проскочил ее со средней скоростью пятьсот километров в час. Флаер несся над степью, как блоха, — огромными прыжками. Слепящая полоса скоро вновь скрылась за горизонтом. В степи все казалось обычным: и сухая щетинистая трава, и дрожащие марева над солончаками, и редкие полосы карликового кустарника. Солнце палило беспощадно. И почему-то нигде не было никаких следов ни зерноедки, ни птиц, ни урагана. Наверное, ураган разметал всю эту живность и сам затерялся в этих бесплодных, извечно пустынных просторах Северной Радуги, самой природой предназначенных для сумасшедших экспериментов нуль-физиков. Однажды, когда Роберт был еще новичком, когда Столицу называли еще просто станцией, а Гринфилда не было вообще, Волна уже проходила в этих местах, вызванная грандиозным опытом покойного Лю

Фынчена, тогда все здесь было черно, но прошло всего семь лет, и цепкая неприхотливая трава вновь оттеснила пустыню далеко на север, к самым районам извержений.

Все вернется, думал Роберт. Все будет по-прежнему, только Камилла больше не будет. И если когда-нибудь кто-нибудь внезапно возникнет в кресле за моей спиной, я уже буду точно знать, что это всего-навсего привидение. А сейчас я приду к Маляеву и скажу ему прямо в лицо: «Ульмотроны ваши я бросил». А он процедит сквозь зубы: «Как вы смели, Скляров?..» И тогда я ему скажу: «Наплевать мне на ульмотроны, потому что погиб Камилл из-за ваших ульмотронов!» А он скажет: «Это, конечно, очень жаль, но ульмотроны нужно было привезти». И тогда я, наконец, рассвирепею и скажу ему все. «Сосулька ты! — скажу я. — Снежная ты баба с электронным управлением. Как ты смеешь думать об ульмотронах, когда погиб Камилл?.. Равнодушный ты человек, ящерица!»

В двухстах километрах от Гринфилда он увидел «харибды» — гигантские телемеханические танки, несущие отверстые пасти энергопоглотителей. «Харибды» шли цепью от горизонта до горизонта, соблюдая правильные полукилометровые интервалы, с лязгом и громовым грохотом

тысячесильных двигателей. За ними в желтой степи оставались широкие полосы развороченной коричневой земли, вспаханной до самого базальтового основания континента. Траки гусениц вспыхивали под солнцем. А далеко справа в тусклом небе моталась едва заметная точка — это был вертолет-наводчик, руководивший движением этих металлических чудовищ. «Харибды» шли на Волну.

Энергопоглотители, по-видимому, еще не работали, но Роберт на всякий случай круто набрал высоту и начал снижение, только когда навстречу ему из дымки вынырнул Гринфилд — несколько белых домиков и квадратная башня дальнего контроля, окруженные пышной земной зеленью. На северной окраине, подмяв под себя рощицу пальм, угрюмо чернела неподвижная «харибда», устремив прямо на Роберта бездонный раструб поглотителя, и еще две «харибды» стояли справа и слева от поселка. Два вертолета взмыли над башней и ушли на юг. На площади среди зеленых газонов блестели на солнце перепончатые крылья птерокаров. Вокруг птерокаров бегали и копошились люди.

Роберт подогнал флаер к самому входу в башню и выскочил на крыльцо. Кто-то отшатнулся,

женский голос вскрикнул: «Кто это?» Роберт взялся за ручку стеклянной двери и на мгновение застыл, вглядываясь в свое отражение, — почти голый, весь в спекшейся пыли, глаза злые, через грудь и живот идет широкая черная царапина... Ладно, подумал он и рванул дверь. «Да ведь это Роберт!» — крикнули сзади. Он медленно поднялся по лестнице и наткнулся на Патрика. Патрик смотрел на него, открыв рот. «Патрик, — сказал Роберт. — Патрик, дружище, Камилл погиб...» Патрик замигал и вдруг зажал себе рот ладонью. Роберт прошел дальше. Дверь в диспетчерскую была открыта. Там были Маляев, глава северных нулевиков Шота Петрович Пагава, Карл Гофман и еще какие-то люди — кажется, биологи. Роберт остановился в дверях, держась за косяк. За спиной топали по ступенькам, и кто-то крикнул: «Откуда он знает?»

— Камилл... — сказал Роберт сипло и закашлялся.

Все с недоумением смотрели на него.

— В чем дело? — резко спросил Маляев. — Что с вами, Скляров, почему вы в таком виде?

Роберт подошел к столу и, уперев грязные кулаки в какие-то бумаги, сказал ему в лицо:

— Камилл погиб. Его раздавило.

Стало очень тихо. Глаза Маляева сузились.

— Как раздавило? Где?..

— Его раздавило птерокаром, — сказал Роберт. — Из-за ваших драгоценных ульмотронов. Он мог спокойно спастись, но он помогал мне таскать ваши драгоценные ульмотроны, и его раздавило. А ваши ульмотроны я бросил там. Подберете их, когда пройдет Волна. Понимаете? Бросил. Они там сейчас валяются...

Ему сунули стакан воды. Он взял стакан и жадно выпил. Маляев молчал. Его бледное лицо стало совсем белым. Карл Гофман бесцельно перебирал какие-то схемы и не поднимал глаз. Пагава поднялся и стоял с опущенной головой.

— Очень тяжело... — сказал, наконец, Маляев. — Это был большой человек. — Он потер лоб. — Очень большой человек. — Он снова поглядел на Роберта. — Вы очень устали, Скляров...

— Я не устал.

— Приведите себя в порядок и отдохните.

— И это все? — горько спросил Роберт.

Лицо Маляева стало прежним — равнодушным и жестким.

— Я задержу вас еще на одну минуту. Вы видели Волну?

— Видел. Волну я тоже видел.

— Какого типа Волна?

В мозгу Роберта что-то сдвинулось, и все стало на привычные места. Был властный и умный руководитель Маляев, и был его вечный лаборант-наблюдатель Роберт Скляров, он же «Юность Мира».

— Кажется, третьего, — покорно сказал он. — Лю-волна.

Пагава поднял голову.

— Хорош-шо! — неожиданно бодро сказал он. И сейчас же скис, облокотился на стол и вяло сел. — Ай, Камилл, ай, Камилл, — забормотал он. — Ай, бедняга!.. — Он схватил себя за большие, оттопыренные уши и принялся мотать головой над бумагами.

Один из биологов, опасливо косясь на Роберта, тронул Маляева за локоть.

— Виноват, — сказал он робко. — А чем это хорошо — Лю-волна?

Маляев перестал, наконец, сверлить Роберта жестким взглядом.

— Это значит, — сказал он, — что погибнет только северная полоса посевов. Но мы еще не уверены, что это Лю-волна. Наблюдатель мог ошибиться.

— Ну как же так? — заныл биолог. — Договари-

вались же... У вас есть эти... «харибды»... Неужели нельзя остановить? Какие же вы физики?

Карл Гофман сказал:

— Возможно, удастся погасить инерцию Волны на линии дискретного перепада.

— Что значит «возможно»? — воскликнула незнакомая женщина, стоявшая рядом с биологом. — Вы понимаете, что это безобразие? Где ваши гарантии? Где ваши прекрасные разговоры? Вы понимаете, что вы оставляете планету без хлеба и мяса?

— Я не принимаю таких претензий, — холодно сказал Маляев. — Я вам глубоко сочувствую, но ваши претензии должны быть адресованы Этьену Ламондуа. Мы не ставим нуль-экспериментов. Мы изучаем Волну...

Роберт повернулся и медленно пошел к двери. И нет им никакого дела до Камилла, думал он. Волна, посевы, мясо... За что они его так не любили? Потому что он был умнее их всех вместе взятых? Или они вообще никого не любят? В дверях стояли ребята, знакомые лица, встревоженные, печальные, озабоченные. Кто-то взял его под локоть. Он поглядел сверху вниз и встретился взглядом с маленькими грустными глазами Патрика.

— Пойдем, Роб, я помогу тебе отмыться...

— Патрик, — сказал Роберт и положил руку ему на плечо. — Патрик, уходи отсюда. Брось их, если хочешь остаться человеком...

Лицо Патрика страдальчески искривилось.

— Ну что ты, Роб, — пробормотал он. — Не надо. Это пройдет.

— Пройдет, — повторил Роберт. — Все пройдет. Волна пройдет. Жизнь пройдет. И все забудется. Не все ли равно, когда забудется? Сразу или потом...

За спиной уже совершенно откровенно ругались биологи. Маляев требовал: «Сводку!» Шота кричал: «Не прекращать замеры ни на секунду! Используйте всю автоматику! Прах с ней, потом бросите!»

— Пойдем, Роб, — попросил Патрик.

И в этот момент, перекрывая говор и крики, в диспетчерской загремел знакомый монотонный голос:

— Прошу внимания!

Роберт стремительно обернулся. У него ослабели колени. На большом экране диспетчерского видеофона он увидел уродливую матовую каску и круглые немигающие глаза Камилла.

— У меня мало времени, — говорил Камилл. Это

был настоящий, живой Камилл — у него тряслась голова, шевелились тонкие губы и двигался в такт словам кончик длинного носа. — Я не могу связаться с директором. Немедленно вызывайте «Стрелу». Немедленно эвакуируйте весь север. Немедленно! — Он повернул голову и посмотрел куда-то вбок, и стала видна его щека, испачканная пылью. — За Лю-волной идет Волна нового типа. Вам ее...

Экран ослепительно вспыхнул, что-то треснуло, и экран померк. В диспетчерской стояла гробовая тишина, и вдруг Роберт увидел страшные, прищуренные на него глаза Маляева.

Глава 4

На Радуге был только один космодром, и на этом космодроме стоял только один звездолет, десантный сигма-Д-звездолет «Тариэль-Второй». Он был виден издалека — бело-голубой купол высотой в семьдесят метров сияющим облачком возвышался над плоскими темно-зелеными крышами заправочных станций. Горбовский сделал над ним два неуверенных круга. Сесть рядом со звездолетом было трудно: плотное кольцо разнообразных машин окружало корабль. Сверху были видны неуклюжие роботы-заправщики, присосавшиеся к шести баковым выступам, хлопотливые аварийные киберы, прощупывавшие каждый сантиметр обшивки, серый робот-матка, руководивший дюжиной маленьких юрких машин-анализаторов. Зрелище это было привычное, радующее хозяйственный глаз.

Однако возле грузового люка имело место явное нарушение всех установлений. Оттеснив в сторону безответных космодромных киберов, там сгрудилось множество транспортных машин всевозможных типов. Там были обычные грузовые «биндюги», туристские «дилижансы»,

легковые «тестудо» и «гепарды» и даже один «крот» — громоздкая землеройная машина для рудных разработок. Все они совершали какие-то сложные эволюции возле люка, теснясь и подталкивая друг друга. В стороне, на самом солнцепеке, стояли несколько вертолетов и валялись пустые ящики, в которых Горбовский без труда узнал упаковку ульмотронов. На ящиках грустно сидели какие-то люди.

В поисках места для посадки Горбовский начал третий круг и тут обнаружил, что за его флаером по пятам следует тяжелый птерокар, водитель которого, высунувшись по пояс из раскрытой дверцы, делает ему какие-то непонятные знаки. Горбовский посадил флаер между вертолетами и ящиками, и птерокар тотчас же очень неловко рухнул рядом.

— Я за вами, — деловито крикнул водитель птерокара, выскакивая из кабины.

— Не советую, — мягко сказал Горбовский. — Мне нет никакого дела до очереди. Я капитан этого звездолета.

На лице водителя изобразилось восхищение.

— Великолепно! — вполголоса воскликнул он, осторожно озираясь по сторонам. — Сейчас мы утрем нос нулевикам. Как зовут капитана этого

корабля?

— Горбовский, — сказал Горбовский, слегка кланяясь.

— А штурмана?

— Валькенштейн.

— Превосходно, — деловито сказал водитель птерокара. — Итак, вы — Горбовский, а я — Валькенштейн. Пошли!

Он взял Горбовского под локоть. Горбовский уперся.

— Слушайте, Горбовский, мы ничем не рискуем. Эти корабли мне отлично знакомы. Я сам летел сюда на десантнике. Мы проберемся в склад, возьмем по ульмотрону и запремся в кают-компании. Когда все это кончится, — он небрежным жестом указал на машины, — мы спокойно выйдем.

— А вдруг придет настоящий штурман?

— Настоящему штурману придется долго доказывать, что он настоящий, — веско возразил самозваный штурман.

Горбовский хихикнул и сказал:

— Пошли.

Лжештурман пригладил волосы, сделал глубокий вдох и решительно двинулся вперед. Они стали протискиваться между машинами. Лжештурман говорил непрерывно — у него вдруг

прорезался глубокий, внушительный бас.

— Я полагаю, — во всеуслышание вещал он, — что прочистка диффузоров только задержит нас. Предлагаю просто сменить половину комплектов, а основное внимание уделить осмотру обшивки. Товарищ, продвиньте немного вашу машину! Вы мешаете... Так вот, Валентин Петрович, при выходе на деритринитацию... Подайте ваш грузовик назад, товарищ. Не понимаю, зачем вы толпитесь? Существует очередь, существует список, закон, наконец... Вышлите представителей... Валентин Петрович, не знаю как вас, а меня поражает дикость аборигенов. Такого мы с вами не видели даже на Пандоре среди тахоргов.

— Вы совершенно правы, Марк, — сказал Горбовский, развлекаясь.

— Что? Ну да, само собой... Ужасные нравы!

Девушка в шелковой косынке, высунувшись из кабины «биндюга», осведомилась:

— Штурман и капитан, если не ошибаюсь?

— Да! — с вызовом сказал штурман. — И, как штурман, я рекомендовал бы вам еще раз прочитать инструкцию о порядке разгрузки.

— Вы думаете, это необходимо?

— Несомненно. Вы совершенно напрасно ввели ваш грузовик в двадцатиметровую зону...

— А знаете, друзья, — раздался веселый молодой голос, — у этого штурмана фантазия победнее, чем у первых двух.

— Что вы хотите этим сказать? — оскорбленно спросил лжештурман. В лице его было что-то от лже-Нерона.

— Понимаете, — проникновенно сказала девушка в косынке, — вон там, на пустых ящиках, уже сидят два штурмана и один капитан. А пустые ящики — это упаковка ульмотронов, которые увезла бортинженер — скромная такая молодая женщина. За нею сейчас гонится уполномоченный Совета...

— Как вам это нравится, Валентин Петрович? — вскричал лжештурман. — Самозванцы, а?

— У меня такое ощущение, — задумчиво сказал Горбовский, — что мне не попасть на собственный корабль.

— Верное рассуждение, — сказала девушка в косынке. — И уже не новое.

Штурман решительно было двинулся вперед, но тут «биндюг» справа немного передвинулся влево, черно-желтый «дилижанс» слева чуть-чуть подался вправо, а прямо на пути к заветному люку вдруг злобно заворочались, отбрасывая комья земли, оскаленные зубья «крота».

— Валентин Петрович! — с негодованием воскликнул лжештурман. — В таких условиях я не гарантирую готовность звездолета!

— Старо! — грустно сказал водитель «дилижанса».

Звонкий веселый голос проговорил:

— Какой это штурман! Скука зевотная. Вот помните второго штурмана — этот действительно развлек! Как он задирал на себе майку и показывал следы метеоритных ударов!

— Нет, первый был лучше, — сказал, обернувшись, водитель «крота».

— Да, он был хорош, — согласилась девушка в косынке. — Как это он шел среди машин, держа перед глазами фотографию, и жалобно так приговаривал: «Галю моя, Галю! Галю дорогая! Далеко ты, Галю, от ридного краю!»

Лжештурман, подавленно опустив голову, сковыривал комья земли с блестящих зубьев «крота».

— Ну, а вы что скажете? — обратился водитель «дилижанса» к Горбовскому. — Что же вы все молчите? Надо что-нибудь говорить... Что-нибудь убедительное.

Все с любопытством ждали.

— Вообще я мог бы войти через пассажирский

люк, — задумчиво сказал Горбовский.

Лжештурман с надеждой вскинул голову и посмотрел на него.

— Не могли бы, — покачал головой водитель. — Он заперт изнутри.

В наступившей паузе был отчетливо слышен голос Канэко:

— Не могу я вам дать десять комплектов, поймите, товарищ Прозоровский!

— А вы поймите меня, товарищ Канэко! У нас заявка на десять комплектов. Как я вернусь с шестью?

Кто-то вмешался:

— Берите, Прозоровский, берите... Берите пока шесть. У нас четыре комплекта освободятся через неделю, и я вам пришлю.

— Вы обещаете?

Девушка в косынке сказала:

— Прозоровского просто жалко. У них шестнадцать схем на ульмотронах!

— Да, нищета, — вздохнул водитель «дилижанса».

— А у нас пять, — горестно сказал лжештурман. — Пять схем и всего один ульмотрон. Что, казалось бы, им стоило привезти штук двести.

— Мы могли бы привезти и двести, и триста,

— сказал Горбовский. — Но ульмотроны нужны сейчас всем. На Земле заложили шесть новых У-конвейеров...

— У-конвейер! — сказала девушка в косынке. — Легко сказать!.. Вы представляете себе технологию ульмотрона?

— В самых общих чертах.

— Шестьдесят килограммов ультрамикроэлементов... Ручное управление сборкой, полумикронные допуски... А какой уважающий себя человек пойдет в сборщики? Вот вы бы пошли?

— Набирают добровольцев, — сказал Горбовский.

— А!.. — с отвращением сказал водитель «крота». — Неделя помощи физикам!..

— Ну что ж, Валентин Петрович, — сказал лжештурман, стыдливо улыбаясь. — Так нас, по-видимому, и не пустят...

— Меня зовут Леонид Андреевич, — сказал Горбовский.

— А меня Ганс, — уныло признался лжештурман. — Пошли посидим на ящиках. Вдруг что-нибудь случится...

Девушка в косынке помахала им рукой. Они выбрались из толпы машин и присели на ящиках рядом с другими лжезвездолетчиками. Их встре-

тили сочувственно-насмешливым молчанием.

Горбовский ощупал ящик. Пластмасса была грубая и жесткая. На солнцепеке было жарко. Делать Горбовскому здесь было совершенно нечего, но, как всегда, ему страшно хотелось познакомиться с этими людьми, узнать, кто они и как дошли до жизни такой, и вообще как идут дела. Он составил вместе несколько ящиков, спросил: «Можно я лягу?», лег, вытянувшись во всю длину, и с помощью струбцинки укрепил возле головы микрокондиционер. Потом он включил проигрыватель.

— Меня зовут Горбовский, — представился он. — Леонид. Я был капитаном этого звездолета.

— Я тоже был капитаном этого звездолета, — мрачно сообщил грузный темнолицый человек, сидевший справа. — Меня зовут Альпа.

— А меня зовут Банин, — заявил голый до пояса худощавый юноша в белой панаме. — Я был и остаюсь штурманом. Во всяком случае, пока не получу ульмотрон.

— Ганс, — коротко сказал лже-Валькенштейн, усевшись на траву поближе к микрокондиционеру.

Третий лжештурман, видимо, не слышал их. Он сидел к ним спиной и что-то писал, положив

блокнот на колени.

Из толпы машин выехал длинный «гепард». Дверца приоткрылась, оттуда вылетели пустые коробки из-под ульмотронов, и «гепард» умчался в степь.

— Прозоровский, — сказал Банин с завистью.

— Да, — сказал Альпа горько. — Прозоровскому не приходится врать. Правая рука Ламондуа. — Он глубоко вздохнул. — Никогда не врал. Терпеть не могу врать. И теперь очень нехорошо на душе.

Банин сказал глубокомысленно:

— Если человек начинает врать помимо всякого желания, значит где-то что-то разладилось. Сложное последействие.

— Все дело в системе, — сказал Ганс. — Все дело в этой исходной установке: больше получает тот, у кого лучше выходит.

— А вы предложите другую установку, — сказал Горбовский. — Не получается у тебя ничего — н`а тебе ульмотрон. Получается — посиди на ящиках...

— Да, — сказал Альпа. — Какой-то страшный срыв. Кто когда-либо слыхал об очередях за оборудованием? Или за энергией? Ты давал заявку, и тебя обеспечивали... Тебя никогда даже не интересовало, откуда это берется. То есть инту-

итивно было ясно, что существует масса людей, с удовольствием работающих в сфере материального обеспечения науки. Между прочим, это действительно очень интересная работа. Помню, я сам после школы с большим удовольствием занимался рационализацией сборки нейтринных схем. Сейчас о них уже не помнят, но когда-то это был очень популярный метод — нейтринный анализ. — Он достал из кармана почерневшую трубку и медленными уверенными движениями набил ее. Все с любопытством следили за ним. — Хорошо известно, что относительная численность потребителей оборудования и производителей оборудования с тех пор существенно не изменилась. Но, видимо, произошел какой-то чудовищный скачок в потребностях. Судя по всему — я просто смотрю вокруг, — среднему исследователю требуется сейчас раз в двадцать больше энергии и оборудования, чем в мое время. — Он глубоко затянулся, и трубка засипела и захрипела. — Такое положение объяснимо. Испокон веков считается, что наибольшего внимания заслуживает та проблема, которая дает максимальный ливень новых идей. Это естественно, иначе нельзя. Но если первичная проблема лежит на субэлектронном уровне и требует,

скажем, единицы оборудования, то каждая из десяти дочерних проблем опускается в материю по крайней мере на этаж глубже и требует уже десяти единиц. Ливень проблем вызывает ливень потребностей. И я уже не говорю о том, что интересы производителей оборудования далеко не всегда совпадают с интересами потребителей.

— Заколдованный круг, — сказал Банин. — Прозевали наши экономисты.

— Экономисты тоже исследователи, — возразил Альпа. — Они тоже имеют дело с ливнями проблем. И раз уж мы заговорили об этом, то вот любопытный парадокс, который очень интересует меня последнее время. Возьмите нуль-Т. Молодая, плодотворная и очень перспективная проблема. Поскольку она плодотворная, Ламондуа по праву получает огромное материальное и энергетическое обеспечение. Чтобы сохранить за собой это материальное обеспечение, Ламондуа вынужден непрерывно гнать вперед — быстрее, глубже и... у´же. А чем быстрее и глубже он забирается, тем больше ему нужно и тем сильнее он ощущает нехватку, пока, наконец, не начинает тормозить сам себя. Взгляните на эту очередь. Сорок человек ждут и тратят драгоценное время. Треть всех исследователей Радуги тратит время,

нервную энергию и темп мысли! А остальные две трети сидят сложа руки по лабораториям и могут думать сейчас только об одном: привезут или не привезут? Это ли не самоторможение? Стремление сохранить приток материальных ресурсов порождает гонку, гонка вызывает непропорциональный рост потребностей, и в результате возникает самоторможение.

Альпа замолчал и стал выколачивать трубку. Из толпы машин, расталкивая их направо и налево, выбрался «крот». В окне нелепо высокой кабины торчала крышка новенького ульмотрона. Проезжая мимо, водитель помахал лжезвездолетчикам.

— Хотел бы я знать, зачем Следопытам ульмотрон, — пробормотал Ганс.

Никто не ответил. Все провожали взглядом «крота», на задней стенке которого красовался опознавательный знак Следопытов — черный семиугольник на красном щитке.

— По-моему, все-таки, — сказал Банин, — виноваты экономисты. Надо было предвидеть. Надо было двадцать лет назад повернуть школы так, чтобы сейчас хватало кадров для обеспечения науки.

— Не знаю, не знаю, — сказал Альпа. — Возмож-

но ли вообще планировать такой процесс? Мы мало знаем об этом, но ведь может оказаться, что установить равновесие между духовным потенциалом исследователей и материальными возможностями человечества вообще нельзя. Грубо говоря, идей всегда будет гораздо больше, чем ульмотронов.

— Ну, это еще надо доказать, — сказал Банин.

— А я ведь не сказал, что это доказано. Я только предположил.

— Такое предположение порочно, — заявил Банин. Он начинал горячиться. — Оно утверждает кризис на вечные времена! Это же тупик!..

— Почему же тупик? — тихо сказал Горбовский. — Наоборот.

Банин не слушал.

— Надо выходить из кризиса! — говорил он. — Надо искать выходы! И выход уж, конечно, не в мрачных предположениях!

— Почему же в мрачных? — сказал Горбовский. Но на него опять не обратили внимания.

— Отказываться от основного принципа распределения нельзя, — говорил Банин. — Это будет просто нечестно по отношению к самым лучшим работникам. Вы будете двадцать лет жевать одну частную проблемку, а энергии, скажем, получать

столько же, сколько Ламондуа. Это же нелепо! Значит, выход не здесь? Не здесь. Вы сами-то видите выход? Или вы ограничиваетесь холодной регистрацией?

— Я старый научный работник и старый человек, — сказал Альпа. — Всю свою жизнь занимаюсь физикой. Правда, сделал я мало, я рядовой исследователь, но не в этом дело. Вопреки всем этим новым теориям я убежден, что смысл человеческой жизни — это научное познание. И, право же, мне горько видеть, что миллиарды людей в наше время сторонятся науки, ищут свое призвание в сентиментальном общении с природой, которое они называют искусством, удовлетворяются скольжением по поверхности явлений, которое они называют эстетическим восприятием. А мне кажется, сама история предопределила разделение человечества на три группы: солдаты науки, воспитатели и врачи, которые, впрочем, тоже солдаты науки. Сейчас наука переживает период материальной недостаточности, а в то же время миллиарды людей рисуют картинки, рифмуют слова... вообще создают *впечатления*. А ведь среди них много потенциально великолепных работников. Энергичных, остроумных, с невероятной трудоспособностью.

— Ну, ну! — сказал Банин.

Альпа промолчал и начал набивать трубку.

— Разрешите, я продолжу вашу мысль, — сказал Горбовский. — Я вижу, вы не решаетесь.

— Попробуйте, — сказал Альпа.

— Хорошо бы всех этих художников и поэтов согнать в учебные лагеря, отобрать у них кисти и гусиные перья, заставить пройти краткосрочные курсы и вынудить строить для солдат науки новые У-конвейеры, собирать тау-тракторы, лить эргохронные призмы...

— Вот чепуха! — разочарованно сказал Банин.

— Да, это чепуха, — согласился Альпа. — Но наши мысли не зависят от наших симпатий и антипатий. Мысль эта глубоко мне неприятна, она даже пугает меня, но она возникла... и не только у меня.

— Это бесплодная мысль, — лениво сказал Горбовский, глядя в небо. — Попытка разрешить противоречие между общим духовным и материальным потенциалом человечества в целом. Она ведет к новому противоречию, старому и банальному, — между машинной логикой и системой морали и воспитания. В таком столкновении машинная логика всегда терпит поражение.

Альпа кивнул и окутался облаками дыма. Ганс

задумчиво проговорил:

— Мысль страшненькая. Помните «проект десяти»? Когда Совету предложили перебросить в науку часть энергии из Фонда изобилия... Во имя чистой науки поприжать человечество в области элементарных потребностей. Помните этот лозунг: «Ученые готовы голодать»?

Банин подхватил:

— А Ямакава тогда встал и сказал: «А шесть миллиардов детей не готовы. Так же не готовы, как вы не готовы разрабатывать социальные проекты».

— Я тоже не люблю изуверов, — сказал Горбовский.

— Я вот недавно прочел книгу Лоренца, — сказал Ганс. — «Люди и проблемы»... Читали?

— Читали, — сказал Горбовский.

Альпа отрицательно помотал головой.

— Хорошая книга, правда? И поразила меня там одна мысль. Правда, Лоренц на ней не останавливается, говорит об этом мимоходом.

— Ну, ну? — сказал Банин.

— Я, помню, целую ночь об этом думал. Не хватало аппаратуры, ждали, пока подвезут, — знаете, обычная эта нервотрепка. И вот я пришел к такому выводу. Лоренц упоминает о естествен-

ном отборе в науке. Какие факторы определяют главенство научных направлений сейчас, когда наука не влияет или почти не влияет больше на материальное благосостояние?

— Ну, ну? — сказал Банин.

— И вот я пришел к такому выводу. Пройдет некоторое время, и те научные исследования, которые оказались наиболее успешными, впитают в себя все материальное обеспечение, непомерно углубятся, а остальные направления просто сами собой сойдут на нет. И вся наука будет состоять из двух-трех направлений, в которых никто, кроме корифеев, разбираться не будет. Понимаете меня?

— А, чушь! — сказал Банин.

— Ну почему же чушь? — спросил Ганс обиженно. — Вот факты. В науке существуют сотни тысяч направлений. В каждом работают тысячи людей. Лично я знаю четыре группы исследователей, которые из-за систематических неудач бросали работу и вливались в другие, более успешные группы. Я сам дважды так поступал...

Альпа сказал:

— Шутки шутками, а возьмите того же Ламондуа. Вот он рвется сломя голову к осуществлению нуль-Т. Нуль-Т, как и следовало ожидать, дает мас-

су новых ответвлений. Но Ламондуа вынужден обрубать почти все эти ответвления, он просто вынужден игнорировать их. Потому что у него нет никакой возможности тщательно проработать каждое ответвление на перспективность. Мало того, он вынужден сознательно игнорировать заведомо поразительные и интересные вещи. Так, например, случилось с Волной. Неожиданное, удивительное и, на мой взгляд, грозное явление. Но, преследуя свою цель, Ламондуа пошел даже на раскол в своем лагере. Он поссорился с Аристотелем, он отказывается обеспечивать волновиков. Он идет вглубь, вглубь, вглубь, его проблема становится все уже. Волна осталась у него далеко в тылу. Она для него только помеха, он слышать о ней не хочет. А она, между прочим, сжигает посевы...

Над космодромом загремел громкоговоритель всеобщего оповещения:

— Внимание, Радуга! Говорит директор. Старшего бригады испытателей Габу вместе с бригадой прошу немедленно явиться ко мне.

— Счастливые люди, — сказал Ганс. — Никакие ульмотроны им не нужны.

— У них своих забот хватает, — сказал Банин. — Видел я однажды, как они тренируются, —

нет уж, я лучше буду лжештурманом... А потом два года сидеть без своего дела и каждый день слышать: «Потерпите еще чуть-чуть. Вот, может быть, завтра...»

— Я рад, что вы заговорили о том, что в тылу, — сказал Горбовский. — «Белые пятна» науки. Меня этот вопрос тоже занимает. По-моему, у нас в тылу нехорошо... Например, Массачусетская машина. — Альпа покивал. Горбовский обратился к нему. — Вы, конечно, должны помнить. Сейчас о ней вспоминают редко. Угар кибернетики прошел.

— Ничего не могу вспомнить о Массачусетской машине, — сказал Банин. — Ну, ну?

— Знаете, это древнее опасение: машина стала умнее человека и подмяла его под себя... Полсотни лет назад в Массачусетсе запустили самое сложное кибернетическое устройство, когда-либо существовавшее. С каким-то там феноменальным быстродействием, необозримой памятью и все такое... И проработала эта машина ровно четыре минуты. Ее выключили, зацементировали все входы и выходы, отвели от нее энергию, заминировали и обнесли колючей проволокой. Самой настоящей ржавой колючей проволокой — хотите верьте, хотите нет.

— А в чем, собственно, дело? — спросил Банин.

— Она начала *вести себя*, — сказал Горбовский.

— Не понимаю.

— И я не понимаю, но ее едва успели выключить.

— А кто-нибудь понимает?

— Я говорил с одним из ее создателей. Он взял меня за плечо, посмотрел мне в глаза и произнес только: «Леонид, это было страшно».

— Вот это здорово, — сказал Ганс.

— А, — сказал Банин. — Чушь. Это меня не интересует.

— А меня интересует, — сказал Горбовский. — Ведь ее могут включить снова. Правда, она под запретом Совета, но почему бы не снять запрет?

Альпа проворчал:

— Каждому времени свои злые волшебники и привидения.

— Кстати, о злых волшебниках, — подхватил Горбовский. — Я немедленно вспоминаю о казусе Чертовой Дюжины.

У Ганса горели глаза.

— Казус Чертовой Дюжины — как же! — сказал Банин. — Тринадцать фанатиков... Кстати, где они сейчас?

— Позвольте, позвольте, — сказал Альпа. — Это

те самые ученые, которые сращивали себя с машинами? Но ведь они же погибли.

— Говорят, да, — сказал Горбовский, — но ведь не в этом дело. Прецедент создан.

— А что, — сказал Банин. — Их называют фанатиками, но в них, по-моему, есть что-то притягательное. Избавиться от всех этих слабостей, страстей, вспышек эмоций... Голый разум плюс неограниченные возможности совершенствования организма. Исследователь, которому не нужны приборы, который сам себе прибор и сам себе транспорт. И никаких очередей за ульмотронами... Я это себе прекрасно представляю. Человек-флаер, человек-реактор, человек-лаборатория. Неуязвимый, бессмертный...

— Прошу прощения, но это не человек, — проворчал Альпа. — Это Массачусетская машина.

— А как же они погибли, если они бессмертны? — спросил Ганс.

— Разрушили сами себя, — сказал Горбовский. — Видимо, не сладко быть человеком-лабораторией.

Из-за машин появился багровый от напряжения человек с цилиндром ульмотрона на плече. Банин соскочил с ящика и побежал помочь ему. Горбовский задумчиво наблюдал, как они грузят

ульмотрон в вертолет. Багровый человек жаловался:

— Мало того, что дают один вместо трех. Мало того, что теряешь половину дня. Тебе еще приходится доказывать, что ты имеешь право! Тебе не верят! Вы можете себе это представить — тебе не верят! Не верят!!!

Когда Банин вернулся, Альпа сказал:

— Все это довольно фантастично. Если вас интересует тыл, обратите лучше пристальное внимание на Волну. Каждая неделя — очередная нуль-транспортировка. И каждая нуль-транспортировка вызывает Волну. Большое или маленькое извержение. А занимаются Волной дилетантски. Не получилось бы второй Массачусетской машины, только без выключателя. Камилл — вы знаете Камилла? — рассматривает ее как явление планетарного масштаба, но его аргументы неудобопонятны. С ним очень трудно работать.

— Кстати, — сказал Ганс, — знаете точку зрения Камилла на будущее? Он считает, что нынешняя увлеченность наукой — это своего рода благодарность за изобилие, инерция тех времен, когда способность к логическому восприятию мира была единственной надеждой человечества. Он говорил так: «Человечество накануне раскола.

Эмоциолисты и логики — по-видимому, он имеет в виду людей искусства и людей науки — становятся чужими друг другу, перестают друг друга понимать и перестают друг в друге нуждаться. Человек рождается эмоциолистом или логиком. Это лежит в самой природе человека. И когда-нибудь человечество расколется на два общества, так же чуждых друг другу, как мы чужды леонидянам...»

— А, — сказал Банин. — Ну что за чепуха. Какой там раскол? Куда денется средний человек? Пагава, может быть, и смотрит на новую картину Сурда как баран на новые ворота, а Сурд, возможно, не понимает, зачем на свете существует Пагава, тут ничего не скажешь — вот тебе логик, а вот эмоциолист. А кто я? Да, я научный работник. Да, три четверти моего времени и три четверти моих нервов принадлежат науке. Но без искусства я тоже не могу! Вот у кого-то здесь играет проигрыватель, и мне очень хорошо. Я бы обошелся и без проигрывателя, но с ним мне гораздо лучше... Так вот, как же я, спрашивается, расколюсь?

— Я тоже так думаю, — сказал Ганс. — Но он говорил, что, во-первых, гений нашего времени — это средний человек будущего; а во-вторых,

будто существует не один средний человек, а два — эмоциолист и логик. Во всяком случае, так я его понял.

— Я тобой восхищаюсь, — сказал Банин. — По-моему, когда слушаешь Камилла, понять нельзя ничего.

— А может быть, это был очередной парадокс Камилла? — сказал Горбовский задумчиво. — Он любит парадоксы. Впрочем, для парадокса это рассуждение, пожалуй, слишком прямолинейно.

— Ну, Леонид Андреевич, — сказал Ганс весело. — Вы все-таки учитывайте, что это не Камилловы рассуждения, а мои. Я вчера загорал на пляже, вдруг на камне возник Камилл — знаете его манеру? — и начал рассуждать вслух, обращаясь преимущественно к морским волнам. А я лежал и слушал, а потом заснул.

Все засмеялись.

— Камилл упражняется, — сказал Горбовский. — Я примерно представляю, зачем ему понадобился этот раскол. Видимо, его занимает вопрос об эволюции человека, и он строит модели. Синтез логика и эмоциолиста представляется ему, вероятно, как новый человек, который уже не будет человеком.

Альпа вздохнул и спрятал трубку.

— Проблемы, проблемы... — сказал он. — Противоречия, синтез, тыл, фронт... А вы заметили, кто здесь сидит? Вы, вы... он... я... Неудачники. Отверженные науки. Наука вон — получает ульмотроны.

Он хотел сказать еще что-то, но тут громкоговоритель заревел снова:

— Внимание, Радуга! Говорит директор. Капитан звездолета «Тариэль-Второй» Леонид Андреевич Горбовский. План-энергетик планеты товарищ Канэко. Прошу немедленно явиться ко мне.

Из машины сейчас же высунулись водители. На лицах их было написано неописуемое удовольствие. Все они смотрели на лжезвездолетчиков. Банин, втянув голову в плечи, развел руками. Ганс весело крикнул: «Это не меня, я штурман!» Альпа закряхтел и закрыл лицо ладонью. Горбовский торопливо поднялся.

— Мне пора, — сказал он. — Очень не хочется уходить. Я так и не успел высказаться. Вот вкратце моя точка зрения. Не надо огорчаться и заламывать руки. Жизнь прекрасна. Между прочим, именно потому, что нет конца противоречиям и новым поворотам. А что касается неизбежных неприятностей, то я очень люблю

Куприна, и у него есть один герой, человек вконец спившийся водкой и несчастный. Я помню наизусть, что он там говорит. — Он откашлялся. — «Если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колеса, и если в этот последний миг меня спросят: “Ну что, и теперь жизнь прекрасна?” — я скажу с благодарным восторгом: “Ах, как она прекрасна!”» — Горбовский смущенно улыбнулся и запихнул проигрыватель в карман. — Это было сказано три века назад, когда человечество еще стояло на четвереньках. Давайте не будем жаловаться!.. А кондиционер я вам оставлю — здесь очень жарко.

Глава 5

Матвей был не один. На его столе, подложив под себя руки и болтая ногами, сидел маленький черноволосый человек, черноглазый, живой, похожий на школьника-выпускника. Это был Этьен Ламондуа, глава современной нуль-физики, «быстрый физик», как его называли коллеги.

— Можно? — спросил Горбовский.

— А вот и он, — сказал Матвей. — Вы знакомы?

Ламондуа стремительно соскочил со стола и, подойдя вплотную, крепко пожал Горбовскому руку, глядя на него снизу вверх.

— Рад вас видеть, капитан, — сказал он, мило улыбаясь. — Мы как раз говорили о вас.

Горбовский попятился и сел в кресло.

— А мы — о вас, — сказал он.

Этьен живо поклонился и вернулся на стол к директору.

— Итак, я продолжаю. «Харибды» стоят насмерть. Надо отдать Маляеву справедливость: он создал отличные машины. Любопытно, что северная Волна совершенно нового типа. Эти мальчишки уже успели назвать ее. П-волна, каково? По имени носатого Шота. Черт возьми, я

вынужден признаться, что рву на себе волосы! Как я раньше не обращал внимания на это великолепное явление? Придется извиниться перед Аристотелем. Он оказался прав. Он и Камилл. Я преклоняюсь перед Камиллом. Я преклонялся перед ним и раньше, но теперь я, кажется, понимаю, что он имел в виду. Кстати, вы знаете, что Камилл погиб?

Матвей дернул головой.

— Опять?

— А, вы уже знаете! Странная история. Погиб и снова воскрес. Я слыхал о таких вещах. На свете нет ничего нового. То же самое было с Христом. Между прочим, вы верите, что Скляров мог бросить его на съедение Волне? Я — нет. Итак, северная Волна достигла пояса контрольных станций. Первая, Лю-волна, рассеяна, вторая, П-волна, теснит «харибд» со скоростью до двадцати километров в час. Так что северные посевы, вероятно, все-таки погибнут. Биологов пришлось выслать на вертолетах...

— Знаю, — сказал директор. — Жаловались.

— Что поделаешь! Они вели себя хотя и понятным образом, но тем не менее недостойно. На океане движение Волны приостановлено. Там наблюдается явление, за которое Лю отдал бы

полжизни: деформация кольцевой Волны. Эта деформация удовлетворяет каппа-уравнению, а если Волна — это каппа-поле, то становится сразу ясно все, над чем бился наш бедный Маляев: и Д-проницаемость, и телегенность фонтанов, и «вторичные призраки»... Черт возьми, за эти три часа мы узнали о Волне больше, чем за десять лет! Матвей, учтите: как только все это кончится, нам понадобится У-регистратор, может быть, даже два. Считайте, что я дал заявку. Обычные вычислители не помогут. Только Лю-алгоритмы, только Лю-логика!

— Хорошо, хорошо, — сказал Матвей. — А что на юге?

— На юге — океан. За юг вы можете быть спокойны. Там Волна дошла до Берега Пушкина, сожгла Южный Архипелаг и остановилась. У меня такое впечатление, что она не пойдет дальше, и очень жаль, потому что наблюдатели удирали оттуда так поспешно, что бросили всю автоматику, и о южной Волне мы почти ничего не знаем. — Он с досадой щелкнул пальцами. — Я понимаю, вас интересует совсем другое. Но что делать, Матвей! Давайте смотреть на вещи реалистически. Радуга — это планета физиков. Это наша лаборатория. Энергостанции погибли, и их не вернешь. Когда

закончится этот эксперимент, мы их отстроим заново, вместе. Нам ведь понадобится много энергии! А что касается рыбных промыслов, черт возьми... Нулевики морально готовы отказаться от ухи из кальмаров! Не сердись на нас, Матвей.

— Я не сержусь, — сказал директор с тяжелым вздохом. — Но есть, однако, в вас что-то от ребенка, Этьен. Вы как ребенок, играючи ломаете все, что так дорого взрослым. — Он снова вздохнул. — Постарайтесь сберечь хоть бы южные посевы. Очень мне не хочется терять автономию.

Ламондуа посмотрел на часы, кивнул и, не говоря ни слова, выскочил вон. Директор посмотрел на Горбовского.

— Как тебе это нравится, Леонид? — спросил он, невесело усмехаясь. — Да, дружище. Бедная Постышева! Она ангел по сравнению с этими вандалами. Когда я думаю, что ко всем моим болячкам прибавятся еще хлопоты по восстановлению системы снабжения и ассенизации, у меня волосы встают дыбом. — Он подергал себя за ус. — А с другой стороны, Ламондуа прав — Радуга действительно планета физиков. Но что скажет Канэко, что скажет Джина... — Он помотал головой и передернул плечами. — Да! Канэко! А где Канэко?

— Матвей, — сказал Горбовский, — а можно мне узнать, зачем ты меня вызвал?

Директор, повернувшись к нему спиной, возился с клавишами селектора.

— Тебе удобно? — спросил он.

— Да, — сказал Горбовский. Он уже лежал.

— Может, тебе пить хочется?

— Хочется.

— Возьми в холодильнике. Может, тебе есть хочется?

— Еще нет, но скоро захочется.

— Вот тогда и поговорим. А пока не мешай мне работать.

Горбовский достал из холодильника соки и стакан, смешал себе коктейль и снова лег в кресло, откинув спинку. Кресло было мягкое, прохладное, коктейль был ледяной и вкусный. Он лежал, потягивая через соломинку, с полузакрытыми от удовольствия глазами и слушал, как директор разговаривает с Канэко. Канэко сказал, что не может выбраться — его не пускают. Директор спросил: «Кто не пускает?» — «Здесь сорок человек, — ответил Канэко, — и каждый не пускает». — «Сейчас я пришлю к тебе Габу», — сказал директор. Канэко возразил, что здесь и так достаточно шумно. Тогда Матвей рассказал о Волне и напом-

нил извиняющимся тоном, что Канэко, помимо всего прочего, является начальником СИБ Радуги. Канэко сердито сказал, что он этого не помнит, и Горбовский ему посочувствовал.

Начальники Службы индивидуальной безопасности всегда вызывали у него чувство жалости и сострадания. На каждую освоенную, а иногда и не совсем еще освоенную планету рано или поздно начинали прибывать аутсайдеры — туристы, отпускники (всей семьей и с детьми), свободные художники, ищущие новых впечатлений, неудачники, ищущие одиночества или работы потруднее, разнообразные дилетанты, спортсмены-охотники и прочий люд, не числившийся ни в каких списках, никому на планете не известный, ни с кем не связанный и зачастую старательно уклонявшийся от каких-либо связей. Начальник СИБ был обязан лично знакомиться с каждым из аутсайдеров, инструктировать их и следить, чтобы каждый аутсайдер давал ежедневно о себе знать сигналом на регистрирующую машину. На зловещих планетах типа Яйлы или Пандоры, где новичка на каждом шагу подстерегали всевозможные опасности, команды СИБ спасли не одну человеческую жизнь. Но на плоской, как доска, Радуге, с ее ровным климатом, убогим

животным миром и ласковым, всегда тихим морем, СИБ неизбежно должна была превратиться и, судя по всему, превратилась в пустую формальность. И вежливый, корректный Канэко, чувствуя двусмысленность своего положения, занимался, конечно, не инструктажем литераторов, приехавших поработать в одиночестве, и не прослеживанием замысловатых маршрутов влюбленных и молодоженов, а своим планированием или каким-нибудь другим настоящим делом.

— Сколько сейчас на Радуге аутсайдеров? — спросил Матвей.

— Человек шестьдесят. Может быть, немного больше.

— Канэко, дружище, всех аутсайдеров надо немедленно разыскать и переправить в Столицу.

— Я не совсем понимаю, в чем смысл этого мероприятия, — вежливо сказал Канэко. — В угрожаемых районах аутсайдеры практически никогда не бывают. Там голая сухая степь, там дурно пахнет, очень жарко...

— Пожалуйста, не будем спорить, Канэко, — попросил Матвей. — Волна есть Волна. В такое время лучше, чтобы все незаинтересованные люди были под рукой. Сейчас сюда придет Габа

со своими бездельниками, и я пошлю его к тебе. Организуй там.

Горбовский, отложив соломинку, отхлебнул прямо из стакана. Камилл погиб, подумал он. А погибнув, воскрес. Со мной такие вещи тоже бывали. Видно, эта пресловутая Волна вызвала порядочную панику. Во время паники всегда кто-нибудь гибнет, а потом ты очень удивляешься, встретив его в кафе в миллионе километров от места гибели. Физиономия у него поцарапана, голос хриплый и бодрый, он слушает анекдоты и убирает шестую порцию маринованных креветок с сычуаньской капустой.

— Матвей, — позвал он. — А где сейчас Камилл?

— Ах да, ты еще не знаешь, — сказал директор. Он подошел к столику и стал смешивать себе коктейль из гранатового сока и ананасного сиропа. — Со мной говорил Маляев из Гринфилда. Камилл каким-то образом оказался на передовом посту, задержался там и попал под Волну. Какая-то запутанная история. Этот Скляров — наблюдатель — примчался на Камилловом флаере, закатил истерику и заявил, что Камилл раздавлен, а через десять минут Камилл выходит на связь с Гринфилдом, по обыкновению пророчествует и

снова исчезает. Ну разве можно после таких вот выходок принимать Камилла всерьез?

— Да, Камилл большой оригинал. А кто такой Скляров?

— Наблюдатель у Маляева, я же тебе говорю. Очень старательный, милый парень, очень недалекий... Предполагать, что он предал Камилла, — это же нелепо. Вечно Маляеву приходят в голову какие-то дикие мысли...

— Не обижай Маляева, — сказал Горбовский. — Он просто логичен. Впрочем, не будем об этом. Будем лучше о Волне.

— Будем, — рассеянно сказал директор.

— Это очень опасно?

— Что?

— Волна. Она опасна?

Матвей засопел.

— В общем-то Волна смертельно опасна, — сказал он. — Беда в том, что физики никогда не знают заранее, как она будет себя вести. Она, например, может в любой момент рассеяться. — Он помолчал. — А может и не рассеяться.

— И укрыться от нее нельзя?

— Не слыхал, чтобы кто-нибудь пробовал. Говорят, что это довольно страшное зрелище.

— Неужели ты не видел?

Усы Матвея грозно встопорщились.

— Ты мог бы заметить, — сказал он, — что у меня мало времени мотаться по планете. Я все время кого-нибудь жду, кого-нибудь умиротворяю, или кто-нибудь меня ждет... Уверяю тебя, если бы у меня было свободное время...

Горбовский осторожненько осведомился:

— Матвей, я, наверное, понадобился тебе, чтобы искать аутсайдеров, не так ли?

Директор сердито взглянул на него.

— Захотел есть?

— Н-нет.

Матвей прошелся по кабинету.

— Я скажу тебе, что меня расстраивает. Во-первых, Камилл предсказывал, что этот эксперимент окончится неблагополучно. Они не обратили на это никакого внимания. Я, следовательно, тоже. А теперь Ламондуа признает, что Камилл был прав...

Дверь распахнулась, и в кабинет, блестя великолепными зубами, ввалился молодой громадный негр в коротких белых штанах, в белой куртке и в белых туфлях на босу ногу.

— Я прибыл! — объявил он, взмахнув огромными руками. — Что ты хочешь, о господин мой директор? Хочешь, я разрушу город или построю

дворец? Хотел я, угадав твои желания, прихватить для тебя красивейшую из женщин, по имени Джина Пикбридж, но чары ее оказались сильнее, и она осталась в Рыбачьем, откуда и шлет тебе нелестные приветы.

— Я абсолютно ни при чем, — сказал директор. — Пусть шлет свои приветы Ламондуа.

— Воистину, пусть! — воскликнул негр.

— Габа, — сказал директор, — ты знаешь о Волне?

— Разве это Волна? — презрительно сказал негр. — Вот когда в стартовую камеру войду я и Ламондуа нажмет пусковой рычаг, вот тогда будет настоящая Волна! А это вздор, зыбь, рябь! Но я слушаю тебя и готов повиноваться.

— Ты с бригадой? — спросил директор терпеливо. Габа молча показал на окно. — Ступай с ними на космодром, ты поступаешь в распоряжение Канэко.

— На голове и на глазах, — сказал Габа. В тот же момент здоровенные глотки за окном грянули под банджо на мотив псалма «У стен Иерихонских»:

На веселой Радуге,
Радуге, Радуге...

Габа в один шаг очутился у окна и гаркнул:

— Ти-хо!

Песня смолкла. Тонкий чистый голос жалобно протянул:

Dig my grave both long and narrow,

Make my coffin neat and strong!..[4]

— Я иду, — с некоторым смущением сказал Габа и мощным прыжком перемахнул через подоконник. За окном взревели.

— Дети... — проворчал директор, ухмыляясь. Он опустил раму. — Застоялись младенцы. Не знаю, что я буду делать без них.

Он остался стоять у окна, и Горбовский, прикрыв глаза, смотрел ему в спину. Спина была широченная, но почему-то такая сгорбленная и несчастная, что Горбовский забеспокоился. У Матвея, звездолетчика и десантника, просто не могло быть такой спины.

— Матвей, — сказал Горбовский. — Я тебе правда нужен?

— Да, — сказал директор. — Очень. — Он все смотрел в окно.

— Матвей, — сказал Горбовский. — Расскажи мне, в чем дело.

— Тоска, предчувствия, заботы, — продеклами-

ровал Матвей и замолчал.

Горбовский поерзал, устраиваясь, тихонько включил проигрыватель и так же тихонько сказал:

— Ладно, дружок. Я посижу здесь с тобой просто так.

— Угу. Ты уж посиди, пожалуй.

Грустно и лениво звенела гитара, за окном пылало горячее пустое небо, а в кабинете было прохладно и сумеречно.

— Ждать. Будем ждать, — громко сказал директор и вернулся в свое кресло.

Горбовский промолчал.

— Да! — сказал он. — Какой же я невежливый! Я совсем забыл. Что Женечка?

— Спасибо, хорошо.

— Она не вернулась?

— Нет. Так и не вернулась. По-моему, она теперь и думать об этом не хочет.

— Все Алешка?

— Конечно. Просто удивительно, как это оказалось для нее важно.

— А помнишь, как она клялась: «Вот пусть только родится!..»

— Я все помню. Я помню такое, чего ты и не знаешь. Она с ним сначала ужасно мучилась.

Жаловалась. «Нет, — говорит, — у меня материнского чувства. Урод я. Дерево». А потом что-то случилось. Я даже не заметил как. Правда, он очень славный поросенок. Очень ласковый и умница. Гулял я с ним однажды вечером в парке. Вдруг он спрашивает: «Папа, что это приседает?» Я сначала не понял. Потом... Понимаешь, ветер, качается фонарь, и тени от него на стене. «Приседает». Очень точный образ, правда?

— Правда, — сказал Горбовский. — Писатель будет. Только хорошо бы отдать его все-таки в интернат.

Матвей махнул рукой.

— Не может быть и речи, — сказал он. — Она не отдаст. И ты знаешь, сначала я спорил, а потом подумал: «Зачем? Зачем отнимать у человека смысл жизни?» Это ее смысл жизни. Мне это недоступно, — признался он, — но я верю, потому что вижу. Может быть, дело в том, что я много старше ее. И слишком поздно для меня появился Алешка. Я иногда думаю, как бы я был одинок, если бы не знал, что каждый день могу его видеть. Женька говорит, что я люблю его не как отец, а как дед. Что ж, очень может быть. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Понимаю. Но мне это незнакомо. Я, Матвей,

никогда не был одиноким.

— Да, — сказал Матвей. — Сколько я тебя знаю, вокруг тебя все время крутятся люди, которым ты позарез нужен. У тебя очень хороший характер, тебя все любят.

— Не так, — сказал Горбовский. — Это я всех люблю. Прожил я чуть не сотню лет и, представь себе, Матвей, не встретил ни одного неприятного человека.

— Ты очень богатый человек, — проговорил Матвей.

— Кстати, — вспомнил Горбовский. — Вышла в Москве книга. «Нет горше твоей радости», Сергея Волкового. Очередная бомба эмоциолистов. Генкин разразился желчной статьей. Очень остроумно, но неубедительно: литература, мол, должна быть такой, чтобы ее было приятно препарировать. Эмоциолисты ядовито смеялись. Наверное, все это продолжается до сих пор. Никогда я этого не пойму. Почему они не могут относиться друг к другу терпимо?

— Это очень просто, — сказал Матвей. — Каждый воображает, что делает историю.

— Но он делает историю! — возразил Горбовский. — Каждый действительно делает историю! Ведь мы, средние люди, все время так или иначе

находимся под их влиянием.

— Не хочется мне об этом спорить, — сказал Матвей. — Некогда мне об этом думать, Леонид. Я под их влиянием не нахожусь.

— Ну, давай не будем спорить, — сказал Горбовский. — Давай выпьем сока. Если хочешь, я даже могу выпить местного вина. Но только если это действительно тебе поможет.

— Мне сейчас поможет одно. Ламондуа явится сюда и разочарованно скажет, что Волна рассеялась.

Некоторое время они молча пили сок, поглядывая друг на друга поверх бокалов.

— Что-то давно к тебе никто не звонит, — сказал Горбовский. — Даже как-то странно.

— Волна, — сказал Матвей. — Все заняты. Раздоры забыты. Все удирают.

Дверь в глубине кабинета отворилась, и на пороге появился Этьен Ламондуа. Лицо у него было задумчивое, и двигался он необычайно медленно и размеренно. Директор и Горбовский молча смотрели, как он идет, и Горбовский почувствовал какое-то неприятное тошное ощущение под ложечкой. Он еще представления не имел о том, что происходит или произошло, но уже знал, что уютно лежать больше не придется. Он выключил

проигрыватель.

Подойдя к столу, Ламондуа остановился.

— Кажется, я огорчу вас, — медленно и ровно сказал он. — «Харибды» не выдержали. — Голова Матвея ушла в плечи. — Фронт прорван на севере и на юге. Волна распространяется с ускорением десять метров в секунду за секунду. Связь с контрольными станциями прервана. Я успел отдать приказ об эвакуации ценного оборудования и архивов. — Он повернулся к Горбовскому. — Капитан, мы надеемся на вас. Будьте добры, скажите, какая у вас грузоподъемность?

Горбовский, не отвечая, смотрел на Матвея. Глаза директора были закрыты. Он бесцельно гладил поверхность стола огромными ладонями.

— Грузоподъемность? — повторил Горбовский и встал. Он подошел к директорскому пульту, нагнулся к микрофону всеобщего оповещения и сказал: — Внимание, Радуга! Штурману Валькенштейну и бортинженеру Диксону срочно явиться на борт звездолета.

Потом он вернулся к Матвею и положил руку ему на плечо.

— Ничего страшного, дружок, — сказал он. — Поместимся. Отдай приказ эвакуировать Детское. Я займусь яслями. — Он оглянулся на Ламондуа.

— А грузоподъемность у меня маленькая, Этьен, — сказал он.

Глаза у Этьена Ламондуа были черные и спокойные — глаза человека, знающего, что он всегда прав.

Глава 6

Роберт видел, как все это произошло.

Он сидел на корточках на плоской крыше башни дальнего контроля и осторожно отсоединял антенны-приемники. Их было сорок восемь — тонких тяжелых стерженьков, вмонтированных в скользящую параболическую раму, и каждый нужно было аккуратно вывернуть и со всеми предосторожностями уложить в специальный футляр. Он очень торопился и то и дело поглядывал через плечо на север.

Над северным горизонтом стояла высокая черная стена. По гребню ее, там, где она упиралась в тропопаузу, шла ослепительная световая кайма, а еще выше в пустом небе вспыхивали и гасли бледные сиреневые разряды. Волна надвигалась неодолимо, но очень медленно. Не верилось, что ее сдерживает редкая цепь неуклюжих машин, казавшихся отсюда совсем маленькими. Было как-то особенно тихо и знойно, и солнце казалось особенно ярким, как в предгрозовые минуты на Земле, когда все затихает и солнце еще светит вовсю, но полнеба уже закрыто черно-синими тяжелыми тучами. В этой тишине было что-то

особенно зловещее, непривычное, почти потустороннее, потому что обыкновенно наступающая Волна бросала впереди себя многобалльные ураганы и рев бесчисленных молний.

А сейчас было совсем тихо. До Роберта отчетливо доносились торопливые голоса с площади внизу, где в тяжелый вертолет навалом грузили особо ценное оборудование, дневники наблюдений, записи автоматических приборов. Было слышно, как Пагава гортанно бранит кого-то за то, что преждевременно сняли анализаторы, а Маляев неспешно обсуждает с Патриком сугубо теоретический вопрос о вероятном распределении зарядов в энергетическом барьере над Волной. Все население Гринфилда собралось сейчас в этой башне под ногами Роберта и на площади. Взбунтовавшиеся биологи и две компании туристов, остановившиеся накануне в поселке на ночлег, были отправлены за полосу посевов. Биологов отправили на птерокаре вместе с лаборантами, которым Пагава приказал оборудовать за полосой посевов новый наблюдательный пункт, а за туристами прибыл специальный аэробус из Столицы. И биологи, и туристы были очень недовольны; и когда они улетели, в Гринфилде остались только довольные.

Роберт работал почти машинально и, как всегда, работая руками, думал о самых разных вещах. Очень болит плечо. Странно: плечом нигде не стукался. Живот саднит, ну, живот понятно — когда споткнулся об ульмотрон. Интересно, как сейчас выглядит этот ульмотрон. И как выглядит мой птерокар. И как выглядит... Интересно, что здесь будет через три часа. Цветники жалко... Детишки целое лето трудились, выдумывали самые фантастические сочетания цветов. И тогда мы познакомились с Таней. Та-ня, — тихонько позвал он. Как ты там сейчас? Он прикинул расстояние от фронта Волны до Детского. Безопасно, подумал он с удовлетворением. Они там, наверное, и не знают о том, что Волна, что взбунтовались биологи, что я чуть не погиб, что Камилл...

Он выпрямился, вытер лицо тыльной стороной ладони и посмотрел на юг, на бесконечные зеленые поля хлеба. Он пытался думать о гигантских стадах мясных коров, которых перегоняют сейчас в глубь континента; о том, как много придется работать над восстановлением Гринфилда, когда рассеется Волна; и как неприятно после двухлетнего изобилия снова возвращаться к синтепище, к искусственным бифштексам, к грушам с привкусом зубной пасты, к хлорелловым «супам

сельским», к котлетам бараньим квазибиотическим и к прочим чудесам синтеза, будь они неладны... Он думал о чем попало, но он ничего не мог сделать.

Никуда не уйти от удивленных глаз Пагавы, от ледяного тона Маляева, от преувеличенно-участливого обращения Патрика. Самое страшное, что ничего нельзя сделать. Что со стороны это должно выглядеть, мягко выражаясь, странно. А зачем, собственно, выражаться мягко? Это выглядит попросту однозначно. Испуганный наблюдатель в растерзанном виде прилетает в чужом флаере и заявляет о гибели товарища. А товарищ, оказывается, был жив. Товарищ, оказывается, погиб уже после, когда испуганный наблюдатель удирал на его флаере. Но он же был раздавлен насмерть, в десятый раз повторял про себя Роберт. А может быть, это был просто бред? Может быть, я перепугался до бреда? Никогда не слыхал о таких вещах. Но ведь и о том, что случилось — если это случилось, — я тоже никогда не слышал. Ну и пусть, в отчаянии подумал он. Пусть не верят. Танюшка поверит. Только бы она поверила! А им все равно, они о Камилле забыли сразу. Они будут вспоминать о нем, только когда будут видеть меня. И будут смотреть на меня

своими теоретическими глазами, и анализировать, и сопоставлять, и взвешивать. И строить наименее противоречивые гипотезы, и только правды они никогда не узнают... И я тоже никогда не узнаю правды.

Он вывернул последнюю антенну, уложил ее в футляр, затем собрал все футляры в плоский картонный ящик, и тут с севера донесся гулкий хлопок, словно в огромном пустом зале лопнул воздушный шарик. Обернувшись, Роберт увидел, как на аспидно-черном фоне Волны встает длинный белый факел. Горела «харибда». Сейчас же внизу смолкли голоса, взвыл и заглох работавший вхолостую мотор вертолета. Наверное, все там прислушивались и смотрели на север. Роберт еще не понял, что произошло, когда затряслось, задребезжало и из-под башни, подминая уцелевшие пальмы, поползла резервная «харибда», задирая на ходу раструб поглотителя. На открытом месте она взревела так, что заложило уши, и покатилась на север затыкать прорыв, окутавшись облаком рыжей пыли.

Дело было довольно обычное: одна из «харибд» не успела отвести в базальт избыток энергии из емкостей, и Роберт уже нагнулся за картонным ящиком, но тут у подножия черной стены что-то

ярко вспыхнуло, взлетел веер разноцветного пламени, и еще один столб белого дыма, наливаясь и густея на глазах, потянулся к небу. Докатился новый хлопок. Внизу дружно закричали, и Роберт сразу увидел далеко к востоку еще несколько факелов. «Харибды» вспыхивали одна за другой, и через минуту тысячекилометровая стена Волны, напоминавшая теперь классную доску, исчерченную мелом, качнулась и поползла вперед, выбрасывая перед собой в степь черные вспухающие кляксы. Роберт с трудом глотнул пересохшим горлом и, подхватив ящик, побежал вниз по лестнице.

По коридорам метались люди. Пробежала перепуганная Зиночка, прижимая к груди пачку коробок с пленкой. Гасан Али-заде и Карл Гофман со сверхъестественной скоростью волокли к выходу громоздкий саркофаг лабораторного хемостазера — их словно ветром несло. Кто-то звал: «Идите сюда! Не могу я один! Гасан!..» В вестибюле зазвенело разбитое стекло. Зафыркали моторы на площади. В диспетчерской, топча разбросанные карты и бумаги, прыгал перед экраном Пагава и нетерпеливо кричал: «Почему не слышишь? «Харибды» горят! Горят «харибды», говорю! Волна пошла! Ничего, понимаешь, не

слышу!.. Этьен! Если понял, кивни!..»

Роберт, морщась от боли, взвалил коробку на плечо и стал спускаться в вестибюль. Позади кто-то, шумно дыша, грохотал по ступенькам. Вестибюль был усеян оберточной бумагой и обломками какого-то прибора. Дверь из небьющегося стекла была расколота вдоль. Роберт боком протиснулся на крыльцо и остановился. Он увидел, как один за другим уходят в небо битком набитые птерокары. Он увидел, как Маляев, молча, с каменным лицом, впихивает в последний птерокар девушек-лаборанток. Он увидел, как Гасан и Карл, разевая от натуги рты, пытаются закинуть свой саркофаг в дверцу вертолета, а кто-то изнутри старается им помочь, и каждый раз саркофаг бьет его по пальцам. Он увидел Патрика, совершенно спокойного, сонного Патрика, прислонившегося спиной к заднему фонарю вертолета с видом сосредоточенным и задумчивым. А повернув голову, он увидел чуть ли не над собой угольно-черную стену Волны, бархатным занавесом закрывающую небо.

— Перестаньте же грузить! — закричал у него над ухом Пагава. — Опомнитесь! Немедленно бросьте этот гроб!

Хемостазер с тяжким звоном рухнул на бетон.

— Выбрасывайте все! — кричал Пагава, сбегая с крыльца. — Всем в вертолет немедленно! Не видите, да? Я кому говорю, Скляров! Патрик, заснул?!

Роберт не двигался с места. Патрик тоже. В это время Маляев, навалившись, захлопнул дверцу птерокара и замахал руками. Птерокар растопырил крылья, тяжело подпрыгнул и, перекосившись на борт, ушел за крыши. Из вертолета летели ящики. Кто-то вопил плачущим голосом: «Не дам, Шота Петрович! Это я им не дам!..» — «Дашь, голубчик! — ревел Пагава. — Еще как дашь!» К Пагаве подбежал Маляев, крича что-то и указывая на небо. Роберт поднял глаза. Маленький вертолет-наводчик, утыканный, как еж, антеннами, с ужасным воем перегретого двигателя пронесся над площадью и, быстро уменьшаясь, умчался на юг. Пагава воздел над головой стиснутые кулаки.

— Куда? — заорал он. — Назад! Назад, шени деда! Прекратить панику! Остановить его!

Все это время Роберт стоял на крыльце, удерживая на ноющем плече тяжелый картонный ящик. У него было такое впечатление, будто он в кино. Вот разгружают вертолет. То есть попросту вываливают из него все, что попадает под

руку. Вертолет действительно перегружен — это видно по просевшим шасси. Рядом с вертолетом толкутся. Сначала толклись с криками, а теперь замолчали. Гасан сосет косточки на пальцах — наверное, ободрался. Патрик, кажется, совсем заснул. Нашел время и, главное, место!.. Карл Гофман, человек педантичный (то, что называется «вдумчивый и осторожный ученый»), подхватывает летящие из вертолета ящики и пытается складывать их аккуратно — вероятно, для самоутверждения. Пагава нетерпеливо прыгает возле вертолета и все время поглядывает то на Волну, то на башню контроля. Ему явно не хочется улетать, и он жалеет, что он здесь старший. Маляев стоит в стороне и тоже смотрит на Волну — не отрываясь и с холодной враждой. А в тени коттеджа, где жил Патрик, стоит мой флаер. Интересно, кто его туда отвел и зачем? На флаер никто не обращает внимания, да он и не нужен никому: осталось человек десять, не меньше. Вертолет хороший, мощный, класса «гриф», но при таком грузе он пойдет с половинной скоростью. Роберт поставил ящик на ступеньку.

— Не успеем, — сказал Маляев.

В голосе его была такая тоска и горечь, что Роберт удивился. Но он уже знал, что все успеют. Он

подошел к Маляеву.

— Есть еще резервная «харибда», — сказал он. — Четверть часа вам хватит?

Маляев смотрел на него, не понимая.

— Есть две резервные «харибды», — холодно сказал он и вдруг понял.

— Ладно, — сказал Роберт. — Не забудьте Патрика. Он с той стороны вертолета.

Роберт повернулся и побежал. Вслед ему закричали, но он не оглянулся. Он бежал изо всех сил, перепрыгивая через брошенные аппараты, через грядки с декоративными растениями, через аккуратно подстриженные кусты с пахучими белыми цветами. Он бежал к западной окраине. Справа над крышами стояла черная бархатная стена, упиравшаяся в зенит, а слева палило ослепительное белое солнце. Роберт обогнул последний дом и сразу наткнулся на необъятную корму «харибды». Он увидел клочья зелени, застрявшие в сочленениях исполинских гусениц, растерзанные лепестки яркого цвета, прилипшие к траку, ободранный ствол молодой пальмы, торчащий между ленивцами, и, не поднимая глаз, полез наверх по узкому трапу, обжигая руки о накаленные солнцем перекладины. Все так же не поднимая глаз, он съехал на спине в кабину

ручного управления, уселся в кресло, откинул стальную заслонку перед лицом, и вновь его руки заработали привычно, автоматически. Правая рука протянулась вперед и врубила ток, левая одновременно включила сцепление, перевела управление на ручное, а правая уже тянулась назад, отыскивая клавишу стартера; и когда все вокруг заревело, загрохотало и затряслось, левая, уже совершенно ни к чему, включила систему кондиционирования. Затем — уже сознательно — он нашарил рычаг управления поглотителем, отвел его до отказа на себя и только тогда решился посмотреть вперед через отброшенную заслонку.

Прямо перед ним была Волна. Вероятно, ни один человек после Лю еще никогда не был так близко от Волны. Она была просто черная, без малейших прожилок, и залитая солнцем степь до самого горизонта отчетливо рисовалась на ее фоне. Была видна каждая травинка, каждый кустик. Роберт видел даже землероек, желтыми столбиками ошарашенно замерших перед своими норками.

Над головой возник и начал стремительно нарастать сухой звенящий вой — заработал поглотитель. «Харибда» плавно раскачивалась на ходу. В зеркале заднего вида прыгали в пыли

здания поселка. Вертолета видно не было. Еще метров сто, нет, еще метров пятьдесят — и довольно. Он покосился налево, и ему почудилось, что стена Волны уже немного выгнулась. Впрочем, судить об этом было очень трудно. А может быть, и не успею, подумал вдруг он. Он не сводил глаз с белых дымных столбов, поднимающихся из-за горизонта. Дым рассеивался быстро и был теперь едва виден. Интересно, что могло гореть в «харибдах»?

Хватит, подумал он, нажимая на тормоз. А то не убежать. Он снова поглядел в зеркало заднего вида. Долго, ох, долго возятся, подумал он. Степь перед «харибдой» медленно темнела огромным треугольником, в вершине которого находился поглотитель. Землеройки вдруг беспокойно запрыгали, одна из них шагах в двадцати вдруг упала на спину, судорожно дергая лапками.

— Убегайте, дурачки! — сказал вслух Роберт. — Вам можно...

И тут он увидел вторую «харибду». Она стояла в полукилометре к востоку, жадно задрав черный раструб поглотителя, и перед ней точно так же темнела трава, ежась от нестерпимого холода.

Роберт ужасно обрадовался. Молодец, подумал он. Умница! Смельчак! Неужели Маляев? А

почему бы нет? Ведь он тоже человек, и все человеческое ему не чуждо... А может, сам Пагава? Впрочем, его просто не пустят. Свяжут и сунут под сиденье и еще ногами придавят, чтобы не брыкался. Нет, молодец, молодец! Он толкнул бортовой люк, высунулся и закричал:

— Эге-ге! Держись, дружище! Вдвоем мы тут с тобой год простоим!..

Он посмотрел на приборы и сразу забыл обо всем. Емкости были на исходе: светящаяся стрелка под запыленным стеклом упиралась в ограничитель. Он быстро взглянул в зеркало заднего вида, и у него немного отлегло от сердца. В белом небе над крышами поселка висело быстро уменьшающееся темное пятнышко. Еще минут десять, подумал он. Теперь ясно было видно, что фронт Волны перед поселком прогнулся. Волна обтекала зону действия «харибд» с востока и с запада.

Роберт посидел немного, стиснув зубы. Вся его энергия уходила на то, чтобы отогнать видение обгорелого трупа в водительском кресле. Хорошо бы научиться по желанию выключать воображение... Он встрепенулся и принялся открывать все люки, какие только мог вспомнить. Тяжелый круглый люк над головой. Люк слева — настежь

его! Люк справа уже приоткрыт — тоже настежь... Дверцу за спиной, ведущую в машинное отделение... Нет, ее лучше закрыть — взрыв происходит, наверное, именно там, в емкостях... На засов ее, на засов... Как раз в этот момент соседняя «харибда» взорвалась.

Роберт услышал короткий оглушительный гром, его толкнуло горячим воздухом, и, высунувшись из люка, он увидел, что на месте соседа стоит огромная туча желтой пыли, закрывающая степь, и небо, и Волну, а в глубине тучи что-то тлеет ярким вздрагивающим светом. Что-то прошелестело в воздухе и звонко стукнулось о броню. Роберт глянул на приборы и одним движением выбросился через левый люк.

Он упал ничком в горячую сухую траву, сейчас же вскочил и, пригибаясь, пустился бегом к поселку. Так он не бегал никогда в жизни. Его «харибда» взорвалась, когда он был уже в палисаднике крайнего дома. Он даже не оглянулся, только втянул голову в плечи, согнулся еще ниже и побежал еще быстрее. Вечная тебе слава, твердил он. Вечная тебе слава!.. Потом он сообразил, что повторяет эти слова с того момента, когда увидел на месте соседней «харибды» этот жуткий столб пыли.

Площадь была пуста, газоны вытоптаны, всюду валялись ценнейшая уникальная аппаратура, коробки с уникальными записями, и легкий ветерок лениво перелистывал уникальные дневники уникальных наблюдений.

Тяжело дыша, Роберт пересек площадь и подбежал к флаеру. Двигатель флаера работал, а на водительском месте с обычным своим сонным видом сидел Патрик.

— Ну, вот и ты, — сказал Патрик ласково. Роберт ошарашенно смотрел на него. — Я уж думал, ты там остался. Садись скорее, надо уносить ноги. У нее скорость сейчас — ой-ей-ей!..

Роберт повалился на сиденье рядом с ним.

— Погоди, — сказал он, задыхаясь. — Может быть, второй... тоже спасся? Кто это был? Маляев, Гофман?..

Патрик неуклюже завертел рукояткой, выводя флаер для разгона.

— Второй — это я, — сказал он застенчиво.

— Ты?

— Я, — повторил Патрик и нервно хихикнул. Он вырулил флаер на дорожку и наконец поднял его. — Я почувствовал, что взрываюсь, вылез и убежал. Здорово громыхнуло, верно? Меня до самого поселка катило...

Поселок медленно повернулся под ними и скользнул назад. Ай да Патрик, подумал Роберт с недоумением.

— А моя посильнее грохнула, — заявил Патрик. — Как тебе кажется, Роб, а?..

— Куда ты летишь? — спросил Роберт.

— В Холодные Ручьи, — сказал Патрик. — Новая база будет там.

Глава 7

Роберт посмотрел через плечо. Ничего уже не было видно, кроме белесого неба и зеленых полей. Два раза я уже сегодня от нее уходил, подумал он. Не миновать и третьего.

— Что теперь будет? — спросил он.

Патрик выпятил толстые губы.

— Плохо будет. У нее огромный запас инерции.

— Ты пробовал подсчитать?

— Да.

— Ну?

Патрик тяжко вздохнул и ничего не ответил. Роберт, сдвинув брови, смотрел прямо перед собой. Потом он включил рацию флаера и настроился на Детское. Он несколько раз нажал на клавишу вызова, но Детское не отзывалось. Не надо беспокоиться, думал он. Летний праздник и все такое. Как странно, они еще ничего не знают. И пусть ничего не знают. Буду знать только я. Он опять спросил:

— Куда мы летим?

— Ты уже спрашивал.

— Ах, да... Патрик, дружище, тебе очень нужно в эти Ручьи?

— Конечно. Куда же нам еще?

Роберт откинулся на сиденье.

— Да, — сказал он. — Зря ты остался.

— В каком смысле «зря»?

— Ты можешь побыстрее?

— Могу...

— А еще быстрее?

Патрик промолчал. Двигатель клокотал, захлебываясь воздухом.

— Мы всегда торопимся, — пробормотал Патрик. — Всегда нас что-то или кто-то подгоняет. Быстрее, еще быстрее... А нельзя ли еще быстрее? Можно, отвечаем мы. Пожалуйста!.. Нет времени осмотреться. Нет времени подумать. Нет времени разобраться — зачем и сто́ит ли? А потом появляется Волна. И мы опять торопимся.

— Подавай больше горючего, — сказал Роберт. Он думал совсем о другом. — И держи правее.

Патрик замолчал. Внизу проносились зеленые поля созревающего хлеба, редкие белые домики синоптических станций. Было видно, как прямо через хлеба гнали на юг скот. Киберпастухи казались с этой высоты крошечными блестящими звездочками. Все это было уже не нужно.

— Ты не слыхал что-нибудь о «Стреле»? — спросил Роберт.

— Нет. «Стрела» далеко. Она не успеет. Брось об этом думать, Роб!

— О чем же мне еще думать? — пробормотал Роберт.

— А ни о чем. Сядь поудобнее и смотри вокруг. Не знаю, как ты, а я ничего этого раньше не замечал. По-моему, я никогда даже не видел эту зеленую волну на хлебах от ветра... Волну! Тьфу! А знаешь, когда я все это впервые увидел? Знаешь? Когда смотрел в степь через железную заслонку на «харибде». Я все смотрел на эту черноту и вдруг увидел степь и понял, что всему конец. И мне стало ужасно жалко этого. А землеройки смотрели на Волну и ничего не понимали... И знаешь, что я открыл, Роб? Где-то мы просчитались.

Роберт молчал. Поздно спохватился, думал он. Надо было смотреть раньше, хотя бы в окно.

Внизу проплывали белые прямоугольники зданий, бетонированные площади, полосатые башни энергоантенн — это была одна из многочисленных энергетических станций северного пояса.

— Снижайся, — сказал Роберт.

— Куда?

— Вон площадь — видишь? — где птерокары.

Патрик глянул через борт.

— Действительно, — сказал он. — А зачем?

— Возьмешь себе птерокар, а мне отдашь флаер.

— Что ты задумал? — спросил Патрик.

— Полетишь дальше один. Мне в Ручьи не надо. Снижайся.

Патрик послушно пошел на посадку. Флаер он все-таки водил отвратительно. Роберт разглядывал площадь.

— Превосходная организация, — пробормотал он насмешливо. — Мы там давимся, все бросаем, а здесь на двух дежурных три птерокара.

Флаер неуклюже сел между птерокарами. Роберт прикусил язык.

— Ох! — сказал он. — Ну, вылезай, вылезай.

Патрик очень медленно и неохотно слез с сиденья.

— Роб, — сказал он неуверенно, — может быть, это не мое дело, но что же ты все-таки задумал?

Роберт проворно передвинулся на его место.

— Не беспокойся, ничего страшного. Ты справишься с птерокаром?

Патрик стоял, опустив руки, и лицо его приняло жалостливое выражение.

— Роб, — сказал он. — Смотри на вещи трезво. Над Волной плазмовый барьер в сто километров.

Тебе не перепрыгнуть.

Роберт с изумлением посмотрел на него.

— Он уже давно погиб, — сказал Патрик. — Первый раз ты мог ошибиться, но теперь там прошла Волна.

— О чем ты? — спросил Роберт. — Я не собираюсь прыгать через Волну, будь она проклята. У меня есть дело поважнее. Прощай. Передай Маляеву, я не вернусь. Прощай, Патрик.

— Прощай, — сказал Патрик.

— Ты мне так и не сказал, справишься ты с птерокаром или нет?

— Справлюсь, — печально сказал Патрик. — Птерокар я знаю хорошо. Эх, Роб!..

Роберт круто взял на себя ручку управления, и когда он через пять минут оглянулся, энергостанция уже скрылась за горизонтом. До Детского было два часа лету. Роберт проверил горючее, послушал двигатель, перевел его на самый экономичный режим и включил киберпилот. Потом он снова попробовал вызвать Детское. Детское молчало. Роберт хотел выключить рацию, но подумал и переключил приемник на самонастройку.

— ...девятого класса Асмодей Барро нашел во время экскурсии окаменевшие организмы, напоминающие морских ежей. Место находки отстоит

довольно далеко от побережья...

— ...совещание у директора. Здесь ходят какие-то странные слухи. Говорят, Волна дошла до Гринфилда. Не вернуться ли мне на базу? Сейчас, по-моему, не до ульмотронов.

— ...поставить своими силами не удастся. У нас нет Отелло. Если говорить откровенно, идея ставить Шекспира представляется мне абсурдной. Не думаю, чтобы мы оказались способны на новую интерпретацию, а ждать, пока...

— ...Витя, как ты меня слышишь? Витя, изумительная новость! Буллит раскодировал этот ген. Возьми бумагу и пиши. Шесть... Одиннадцать... Одиннадцать, говорю...

— Внимание, Радуга! Начальникам всех поисковых партий. Начать эвакуацию. Обратить особое внимание на то, чтобы все летательные транспортные средства класса не ниже «медузы» были доставлены в Столицу.

— ...небольшой голубой коттеджик прямо на берегу. Здесь очень свежий воздух, превосходное солнце. Я никогда не любила Столицу и никогда не понимала, зачем ее построили на экваторе. Что? Ну конечно, ужасно душно...

— ...Сойер! Сойер! Я Канэко. Немедленно меняй курс. Художники уже нашлись. Иди на юг.

Разыщи третий вертолет. Третий вертолет не прибыл...

— Внимание, испытатели! Сегодня в четырнадцать часов состоится внеплановый нуль-запуск человека к Земле. Просьба прибыть в Институт не позже тринадцати часов...

— ...Ничего не понимаю. Никак не могу связаться с директором. Все каналы заняты. Ты не знаешь, что происходит?

— Адольф! Адольф! Умоляю, откликнись! Умоляю, возвращайся немедленно! Еще есть шанс попасть на звездолет!.. (Голос стал уплывать, но Роберт придержал верньер.) Страшная катастрофа! Почему-то об этом ничего не сообщают, но мне сказали, что Радуга обречена! Возвращайся немедленно! Я хочу быть с тобой сейчас...

Роберт отпустил верньер.

— ...как всегда. У Веселовского. Нет, Синица читает новые стихи. По-моему, любопытные. Мне кажется, они должны тебе понравиться. Нет, это, конечно, не шедевр, однако...

— ...Почему же, я все прекрасно понимаю. Но посуди сам, «Тариэль-Второй» — это десантный звездолет. Ты пробовал прикинуть, сколько людей он может взять? Нет, я уж останусь здесь. Вера тоже решила остаться. Не все ли равно, где...

— Следопыты, Следопыты! Место сбора — Столица. Все в Столицу! Забирайте с собой «кроты», будем рыть убежище. Может быть, успеем...

— ...«Тариэль», говорите? Знаю, как же, Горбовский. Да, грузоподъемность у него, к сожалению, невелика. Ну что ж... Я предлагаю приблизительно такой список: от дискретников — Пагава, от волновиков — Аристотель, может быть Маляев, от барьерщиков я бы рекомендовал Форстера... Ну и что же, что он старый? Он велик! Вам, голубчик, сорок лет, и вы, я вижу, плохо представляете себе психологию старика. Всего-то навсего осталось жить лет пять-десять, и то не дают...

— Габа! Габа! Слышал о нуль-запуске? Что? Занят? Вот странный человек... Я лечу в Институт. Почему же я с ума сошел? Да знаю я все это, знаю... Именно сейчас! А если вдруг получится? Ну, прощай. Ищи то, что от меня останется, где-нибудь возле Проциона...

— Опять физики что-то взорвали на Северном полюсе. Надо бы слетать посмотреть, но тут прибыл какой-то вертолет, и нас всех приглашают в Столицу... Ах, вас тоже? Странно!.. Ну, там увидимся.

Роберт выключил рацию. «Тариэль-Второй», десантник... Он взял управление от киберпилота

и до предела увеличил обороты двигателя. Хлеба внизу кончились, началась полоса тропических лесов. Ничего нельзя было разглядеть в пестрой желто-зеленой путанице, но Роберт знал, что там, под сенью исполинских деревьев, проходят прямые шоссе и по этим шоссе, вероятно, уже мчатся на запад машины с беженцами. Несколько тяжелых грузовых вертолетов прошло на юго-запад где-то возле самого горизонта. Они скрылись из виду, и Роберт снова остался один. Он вытащил радиофон и набрал номер Патрика. Патрик долго не откликался. Наконец послышался его голос:

— Алло?

— Патрик, это я, Скляров. Патрик, что известно о Волне?

— Все то же, Роб. Берег Пушкина затоплен. Аодзора сгорела. Рыбачий горит сейчас. Несколько «харибд» уцелело, их оттаскивают на буксире к Столице. А ты где?

— Это неважно, — сказал Роберт. — Сколько от Волны до Детского?

— До Детского? Зачем тебе Детское? До Детского далеко. Слушай, Роб, если уцелеешь, срочно лети в Столицу. Мы все там будем через полчаса. — Он вдруг хихикнул. — Маляева пытались всадить в звездолет. Жалко, тебя не было. Он разбил Гасану

нос. А Пагава куда-то спрятался.

— А тебя не пытались всадить?

— Ну зачем же ты так, Роб...

— Ладно, извини. Значит, от Детского Волна пока далеко?

— Не то чтобы очень далеко... Час-полтора...

— Спасибо, Патрик. До свидания.

Роберт снова попытался связаться с Таней, на этот раз по радиофону. Он ждал пять минут. Таня не отвечала...

Детское было пусто. Над стеклянными спальнями, над садами, над пестрыми коттеджами висела тишина. Здесь не было того панического беспорядка, который оставили после себя нулевики в Гринфилде. Песчаные дорожки были аккуратно подметены, парты в саду стояли, как всегда, ровными рядами, постели были старательно прибраны. Только на дорожке перед Таниным коттеджем валялась на песке забытая кукла. Возле куклы сидел большеглазый пушистый ручной калям. Он старательно обнюхивал ее, поглядывая на Роберта с добродушным любопытством.

Роберт вошел в Танину комнату. Здесь было, как всегда, чисто, светло и хорошо пахло. На столе лежала раскрытая тетрадь, через спинку стула свисало большое махровое полотенце. Роберт

потрогал его — оно было еще влажное.

Роберт постоял у стола, потом рассеянно скользнул взглядом по тетради. Он дважды прочел свое имя, прежде чем это дошло до его сознания. Имя было написано большими печатными буквами.

«РОБИК! Нас спешно эвакуировали в Столицу. Ищи меня в Столице. Непременно найди! Нам еще ничего не говорили, но, кажется, надвигается что-то страшное. Ты мне нужен, Робик. Найди меня. Твоя Т.»

Роберт вырвал листок из тетради, сложил вчетверо и спрятал в карман. Он последний раз окинул взглядом Танину комнату, открыл стенной шкаф, потрогал ее платья, снова закрыл шкаф и вышел из коттеджа.

От Таниного коттеджа было хорошо видно море — спокойное, похожее на застывшее зеленое масло. Десятки тропинок вели через траву к желтому пляжу, на котором были разбросаны шезлонги и топчаны. Несколько лодок лежали вверх килем у самой воды. А горизонт на севере горел нестерпимо яркими солнечными бликами. Роберт быстро пошел к флаеру. Он перешагнул через борт, остановился и снова оглянулся на море. И вдруг он понял: это было не солнце, это был гребень Волны.

Он устало опустился на сиденье и тронул флаер. То же самое и на юге, подумал он. Она теснит нас с севера и с юга. Мышеловка. Коридор между двух смертей. Флаер снова понесся над тропическим лесом. Сколько еще осталось, думал он. Два часа, три? Два места в звездолете, десять?

Лес под флаером вдруг кончился, и Роберт увидел на обширной лужайке большой пассажирский аэробус, окруженный толпой людей. Он машинально притормозил и стал снижаться. Видимо, аэробус потерпел аварию, и все эти люди рядом с ним — странно, какие они все маленькие! — ждали, пока пилот исправит повреждение. Он увидел пилота — огромного чернокожего человека, копавшегося в двигателе. Затем он понял, что это дети, и тут же увидел Таню. Она стояла возле пилота и принимала от него какие-то детали.

Флаер упал в десяти шагах от аэробуса, и все сейчас же обернулись к нему. Но Роберт видел только Таню, ее прекрасное измученное лицо, тонкие руки, прижимающие к груди испачканные железки, и удивленно расширившиеся глаза.

— Это я, — сказал Роберт. — Что случилось, Таня?

Таня молча смотрела на него, и тогда он погля-

дел на чернокожего пилота и узнал Габу. Габа широко заулыбался и крикнул:

— А, Роберт! Иди-ка сюда, помоги! Таня — чудесная девочка, но она никогда не имела дела с аэробусами! И я тоже! А у него все время глохнет двигатель!

Дети — семилетние мальчишки и девчонки — рассматривали Роберта с интересом. Роберт подошел к аэробусу и, мимоходом ласково коснувшись щекой Таниных волос, заглянул в двигатель. Габа похлопал его по спине. Они хорошо знали друг друга. Они отлично сошлись — Роберт и десять отчаянно скучающих нуль-испытателей, которые уже два года сидели здесь без дела после неудачного опыта с собакой Фимкой.

То, что Роберт увидел в двигателе, заставило его на секунду задержать дыхание. Да, Габа, по-видимому, действительно не имел никогда раньше дела с аэробусами. Сделать ничего было нельзя — кончилось горючее. Габа совершенно напрасно почти разобрал двигатель. Это бывает. Такое бывает даже с самыми опытными водителями: в аэробусах не часто кончается горючее. Роберт украдкой поглядел на Таню. Она все прижимала к груди грязные от смазки взрывные цилиндры и ждала.

— Итак? — бодро спросил Габа. — Правильно мы грешили на вот этот рычаг, не знаю, как он там называется?

— Что ж, — сказал Роберт, — очень возможно. — Он взялся за рычаг и подергал его. — Кто-нибудь знает, что вы здесь засели?

— Я сообщал, — ответил Габа. — Но у них там не хватает машин. Ты знаешь историю с эмбриозародышами?

— Ну, ну, — сказал Роберт, бесцельно, но очень аккуратно очищая паз подающего рычага. Он нагнулся так, чтобы его лица не было видно.

— Понадобился транспорт. Канэко стал выращивать «медузы», а оказалось, что это не «медузы», а кибернетические кухни. Ошибка снабжения, а? — Габа захохотал. — Как тебе это нравится?

— Сплошной смех, — сказал Роберт сквозь зубы.

Он поднял голову и осмотрел небо. Он увидел пустую белесую синеву и на севере над верхушками далеких деревьев ослепительно яркий гребень Волны. Тогда он мягко опустил откинутый капот, пробормотал: «Та-ак... Посмотрим!» — и обошел аэробус с другой стороны, где никого не было. Там он сел на корточки, прижавшись

лбом к блестящей полированной обшивке. По другую сторону аэробуса Габа нежным громыхающим голосом запел:

One is none, two is some,
Three is a many, four is a penny,
Five is a little hundred...[5]

Открыв глаза, Роберт увидел его пляшущую тень на траве — тень от поднятых рук с растопыренными пальцами. Габа развлекал детей. Роберт выпрямился и, распахнув дверцу, влез в аэробус. В кресле водителя сидел мальчик, ожесточенно вцепившийся в рукояти управления. Он выделывал рукоятями необычайные фигуры и при этом свистел и дудел.

— Смотри — оторвешь, — сказал Роберт.

Мальчик не обратил на него внимания.

Роберт хотел включить СОС-маяк, но увидел, что маяк уже включен. Тогда он снова оглядел небо. Через спектролит фонаря небо казалось нежно-голубым, и оно было совершенно пустое. Надо решаться, подумал он. Он покосился на мальчика. Мальчуган азартно изображал рев ветра.

— Выйди-ка сюда, Роб, — сказал Габа. Он стоял возле двери.

Роберт вышел.

— Прикрой дверь, — сказал Габа.

Было слышно, как Таня рассказывает что-то ребятишкам по ту сторону аэробуса и как свистит и дудит мальчик на сиденье пилота.

— Когда она будет здесь? — спросил Габа.

— Через полчаса.

— Что случилось с двигателем?

— Нет горючего.

Лицо Габы сделалось серым.

— Почему? — бессмысленно спросил он. Роберт промолчал. — А в твоем флаере?

— Такому сундуку этого не хватит и на пять минут.

Габа ударил себя кулаками по лбу и сел на траву.

— Ты механик, — сказал он хрипло. — Придумай что-нибудь.

Роберт прислонился к аэробусу.

— Помнишь сказочку про волка, козу и капусту? Здесь дюжина ребятишек, женщина и мы с тобой. Женщина, которую я люблю больше всех людей на свете. Женщина, которую я спасу во что бы то ни стало. Так вот. Флаер двухместный...

Габа покивал.

— Понимаю. Тут и говорить не о чем, конеч-

но. Пусть Таня садится во флаер и берет с собой столько ребятишек, сколько туда влезет...

— Нет, — сказал Роберт.

— Почему нет? Через два часа они будут в Столице.

— Нет, — повторил Роберт. — Это не спасет ее. Волна будет в Столице через три часа. Там ждет звездолет. Таня должна улететь на нем. Не спорь со мной! — яростно прошептал он. — Возможны только два варианта: либо лечу я с Таней, либо с Таней летишь ты, но тогда ты поклянешься мне всем святым, что Таня улетит в этом звездолете! Выбирай.

— Ты сошел с ума! — сказал Габа. Он медленно поднимался с травы. — Это дети! Опомнись!..

— А те, кто останется здесь, они не дети? Кто выберет троих, которые полетят в Столицу и на Землю? Ты? Иди выбирай!

Габа беззвучно открывал и закрывал рот. Роберт посмотрел на север. Волна была видна уже хорошо. Сияющая полоса поднималась все выше, таща за собой тяжелый черный занавес.

— Ну? — сказал Роберт. — Ты клянешься?

Габа медленно покачал головой.

— Тогда прощай, — сказал Роберт.

Он сделал шаг вперед, но Габа преградил ему

дорогу.

— Дети! — сказал он почти беззвучно.

Роберт обеими руками схватил его за отвороты куртки и приблизил лицо вплотную к его лицу.

— Таня! — сказал он.

Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза.

— Она возненавидит тебя, — тихо сказал Габа.

Роберт отпустил его и засмеялся.

— Через три часа я тоже умру, — сказал он. — Мне будет все равно. Прощай, Габа.

Они разошлись.

— Она не полетит с тобой, — сказал Габа вдогонку.

Роберт не ответил. Я это и сам знаю, подумал он. Он обошел аэробус и длинными прыжками побежал к флаеру. Он видел лицо Тани, обращенное к нему, и смеющиеся лица детишек, окружавших Таню, и он весело помахал им рукой, чувствуя сильную боль в мускулах лица, судорожно свернутых в беззаботную улыбку. Он подбежал к флаеру, заглянул внутрь, затем выпрямился и крикнул:

— Танюшка, иди-ка помоги мне!

И в это же мгновение с другой стороны аэробуса появился Габа. Он скакал на четвереньках.

— А ну, что вы здесь скучаете? — заорал он. — Кто поймает Шер-Хана — великого тигра джунглей?!

Он испустил протяжный рык и, брыкнув ногами, помчался на четвереньках в лес. Несколько секунд ребятишки, открыв рты, смотрели на него, потом кто-то весело взвизгнул, кто-то воинственно завопил, и всей толпой они побежали за Габой, который уже выглядывал с рычанием из-за деревьев.

Таня, оглядываясь и удивленно улыбаясь, подошла к Роберту.

— Как странно, — сказала она. — Словно и нет никакой катастрофы.

Роберт все глядел вслед Габе. Никого уже не было видно, но смех и визг, хруст кустарников и грозный рык Шер-Хана явственно доносились из чащи.

— Как ты странно улыбаешься, Робик, — сказала Таня.

— Чудак этот Габа! — сказал Роберт и сейчас же пожалел: надо было молчать. Голос не слушался его.

— Что случилось, Роб? — сразу спросила Таня.

Он невольно посмотрел поверх ее головы. Она тоже обернулась и тоже посмотрела и испуганно

прижалась к нему.

— Что это? — спросила она.

Волна уже доходила до солнца.

— Надо спешить, — сказал Роберт. — Полезай в кабину и подними сиденье.

Она ловко прыгнула в кабину, и тогда он огромным прыжком вскочил вслед за нею, обхватил ее плечи правой рукой и стиснул так, чтобы она не смогла двинуться, и с места рванул флаер в небо.

— Роби! — прошептала Таня. — Что ты делаешь, Роби?!.

Он не смотрел на нее. Он выжимал из флаера все, что можно. И только краем глаза он увидел внизу поляну, одинокий аэробус и маленькое лицо, с любопытством выглядывающее из водительской кабины.

Глава 8

Дневная жара уже начала спадать, когда последние птерокары, переполненные и перегруженные, сели, ломая шасси, на улицах, прилегающих к площади перед зданием Совета. Теперь на эту обширную площадь собралось почти все население планеты.

С севера и с юга медленно втянулись в город гремящие колонны уродливых землеройных «кротов» с опознавательными знаками Следопытов и с желтыми молниями строителей-энергетиков. Они стали лагерем посередине площади и после стремительного совещания, на котором выступили только два человека — по три минуты вполголоса каждый, — принялись рыть глубокую шахту-убежище. «Кроты» оглушительно загрохотали, взламывая бетон покрытия, а затем один за другим, нелепо выгибаясь, стали уходить в землю. Вокруг шахты быстро выросла кольцевая гора измельченного грунта, и над площадью возник и повис душный кислотный запах денатурированного базальта.

Физики-нулевики заполнили пустующие этажи театра напротив здания Совета. Весь день

они отступали, цепляясь аварийными отрядами «харибд» за каждый наблюдательный пункт, за каждую станцию дальнего контроля, спасая все, что успевали спасти из оборудования и научной документации, каждую секунду рискуя жизнью, пока категорический приказ Ламондуа и директора не созвал их в Столицу. Их узнавали по возбужденному, виновато-вызывающему виду, по неестественно оживленным голосам, по несмешным шуткам со ссылками на специальные обстоятельства и по нервному громкому смеху. Теперь они под руководством Аристотеля и Пагавы отбирали и переснимали на микропленку самые ценные материалы для эвакуации с планеты.

Большая группа механиков и метеорологов вышла на окраину города и принялась строить конвейерные цехи для производства небольших ракет. Предполагалось грузить эти ракеты важнейшей документацией и выбрасывать их за пределы атмосферы в качестве искусственных спутников, с тем чтобы позже их подобрали и доставили на Землю. К ракетчикам присоединилась часть аутсайдеров — тех, кто инстинктивно чувствовал, что не в силах ждать сложа руки, и тех, кто действительно мог и желал помочь, и тех,

кто искренне верил в необходимость спасения важнейшей документации.

Но на площади, забитой «гепардами», «медузами», «биндюгами», «дилижансами», «кротами», «грифами», осталось еще очень много людей. Здесь были биологи и планетологи, потерявшие на оставшиеся часы смысл жизни, аутсайдеры — художники и артисты, — ошеломленные неожиданностью, рассерженные, потерявшиеся, не знающие, что делать, куда идти и кому предъявлять претензии. Какие-то очень выдержанные и спокойные люди неторопливо беседовали на разнообразные темы, собираясь кучками среди машин. И еще какие-то тихие люди, молча и понуро сидящие в кабинах или жмущиеся к стенам зданий.

Планета опустела. Все население — каждый человек был вызван, вывезен, выловлен из самых ее отдаленных и глухих уголков и доставлен в Столицу. Столица находилась на экваторе, и теперь на всех широтах планеты, северных и южных, было пусто. Лишь несколько человек осталось там, заявив, что им все равно, да где-то над тропическими лесами потерялся аэробус с детьми и воспитателем и тяжелый «гриф», высланный на его поиски.

Под серебристым шпилем в течение последних часов непрерывно заседал Совет Радуги. Время от времени репродуктор всеобщего оповещения голосом директора или Канэко вызывал по именам самых неожиданных людей. Они бежали к зданию Совета и скрывались за дверью, а затем выбегали, садились в птерокары или флаеры и улетали из города. Многие из тех, кто не был занят делом, провожали их завистливыми взглядами. Неизвестно было, какие вопросы обсуждаются на Совете, но репродукторы всеобщего оповещения уже проревели главное: угроза катастрофы является совершенно реальной; в распоряжении Совета имеется всего один десантный звездолет малой грузоподъемности; Детское эвакуировано, и дети размещены в городском парке под наблюдением воспитателей и врачей; лайнер-звездолет «Стрела» непрерывно поддерживает связь с Радугой и находится на пути к ней, но прибудет не ранее чем через десять часов. Трижды в час дежурный Совета информировал площадь о положении фронтов Волны. Репродуктор гремел: «Внимание, Радуга! Передаем информацию...» И тогда площадь замолкала, и все жадно слушали, досадливо оглядываясь на шахту, из которой доносился гулкий рокот «кротов». Волна двига-

лась странно. Ее ускорение то увеличивалось — и тогда люди мрачнели и опускали глаза, — то уменьшалось — и тогда лица светлели и появлялись неуверенные улыбки, — но Волна двигалась, горели посевы, вспыхивали леса, пылали оставленные поселки.

Официальной информации было очень мало — может быть, потому, что некому и некогда было ею заниматься, и, как всегда в таких случаях, основным видом информации становились слухи.

Следопыты и строители все глубже врывались в землю, и поднимавшиеся из шахты измазанные усталые люди кричали, весело скаля зубы, что им нужно еще каких-нибудь два-три часа — и они закончат глубокое и достаточно просторное убежище для всех. На них смотрели с некоторой надеждой, и надежда эта подкреплялась упорными слухами о расчете, якобы произведенном Этьеном Ламондуа, Пагавой и каким-то Патриком. Согласно этому расчету северная и южная Волны, столкнувшись на экваторе, должны «взаимно энергетически свернуться и деритринитировать», поглотив большое количество энергии. Говорили, что после этого на Радуге должен выпасть слой снега толщиной в полтора метра.

Говорили также, что полчаса тому назад в Институте дискретного пространства, слепые белые стены которого мог увидеть с площади любой желающий, удалось, наконец, осуществить успешный нуль-запуск человека к Солнечной системе, и даже назвали имя пилота, первого в мире нуль-перелетчика, в настоящую минуту якобы благополучно пребывающего на Плутоне.

Рассказывали о сигналах, полученных из-за южной Волны. Сигналы были чрезвычайно сильно искажены помехами, но их удалось дешифровать, и тогда якобы выяснилось, что несколько человек, добровольно оставшихся на одной из энергостанций на пути Волны, выжили и чувствуют себя удовлетворительно, что и свидетельствует о том, что П-волна в отличие от Волн ранее известных типов не представляет реальной опасности для жизни. Называли даже имена счастливцев, и нашлись люди, знавшие их лично. В подтверждение передавали рассказ очевидца о том, как известный Камилл выскочил из Волны на горящем птерокаре и пронесся мимо чудовищной кометой, что-то крича и размахивая рукой.

Большое распространение получил слух о том, что один старый звездолетчик, работающий сей-

час в шахте, сказал якобы примерно следующее: «Командира «Стрелы» я знаю сто лет. Если он говорит, что будет не раньше чем через десять часов, то это значит, что он будет не позже чем через три часа. И не надо кивать на Совет. Там сидят дилетанты, представления не имеющие о том, что такое современный звездолет и на что он способен в опытных руках».

Мир вдруг потерял простоту и ясность. Стало трудно отделять правду от неправды. Самый честный человек, знакомый вам с детства, мог с легким сердцем солгать только для того, чтобы вас поддержать и успокоить, а через двадцать минут вы видели его уже согнувшимся в тоске под тяжестью нелепого слуха о том, что Волна, мол, хотя и не опасна для жизни, но необратимо уродует психику, отбрасывая ее на уровень пещерной.

Люди на площади видели, как в здание Совета вошла высокая большая женщина с заплаканным лицом, ведущая за руку мальчика лет пяти в красных штанишках. Многие узнали ее — это была Женя Вязаницына, жена директора Радуги. Она вышла очень скоро в сопровождении Канэко, который вежливо, но твердо вел ее под локоть. Она больше не плакала, но на лице ее была такая

свирепая решимость, что люди испуганно сторонились, уступая ей дорогу. Мальчик спокойно грыз пряник.

Тем, кто был занят, было много лучше. Поэтому большая группа художников, писателей и артистов, проспорив до хрипоты, приняла, наконец, окончательное решение и двинулась к окраине города к ракетчикам. Вряд ли они могли чем-нибудь серьезно помочь, но они были уверены, что им найдут дело. Некоторые спустились в шахту, где велись уже горизонтальные выработки. А несколько опытных пилотов сели в птерокары и умчались к северу и к югу, чтобы присоединиться к наблюдателям Совета, уже несколько часов играющим в пятнашки со смертью.

Оставшиеся видели, как перед подъездом Совета опустился опаленный, весь в пятнах и вмятинах флаер. Из него с трудом вылезли двое, постояли на трясущихся ногах и двинулись к дверям, поддерживая друг друга. Лица их были желтые и опухшие, и в них только с трудом признали молодого физика Карла Гофмана и испытателя-нулевика Тимоти Сойера, известного искусством игры на банджо. Сойер только мотал головой и мычал, а Гофман, некоторое время посипев горлом, невнятно рассказал, что они

только что пытались перепрыгнуть через Волну, подошли к ней на расстояние двадцати километров, но тут у Тима стало плохо с глазами, и они были вынуждены вернуться. Оказалось, что в Совете была выдвинута идея переброски населения на ту сторону Волны. Сойер и Гофман были разведчиками. И сейчас же кто-то рассказал, что двое Следопытов пытались поднырнуть под Волну в открытом море на исследовательском батискафе, но пока еще не вернулись, и ничего о них не известно.

К этому времени на площади осталось человек двести — меньше половины взрослого населения Радуги. Люди старались держаться группами. Они неторопливо переговаривались между собой, не отрывая глаз от окон Совета. На площади становилось тихо: «кроты» ушли глубоко, и рев их был едва слышен. Разговоры велись невеселые.

— Опять у меня испорчен отпуск. На этот раз, кажется, надолго.

— Убежище, подземелье... подполье... Снова наступает черная стена, и люди уходят в подполье.

— Жалко, что нет никакого настроения писать. Вы посмотрите, как красиво здание Совета. Какая цветовая глубина. Я бы с огромным удовольствием его написал... и передал бы это настроение

напряженности и ожидания, но... Не могу. Тошно.

— Странно все-таки. Кажется, мы выбирали не тайный Совет. Типично жреческие замашки. Запереться в кабинете и обсуждать там судьбу планеты... Мне, в конце концов, не так уж и важно, о чем они там говорят, но это же неприлично...

— Мне очень не нравится Ананьев. Полюбуйтесь, вот уже два часа он сидит один, ни с кем не разговаривает и только все время точит ножичек... Пойду с ним поговорю. Пойдемте со мной, хотите?

— Аодзора сгорела... Моя Аодзора. Я ее строил. Теперь опять строить... А потом они ее опять сожгут.

— Мне их жалко. Вот мы с тобой сидим вдвоем, и, честное слово, ничего я не боюсь! А Матвей Сергеевич не может даже в последние часы побыть с женой. Нелепо все это. Зачем?

— Я сижу здесь и болтаю, потому что считаю: единственная возможность — это звездолет. А все остальное — это пшик, барахтанье, самодеятельность.

— Почему я сюда прилетел? Чем плохо мне было на Земле? Радуга, Радуга, как ты нас обидела...

В это время репродуктор всеобщего оповещения проревел:

— Внимание, Радуга! Говорит Совет! Созывается общее собрание населения планеты! Собрание состоится на площади Совета и начнется через пятнадцать минут. Повторяю...

Пробираясь через толпу к зданию Совета, Горбовский обнаружил, что пользуется необычайной популярностью. Перед ним расступались, на него показывали глазами и даже пальцами, с ним здоровались, его спрашивали: «Ну как там, Леонид Андреевич?» — и за его спиной вполголоса произносили его фамилию, названия звезд и планет, с которыми он имел дело, а также названия кораблей, которыми он командовал. Горбовский, давно уже отвыкший от такой популярности, раскланивался, делал рукой салют, улыбался, отвечал: «Да пока все в порядке», — и думал: «Пусть теперь мне кто-нибудь скажет, что широкие массы больше не интересуются звездоплаванием». Одновременно он почти физически ощущал страшное нервное напряжение, царившее на площади. Это было чем-то похоже на последние минуты перед очень трудным и ответственным экзаменом. Напряжение это передалось и ему. Улыбаясь и отшучиваясь, он

пытался определить настроение и коллективную мысль этой толпы и гадал, что они скажут, когда он объявит свое решение. Верю в вас, настойчиво думал он. Верю, верю во что бы то ни стало. Верю в вас, испуганные, настороженные, разочарованные, фанатики. Люди.

У самой двери его нагнал и остановил незнакомый человек в спецкостюме для шахтных работ.

— Леонид Андреевич, — сказал он, озабоченно улыбаясь. — Минуточку. Буквально одну минуточку.

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказал Горбовский.

Человек торопливо рылся в карманах.

— Когда прибудете на Землю, — говорил он, — не откажите в любезности... Куда же оно запропастилось?.. Не думаю, чтобы это вас очень затруднило. Ага, вот оно... — Он вынул сложенный вдвое конверт. — Адрес тут есть, печатными буквами... Не откажитесь переслать.

Горбовский покивал.

— Я даже по-письменному могу, — сказал он ласково и взял конверт.

— Почерк отвратительный. Сам себя читать не могу, а сейчас писал в спешке... — Он помолчал, затем протянул руку. — Счастливого пути! Зара-

нее спасибо вам.

— Как ваша шахта? — спросил Горбовский.

— Отлично, — ответил человек. — Не беспокойтесь за нас.

Горбовский вошел в здание Совета и стал подниматься по лестнице, обдумывая первую фразу своего обращения к Совету. Фраза никак не получалась. Он не успел подняться на второй этаж, когда увидел, что члены Совета спускаются ему навстречу. Впереди, ведя пальцем по перилам, легко ступал Ламондуа, совершенно спокойный и даже какой-то рассеянный. При виде Горбовского он улыбнулся странной, растерянной улыбкой и сейчас же отвел глаза. Горбовский посторонился. За Ламондуа шел директор, багровый и свирепый. Он буркнул: «Ты готов?» — и, не дожидаясь ответа, прошел мимо. Следом прошли остальные члены Совета, которых Горбовский не знал. Они громко и оживленно обсуждали вопрос об устройстве входа в подземное убежище, и в громкости этой и в их оживлении отчетливо чувствовалась фальшь, и было видно, что мысли их заняты совсем другим. А последним — на некотором расстоянии от всех — спускался Станислав Пишта, такой же широкий, дочерна загорелый и пышноволосый, как двадцать пять лет назад,

когда он командовал «Подсолнечником» и вместе с Горбовским штурмовал Слепое Пятно.

— Ба! — сказал Горбовский.

— О! — сказал Станислав Пишта.

— Ты что здесь делаешь?

— Ругаюсь с физиками.

— Молодец, — сказал Горбовский. — Я тоже буду. А пока скажи, кто здесь заведует детской колонией?

— Я, — ответил Пишта.

Горбовский недоверчиво посмотрел на него.

— Я, я! — Пишта усмехнулся. — Не похоже? Сейчас ты убедишься. На площади. Когда начнется свара. Уверяю тебя, это будет совершенно непедагогичное зрелище.

Они стали медленно спускаться к выходу.

— Свара пусть, — сказал Горбовский. — Это тебя не касается. Где дети?

— В парке.

— Очень хорошо. Отправляйся туда и немедленно — слышишь? — немедленно начинай погрузку детей на «Тариэль». Там тебя ждут Марк и Перси. Ясли мы уже погрузили. Ступай быстро.

— Ты молодец, — сказал Пишта.

— А как же, — сказал Горбовский. — А теперь беги.

Пишта хлопнул его по плечу и вперевалку побежал вниз. Горбовский вышел вслед за ним. Он увидел сотни лиц, обращенных к нему, и услышал грохочущий голос Матвея, говорившего в мегафон:

— ...и фактически мы решаем сейчас вопрос, что является самым ценным для человечества и для нас, как части человечества. Первым будет говорить заведующий детской колонией товарищ Станислав Пишта.

— Он ушел, — сказал Горбовский.

Директор оглянулся.

— Как ушел? — спросил он шепотом. — Куда?

На площади было очень тихо.

— Тогда разрешите мне, — сказал Ламондуа. Он взялся за мегафон.

Горбовский видел, как его тонкие белые пальцы плотно легли на судорожно стиснутые толстые пальцы Матвея. Директор отдал мегафон не сразу.

— Мы все знаем, что такое Радуга, — начал Ламондуа. — Радуга — это планета, колонизированная наукой и предназначенная для проведения физических экспериментов. Результата этих экспериментов ждет все человечество. Каждый, кто приезжает на Радугу и живет здесь,

знает, куда он приехал и где он живет. — Ламондуа говорил резко и уверенно, он был очень хорош сейчас — бледный, прямой, напряженный, как струна. — Мы все солдаты науки. Мы отдали науке всю свою жизнь. Мы отдали ей всю нашу любовь и все лучшее, что у нас есть. И то, что мы создали, принадлежит, по сути дела, уже не нам. Оно принадлежит науке и всем двадцати миллиардам землян, разбросанным по Вселенной. Разговоры на моральные темы всегда очень трудны и неприятны. И слишком часто разуму и логике мешает в этих разговорах наше чисто эмоциональное «хочу» и «не хочу», «нравится» и «не нравится». Но существует объективный закон, движущий человеческое общество. Он не зависит от наших эмоций. И он гласит: человечество должно познавать. Это самое главное для нас — борьба знания против незнания. И если мы хотим, чтобы наши действия не казались нелепыми в свете этого закона, мы должны следовать ему, даже если нам приходится для этого отступать от некоторых врожденных или заданных нам воспитанием идей. — Ламондуа помолчал и расстегнул воротник рубашки. — Самое ценное на Радуге — это наш труд. Мы тридцать лет изучали дискретное пространство. Мы собрали

здесь лучших нуль-физиков Земли. Идеи, порожденные нашим трудом, до сих пор еще находятся в стадии освоения, настолько они глубоки, перспективны и, как правило, парадоксальны. Я не ошибусь, если скажу, что только здесь, на Радуге, существуют люди — носители нового понимания пространства и что только на Радуге есть экспериментальный материал, который послужит для теоретической разработки этого понимания. Но даже мы, специалисты, не способны сейчас сказать, какую гигантскую, необозримую власть над миром принесет человечеству наша новая теория. Не на тридцать лет — на сто, двести... триста лет будет отброшена наука.

Ламондуа остановился, лицо его пошло красными пятнами, плечи поникли. Мертвая тишина стояла над городом.

— Очень хочется жить, — сказал вдруг Ламондуа. — И дети... У меня их двое, мальчик и девочка; они там, в парке... Не знаю. Решайте.

Он опустил мегафон и остался стоять перед толпой весь обмякший, постаревший и жалкий.

Толпа молчала. Молчали нуль-физики, стоявшие в первых рядах, несчастные носители нового понимания пространства, единственные на всю Вселенную. Молчали художники, писатели и

артисты, хорошо знавшие, что такое тридцатилетний труд, и слишком хорошо знавшие, что всякий шедевр неповторим. Молчали на грудах выброшенной породы строители, тридцать лет работавшие бок о бок с нулевиками и для нулевиков. Молчали члены Совета — люди, которых считали самыми умными, самыми знающими, самыми добрыми и от которых в первую очередь зависело то, что должно было произойти.

Горбовский видел сотни лиц, молодых и старых, мужских и женских, и все они казались сейчас ему одинаковыми, необыкновенно похожими на лицо Ламондуа. Он отчетливо представлял себе, что они думают. Очень хочется жить: молодому — потому что он так мало прожил, старому — потому что так мало осталось жить. С этой мыслью еще можно справиться: усилие воли — и она загнана в глубину и убрана с дороги. Кто не может этого, тот больше ни о чем не думает, и вся его энергия направлена на то, чтобы не выдать смертельного ужаса. А остальные... Очень жалко труда. Очень жалко, невыносимо жалко детей. Даже не то чтобы жалко — здесь много людей, которые к детям равнодушны, но кажется подлым думать о чем-нибудь другом. И надо решать. Ох, до чего же это трудно — решать!

Надо выбрать и сказать вслух, громко, что ты выбрал. И тем самым взять на себя гигантскую ответственность, совершенно непривычную по тяжести ответственность перед самим собой, чтобы оставшиеся три часа жизни чувствовать себя человеком, не корчиться от непереносимого стыда и не тратить последний вздох на выкрик «Дурак! Подлец!», обращенный к самому себе. Милосердие, подумал Горбовский.

Он подошел к Ламондуа и взял у него мегафон. Кажется, Ламондуа этого даже не заметил.

— Видите ли, — проникновенно сказал Горбовский в мегафон, — боюсь, что здесь какое-то недоразумение. Товарищ Ламондуа предлагает вам решать. Но понимаете ли, решать, собственно, нечего. Все уже решено. Ясли и матери с новорожденными уже на звездолете. (Толпа шумно вздохнула.) Остальные ребятишки грузятся сейчас. Я думаю, все поместятся. Даже не думаю, уверен. Вы уж простите меня, но я решил самостоятельно. У меня есть на это право. У меня есть даже право решительно пресекать все попытки помешать мне выполнить это решение. Но это право, по-моему, ни к чему. В общем-то товарищ Ламондуа высказал интересные мысли. Я бы с удовольствием с ним поспорил, но мне надо

идти. Товарищи родители, вход на космодром совершенно свободный. Правда, простите, на борт звездолета подниматься не надо.

— Вот и все, — громко сказал кто-то в толпе. — И правильно. Шахтеры, за мной!

Толпа зашумела и задвигалась. Взлетело несколько птерокаров.

— Из чего надо исходить? — сказал Горбовский. — Самое ценное, что у нас есть, — это будущее...

— У нас его нет, — сказал в толпе суровый голос.

— Наоборот, есть! Наше будущее — это дети. Не правда ли, очень свежая мысль! И вообще нужно быть справедливыми. Жизнь прекрасна, и мы все уже знаем это. А детишки еще не знают. Одной любви им сколько предстоит! Я уж не говорю о нуль-проблемах. (В толпе зааплодировали.) А теперь я пошел.

Горбовский сунул мегафон одному из членов Совета и подошел к Матвею. Матвей несколько раз крепко ударил его по спине. Они смотрели на тающую толпу, на оживившиеся лица, сразу ставшие очень разными, и Горбовский пробормотал со вздохом:

— Забавно, однако. Вот мы совершенствуемся, совершенствуемся, становимся лучше, умнее,

добрее, а до чего все-таки приятно, когда кто-нибудь принимает за тебя решение...

Глава 9

«Тариэль-Второй», десантный сигма-Д-звездолет, создавался для переброски на большие расстояния небольших групп исследователей с минимальным комплектом лабораторного оборудования. Он был очень хорош для высадки на планеты с бешеными атмосферами, обладал огромным запасом хода, был прочен, надежен и на девяносто пять процентов состоял из энергетических емкостей. Разумеется, на корабле был жилой отсек из пяти крошечных кают, крошечной кают-компании, миниатюрного камбуза и вместительной рубки, сплошь заставленной пультами приборов управления и контроля. Был на корабле и грузовой отсек — довольно обширное помещение с голыми стенами и низким потолком, лишенное принудительного кондиционирования, пригодное (в самом крайнем случае) для устройства походной лаборатории. Нормально «Тариэль-Второй» принимал на борт до десяти человек, считая с экипажем.

Детей грузили через оба люка: младших — через пассажирский, старших — через грузовой. Возле люков толпились люди, и их было гораздо

больше, чем ожидал Горбовский. С первого же взгляда было видно, что здесь не только воспитатели и родители. Поодаль громоздились ящики с нерозданными ульмотронами и с оборудованием для Следопытов Лаланды. Взрослые были молчаливы, но у корабля стоял непривычный шум: писк, смех, тонкоголосое нестройное пение — тот гомон, который во все времена был так характерен для интернатов, детских площадок и амбулаторий. Знакомых лиц видно не было, только в стороне Горбовский узнал Алю Постышеву. Да и она была совсем другая — поникшая и грустная, одетая изящно и аккуратно. Она сидела на пустом ящике, положив руки на колени, и смотрела на корабль. Она ждала.

Горбовский вылез из птерокара и направился к звездолету. Когда он проходил мимо Али, она жалостно улыбнулась ему и сказала: «А я Марка жду». — «Да-да, он скоро выйдет», — ласково сказал Горбовский и пошел дальше. Но его сразу остановили, и он понял, что добраться до люка будет не так просто.

Крупный бородатый человек в панаме преградил ему дорогу.

— Товарищ Горбовский, — сказал он. — Я вас прошу, возьмите.

Он протянул Горбовскому длинный тяжелый сверток.

— Что это? — спросил Горбовский.

— Моя последняя картина. Я Иоганн Сурд.

— Иоганн Сурд, — повторил Горбовский. — Я не знал, что вы здесь.

— Возьмите. Она весит совсем немного. Это лучшее, что я сделал в жизни. Я привозил ее сюда на выставку. Это «Ветер»...

У Горбовского все сжалось внутри.

— Давайте, — сказал он и бережно принял сверток.

Сурд поклонился.

— Спасибо, Горбовский, — сказал он и исчез в толпе.

Кто-то крепко и больно схватил Горбовского за руку. Он обернулся и увидел молоденькую женщину. У нее дрожали губы и лицо было мокрое от слез.

— Вы капитан? — спросила она надорванным голосом.

— Да, да. Я капитан.

Она еще больнее стиснула его руку.

— Там мой мальчик... На корабле... — Губы начали кривиться. — Я боюсь...

Горбовский сделал удивленное лицо.

— Но чего же? Там он в полной безопасности.

— Вы уверены? Вы обещаете мне?..

— Он там в полной безопасности, — повторил Горбовский решительно. — Это очень хороший корабль!

— Столько детей, — сказала она, всхлипывая. — Столько детей!..

Она отпустила его руку и отвернулась. Горбовский, потоптавшись в нерешительности, пошел дальше, загораживая руками и боками шедевр Сурда, но его тут же схватили с обеих сторон под локти.

— Это весит всего три кило, — сказал бледный угловатый мужчина. — Я никогда никого ни о чем не просил...

— Вижу, — согласился Горбовский. Это действительно было заметно.

— Здесь отчет о наблюдениях Волны за десять лет. Шесть миллионов фотокопий.

— Это очень важно! — подтвердил второй человек, державший Горбовского за левый локоть. У него были толстые добрые губы, небритые щеки и маленькие умоляющие глазки. — Понимаете, это Маляев... — Он указал пальцем на первого. — Вы непременно должны взять эту папку...

— Помолчите, Патрик, — сказал Маляев. — Лео-

нид Андреевич, поймите... Чтобы это больше не повторилось... Чтобы больше никогда, — он задохнулся, — чтобы больше никто и никогда не ставил перед нами этот позорный выбор...

— Несите за мной, — сказал Горбовский. — У меня заняты руки.

Они отпустили его, и он сделал шаг вперед, но ударился коленом о большой, закутанный в брезент предмет, который с явным трудом держали на весу двое юношей в одинаковых синих беретах.

— Может, возьмете? — пропыхтел один.

— Если можно... — сказал другой.

— Мы два года ее строили...

— Пожалуйста.

Горбовский покачал головой и стал их осторожно обходить.

— Леонид Андреевич, — жалобно сказал первый. — Мы вас умоляем.

Горбовский снова покачал головой.

— Не унижайся, — сказал второй сердито. Он вдруг отпустил свой угол, и закутанный предмет с треском ударился о землю. — Ну что ты держишь?

Он с неожиданной яростью пнул свой аппарат ногой и, сильно прихрамывая, пошел прочь.

— Володька! — крикнул первый с тревогой ему вслед. — Не сходи с ума!

Горбовский отвернулся.

— Скульпторам, конечно, надеяться не на что, — сказал над его ухом вкрадчивый голос.

Горбовский только помотал головой: говорить он не мог. За его спиной, наступая ему на пятки, хрипло дышал Маляев.

Еще группа каких-то людей с рулонами, свертками и пакетами в руках разом стронулась с места и пошла рядом.

— Может быть, имеет смысл сделать так... — нервно и отрывисто заговорил один из них. — Может быть, все... Сложить все у грузового люка... Мы понимаем, что шансов мало... Но вдруг все-таки останутся места... В конце концов, это не люди, это вещи... Рассовать их где-нибудь... как-нибудь...

— Да... да... — сказал Горбовский. — Я вас прошу, займитесь этим. — Он приостановился и переложил шедевр на другое плечо. — Сообщите об этом всем. Пусть сложат у грузового люка. Шагах в десяти и в стороне. Хорошо?

В толпе произошло движение, стало не так тесно. Люди с рулонами и свертками стали расходиться, и Горбовский выбрался, наконец, на

свободное пространство возле пассажирского люка, где малыши, выстроенные парами, ждали очереди попасть в руки Перси Диксона.

Карапузы в разноцветных курточках, штанишках и шапочках пребывали в состоянии радостного возбуждения, вызванного перспективой всамделишного звездного перелета. Они были очень заняты друг другом и голубоватой громадой корабля и одаривали толпившихся вокруг родителей разве что рассеянными взглядами. Им было не до родителей. В круглом отверстии люка стоял Перси Диксон, облаченный в стариннейшую, давно забытую парадную форму звездолетчика, тяжелую и душную, с наспех посеребренными пуговицами, со значками и ослепительными позументами. Пот градом катился по его волосатому лицу, и время от времени он взревывал морским голосом: «По бим-бом-брамселям! По местам стоять, с якоря сниматься!» Это было очень весело, и восторженные мальки не спускали с него завороженных глаз. Тут же были двое воспитателей: мужчина держал в руке списки, а женщина очень весело пела с ребятишками песенку о храбром носороге. Ребятишки, не отрывая глаз от Диксона, подпевали с большим азартом, и каждый тянул свое.

Горбовский подумал, что если вот так стоять спиной к толпе, то можно подумать, будто действительно добрый дядя Перси организовал для дошкольников веселый облет Радуги на настоящем звездолете. Но тут Диксон поднял на руки очередного малыша и, обернувшись, передал его кому-то в тамбуре, и тогда за спиной Горбовского женский голос истерически закричал: «Толик мой! Толик...» И Горбовский оглянулся и увидел бледное лицо Маляева, и напряженные лица отцов, и лица матерей, улыбающиеся жалкими, кривыми улыбками, и слезы на глазах, и закушенные губы, и отчаяние, и бьющуюся в истерике женщину, которую поспешно уводил, обняв за плечи, человек в комбинезоне, испачканном землей. И кто-то отвернулся, и кто-то согнулся и торопливо побрел прочь, натыкаясь на встречных, а кто-то просто лег на бетон и стиснул голову руками.

Горбовский увидел Женю Вязаницыну, пополневшую и похорошевшую, с огромными сухими глазами и решительно сжатым ртом. Она держала за руку толстого спокойного мальчика в красных штанишках. Мальчик жевал яблоко и во все глаза глядел на блестящего Перси Диксона.

— Здравствуй, Леонид, — сказала она.

— Здравствуй, Женечка, — сказал Горбовский.

Маляев и Патрик отошли в сторону.

— Какой ты худой, — сказала она. — Все такой же худой. И даже еще больше высох.

— А ты похорошела.

— Я не очень отрываю тебя?

— Да нет, все идет, как должно идти. Мне только нужно осмотреть корабль. Я очень боюсь, что у нас все-таки не хватит места.

— Очень плохо одной. Матвей занят, занят, занят... Иногда мне кажется, что ему абсолютно все равно.

— Ему очень не все равно, — сказал Горбовский. — Я разговаривал с ним. Я знаю: ему очень не все равно... Но он ничего не может сделать. Все дети на Радуге — это его дети. Он не может иначе.

Она слабо махнула свободной рукой.

— Я не знаю, что делать с Алешкой, — сказала она. — Он у нас совсем домашний. Он даже в детском саду никогда не был.

— Он привыкнет. Дети очень быстро ко всему привыкают, Женечка. И ты не бойся: ему будет хорошо.

— Я даже не знаю, к кому обратиться.

— Все воспитатели хороши. Ты же знаешь это. Все одинаковы. Алешке будет хорошо.

— Ты меня не понимаешь. Ведь его даже нет ни в каких списках.

— И чего же тут страшного? Есть он в списках или нет, ни один ребенок не останется на Радуге. Списки только для того, чтобы не растерять детей. Хочешь, я пойду и скажу, чтобы его записали?

— Да, — сказала она. — Нет... Подожди. Можно я поднимусь вместе с ним на корабль?

Горбовский печально покачал головой.

— Женечка, — мягко сказал он. — Не надо. Не надо беспокоить детей.

— Я никого не буду беспокоить. Я только хочу посмотреть, как ему там будет... Кто будет рядом...

— Такие же ребятишки. Веселые и добрые.

— Можно я поднимусь с ним?

— Не надо, Женечка.

— Надо. Очень надо. Он не сможет один. Как он будет жить без меня? Ты ничего не понимаешь. Все вы совершенно ничего не понимаете. Я буду делать все, что нужно. Любую работу. Я ведь все умею. Не будь таким бесчувственным...

— Женечка, посмотри вокруг. Это матери.

— Он не такой, как все. Он слабый. Капризный. Он привык к постоянному вниманию. Он не сможет без меня. Не сможет! Ведь я-то знаю это

лучше всех! Неужели ты воспользуешься тем, что мне некому на тебя жаловаться?

— Неужели ты займешь место ребенка, который должен будет остаться здесь?

— Никто не останется, — сказала она страстно. — Я уверена, что никто! Все поместятся! А мне ведь совсем не надо места! Есть же у вас какие-нибудь машинные помещения, какие-нибудь камеры... Я должна быть с ним!

— Я ничего не могу сделать для тебя. Прости.

— Можешь! Ты капитан. Ты все можешь. Ты же всегда был добрым человеком, Леня!

— Я и сейчас добрый. Ты себе представить не можешь, какой я добрый.

— Я не отойду от тебя, — сказала она и замолчала.

— Хорошо, — сказал Горбовский. — Только давай сделаем так. Сейчас я отведу в корабль Алешку, осмотрю помещения и вернусь к тебе. Хорошо?

Она пристально глядела ему в глаза.

— Ты не обманешь меня. Я знаю. Я верю. Ты никогда никого не обманывал.

— Я не обману. Когда корабль стартует, ты будешь рядом со мной. Давай мальчика.

Не отрывая глаз от его лица, она как во сне

подтолкнула к нему Алешку.

— Иди, иди, Алик, — сказала она. — Иди с дядей Леней.

— Куда? — спросил мальчик.

— В корабль, — сказал Горбовский, беря его за руку. — Куда же еще? Вот в этот корабль. Вон к тому дяде. Хочешь?

— Хочу к тому дяде, — заявил мальчик. На мать он больше не смотрел.

Они вместе подошли к трапу, по которому поднимались последние ребятишки. Горбовский сказал воспитателю:

— Внесите в список. Алексей Матвеевич Вязаницын.

Воспитатель посмотрел на мальчика, затем на Горбовского и кивнул, записывая. Горбовский медленно поднялся по трапу, перетащил Алексея Матвеевича через высокий комингс, подняв за руку.

— Это называется тамбур, — сказал он.

Мальчик подергал руку, освободился и, подойдя вплотную к Перси Диксону, стал его рассматривать. Горбовский снял с плеча и поставил в угол картину Сурда. Что еще? — подумал он. Да! Он вернулся к люку и, высунувшись, принял от Маляева папку.

— Спасибо, — сказал Маляев, улыбаясь. — Не забыли... Спокойной плазмы.

Патрик тоже улыбался. Кивая, они попятились к толпе. Женя стояла под самым люком, и Горбовский помахал ей рукой. Потом он повернулся к Диксону.

— Жарко? — спросил он.

— Ужасно. Сейчас бы душ принять. А в душевых дети.

— Освободите душевые, — сказал Горбовский.

— Легко сказать. — Диксон тяжело вздохнул и, скривившись, оттянул тесный воротник мундира. — Борода лезет под воротник, — пробормотал он. — Колется невыносимо. Все тело зудит.

— Дядя, — сказал мальчик Алеша. — А у тебя борода настоящая?

— Можешь подергать, — сказал Перси со вздохом и нагнулся.

Мальчик подергал.

— Все равно ненастоящая, — заявил он.

Горбовский взял его за плечо, но Алеша вывернулся.

— Не хочу с тобой, — сказал он. — Хочу с капитаном.

— Вот и хорошо, — сказал Горбовский. — Перси, отведите его к воспитателю.

Он шагнул к двери в коридор.

— Не упадите в обморок, — сказал Диксон вслед.

Горбовский откатил дверь. Да, такого в корабле еще не бывало. Визг, смех, свист, щебет, воркование, воинственные клики, стук, звон, топот, скрип металла о металл, мяукающие вопли младенцев... Неповторимые запахи молока, меда, лекарств, разгоряченных детских тел, мыла — несмотря на кондиционирование, несмотря на непрерывную работу аварийных вентиляторов... Горбовский пошел по коридору, выбирая место, куда ступить, опасливо заглядывая в распахнутые двери, где прыгали, плясали, баюкали кукол, целились из ружей, набрасывали лассо, толклись в невообразимой тесноте, сидели и ползали на откинутых койках, на столах, под столами, под койками четыре десятка мальчиков и девочек в возрасте от двух до шести лет. Из каюты в каюту бегали озабоченные воспитатели. В кают-компании, из которой была выброшена почти вся мебель, молодые матери кормили и пеленали новорожденных, и тут же были ясли — пятеро ползунков, переговариваясь на птичьем языке, бродили на четвереньках в отгороженном углу. Горбовский представил себе все это в состоянии

невесомости, зажмурился и прошел в рубку.

Горбовский не узнал рубки. Здесь было пусто. Исчез громадный контроль-комбайн, занимавший треть помещения. Исчез пульт управления, исчезло кресло пилота-дублера. Исчез пульт обзорного экрана. Исчезло кресло перед вычислителем. А сам вычислитель, наполовину разобранный, блестел обнажившимися блок-схемами. Корабль перестал быть звездолетом. Он превратился в самоходную межпланетную баржу, сохранившую хороший ход, но годную только для перелетов по инерционным траекториям.

Горбовский сунул руки в карманы. Диксон сопел у него над ухом.

— Так-так, — сказал Горбовский. — А где Валькенштейн?

— Здесь. — Валькенштейн высунулся из недр вычислителя. Он был мрачен и очень решителен.

— Молодец, Марк, — сказал Горбовский. — И вы молодец, Перси. Спасибо!

— Вас уже три раза спрашивал Пишта, — сказал Марк и снова скрылся в вычислителе. — Он у грузового люка.

Горбовский пересек рубку и вышел в грузовой отсек. Ему стало жутко. Здесь, в длинном и узком

помещении, слабо освещенном двумя газосветными лампами, стояли, плотно прижавшись друг к другу, мальчики и девочки школьники — от первоклассников до старших классов. Они стояли молча, почти не шевелясь, только переступая с ноги на ногу, и смотрели в распахнутый люк, где виднелось голубое небо да плоская белая крыша далекого пакгауза. Несколько секунд Горбовский, покусывая губу, смотрел на детей.

— Первоклассников перевести в коридор, — сказал он. — Второй и третий классы — в рубку. Сейчас же.

— И это еще не все, — тихо сказал Диксон. — Десять человек застряли где-то на пути из Детского... Впрочем, кажется, они погибли. Группа старшеклассников отказывается грузиться. И есть еще группа детей аутсайдеров, которые только сейчас прибыли. Впрочем, сами увидите.

— Вы все-таки сделайте, как я сказал, — предложил Горбовский. — Первые три класса — в коридор и в рубку. А сюда — свет, экран, показывайте фильмы. Исторические фильмы. Пусть смотрят, как бывало раньше. Действуйте, Перси. И еще — составьте из ребят цепочку до Валькенштейна, пусть по конвейеру передают детали, это их немного займет.

Он с трудом протиснулся к люку и сбежал вниз. У подножия трапа, окруженная воспитателями, стояла большая группа ребятишек разного возраста. Слева беспорядочной грудой было свалено все самое драгоценное из предметов материальной культуры Радуги: связки документов, папки, машины и модели машин, закутанные в материю скульптуры, свертки холстов. А справа, шагах в двадцати, стояли угрюмые юноши и девушки пятнадцати-шестнадцати лет, и перед ними, заложив руки за спину, нагнув голову, расхаживал очень серьезный Станислав Пишта. Негромко, но внятно он говорил:

— ...Считайте, что это экзамен. Поменьше думайте о себе и побольше о других. Ну и что же, что вам стыдно? Возьмите себя в руки, пересильте это чувство!

Старшеклассники упрямо молчали. И подавленно молчали взрослые, сгрудившиеся перед грузовым люком. Некоторые ребята украдкой оглядывались, и было видно, что они не прочь удрать, но бежать было невозможно — вокруг стояли их отцы и матери. Горбовский посмотрел на люк. Даже отсюда было видно, что корабль набит битком. В широком, как ворота, люке тесной шеренгой стояли дети. Лица у них были недетские

— слишком серьезные и слишком печальные.

К Горбовскому как-то боком придвинулся огромный, очень красивый молодой человек с тоскливыми просящими глазами, безобразно не соответствующими всему его облику.

— Одно слово, капитан, — проговорил он дрожащим голосом. — Одно только слово...

— Минутку, — сказал Горбовский.

Он подошел к Пиште и обнял его за плечи.

— Места хватит всем, — говорил Пишта. — Пусть это вас не беспокоит...

— Станислав, — сказал Горбовский, — распорядись грузить оставшихся.

— Там нет мест, — очень непоследовательно возразил Пишта. — Мы ждали тебя. Хорошо бы очистить резервную Д-камеру.

— На «Тариэле» нет резервных Д-камер. Но место сейчас будет. Распоряжайся.

Горбовский остался лицом к лицу со старшеклассниками.

— Мы не хотим лететь, — сообщил один из них, белобрысый рослый парнишка с яркими зелеными глазами. — Лететь должны воспитатели.

— Правильно! — сказала маленькая девушка в спортивных брюках.

Позади голос Перси Диксона крикнул:

— Бросайте! Прямо на землю!

Из люка посыпались звонкие пластины блок-схем. Конвейер заработал.

— Вот что, мальчики и девочки, — сказал Горбовский. — Во-первых, у вас еще нет права голоса, потому что вы еще не кончили школу. И во-вторых, нужно иметь совесть. Правда, вы еще молоды и рветесь на геройские подвиги, но дело-то в том, что здесь вы не нужны, а в корабле нужны. Мне страшно подумать, что там будет в инерционном полете. Нужно по два старших на каждую каюту к дошкольникам, по крайней мере три ловкие девочки для яслей и помогать женщинам с новорожденными. Короче говоря, вот где от вас потребуется подвиг.

— Простите, капитан, — насмешливо сказал зеленоглазый, — но все эти обязанности прекрасно могут выполнить воспитательницы.

— Простите, юноша, — сказал Горбовский, — но я полагаю, вам известны права капитана. Как капитан, я вам обещаю, что из воспитателей полетят только два человека. А главное — напрягитесь и попробуйте представить себе, как будут дальше жить ваши воспитатели, если они займут ваши места на корабле. Игры кончились, мальчики и девочки, перед вами жизнь, какой она бывает

иногда, — к счастью, редко. А теперь простите, я занят. В утешение могу сказать вам только одно: в корабль вы войдете последними. Все!

Он повернулся к ним спиной и с размаху наткнулся на молодого человека с тоскливыми глазами.

— Ох, простите, — сказал Горбовский. — Совсем забыл про вас.

— Вы сказали, полетят два воспитателя, — осипшим голосом сказал молодой человек. — Кто?

— Кто вы такой? — спросил Горбовский.

— Я Роберт Скляров. Я физик-нулевик. Но речь не обо мне. Я вам сейчас все расскажу. Но сначала скажите, кто из воспитателей летит?

Скляров... Скляров... Удивительно знакомое имя. Где я о нем слыхал?

— Камилл, — сказал Скляров, принужденно улыбаясь.

— А, — сказал Горбовский. — Так вас интересует, кто летит? — Он оглядел Склярова. — Хорошо, я вам скажу. Только вам. Летит заведующий и летит главный врач. Они еще этого не знают.

— Нет, — сказал Скляров, хватая Горбовского за руки. — Еще один... Еще одну. Турчина Татьяна. Она воспитатель. Ее очень любят. Она опытнейший воспитатель...

Горбовский освободил руки.

— Нельзя, — сказал он. — Нельзя, милый Роберт! Летят только дети и матери с новорожденными, понимаете? Только дети и матери с грудными младенцами.

— Она тоже! — сейчас же сказал Скляров. — Она тоже мать! У нее будет ребенок... Мой ребенок! Спросите у нее... Она тоже мать!

Горбовского сильно толкнули в плечо. Он пошатнулся и увидел, как Скляров испуганно пятится, отступая, а на него молча идет маленькая тонкая женщина, удивительно изящная и стройная, с сильной сединой в золотых волосах и прекрасным, но словно окаменевшим лицом. Горбовский провел ладонью по лбу и вернулся к трапу.

Теперь здесь оставались только старшеклассники и воспитатели. Остальные взрослые — отцы и матери, и те, кто принес сюда свои творения, и те, кто, видимо, в смутной, неосознанной надежде тянулся к звездолету, медленно пятились, расступаясь и разбиваясь на группы. В люке, расставив руки, стоял Станислав Пишта и кричал:

— Потеснитесь чуть-чуть, ребята! Майкл, крикни в рубку, чтобы потеснились! Еще немного!

Ему отвечали серьезные детские голоса:

— Некуда больше! Все очень плотно стоят!

И густой голос Перси Диксона прогудел:

— Как так некуда? А вот сюда за пульт? Не бойся, маленькая, током не ударит, проходи, проходи... И ты тоже... И ты, курносый... Больше жизни! И ты... Так... так...

И холодный, звякающий, как железо, голос Валькенштейна приговаривал:

— Потеснитесь, ребята... Дайте пройти... Подвинься, девочка... Пропусти, мальчик...

Пишта посторонился, и рядом с ним появился Валькенштейн с курткой через плечо.

— Я остаюсь на Радуге, — сказал он. — Вы уж без меня, Леонид Андреевич. — Глаза его шарили по толпе, отыскивая кого-то.

Горбовский кивнул.

— Врач на борту? — спросил он.

— Да, — ответил Марк. — Из взрослых там только врач и Диксон.

Из люка вдруг раздался смех.

— Эх вы! — с натугой говорил голос Диксона. — Вот как надо... Раз-два... раз-два...

В люке появился Диксон. Он появился над головой Пишты, перевернутое лицо его было потным и ярко-малиновым.

— Держите меня, Леонид, — прошипел он. — Я

сейчас свалюсь.

Ребята хохотали. Это было действительно очень смешно: толстый бортинженер, как муха, висел на потолке, цепляясь руками и ногами за карабины для крепления груза. Он был тяжел и горяч; и когда Пишта с Горбовским вытянули его наружу и поставили на ноги, он сказал, тяжело дыша:

— Стар. Стар уже...

Виновато моргая, он поглядел на Горбовского.

— Не могу я там, Леонид. Тесно, душно, жарко... Костюм этот несчастный... Я остаюсь здесь, а вы уж с Марком летите. Да и надоели вы мне, по правде сказать.

— Прощайте, Перси, — сказал Горбовский.

— Прощай, дружок, — сказал Диксон растроганно.

Горбовский засмеялся и похлопал его по позументам.

— Ну что ж, Станислав, — сказал он. — Придется тебе обойтись без бортинженера. Думаю, обойдешься. Твоя задача: выйти на орбиту экваториального спутника и ждать «Стрелу». Остальное сделает командир «Стрелы».

Несколько секунд Пишта ошарашенно молчал. Потом он понял.

— Ты что это, а? — очень тихо сказал он, шаря

взглядом по лицу Горбовского. — Ты что это? Ты Десантник! Что это за жесты?

— Жесты? — сказал Горбовский. — Я не умею. А ты иди. Ты за всех них отвечаешь до конца. — Он повернулся к старшеклассникам. — Марш на борт! — крикнул он. — Иди вперед, а то не протиснешься, — сказал он Пиште.

Пишта посмотрел на понурых старшеклассников, медленно бредущих к трапу, посмотрел на люк, из которого высовывались лица детей, неловко клюнул Горбовского в щеку, кивнул Марку и Диксону и, поднявшись на цыпочки, взялся за карабины. Горбовский подтолкнул его. Старшеклассники один за другим с нарочитой важностью и неторопливостью начали протискиваться внутрь, мужественно покрикивая: «А ну, шевелись! Подбери губы, наступят! Кто это там ревет? Головы выше!» Последней вошла та самая девочка в спортивных брюках. На секунду она остановилась и с надеждой оглянулась на Горбовского, но тот сделал каменное лицо.

— Некуда ведь, — сказала она тихонько. — Видите? Я не помещаюсь.

— Ты похудеешь, — пообещал Горбовский и, взяв ее за плечи, осторожно втиснул в толпу. Потом он спросил Диксона: — А где кино?

— Все рассчитано, — важно ответил Перси. — Кино начнется в момент старта. Дети любят сюрпризы.

— Пишта! — крикнул Горбовский. — Готов?

— Готов! — гулко откликнулся Пишта.

— Стартуй, Пишта! Спокойной плазмы! Закрывай люки! Мальчики и девочки, спокойной плазмы!

Тяжелая плита люка бесшумно выдвинулась из паза в обшивке. Горбовский, прощально махая рукой, отступил от комингса. Вдруг он вспомнил.

— Ай! — закричал он. — А письмо?

В нагрудном кармане письма не было, в боковом тоже. Люк закрывался. Письмо почему-то оказалось во внутреннем кармане. Горбовский сунул его девочке в спортивных брюках и поспешно отдернул руку. Люк закрылся. Горбовский, сам не зная зачем, погладил голубоватый металл, ни на кого не глядя, спустился на землю, и Диксон с Марком оттащили трап. Вокруг корабля осталось совсем мало народу, зато над кораблем в небе кружились десятки вертолетов и флаеров.

Горбовский обогнул груду материальных ценностей, споткнулся о какой-то бюст и пошел вокруг корабля к пассажирскому люку, где его должна была ждать Женя Вязаницына. Хоть бы

Матвей прилетел, с тоской подумал он. Он чувствовал себя выжатым и высушенным и очень обрадовался, когда увидел Матвея. Матвей шел ему навстречу. Но он был один.

— А где Женя? — спросил Горбовский.

Матвей остановился и оглянулся по сторонам. Жени нигде не было.

— Она была здесь, — сказал он. — Я говорил с ней по радиофону. Что, люки уже закрыли? — Он все оглядывался.

— Да, сейчас старт, — сказал Горбовский. Он тоже озирался. Может быть, она на вертолете, подумал он. Но он знал, что это невозможно.

— Странно, что нет Жени, — проговорил Матвей.

— Возможно, она на вертолете, — сказал Горбовский. Он вдруг понял, где она. Ай да она, подумал он.

— Алешку так и не увидел, — сказал Матвей.

Странный широкий звук, похожий на судорожный вздох, пронесся над космодромом. Огромная голубая громада корабля бесшумно оторвалась от земли и медленно пошла вверх. Первый раз в жизни вижу старт своего корабля, подумал Горбовский. Матвей все провожал корабль глазами — и вдруг как ужаленный повернулся к Горбов-

скому и с изумлением уставился на него.

— Постой... — пробормотал он. — Как же это так?.. Почему ты здесь? А как же корабль?

— Там Пишта, — сказал Горбовский.

Глаза Матвея остановились.

— Вот она, — прошептал он.

Горбовский обернулся. Над горизонтом ослепительно сияла блестящая ровная полоса.

Глава 10

На окраине Столицы Горбовский попросил остановиться. Диксон затормозил и выжидательно посмотрел на него.

— Я пойду пешком, — сказал Горбовский.

Он вылез. Сейчас же вслед за ним вылез Марк и, протянув руку, помог выйти Але Постышевой. Всю дорогу от космодрома эта пара молчала на заднем сиденье. Они крепко, по-детски, держались за руки, и Аля, закрыв глаза, прижималась лицом к плечу Марка.

— Пойдемте с нами, Перси, — сказал Горбовский. — Будем собирать цветочки, и уже не жарко. И это будет очень полезно для вашего сердца.

Диксон покачал косматой головой.

— Нет, Леонид, — сказал он. — Давайте лучше попрощаемся. Я поеду.

Солнце висело над самым горизонтом. Было прохладно. Солнце светило словно в коридор с черными стенами: обе Волны — северная и южная — уже высоко поднялись над горизонтом.

— Вот по этому коридору, — сказал Диксон. — Куда глаза глядят. Прощайте, Леонид, прощай, Марк. И ты, девочка, прощай. Идите... Но сначала

я попытаюсь последний раз предугадать ваши поступки. Сейчас это особенно просто.

— Да, это просто, — сказал Марк. — Прощайте, Перси. Пошли, малыш.

Коротко улыбнувшись, он взглянул на Горбовского, обнял Алю за плечи, и они пошли в степь. Горбовский и Диксон смотрели им вслед.

— Немножко поздно, — сказал Диксон.

— Да, — согласился Горбовский. — И все-таки я завидую.

— Вы любите завидовать. Вы всегда так аппетитно завидуете, Леонид. Я вот тоже завидую. Завидую, что кто-то будет думать о нем в его последние минуты, а обо мне... да и о вас тоже, Леонид, никто.

— Хотите, я буду думать о вас? — спросил серьезно Горбовский.

— Нет, не стоит. — Диксон, прищурясь, посмотрел на низкое солнце. — Да, — сказал он. — На этот раз нам, кажется, не выбраться. Прощайте, Леонид!

Он кивнул и уехал, а Горбовский неспешно зашагал по шоссе рядом с другими людьми, так же неторопливо бредущими в город. Ему было очень легко и покойно впервые за этот сумбурный, напряженный и страшный день. Больше не надо

было ни о ком заботиться, не надо было принимать решений, все вокруг были самостоятельны, и он тоже стал совершенно самостоятельным. Таким самостоятельным он еще не был никогда в жизни.

Вечер был красив, и если бы не черные стены справа и слева, медленно растущие в синее небо, он был бы просто прекрасен: тихий, прозрачный, в меру прохладный, пронизанный косыми розоватыми лучами солнца. Людей на шоссе оставалось все меньше; многие ушли в степь, как Валькенштейн с Алей, другие остались прямо у обочин.

В городе вдоль главной улицы многоцветными пятнами красовались картины, выставленные художниками в последний раз, — у деревьев, у стен домов, на волноводах поперек дороги, на столбах энергопередач. Перед картинами стояли люди, вспоминали, тихо радовались, кто-то — неугомонный — затеял спор, а миловидная худенькая женщина горько плакала, повторяя громко: «Обидно... Как обидно!» Горбовский подумал, что где-то видел ее, но так и не мог вспомнить — где.

Слышалась незнакомая музыка: в открытом кафе рядом со зданием Совета маленький, хилый

человек с необычайной страстью и темпераментом играл на концертной хориоле, и люди за столиками слушали его, не шевелясь; и еще много людей сидели и слушали на ступеньках и прямо на газонах перед кафе, а к хориоле был прислонен большой лист картона, на котором кривоватыми буквами было написано: «“Далекая Радуга”. Песня. Не оконч.».

Вокруг шахты было много народу, и все были заняты. Матово поблескивал огромный, еще не достроенный купол входного кессона. Из здания театра тянулась цепочка нуль-физиков, тащивших папки, свертки, груды коробок. Горбовский сразу подумал о папке, которую ему передал Маляев. Он попытался вспомнить, куда дел ее. Кажется, оставил в рубке. Или в тамбуре? Не надо вспоминать. Неважно. Следует быть совершенно беззаботным. Странно, неужели физики еще надеются? Правда, всегда можно надеяться на чудо. Но забавно, что на чудо теперь надеются самые скептические и логические люди планеты.

У стены Совета, возле подъезда сидел, вытянув ноги, человек в изодранном пилотском комбинезоне, слепой, с забинтованным лицом. На коленях у него лежало блестящее никелированное банджо. Запрокинув голову, слепой слушал

песню «Далекая Радуга».

Из-за купола появился лжештурман Ганс с огромным тюком на плече. Увидев Горбовского, он заулыбался и сказал на ходу: «А, капитан! Как ваши ульмотроны? Достали? А мы вот архивы хороним. Очень утомительно. День какой-то сумасшедший...» Кажется, это был единственный человек на Радуге, который так и не узнал, что Горбовский настоящий капитан «Тариэля».

Из окна Совета Горбовского окликнул Матвей.

— «Тариэль» уже на орбите! — крикнул он. — Сейчас прощались. Там все в порядке.

— Спускайся, — предложил Горбовский. — Пойдем вместе.

Матвей покачал головой.

— Нет, дружище, — сказал он. — У меня масса дел, а времени мало... — Он помолчал, затем добавил растерянно: — Женя нашлась, ты знаешь где?

— Догадываюсь, — сказал Горбовский.

— Зачем ты это сделал? — сказал Матвей.

— Честное слово, я ничего не делал, — сказал Горбовский.

Матвей укоризненно покачал головой и скрылся в глубине комнаты, а Горбовский пошел дальше.

...Он вышел на берег моря, на прекрасный желтый пляж с пестрыми тентами и удобными шезлонгами, с катерами и лодками, выстроившимися у невысокого причала. Он опустился в один из шезлонгов, с удовольствием вытянул ноги, сложил руки на животе и стал смотреть на запад, на багровое закатное солнце. Слева и справа нависали бархатно-черные стены, он старался не замечать их.

Сейчас я должен был бы стартовать к Лаланде, думал он сквозь дремоту. Мы сидели бы втроем в рубке, и я рассказывал бы им, какая славная планета Радуга, как я исколесил ее всю за день. Перси Диксон помалкивал бы, накручивая бороду на пальцы, а Марк бы брюзжал, что старо, скучно и везде одинаково. А завтра в это время мы бы вышли из деритринитации...

Мимо него прошла, опустив голову, та прекрасная девушка с сединой в золотых волосах, которая так вовремя прервала его неприятный разговор со Скляровым на космодроме. Она шла по самой кромке воды, и лицо ее уже не казалось каменным, оно было просто бесконечно усталым. Шагах в пятидесяти она остановилась, постояла, глядя в море, и села на песок, уткнулась подбородком в колени. Сейчас же над ухом Горбовского

кто-то тяжело вздохнул, и, скосив глаз, Горбовский увидел Склярова. Скляров тоже смотрел на девушку.

— Все бессмысленно, — сказал он негромко. — Скучно жил, ненужно! И все самое плохое приберeглось на последний день...

— Голубчик, — сказал Горбовский. — А что может быть хорошего в последнем дне?

— Вы еще не знаете...

— Знаю, — сказал Горбовский. — Все знаю...

— Не можете вы всего знать... Я же слышу, как вы со мной разговариваете.

— Как?

— Как с обыкновенным человеком. А я трус и преступник.

— Ну, Роберт, — сказал Горбовский. — Ну какой вы трус и преступник?

— Я трус и преступник, — упрямо повторил Роберт. — Я даже, наверное, хуже, потому что считаю, что все делал правильно.

— Трусов и преступников не бывает, — сказал Горбовский. — Я скорее поверю в человека, который способен воскреснуть, чем в человека, который способен совершить преступление.

— Не надо меня утешать. Я же говорю, что вы не знаете всего.

Горбовский лениво повернул к нему голову.

— Роберт, — сказал он, — не тратьте вы зря время. Идите вы к ней. Сядьте рядом... Мне очень удобно лежать, но если хотите, я помогу вам...

— Все получается не так, как хочется, — тоскливо сказал Роберт. — Я был уверен, что спасу ее. Мне казалось, что я готов на все. Но оказалось, что на все я не готов... Пойду, — сказал вдруг он.

Горбовский следил за ним, как он шагает — сначала широко и уверенно, а потом все медленнее и медленнее, как он все-таки подошел к ней, и сел рядом, и она не отодвинулась.

Некоторое время Горбовский смотрел на них, стараясь разобраться, завидует он или нет, а потом задремал по-настоящему. Его разбудило прикосновение чего-то холодного. Он приоткрыл один глаз и увидел Камилла, его вечный нелепый шлем, его вечно постное и угрюмое лицо и круглые немигающие глаза.

— Я знал, что вы здесь, Леонид, — сообщил Камилл. — Я искал вас.

— Здравствуйте, Камилл, — пробормотал Горбовский. — Наверное, это очень скучно — все знать...

Камилл подтащил шезлонг и сел рядом в позе человека с переломленным позвоночником.

— Есть вещи поскучнее, — сказал он. — Мне все надоело. Это была огромная ошибка.

— Как дела на том свете? — спросил Горбовский.

— Там темно, — сказал Камилл. Он помолчал. — Сегодня я умирал и воскресал трижды. Каждый раз было очень больно.

— Трижды, — повторил Горбовский. — Рекорд. — Он посмотрел на Камилла. — Камилл, скажите мне правду. Я никак не могу понять. Вы человек? Не стесняйтесь. Я уже никому не успею рассказать.

Камилл подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Я последний из Чертовой Дюжины. Опыт не удался, Леонид. Вместо состояния «хочешь, но не можешь» состояние «можешь, но не хочешь». Это невыносимо тоскливо — мочь и не хотеть.

Горбовский слушал, закрыв глаза.

— Да, я понимаю, — проговорил он. — Мочь и не хотеть — это от машины. А тоскливо — это от человека.

— Вы ничего не понимаете, — сказал Камилл. — Вы любите мечтать иногда о мудрости патриархов, у которых нет ни желаний, ни чувств, ни даже ощущений. Бесплотный разум. Мозг-дальто-

ник. Великий Логик. Логические методы требуют абсолютной сосредоточенности. Для того чтобы что-нибудь сделать в науке, приходится днем и ночью думать об одном и том же, читать об одном и том же, говорить об одном и том же... А куда уйдешь от своей психической призмы? От врожденной способности чувствовать... Ведь нужно любить, нужно читать о любви, нужны зеленые холмы, музыка, картины, неудовлетворенность, страх, зависть... Вы пытаетесь ограничить себя — и теряете огромный кусок счастья. И вы прекрасно сознаете, что вы его теряете. И тогда, чтобы вытравить в себе это сознание и прекратить мучительную раздвоенность, вы оскопляете себя. Вы отрываете от себя всю эмоциональную половину человечьего и оставляете только одну реакцию на окружающий мир — сомнение. «Подвергай сомнению!» — Камилл помолчал. — И тогда вас ожидает одиночество. — Со страшной тоской он глядел на вечернее море, на холодеющий пляж, на пустые шезлонги, отбрасывающие странную тройную тень. — Одиночество... — повторил он. — Вы всегда уходили от меня, люди. Я всегда был лишним, назойливым и непонятным чудаком. И сейчас вы тоже уйдете. А я останусь один. Сегодня ночью я воскресну в четвертый раз,

один, на мертвой планете, заваленной пеплом и снегом...

Вдруг на пляже стало шумно. Увязая в песке, к морю спускались испытатели — восемь испытателей, восемь несостоявшихся нуль-перелетчиков. Семеро несли на плечах восьмого, слепого, с лицом, обмотанным бинтами. Слепой, закинув голову, играл на банджо, и все пели:

Когда, как темная вода,
Лихая, лютая беда
Была тебе по грудь,
Ты, не склоняя головы,
Смотрела в прорезь синевы
И продолжала путь...[6]

Они, не оглядываясь, вошли с песней в море по пояс, по грудь, а затем поплыли вслед за заходящим солнцем, держа на спинах слепого товарища. Справа от них была черная, почти до зенита, стена, и слева была черная, почти до зенита, стена, и оставалась только узкая темно-синяя прорезь неба, да красное солнце, да дорожка расплавленного золота, по которой они плыли, и скоро их совсем не стало видно в дрожащих бликах, и только слышался звон банджо и песня:

...Ты, не склоняя головы,
Смотрела в прорезь синевы
И продолжала путь...

МАЛЫШ

Глава первая. Пустота и тишина

— Знаешь, — сказала Майка, — предчувствие у меня какое-то дурацкое...

Мы стояли возле глайдера, она смотрела себе под ноги и долбила каблуком промерзший песок.

Я не нашелся, что ответить. Предчувствий у меня не было никаких, но мне, в общем, здесь тоже не нравилось. Я прищурился и стал смотреть на айсберг. Он торчал над горизонтом гигантской глыбой сахара, слепяще-белый иззубренный клык, очень холодный, очень неподвижный, очень цельный, без всех этих живописных мерцаний и переливов, — видно было, что как вломился он в этот плоский беззащитный берег сто тысяч лет назад, так и намеревается проторчать здесь еще сто тысяч лет на зависть всем своим собратьям, неприкаянно дрейфующим в открытом океане. Пляж, гладкий, серо-желтый, сверкающий мириадами чешуек инея, уходил к нему, а справа был океан, свинцовый, дышащий стылым металлом, подернутый зябкой рябью, у горизонта черный, как тушь, противоестественно мертвый. Слева над горячими ключами, над болотом, ле-

жал серый слоистый туман, за туманом смутно угадывались щетинистые сопки, а дальше громоздились отвесные темные скалы, покрытые пятнами снега. Скалы эти тянулись вдоль всего побережья, на сколько хватал глаз, а над скалами в безоблачном, но тоже безрадостном ледяном серо-лиловом небе всходило крошечное негреющее лиловатое солнце.

Вандерхузе вылез из глайдера, немедленно натянул на голову меховой капюшон и подошел к нам.

— Я готов, — сообщил он. — Где Комов?

Майка коротко пожала плечами и подышала на застывшие пальцы.

— Сейчас придет, наверное, — рассеянно сказала она.

— Вы куда сегодня? — спросил я Вандерхузе. — На озеро?

Вандерхузе слегка запрокинул лицо, выпятил нижнюю губу и сонно посмотрел на меня поверх кончика носа, сразу сделавшись похожим на пожилого верблюда с рысьими бакенбардами.

— Скучно тебе здесь одному, — сочувственно произнес он. — Однако придется потерпеть, как ты полагаешь?

— Полагаю, что придется.

Вандерхузе еще сильнее запрокинул голову и с той же верблюжьей надменностью поглядел в сторону айсберга.

— Да, — сочувственно произнес он. — Это очень похоже на Землю, но это не Земля. В этом вся беда с землеподобными мирами. Все время чувствуешь себя обманутым. Обворованным чувствуешь себя. Однако и к этому можно привыкнуть, как ты полагаешь, Майка?

Майка не ответила. Совсем она что-то загрустила сегодня. Или наоборот — злилась. Но с Майкой это вообще-то бывает, она это любит.

Позади, легонько чмокнув, лопнула перепонка люка, и на песок соскочил Комов. Торопливо, на ходу застегивая доху, он подошел к нам и отрывисто спросил:

— Готовы?

— Готовы, — сказал Вандерхузе. — Куда мы сегодня, Геннадий? Опять на озеро?

— Так, — сказал Комов, возясь с застежкой на горле. — Насколько я понял, Майя, у вас сегодня квадрат шестьдесят четыре. Мои точки: западный берег озера, высота семь, высота двенадцать. Расписание уточним в дороге. Попов, вас я попрошу отправить радиограммы, я оставил их в рубке. Связь со мной через глайдер. Возвращение

в восемнадцать ноль-ноль по местному времени. В случае задержки предупредим.

— Понятно, — сказал я без энтузиазма: не понравилось мне это упоминание о возможной задержке.

Майка молча пошла к глайдеру. Комов справился наконец с застежкой, провел ладонью по груди и тоже пошел к глайдеру. Вандерхузе пожал мне плечо.

— Поменьше глазей на все эти пейзажи, — посоветовал он. — Сиди по возможности дома и читай. Береги цветы своей селезенки.

Он неспешно забрался в глайдер, устроился в водительском кресле и помахал мне рукой. Майка наконец позволила себе улыбнуться и тоже помахала мне рукой. Комов, не глядя, кивнул, фонарь задвинулся, и я перестал их видеть. Глайдер неслышно тронулся с места, стремительно скользнул вперед и вверх, сразу сделался маленьким и черным и исчез, словно его не было. Я остался один.

Некоторое время я стоял, засунув руки глубоко в карманы дохи, и смотрел, как трудятся мои ребятишки. За ночь они поработали на славу, поосунулись, отощали и теперь, развернув энергозаборники на максимум, жадно глотали

бледный бульончик, который скармливало им хилое лиловое светило. И ничто иное их не заботило. И ничего больше им было не нужно, даже я им был не нужен — во всяком случае, до тех пор, пока не исчерпается их программа. Правда, неуклюжий толстяк Том каждый раз, когда я попадал в поле его визиров, зажигал рубиновый лобовой сигнал, и при желании это можно было принимать за приветствие, за вежливо-рассеянный поклон, но я-то знал, что это просто означает: «У меня и у остальных все в порядке. Выполняем задание. Нет ли новых указаний?» У меня не было новых указаний. У меня было много одиночества и много, очень много мертвой тишины.

Это не была ватная тишина акустической лаборатории, от которой закладывает уши, и не та чудная тишина земного загородного вечера, освежающая, ласково омывающая мозг, которая умиротворяет и сливает тебя со всем самым лучшим, что есть на свете. Это была тишина особенная — пронзительная, прозрачная, как вакуум, взводящая все нервы, — тишина огромного, совершенно пустого мира.

Я затравленно огляделся. Вообще-то, наверное, нельзя так говорить о себе; наверное, следовало бы сказать просто: «Я огляделся». Однако

на самом деле я огляделся не просто, а именно затравленно. Бесшумно трудились киберы. Бесшумно слепило лиловое солнце. С этим надо было как-то кончать.

Например, можно было собраться наконец и сходить к айсбергу. До айсберга было километров пять, а стандартная инструкция категорически запрещает дежурному удаляться от корабля дальше, чем на сто метров. Наверное, при других обстоятельствах чертовски соблазнительно было бы рискнуть и нарушить инструкцию. Но только не здесь. Здесь я мог уйти и на пять километров, и на сто двадцать пять, и ничего бы не случилось ни со мной, ни с моим кораблем, ни с десятком других кораблей, рассаженных сейчас по всем климатическим поясам планеты к югу от меня. Не выскочит из этих корявых зарослей кровожаждущее чудовище, чтобы пожрать меня, — нет здесь никаких чудовищ. Не налетит с океана свирепый тайфун, чтобы вздыбить корабль и швырнуть на эти угрюмые скалы, — не замечено здесь ни тайфунов, ни прочих землетрясений. Не будет здесь сверхсрочного вызова с Базы с объявлением биологической тревоги — не может здесь быть биологической тревоги, нет здесь ни вирусов, ни бактерий, опасных для многоклеточных существ.

Ничего здесь нет, на этой планете, кроме океана, скал и карликовых деревьев. Неинтересно здесь нарушать инструкцию.

И выполнять ее здесь неинтересно. На любой порядочной биологически активной планете фига с два я стоял бы вот так, руки в карманах, на третий день после посадки. Я бы мотался сейчас как угорелый. Наладка, запуск и ежесуточный контроль настройки сторожа-разведчика. Организация вокруг корабля — и вокруг строительной площадки, между прочим, — Зоны Абсолютной Биологической Безопасности. Обеспечение упомянутой ЗАББ от нападения из-под почвы. Каждые два часа контроль и смена фильтров — внешних бортовых, внутренних бортовых и личных. Устройство могильника для захоронения всех отходов, в том числе и использованных фильтров. Каждые четыре часа стерилизация, дегазация и дезактивация управляющих систем кибермеханизмов. Контроль информации роботов медслужбы, запущенных за пределы ЗАББ. Ну и всякие мелочи: метеозонды, сейсмическая разведка, спелеоопасность, тайфуны, обвалы, сели, карстовые сбросы, лесные пожары, вулканические извержения...

Я представил себе, как я, в скафандре, потный,

невыспавшийся, злой и уже слегка отупевший, промываю нервные узлы толстяку Тому, а сторож-разведчик мотается у меня над головой и с настойчивостью идиота в двадцатый раз сообщает о появлении вон под той корягой страшной крапчатой лягушки неизвестного ему вида, а в наушниках верещат тревожные сигналы ужасно взволнованных роботов медслужбы, обнаруживших, что такой-то местный вирус дает нестандартную реакцию на пробу Балтерманца и, следовательно, теоретически способен прорвать биоблокаду. Вандерхузе, который, как и подобает врачу и капитану, сидит в корабле, озабоченно ставит меня в известность, что возникла опасность провалиться в трясину, а Комов с ледяным спокойствием сообщает по радио, что двигатель глайдера, насколько он понимает, съеден маленькими насекомыми вроде муравьев и что муравьи эти в настоящий момент пробуют на зуб его скафандр... Уф! Впрочем, на такую планету меня бы, конечно, не взяли. Меня взяли именно на такую планету, для которой инструкции не писаны. За ненадобностью.

Перед люком я задержался, отряхнул с подошв приставшие песчинки, постоял немного, положив ладонь на теплый дышащий борт корабля, и

ткнул пальцем в перепонку. В корабле тоже было тихо, но это все-таки была домашняя тишина, тишина пустой и уютной квартиры. Я сбросил доху и прошел прямо в рубку. У своего пульта я задерживаться не стал — я и так видел, что все хорошо, — а сразу сел за рацию. Радиограммы лежали на столике. Я включил шифратор и стал набирать текст. В первой радиограмме Комов сообщал на Базу координаты трех предполагаемых стойбищ, отчитывался за мальков, которые были вчера запущены в озеро, и советовал Китамуре не торопиться с пресмыкающимися. Все это было более или менее понятно, но вот из второй радиограммы, адресованной в Центральный Информаторий, я понял только, что Комову позарез нужны данные относительно игрек-фактора для двунормального гуманоида с четырехэтажным индексом, состоящим в общей сложности из девяти цифр и четырнадцати греческих букв. Это была сплошная и непроницаемая высшая ксенопсихология, в которой я, как и всякий нормальный гуманоид индекса ноль, не разбирался абсолютно. И не надо.

Набрав текст, я включил служебный канал и передал все сообщения в одном импульсе. Потом я зарегистрировал радиограммы, и тут мне

пришло в голову, что пора бы и мне послать первый отчет. То есть, собственно, что значит — отчет... «Группа ЭР-2, строительные работы по стандарту 15, выполнение столько-то процентов, дата, подпись». Все. Мне пришлось встать и подойти к своему пульту, чтобы взглянуть на график выполнения, и я сразу понял, почему это меня вдруг потянуло на отчет. Не в отчете здесь было дело, а просто я, наверное, уже достаточно опытный кибертехник и почуял перебой, даже ничего не видя и не слыша: Том опять остановился, совсем как вчера, ни с того ни с сего. Как и вчера, я раздраженно ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова: «В чем дело?» Как и вчера, сигнал задержки сейчас же погас — и вспыхнул рубиновый огонек: «У нас все в порядке, выполняем задание. Нет ли новых указаний?» Я дал ему указание возобновить работу и включил видеоэкран. Джек и Рекс усердно работали, и Том тоже двинулся, но в первые секунды как-то странно, чуть ли не боком, однако тут же выровнялся.

— Э, брат, — сказал я вслух, — видно, ты у меня переутомился и надобно тебя, брат, почистить. — Я заглянул в рабочий дневник Тома. Профилактику ему надлежало делать сегодня вечером. — Ладно, до вечера мы с тобой как-нибудь дотя-

нем, как ты полагаешь?

Том не возражал. Некоторое время я смотрел, как они работают, а потом выключил видеоэкран: айсберг, туман над болотом, темные скалы... Хотелось без этого обойтись.

Отчет я все-таки послал и тут же связался с ЭР-6. Вадик откликнулся немедленно, словно только того и ждал.

— Ну, что там у вас? — спросили мы друг друга.

— У нас ничего, — ответил я.

— У нас ящерицы передохли, — сообщил Вадик.

— Эх, вы, — сказал я. — Предупреждает же вас Комов, любимый ученик доктора Мбоги: не торопитесь вы с пресмыкающимися.

— А кто с ними торопится? — возразил Вадик. — Если ты хочешь знать мое мнение, они здесь просто не выживут. Жарища же!

— Купаетесь? — спросил я с завистью.

Вадик помолчал.

— Окунаемся, — сказал он с неохотой. — Время от времени.

— Что так?

— Пусто, — сказал Вадик. — Вроде кошмарно большой ванны... Ты этого не поймешь. Нормальный человек такую невероятную ванну

представить себе не может. Я здесь заплыл километров на пять, сначала все было хорошо, а потом вдруг как представил себе, что это же не бассейн — океан! И, кроме меня, нет в нем ни единой живой твари... Нет, старик, ты этого не поймешь. Я чуть не потонул.

— Н-да, — проговорил я. — Значит, у вас тоже...

Мы поболтали еще несколько минут, а потом Вадика вызвала База, и мы торопливо распрощались. Я вызвал ЭР-9. Ганс не откликнулся. Можно было бы, конечно, вызвать ЭР-1, ЭР-3, ЭР-4 и так далее — до ЭР-12, поговорить о том, что, мол, пусто, безжизненно, мол, но какой от этого прок? Если подумать, никакого. Поэтому я выключил рацию и переселился к себе за пульт. Некоторое время я сидел просто так — глядел на рабочие экраны и думал о том, что дело, которое мы делаем, это вдвойне хорошее дело: мы не только спасаем пантиан от неминуемой и поголовной гибели, мы еще и эту планету спасаем — от пустоты, от мертвой тишины, от бессмысленности. Потом мне пришло в голову, что пантиане, наверное, довольно странная раса, если наши ксенопсихологи считают, что эта планета им подходит лучше всего. Странный, должно быть, образ жизни у них на Панте. Вот доставят их сюда — сначала, конечно,

не всех, а по два, по три представителя от каждого племени, — увидят представители этот промерзший пляж, этот айсберг, пустой ледяной океан, пустое лиловое небо, увидят и скажут: «Прекрасно! Совсем как дома!» Не верится что-то. Правда, к их приезду здесь уже не будет так пусто. В озерах будет рыба, в зарослях — дичь, на отмелях — съедобные ракушки. Может быть, и ящерицы как-нибудь приживутся, а наш айсберг засидят какие-нибудь птички... А потом, надо сказать, в положении пантиан не приходится особенно выбирать. Если бы, например, стало известно, что наше Солнце вот-вот взорвется и слизнет с Земли все живое, я, наверное, тоже не был бы таким уж привередливым. Наверное, сказал бы себе: ничего, проживем как-нибудь. Впрочем, пантиан никто и не спрашивает. Они все равно ничего не понимают, космографии у них еще нет, даже самой примитивной. Так и не узнают они, что переселились на другую планету...

И вдруг я обнаружил, что слышу нечто. Какое-то шуршание, будто ящерица пробежала. Ящерица вспомнилась мне, должно быть, из-за недавнего разговора с Вадиком, на самом-то деле звук был еле слышный и совершенно неопределенный. Потом в дальнем конце рубки что-то тикнуло

— и сейчас же где-то пролилась струйкой вода. На самом пределе слышимости билась и зудела муха, попавшая в паутину, скороговоркой бормотали раздраженные голоса. И снова по коридору пробежала ящерица. Я почувствовал, что у меня свело шею от напряжения, и встал. При этом я задел справочник, лежавший на краю пульта, и он со страшным грохотом обрушился на пол. Я поднял его и со страшным грохотом швырнул обратно на пульт. Я задудел бодрый марш и, печатая шаг, вышел в коридор.

Это все тишина. Тишина и пустота. Вандерхузе каждый вечер объясняет нам это с предельной ясностью. Человек — не природа, он не терпит пустоты. Оказавшись в пустоте, он стремится ее заполнить. Он заполняет ее видениями и воображаемыми звуками, если не в состоянии заполнить ее чем-нибудь реальным. Воображаемых звуков я за эти три дня наслышался предостаточно. Надо полагать, скоро начнутся видения...

Я маршировал по коридору мимо пустых кают, мимо библиотеки, мимо арсенала, а когда проходил мимо медицинского отсека, почувствовал слабый запах — свежий и одновременно неприятный, вроде нашатырного спирта. Я остановился и принюхался. Знакомый запах. Хотя

что это такое — непонятно. Я заглянул в хирургическую. Постоянно включенный и готовый к действию киберхирург — огромный белый спрут, подвешенный к потолку, — холодно глянул на меня зеленоватыми глазищами и с готовностью приподнял манипуляторы. Запах здесь был гуще. Я включил аварийную вентиляцию и замаршировал дальше. Надо же, до чего у меня все чувства обострились. Уж что-что, а обоняние у меня всегда было негодным...

Свой дозорный марш я закончил на кухне. Здесь тоже было полно запахов, но против этих запахов я ничего не имел. Что бы там ни говорили, а на кухне должно пахнуть. На других кораблях что на кухне, что в рубке — одно и то же. У меня этого нет и не будет. У меня свои порядки. Чистота чистотой, а на кухне должно хорошо пахнуть. Вкусно. Возбуждающе. Мне здесь надлежит четырежды в день составлять меню, и это, заметьте, при полном отсутствии аппетита, потому что аппетит и пустота-тишина — вещи, по-видимому, несовместные...

На составление меню мне потребовалось не менее получаса. Это были трудные полчаса, но я сделал все, что мог. Потом я включил повара, втолковал ему меню и пошел взглянуть, как ра-

ботают мои ребятишки.

Уже с порога рубки я увидел, что имеет место ЧП. Все три рабочих экрана на моем пульте показывали полный останов. Я подбежал к пульту и включил видеоэкран. Сердце у меня екнуло: строительная площадка была пуста. Такого у меня еще никогда не случалось. Я даже не слыхивал, что такое вообще может случиться. Я помотал головой и бросился к выходу. Киберов кто-то увел... Шальной метеорит... стукнул Тома в крестец... Взбесилась программа... Невозможно, невозможно! Я влетел в кессон и схватил доху. Руки не попадали в рукава, куда-то пропали застежки, и пока я сражался с дохой, как барон Мюнхгаузен со своей взбесившейся шубой, перед глазами моими стояла жуткая картина: кто-то неведомый и невозможный ведет моего Тома, как собачонку, и киберы покорно ползут прямо в туман, в курящуюся топь, погружаются в бурую жижу и исчезают навсегда... Я с размаху пнул ногой в перепонку и выскочил наружу.

У меня все поплыло перед глазами. Киберы были здесь, у корабля. Они толпились у грузового люка, все трое, легонько отталкивая друг друга, как будто каждый пытался первым попасть в трюм. Это было невозможно, это было неприлич-

но, это было страшно. Они словно стремились поскорее спрятаться в трюме, укрыться от чего-то, спастись... Известно такое явление второй природы — взбесившийся робот, оно бывает очень редко, а о взбесившемся строительном роботе я не слышал никогда. Однако нервы у меня были так взвинчены, что сейчас я был готов к этому. Но ничего не произошло. Заметив меня, Том перестал ерзать и включил сигнал «жду указаний». Я решительно показал ему руками: «Вернуться на место, продолжать выполнение программы». Том послушно включил задний ход, развернулся и покатил обратно на площадку. Джек и Рекс, естественно, последовали за ним. А я все стоял возле люка, в горле у меня пересохло, колени ослабели, и мне очень хотелось присесть.

Но я не присел. Я принялся приводить себя в порядок. Доха на мне была застегнута вкривь и вкось, уши мерзли, на лбу и на щеках быстро застывал пот. Медленно, стараясь контролировать все свои движения, я вытер лицо, застегнулся как следует, надвинул на глаза капюшон и натянул перчатки. Стыдно признаться, конечно, но я испытывал страх. Собственно, это уже был не сам страх, это были остатки пережитого страха, смешанные со стыдом. Кибертехник, который

испугался собственных киберов... Мне стало совершенно ясно, что об этом случае я никогда и никому не расскажу. Елки-палки, у меня же ноги тряслись, они у меня и сейчас какие-то дряблые, и больше всего на свете мне сейчас хочется вернуться в корабль, спокойно, по-деловому обдумать происшествие, разобраться. Справочники кое-какие просмотреть. А на самом деле я, наверное, просто боюсь приближаться к моим ребятишкам...

Я решительно засунул руки в карманы и зашагал к стройплощадке. Ребятишки трудились как ни в чем не бывало. Том, как всегда, предупредительно запросил у меня новые указания. Джек обрабатывал фундамент диспетчерской, как ему и было положено по программе. Рекс зигзагами ходил по готовому участку посадочной полосы и занимался расчисткой. Да, что-то у них не в порядке все-таки с программой. Камней каких-то на полосу накидали... Не было этих камней, да и не нужны они тут, хватает строительного материала и без камней. Да, как Том тогда остановился, так с тех пор весь последний час они тут делали что-то не то. Сучья какие-то валяются на полосе... Я наклонился, поднял сучок и прошелся взад-вперед, похлопывая себя этим сучком по голенищу.

А не остановить ли мне их подобру-поздорову прямо сейчас, не дожидаясь срока профилактики? Неужели же, елки-палки, я где-то напахал в программе? Уму непостижимо... Я бросил сучок в кучу камней, собранных Рексом, повернулся и пошел к кораблю.

Глава вторая. Тишина и голоса

Следующие два часа я был очень занят, так занят, что не замечал ни тишины, ни пустоты. Для начала я посовещался с Гансом и Вадиком. Ганса я разбудил, и спросонок он только мычал и мямлил какую-то несусветицу про дождь и низкое давление. Толку от него не получилось никакого. Вадика мне пришлось долгое время убеждать, что я не шучу и не разыгрываю. Это было тем более трудно, что меня все время душил нервный смех. В конце концов я убедил его, что мне не до шуток и что для смеха у меня совсем другие основания. Тогда он тоже сделался серьезным и сообщил, что у него у самого старший кибер время от времени спонтанно останавливается, но в этом как раз нет ничего удивительного: жара, работа идет на пределе технических норм, и система еще не успела аккомодироваться. Может быть, все дело в том, что у меня здесь холод? Может быть, все дело было в этом, я еще не знал. Я, собственно, надеялся выяснить это у Вадика. Тогда Вадик вызвал головастую Нинон с ЭР-8, мы обсудили эту возможность втроем, ничего не придумали, и головастая Нинон посоветовала

мне связаться с главным киберинженером Базы, который зубы съел именно на этих строительных системах, чуть ли не их создатель. Ну, это-то я и сам знал, однако мне совсем не улыбалось лезть к главному за консультацией уже на третий день самостоятельной работы, да еще не имея за душой ни одного, буквально ни одного толкового соображения.

В общем, я сел за свой пульт, развернул программу и принялся ее вылизывать — команду за командой, группу за группой, поле за полем. Надо сказать, никаких дефектов я не обнаружил. За эту часть программы, которую составлял я сам, я и раньше готов был отвечать головой, а теперь готов был отвечать и своим добрым именем вдобавок. Со стандартными полями дело обстояло хуже. Многие из них были мне знакомы мало, и если бы я взялся каждое такое стандартное поле контролировать заново, обязательно бы сорвал график работ. Поэтому я решился на компромисс. Я временно выключил из программы все поля, которые пока не были нужны, упростил программу до наивозможнейшего предела, ввел ее в систему управления и положил было палец на пусковую клавишу, как вдруг до меня дошло, что уже в течение некоторого времени я опять слышу

нечто — нечто совсем уже странное, совершенно неуместное и невероятно знакомое.

Плакал ребенок. Где-то далеко, на другом конце корабля, за многими дверями отчаянно плакал, надрываясь и захлебываясь, какой-то ребеночек. Маленький, совсем маленький. Годик, наверное. Я медленно поднял руки и прижал ладони к ушам. Плач прекратился. Не опуская рук, я встал. Точнее сказать, я обнаружил, что уже некоторое время стою на ногах, зажимая уши, что рубашка у меня прилипла к спине и что челюсть у меня отвисла. Я закрыл рот и осторожно отвел ладони от ушей. Плача не было. Стояла обычная проклятая тишина, только звенела в невидимом углу муха, запутавшаяся в паутине. Я достал из кармана платок, неторопливо развернул его и тщательно вытер лоб, щеки и шею. Затем, так же неторопливо сворачивая платок, я прошелся перед пультом. Мыслей у меня не было никаких. Я постучал костяшками пальцев по кожуху вычислителя и кашлянул. Все было в порядке, я слышал. Я шагнул обратно к креслу, и тут ребенок заплакал снова.

Не знаю, сколько времени я стоял столбом и слушал. Самым страшным было то, что я слышал его совершенно ясно. Я даже отдавал себе отчет

в том, что это не бессмысленное мяуканье новорожденного и не обиженный рев карапуза лет четырех-пяти, — вопил и захлебывался младенец, еще не умеющий ходить и разговаривать, но уже не грудной. У меня племянник такой есть — год с небольшим...

Оглушительно грянул звонок радиовызова, и у меня от неожиданности едва не выскочило сердце. Придерживаясь за пульт, я подобрался к рации и включил прием. Ребеночек все плакал.

— Ну, как у тебя дела? — осведомился Вадик.

— Никак, — сказал я.

— Ничего не придумал?

— Ничего, — сказал я. Я поймал себя на том, что прикрываю микрофон рукой.

— Что-то тебя плохо слышно, — сказал Вадик. — Так что же ты думаешь делать?

— Как-нибудь, — пробормотал я, плохо соображая, что говорю. Ребенок продолжал плакать. Теперь он плакал тише, но все так же явственно.

— Ты что это, Стась? — озабоченно сказал Вадик. — Я тебя разбудил, что ли?

Больше всего мне хотелось сказать: «Слушай, Вадька, у меня здесь все время плачет какой-то ребенок. Что мне делать?» Однако у меня хватило ума сообразить, как это может быть воспринято.

Поэтому я откашлялся и сказал:

— Ты знаешь, я с тобой через часок свяжусь. Здесь у меня кое-что наклевывается, но я еще не вполне уверен...

— Ла-а-адно, — озадаченно протянул Вадик и отключился.

Я еще немного постоял у рации, затем вернулся к своему пульту. Ребенок несколько раз всхлипнул и затих. А Том опять стоял. Опять этот испорченный сундук остановился. И Джек с Рексом тоже стояли. Я изо всех сил ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова. Никакого эффекта. Мне захотелось заплакать самому, но тут я сообразил, что система выключена. Я же ее и выключил два часа назад, когда взялся за программу. Ну и работничек из меня теперь! Может быть, сообщить на Базу и попросить приготовить замену? Обидно-то как, елки-палки... Я поймал себя на том, что в страшном напряжении жду, когда все это начнется снова. И я понял, что если останусь здесь, в рубке, то буду прислушиваться и прислушиваться, ничего не смогу делать, только прислушиваться, и я, конечно, услышу, я здесь такое услышу!..

Я решительно включил профилактику, вытащил из стеллажа футляр с инструментами и

почти бегом ринулся вон из рубки. Я старался держать себя в руках и с дохой управился на этот раз довольно быстро. Ледяной воздух, опаливший лицо, подтянул меня еще больше. Хрустя каблуками по песку, я, не оглядываясь, зашагал к строительной площадке, прямо к Тому. По сторонам я тоже не глядел. Айсберги, туманы, океаны — все это меня отныне не интересовало. Я берег цветы своей селезенки для своих непосредственных обязанностей. Не так уж много у меня этих цветов оставалось, а обязанностей было столько же, сколько раньше, и, может быть, даже больше.

Прежде всего я проверил Тому рефлексы. Рефлексы у Тома оказались в превосходном состоянии. «Отлично!» — сказал я вслух, извлек из футляра скальпель и одним движением, как на экзаменах, вскрыл Тому заднюю черепную коробку.

Я работал с упоением, даже с остервенением каким-то, быстро, точно, расчетливо, как машина. Одно могу сказать: никогда в жизни я так не работал. Мерзли пальцы, мерзло лицо, дышать приходилось не как попало, а с умом, чтобы иней не оседал на операционном поле, но я и думать не хотел о том, чтобы загнать киберов в

корабельную мастерскую. Мне становилось все легче и легче, ничего неподобающего я больше не слышал, я уже забыл о том, что могу услышать неподобающее, и дважды сбегал в корабль за сменными узлами для координационной системы Тома. «Ты у меня будешь как новенький, — приговаривал я. — Ты у меня больше не будешь бегать от работы. Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю, в люди выведу. Хочешь, небось, выйти в люди? Еще бы! В людях хорошо, в людях тебя любить будут, холить будут, лелеять. Но ведь что я тебе скажу? Куда тебе в люди с таким блоком аксиоматики? С таким блоком аксиоматики тебя не то что в люди — в цирк тебя не возьмут. Ты с таким блоком аксиоматики все подвергнешь сомнению, задумываться станешь, научишься в носу ковырять глубокомысленно. Стоит ли, мол? Да зачем все это нужно? Для чего все эти посадочные полосы, фундаменты? А сейчас я тебя, голубчик...»

— Шура... — простонал совсем рядом хриплый женский голос. — Где ты, Шура... Больно...

Я замер. Я лежал в брюхе Тома, стиснутый со всех сторон колоссальными буграми его рабочих мышц, только ноги мои торчали наружу, и мне вдруг стало невероятно страшно, как в самом

страшном сне. Я просто не знаю, как я сдержался, чтобы не заорать и не забиться в истерике. Может быть, я потерял сознание на некоторое время, потому что долго ничего не слышал и ничего не соображал, а только пялил глаза на озаренную зеленоватым светом поверхность обнаженного нервного вала у себя перед лицом.

— Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу, Шура... — хрипела женщина, корчась от невыносимой боли. — Здесь кто-то есть... Да отзовись же, Шура! Больно как! Помоги мне, я ничего не вижу...

Она хрипела и плакала, и повторяла снова и снова одно и то же, и мне уже мерещилось, что я вижу ее искаженное лицо, залитое смертным потом, и в хрипе ее была уже не только мольба, не только боль, в нем были ярость, требование, приказ. Я почти физически ощутил, как ледяные цепкие пальцы тянутся к моему мозгу, чтобы вцепиться, стиснуть его и погасить. Уже в полубеспамятстве, сжимая до судороги зубы, я нащупал левой рукой пневматический клапан и изо всех сил надавил на него. С диким воющим ревом ринулся наружу сжатый аргон, а я все нажимал и нажимал на клапан, сметая, разбивая в пыль, уничтожая хриплый голос у себя в мозгу, я

чувствовал, что глохну, и чувство это доставляло мне невыразимое облегчение.

Потом оказалось, что я стою рядом с Томом, холод прожигает меня до костей, а я дую на окоченевшие пальцы и повторяю, блаженно улыбаясь: «Звуковая завеса, понятно? Звуковая завеса...» Том стоял, сильно накренившись на правый бок, а мир вокруг меня был скрыт огромным неподвижным облаком инея и мерзлых песчинок. Зябко пряча ладони под мышками, я обошел Тома и увидел, что струя аргона выбила на краю площадки огромную яму. Я немного постоял над этой ямой, все еще повторяя про звуковую завесу, но я уже чувствовал, что пора бы прекратить повторять, и догадался, что стою на морозе без дохи, и вспомнил, что доху я сбросил как раз на то место, где сейчас яма, и стал вспоминать, не было ли у меня в карманах чего-нибудь существенного, ничего не вспомнил, легкомысленно махнул рукой и нетвердой трусцой побежал к кораблю.

В кессоне я прежде всего взял себе новую доху, потом пошел в свою каюту, кашлянул у входа, как бы предупреждая, что сейчас войду, вошел и сейчас же лег на койку лицом к стене, накрывшись дохой с головой. При этом я прекрасно понимал, что все эти мои действия лишены какого бы то

ни было смысла, что в каюту к себе я направлялся с вполне определенной целью, но цель эту я запамятовал, а лег и укрылся, словно бы для того, чтобы показать кому-то: вот это именно и есть то, зачем я сюда пришел.

Все-таки, наверное, это было что-то вроде истерики, и, немного придя в себя, я только порадовался, что истерика моя приняла вот такие, совершенно безобидные формы. В общем, мне было ясно, что с моей работой здесь покончено. И вообще в космосе работать мне, вероятно, больше не придется. Это было, конечно, безумно обидно, и — чего там говорить! — стыдно было, что вот не выдержал, на первом же практическом деле сорвался, а уж, казалось бы, послали для начала в самое что ни на есть безопасное и спокойное место. И еще было обидно, что оказался я такой нервной развалиной, и стыдно, что когда-то испытывал самодовольную жалость к Каспару Манукяну, когда тот не прошел по конкурсу проекта «Ковчег» из-за какой-то там повышенной нервной возбудимости. Будущее представлялось мне в самом черном свете — тихие санатории, медосмотры, процедуры, осторожные вопросы психологов и целые моря сочувствия и жалости, сокрушительные шквалы сочувствия и жалости,

обрушивающиеся на человека со всех сторон...

Я рывком отшвырнул доху и сел. Ладно, сказал я тишине и пустоте, ваша взяла. Горбовского из меня не вышло. Переживем как-нибудь... Значит, так. Сегодня же я расскажу обо всем Вандерхузе, и завтра, наверное, пришлют мне замену. Елки-палки, а у меня на площадке что творится! Том демобилизован, график сломался, ямища эта дурацкая рядом с полосой... Я вдруг вспомнил, зачем сюда пришел, выдвинул ящик стола, нашел кристаллофон с записью ируканских боевых маршей и аккуратно подвесил его к мочке правого уха. Звуковая завеса, сказал я себе в последний раз. Взявши доху под мышку, я снова вышел в кессон, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы совершенно уже успокоиться, включил кристалл и шагнул наружу.

Теперь мне было хорошо. Вокруг меня и внутри меня ревели варварские трубы, лязгала бронза, долбили барабаны; покрытые оранжевой пылью телемские легионы, тяжело печатая шаг, шли через древний город Сэтэм; пылали башни, рушились кровли, и страшно, угнетая рассудок врага, свистели боевые драконы-стенобитчики. Окруженный и огражденный этими шумами тысячелетней давности, я снова забрался во внут-

ренности Тома и теперь без всякой помехи довел профилактику до конца.

Джек и Рекс уже заравнивали яму, а в потроха Тома нагнетались последние литры аргона, когда я увидел над пляжем стремительно растущее черное пятнышко. Глайдер возвращался. Я взглянул на часы — было без двух минут восемнадцать по местному времени. Я выдержал. Теперь можно было выключить литавры и барабаны и заново обдумать вопрос: стоит ли беспокоить Вандерхузе, беспокоить Базу, ведь сменщика найти будет не так-то просто, да и ЧП все-таки, работа на всей планете может из-за этого задержаться, набегут всякие комиссии, начнутся контрольные проверки и перепроверки, дело остановится, Вадик будет ходить злой как черт, а если вдобавок представить себе, как глянет на меня доктор ксенопсихологии, член КОМКОНа, специальный уполномоченный по проекту «Ковчег» Геннадий Комов, восходящее светило науки, любимый ученик доктора Мбоги, новый соперник и новый соратник самого Горбовского... Нет, все это надо тщательно продумать. Я глядел на приближающийся глайдер и думал: все это надо продумать самым тщательнейшим образом. Во-первых, у меня еще целый вечер впереди, а во-вторых, у

меня есть предчувствие, что все это мы временно отложим. В конце концов, переживания мои касаются меня одного, а отставка моя касается уже не только меня, но и, можно сказать, всех. Да и звуковая завеса себя превосходно показала. Так что, пожалуй, все-таки отложим. Да. Отложим...

Все эти мысли разом вылетели у меня из головы, едва я увидел лица Майки и Вандерхузе. Комов — тот выглядел как обычно и, как обычно, озирался с таким видом, словно все вокруг принадлежит ему персонально, принадлежит давно и уже порядком надоело. А вот Майка была бледна прямо-таки до синевы, как будто ей было дурно. Уже Комов соскочил на песок и коротко осведомился у меня, почему я не откликался на радиовызовы (тут глаза его скользнули по кристаллофону на моем ухе, он пренебрежительно усмехнулся и, не дожидаясь ответа, прошел в корабль). Уже Вандерхузе неторопливо вылез из глайдера и подходил ко мне, почему-то грустно кивая, более чем когда-либо похожий на занемогшего пожилого верблюда. А Майка все неподвижно сидела на своем месте, нахохлившись, спрятав подбородок в меховой воротник, и глаза у нее были какие-то стеклянные, а рыжие веснушки казались черными.

— Что случилось? — испуганно спросил я.

Вандерхузе остановился передо мной. Голова его задралась, нижняя челюсть выдвинулась. Он взял меня за плечо и легонько потряс. Сердце у меня ушло в пятки, я не знал, что и подумать. Он снова тряхнул меня за плечо и сказал:

— Очень грустная находка, Стась. Мы нашли погибший корабль.

Я судорожно глотнул и спросил:

— Наш?

— Да. Наш.

Майка выползла из глайдера, вяло махнула мне рукой и направилась к кораблю.

— Много жертв? — спросил я.

— Двое, — ответил Вандерхузе.

— Кто? — с трудом спросил я.

— Пока не знаем. Это старый корабль. Авария произошла много лет назад.

Он взял меня под руку, и мы вместе пошли следом за Майкой. У меня немного отлегло от сердца. Поначалу я, естественно, решил, что разбился кто-нибудь из нашей экспедиции. Но все равно...

— Никогда мне эта планета не нравилась, — вырвалось у меня.

Мы вошли в кессон, разделись, и Вандерхузе принялся обстоятельно очищать свою доху от

приставших репьев и колючек. Я не стал его дожидаться и пошел к Майке. Майка лежала на койке, подобрав ноги, повернувшись лицом к стене. Эта поза мне сразу кое-что напомнила, и я сказал себе: а ну-ка, поспокойнее, без всяких этих соплей и сопереживаний. Я сел за стол, побарабанил пальцами и осведомился самым деловым тоном:

— Слушай, корабль действительно старый? Вандер говорит, что он разбился много лет назад. Это так?

— Так, — не сразу ответила Майка в стену.

Я покосился на нее. Острые кошачьи когти пробороздили по моей душе, но я продолжал все так же деловито:

— Сколько это — много лет? Десять? Двадцать? Чепуха какая-то получается. Планета-то открыта всего два года назад...

Майка не ответила. Я снова побарабанил пальцами и сказал тоном ниже, но все еще по-деловому:

— Хотя, конечно, это могли быть первопроходцы... Какие-нибудь вольные исследователи... Двое их там, как я понял?

Тут она вдруг взметнулась над койкой и села лицом ко мне, упершись ладонями в покрывало.

— Двое! — крикнула она. — Да! Двое! Коряга ты бесчувственная! Дубина!

— Подожди, — сказал я ошеломленно. — Что ты...

— Ты зачем сюда пришел? — продолжала она почти шепотом. — Ты к роботам своим иди, с ними вот обсуждай, сколько там лет прошло, какая чепуха получается, почему их там двое, а не трое, не семеро...

— Да подожди, Майка! — сказал я с отчаянием. — Я же совсем не то хотел...

Она закрыла лицо руками и невнятно проговорила:

— У них все кости переломаны... Но они еще жили... Пытались что-то делать... Слушай, — попросила она, отняв руки от лица, — уйди, пожалуйста. Я скоро выйду. Скоро.

Я осторожно поднялся и вышел. Мне хотелось ее обнять, сказать что-то ласковое, утешительное, но утешать я не умел. В коридоре меня вдруг затрясло. Я остановился и подождал, пока это пройдет. Ну и денек выдался! И ведь никому не расскажешь. Да и не надо, наверное. Я разжмурил глаза и увидел, что в дверях рубки стоит Вандерхузе и смотрит на меня.

— Как там Майка? — спросил он негромко.

Наверное, по моему лицу было видно — как, потому что он грустно кивнул и скрылся в рубке. А я поплелся на кухню. Просто по привычке. Просто так уж повелось, что сразу после возвращения глайдера все мы садились обедать. Но сегодня, видно, все будет по-другому. Какой тут может быть обед... Я накричал на повара, потому что мне показалось, будто он переврал меню. На самом деле он ничего не переврал, обед был готов, хороший обед, как обычно, но сегодня должно быть не как обычно. Майка, наверное, вообще ничего не станет есть, а надо, чтобы поела. И я заказал для нее повару фруктовое желе со сбитыми сливками — единственное ее любимое лакомство, которое я знал. Для Комова я решил ничего дополнительно не заказывать, для Вандерхузе, подумавши, — тоже, но на всякий случай ввел в общую часть меню несколько стаканов вина — вдруг кто-нибудь захочет подкрепить свои душевные силы... Потом я отправился в рубку и уселся за свой пульт.

Ребятишки мои работали как часы, Майки в рубке не было, а Вандерхузе с Комовым составляли экстренную радиограмму на Базу. Они спорили.

— Это не информация, Яков, — говорил Комов. — Вы же лучше меня знаете: существует опреде-

ленная форма — состояние корабля, состояние останков, предполагаемые причины крушения, находки особого значения... Ну и так далее.

— Да, конечно, — отвечал Вандерхузе. — Но согласитесь, Геннадий, вся эта проформа имеет смысл только для биологически активных планет. В данной конкретной ситуации...

— Тогда лучше вообще не посылать ничего. Тогда давайте сядем в глайдер, слетаем туда сейчас же и сегодня же составим полный акт...

Вандерхузе покачал головой.

— Нет, Геннадий, я категорически против. Комиссии такого рода должны состоять из трех человек как минимум. А потом, сейчас уже стемнело, у нас не будет возможности произвести детальный осмотр окружающей местности... И вообще такие вещи надо делать на свежую голову, а не после полного рабочего дня. Как вы полагаете, Геннадий?

Комов, сжав тонкие губы, легонько постучал кулаком по столу.

— Ах, как это некстати, — произнес он с досадой.

— Такие вещи всегда некстати, — утешил его Вандерхузе. — Ничего, завтра утром мы отправимся туда втроем...

— Может быть, тогда сегодня вообще ничего не сообщать? — перебил его Комов.

— А вот на это я не имею права, — сказал с сожалением Вандерхузе. — Да и зачем нам это — не сообщать?

Комов встал и, заложив руки за спину, посмотрел на Вандерхузе сверху вниз.

— Как вы не понимаете, Яков, — уже с откровенным раздражением произнес он. — Корабль старого типа, неизвестный корабль, бортжурнал почему-то стерт... Если мы пошлем донесение в таком виде, — он схватил со стола листок и помахал им перед лицом Вандерхузе, — Сидоров решит, что мы не хотим или не способны самостоятельно провести экспертизу. Для него это еще одна забота — создавать комиссию, искать людей, отбиваться от любопытствующих бездельников... Мы поставим себя в смешное и глупое положение. И потом, во что превратится наша работа, Яков, если сюда явится толпа любопытствующих бездельников?

— Гм, — сказал Вандерхузе. — То есть, иначе говоря, вы не хотите скопления посторонних на нашем участке. Так?

— Именно так, — произнес Комов твердо.

Вандерхузе пожал плечами.

— Ну что ж... — Он подумал немного, отобрал у Комова листок и приписал к тексту несколько слов. — А в таком вот виде пойдет? «ЭР-два Базе, — скороговоркой прочитал он. — Экстренная. В квадрате сто два обнаружен потерпевший крушение земной корабль типа «Пеликан», регистрационный номер такой-то, в корабле останки двух человек, предположительно мужчины и женщины, бортжурнал стерт, подробную экспертизу... — тут Вандерхузе повысил голос и значительно поднял палец, — начинаем завтра». Как вы полагаете, Геннадий?

Несколько секунд Комов в задумчивости покачивался с носка на пятку.

— Ну что ж, — проговорил он наконец, — пусть будет так. Что угодно, лишь бы нам не мешали. Пусть будет так.

Он вдруг сорвался с места и вышел из рубки. Вандерхузе повернулся ко мне.

— Передай, Стась, пожалуйста. И пора уже обедать, как ты полагаешь? — Он поднялся и задумчиво произнес одну из своих загадочных фраз: — Было бы алиби, а трупы найдутся.

Я зашифровал радиограмму и послал ее в экстренном импульсе. Мне было как-то не по себе. Что-то совсем недавно, буквально минуту назад,

вонзилось в подсознание и мешало там, как заноза. Я посидел перед рацией, прислушиваясь. Да, это совсем другое дело — прислушиваться, когда знаешь, что в корабле полно народа. Вот по кольцевому коридору быстро прошагал Комов. У него всегда такая походка, словно он куда-то спешит, но вместе с тем знает, что мог бы и не спешить, потому что без него ничего не начнется. А вот гудит что-то неразборчивое Вандерхузе. Майка отвечает ему, и голос у нее обыкновенный — высокий и независимый, видимо, она уже успокоилась или, по крайней мере, сдерживается. И нет ни тишины, ни пустоты, ни мух в паутине... И я вдруг понял, что это за заноза: голос умирающей женщины в моем бреду и умершая женщина в разбитом звездолете... Совпадение, конечно... Страшненькое совпадение, что и говорить.

Глава третья. Голоса и призраки

Сколь это ни удивительно, но спал я как убитый. Утром я, по обыкновению, поднялся на полчаса раньше остальных, сбегал на кухню посмотреть, как там с завтраком, сбегал в рубку посмотреть, как там мои ребятишки, а потом выскочил наружу делать зарядку. Солнце еще не поднялось над горами, но было уже совсем светло и очень холодно. Ноздри слипались, ресницы смерзались, я изо всех сил размахивал руками, приседал и вообще спешил поскорее отделаться и вернуться на корабль. И тут я заметил Комова. Сегодня он, как видно, встал даже раньше меня, сходил куда-то и теперь возвращался со стороны стройплощадки. Шел он, против обыкновения, неторопливо, словно бы задумавшись, и в рассеянности похлопывал себя по ноге какой-то веточкой. Я уже заканчивал зарядку, когда он подошел ко мне вплотную и поздоровался. Я, естественно, тоже поздоровался и вознамерился было нырнуть в люк, но он остановил меня вопросом:

— Скажите, Попов, когда вы остаетесь здесь один, вы отлучаетесь куда-нибудь от корабля?

— То есть? — Я удивился даже не столько его

вопросу, сколько самому факту, что Геннадий Комов снизошел заинтересоваться моим времяпрепровождением. У меня к Геннадию Комову отношение сложное. Я его недолюбливаю.

— То есть ходите вы куда-нибудь? К болоту, например, или к сопкам...

Ненавижу эту манеру, когда с человеком разговаривают, а сами смотрят куда угодно, только не на человека. Причем сами в теплой дохе с капюшоном, а человек в спортивном костюмчике на голое тело. Но при всем при том Геннадий Комов есть Геннадий Комов, и я, обхватив руками плечи и приплясывая на месте, ответил:

— Нет. У меня и так времени не хватает. Не до прогулок.

Тут он наконец соизволил заметить, что я замерзаю, и вежливо указал мне веточкой на люк, сказав: «Прошу вас. Холодно». Но в кессоне он меня остановил снова.

— А роботы от стройплощадки удаляются?

— Роботы? — Никак я не мог понять, куда он клонит. — Нет. Зачем?

— Ну, я не знаю... Например, за строительными материалами.

Он аккуратно прислонил свою веточку к стене и стал расстегивать доху. Я начал злиться. Если он

каким-нибудь образом пронюхал о неполадках в моей строительной системе, то, во-первых, это не его дело, а во-вторых, мог бы сказать об этом прямо. Что это за допрос, в самом деле...

— Строительным материалом для киберсистемы данного типа, — как можно суше сказал я, — является тот материал, который у киберсистемы под ногами. В данном случае — песок.

— И камни, — добавил он небрежно, вешая доху на крючок.

Этим он меня уел. Но это было решительно не его дело, и я с вызовом откликнулся:

— Да! Если попадутся, то и камни.

Он впервые посмотрел мне в глаза.

— Боюсь, что вы неправильно меня поняли, Попов, — с неожиданной мягкостью произнес он. — Я не собираюсь вмешиваться в вашу работу. Просто у меня возникли кое-какие недоумения, и я обратился к вам, поскольку вы — единственный человек, который может их разрешить.

Ну что ж, когда со мной по-хорошему, тогда и я по-хорошему.

— В общем-то, конечно, камни им ни к чему, — сказал я. — Вчера у меня система немножко барахлила, и машины разбросали эти камни по всей стройплощадке. Кто их знает, зачем это им

понадобилось. Потом, конечно, убрали.

Он кивнул.

— Да, я заметил. А какого рода была неполадка?

Я в двух словах рассказал ему о вчерашнем дне, не касаясь, конечно, интимных подробностей. Он слушал, кивал, а потом подхватил свою веточку, поблагодарил за разъяснения и удалился. И только в кают-компании, поедая гречневую кашу с холодным молоком, я сообразил, что мне так и осталось непонятным, какие такие недоумения одолевали любимца доктора Мбоги и насколько мне удалось их разрешить. И удалось ли вообще. Я перестал есть и посмотрел на Комова. Нет, видимо, не удалось.

Геннадий Комов вообще, как правило, имеет вид человека не от мира сего. Вечно он высматривает что-то за далекими горизонтами и думает о чем-то своем, дьявольски возвышенном. На землю он спускается в тех случаях, когда кто-то или что-то, случайно или с умыслом, становится препятствием для его изысканий. Тогда он недрогнувшей рукой, зачастую совершенно беспощадно, устраняет препятствие и вновь взмывает к себе на Олимп. Так, во всяком случае, о нем рассказывают, и, в общем-то, ничего

такого-эдакого тут нет. Когда человек занимается проблемой инопланетных психологий, причем занимается успешно, дерется на самом переднем крае и себя совершенно не жалеет, когда при этом он, как говорят, является одним из выдающихся «футурмастеров» планеты, тогда ему можно многое простить и относиться к его манерам с определенным снисхождением. В конце концов, не всем быть такими обаятельными, как Горбовский или доктор Мбога.

С другой стороны, последние дни я все чаще и чаще с удивлением и горечью вспоминал восторженные рассказы Татьяны, которая проработала с Комовым целый год, была, по-моему, в него влюблена и отзывалась о нем как о человеке редкостной общительности, тончайшего остроумия и все такое прочее. Она прямо так и называла его: душа общества. Что это за общество, у которого такая душа, я представить себе не могу.

Да, так вот, Геннадий Комов всегда производил на меня впечатление человека не от мира сего. Но сегодня за завтраком он превзошел самого себя. Еду свою он обильно посыпал солью. Посыплет, попробует и рассеянно спровадит тарелку в мусоропровод. Горчицу путал с маслом. Намажет сладкий гренок, попробует и рассеянно спро-

вадит вслед за тарелкой. Якову Вандерхузе на вопросы не отвечал, зато, как пиявка, привязался к Майке, добиваясь, все ли время они с Вандером на съемке ходят вдвоем или иногда расстаются. И еще он время от времени вдруг принимался озираться нервно, а один раз вдруг вскочил, выбежал в коридор, отсутствовал несколько минут и вернулся как ни в чем не бывало — опять мазать гренки горчицей, пока эту злосчастную горчицу не убрали от него вовсе.

Майка тоже нервничала. Отвечала отрывисто, глядела в тарелку и за весь завтрак ни разу не улыбнулась. Впрочем, что делается с ней — я как раз понимал. Я бы на ее месте тоже нервничал перед таким предприятием. В конце концов, Майка — моя ровесница, хотя опыт работы у нее значительно больше, но это совсем не тот опыт, который сегодня ей понадобится.

Одним словом, Комов явно нервничал, Майка нервничала, Вандерхузе тоже, глядя на них, стал обнаруживать некоторые признаки беспокойства, и мне стало ясно, что поднимать сейчас вопрос о моем участии в предстоящей экспертизе решительно неуместно. Я понял, что сегодня мне опять предстоит целый рабочий день тишины и пустоты, и тоже стал нервничать. Атмосфера за

столом сделалась прямо-таки напряженной. И тогда Вандерхузе как командир корабля и врач решил эту атмосферу разрядить. Он задрал голову, выдвинул челюсть и длинно посмотрел на нас поверх носа. Рысьи бакенбарды его растопырились. Для начала он рассказал несколько анекдотов из быта звездолетчиков. Анекдоты были старые, заезженные, я заставлял себя улыбаться, Майка никак не реагировала, а Комов реагировал как-то странно. Слушал он внимательно и серьезно, в ударных местах кивал, а потом задумчиво оглядел Вандерхузе и произнес внушительно:

— А знаете, Яков, к вашим бакенбардам очень пошли бы кисточки на ушах.

Это было хорошо сказано, и при других обстоятельствах я порадовался бы острому словцу, но сейчас мне это показалось совершенно бестактным. Впрочем, сам Вандерхузе был, очевидно, противоположного мнения. Он самодовольно ухмыльнулся, согнутым пальцем взбил свои бакенбарды — сначала левый, а затем правый — и поведал нам следующую историю.

Является на некую цивилизованную планету один землянин, входит он в контакт и предлагает аборигенам свои услуги в качестве крупнейшего на Земле специалиста по конструированию и

эксплуатации вечных двигателей первого рода. Аборигены, натурально, смотрят этому посланцу сверхразума в рот и, следуя его указаниям, немедленно принимаются строить. Построили. Не работает вечный двигатель. Землянин крутит колеса, ползает среди стержней и всяких шестеренок и бранится, что все сделано не так. «Технология, — говорит, — у вас отсталая, вот эти узлы надо решительно переделать, а вон те так и вообще заменить, как вы полагаете?» Аборигенам деваться некуда. Принимаются они переделывать и решительно заменять. И только они это закончили, как вдруг прибывает с Земли ракета «скорой помощи», санитары хватают изобретателя и делают ему надлежащий укол, врач приносит аборигенам свои извинения, и ракета отбывает. Аборигены в тоске и смущении, стыдясь глядеть друг другу в глаза, начинают расходиться и тут замечают, что двигатель-то заработал. Да, друзья мои, двигатель заработал и продолжает работать до сих пор, вот уже полтораста лет.

Мне эта незамысловатая история понравилась. Сразу видно, что Вандерхузе выдумал ее сам и, скорее всего, только что. К моему огромному удивлению, Комову история понравилась тоже.

Уже на середине рассказа он перестал блуждать взглядом по столу в поисках горчицы, уставился на Вандерхузе и не спускал с него прищуренных глаз до самого конца, а потом высказался в том смысле, что идея невменяемости одного из партнеров по контакту представляется ему теоретически любопытной. «Во всяком случае, до сих пор общая теория контакта не учитывала такой возможности, хотя еще в начале двадцать первого века некий Штраух выдвигал предложение включать шизоидов в состав экипажей космических кораблей. Уже тогда было известно, что шизоидные типы обладают ярко выраженной способностью непредвзятого ассоциирования. Там, где нормальный человек в хаосе невиданного волей-неволей стремится углядеть знакомое, известное ранее, стереотипное, шизоид, напротив, не только видит все так, как оно есть, но способен создавать новые стереотипы, прямо вытекающие из сокровенной природы рассматриваемого хаоса. Между прочим, — продолжал Комов, понемножку разгораясь, — это свойство оказывается чрезвычайно общим для шизоидных представителей разумов самых различных типов. А поскольку теоретически совершенно не исключена возможность, что объектом контакта

окажется именно шизоидный индивидуум, и поскольку своевременно не разгаданная шизоидность может в ходе контакта привести к тяжелейшим последствиям, проблема, затронутая вами, Яков, кажется достойной определенного научного внимания».

Вандерхузе, ухмыляясь, объявил, что дарит Комову эту идею, и сказал, что пора трогаться. При этих словах Майка, заинтересовавшаяся было и слушавшая Комова с полуоткрытым ртом, сразу увяла. Я тоже сразу увял: все эти разговоры о шизоидах навели меня на неприятные размышления. И вот что тогда произошло.

Вандерхузе и Майка уже вышли из кают-компании, а Комов замешкался в дверях, повернулся вдруг, крепко взял меня за локоть и, как-то жутковато-пристально шаря по моему лицу своими холодными серыми глазами, тихо и быстро проговорил:

— Что это вы приуныли, Стась? Что-нибудь случилось?

Я обалдел. Меня наповал сразила поистине сверхъестественная проницательность этого специалиста по шизоидам. Но мне все-таки удалось мгновенно взять себя в руки. Слишком многое для меня решалось в этот момент. Я отстранился

и с безмерным изумлением спросил:

— О чем вы, Геннадий Юрьевич?

Взгляд его продолжал бегать по моему лицу, и он спросил еще тише и еще быстрее:

— Вы боитесь остаться один?

Но я уже прочно сидел в седле.

— Боюсь? — переспросил я. — Ну, это слишком сильно сказано, Геннадий Юрьевич. Я не ребенок все-таки...

Он отпустил мой локоть.

— А может быть, полетите с нами?

Я пожал плечами.

— Я бы с удовольствием. Но ведь вчера у меня были неполадки. Пожалуй, мне все-таки лучше остаться.

— Ну-ну! — произнес он с неопределенным выражением, резко повернулся и вышел.

Я постоял еще в кают-компании, окончательно приводя себя в порядок. В голове у меня была сумятица, но чувствовал я себя как после хорошо сданного экзамена.

Они помахали мне на прощанье и улетели, а я даже не стал провожать их взглядом. Я сразу же вернулся в корабль, выбрал стереопару кристаллофонов, вооружил оба уха и завалился в кресло перед своим пультом. Я следил за работой своих

ребятишек, читал, принимал радиограммы, беседовал с Вадиком и Нинон (было утешительно обнаружить, что у Вадика тоже вовсю играет музыка), я затеял уборку помещения, я составил роскошное меню с расчетом на необходимость подкрепления душевных сил — и все это в громе, в звоне, в завывании флейт и в мяуканье нэкофонов. В общем, я старательно, безжалостно и с пользой для себя и окружающих убивал время. И все это убиваемое время меня неотступно грызла терзающая мысль: откуда Комов узнал о моей слабости и что он в связи с этим намерен предпринять. Комов ставил меня в тупик. Эти его недоумения, возникшие после похода на стройплощадку, этот разговор о шизоидах, эта странная интерлюдия в дверях кают-компании... Елки-палки, ведь он предложил мне лететь с ними, он явно опасался оставить меня одного! Неужели это все-таки так заметно? Но ведь Вандерхузе вот ничего не заметил...

В таких примерно подспудных мыслях прошла большая часть моего рабочего дня. В пятнадцать часов, гораздо раньше, чем я ожидал, глайдер вернулся. Я едва успел сорвать с ушей и спрятать кристаллофоны, как вся компания ввалилась в корабль. Я встретил их в кессоне с тщательно про-

думанной сдержанной приветливостью, не стал задавать никаких вопросов по существу и только осведомился, нет ли желающих подкрепиться. Боюсь, правда, что после шестичасового грома и звона я говорил немножко слишком громко, так что Майка, которая, к вящей моей радости, выглядела вполне удовлетворительно, воззрилась на меня с некоторым удивлением, а Комов быстро оглядел меня с ног до головы и, не сказав ни слова, сейчас же скрылся в своей каюте.

— Подкрепиться? — раздумчиво проговорил Вандерхузе. — Знаешь ли, Стась, я сейчас пойду в рубку писать экспертное заключение, так что если бы ты как-нибудь мимоходом занес мне стаканчик тонизирующего, это было бы уместно, как ты полагаешь?

Я сказал, что принесу, Вандерхузе удалился в рубку, а мы с Майкой пошли в кают-компанию, где я нацедил два стаканчика тонизирующего — один отдал Майке, а второй отнес Вандерхузе. Когда я вернулся, Майка со стаканчиком в руке бродила по кают-компании. Да, она была значительно спокойнее, чем утром, но все равно чувствовалась в ней какая-то напряженность, натянутость какая-то, и, чтобы помочь ей разрядиться, я спросил:

— Ну, что там с кораблем?

Майка сделала хороший глоток, облизала губы и, глядя куда-то мимо меня, произнесла:

— Знаешь, Стась, все это неспроста.

Я подождал продолжения, но она молчала.

— Что — неспроста? — спросил я.

— Все! — Она неопределенно повела рукой со стаканом. — Кастрированный мир. Бледная немочь. Помяни мое слово: и корабль этот здесь разбился не случайно, и нашли мы его не случайно, и вообще вся эта наша затея, весь проект — все провалится на этой планетке! — Она допила вино и поставила стакан на стол. — Элементарные правила безопасности не соблюдаются, большинство работников здесь — мальки вроде тебя, да и меня тоже... И все только потому, что планета биологически пассивна. Да разве в этом дело! Ведь любой человек с элементарным чутьем в первый же час чует здесь неладное. Была здесь жизнь когда-то, а потом вспыхнула звезда — и в один миг все кончилось... Биологически пассивная? Да! Но зато активная некротически. Вот и Панта будет такой через сколько-то там лет. Корявые деревца, чахлая травка, и все вокруг пропитано древними смертями. Запах смерти, понимаешь? Даже хуже того — запах бывшей жизни! Нет, Стась, помяни

мое слово, не приживутся здесь пантиане, не узнают они здесь никакой радости. Новый дом для целого человечества? Нет, не новый дом, а старый замок с привидениями...

Я вздрогнул. Она заметила это, но поняла неправильно.

— Ты не беспокойся, — сказала она, печально улыбаясь. — Я в полном порядке. Просто пытаюсь выразить свои ощущения и свои предчувствия. Ты меня, я вижу, понять не можешь, но сам посуди, что это за предчувствия, если мне на язык лезут все эти словечки: некротический, привидения...

Она опять прошлась по кают-компании, остановилась передо мной и продолжала:

— Конечно, с другой стороны, параметры у планеты прекрасные, редкостные. Биологическая активность почти нулевая, атмосфера, гидросфера, климат, термический баланс — все как по заказу для проекта «Ковчег». Но даю тебе голову на отсечение, никто из организаторов этой затеи здесь не был, а если и был кто-нибудь, то чутья у него, нюха на жизнь, что ли, ни на грош не оказалось... Ну понятно, это все старые волки, все в шрамах, все прошли через разнообразные ады... Чутье на материальную опасность у них

великолепное! Но вот на *это*... — Она пощелкала пальцами и даже, бедняжка, сморщилась от бессилия выразить. — А впрочем, откуда я знаю, может быть, кто-нибудь из них и почуял неладное, а как это объяснишь тем, кто здесь не был? Но ты-то меня хоть немножко понимаешь?

Она смотрела на меня в упор зелеными глазами, а я колебался и, поколебавшись, соврал:

— Не совсем. То есть, конечно, в чем-то ты права... Тишина, пустота...

— Вот видишь, — сказала она, — даже ты не понимаешь. Ну ладно, хватит об этом. — Она села на стол напротив меня и вдруг, ткнув меня пальцем в щеку, засмеялась. — Выговорилась, и как-то легче стало. С Комовым, сам понимаешь, не разговоришься, а к Вандеру лучше с этим не соваться — сгноит в медотсеке...

Напряжение, сковывавшее ее, да и меня тоже, сразу же спало, и разговор превратился в легкий треп. Я пожаловался ей на вчерашние неприятности с роботами, рассказал, как Вадик купался один в целом океане, и спросил, как продвигаются квартирьерские дела. Майка ответила, что они наметили четыре места для стойбищ, места вообще-то хорошие, и при прочих равных условиях любой пантианин с удовольствием провел бы

здесь всю свою жизнь, но, поскольку вся эта затея все равно обречена, говорить особенно не о чем. Я напомнил Майке, что она всегда отличалась природным скептицизмом и что скептицизм этот далеко не всегда оправдывался. Майка возразила, что речь сейчас идет уже не о природном скептицизме, а о скептицизме природы и что я вообще салага, малек и, по сути, должен был бы стоять перед нею, опытной Майкой, по стойке «смирно». Тогда я сказал ей, что настоящий опытный человек никогда не станет спорить с кибертехником, ибо кибертехник является на корабле той осью, вокруг которой, собственно, происходит все коловращение жизни. Майка заметила, что большинство осей вращения является, по сути, понятием воображаемым, не более чем геометрическими местами точек... Потом мы затеяли спор, есть ли разница между понятиями «ось вращения» и «ось коловращения», в общем, мы трепались, и со стороны, вероятно, это выглядело довольно мило, но не знаю, о чем там в это время думала Майка, а я лично вторым планом все время прикидывал, не заняться ли мне прямо сейчас профилактикой всех систем обеспечения безопасности. Правда, системы эти были рассчитаны на опасность биологическую, и невозможно

было сказать, годятся ли они против опасности некротической, но при всем при том береженого бог бережет, под лежачий камень вода не течет, и вообще: тише едешь — дальше будешь.

Словом, когда Майка стала позевывать и жаловаться на недосып, я отослал ее вздремнуть перед обедом, а сам прежде всего полез в библиотеку, отыскал толковый словарь и посмотрел, что такое «некротический». Толкование произвело на меня тяжелое впечатление, и я решил начать профилактику немедленно. Предварительно, правда, я забежал в рубку посмотреть, как работают мои ребятишки, и застал там Вандерхузе как раз в тот момент, когда он складывал аккуратной стопочкой свое экспертное заключение. «Сейчас отнесу это Комову, — объявил он, увидев меня, — потом дам посмотреть Майке, а потом устроим обсуждение, как ты полагаешь? Позвать тебя?» Я сказал, что позвать, и сообщил, что буду в отсеке обеспечения безопасности. Он с любопытством посмотрел на меня, но ничего не сказал и вышел.

Меня позвали часа через два. Вандерхузе по интеркому объявил, что заключение прочитали все члены комиссии, и спросил, не хочу ли прочесть и я. Я, конечно, хотел бы, но профилактика у меня

была в самом разгаре, сторож-разведчик наполовину выпотрошен, имела место запарка, так что я ответил в том смысле, что читать, пожалуй, не стану, а на обсуждение явлюсь непременно, как только покончу с делами. «У меня еще на час работы, — сказал я, — так что обедайте без меня».

В общем, когда я явился в кают-компанию, обед кончился, и обсуждение началось. Я взял себе супу, сел в сторонке и стал есть и слушать.

— Не могу я принять метеоритную гипотезу совсем без оговорок, — укоризненно говорил Вандерхузе. — «Пеликаны» прекрасно защищены от метеоритного удара, Геннадий. Он бы просто уклонился.

— Не спорю, — отвечал Комов, глядя в стол и брезгливо морщась. — Однако предположите, что метеоритная атака произошла в момент выхода корабля из подпространства...

— Да, конечно, — согласился Вандерхузе. — В этом случае — конечно. Но вероятность...

— Вы меня удивляете, Яков. У корабля абсолютно разрушен рейсовый двигатель. Огромная сквозная дыра со следами сильного термического воздействия. По-моему, каждому нормальному человеку ясно, что это может быть только метеорит.

У Вандерхузе был очень несчастный вид.

— Ну... Хорошо, — сказал он. — Ну, пусть будет по-вашему... Вы просто не понимаете, Геннадий, вы не звездолетчик... Вы просто не понимаете, насколько это маловероятно. Именно в момент выхода из подпространства огромный метеорит огромной энергии... Я просто не знаю, с чем это сравнить по невероятности!

— Хорошо. Что вы предлагаете?

Вандерхузе оглядел всех в поисках поддержки и, поддержки не обнаружив, сказал:

— Хорошо, пусть будет так. Но я все-таки буду настаивать, чтобы формулировка имела сослагательный оттенок. Скажем: «Указанные факты заставляют предположить...»

— «Сделать вывод», — поправил Комов.

— «Сделать вывод»? — Вандерхузе нахмурился. — Да нет, Геннадий, какой тут может быть вывод? Именно предположение! «...заставляют предположить, что корабль был поражен метеоритом высокой энергии в момент появления из подпространства». Вот так. Предлагаю согласиться.

Несколько секунд Комов думал, шевеля желваками на скулах, потом сказал:

— Согласен. Перехожу к следующей поправке.

— Минуточку, — сказал Вандерхузе. — А ты,

Майка?

Майка пожала плечами.

— Честно говоря, не ощущаю разницы. В общем, согласна.

— Следующая поправка, — нетерпеливо произнес Комов. — Нам не надо запрашивать мнение Базы, как поступить с останками. Вообще этому вопросу не место в экспертном заключении. Надо дать специальную радиограмму, что останки пилотов помещены в контейнеры, залиты стеклопластом и в ближайшее время будут переправлены на Базу.

— Однако... — с растерянным видом начал Вандерхузе.

— Я займусь этим завтра, — прервал его Комов. — Сам.

— Может быть, следовало бы похоронить их здесь? — негромко сказала Майка.

— Не возражаю, — сейчас же сказал Комов. — Но, как правило, в таких случаях останки пересылаются на Землю... Что? — повернулся он к Вандерхузе.

Вандерхузе, открывший было рот, помотал головой и сказал:

— Ничего.

— Короче говоря, — сказал Комов, — этот вопрос

из заключения я предлагаю выбросить. Согласны, Яков?

— Пожалуй, — сказал Вандерхузе. — А ты, Майка?

Майка колебалась, и я понял ее. Как-то все это происходило слишком по-деловому. Правда, я не знаю, как это должно происходить, но, по-моему, такие вопросы нельзя решать голосованием.

— Прекрасно, — произнес Комов как ни в чем не бывало. — Теперь относительно причин и обстоятельств смерти пилотов. Акт о вскрытии и фотоматериалы меня вполне удовлетворяют, а формулировку я предлагаю такую: «Положение трупов свидетельствует о том, что смерть пилотов наступила вследствие удара корабля о поверхность планеты. Мужчина погиб раньше женщины, успев только стереть бортжурнал. Выбраться из кресла пилота он был уже не в состоянии. Женщина, напротив, была жива еще некоторое время и пыталась покинуть корабль. Смерть застигла ее уже в кессонной камере». Ну а дальше — по вашему тексту.

— Гм... — сказал Вандерхузе с большим сомнением. — Не слишком ли все это категорично, как вы полагаете, Геннадий? Ведь если придерживаться того самого акта о вскрытии, против

которого вы не возражаете, бедняжка была просто не в состоянии доползти до кессона.

— Тем не менее она оказалась там, — холодно произнес Комов.

— Но ведь именно это обстоятельство... — проникновенно начал Вандерхузе, прижимая руки к груди.

— Слушайте, Яков, — сказал Комов. — Никто не знает, на что способен человек в критических условиях. И особенно женщина. Вспомните историю Марты Пристли. Вспомните историю Колесниченко. И вспомните вообще историю, Яков.

Наступило молчание. Вандерхузе сидел с несчастным видом и безжалостно таскал себя за бакенбарды.

— А меня как раз не удивляет, что она оказалась в кессоне, — подала голос Майка. — Я другого не понимаю. Почему он стер бортжурнал? Ведь был же удар, человек умирает...

— Ну это как раз... — неуверенно проговорил Вандерхузе. — Это может быть. Агония, шарил руками по пульту, зацепил ключ...

— Вопрос о бортжурнале, — сказал Комов, — вынесен в раздел фактов особого значения. Лично я думаю, что эта загадка никогда не будет разрешена... Если, впрочем, это загадка, а не

случайное стечение обстоятельств. Продолжаем. — Он быстро перебрал разбросанные перед ним листки. — Собственно, у меня, пожалуй, больше нет замечаний. Земная микрофлора и микрофауна, по-видимому, погибла, следов ее, во всяком случае, нет... Так... Личные бумаги. Разбирать их — дело не наше, кроме того, они в таком состоянии, что мы можем только напортить. Завтра я их законсервирую и привезу сюда... Да! Попов, тут есть кое-что по вашей части. Вам известно кибернетическое оборудование кораблей типа «Пеликан»?

— Да, конечно, — сказал я, поспешно отодвигая тарелку.

— Будьте добры, — он перебросил мне листок бумаги, — вот опись всех обнаруженных кибермеханизмов. Проверьте, все ли на месте.

Я взял опись. Все выжидательно глядели на меня.

— Да, — проговорил я, — пожалуй, все на месте. Даже инициаторные разведчики на месте, обычно их всегда некомплект... А вот этого я не понимаю. Что такое: «Ремонтный робот, переоборудованный в шьющее устройство»?

— Яков, объясните, — распорядился Комов.

Вандерхузе задрал голову и выпятил челюсть.

— Понимаешь ли, Стась, — как бы в задумчивости произнес он. — Трудно тут что-либо объяснить. Просто ремонтный кибер, превращенный в шьющее устройство. В устройство, которое шьет, понимаешь? У кого-то из них, видимо, у женщины, было несколько необычное хобби.

— Ага, — сказал я, удивившись. — Но это точно — ремонтный кибер?

— Несомненно, — уверенно сказал Вандерхузе.

— Тогда здесь полный комплект, — сказал я, возвращая Комову опись. — Просто на редкость полный. Наверное, они ни разу не высаживались на тяжелых планетах.

— Спасибо, — сказал Комов. — Когда будет готов чистовик заключения, я попрошу вас подписать раздел об утечке выжившей кибертехники.

— Но ведь утечки нет, — возразил я.

Комов не обратил на меня внимания, а Вандерхузе объяснил:

— Это просто название раздела: «Утечка выжившей кибертехники». Ты подпишешь, что утечки нет.

— Так... — проговорил Комов, собирая в пачку разбросанные листы. — Теперь я очень прошу вас, Яков, привести все это в окончательный порядок, мы подпишемся, и уже сегодня можно

будет радировать. А теперь, если ни у кого нет дополнительных соображений, я пойду.

Дополнительных соображений не было, и он ушел. Вандерхузе с тяжким вздохом поднялся, взвесил на ладони пачку листов заключения, посмотрел на нас, откинув голову, и тоже удалился.

— Вандер явно недоволен, — заметил я, накладывая на тарелку жаркое.

— Я тоже недовольна, — сказала Майка. — Как-то недостойно все это получилось. Я не умею объяснить, может быть, это я по-детски, наивно... Но должно же быть... Должна же быть минута молчания какая-то... А тут — раз-два, завертели-закрутили колесо: положение останков, утечка кибертехники, топографические параметры... Тьфу! Как будто в школе на практических занятиях...

Я был полностью с нею согласен.

— Ведь Комов никому рта не дает раскрыть! — продолжала она со злостью. — Все ему ясно, все ему очевидно, а на самом деле не так все это ясно. И с метеоритом неясно, и особенно с этим бортжурналом. И не верю я, что ему все ясно! По-моему, у него что-то на уме, и Вандер это тоже понимает, только не знает, как его зацепить... а

может быть, считает, что это несущественно...

— Может быть, это и в самом деле несущественно... — пробормотал я неуверенно.

— А я и не говорю, что существенно! — возразила Майка. — Мне просто не нравится, как Комов себя ведет. Не понимаю я его. И вообще он мне не нравится! Мне о нем все уши прожужжали, а я теперь хожу и считаю дни, сколько мне с ним работать осталось... В жизни больше никогда с ним работать не буду!

— Ну, не так уж много и осталось, — примирительно сказал я, — всего-то еще дней двадцать...

На том мы и расстались. Майка пошла приводить в порядок свои измерения и квартирьерские кроки, а я отправился в рубку, где меня ожидал маленький сюрприз: Том сообщал, что закладка фундамента закончена, и предлагал принять работу. Я накинул доху и побежал на стройплощадку.

Солнце уже зашло, сумерки сгустились. Странные здесь сумерки — темно-фиолетовые, как разведенные чернила. Луны нет, зато в изобилии северное сияние, да еще какое! Гигантские полотнища радужного света бесшумно развеваются над черным океаном, сворачиваются и разворачиваются, трепещут и вздрагивают, словно под

ветром, переливаются белым, зеленым, розовым и вдруг мгновенно гаснут, оставив в глазах смутные цветные пятна, а потом вновь возникают, и тогда исчезают звезды, исчезают сумерки, все вокруг окрашивается в неестественные, но чистейшие цвета — туман над болотом становится красно-синим, айсберг вдали мерцает, как глыба янтаря, а по пляжу стремительно несутся зеленоватые тени.

Яростно растирая мерзнущие щеки и нос, я осматривал в этом чудном свете готовые фундаменты. Том, неотступно следовавший за мной по пятам, услужливо сообщал необходимые цифры, а когда сияние гасло — не менее услужливо включал прожекторы. И было, как всегда, мертвенно-тихо, только похрустывал у меня под каблуками смерзшийся песок. Потом я услышал голоса: Майка и Вандерхузе вышли подышать свежим воздухом и полюбоваться небесным спектаклем. Майке очень нравилось северное сияние — единственное, что ей нравилось на этой планете. Я был довольно далеко от корабля, метрах в ста, и не видел их, но голоса слышал совершенно отчетливо. Впрочем, сначала я слушал их вполуха. Майка говорила что-то о поврежденных верхушках деревьев, а Вандерхузе гудел об

эрозии бортовой квазиорганики — по-видимому, они снова обсуждали причины и обстоятельства гибели «Пеликана».

Была в их беседе какая-то странность. Повторяю: я вначале не очень-то прислушивался и только потом понял, в чем дело. Они разговаривали, словно не слушая друг друга. Например, Вандерхузе говорил: «Один планетарный двигатель у них уцелел, иначе они бы просто не могли маневрировать в атмосфере...» А Майка долбила свое: «Нет, Яков, не менее десяти-пятнадцати лет. Посмотрите на эти наплывы...»

Я спустился в один из фундаментов, чтобы осмотреть дно, а когда вылез, разговор сделался более связным, но зато менее понятным. Они словно репетировали какую-то пьесу.

— А это еще что такое? — спрашивала Майка.

— Я бы сказал, что это игрушка, — отвечал Вандерхузе.

— Я бы тоже так сказала. Но зачем?

— Хобби. Ничего удивительного, весьма распространенное хобби.

В общем, это было похоже, как мы развлекались на Базе в ожидании формировки. Вадим, скажем, ни с того ни с сего орал на всю столовую: «Капитан! Принимаю решение сбросить хвосто-

вую часть и уходить в подпространство!» — на что какой-нибудь другой остряк немедленно откликался: «Ваше решение одобряю, капитан! Не забудьте головную часть, капитан!» — и так далее.

Впрочем, странный этот разговор скоро прекратился. Явственно чмокнула перепонка люка, и снова наступила тишина. Я осмотрел последний фундамент, похвалил Тома за хорошую работу и приказал ему переключить Джека на следующий этап. Сполохи погасли, и в наступившей тьме ничего не было видно, кроме бортовых огней моих киберов. Чувствуя, что кончик носа у меня вот-вот отвалится, я рысцой побежал к кораблю, нашарил перепонку и вскочил в кессон. Кессон — это прекрасно. Это одно из самых чудесных помещений корабля. Наверное, это потому, что кессон — первое помещение корабля, которое дарует тебе сладостное ощущение дома: вернулся домой, в родное, теплое, защищенное, из чужого, ледяного, угрожающего. Из тьмы в свет. Я сбросил доху и, на ходу покрякивая и растирая ладони, направился в рубку.

Вандерхузе уже сидел там, обложенный своими бумажками, и, скорбно склонив голову, переписывал начисто очередную страницу заключения.

Шифрующая машинка бойко стрекотала под его пальцами.

— А мои ребятки уже фундаменты закончили, — похвастался я.

— Угу, — отозвался Вандерхузе.

— А что у вас там за игрушки? — спросил я.

— Игрушки... — рассеянно повторил Вандерхузе. — Игрушки? — переспросил он, не переставая стрекотать машинкой. — Ах, игрушки... — Он отложил готовый листок и взял другой.

Я подождал немного и напомнил:

— Так что это за игрушки?

— Что это за игрушки... — со значительностью в голосе повторил Вандерхузе и, задрав голову, поглядел на меня. — Ты так ставишь вопрос? Это, видишь ли... А впрочем, кто его знает, что это за игрушки. Там, на «Пеликане»... Извини, Стась, я сначала закончу, как ты полагаешь?

Я на цыпочках прошел к своему пульту, последил немного за работой Джека, который принялся уже возводить стены метеостанции, а потом, так же на цыпочках, вышел из рубки и отправился к Майке.

Все мыслимое освещение в каюте Майки было включено, а сама она восседала по-турецки на койке и тоже была очень занята. На столе, на

койке, на полу расстилались простыни-склейки, карты, кроки, раздвинутые гармошки аэрофотографий, наброски и записи, и Майка по очереди все это просматривала, делала какие-то пометки, иногда хватала лупу, а иногда — бутылку с соком, стоявшую на стуле рядом. Понаблюдав за ней некоторое время, я выбрал момент, когда бутылка с соком покинула стул, и уселся на стул сам, так что когда Майка, не глядя, сунула бутылку обратно, то попала мне прямо в протянутую руку.

— Спасибо, — сказал я и отхлебнул.

Майка приподняла голову.

— А, это ты? — произнесла она с неудовольствием. — Ты чего?

— Просто так зашел, — сказал я благодушно. — Нагулялась?

— И не думала, — возразила она, отбирая у меня бутылку. — Сижу как проклятая, вчера вечером не работала, накопилось тут всякого... Какое тут гулянье!

Она вернула мне бутылку, я машинально отхлебнул, ощущая смутное беспокойство, и тут у меня словно пелена с глаз упала: Майка была одета по-домашнему, в свою любимую пушистую кофту и шорты, на голове у нее был платок, и волосы под платком были влажные.

— В душе была? — тупо спросил я.

Она что-то ответила, но я и так уже все понял. Я встал. Я аккуратно поставил бутылку на сиденье. Я пробормотал что-то, не помню — что. Я каким-то образом очутился в коридоре, потом у себя в каюте, погасил зачем-то верхний свет, включил зачем-то ночничок, лег на койку и повернулся лицом к стене. Меня опять трясло. Помню, в голове моей крутились какие-то обрывочные мысли, вроде: «Теперь-то уж все пропало, все напрасно, теперь-то уж окончательно и бесповоротно». Я поймал себя на том, что опять прислушиваюсь. И я опять что-то слышал, что-то неподобающее. Тогда я рывком поднялся, полез в ночной столик, взял таблетку снотворного и положил под язык. Потом я снова лег. По стенам топотали ящерицы, затененный потолок медленно поворачивался, ночник то совсем меркнул, то разгорался нестерпимо ярко, погибающие мухи отчаянно зудели по углам. Кажется, приходила Майка, смотрела на меня с беспокойством, чем-то укрыла и исчезла, а потом появился Вадик, уселся у меня в ногах и сказал сердито: «Что же ты валяешься? Целая комиссия тебя ждет, а ты разлегся». — «Да ты громче говори, — сказала ему Нинон, — у него же что-то с ушами, он не слышит». Я сделал каменное лицо

и сказал, что все это чепуха. Я встал, и все вместе мы вошли в разбитый «Пеликан», вся органика в нем распалась, и стоял острый нашатырный запах, как тогда в коридоре. Но это был не совсем «Пеликан», скорее уж это была стройплощадка, копошились мои ребятишки, посадочная полоса изумительно сверкала под солнцем, и я все боялся, что Том наедет на две мумии, которые лежали поперек, то есть это все думали, что мумии, а на самом деле это были Комов и Вандерхузе, только надо было, чтобы этого никто не заметил, потому что они разговаривали и слышал их только я. Но от Майки не скроешься. «Разве вы не видите, что ему плохо?» — сердито сказала она и положила мне на рот и нос сырой платок, смоченный в нашатырном спирте. Я чуть не задохнулся, замотал головой и сел на койке.

Глаза у меня были открыты, и в свете ночника я сразу увидел перед собой человека. Он стоял возле самой койки и, наклонившись, внимательно смотрел мне прямо в лицо. В слабом свете он казался темным, почти черным — бредовая скособоченная фигура без лица, зыбкая, без четких очертаний, и такой же зыбкий, нечеткий отблеск лежал у него на груди и на плече.

Уже точно зная, чем это кончится, я протянул

к нему руку, и рука моя прошла сквозь него, как сквозь воздух, а он заколыхался, начал таять и через несколько секунд исчез без следа. Я откинулся на спину и закрыл глаза. А вы знаете, что у алжирского дея под самым носом шишка? Под самым носом... Я был мокрый как мышь, и мне было невыносимо душно, я почти задыхался.

Глава четвертая. Призраки и люди

Я проснулся поздно, с тяжелой головой и с твердым намерением сразу же после завтрака уединиться где-нибудь с Вандерхузе и выложить ему все. Кажется, никогда еще в жизни я не чувствовал себя таким несчастным. Все было кончено для меня, поэтому я не стал даже делать зарядку, а просто принял усиленный ионный душ и побрел в кают-компанию. Уже на пороге я сообразил, что вчера вечером за всеми своими неприятностями я начисто забыл отдать повару распоряжение насчет завтрака, и это меня окончательно доконало. Пробормотав какое-то невнятное приветствие и чувствуя, что от горя и стыда я красен как вареный рак, я уселся на свое место и уныло оглядел стол, стараясь ни с кем не встречаться глазами. Трапеза была, прямо скажем, монастырская, послушническая была трапеза. Все питались черным хлебом и молоком. Вандерхузе посыпал свой ломоть солью. Майка помазала свой ломоть маслом. Комов жевал хлеб всухомятку, не прикасаясь даже к молоку.

У меня аппетита не было никакого — подумать было страшно жевать что-нибудь. Я взял себе

стакан молока, отхлебнул. Боковым зрением я видел, что Майка смотрит на меня и что ей очень хочется спросить, что со мной и вообще. Однако она ничего не спросила, а Вандерхузе принялся многословно рассуждать, какая это с медицинской точки зрения полезная вещь — разгрузочный день, и как хорошо, что у нас сегодня именно такой завтрак, а не какой-нибудь другой. Он подробно объяснил нам, что такое пост и что такое великий пост, и не без уважения отозвался о ранних христианах, которые дело свое знали туго. Заодно он рассказал нам, что такое масленица, но скоро, впрочем, почувствовал, что слишком увлекается описанием блинов с икрой, с балыком, с семгой и другими вкусными вещами, оборвал себя и принялся в некотором затруднении расправлять бакенбарды. Разговор не завязывался. Я беспокоился за себя, Майка беспокоилась за меня. А что касается Комова, то он опять, как и вчера, был явно не в своей тарелке. Глаза у него были красные, он большей частью смотрел в стол, но время от времени вскидывал голову и озирался, как будто его окликали. Хлеба он накрошил вокруг себя ужасно и продолжал крошить, так что мне захотелось дать ему по рукам, как маленькому. Так мы и сидели унылой

компанией, а бедный Вандерхузе из сил выбивался, стараясь нас рассеять.

Он как раз мыкался с какой-то длиннющей заунывной историей, которую придумывал на ходу и никак не мог придумать до конца, как вдруг Комов издал странный сдавленный звук, словно сухой кусок хлеба встал ему наконец поперек горла. Я взглянул на него через стол и испугался. Комов сидел прямой, вцепившись обеими руками в край столешницы, красные глаза его вылезли из орбит, он смотрел куда-то мимо меня и стремительно бледнел. Я обернулся. Я обмер. У стены, между фильмотекой и шахматным столиком, стоял мой давешний призрак.

Теперь я видел его совершенно отчетливо. Это был человек, во всяком случае — гуманоид, маленький, тощий, совершенно голый. Кожа у него была темная, почти черная, и блестела, словно покрытая маслом. Лица его я не разглядел или не запомнил, но мне сразу бросилось в глаза, как и в ночном моем кошмаре, что человечек этот был весь какой-то скособоченный и словно бы размытый. И еще — глаза: большие, темные, совершенно неподвижные, слепые, как у статуи.

— Да вот же он! Вот он! — гаркнул Комов.

Он указывал пальцем совсем в другую сторону,

и там у меня на глазах прямо из воздуха возникла новая фигура. Это был все тот же застывший лоснящийся призрак, но теперь он застыл в стремительном рывке, на бегу, как фотография спринтера на старте. И в ту же секунду Майка бросилась ему в ноги. С грохотом полетело в сторону кресло, Майка с воинственным воплем проскочила сквозь призрак и врезалась в экран видеофона, я еще успел заметить, как призрак заколебался и начал таять, а Комов уже кричал:

— Дверь! Дверь!

И я увидел: кто-то маленький, белый и матовый, как стена кают-компании, согнувшись в неслышном беге, скользнул в дверь и исчез в коридоре. И тогда я рванулся за ним.

Теперь об этом стыдно вспоминать, но тогда мне было совершенно безразлично, что это за существо, откуда оно, почему оно здесь и зачем, — я испытывал только безмерное облегчение, уже понимая, что с этой минуты бесповоротно кончились все мои кошмары и страхи, и еще я испытывал страстное желание догнать, схватить, скрутить и притащить.

В дверях я столкнулся с Комовым, сбил его с ног, споткнулся о него, пробежал по коридору на четвереньках, коридор был уже пуст, только резко

и знакомо пахло нашатырным спиртом, позади что-то кричал Комов, стучали дробно каблуки, я вскочил, промчался через кессон, нырнул в люк, еще не успевший зарасти перепонкой, и вылетел наружу, в лиловатое сияние солнца.

Я сразу увидел его. Он бежал к стройплощадке, бежал легко, едва касаясь босыми ногами мерзлого песка, он был все такой же скособоченный и как-то странно двигал на бегу разведенными локтями, но теперь он был не темный и не матово-белый, а светло-лиловый, и солнце отсвечивало на его тощих плечах и боках. Он бежал прямо на моих киберов, и я замедлил бег, ожидая, что сейчас он испугается и свернет вправо или влево, но он не испугался, он проскочил в десяти шагах от Тома, и я глазам своим не поверил, когда этот величественный дурак вежливо просигналил ему обычное «жду приказаний».

— К болоту! — кричал позади задыхающийся голос Майки. — Отжимай его к болоту!

Маленький абориген и без этого бежал по направлению к болоту. Бегать, надо сказать, он умел, и расстояние между нами сокращалось очень медленно. Ветер свистел у меня в ушах, издалека что-то кричал Комов, но его решительно заглушала Майка.

— Левее, левее бери! — азартно вопила она.

Я взял левее, выскочил на посадочную полосу, на уже готовый участок, ровный, с удобнейшей рубчатой поверхностью, и здесь дело у меня пошло лучше — я стал нагонять. «Не уйдешь, — твердил я про себя, — нет, брат, теперь не уйдешь. Ты мне за все ответишь...» Я глядел не отрываясь на его быстро работающие лопатки, на мелькающие голые ноги, на клочья пара, взлетающие из-за его плеча. Я нагонял и испытывал ликование. Полоса кончалась, но до серой пелены над болотом оставалось всего шагов сто, и я нагонял.

Добежав до края трясины, до унылых зарослей карликового тростника, он остановился. Несколько секунд он стоял как бы в нерешительности, потом посмотрел на меня через плечо, и я снова увидел его большие темные глаза, никакие не застывшие, а, напротив, очень живые и вроде бы смеющиеся, и вдруг он присел на корточки, обхватил руками колени и покатился. Я даже не сразу понял, что произошло. Только что стоял человек, странный человек, наверное, и не человек вовсе, но по обличью все-таки человек, и вдруг человека не стало, а по трясине, через непроходимую бездонную топь, катится, разбрызгивая грязь и мутную воду, какой-то нелепый серый

колобок. Да еще как катится! Я не успел добежать до берега, а он уже исчез за клочьями тумана, и только слышались оттуда, из-за сероватой пелены, затихающие шорохи, плески и тоненький пронзительный свист.

С топотом набежала Майка и остановилась рядом, тяжело дыша.

— Ушел, — констатировала она с досадой.

— Ушел, — сказал я.

Несколько секунд мы стояли, вглядываясь в мутные клубы тумана. Потом Майка вытерла со лба пот и проговорила:

— Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...

— А от тебя, квартирьер, и подавно уйду, — добавил я и огляделся.

Так. Дураки, значит, бегали, а умные, сами понимаете, стояли и смотрели. Мы с Майкой были вдвоем. Маленькие фигурки Комова и Вандерхузе темнели рядом с кораблем.

— А ничего себе пробежка получилась, — проговорила Майка, тоже глядя в сторону корабля. — Километра три, не меньше, как вы полагаете, капитан?

— Согласен с вами, капитан, — отозвался я.

— Слушай, — задумчиво сказала Майка. — А может быть, это все нам почудилось?

Я сгреб ее за плечи. Чувство свободы, здоровья, восторга, ощущение огромных сияющих перспектив с новой силой взорвалось во мне.

— Что ты в этом понимаешь, салажка! — гаркнул я, чуть не плача от счастья и тряся ее изо всех сил. — Что ты понимаешь в галлюцинациях! И не надо тебе ничего понимать! Живи счастливо и ни о чем таком не задумывайся!

Майка растерянно хлопала на меня глазами, пыталась вырваться, а я тряхнул ее напоследок хорошенько, обхватил за плечи и потащил к кораблю.

— Подожди, — слабо отбивалась ошеломленная Майка. — Что ты, в самом деле... Да отпусти ты меня, что за телячьи нежности?

— Идем, идем, — приговаривал я. — Идем! Сейчас нам любимец доктора Мбоги вломит — чует мое сердце, что зря мы эту беготню устроили, не надо было нам ее устраивать...

Майка рывком освободилась, постояла секунду, потом присела на корточки, нагнула голову и, обхватив колени руками, качнулась вперед.

— Нет, — сказала она, снова выпрямляясь. — Этого я не понимаю.

— И не надо, — сказал я. — Комов нам все объяснит. Сначала выволочку даст, ведь мы ему

контакт сорвали, а потом все-таки объяснит...

— Слушай, холодно! — сказала Майка, подпрыгнув на месте. — Бежим?

И мы побежали. Первые мои восторги утихли, и я стал соображать, что же все-таки произошло. Получалось, что планета-то на самом деле обитаемая! Да еще как обитаемая — крупные человекообразные существа, может быть, даже разумные, может быть, даже цивилизованные...

— Стась, — сказала Майка на бегу, — а может быть, это пантианин?

— Откуда? — удивился я.

— Ну... Мало ли откуда... Мы же не знаем всех деталей проекта. Может, переброска уже началась.

— Да нет, — сказал я. — Не похож он на пантианина. Пантиане рослые, краснокожие... Потом они одеты, елки-палки, а этот совсем голый!

Мы остановились перед люком, и я пропустил Майку вперед.

— Бр-р-р! — произнесла она, растирая плечи. — Ну что, пойдем фитиль получать?

— Полуметровый, — сказал я.

— Хорошо смазанный, — сказала Майка.

— Семьдесят пять миллиметров в диаметре, — сказал я.

Мы крадучись проникли в рубку, но остаться

незамеченными нам не удалось. Нас ждали. Комов расхаживал по рубке, заложив руки за спину, а Вандерхузе, глядя в пространство и выпятив челюсть, наматывал свои бакенбарды: правый на палец правой руки, а левый — на палец левой. Увидев нас, Комов остановился, но Майка не дала ему заговорить.

— Ушел, — деловито доложила она. — Ушел прямо через трясину, причем совершенно необычным способом...

— Помолчите, — прервал ее Комов.

«Сейчас начнется», — подумал я, заранее настраиваясь на отбрыкивание и отругивание. И не угадал. Комов приказал нам сесть, уселся сам и обратился прямо ко мне:

— Я вас слушаю, Попов. Рассказывайте все. До мельчайших подробностей.

Интересно, что я даже не удивился. Такая постановка вопроса показалась мне совершенно естественной. И я рассказал все — о шорохах, о запахах, о детском плаче, о криках женщины, о странном диалоге вчера вечером и о черном призраке сегодня ночью. Майка слушала меня, приоткрыв рот, Вандерхузе хмурился и укоризненно качал головой, а Комов не отрываясь глядел мне в лицо — прищуренные глаза его

вновь были пристальны и холодны, лицо затвердело, он покусывал нижнюю губу и время от времени напряженно сплетал пальцы, похрустывая суставами. Когда я закончил, воцарилось молчание. Потом Комов спросил:

— Вы уверены, что это плакал ребенок?

— Д-да... Во всяком случае, очень похоже...

Вандерхузе шумно перевел дух и похлопал ладонью по подлокотнику кресла.

— И ты все это вытерпел! — проговорила Майка с испугом. — Бедный Стасик!

— Должен тебе сказать, Стась... — внушительно начал Вандерхузе, но Комов перебил его.

— А камни? — спросил он.

— Что — камни? — не понял я.

— Откуда взялись камни?

— Это на стройплощадке? Киберы натаскали, наверное. При чем это здесь?

— Откуда киберы могли взять камни?

— Н-ну... — начал я и замолчал. Действительно, откуда?

— Кругом песчаный пляж, — продолжал Комов. — Ни одного камешка. Киберы с площадки не отлучались. Откуда же на полосе булыжники и откуда на полосе сучья? — Он оглядел нас и усмехнулся. — Все это риторические вопросы,

разумеется. Могу добавить, что у нас за кормой, прямо под маяком, целая россыпь булыжников. Очень любопытная россыпь. Могу также добавить... Простите, вы кончили, Стась? Спасибо. А теперь послушайте, что было со мной.

Комову, оказывается, тоже пришлось нелегко. Правда, испытания его были несколько иного рода. Испытания интеллекта. На второй день после прибытия, запуская в озеро пантианских рыб, он заметил в двадцати шагах от себя необычное ярко-красное пятно, которое расплылось и исчезло, прежде чем он решился приблизиться. На следующий день он обнаружил на самой макушке высоты 12 дохлую рыбу, явно одну из запущенных накануне. Под утро четвертого дня он проснулся с явственным ощущением, что в каюте находится кто-то посторонний. Постороннего не оказалось, но Комову послышался щелчок лопнувшей перепонки люка. Выйдя из корабля, он обнаружил, во-первых, россыпь камней у кормы, а во-вторых, камни и охапки сучьев на стройплощадке. После разговора со мной он окончательно утвердился в мысли, что в окрестностях корабля происходит неладное. Он уже был почти уверен, что поисковые группы проглядели какой-то чрезвычайно важный фактор, действующий на планете, и

только глубокая убежденность в том, что разумную жизнь проглядеть было бы невозможно, удерживала его от самых решительных шагов. Он только принял все меры, чтобы район действия нашей группы не стал объектом нашествия «любопытствующих бездельников». Именно поэтому он изо всех сил старался сформулировать экспертное заключение таким образом, чтобы оно не вызывало ни малейших сомнений. Между тем мое возбужденно-подавленное состояние прекрасно подтверждало его предварительный вывод о том, что неизвестные существа способны проникать в корабль. Он стал ждать этого проникновения и дождался его сегодня утром.

— Резюмирую, — объявил он, словно читая лекцию. — По крайней мере этот район планеты, вопреки данным предварительных исследований, обитаем крупными позвоночными, причем есть все основания предполагать, что существа эти разумны. По-видимому, это троглодиты, приспособившиеся к жизни в подземных пустотах. Судя по тому, чему мы были свидетелями, средний абориген анатомически напоминает человека, обладает ярко выраженной способностью к мимикрии, а также и, вероятно, в связи с этим — способностью к воспроизводству защитно-от-

влекающих фантомов. Должен сказать, что для крупных позвоночных такая способность была до сих пор отмечена только у некоторых грызунов на Пандоре, на Земле же этой способностью обладают некоторые виды головоногих моллюсков. А теперь я хотел бы особенно подчеркнуть, что, несмотря на эти нечеловеческие и вообще негуманоидные способности, здешний абориген не только в анатомическом, но и в физиологическом и, в частности, в нейрологическом отношении необычайно, небывало близок к земному человеку. Я кончил.

— Как — кончили? — вскричал я, испугавшись. — А мои голоса? Значит, галлюцинации были?

Комов усмехнулся.

— Успокойтесь, Стась, — сказал он. — С вами все в порядке. Ваши «голоса» легко объясняются, если предположить, что устройство их голосового аппарата идентично нашему. Сходство голосового аппарата плюс развитая способность к имитации, плюс гипертрофированная фонетическая память...

— Стойте, — сказала Майка. — Я понимаю, они могли подслушать наши разговоры, но как же женский голос?

Комов кивнул.

— Да, приходится предположить, что они присутствовали при агонии.

Майка присвистнула.

— Слишком замысловато, — пробормотала она с сомнением.

— Предложите другое объяснение, — холодно возразил Комов. — Впрочем, вероятно, мы скоро узнаем имена погибших. Если пилота звали Александром...

— Ну хорошо, — сказал я. — А ребенок плакал?..

— А вы уверены, что это плакал ребенок?

— А с чем это можно спутать?

Комов уставился на меня, плотно прижал пальцем верхнюю губу и вдруг приглушенно залаял. Именно залаял — другого слова я не подберу.

— Что это было? — спросил он. — Собака?

— Похоже, — сказал я с уважением.

— Так вот, это я произнес фразу на одном из наречий Леониды.

Я был сражен. Майка тоже. Некоторое время все молчали. Все было несомненно так, как он говорил. Все объяснялось, все получалось очень изящно, но... Было, конечно, очень приятно сознавать, что все страхи остались позади и что именно нашей группе повезло открыть еще од-

ну гуманоидную расу. Однако вместе с тем это означало самую решительную перемену в наших судьбах. Да и не только в наших. Во-первых, невооруженным глазом было видно, что проекту «Ковчег» конец. Планета занята, придется искать для пантиан другую. Во-вторых, если окончательно выяснится, что аборигены разумны, нас, наверное, сейчас же попрут отсюда, а вместо нас прибудет сюда Комиссия по контактам. Все эти соображения были очевидны не только мне, конечно, но и остальным. Вандерхузе расстроенно рванул себя за бакенбарды и сказал:

— Почему же именно разумные? По-моему, пока совершенно ниоткуда не следует, что они непременно разумные, как вы полагаете, Геннадий?

— Я не утверждаю, что они непременно разумные, — возразил Комов. — Я сказал только: есть все основания предполагать, что это так.

— Ну какие же это такие все основания? — продолжал расстраиваться Вандерхузе. Очень ему не хотелось покидать насиженное место. Известна была за ним такая слабость — любовь к насиженным местам. — Что это за все основания? Внешний облик разве что...

— Дело не только в анатомии, — сказал Комов.

— Камни под маяком расположены в явном порядке, это какие-то знаки. Камни и ветки на посадочной полосе... Я не хочу ничего утверждать категорически, но все это очень похоже на попытку войти в контакт, осуществляемую гуманоидами с первобытной культурой. Тайная разведка и одновременно не то дары, не то предупреждение...

— Да, похоже на то, — пробормотал Вандерхузе и впал в прострацию.

Снова последовало молчание, затем Майка тихонько спросила:

— А откуда следует, что они так уж особенно близки нам по своей физиологической и нервной организации?

Комов удовлетворенно покивал.

— Здесь мы тоже располагаем только косвенными соображениями, — сказал он. — Но это достаточно веские соображения. Во-первых, аборигены способны проникать в корабль. Корабль их впускает. Для сравнения напомню, что ни тагорцу, ни даже пантианину, при всем их огромном сходстве с человеком, люковую перепонку не преодолеть. Люк просто не раскроется перед ним...

Тут я хлопнул себя по лбу.

— Елки-палки! Значит, все мои киберы были в полном порядке! Просто аборигены, наверное, бегали перед Томом, и он останавливался, потому что боялся наехать на человека... А потом они, наверное, считали Тома за живое существо, размахивали руками и случайно подали ему сигнал: «Опасность! Немедленно в корабль!» Это же очень простой сигнал... — Я показал. — Ну, мои ребятишки и полезли в трюм наперегонки... Конечно, так оно все и было... Да я и сейчас своими глазами видел: Том реагировал на аборигена как на человека.

— То есть? — быстро спросил Комов.

— То есть когда абориген появился в поле его визиров, Том просигналил: «Жду приказаний».

— Это очень ценное наблюдение, — произнес Комов.

Вандерхузе тяжело вздохнул.

— Да, — сказала Майка. — Конец «Ковчегу». Жалко.

— Что же теперь будет? — спросил я, ни к кому в особенности не обращаясь.

Мне не ответили. Комов поднял листки со своими записями, под ними обнаружилась коробочка диктофона.

— Прошу прощения, — объявил он, очарова-

тельно улыбаясь. — Чтобы не терять времени зря, я нашу дискуссию записал. Благодарю за точно поставленные вопросы. Стась, я попрошу вас, закодируйте все это и отправьте в экстренном импульсе прямо в Центр, копию на Базу.

— Бедный Сидоров, — негромко сказал Вандерхузе. Комов коротко глянул на него и снова опустил глаза на бумаги.

Майка отодвинула кресло.

— Во всяком случае, с моим квартирьерством здесь покончено, — проговорила она. — Пойду собираться.

— Одну минуту, — остановил ее Комов. — Здесь спросили, что же теперь будет. Отвечаю. Как полномочный член Комиссии по контактам я беру командование на себя. Объявляю весь наш район зоной предполагаемого контакта. Яков, прошу вас, составьте соответствующую радиограмму. Все работы по проекту «Ковчег» прекращаются. Роботы демобилизуются и переводятся в трюм. Выход из корабля только с моего личного разрешения. Сегодняшняя охота с борзыми, вероятно, уже создала для контакта определенные трудности. Новые недоразумения были бы крайне нежелательны. Итак, Майя, прошу вас загнать глайдер в ангар. Стась, прошу заняться вашей ки-

берсистемой... — Он поднял палец. — Но сначала отправьте запись дискуссии... — Он улыбнулся и хотел сказать еще что-то, но в это время затрещал дешифратор рации.

Вандерхузе протянул длинную руку, извлек из приемного кармана карточку радиограммы и пробежал ее глазами. Брови его задрались.

— Гм, — сказал он. — На лету схватывают. Вы, случайно, не индуктор, Геннадий?

Он передал карточку Комову. Комов тоже пробежал ее глазами, и брови его тоже задрались.

— Вот этого я уже не понимаю, — пробормотал он, бросил карточку на стол и прошелся по рубке, заложив руки за спину.

Я взял карточку. Майка возбужденно сопела у меня над ухом. Радиограмма действительно была неожиданная.

ЭКСТРЕННАЯ, НУЛЬ-СВЯЗЬ. ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ, ГОРБОВСКИЙ — НАЧАЛЬНИКУ БАЗЫ «КОВЧЕГ» СИДОРОВУ. НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ВСЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ. ПОДГОТОВИТЬ ВОЗМОЖНУЮ ЭВАКУАЦИЮ ЛИЧНОГО СОСТАВА
И ОБОРУДОВАНИЯ. ДОПОЛНЕНИЕ —

ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМКОНА КОМОВУ. ОБЪЯВЛЯЮ РАЙОН ЭР-2
ЗОНОЙ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО КОНТАКТА. ОТВЕТСТВЕННЫМ НАЗНАЧАЕТЕСЬ ВЫ.
ГОРБОВСКИЙ.

— Вот это да! — сказала Майка с восхищением. — Ай да Горбовский!

Комов остановился и исподлобья оглядел нас.

— Прошу всех приступить к выполнению моих распоряжений. Яков, найдите мне, пожалуйста, копию нашего экспертного заключения.

Они с Вандерхузе погрузились в изучение копии, Майка вышла загонять глайдер, а я устроился возле рации и принялся кодировать нашу дискуссию. Однако не прошло и двух минут, как дешифратор заверещал снова. Комов отпихнул Вандерхузе и кинулся к рации. Перегнувшись через мое плечо, он жадно читал строчки, появляющиеся на карточке.

ЭКСТРЕННАЯ, НУЛЬ-СВЯЗЬ. ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ, БАДЕР — КАПИТАНУ ЭР-2 ВАНДЕРХУЗЕ. СРОЧНО ПОДТВЕРДИТЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ОСТАНКОВ ДВУХ, ПОВТОРЯЮ, ДВУХ ТЕЛ НА БОРТУ

КОРАБЛЯ И СОСТОЯНИЕ БОРТОВОГО ЖУРНАЛА, ОПИСАННОЕ В ВАШЕМ ЭКСПЕРТНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ.

БАДЕР.

Комов перебросил карточку Вандерхузе и покусал ноготь большого пальца.

— Вот, значит, в чем дело, — проговорил он. — Так-так... — Он повернулся ко мне. — Стась, что вы сейчас делаете?

— Кодирую, — ответил я угрюмо. Я ничего не понимал.

— Дайте-ка мне диктофон, — сказал он. — Пока воздержимся. — Он спрятал диктофон в нагрудный карман и аккуратно застегнул клапан. — Значит, так. Яков. Подтвердите то, о чем они вас просят. Стась. Передайте подтверждение. А потом, Яков, я вас попрошу... Вы разбираетесь в этом лучше меня. Окажите мне любезность, поройтесь в нашей фильмотеке и просмотрите всю официальную документацию относительно бортовых журналов.

— Я и так знаю все относительно бортовых журналов, — возразил Вандерхузе недовольно. — Вы мне лучше просто скажите, что вас интересует.

— Я и сам толком не знаю, что меня интересует.

Меня интересует, случайно или намеренно был стерт бортжурнал. Если намеренно, то почему. Вы же видите, Бадера это тоже интересует... Не ленитесь, Яков. Существуют же все-таки какие-то правила, предусматривающие уничтожение бортжурнала.

— Не существует таких правил, — проворчал себе под нос Вандерхузе и тем не менее отправился оказывать любезность.

Комов сел писать подтверждение, а я мучительно соображал, что же такое происходит, почему такая паника и как в Центре могли усомниться в совершенно четких формулировках заключения. Не могли же они там подумать, что мы спутали останки землянина с останками какого-нибудь аборигена и добавили лишний труп... И как все-таки, елки-палки, Горбовский умудрился догадаться о том, что у нас здесь происходит? Никакого толку от моих рассуждений не было, и я с тоской смотрел на рабочие экраны, где все было так ясно и понятно, и я с горечью подумал, что туповатый человек самым печальным образом напоминает кибера. Вот я сейчас сижу, тупо выполняю приказания: сказали кодировать — кодировал, сказали прекратить — прекратил, а что происходит, зачем все это, чем все это кончится

— ничего не понимаю. Совершенно как мой Том: работает сейчас, бедняга, в поте лица, старается получше выполнить мои распоряжения и ведь знать не знает, что через десять минут я приду, загоню его со всей компанией в трюм, и работа его окажется вся ни к чему, и сам он станет никому не нужным...

Комов передал мне подтверждение, я закодировал текст, отослал его и хотел было уже пересесть за свой пульт, как вдруг раздался вызов с Базы.

— ЭР-два? — осведомился глуховатый спокойный голос. — Сидоров говорит.

— ЭР-два слушает! — откликнулся я немедленно. — Говорит кибертехник Попов. Кого вам, Михаил Альбертович?

— Комова, пожалуйста.

Комов уже сидел в соседнем кресле.

— Я тебя слушаю, Атос, — сказал он.

— Что у вас там произошло? — спросил Сидоров.

— Аборигены, — ответил Комов, помедлив.

— Поподробнее, если можно, — сказал Сидоров.

— Прежде всего, имей в виду, Атос, — сказал Комов, — я не знаю и не понимаю, откуда Горбовский узнал об аборигенах. Мы сами начали

понимать, что к чему, всего два часа назад. Я подготовил для тебя информацию, начал уже ее кодировать, но тут все так запуталось, что я вынужден просить тебя потерпеть еще некоторое время. Меня тут старик Бадер на такую идею навел... Одним словом, потерпи, пожалуйста.

— Понятно, — сказал Сидоров. — Но сам факт существования аборигенов достоверен?

— Абсолютно, — сказал Комов.

Было слышно, как Сидоров вздохнул.

— Ну что ж, — сказал он. — Ничего не поделаешь. Начнем все сначала.

— Мне очень жаль, что все так получилось, — произнес Комов. — Честное слово, жаль.

— Ничего, — сказал Сидоров. — Переживем и это. — Он помолчал. — Как ты намерен действовать дальше? Будешь ждать Комиссию?

— Нет. Я начну сегодня же. И я очень прошу тебя: оставь ЭР-два с экипажем в моем распоряжении.

— Разумеется, — сказал Сидоров. — Ну, не буду тебе мешать. Если что-нибудь понадобится...

— Спасибо, Атос. И не огорчайся, все еще наладится.

— Будем надеяться.

Они распрощались. Комов покусал ноготь

большого пальца, с каким-то непонятным раздражением посмотрел на меня и снова принялся ходить по рубке. Я догадывался, в чем тут дело. Комов и Сидоров были старые друзья, вместе учились, вместе где-то работали, но Комову всегда и во всем везло, а Сидорова за глаза называли Атос-неудачник. Не знаю, почему это так сложилось. Во всяком случае, Комов должен был сейчас испытывать большую неловкость. А тут еще радиограмма Горбовского. Получалось так, будто Комов информировал Центр, минуя Сидорова...

Я тихонько перебрался к своему пульту и остановил киберов. Комов уже сидел за столом, грыз ноготь и таращился на разбросанные листки. Я попросил разрешения выйти наружу.

— Зачем? — вскинулся было он, но тут же спохватился. — А, киберсистема... Пожалуйста, пожалуйста. Но как только закончите, немедленно возвращайтесь.

Я загнал ребятишек в трюм, демобилизовал их, закрепил на случай внезапного старта и постоял немного около люка, глядя на опустевшую стройплощадку, на белые стены несостоявшейся метеостанции, на айсберг, все такой же идеальный и равнодушный... Планета казалась мне теперь какой-то другой. Что-то в ней измени-

лось. Появился какой-то смысл в этом тумане, в карликовых зарослях, в скалистых отрогах, покрытых лиловатыми пятнами снега. Тишина осталась, конечно, но пустоты уже не было, и это было хорошо.

Я вернулся в корабль, заглянул в кают-компанию, где сердитый Вандерхузе копался в фильмотеке, чувства меня распирали, и я отправился утешаться к Майке. Майка расстелила по всей каюте огромную склейку и лежала на ней с лупой в глазу. Она даже не обернулась.

— Ничего не понимаю, — сказала она сердито. — Негде им здесь жить. Все мало-мальски годные для обитания точки мы обследовали. Не в болоте же они барахтаются, в самом деле!..

— А почему бы не в болоте? — спросил я, усаживаясь.

Майка села по-турецки и воззрилась на меня через лупу.

— Гуманоид не может жить в болоте, — объявила она веско.

— Почему же, — возразил я. — У нас на Земле были племена, которые жили даже на озерах, в свайных постройках...

— Если бы на этих болотах была хоть одна постройка... — сказала Майка.

— А может быть, они живут как раз под водой, наподобие водяных пауков, в таких воздушных колоколах?

Майка подумала.

— Нет, — сказала она с сожалением. — Он бы грязный был, грязи бы в корабль натащил...

— А если у них водоотталкивающий слой на коже? Водогрязеотталкивающий... Видела, как он лоснится? И удрал он от нас — куда? И такой способ передвижения — для чего?

Дискуссия завязалась. Под давлением многочисленных гипотез, которые я выдвигал, Майка принуждена была согласиться, что теоретически аборигенам ничто не препятствует жить в воздушных колоколах, хотя лично она, Майка, все-таки склонна полагать, что прав Комов, который считает аборигенов пещерными людьми. «Видел бы ты, какие там ущелья, — сказала она. — Вот бы куда сейчас слазить...» Она стала показывать по карте. Места даже на карте выглядели неприветливо: сначала полоса сопок, поросших карликовыми деревцами, за ней изборожденные бездонными разломами скалистые предгорья, наконец сам хребет, дикий и жестокий, покрытый вечными снегами, а за хребтом — бескрайняя каменистая равнина, унылая,

совершенно безжизненная, изрезанная вдоль и поперек глубокими каньонами. Это был насквозь промерзший, стылый мир, мир ощетинившихся минералов, и при одной мысли о том, чтобы здесь жить, ступать босыми ногами по этому каменному крошеву, кожа на спине у меня начинала ежиться.

«Ничего страшного, — утешала меня Майка, — я могу показать тебе инфрасъемки этой местности, под этим плато есть обширные участки подземного тепла, так что если они живут в пещерах, то от холода они во всяком случае не страдают». Я сейчас же вцепился в нее: а что же они едят? «Если есть пещерные люди, — сказала Майка, — могут быть и пещерные животные. А потом — мхи, грибы, и еще можно представить себе растения, которые осуществляют фотосинтез в инфракрасном свете». Я представил себе эту жизнь, жалкую пародию на то, что считаем жизнью мы, упорную, но вялую борьбу за существование, чудовищное однообразие впечатлений, и мне стало ужасно жалко аборигенов. И я объявил, что забота об этой расе — задача тоже достаточно благородная и благодарная. Майка возразила, что это совсем другое дело, что пантиане обречены, и если бы нас не было, они бы просто исчезли, прекратили

бы свою историю; а что касается здешнего народа, то это еще бабушка надвое сказала, нужны ли мы им. Может быть, они и без нас процветают.

Это у нас старый спор. По моему мнению, человечество знает достаточно, чтобы судить, какое развитие исторически перспективно, а какое — нет. Майка же в этом сомневается. Она утверждает, что мы знаем ничтожно мало. Мы вошли в соприкосновение с двенадцатью разумными расами, причем три из них — негуманоидные. В каких отношениях мы находимся с этими негуманоидами, сам Горбовский, наверное, не может сказать: вступили мы с ними в контакт или не вступили, а если вступили, то по обоюдному ли согласию или навязали им себя, а может быть, они вообще воспринимают нас не как братьев по разуму, а как редкостное явление природы, вроде необычных метеоритов. Вот с гуманоидами все ясно: из девяти гуманоидных рас только три согласились иметь с нами что-либо общее, да и то леонидяне, например, охотно делятся с нами своей информацией, а нашу, земную, очень вежливо, но решительно отвергают. Казалось бы, совершенно очевидная вещь: квазиорганические механизмы гораздо рациональнее и экономичнее приручeнных животных, но леонидяне от

механизмов отказываются. Почему? Некоторое время мы спорили — почему, запутались, незаметно поменялись точками зрения (это у нас с Майкой бывает сплошь и рядом), и Майка наконец заявила, что все это вздор.

— Не в этом дело. Понимаешь ли ты, в чем состоит главная задача всякого контакта? — спросила она. — Понимаешь ли ты, почему человечество вот уже двести лет стремится к контактам, радуется, когда контакты удаются, горюет, когда ничего не получается?

Я, конечно, понимал.

— Изучение разума, — сказал я. — Исследование высшего продукта развития природы.

— Это, в общем, верно, — сказала Майка, — но это только слова, потому что на самом-то деле нас интересует не проблема разума вообще, а проблема нашего, человеческого разума, иначе говоря, нас прежде всего интересуем мы сами. Мы уже пятьдесят тысяч лет пытаемся понять, что мы такое, но, глядя изнутри, эту задачу не решить, как невозможно поднять себя самого за волосы. Надо посмотреть на себя извне, чужими глазами, совсем чужими...

— А зачем это, собственно, нужно? — агрессивно осведомился я.

— А затем, — веско сказала Майка, — что человечество становится галактическим. Вот как ты представляешь себе человечество через сто лет?

— Как представляю? — Я пожал плечами. — Да так же, как ты... Конец биологической революции, преодоление галактического барьера, выход в нуль-мир... ну, широкое распространение контактного видения, реализация П-абстракций...

— Я тебя не спрашиваю, как ты себе представляешь достижения человечества через сто лет. Я тебя спрашиваю, как ты представляешь себе само человечество через сто лет?

Я озадаченно поморгал. Я не улавливал разницы. Майка смотрела на меня победительно.

— Про идеи Комова слыхал? — спросила она. — Вертикальный прогресс и все такое прочее...

— Вертикальный прогресс? — Что-то такое я вспоминал. — Подожди... Это, кажется, Боровик, Микава... Да?

Она полезла в стол и принялась там копаться.

— Вот ты тогда плясал в баре со своей Танечкой, а Комов собирал в библиотеке ребят... На! — Она протянула мне кристаллофон. — Послушай.

Я неохотно нацепил кристаллофон и стал слушать. Это было что-то вроде лекции, читал Комов, и запись начиналась с полуслова. Комов говорил

неторопливо, просто, очень доступно, применяясь, по-видимому, к уровню аудитории. Он приводил много примеров, острил. Получалось у него примерно следующее.

Земной человек выполнил все поставленные им перед собой задачи и становится человеком галактическим. Сто тысяч лет человечество пробиралось по узкой пещере, через завалы, через заросли, гибло под обвалами, попадало в тупики, но впереди всегда была синева, свет, цель, и вот мы вышли из ущелья под синее небо и разлились по равнине. Да, равнина велика, есть куда разливаться. Но теперь мы видим, что это — равнина, а над нею — небо. Новое измерение. Да, на равнине хорошо, и можно вволю заниматься реализацией П-абстракций. И казалось бы, никакая сила не гонит нас вверх, в новое измерение... Но галактический человек не есть просто земной человек, живущий в галактических просторах по законам Земли. Это нечто большее. С иными законами существования, с иными целями существования. А ведь мы не знаем ни этих законов, ни этих целей. Так что, по сути, речь идет о формулировке идеала галактического человека. Идеал земного человека строился в течение тысячелетий на опыте предков, на опыте самых различных

форм живого нашей планеты. Идеал человека галактического, по-видимому, следует строить на опыте галактических форм жизни, на опыте историй разных разумов Галактики. Пока мы даже не знаем, как подойти к этой задаче, а ведь нам предстоит еще решать ее, причем решать так, чтобы свести к минимуму число возможных жертв и ошибок. Человечество никогда не ставит перед собой задач, которые не готово решить. Это глубоко верно, но ведь это и мучительно...

Заканчивалась запись тоже на полуслове.

Честно говоря, все это до меня как-то не дошло. При чем здесь галактический идеал? По-моему, люди в космосе совсем не становятся какими-то там галактическими. Я бы сказал, наоборот, люди несут в космос Землю — земной комфорт, земные нормы, земную мораль. Если уж на то пошло, то для меня, да и для всех моих знакомых идеалом будущего является наша маленькая планетка, распространившаяся до крайних пределов Галактики, а потом, может быть, и за эти пределы. В таком примерно плане я принялся было излагать Майке свои соображения, но тут мы заметили, что в каюте, должно быть уже некоторое время, присутствует Вандерхузе. Он стоял, прислонившись к стене, теребил свои рысьи бакенбарды и

разглядывал нас с задумчиво-рассеянным верблюжьим выражением на физиономии. Я встал и пододвинул ему стул.

— Спасибо, — произнес Вандерхузе, — но я лучше постою.

— А что вы думаете по этому поводу? — спросила его Майка воинственно.

— По какому поводу?

— По поводу вертикального прогресса.

Вандерхузе некоторое время молчал, затем вздохнул и произнес:

— Неизвестно, кто первый открыл воду, но уж наверняка это сделали не рыбы.

Мы напряженно задумались. Потом Майка просияла, подняла палец и сказала:

— О!

— Это не я, — меланхолично возразил Вандерхузе. — Это очень старый афоризм. Мне он давно нравился, только все не было случая его привести. — Он помолчал минуту, потом сказал: — Насчет бортжурнала. Представляете себе, действительно, было такое правило.

— Какой бортжурнал? — спросила Майка. — При чем здесь бортжурнал?

— Комов попросил меня отыскать правила, предписывающие уничтожать бортжурналы,

— грустно объяснил Вандерхузе.

— Ну? — сказали мы одновременно.

Вандерхузе снова помолчал, потом махнул рукой.

— Срам, — сказал он. — Есть, оказывается, одно такое правило. Вернее, было. В старом «Своде инструкций». В новом — нет. Откуда мне было знать? Я же не историк.

Он надолго задумался. Майка нетерпеливо поерзала.

— Да, — сказал Вандерхузе. — Так вот, если ты потерпел крушение на неизвестной планете, населенной разумными существами — негуманоидами либо гуманоидами, но пребывающими в стадии ярко выраженной машинной цивилизации, — ты обязан уничтожить все космографические карты и бортовые журналы.

Мы с Майкой переглянулись.

— Этот бедняга, командир «Пеликана», — продолжал Вандерхузе, — наверное, здорово знал старинные законы. Ведь этому правилу, наверное, лет двести, его выдумали еще на заре звездоплавания, выдумали из головы, стараясь все предусмотреть. Но разве все предусмотришь? — Он вздохнул. — Конечно, можно было догадаться, почему с бортжурналом произошла такая

штука. Вот Комов и догадался... И вы знаете, как он реагировал на мое сообщение?

— Нет, — сказал я. — Как?

— Он кивнул и перешел к другим делам, — сказала Майка.

Вандерхузе посмотрел на нее с восхищением.

— Правильно! — сказал он. — Именно кивнул и именно перешел. Я бы на его месте целый день радовался, что я такой догадливый...

— Что же это, значит, получается? — сказала Майка. — Значит, либо негуманоиды, либо гуманоиды, но на стадии машинной цивилизации. Ничего не понимаю. Ты что-нибудь понимаешь? — спросила она меня.

Меня очень забавляет эта манера Майки с гордостью объявлять, что она ничего не понимает. Я и сам так поступаю частенько.

— Они подъехали к «Пеликану» на велосипедах, — сказал я.

Майка нетерпеливо отмахнулась.

— Машинной цивилизации здесь нет, — пробормотала она. — Негуманоидов здесь тоже нет...

Голос Комова по интеркому провозгласил:

— Вандерхузе, Глумова, Попов! Прошу явиться в рубку.

— Началось! — сказала Майка, вскакивая.

Мы гурьбой ввалились в рубку. Комов стоял у стола и вкладывал в пластиковый чехол портативный транслятор. Судя по положению переключателей, транслятор был подключен к бортовому вычислителю. Лицо у Комова было непривычно озабоченное, какое-то очень человечное, без этой своеобычной, оскомину набившей ледяной сосредоточенности.

— Сейчас я выхожу, — объявил он. — Первый сикурс. Яков, вы остаетесь за старшего. Главное: обеспечить непрерывное круговое наблюдение и бесперебойную работу бортового вычислителя. При появлении аборигенов немедленно известить меня. Рекомендую установить у обзорных экранов трехсменную вахту. Майя, ступайте к экранам прямо сейчас же. Стась, там мои радиограммы. Передайте их как можно быстрее. Я думаю, нет надобности объяснять, почему никто не должен выходить из корабля. Вот и все. Давайте за дело.

Я подсел к рации и принялся за дело. Комов и Вандерхузе о чем-то негромко говорили у меня за спиной. Майка на другом конце рубки настраивала экраны кругового обзора. Я перебрал радиограммы. Да, пока мы решали философские проблемы, Комова здесь здорово теребили. Почти

все его радиограммы были ответами. Иерархию срочности, за неимением специальных указаний, я устанавливал сам.

ЭР-2, КОМОВ — ЦЕНТР, ГОРБОВСКОМУ. БЛАГОДАРЮ
ЗА ЛЮБЕЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ ВПРАВЕ ОТРЫВАТЬ ВАС ОТ БОЛЕЕ ВАЖНЫХ ЗАНЯТИЙ, БУДУ ДЕРЖАТЬ ВАС В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ.

ЭР-2, КОМОВ — ЦЕНТР, БАДЕРУ. ОТ ПОСТА ГЛАВНОГО КСЕНОЛОГА ПРОЕКТА «КОВЧЕГ-2» ВЫНУЖДЕН ОТКАЗАТЬСЯ. РЕКОМЕНДУЮ АМИРЭДЖИБИ.

ЭР-2, КОМОВ — БАЗА, СИДОРОВУ. УМОЛЯЮ,
ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ.

ЭР-2, КОМОВ — ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР, ДОМБИНИ. ПРИСУТСТВИЕ ЗДЕСЬ ВАШЕГО НАУЧНОГО КОММЕНТАТОРА СЧИТАЮ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ. ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОШУ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ.

И так далее, в том же духе. Штук пять радиограмм было в Центральный Информаторий. Этих я не понял.

Работа моя была в самом разгаре, когда дешифратор снова заверещал.

— Откуда? — спросил меня Комов с другого конца рубки. Он стоял рядом с Майкой и осматривал окрестности.

— «Центр, исторический отдел...» — прочитал я.

— А, наконец-то! — сказал Комов и направился ко мне.

...ПРОЕКТ «КОВЧЕГ», — читал я. — ЭР-2, ВАНДЕРХУЗЕ, КОМОВУ. ИНФОРМАЦИЯ. ОБНАРУЖЕННЫЙ ВАМИ КОРАБЛЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТАКОЙ-ТО ЕСТЬ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ЗВЕЗДОЛЕТ «ПИЛИГРИМ». ПРИПИСАН К ПОРТУ ДЕЙМОС, ОТБЫЛ ВТОРОГО ЯНВАРЯ СТО СОРОК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА В СВОБОДНЫЙ ПОИСК В ЗОНУ «Ц». ПОСЛЕДНИЙ ОТЗЫВ ПОЛУЧЕН ШЕСТОГО МАЯ СТО СОРОК ВОСЬМОГО ГОДА ИЗ ОБЛАСТИ «ТЕНЬ». ЭКИПАЖ: СЕМЕНОВА МАРИЯ-ЛУИЗА И СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ. С ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО АПРЕЛЯ СТО СОРОК СЕДЬМОГО ГОДА ПАССАЖИР: СЕМЕНОВ ПЬЕР АЛЕКСАНДРОВИЧ. АРХИВ

«ПИЛИГРИМА»...

Там было еще что-то, но тут вдруг Комов засмеялся у меня за спиной, и я с изумлением обернулся к нему. Комов смеялся, Комов сиял.

— Так я и думал! — торжествующе сказал он, а мы все смотрели на него, разинув рты. — Так я и думал! Это человек! Вы понимаете, ребята? Это человек!

Глава пятая. Люди и нелюди

— Стоять по местам! — весело скомандовал Комов, подхватил футляры с аппаратурой и удалился.

Я посмотрел на Майку. Майка стояла столбом посередине рубки с затуманенным взором и беззвучно шевелила губами — соображала.

Я посмотрел на Вандерхузе. Брови у Вандерхузе были высоко задраны, баки растопырились, впервые на моей памяти он был похож не на млекопитающее, а на черт-рыбу, вытащенную из воды. На обзорном экране Комов, обвешанный аппаратурой, бодро шагал к болоту вдоль строительной площадки.

— Так-так-так! — произнесла Майка. — Вот, значит, почему игрушки...

— Почему? — живо поинтересовался Вандерхузе.

— Он с ними играл, — объяснила Майка.

— Кто? — спросил Вандерхузе. — Комов?

— Нет. Семенов.

— Семенов? — удивленно переспросил Вандерхузе. — Гм... Ну и что?

— Семенов-младший, — нетерпеливо сказал я.

— Пассажир. Ребенок.

— Какой ребенок?

— Ребенок Семеновых! — сказала Майка. — Понимаете, зачем у них было это шьющее устройство? Чепчики всякие там, распашоночки, подгузнички...

— Подгузнички! — повторил пораженный Вандерхузе. — Так это у них родился ребенок! Да-да-да-да! Я еще удивился, где они подцепили пассажира, и вдобавок однофамильца! Мне и в голову... Ну конечно!

Запел радиовызов. Я машинально откликнулся. Это оказался Вадик. Говорил он торопливо и вполголоса — видно, боялся, что засекут...

— Что у вас там, Стась? Только быстро, мы сейчас снимаемся...

— Такое быстро не расскажешь, — сказал я недовольно.

— А ты в двух словах. Корабль Странников нашли?

— Каких Странников? — поразился я. — Где?

— Ну, этих... которых Горбовский ищет...

— Кто нашел?

— Вы нашли! Нашли ведь? — Голос его вдруг изменился. — Проверяю настройку, — строго произнес он. — Выключаюсь.

— Что там нашли? — спросил Вандерхузе. — Какой еще корабль?

Я отмахнулся.

— Это так, любопытные... Значит, родился он в апреле сорок седьмого, а отозвались они в последний раз в мае сорок восьмого... Яков, как часто они должны были выходить на отзыв?

— Раз в месяц, — сказал Вандерхузе. — Если корабль находится в свободном поиске...

— Минуточку, — сказал я. — Май, июнь...

— Тринадцать месяцев, — сказала Майка.

Я не поверил и пересчитал сам.

— Да, — сказал я.

— Невероятно, правда?

— Что, собственно, невероятно? — осторожно спросил Вандерхузе.

— В день крушения, — сказала Майка, — младенцу был год и один месяц. Как же он выжил?

— Аборигены, — сказал я. — Семенов стер бортжурнал. Значит, кого-то увидел... И нечего было Комову на меня лаять! Это был настоящий детский плач! Что я, годовалых детей не слышал?.. Они все это записали, а когда он вырос, дали ему прослушать...

— Чтобы записать, нужно иметь технику, — сказала Майка.

— Ну, не записали, так запомнили, — сказал я. — Это неважно.

— Ага, — произнес Вандерхузе. — Он увидел либо негуманоидов, либо гуманоидов, но в стадии машинной цивилизации. И поэтому стер бортжурнал. По инструкции.

— На машинную цивилизацию не похоже, — сказала Майка.

— Значит, негуманоиды... — До меня вдруг дошло. — Ребята, — сказал я, — если здесь негуманоиды, то это такой случай, что я просто не знаю... Человек-посредник, понимаете? Он — и человек и нечеловек, гуманоид и негуманоид! Такого еще никогда не бывало. О таком даже мечтать никто не рискнул бы!

Я был в восторге. Майка тоже была в восторге. Перспективы ослепляли нас. Туманные, неясные, но ослепительно радужные. Дело было не только в том, что впервые в истории становился возможным уверенный контакт с негуманоидами. Человечество получало уникальнейшее зеркало, перед человечеством открывалась дверь в совершенно недоступный ранее, непостижимый мир принципиально иной психологии, и смутные комовские идеи вертикального прогресса обретали наконец экспериментальный фундамент...

— Чего ради негуманоиды станут возиться с человеческим ребенком? — задумчиво произнес Вандерхузе. — Зачем это им и что они в этом понимают?

Перспективы несколько потускнели, но Майка сейчас же сказала с вызовом:

— На Земле известны случаи, когда негуманоиды воспитывали человеческих детей.

— Так то на Земле! — сказал Вандерхузе грустно.

И он был прав. Все известные разумные негуманоиды отстояли от человека гораздо дальше, чем волки, медведи или даже осьминоги. Утверждал же такой серьезный специалист, как Крюгер, что разумные слизни Гарроты рассматривают человека со всей его техникой не как явление реального мира, а как плод своего невообразимого воображения...

— И тем не менее он уцелел и вырос! — сказала Майка.

И она тоже была права.

Я — человек по натуре скептический. Я не люблю зарываться и чрезмерно фантазировать. Не то что Майка. Но тут больше просто ничего нельзя было предположить. Годовалый ребенок. Ледяная пустыня. Один. Ведь ясно же, что сам по

себе он выжить не смог бы. Причем с другой стороны — стертый бортжурнал. Что тут еще можно придумать? Какие-нибудь пришельцы-гуманоиды случайно оказались поблизости, выкормили младенца, а потом улетели... Чепуха ведь...

— А может быть, он не выжил? — сказала Майка. — Может быть, все, что от него осталось, это его плач и голоса его родителей?

На секунду мне показалось, что все рухнуло. Вечно эта Майка что-нибудь выдумает. Но я тут же сообразил.

— А как он проходит в корабль? Как он командует моими киберами? Нет, ребята, либо мы встретили в космосе точную — понимаете? — точную, идеальную реплику человечества, либо это космический Маугли. Не знаю, что более невероятно.

— И я не знаю, — сказала Майка.

— И я, — сказал Вандерхузе.

Из репродуктора раздался голос Комова:

— Внимание, на борту! Я вышел на позицию. Смотреть вокруг хорошенько. Мне отсюда видно не много. Радиограммы были?

Я заглянул в приемный карман.

— Целая пачка, — сказал я.

— Целая пачка, — сказал Вандерхузе в мик-

рофон.

— Стась, мои радиограммы вы отправили?

— А... Еще не все, — сказал я, поспешно усаживаясь за рацию.

— Еще не все, — сообщил Вандерхузе в микрофон.

— Хлев на палубе! — объявил Комов. — Хватит философствовать, принимайтесь за дело. Майя, следите за экраном. Забудьте обо всем и следите за экраном. Попов, чтобы последняя моя радиограмма через десять минут была в эфире. Яков, зачитайте, что там пришло на мое имя...

Когда я закончил передачу и осмотрелся, все были заняты своими делами. Майка сидела за пультом обзора — на панорамном экране виднелся Комов, крошечная фигурка у самого берега; над болотом шевелился туман, и больше никакого движения на всех трехстах шестидесяти градусах в радиусе семи километров от корабля не было заметно. Комов сидел к нам спиной: очевидно, он ждал, что наш Маугли появится из болота. Майка медленно поворачивала голову из стороны в сторону, озирая окрестности, и время от времени давала на какой-нибудь подозрительный участок максимальное увеличение — тогда на экранах малых мониторов появлялся то поникший куст,

то лиловая тень дюны на искрящемся песке, то неопределенное пятно в редкой щетине карликовых деревьев.

Вандерхузе монотонно бубнил в микрофон: «...варианты психотипа двоеточие шестнадцать эн дробь тридцать два дзета или шестнадцать эм... мама... дробь тридцать один эпсилон...» — «Достаточно, — говорил Комов. — Следующую». — «Земля Лондон Картрайт, уважаемый Геннадий, еще раз напоминаю о вашем обещании дать отзыв...» — «Достаточно. Следующую». — «Пресс-центр...» — «Достаточно. Дальше. Яков, читайте только то, что из Центра или с Базы». Пауза. Вандерхузе перебирает карточки. «Центр Бадер затребованная вами аппаратура нуль-транспортируется на Базу вышлите ваши предварительные соображения по следующим пунктам первое другие вероятные зоны обитания аборигенов...» — «Достаточно. Дальше...»

Тут меня вызвала База. Сидоров спрашивал Комова.

— Комов на контакте, Михаил Альбертович, — сказал я виновато.

— Контакт начался?

— Нет еще. Ждем.

Сидоров кашлянул.

— Ну ладно, я соединюсь с ним попозже. Это не срочно. — Он помолчал. — Волнуетесь?

Я прислушался к своим ощущениям.

— Н-не то что волнуемся... Странно как-то. Как во сне. Как в сказке.

Сидоров вздохнул.

— Не буду мешать, — сказал он. — Желаю удачи.

Я поблагодарил. Затем я оперся локтем на пульт, положил подбородок на ладонь и снова прислушался к своим ощущениям. Да, странно как-то. Человек — нечеловек. Наверное, на самом деле его нельзя называть человеком. Человеческий детеныш, воспитанный волками, вырастает волком. Медведями — медведем. А если бы человеческого детеныша взялся воспитывать спрут? Не съел бы, а стал воспитывать... Дело даже не в этом. И волк, и медведь, и спрут — все они лишены разума. Во всяком случае, того, что ксенологи называют разумом. А вот если нашего Маугли воспитали существа разумные, но в то же время в некотором смысле спруты?.. И даже еще более чужие, чем спруты... А ведь это они научили его выбрасывать защитные фантомы, научили мимикрии, — в человеческом организме нет ничего для таких штучек, значит это искусственное при-

способление... Постой, а для чего ему мимикрия? От кого это он приучен защищаться? Планета-то ведь пуста! Значит, не пуста.

Я представил себе огромные пещеры, залитые призрачным лиловым светом, мрачные закоулки, в которых таится смертельная опасность, и маленького мальчика, который крадется вдоль липкой стены, готовый в любую секунду исчезнуть, раствориться в неверном сиянии, оставив врагу свою зыбкую, расплывающуюся тень. Бедный мальчуган. Его надо немедленно вывезти отсюда... Стоп-стоп-стоп! Это все чепуха. Это все не бывает. Не бывает так, чтобы существовала сложная, мудрая, многоопытная жизнь и не кишела бы вокруг нее жизнь попроще, поглупее. Сколько здесь обнаружили видов живых существ? Не то одиннадцать, не то двенадцать — и это во всем диапазоне от вируса до человеческого детеныша. Нет, так не бывает. Тут что-то не то. Ладно, скоро узнаем. Мальчуган нам все расскажет. А если не расскажет? Много ли человеческие волчата рассказали людям о волках? На что же рассчитывает Комов? Мне захотелось сейчас же, немедленно спросить у Комова, на что он рассчитывает.

Вандерхузе дочитал последнюю радиограмму, вытянулся в кресле, заложил руки за голову и

произнес задумчиво:

— А ведь я знавал Семеновых. Должен вам сказать, очень были славные и в то же время очень странные люди. Романтики старины. Конечно, Шура знал все старинные законы, он их вечно цитировал. Нам они казались смешными и нелепыми, а он находил в них какую-то прелесть... Катастрофа, агония, страшные чудовища лезут в корабль... Уничтожить бортжурнал, стереть свой след в пространстве — ведь на том конце следа Земля! Да, это очень на него похоже. — Вандерхузе помолчал. — Между прочим, таких, кто ищет уединения, гораздо больше, чем мы с вами думаем. Ведь уединение — не такая уж плохая вещь, как вы полагаете?

— Не для меня, — коротко сказала Майка, не отрываясь от экрана.

— Это потому, что ты молода, — возразил Вандерхузе. — В твоем возрасте Шура Семенов тоже любил дружить со многими и чтобы многие дружили с ним. И чтобы работать вместе — большой шумной компанией. И чтобы устраивать мозговые атаки, и все время быть в веселом напряжении, и чтобы все время соревноваться, все равно в чем — в прыжках ли с крыльями, в количестве острот на единицу времени, в зна-

нии наизусть каких-нибудь таблиц... во всем. А в промежутках во все горло распевать под нэкофон куплеты собственного сочинения. — Вандерхузе вздохнул. — Обычно это проходит с началом настоящей любви... Впрочем, об этом я ничего не знаю. Я знаю только, что с тридцать четвертого года Шурик и Мари ушли в группу свободного поиска. С тех пор я их, собственно, ни разу не видел. Один раз говорил по видео... Я был тогда диспетчером, и Шура запрашивал у меня разрешение на выход с Пандоры. — Вандерхузе снова вздохнул. — Между прочим, у Шуры отец жив и сегодня, Павел Александрович. Надо будет обязательно к нему зайти, когда вернемся... — Он помолчал. — Если хотите знать, — объявил он, — я всегда был против свободного поиска. Архаизм. Бродят по космосу в одиночку, опасно, научный выход ничтожный, а иногда мешают... Помните историю с Каммерером? Они все притворяются, будто мы уже овладели космосом, будто мы в космосе как дома. Неверно это. И никогда это не будет верно. Космос всегда будет космосом, а человек всегда останется всего лишь человеком. Он будет только становиться все более и более опытным, но никакого опыта не хватит, чтобы чувствовать себя в космосе как дома... По-моему, Шурик и

Мари так ничего и не нашли в космосе, во всяком случае, ничего такого, о чем стоило бы рассказать хотя бы за столом в кают-компании.

— Но зато они были счастливы, — сказала Майка, не оборачиваясь.

— Почему ты так думаешь?

— Иначе бы они вернулись! Зачем им было что-то искать, если они и без того были счастливы? — Майка сердито посмотрела на Вандерхузе. — Что вообще стоит искать, кроме счастья?

— Я мог бы тебе ответить, что тот, кто счастлив, ничего и не ищет, — сказал Вандерхузе, — но я не подготовлен к такому глубокому спору, да и ты тоже, как ты полагаешь? Рано или поздно мы начнем обобщать понятие счастья на негуманоидов...

— На борту! — раздался голос Комова. — Смотреть внимательно!

— Именно это я и хотел сказать, — проговорил Вандерхузе, и Майка снова отвернулась к экрану.

Теперь мы смотрели на экран все втроем. Солнце было совсем низко, оно висело над самыми вершинами, и на сопках уже лежали тени. Ярко отсвечивала посадочная полоса, шапка пара над болотом казалась теперь тяжелой и неподвиж-

ной, а верхушка ее, через которую пробивался солнечный свет, сделалась пронзительно-фиолетовой. Все вокруг было очень неподвижно, даже Комов.

— Пять часов, — негромко сказал Вандерхузе. — Не пора ли нам обедать? Геннадий, как вы будете есть?

— Мне ничего не надо, — сказал Комов. — Я захватил с собой. А вы поешьте, потом может стать не до того.

Я поднялся.

— Пойду готовить. Какие заказы?

И тут Вандерхузе сказал:

— Вижу!

— Где? — сейчас же спросил Комов.

— Идет к нам по берегу, со стороны айсберга. Градусах в шестидесяти влево от вашего направления на корабль.

— Ага, — сказала Майка. — Я тоже вижу! Действительно, идет.

— Не вижу! — нетерпеливо сказал Комов. — Дайте координаты по дальномеру.

Вандерхузе сунул лицо в нарамник дальномера и продиктовал координаты. Теперь и я увидел: вдоль самой кромки черной воды, не спеша, словно бы нехотя, брела к кораблю зеленоватая,

странно скособоченная фигурка.

— Нет, не вижу, — сказал Комов с досадой. — Рассказывайте мне.

— Н-ну, значит, так... — начал Вандерхузе и откашлялся. — Идет медленно, смотрит на нас... В руках охапка каких-то прутьев... Остановился, поковырял ногой в песке... Бр-р-р, по такой холодине — нагишом... Пошел дальше... Смотрит в вашу сторону, Геннадий... Любопытно, анатомия у него не человеческая, точнее, не совсем человеческая... Вот опять остановился и все время смотрит в вашу сторону. Неужели вы его не видите, Геннадий? Он же прямо у вас на траверзе, к вам он сейчас ближе, чем к нам...

Пьер Александрович Семенов, космический Маугли, приближался. Сейчас до него было метров двести, и, когда Майка давала на мониторе увеличенное изображение, можно было рассмотреть даже его ресницы. Заходящее солнце как раз проглянуло в промежуток между двумя горными пиками, снова стало совсем светло, длинные тени протянулись вдоль пляжа.

Это был ребенок, мальчишка лет двенадцати, угловатый подросток, костлявый, длинноногий, с острыми плечами и локтями, но этим сходство с обычным мальчишкой и ограничивалось. Уже

лицо у него не было мальчишеское — с человеческими чертами, но совершенно неподвижное, окаменевшее, застывшее, как маска. Только глаза у него были живые, большие, темные, и он стрелял ими налево и направо, словно сквозь прорези в маске. Уши у него были большие, оттопыренные, правое заметно больше левого, а из-под левого уха тянулся по шее до ключицы темный неровный шрам — грубый, неправильно заживший рубец. Рыжеватые свалявшиеся волосы беспорядочными космами спадали на лоб и на плечи, торчали в разные стороны, лихим хохлом вздымались на макушке. Жуткое, неприятное лицо, и вдобавок — мертвенного, синевато-зеленого оттенка, лоснящееся, словно смазанное каким-то жиром. Впрочем, так же лоснилось и все его тело. Он был совершенно голый, и, когда он подошел к кораблю совсем близко и бросил на песок охапку сучьев, стало видно, какой он весь жилистый, без всяких следов этой трогательной детской незащищенности. Он был костлявый, да, но не тощий — удивительно, по-взрослому жилистый, не мускулистый, не атлет, а именно жилистый, и еще стали видны страшные рваные шрамы — глубокий шрам на левом боку через ребра до самого бедра, отчего он и был таким

скособоченным, и еще шрам на правой ноге, и глубокая вдавлина посередине груди. Да, видно, нелегко ему здесь пришлось. Планета старательно жевала и грызла человеческого детеныша, но, видимо, привела-таки его в соответствие с собой.

Он был теперь шагах в двадцати, у самого края мертвого пространства. Охапка прутьев лежала у его ног, а он стоял, опустив руки, и смотрел на корабль; он не мог, конечно, видеть объективов, но смотрел он, казалось, прямо нам в глаза. И поза у него была нечеловеческая. Не знаю, как это объяснить. Просто люди не стоят в такой позе. Никогда не стоят. Ни отдыхая, ни в ожидании, ни в напряжении. Левая нога у него была отставлена чуть назад и слегка согнута в колене, но всем весом он опирался именно на нее. И вперед он выставил левое плечо. У человека, готовящегося метнуть диск, можно на мгновенье уловить подобную позу — долго так не простоишь, это неудобно, да и некрасиво, а он стоял, стоял несколько минут, а потом вдруг присел и стал перебирать свои прутья. Я сказал — присел, но это неправильно: он опустился на левую ногу, правую же, не сгибая, вытянул вперед — даже смотреть на него было неудобно, особенно когда он принялся возиться с прутьями, помогая рукам правой ногой. Потом

он поднял к нам лицо, протянул руки — в каждом кулаке по прутику — и тут началось такое, что я вообще не берусь описывать.

Могу только сказать: лицо его ожило, и не просто ожило — оно взорвалось движениями. Не знаю, сколько там на лице у человека мускулов, но у него они все разом пришли в движение, и каждый самостоятельно, и каждый беспрестанно, и каждый необычайно сложно. Я не знаю, с чем это сравнить. Может быть, с бегом ряби на воде в солнечном свете, только рябь однообразна и хаотична, однообразна в своей хаотичности, а здесь сквозь фейерверк крошечных движений проглядывал какой-то определенный ритм, какой-то осмысленный порядок, это не была болезненная конвульсивная дрожь, агония, паника. Это был танец мускулов, если можно так выразиться. И начался этот танец с лица, а затем заплясали плечи, грудь, запели руки, и сухие прутья затрепетали в сжатых кулаках, принялись скрещиваться, сплетаться, бороться — с шорохом, с барабанной дробью, со стрекотом, словно целое поле кузнечиков развернулось под кораблем. Это длилось не больше минуты, но у меня зарябило в глазах и заложило уши. А затем все пошло на убыль. Пляска и пение ушли из палочек в руки,

из рук в плечи, затем в лицо, и все кончилось. На нас снова глядела неподвижная маска. Мальчик легко поднялся, шагнул через кучку прутьев и вдруг ушел в мертвое пространство.

— Почему вы молчите? — надрывался Комов. — Яков! Яков! Вы слышите меня? Почему молчите?

Я очнулся и поискал глазами Комова. Ксенопсихолог стоял в напряженной позе, лицом к кораблю, длинная тень тянулась по песку от его ног. Вандерхузе откашлялся и проговорил:

— Слышу.

— Что произошло?

Вандерхузе помедлил.

— Не берусь рассказать, — сказал он. — Может быть, вы, ребята?

— Он разговаривал! — произнесла Майка сдавленным голосом. — Это он разговаривал!..

— Слушайте, — сказал я. — А он не к люку пошел?

— Возможно, — сказал Вандерхузе. — Геннадий, он ушел в мертвое пространство. Возможно, он пошел к люку...

— Следите за люком, — быстро скомандовал Комов. — Если он войдет, сейчас же сообщите мне, а сами запритесь в рубке... — Он помолчал. — Жду вас через час, — проговорил он с какой-то

новой интонацией, обычным спокойно-деловым тоном и словно бы отвернувшись от микрофона. — За час вы управитесь?

— Не понял, — сказал Вандерхузе.

— Запритесь! — раздраженно закричал Комов прямо в микрофон. — Понимаете? Запритесь, если он войдет в корабль!

— Это я понял, — сказал Вандерхузе. — Где вы нас ждете через час?

Наступило молчание.

— Жду вас через час, — снова отвернувшись от микрофона, деловито повторил Комов. — За час вы управитесь?

— Где? — сказал Вандерхузе. — Где ждете?

— Яков, вы меня слышите? — громко спросил Комов с беспокойством.

— Слышу вас отлично, — произнес Вандерхузе и растерянно оглянулся на нас. — Вы сказали, что ждете нас через час. Где?

— Я не говорил... — начал Комов, но тут его прервал голос Вандерхузе, такой же глуховатый, словно в отдалении от микрофона:

— А не пора ли нам обедать? Стась там, наверное, соскучился, как ты полагаешь, Майка?

Майка нервно захихикала.

— Это же он... — проговорила она, тыча паль-

цем в экран. — Это же он... там...

— Что происходит, Яков? — гаркнул Комов.

Странный голос — я даже не сразу понял чей — произнес:

— Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю, в люди выведу...

Майка, уткнувшись лицом в ладони, икала от нервного хохота, поджимая колени к подбородку.

— Ничего особенного, Геннадий, — произнес Вандерхузе, вытирая платком вспотевший лоб. — Недоразумение. Клиент разговаривает нашими голосами. Мы его слышим через внешнюю акустику. Маленькое недоразумение, Геннадий.

— Вы его видите?

— Нет... Впрочем, вот он появился.

Мальчик снова стоял возле своих прутьев, уже в другой, но такой же неудобной позе. Он опять глядел нам прямо в глаза. Потом рот его приоткрылся, губы странно искривились, обнажив десны и зубы в левом углу рта, и мы услышали голос Майки:

— В конце концов, если бы у меня были ваши бакенбарды, я бы, может быть, относилась к жизни совсем по-другому...

— Сейчас он говорит голосом Майки, — невозму-

тимо сообщил Вандерхузе. — А сейчас посмотрел в вашу сторону. Вы его все еще не видите?

Комов молчал. Мальчик все стоял, повернув голову в его сторону, совершенно неподвижный, словно окаменелый, — странная фигура в сгущающихся сумерках. И вдруг я понял, что это не он. Фигура расплывалась. Сквозь нее проступила темная кромка воды.

— Ага, вижу! — с удовлетворением сказал Комов. — Он стоит шагах в двадцати от корабля, так?

— Так, — сказал Вандерхузе.

— Не так, — сказал я.

Вандерхузе присмотрелся.

— Д-да, пожалуй, не так, — согласился он. — Это, пожалуй... Как вы это называете, Геннадий? Фантом?

— Стойте, — сказал Комов. — Вот теперь я его вижу по-настоящему. Он идет ко мне.

— Ты видишь его? — спросила меня Майка.

— Нет, — ответил я. — Темно уже.

— Не в темноте дело, — возразила Майка.

Наверное, она была права. Солнце, правда, зашло, и сумерки сгустились, но Комова я на экране различал и видел тающий фантом, и взлетную полосу, и айсберг вдали, а вот мальчика я больше

не видел.

Потом я увидел, что Комов сел.

— Подходит, — проговорил он вполголоса. — Сейчас я буду занят. Не отвлекайте меня. Продолжайте внимательно следить за окрестностями, но никаких локаторов, никаких активных средств вообще. Попробуйте обойтись инфраоптикой. Все.

— Доброй охоты, — сказал Вандерхузе в микрофон и поднялся. Вид у него был торжественный. Он строго посмотрел на нас поверх носа, привычным плавным движением взбил бакенбарды и произнес: — Стада в хлевах, свободны мы до утренней зари.

Майка судорожно зевнула и проговорила:

— Спать мне хочется, что ли? Или это от нервов?

— Между прочим, спать нам теперь придется мало, — заявил Вандерхузе. — Давайте сделаем так. Пусть Майка идет отдыхать. Я останусь у экрана, а Стась пусть спит у рации. Через четыре часа я его разбужу, как ты полагаешь, Стась?

Я не возражал, хотя и сомневался, что Комов столько высидит на морозе. Майка, продолжая зевать, не возражала тоже. Когда она ушла, я предложил Вандерхузе сварить кофе, но он от-

казался под каким-то смехотворным предлогом — наверное, он хотел, чтобы я поспал. Тогда я устроился возле рации, просмотрел новые радиограммы, не обнаружил ничего срочного и передал их Вандерхузе.

Некоторое время мы молчали. Спать совсем не хотелось. Я так и этак прикидывал, какими же должны быть воспитатели Пьера Семенова. Человеческий детеныш, воспитанный волком, бегает на четвереньках и рычит. Медвежий человек — тоже. Вообще воспитание полностью определяет модус вивенди любого существа. То есть не то чтобы полностью, но заметно определяет. Почему, собственно, наш Маугли остался человеком прямостоящим? Это наводит на определенные размышления. Он ходит на ногах, он активно пользуется руками, это само по себе не есть что-то врожденное, это воспитывается. Он может говорить. Конечно, он не понимает, что он говорит, но видно, что та часть мозга, которая ведает речью, задействована у него великолепно... И ведь он запоминает все с одного раза! Странно, очень странно. Негуманоиды, о которых я знаю, были бы совершенно не способны так воспитать человеческого детеныша. Прокормить его, приручить — могли бы. Исследовать в своих странных

лабораториях, похожих на гигантскую действующую модель кишечника, — тоже могли бы. Но увидеть в нем человека, идентифицировать в нем человека, сохранить в нем человека — вряд ли. Неужели это все-таки гуманоиды? Ничего не понимаю.

— Во всяком случае, — сказал вдруг Вандерхузе, — они гуманны в самом широком смысле слова, какой только можно придумать, раз они спасли жизнь нашему младенцу, и они гениальны, ибо сумели воспитать его похожим на человека, ничего, может быть, не зная о руках и ногах. Как ты полагаешь, Стась?

Я неопределенно хмыкнул, и он замолчал.

В рубке было тихо. База нас не беспокоила, Комов тоже на связь не выходил; на темном экране вспыхивали, переливаясь, радужные полотнища сполохов, и в их призрачном свете был едва виден Комов, сидевший совершенно неподвижно, а мальчика я так и не сумел разглядеть ни разу. Но дело у них явно шло на лад, потому что большой бортовой вычислитель время от времени принимался тихонько чавкать и урчать, переваривая и организуя информацию, получаемую с транслятора. Потом я задремал, и приснились мне, помнится, какие-то хмурые небритые осьминоги

в синих спортивных костюмах и с зонтиками, они учили меня ходить, а мне было так смешно, что я все время падал, вызывая их крайнее неудовольствие. Проснулся я от мягкого и неприятного толчка в сердце. Что-то произошло. Что-то тревожное.

Вандерхузе сидел, напряженно пригнувшись к экрану, вцепившись руками в подлокотники.

— Стась! — окликнул он негромко.

— Да?

— Посмотри на экран.

Я без того уже смотрел на экран, но не видел пока ничего особенного. Как и прежде, полыхали и переливались небесные огни, Комов сидел в прежней позе, далекий айсберг отсвечивал розовым и зеленым. Потом я увидел.

— Над горами? — шепотом спросил я.

— Да. Именно над горами.

— Что это такое?

— Не знаю.

— Давно?

— Не знаю. Я заметил эту штуку минуты две назад. Думал — смерч...

Я сначала тоже подумал, что это смерч. Над бледной иззубренной линией хребта, на фоне радужных полотнищ поднималось что-то вро-

де длинного тонкого хлыста — черная кривая, словно царапина на экране. Этот хлыст едва заметно вибрировал, гнулся, иногда словно бы проседал и снова распрямлялся, и заметно было, что он не гладкий, а как бы суставчатый, похожий на ствол бамбука. Он торчал над хребтом, до которого было по крайней мере километров десять, словно кто-то высунул из-за вершин исполинское удилище. Он придавал знакомому пейзажу на экране нереальный вид декораций кукольного театра. Смотреть на это было как-то противоестественно и жутко-смешно, как если бы над вершинами появилась неправдоподобно громадная физиономия. В общем, это было что-то вне всяких масштабов, что-то невозможное, вне всяких представлений о пропорциях.

— Они? — спросил я шепотом.

— Невозможно, чтобы это было естественное... — проговорил Вандерхузе. — И невозможно, чтобы это было искусственное.

Я и сам чувствовал то же самое.

— Надо сообщить Комову, — сказал я.

— Комов отключился, — ответил Вандерхузе. Он наводил дальномер. — Расстояние не меняется. Четырнадцать километров. И эта штука страшно вибрирует, вся трясется. Амплитуда не меньше

сотни метров... Совершенно невозможная штука.

— Какая же у него высота? — пробормотал я.

— Около шестисот метров.

— Елки-палки, — сказал я.

Он вдруг вскочил и нажал сразу две клавиши: наружного аварийного радиовызова «Всем немедленно вернуться на борт» и внутреннего сигнала «Всем собраться в рубке». Потом он повернулся ко мне и непривычно отрывистым голосом скомандовал:

— Стась! Бегом на пост УАС. Приведи в готовность носовую ПМП. Сиди и жди. Без команды — ничего.

Я выскочил в коридор. Из-за дверей кают слышались приглушенные отрывистые звонки сигнала сбора. Навстречу мне мчалась Майка, на ходу натягивая куртку. Она была в туфлях на босу ногу.

— Что случилось? — сиплым со сна голосом спросила она еще издали.

Я махнул рукой и по трапу ссыпался вниз, в пост управления активными средствами. Меня слегка лихорадило, но в общем я был спокоен. В известном смысле я был даже горд: ситуация складывалась редкостная. Настолько редкостная, что я был уверен: с момента первого старта

этого корабля на пост УАС никто еще не заходил — разве что работники космодромов для профилактического осмотра автоматики.

Я повалился в кресло, врубил круговой экран, отключил автоматику ПМП и сразу же заблокировал кормовую установку, чтобы в суматохе не выпалить в надир. Затем я взялся за верньеры ручной наводки, и изображение на экране поползло через черное перекрестие перед моими глазами: прополз клыкастый айсберг, проползла туманная масса над болотами, прополз Комов — теперь он стоял, озаряемый сполохами, спиной к нам и глядел в сторону гор... Еще немного повыше. Вот он. Черный, дрожащий, нелепый, совершенно невозможный. А рядом — второй, он покороче, но растет на глазах, вытягивается, гнется... Елки-палки, да как же они это делают? Какие же это мощности нужны и что это за материал такой? Ну и зрелище!.. Теперь это было так, будто чудовищный таракан прячется за горами и высунул оттуда свои усы. Я прикинул телесный угол поражения и установил перекрестие таким образом, чтобы одним ударом поразить обе цели. Теперь оставалось только толкнуть ногой педаль...

— Пост УАС! — гаркнул Вандерхузе.

— Есть пост УАС! — отозвался я.

— Готовность!

— Есть готовность!

По-моему, это у нас очень лихо получилось. Как в кино.

— Обе цели видишь? — обыкновенным голосом спросил Вандерхузе.

— Да. Накрываю обе одним импульсом.

— Обрати внимание: сорок градусов к востоку — третья цель.

Я взглянул: действительно, еще один гигантский ус гнулся и трепетал в неверном свете сполохов. Это мне не понравилось. Успею или нет? Чего там, должен успеть... Я мысленно прорепетировал, как я выпускаю импульс, а затем двумя движениями разворачиваю пушку на третью цель. Ничего, успею.

— Вижу третью цель, — сказал я.

— Это хорошо, — сказал Вандерхузе. — Но ты, однако, не горячись. Стрелять только по моей команде.

— Вас понял, — буркнул я.

Вот даст он по кораблю каким-нибудь... этим... искривителем пространства каким-нибудь, дождешься тогда от тебя команды. Меня уже заметно трясло. Я стиснул руки, чтобы привести

себя в порядок. Потом я посмотрел, как там Комов. Комов был ничего себе. Он снова сидел в прежней позе, повернувшись к гигантскому таракану боком. Я сразу успокоился, тем более что обнаружил наконец рядом с Комовым крошечную черную фигурку. Мне даже стало неловко.

Чего это я вдруг? Какие, собственно, основания для паники? Ну, выставил усы... Большие усы, не спорю, я бы даже сказал — сногсшибательной величины усы. Но, в конце концов, никакие это, вероятно, не усы, а что-нибудь вроде антенн. Может быть, они просто за нами наблюдают. Мы за ними, а они за нами. И даже, собственно, не за нами, наверное, а за своим воспитанником, за Пьером Александровичем Семеновым наблюдают — как, мол, он здесь, не обижают ли его...

Вообще, если подумать, противометеоритная пушка — страшная штука, не хотелось бы ее здесь применять. Одно дело — сровнять с грунтом какую-нибудь скалу, чтобы расчистить посадочную площадку, или, скажем, завалить ущелье, когда нужен пресный водоем, а другое дело — вот так, по живому... А вообще-то применялись когда-нибудь ПМП как средство обороны? Пожалуй, да. Во-первых, был случай, не помню где, грузовой автомат потерял управление и стал валиться прямо

на лагерь, — пришлось его сжечь. А потом, помнится, разбирали такой инцидент: на какой-то биологически активной планете корабль-разведчик подвергся «направленному непреодолимому воздействию биосферы»... То есть подвергся он или нет — до сих пор неизвестно, но капитан решил, что подвергся, и ударил из носовой пушки. Выжег он вокруг себя все, до самого горизонта, так что потом при расследовании эксперты только руками разводили. Капитана, помнится, от полетов отстранили надолго... Да, что и говорить, страшное средство — ПМП. Последнее средство.

Чтобы отвлечься от всяких таких мыслей, я произвел замеры расстояний до целей и рассчитал их высоту и толщину. Расстояния оказались: четырнадцать, четырнадцать с половиной и шестнадцать километров. Высота — от пятисот до семисот метров, а толщина у них у всех была примерно одинаковая: у основания около пятидесяти метров, а на самом кончике уса — меньше метра. И все они действительно были суставчатыми, как бамбуковые стволы или катушечные антенны. И еще мне показалось, что я различаю на их поверхности какое-то движение, направленное снизу вверх, этакую перистальтику, но, может быть, это была только игра света. Я попытался прикинуть

свойства материала, из которого могут состоять такие вот образования, — получалась какая-то чепуха. Да, пощупать бы их локатором-пробником, но нельзя, конечно. Неизвестно, как они к этому отнесутся. Да и не это главное. Главное — это то, что цивилизация здесь, пожалуй, технологическая. Высокоразвитая цивилизация. Что и требовалось доказать. Непонятно только, чего это они зарылись под землю, почему оставили свою родную планету во власти пустоты и тишины. Впрочем, если подумать, у каждой цивилизации свои представления о благоустроенности. Например, на Тагоре...

— Пост УАС! — гаркнул Вандерхузе над самым ухом, так что я вздрогнул. — Как видишь цели?

— Вижу цели... — откликнулся я машинально, но тут же осекся: усов над горами не было. — Нет целей, — упавшим голосом сказал я.

— Спишь на посту!

— Ничего не сплю... Только что были, своими глазами видел...

— И что ты видел своими глазами? — осведомился Вандерхузе.

— Цели. Три цели.

— А потом?

— А теперь их нет.

— Гм... — сказал Вандерхузе. — Странно это как-то произошло, как ты полагаешь?

— Да, — сочувственно сказал я. — Очень странно. Были — и вдруг нет.

— Комов возвращается, — сообщил Вандерхузе. — Может быть, он что-нибудь понимает?..

Действительно, Комов, обвешанный футлярами, неловкой походкой — очевидно, у него затекли ноги — возвращался к кораблю. Время от времени он оборачивался — надо полагать, прощался с Пьером Александровичем, но самого Пьера Александровича видно не было.

— Отбой, — сказал Вандерхузе. — Оставь все как есть и беги на камбуз, приготовь что-нибудь горячее и подкрепляющее. Геннадий, наверное, замерз как сосулька. Впрочем, голос у него довольный, как ты полагаешь, Майка?

Я мигом очутился на кухне и принялся торопливо готовить глинтвейн, кофе и легкую закуску. Я очень боялся пропустить хоть слово из того, что будет рассказывать Комов. Но когда я бегом прикатил столик в рубку, Комов еще ничего не рассказывал. Он стоял перед столом, растирая замерзшую щеку, на столе была расстелена самая большая и подробная карта нашего района, и Майка пальцем показывала ему те места, откуда

высовывались давешние усы-антенны.

— Здесь ничего нет! — возбужденно говорила Майка. — Здесь мерзлые скалы, каньоны в сто метров глубиной, вулканические пропасти — и ничего живого. Я пролетала здесь десятки раз. Тут даже кустарника нет.

Комов рассеянно-благодарно кивнул мне, взял в обе руки чашу с глинтвейном, погрузил в нее лицо и стал шумно прихлебывать, покряхтывая, обжигаясь и с наслаждением отдуваясь.

— И грунт здесь хрупкий, — продолжала Майка, — он бы не выдержал таких сооружений. Это же десятки, а может быть, и сотни тысяч тонн!

— Да, — произнес Комов и со стуком поставил пустую чашу на стол. — Что и говорить, странно. — Он сильно потер ладони. — Замерз как собака, — сообщил он. Это был опять совсем другой Комов — румяный, красноносый, доброжелательный, с блестящими веселыми глазами. — Странно, странно, ребята. Но это еще не самое странное — мало ли странного бывает на чужих планетах. — Он повалился в кресло и вытянул ноги. — Сегодня меня, знаете ли, трудно удивить. За эти четыре часа я наслышался такого... Кое-что нуждается, конечно, в проверке. Но вот вам два фундаментальных факта, которые, так сказать, уже теперь

лежат на поверхности. Во-первых, Малыш... его зовут Малыш... уже научился бегло говорить и понимать практически все, что говорят ему. Это мальчишка, который за всю свою сознательную жизнь ни разу не общался с людьми!

— Что значит — бегло? — недоверчиво спросила Майка. — После четырех часов обучения — бегло?

— Да, после четырех часов обучения — бегло! — торжествующе подтвердил Комов. — Но это во-первых. А во-вторых, Малыш пребывает в совершенной убежденности, что он — единственный обитатель этой планеты.

Мы не поняли.

— Почему же единственный? — спросил я. — Какой же он единственный?

— Малыш совершенно убежден, — с ударением произнес Комов, — что кроме него на этой планете нет ни одного разумного аборигена.

Воцарилось молчание. Комов поднялся.

— У нас много работы, — сказал он. — Завтра утром Малыш намерен нанести нам официальный визит.

Глава шестая. Нелюди и вопросы

Мы проработали всю ночь. В кают-компании был оборудован импровизированный диагностер с индикатором эмоций. Мы с Вандерхузе собрали его буквально из ничего. Приборчик получился маломощный, хилый, с безобразной чувствительностью, но кое-какие физиологические параметры он мерил более или менее удовлетворительно, а что касается индикатора, то фиксировал он у нас только три основные позиции: ярко выраженные отрицательные эмоции (красная лампочка на пульте), ярко выраженные положительные эмоции (зеленая лампочка) и вся остальная эмоциональная гамма (белая лампочка). А что было делать? В медотсеке стоял прекрасный стационарный диагностер, но было совершенно ясно, что Малыш не согласится так, ни с того ни с сего, укладываться в матово-белый саркофаг с массивной герметической крышкой. В общем, к девяти часам мы кое-как управились, и тут во весь рост встала проблема дежурства на посту УАС.

Вандерхузе как капитан корабля, отвечающий за безопасность, неприкосновенность и все такое

прочее, категорически отказался отменить это дежурство. Майка, просидевшая на посту вторую половину ночи, естественно, льстила себя надеждой, что уж она-то присутствовать при официальном визите будет непременно. Однако она была горько разочарована. Выяснилось, что квалифицированно работать на диагностере может только Вандерхузе. Выяснилось дальше, что поддерживать в рабочем состоянии диагностер, в любую минуту рискующий потерять настройку, могу только я. И наконец, выяснилось, что Комов по каким-то своим высшим ксенопсихологическим соображениям считал нежелательным присутствие женщины на первой беседе с Малышом. Короче говоря, бледная от бешенства Майка снова отправилась на пост, причем сохранивший полное хладнокровие Вандерхузе не преминул проводить ее приемным раструбом диагностера, так что все желающие могли убедиться: индикатор эмоций действует — красная лампочка горела до тех пор, пока Майка не скрылась в коридоре. Впрочем, на посту УАС можно было слышать, что говорится в кают-компании, через интерком с усилителем.

В девять пятнадцать по бортовому времени Комов вышел на середину кают-компании и

огляделся. Все было готово. Диагностер был настроен и включен, на столе красовались блюда со сластями, освещение было отрегулировано под местный дневной свет. Комов коротко повторил инструкцию по поведению при контакте, включил регистрирующую аппаратуру и пригласил нас по местам. Мы с Комовым уселись за стол напротив двери, Вандерхузе втиснулся за панель диагностера, и мы стали ждать.

Он явился в девять сорок по бортовому времени.

Он остановился в дверях, вцепившись левой рукой в косяк и поджав правую ногу. Наверное, целую минуту он стоял так, разглядывая нас по очереди сквозь прорези своей мертвенной маски. Тишина была такая, что я слышал его дыхание — мерное, мощное, свободное, словно работал хорошо отлаженный механизм. Вблизи и при ярком свете он производил еще более странное впечатление. Все в нем было странным: и поза — по-человечески совершенно неестественная и вместе с тем непринужденная, и блестящая, словно лаком покрытая зеленовато-голубая кожа, и неприятная диспропорция в расположении мышц и сухожилий, и необычайно мощные коленные узлы, и удивительно узкие и длинные

ступни ног. И то, что он оказался не таким уж маленьким — ростом с Майку. И то, что на пальцах левой руки у него не было ногтей. И то, что в правом кулаке он сжимал горсть свежих листьев.

Взгляд его остановился наконец на Вандерхузе. Он смотрел на Вандерхузе так долго и так пристально, что мне пришла в голову дикая мысль: уж не догадывается ли Малыш о назначении диагностера, — а наш бравый капитан в конце концов с некоторой нервностью взбил согнутым пальцем свои бакенбарды и, вопреки инструкции, слегка поклонился.

— Феноменально! — громко и отчетливо произнес Малыш голосом Вандерхузе. На индикаторе затлела зеленая лампочка.

Капитан снова нервно взбил бакенбарды и искательно улыбнулся. И тотчас же лицо Малыша ожило. Вандерхузе был награжден целой серией ужасающих гримас, мгновенно сменявших друг друга. На лбу у Вандерхузе выступил холодный пот. Не знаю, чем бы все это кончилось, но тут Малыш отлепился наконец от косяка, скользнул вдоль стены и остановился возле экрана видеофона.

— Что это? — спросил он.

— Видеофон, — ответил Комов.

— Да, — сказал Малыш. — Все движется, и ничего нет. Изображения.

— Вот еда, — сообщил Комов. — Хочешь поесть?

— Еда — отдельно? — непонятно спросил Малыш и приблизился к столу. — Это еда? Не похоже. Шарада.

— Не похоже на что?

— Не похоже на еду.

— Все-таки попробуй, — посоветовал Комов, придвигая к нему блюдо с меренгами.

Тогда Малыш вдруг упал на колени, протянул вперед руки и открыл рот. Мы молчали, опешив. Малыш тоже не двигался. Глаза его были закрыты. Это длилось всего несколько секунд, затем он вдруг мягко повалился на спину, сел и резким движением разбросал на полу перед собою смятые листья. По лицу его снова пробежала ритмичная рябь. Быстрыми и какими-то очень точными касаниями пальцев он принялся передвигать листики, время от времени помогая себе ногой. Мы с Комовым, привстав с кресел и вытянув шеи, следили за ним. Листья словно сами собой укладывались в странный узор, несомненно правильный, но не вызывающий решительно никаких ассоциаций. На мгновение

Малыш застыл в неподвижности — и вдруг снова одним резким движением сгреб листья в кучку. Лицо его замерло.

— Я понимаю, — объявил он, — это — ваша еда. Я так не ем.

— Смотри, как надо, — сказал Комов.

Он протянул руку, взял меренгу, нарочито медленным движением поднес ее ко рту, откусил осторожно и принялся демонстративно жевать. По мертвенному лицу Малыша пробежала судорога.

— Нельзя! — почти крикнул он. — Ничего нельзя брать руками в рот. Будет плохо!

— А ты попробуй, — снова предложил Комов, взглянул в сторону диагностера и осекся. — Ты прав. Не надо. Что будем делать?

Малыш присел на левую пятку и сочным баритоном произнес:

— Сверчок на печи. Чушь. Объясни мне снова: когда вы отсюда уходите?

— Сейчас объяснить трудно, — мягко ответил Комов. — Нам очень, очень нужно узнать все о тебе. Ты ведь еще ничего о себе не рассказывал. Когда мы узнаем о тебе все, мы уйдем, если ты захочешь.

— Ты знаешь обо мне все, — объявил Малыш

голосом Комова. — Ты знаешь, как я возник. Ты знаешь, как я сюда попал. Ты знаешь, зачем я к тебе пришел. Ты знаешь обо мне все.

У меня глаза на лоб полезли, а Комов как будто даже и не удивился.

— Почему ты думаешь, что я все это знаю? — спросил он спокойно.

— Я размышлял. Я понял.

— Это феноменально, — спокойно сказал Комов, — но это не совсем верно. Я ничего не знаю о том, как ты здесь жил до меня.

— Вы уйдете сразу, когда узнаете обо мне все? Это так?

— Да, если ты захочешь.

— Тогда спрашивай, — сказал Малыш. — Спрашивай быстро, потому что я тоже хочу тебя спросить.

Я взглянул на индикатор. Просто так взглянул. И мне стало не по себе. Только что там был нейтральный белый свет, а сейчас ярким рубиновым огнем горел сигнал отрицательных эмоций. Я мельком заметил, что лицо у Вандерхузе встревожено.

— Сначала расскажи мне, — произнес Комов, — почему ты так долго прятался?

— Курвиспат, — отчетливо выговорил Малыш

и пересел на правую пятку. — Я давно знал, что люди придут снова. Я ждал, мне было плохо. Потом я увидел: люди пришли. Я стал размышлять и понял — если людям сказать, они уйдут, и тогда будет хорошо. Обязательно уйдут, но я не знал — когда. Людей четыре. Очень много. Даже один очень много. Но лучше, чем четыре. Я входил к одному и разговаривал днем. Я входил к одному и разговаривал ночью. Шарада. Тогда я подумал: один человек говорить не может. Я пришел к четверым. Было очень весело, мы играли с изображениями, мы бежали, как волна. Опять шарада. Вечером я увидел: один сидит отдельно. Ты. Я подумал и понял: ты ждешь меня. Я подошел. Чеширский кот! Вот как было.

Он говорил резко и отрывисто, голосом Комова, и только внесмысловые слова он произносил этим сочным незнакомым баритоном. Руки, пальцы его ни на секунду не оставались в покое, и сам он все время двигался, и движения его были стремительны и неуловимо плавны, он словно переливался из одной позы в другую. Фантастическое это было зрелище: привычные стены кают-компании, ванильный запах от пирожных, все такое домашнее, обычное — только странный лиловатый свет и в этом свете на полу гибкое,

плавное и стремительное маленькое чудище. И тревожный рубиновый огонек на пульте.

— Откуда ты знал, что люди придут снова? — спросил Комов.

— Я размышлял и понял.

— А может быть, кто-нибудь рассказал тебе?

— Кто? Камни? Солнце? Кусты? Я один. Я и мои изображения. Но они молчат. С ними можно только играть. Нет. Люди пришли и ушли. — Он быстрым движением передвинул несколько листочков на полу. — Я подумал и понял: они придут снова.

— А почему тебе было плохо?

— Потому что люди.

— Люди никогда никому не вредят. Люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо.

— Я знаю, — сказал Малыш. — Я ведь уже говорил: люди уйдут, и будет хорошо.

— От каких действий людей тебе плохо?

— От всех. Они есть или они могут прийти — это плохо. Они уйдут навсегда — это хорошо.

Красный огонек на пульте буравил мне душу. Я не удержался и тихонько толкнул Комова ногой под столом.

— Откуда ты узнал, что если людям сказать, то они уйдут? — спросил Комов, не обратив на меня

внимания.

— Я знал: люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо.

— Но как ты это узнал? Ты же никогда не общался с людьми.

— Я много размышлял. Долго не понимал. Потом понял.

— Когда понял? Давно?

— Нет, недавно. Когда ты ушел от озера, я поймал рыбу. Я очень удивился. Она почему-то умерла. Я стал размышлять и понял, что вы обязательно уйдете, если вам сказать.

Комов покусал нижнюю губу.

— Я заснул на берегу океана, — сказал он вдруг. — Когда я проснулся, то увидел: на мокром песке возле меня — следы человеческих ног. Я поразмыслил и понял: пока я спал, мимо меня прошел человек. Откуда я это узнал? Ведь я не видел человека, я увидел только следы. Я размышлял: раньше следов не было; теперь следы есть; значит они появились, пока я спал. Это человеческие следы — не следы волн, не следы камня, который скатился с горы. Значит, мимо меня прошел человек. Пока я спал, мимо меня прошел человек. Так размышляем мы. А как размышляешь ты? Вот прилетели люди. Ты ничего о них не знаешь.

Но ты поразмыслил и узнал, что они обязательно улетят навсегда, если ты поговоришь с ними. Как ты размышлял?

Малыш долго молчал — минуты три. На лице и на груди его вновь начался танец мускулов. Проворные пальцы двигали и перемещали листья. Потом он отпихнул листья ногой и сказал громким сочным баритоном:

— Это вопрос. По бим-бом-брамселям!

Вандерхузе затравленно кашлянул в своем углу, и Малыш сейчас же поглядел на него.

— Феноменально! — воскликнул он все тем же баритоном. — Я всегда хотел узнать: почему длинные волосы на щеках?

Воцарилось молчание. И вдруг я увидел, как рубиновый огонек погас и разгорелся изумрудный.

— Ответьте ему, Яков, — спокойно попросил Комов.

— Гм... — сказал Вандерхузе, порозовев. — Как тебе сказать, мой мальчик... — Он машинально взбил бакенбарды. — Это красиво, это мне нравится... По-моему, это достаточное объяснение, как ты полагаешь?

— Красиво... нравится... — повторил Малыш. — Колокольчик! — сказал он вдруг нежно. — Нет, ты не объяснил. Но так бывает. Почему только на

щеках? Почему нет на носу?

— А на носу некрасиво, — наставительно сказал Вандерхузе. — И в рот попадают, когда ешь...

— Правильно, — согласился Малыш. — Но если на щеках и если идешь через кусты, то должен цепляться. Я всегда цепляюсь волосами, хотя они у меня наверху.

— Гм, — сказал Вандерхузе. — Видишь ли, я редко хожу через кусты.

— Не ходи через кусты, — сказал Малыш. — Будет больно. Сверчок на печи!

Вандерхузе не нашелся, что ответить, но по всему видно было, что он доволен. На индикаторе горел изумрудный огонек, Малыш явно забыл о своих заботах, и наш бравый капитан, очень любивший детей, несомненно испытывал определенное умиление. К тому же ему, кажется, льстило, что его бакенбарды, служившие до сих пор только объектом более или менее плоских острот, сыграли такую заметную роль в ходе контакта. Но тут наступила моя очередь. Малыш неожиданно глянул мне в глаза и выпалил:

— А ты?

— Что — я? — спросил я, растерявшись, а потому агрессивно.

Комов немедленно и с явным удовольствием

пнул меня в лодыжку.

— У меня вопрос к тебе, — объявил Малыш. — Тоже всегда. Но ты боялся. Один раз чуть меня не погубил — зашипел, заревел, ударил меня воздухом. Я бежал до самых сопок. То большое, теплое, с огоньками, делает ровную землю — что это?

— Машины, — сказал я и откашлялся. — Киберы.

— Киберы, — повторил Малыш. — Живые?

— Нет, — сказал я. — Это машины. Мы их сделали.

— Сделали? Такое большое? И двигается? Феноменально. Но ведь они большие!

— Бывают и больше, — сказал я.

— Еще больше?

— Гораздо больше, — сказал Комов. — Больше, чем айсберг.

— И они тоже двигаются?

— Нет, — сказал Комов. — Но они размышляют.

И Комов принялся рассказывать, что такое кибернетические машины. Мне было очень трудно судить о душевных движениях Малыша. Если исходить из предположения, что душевные движения его так или иначе выражались движениями телесными, можно было считать, что

Малыш сражен наповал. Он метался по кают-компании, словно кот Тома Сойера, хлебнувший болеутолителя. Когда Комов объяснил ему, почему моих киберов нельзя считать ни живыми, ни мертвыми, он вскарабкался на потолок и бессильно повис там, прилипнув к пластику ладонями и ступнями. Сообщение о машинах, гигантских машинах, которые размышляют быстрее, чем люди, считают быстрее, чем люди, отвечают на вопросы в миллион раз быстрее, чем люди, скрутило Малыша в колобок, развернуло, выбросило в коридор и через секунду снова швырнуло к нашим ногам, шумно дышащего, с огромными потемневшими глазами, отчаянно гримасничающего. Никогда раньше и никогда после не приходилось мне встречать такого благодарного слушателя. Изумрудная лампа на пульте индикатора сияла, как кошачий глаз, а Комов говорил и говорил, точными, ясными, предельно простыми фразами, ровным, размеренным голосом и время от времени вставлял интригующие: «Подробнее об этом мы поговорим позже» или: «Это на самом деле гораздо сложнее и интереснее, но ведь ты пока еще не знаешь, что такое гемостатика».

Едва Комов закончил, Малыш вскочил на кресло, обхватил себя своими длинными жилистыми

руками и спросил:

— А можно сделать так, чтобы я говорил, а киберы слушали?

— Ты это уже делал, — сказал я.

Он бесшумно, как тень, упал на руки на стол передо мной.

— Когда?

— Ты прыгал перед ними, и самый большой — его зовут Том — останавливался и спрашивал тебя, какие будут приказания.

— Почему я не слышал вопроса?

— Ты видел вопрос. Помнишь, там мигал красный огонек? Это был вопрос. Том задавал его по-своему.

Малыш перелился на пол.

— Феноменально! — тихо-тихо сказал он моим голосом. — Это игра. Феноменальная игра. Щелкунчик!

— Что значит «щелкунчик»? — спросил вдруг Комов.

— Не знаю, — сказал Малыш нетерпеливо. — Просто слово. Приятно выговаривать. Ч-чеширский кот. Щ-щелкунчик.

— А откуда ты знаешь эти слова?

— Помню. Два больших ласковых человека. Гораздо больше, чем вы... По бим-бом-брамселям!

Щелкунчик... С-сверчок на печи. Мар-ри, Мар-ри! Сверчок кушать хоч-чет!

Честно говоря, у меня мороз пошел по коже, а Вандерхузе побледнел, и бакенбарды его обвисли. Малыш выкрикивал слова сочным баритоном: закрыть глаза — так и видишь перед собой огромного, полного крови и радости жизни человека, бесстрашного, сильного, доброго... Потом в интонации его что-то изменилось, и он тихонько пророкотал с неизъяснимой нежностью:

— Кошенька моя, ласонька... — И вдруг ласковым женским голосом: — Колокольчик!.. Опять мокренький...

Он замолчал, постукивая себя пальцем по носу.

— И ты все это помнишь? — слегка изменившимся голосом произнес Комов.

— Конечно, — сказал Малыш голосом Комова, — а ты разве не помнишь все?

— Нет, — сказал Комов.

— Это потому, что ты размышляешь не так, как я, — уверенно сказал Малыш. — Я помню все. Все, что было вокруг меня когда-нибудь, я уже не забуду. А когда забываю, надо только поразмыслить хорошенько, и все вспоминается. Если тебе интересно обо мне, я потом расскажу. А сейчас

ответь мне: что вверху? Ты вчера сказал: звезды. Что такое звезды? Сверху падает вода. Иногда я не хочу, а она падает. Откуда она? И откуда корабли? Очень много вопросов, я очень много размышлял. Так много ответов, что ничего не понимаю. Нет, не так. Много разных ответов, и все они спутаны друг с другом, как листья... — Он сбил листья на полу в беспорядочную кучку. — Закрывают друг друга, мешают друг другу. Ты ответишь?

Комов принялся рассказывать, и Малыш опять заметался, трепеща от возбуждения. У меня зарябило в глазах, я зажмурился и стал думать, как же это аборигены не объяснили Малышу таких простых вещей; и как это они исхитрились так его одурачить, что он даже не подозревает об их существовании; и как это Малыш умудряется помнить так точно все, что слышал в младенчестве; и как это, в сущности, страшно — особенно то, что он ничего не понимает из запомненного.

Тут Комов вдруг замолчал, в нос мне ударил резкий запах нашатырного спирта, и я открыл глаза. Малыша в кают-компании не было, только слабый, совсем прозрачный фантом быстро таял над горстью рассыпанных листьев. В отдалении слабо чмокнула перепонка люка. Голос Майки обеспокоенно осведомился по интеркому:

— Куда это он так почесал? Что-нибудь случилось?

Я взглянул на Комова. Комов с шелестом потирал руки, задумчиво улыбаясь.

— Да, — проговорил он. — Любопытная картина получается... Майя! — позвал он. — Усы эти появлялись?

— Восемь штук, — сказала Майка. — Только сейчас пропали, а то торчали вдоль всего хребта... Причем, цветные — желтые, зеленые... Я сделала несколько снимков.

— Молодец, — похвалил Комов. — Теперь имейте в виду, Майя, при следующей встрече обязательно будете присутствовать вы... Яков, забирайте регистрограммы, пойдемте ко мне. А вы, Стась... — Он встал и направился в угол, где был установлен блок видеофонографов. — Вот вам кассета, Стась, передайте все в экстренных импульсах прямо в Центр. Дубль я возьму себе, надо проанализировать... Где я тут видел проектор? А, вот он. Я думаю, в нашем распоряжении еще часа три-четыре, потом он снова придет... Да, Стась! Поглядите заодно радиограммы. Если есть что-нибудь стоящее... Только из Центра, с Базы или лично от Горбовского, или от Мбоги.

— Вы меня просили напомнить, — сказал я,

поднимаясь. — Вам еще надо поговорить с Михаилом Альбертовичем.

— Ах, да! — Лицо Комова стало виноватым. — Знаете, Стась, это не совсем законно... Окажите любезность, выдайте запись сразу по двум каналам: не только в Центр, но и на Базу, лично и конфиденциально Сидорову. Под мою ответственность.

— Я и под свою могу, — проворчал я уже за дверью.

Придя в рубку, я вставил кассету в автомат, включил передачу и просмотрел радиограммы. На этот раз их было немного — всего три; видимо, Центр принял меры. Одна радиограмма была из Информатория и состояла из цифр, букв греческого алфавита и значков, которые я видел, только когда регулировал печатающее устройство. Вторая радиограмма была из Центра: Бадер продолжал настойчиво требовать предварительных соображений относительно других вероятных зон обитания аборигенов, возможных типов предстоящего контакта по классификации Бюлова и тому подобное. Третья радиограмма была с Базы, от Сидорова: Сидоров официально запрашивал Комова о порядке доставки заказанного оборудования в зону контакта. Я пораскинул

умом и решил, что первая радиограмма Комову может понадобиться; третью не передать неудобно перед Михаилом Альбертовичем; а что касается Бадера — пусть пока полежит. Какие там еще предварительные соображения.

Через полчаса транслирующий автомат просигналил, что передача закончена. Я вынул кассету, забрал две карточки с радиограммами и отправился к Комову. Когда я вошел, Комов и Вандерхузе сидели перед проектором. По экрану взад и вперед молнией проносился Малыш, виднелись наши с Комовым напряженные физиономии. Вандерхузе сидел, весь подавшись к экрану, поставив локти на стол и захватив бакенбарды в сжатые кулаки.

— ...резкое повышение температуры, — бубнил он. — Доходит до сорока трех градусов... И теперь обратите внимание на энцефалограмму, Геннадий... Вот она, волна Петерса, снова появляется...

На столе перед ними были расстелены рулоны регистрограмм нашего диагностера, множество рулонов валялось на полу и на койке.

— Ага... — задумчиво говорил Комов, ведя пальцем по регистрограмме. — Ага... Минуточку, а здесь у нас что было? — Он остановил проектор, повернулся, чтобы взять один из рулонов, и заме-

тил меня. — Да? — сказал он с неудовольствием.

Я положил перед ним радиограммы.

— Что это? — спросил он нетерпеливо. — А... — Он пробежал радиограмму из Информатория, усмехнулся и отбросил ее в сторону. — Все не то, — сказал он. — Впрочем, откуда им знать... — Потом он проглядел радиограмму Сидорова и поднял глаза на меня. — Вы отправили ему?..

— Да, — сказал я.

— Хорошо, спасибо. Составьте от моего имени радиограмму, что оборудование пока не нужно. Вплоть до нового запроса.

— Хорошо, — сказал я и вышел.

Я составил и отправил радиограмму на Базу и решил посмотреть, как там Майка. Мрачная Майка старательно крутила верньеры. Насколько я понял, она тренировалась в наведении пушки на далеко разнесенные цели.

— Безнадежное дело, — объявила она, заметив меня. — Если все они одновременно в нас плюнут, нам каюк. Просто не успеть.

— Во-первых, можно увеличить телесный угол поражения, — сказал я, подходя. — Эффективность, конечно, уменьшится порядка на три, на четыре, но зато можно охватить четверть горизонта, расстояния здесь небольшие... А во-вторых,

ты действительно веришь, что в нас могут плюнуть?

— А ты?

— Да непохоже что-то...

— А если непохоже, то чего ради я здесь сижу?

Я опустился на пол возле ее кресла.

— Честно говоря, не знаю, — сказал я. — Все равно надо вести наблюдение. Раз уж планета оказалась биологически активной, надо выполнять инструкцию. Сторожа-разведчика ведь не разрешают выпускать...

Мы помолчали.

— Тебе его жалко? — спросила вдруг Майка.

— Н-не знаю, — сказал я. — Почему жалко? Я бы сказал — жутко. А жалеть... Почему, собственно, я должен его жалеть? Он бодрый, живой... Совсем не жалкий.

— Я не об этом. Не знаю, как это сформулировать... Вот я слушала, и мне тошно делалось, как Комов себя с ним держит. Ведь ему абсолютно наплевать на мальчишку...

— Что значит — наплевать? Комову надо установить контакт. Он проводит определенную стратегию... Ты ведь понимаешь, что без Малыша в контакт нам не вступить...

— Понимаю. От этого меня, наверное, и тош-

нит. Малыш-то ничего не знает об аборигенах... Слепое орудие!

— Ну, не знаю, — сказал я. — По-моему, ты здесь впадаешь в сентиментальность. Он ведь все-таки не человек. Он абориген. Мы налаживаем с ним контакт. Для этого надо преодолеть какие-то препятствия, разгадать какие-то загадки... Трезво надо к этому относиться, по-деловому. Чувства здесь ни при чем. Он ведь к нам тоже, прямо скажем, любви не испытывает. И испытывать не может. В конце концов, что такое контакт? Столкновение двух стратегий.

— Ох, — сказала Майка. — Скучно ты говоришь. Суконно. Тебе только программы составлять. Кибертехник.

Я не обиделся. Я видел, что Майке нечего возразить по существу, и я чувствовал, что ее действительно что-то мучает.

— Опять у тебя предчувствия, — сказал я. — Но ведь на самом-то деле ты и сама прекрасно понимаешь, что Малыш — это единственная ниточка, которая связывает нас с этими невидимками. Если мы Малышу не понравимся, если мы его не завоюем...

— Вот-вот, — прервала меня Майка. — В том-то и дело. Что бы Комов ни говорил, как бы он

ни поступал, сразу чувствуется: его интересует только одно — контакт. Все для великой идеи вертикального прогресса!

— А как надо? — спросил я.

Она дернула плечом.

— Не знаю. Может быть, как Яков... Во всяком случае, он — единственный из вас — говорил с Малышом по-человечески.

— Ну, знаешь, — сказал я, несколько обидевшись, — контакт на бакенбардном уровне — тоже, в общем...

Мы помолчали, дуясь друг на друга. Майка с преувеличенным старанием крутила верньеры, нацеливая черное перекрестие на заснеженные зубцы хребта.

— В самом деле, Майка, — сказал я наконец, — ты что, не хочешь, чтобы контакт состоялся?

— Да хочу, наверное, — сказала Майка без всякого энтузиазма. — Ты же видел, я очень обрадовалась, когда мы впервые поняли, что к чему... Но вот прослушала я эту вашу беседу... Не знаю. Может быть, это потому, что я никогда не участвовала в контактах... Я все не так себе представляла.

— Нет, — сказал я, — здесь дело не в этом. Я догадываюсь, что с тобой происходит. Ты думаешь,

что он — человек...

— Ты уже говорил это, — сказала Майка.

— Нет, ты дослушай. Тебе все время бросается в глаза человеческое. А ты подойди к этому с другой стороны. Не будем говорить про фантомы, про мимикрию — что у него вообще наше? В какой-то степени общий облик, прямохождение. Ну, голосовые связки... Что еще? У него даже мускулатура не наша, а уж это, казалось бы, прямо из генов... Тебя просто сбивает с толку, что он умеет говорить. Действительно, он великолепно говорит... Но и это ведь, в конце концов, не наше! Никакой человек не способен научиться бегло говорить за четыре часа. И тут дело даже не в запасе слов — надо освоить интонации, фразеологию... Оборотень это, если хочешь знать! А не человек. Мастерская подделка. Подумай только: помнить, что было с тобой в грудном возрасте, а может быть — как знать! — и в утробе матери... Разве это человеческое?.. Вот ты видела когда-нибудь роботов-андроидов? Не видела, конечно, а я видел.

— Ну и что? — мрачно спросила Майка.

— А то, что теоретически идеальный робот-андроид может быть построен только из человека. Это будет сверхмыслитель, это будет сверхсилач, сверхэмоционал, все что угодно «сверх», в том

числе и сверхчеловек, но только не человек...

— Ты, кажется, хочешь сказать, что аборигены превратили его в робота? — проговорила Майка, криво улыбаясь.

— Да нет же, — сказал я с досадой. — Я только хочу убедить тебя, что все человеческое в нем случайно, это просто свойство исходного материала... и что не нужно разводить вокруг него сантименты. Считай, что ты ведешь переговоры с этими цветными усами...

Майка вдруг схватила меня за плечо и сказала вполголоса:

— Смотри, возвращается!

Я привстал и посмотрел на экран. От болота, прямо к кораблю, быстро семеня ногами, во весь дух чесала скособоченная фигурка. Короткая черно-лиловая тень моталась по земле перед нею, грязный хохол на макушке отсвечивал рыжим. Малыш возвращался, Малыш спешил. Длинными своими руками он обнимал и прижимал к животу что-то вроде большой плетеной корзины, доверху набитой камнями. Тяжеленная, должно быть, была корзина.

Майка включила интерком.

— Пост УАС — Комову, — громко сказала она. — Малыш приближается.

— Понял вас, — сейчас же откликнулся Комов. — Яков, по местам... Попов, смените Глумову на посту УАС. Майя, в кают-компанию.

Майка нехотя поднялась.

— Иди, иди, — сказал я. — Посмотри на него вблизи, сосуд скорби.

Она сердито фыркнула и взбежала по трапу. Я занял ее место. Малыш был уже совсем близко. Теперь он замедлил свой бег и смотрел на корабль, и снова у меня появилось ощущение, будто он глядит мне прямо в глаза.

И тут я увидел: над хребтом в серо-лиловом небе возникли из ничего, словно проявились, чудовищные усы чудовищных тараканов. Как и давеча, они медленно гнулись, вздрагивали, сокращались. Я насчитал их шесть.

— Пост УАС! — окликнул меня Комов. — Сколько усов на горизонте?

— Шесть, — ответил я. — Три белых, два красных, один зеленый.

— Вот видите, Яков, — сказал Комов, — строгая закономерность. Малыш к нам — усы наружу.

Приглушенный голос Вандерхузе отозвался:

— Отдаю должное вашей проницательности, Геннадий, и тем не менее дежурство полагаю пока обязательным.

— Ваше право, — коротко сказал Комов. — Майя, садитесь вот сюда...

Я доложил:

— Малыш скрылся в мертвом пространстве. Тащит с собой здоровенную плетенку с камнями.

— Понятно, — сказал Комов. — Приготовились, коллеги!

Я весь обратился в слух и сильно вздрогнул, когда из интеркома грянул рассыпчатый грохот. Я не сразу сообразил, что это Малыш разом высыпал на пол свои булыжники. Я слышал его мощное дыхание, и вдруг совершенно младенческий голос произнес:

— Мам-ма!.. — И снова: — Мам-ма...

А затем раздался уже знакомый мне захлебывающийся плач годовалого младенца. По старой памяти у меня что-то съежилось внутри, и в то же мгновение я понял, что это: Малыш увидел Майку. Это продолжалось не больше полуминуты; плач оборвался, снова загремели камни, и голос Комова деловито произнес:

— Вот вопрос. Почему мне все интересно? Все вокруг. Почему у меня все время появляются вопросы? Ведь мне от них нехорошо. Они у меня чешутся. Много вопросов. Десять вопросов в день, двадцать вопросов в день. Я стараюсь спа-

стись: бегаю, целый день бегаю или плаваю, — не помогает. Тогда начинаю размышлять. Иногда приходит ответ. Это — удовольствие. Иногда приходят много ответов, не могу выбрать. Это — неудовольствие. Иногда ответы не приходят. Это — беда. Очень чешется. Ш-шарада. Сначала я думал, вопросы идут изнутри. Но я поразмыслил и понял: все, что идет изнутри, должно делать мне удовольствие. Значит, вопросы идут снаружи? Правильно? Я размышляю, как ты. Но тогда, где они лежат, где они висят, где их точка?

Пауза. Потом снова раздался голос Комова — настоящего Комова. Очень похоже, только настоящий Комов говорил не так отрывисто, и голос его звучал не так резко. В общем, отличить было можно, если знаешь, в чем дело.

— Я мог бы уже сейчас ответить на этот твой вопрос, — медленно проговорил Комов. — Но я боюсь ошибиться. Боюсь ответить неправильно или неточно. Когда я узнаю о тебе все, я смогу ответить без ошибки.

Пауза. Загремели и заскрипели по полу передвигаемые камни.

— Ф-фрагмент, — сказал Малыш. — Вот еще вопрос. Откуда берутся ответы? Ты меня заставил думать. Я всегда считал: есть ответ — это удоволь-

ствие, нет ответа — беда. Ты мне рассказал, как размышляешь ты. Я вспоминал и вспомнил, что я тоже часто так размышляю, и часто приходит ответ. Видно, как он приходит. Так я делаю объем для камней. Вот такой. («Корзину», — подсказал Комов.) Да, корзину. Один прут цепляется за второй, второй — за третий, третий — дальше, и получается... корзина. Видно — как. Но гораздо чаще я размышляю, — снова загремели камни, — и ответ получается готовый. Есть куча прутьев, и вдруг — готовая корзина. Почему?

— И на этот вопрос, — сказал Комов, — я смогу ответить, только когда узнаю о тебе все.

— Тогда узнавай! — потребовал Малыш. — Узнавай скорее! Почему не узнаёшь? Я расскажу сам. Был корабль, только больше твоего, теперь он съежился, а был очень большой. Это ты знаешь сам. Потом было так.

Из интеркома донесся раздирающий хруст и треск, и сейчас же отчаянно, на нестерпимо высокой ноте завизжал ребенок. И сквозь этот визг, сквозь затихающий треск, удары, звон бьющегося стекла прохрипел мужской задыхающийся голос:

— Мари... Мари... Ма... ри...

Ребенок кричал, надрываясь, и некоторое время

ничего больше не было слышно. Потом раздался какой-то шорох, сдавленный стон. Кто-то полз по полу, усеянному обломками и осколками, что-то покатилось с дребезгом. До жути знакомый женский голос простонал:

— Шура... Где ты, Шура?.. Больно... Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу, Шура... Да отзовись же, Шура! Больно как! Помоги мне, я ничего не вижу...

И все это сквозь непрекращающийся крик младенца. Потом женщина затихла, через некоторое время затих и младенец. Я перевел дух и обнаружил, что кулаки у меня сжаты, а ногти глубоко вонзились в ладони. Челюсти у меня онемели.

— Так было долго, — сказал Малыш торжественно. — Я устал кричать. Я заснул. Когда я проснулся, было темно, как раньше. Мне было холодно. Я хотел есть. Я так сильно хотел есть и чтобы было тепло, что сделалось так.

Целый каскад звуков хлынул из интеркома — совершенно незнакомых звуков. Ровное нарастающее гудение, частое щелканье, какие-то гулы, похожие на эхо; басистое, на пороге слышимости бормотание; писк, скрип, зудение, медные удары, потрескивание... Это продолжалось долго, несколько минут. Потом все разом стихло, и Ма-

лыш, чуть задыхаясь, сказал:

— Нет. Так мне не рассказать. Так я буду рассказывать столько времени, сколько я живу. Что делать?

— И тебя накормили? Согрели тебя? — спросил Комов ровным голосом.

— Стало так, как мне хотелось. И с тех пор всегда было так, как мне хотелось. Пока не прилетел первый корабль.

— А что это было? — спросил Комов и, на мой взгляд, очень удачно проимитировал звуковую кашу, которую мы только что слышали.

Пауза.

— А, понимаю, — сказал Малыш. — Ты совсем не умеешь, но я тебя понял. Но я не могу ответить. Ведь у тебя самого нет слова, чтобы назвать. А ты знаешь больше слов, чем я. Дай мне слова. Ты мне дал много ценных слов, но все не те.

Пауза.

— Какого это было цвета? — спросил Комов.

— Никакого. Цвет — это когда смотришь глазами. Там нельзя смотреть глазами.

— Где — там?

— У меня. Глубоко. В земле.

— А как там на ощупь?

— Прекрасно, — сказал Малыш. — Удоволь-

ствие. Ч-чеширский кот! У меня лучше всего. Так было, пока не пришли люди.

— Ты там спишь? — спросил Комов.

— Я там всё. Сплю, ем, размышляю. Только играю я здесь, потому что люблю глядеть глазами. И там тесно играть. Как в воде, только еще теснее.

— Но ведь в воде нельзя дышать, — сказал Комов.

— Почему нельзя? Можно. И играть можно. Только тесно.

Пауза.

— Теперь ты все обо мне узнал? — осведомился Малыш.

— Нет, — решительно сказал Комов. — Ничего я о тебе не узнал. Ты же видишь, у нас нет общих слов. Может быть, у тебя есть свои слова?

— Слова... — медленно повторил Малыш. — Это когда двигается рот, а потом слышно ушами. Нет. Это только у людей. Я знал, что есть слова, потому что я помню. По бим-бом-брамселям. Что это такое? Я не знаю. Но теперь я знаю, зачем многие слова. Раньше не знал. Было удовольствие говорить. Игра.

— Теперь ты знаешь, что значит слово «океан», — произнес Комов, — но океан ты видел и раньше. Как ты его называл?

Пауза.

— Я слушаю, — сказал Комов.

— Что ты слушаешь? Зачем? Я назвал. Так нельзя услышать. Это внутри.

— Может быть, ты можешь показать? — сказал Комов. — У тебя есть камни, прутья...

— Камни и прутья не для того, чтобы показывать, — объявил Малыш, как мне показалось, сердито. — Камни и прутья — для того, чтобы размышлять. Если тяжелый вопрос — камни и прутья. Если не знаешь, какой вопрос, — листья. Тут много всяких вещей. Вода, лед — он хорошо тает, поэтому... — Малыш помолчал. — Нет слов, — сообщил он. — Много всяких вещей. Волосы... и много такого, для чего нет слова. Но это там, у меня.

Послышался протяжный тяжкий вздох. По-моему, Вандерхузе. Майка вдруг спросила:

— А когда ты двигаешь лицом? Что это?

— Мам-ма... — сказал Малыш нежным мяукающим голоском. — Лицо, руки, тело, — продолжал он голосом Майки, — это тоже вещи для размышления. Этих вещей много. Долго все называть.

Пауза.

— Что делать? — спросил Малыш. — Ты придумал?

— Придумал, — ответил Комов. — Ты возьмешь меня к себе. Я посмотрю и сразу многое узнаю. Может быть, даже все.

— Об этом я размышлял, — сказал Малыш. — Я знаю, что ты хочешь ко мне. Я тоже хочу, но я не могу. Это вопрос! Когда я хочу, я все могу. Только не про людей. Я не хочу, чтобы они были, а они есть. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне, но не могу. Люди — это беда.

— Понимаю, — сказал Комов. — Тогда я возьму тебя к себе. Хочешь?

— Куда?

— К себе. Туда, откуда я пришел. На Землю, где живут все люди. Там я тоже смогу узнать о тебе все, и довольно быстро.

— Но ведь это далеко, — проговорил Малыш. — Или я тебя не понял?

— Да, это очень далеко, — сказал Комов. — Но мой корабль...

— Нет! — сказал Малыш. — Ты не понимаешь. Я не могу далеко. Я не могу даже просто далеко и уж совсем не могу очень далеко. Один раз я играл на льдинах. Заснул. Проснулся от страха. Большой страх, огромный. Я даже закричал. Фрагмент! Льдина уплыла, и я видел только верхушки гор. Я подумал, что океан проглотил землю. Конечно, я

вернулся. Я очень захотел, и льдина сразу пошла обратно к берегу. Но теперь я знаю, мне нельзя далеко. Я не только боялся. Мне было худо. Как от голода, только гораздо хуже. Нет, к тебе я не могу.

— Ну хорошо, — произнес Комов натужно-веселым голосом. — Наверное, тебе надоело отвечать и рассказывать. Я знаю, что ты любишь задавать вопросы. Задавай, я буду отвечать.

— Нет, — сказал Малыш, — у меня много вопросов к тебе. Почему падает камень? Что такое горячая вода? Почему пальцев десять, а чтобы считать, нужен всего один? Много вопросов. Но я не буду сейчас спрашивать. Сейчас плохо. Ты не можешь ко мне, я не могу к тебе, слов нет. Значит, узнать все про меня ты не можешь. Ш-шарада! Значит, не можешь уйти. Я прошу тебя: думай, что делать. Если сам не можешь быстро думать, пусть думают твои машины в миллион раз быстрее. Я ухожу. Нельзя размышлять, когда разговариваешь. Размышляй быстрее, потому что мне хуже, чем вчера. А вчера было хуже, чем позавчера.

Загремел и покатился камень. Вандерхузе опять протяжно и тяжко вздохнул. Я глазом не успел моргнуть, а Малыш уже вихрем мчался к

сопкам через строительную площадку. Я видел, как он проскочил взлетную полосу и вдруг исчез, словно его и не было. И в ту же секунду, как по команде, исчезли разноцветные усы над хребтом.

— Так, — сказал Комов. — Ничего не поделаешь. Яков, прошу вас, дайте радиограмму Сидорову, пусть доставит сюда оборудование, я вижу, без ментоскопа мне не обойтись.

— Хорошо, — сказал Вандерхузе. — Но я хотел бы обратить ваше внимание, Геннадий... За весь разговор на индикаторе ни разу не зажегся зеленый огонь.

— Я видел, — сказал Комов.

— Но ведь это не просто отрицательные эмоции, Геннадий. Это ярко выраженные отрицательные эмоции...

Ответа Комова я не расслышал.

Я просидел на посту весь вечер и половину ночи. Ни вечером, ни ночью Малыш больше не появлялся. Усы тоже не появлялись. И Майка тоже.

Глава седьмая. Вопросы и сомнения

За завтраком Комов был очень разговорчив. Ночью он, по-моему, совсем не спал, глаза у него были красные, щеки запали, но был он весел и возбужден. Он наливался крепким чаем и излагал нам свои предварительные соображения и выводы.

По его словам, теперь уже не было никакого сомнения в том, что аборигены подвергли организм мальчика самым коренным изменениям. Они оказались удивительно смелыми и знающими экспериментаторами: они изменили его физиологию и, частично, анатомию, невероятно расширили активную область его мозга, а также снабдили его новыми физиологическими механизмами, развить которые на базе обычного человеческого организма с точки зрения современной земной науки представляется пока невозможным. Цель этих анатомо-физиологических изменений лежит, может быть, на поверхности: аборигены попросту стремились приспособить беспомощного человеческого детеныша к совершенно нечеловеческим условиям существования в этом мире. Не совсем ясным

представляется вопрос, зачем они так серьезно вмешались в работу центральной нервной. Можно допустить, конечно, что это получилось у них случайно, как побочное следствие анатомо-физиологических изменений. Но можно допустить также, что они использовали резервы человеческого мозга целенаправленно. Тогда возникает веер предположений. Например, они стремились сохранить у Малыша все его младенческие воспоминания и впечатления, с тем чтобы облегчить ему обратную адаптацию, если он вновь попадет в человеческое общество. Действительно, Малыш поразительно легко сошелся с нами, так что мы не кажемся ему ни уродами, ни чудовищами. Но не исключено также, что громадная память Малыша и феноменальное развитие его звуковоспроизводящих центров есть опять же лишь побочный результат работы аборигенов над его мозгом. Возможно, аборигены прежде всего стремились создать между собой и центральной нервной Малыша устойчивую психическую связь. То, что такая связь существует, представляется в высшей степени вероятным. Во всяком случае, трудно иначе объяснить такие факты, как спонтанное — внелогическое — появление у Малыша ответов на вопросы; непременное исполнение всех

осознанных и даже неосознанных желаний Малыша; прикованность Малыша к этому району планеты. Сюда же, вероятно, относится и сильное психическое напряжение, в котором пребывает Малыш в связи с появлением людей. Сам Малыш не в состоянии объяснить, чем, собственно, ему мешают люди. Очевидно, что мы мешаем не ему. Мы мешаем аборигенам. И тут мы вплотную подходим к вопросу о природе аборигенов.

Простая логика заставляет нас предположить, что аборигены являются существами либо микроскопическими, либо гигантскими — так или иначе, несоизмеримыми с физическими размерами Малыша. Именно поэтому Малыш воспринимает их самих и их проявления как стихию, как часть природы, окружающей его с младенчества. («Когда я спросил его про усы, Малыш довольно равнодушно сообщил: усы он видит впервые, но он каждый день видит что-нибудь впервые. Слова же для обозначения подобных явлений мы подобрать не смогли».) Лично он, Комов, склонен предполагать, что аборигены представляют собой некие исполинские сверхорганизмы, чрезвычайно далекие как от гуманоидов, так и от негуманоидных структур, с которыми человек встречался прежде. Мы

знаем о них пока ничтожно мало. Мы видели: чудовищные сооружения (или образования?) над горизонтом, появление и исчезновение которых явно связаны с посещениями Малыша. Мы слышали: ни с чем не ассоциируемые звуки, которые воспроизводил Малыш, описывая свой «дом». Мы поняли: аборигены находятся на чрезвычайно высоком уровне теоретического и практического знания, если судить по тому, во что они сумели превратить обыкновенного человеческого младенца. Вот и все. У нас пока даже вопросов не много, хотя вопросы эти, конечно, фундаментальны. Почему аборигены спасли и содержат Малыша, почему они вообще заинтересовались им, какое им до него дело? Откуда они знают людей — знают неплохо, разбираются в основах их психологии и социологии? Почему при всем том они так отталкиваются от общения с людьми? Как совместить очевидно высокий уровень знаний с полным отсутствием следов какой бы то ни было разумной деятельности? Или нынешнее плачевное состояние планеты как раз и есть следствие этой деятельности? Или состояние это является плачевным только с нашей точки зрения? Вот, собственно, и все основные вопросы. У него, Комова, есть кое-какие соображения на

этот счет, но он полагает, что высказывать их пока преждевременно.

Во всяком случае, ясно, что сделанное открытие есть открытие первостепенной важности, реализовать его необходимо, но реализация возможна только через посредничество Малыша. Скоро должна прибыть ментоскопическая и прочая спецтехника. Использовать ее на все сто процентов мы сможем только в том случае, если Малыш нам будет полностью доверять и, более того, будет испытывать достаточно сильную в нас нужду.

— Я решил, что сегодня в контакт с ним не вступаю, — произнес Комов, отодвинув пустой стакан. — Сегодня ваша очередь. Стась, вы покажете ему своего Тома. Майя, вы будете играть с ним в мяч и катать его на глайдере. Не стесняйтесь с ним, ребята, веселее, проще! Представьте себе, что он — ваш младший братишка-вундеркинд... Яков, вам придется побыть на дежурстве. В конце концов, вы сами его учредили... Ну, а если Малыш доберется и до вас, как-нибудь соберитесь с силами и позвольте ему подергать вас за бакенбарды — очень он ими интересуется. А я притаюсь, как паук, буду за всем этим наблюдать и регистрировать. Поэтому, молодежь, извольте

экипироваться «третьим глазом». Если Малыш будет спрашивать обо мне, скажите, что я размышляю. Пойте ему песни, покажите ему кино... Покажите ему вычислитель, Стась, расскажите, как он действует, попробуйте считать с ним наперегонки. Думаю, здесь ожидает вас некоторый сюрприз... И пусть он больше спрашивает, как можно больше. Чем больше, тем лучше... По местам, ребята, по местам!

Он вскочил и умчался. Мы посмотрели друг на друга.

— Вопросы есть, кибертехник? — спросила Майка. Холодно спросила, совсем не по-дружески. Это были ее первые слова за все утро. Она даже не поздоровалась со мной сегодня.

— Нет, квартирьер, — сказал я. — Вопросов нет, квартирьер. Вас вижу, но не слышу.

— Все это, конечно, хорошо, — задумчиво проговорил Вандерхузе. — Мне бакенов не жалко. Но!

— Вот именно, — сказала Майка, поднимаясь. — Но.

— Я хочу сказать, — продолжал Вандерхузе, — что вчера вечером была радиограмма от Горбовского. Он самым деликатным образом, но совершенно недвусмысленно просил Комова не форсировать контакт. И он снова намекал, что

был бы рад к нам присоединиться.

— А что Комов? — спросил я.

Вандерхузе задрал голову и, лаская левый бакенбард, поглядел на меня поверх носа.

— Комов высказался об этом непочтительно, — сказал он. — Устно, конечно. Ответил же он в том смысле, что благодарит за совет.

— И? — сказал я. Мне очень хотелось поглядеть на Горбовского. Я его толком даже в хронике никогда не видел.

— И все, — сказал Вандерхузе, тоже поднимаясь.

Мы с Майкой отправились в арсенал. Там мы отыскали и нацепили на лбы широкие пластинчатые обручи с «третьим глазом» — знаете, эти портативные телепередатчики для разведчиков-одиночек, чтобы можно было непрерывно передавать визуальную и акустическую информацию, все, что видит и слышит сам разведчик. Простая, но остроумная штука, ее совсем недавно стали включать в комплект оборудования ЭР. Пришлось немножко повозиться, пока мы подгоняли обручи, чтобы они не давили на виски и не сваливались на переносицу и чтобы объектив не экранировался капюшоном. При этом я отпускал отчаянные остроты, всячески провоцировал Май-

ку на шуточки в мой адрес и вообще пускался во все тяжкие, чтобы хоть немножко расшевелить ее. Все втуне — Майка оставалась хмурой, отмалчивалась или отвечала односложно. Вообще с Майкой это бывает, случаются у нее приступы хандры, и в таких случаях лучше всего оставить ее в покое. Но сейчас мне казалось, что Майка не просто хандрит, а злится, и злится именно на меня; почему-то я чувствовал себя виноватым перед нею и совершенно не понимал, как быть.

Потом Майка отправилась к себе в каюту искать мяч, а я выпустил на волю Тома и погнал его на посадочную полосу. Солнце уже поднялось, ночной мороз спал, но было все-таки еще очень холодно. Нос у меня сразу закоченел. Вдобавок легким, но очень злым ветерком тянуло с океана. Малыша нигде видно не было.

Я немного погонял Тома по полосе, чтобы дать ему размяться. Том был польщен таким вниманием и преданно испрашивал приказаний. Потом подошла Майка с мячом, и мы, чтобы не замерзнуть, минут пять постукали — честно говоря, не без удовольствия. Я все надеялся, что Майка, по обыкновению, войдет в азарт, но и здесь — втуне. В конце концов мне это надоело, и я прямо спросил, что случилось. Она поставила

мяч на рубчатку, села на него, подобрала доху и пригорюнилась.

— В чем все-таки дело? — повторил я.

Майка посмотрела на меня и отвернулась.

— Может быть, ты все-таки ответишь? — спросил я, повысив голос.

— Ветерок нынче, — произнесла Майка, рассеянно оглядывая небо.

— Что? — спросил я. — Какой ветерок?

Она постучала себя пальцем по лбу рядом с объективом «третьего глаза» и сказала:

— Ба-кал-да-ка. На-кас слы-кы-ша-кат.

— Са-ка-ма-ка ба-кал-да-ка, — ответствовал я. — Та-кам же-ке тра-кан-сля-ка-то-кор...

— И то верно, — сказала Майка. — Вот я и говорю тебе: ветерок, мол.

— Да, — подтвердил я. — Что ветерок, то ветерок.

Я постоял, чувствуя себя чертовски стесненно и пытаясь придумать какую-нибудь нейтральную тему для беседы, ничего, кроме того же ветерка, не придумал, и тут мне пришло в голову, что неплохо бы пройтись. Я ведь ни разу еще не бродил по окрестностям, — без малого неделю здесь нахожусь, а на земле этой так толком и не стоял, только на экранах видел. К тому же был шанс

наткнуться где-нибудь в зарослях на Малыша, особенно если он сам этого захочет, и это было бы уже не только приятно, но и полезно для дела: завязать с ним беседу в привычной для него обстановке. Я изложил все эти соображения Майке. Она молча встала и пошла к болоту, а я, погрузив нос в меховой воротник и засунув руки поглубже в карманы, поплелся следом. Том, изнемогая от услужливости, увязался было за мною, но я велел ему оставаться на месте и ждать дальнейших указаний.

В болото мы, конечно, не полезли, а двинулись в обход, продираясь через заросли кустарника. Жалкая была здесь растительность — бледная, худосочная, вялые синеватые листочки с металлическим отливом, хрупкие узловатые веточки, пятнистая оранжевая кора. Кусты редко достигали моего роста, так что вряд ли Вандерхузе рисковал бы здесь своими бакенбардами. Под ногами упруго подавался толстый слой палых листьев, перемешанных с песком. В тени искрился иней. Но при всем при том растительность эта вызывала определенное к себе уважение. Наверное, очень нелегко было ей здесь произрастать: ночью температура падала до минус двадцати, днем редко поднималась выше нуля,

а под корнями — сплошной соленый песок. Не думаю, чтобы какое-нибудь земное растение сумело бы приспособиться к таким безрадостным условиям. И странно было представить себе, что где-то среди этих прозябших кустов бродит, ступая босыми пятками по заиндевелому песку, голый человечек.

Мне почудилось какое-то движение в густых зарослях справа. Я остановился, позвал: «Малыш!» — но никто не откликнулся. Мерзлая ледяная тишина окружала нас. Ни шелеста листвы, ни жужжания насекомых — все это вызывало неожиданное ощущение, словно мы плутали среди театральных декораций. Мы обогнули длинный язык тумана, высунувшийся из горячего болота, и стали подниматься по склону холма. Собственно, это была песчаная дюна, схваченная кустами. Чем выше мы поднимались, тем тверже становилась под ногами песчаная поверхность. Взобравшись на гребень, мы огляделись. Корабль скрывали от нас облака тумана, но посадочная полоса была видна хорошо. Весело и ярко блестела под солнцем рубчатка, сиротливо чернел посередине оставленный мяч, и грузный Том неуверенно топтался вокруг него — явно решал непосильную задачу: то ли убрать с полосы этот

посторонний предмет, то ли при случае жизнь положить за эту забытую человеком вещь.

И тут я заметил следы на промерзшем песке — темные влажные пятна среди серебристого инея. Здесь проходил Малыш, проходил совсем недавно. Сидел на гребне, а потом поднялся и пошел вниз по склону, удаляясь от корабля. Цепочка следов тянулась в заросли, забившие дно лощины между дюнами. «Малыш!» — снова позвал я, и снова он не отозвался. Тогда я стал спускаться в лощину.

Я нашел его сразу. Мальчик лежал ничком, вытянувшись во всю длину, прижавшись щекой к земле и обхватив голову руками. Он казался очень странным и невозможным здесь, никак не вписывался он в этот ледяной пейзаж. Противоречил ему. В первую секунду я даже испугался, не случилось ли что-нибудь. Слишком уж здесь было холодно и неприютно. Я присел рядом с ним на корточки, окликнул, а потом, когда он промолчал, легонько шлепнул его по голому поджарому заду. Это я впервые прикоснулся к нему и чуть не заорал от неожиданности: он показался мне горячим, как утюг.

— Он придумал? — спросил Малыш, не поднимая головы.

— Он размышляет, — сказал я. — Трудный вопрос.

— А как я узнаю, что он придумал?

— Ты придешь, и он сразу тебе скажет.

— Мам-ма, — вдруг сказал Малыш.

Я взглянул. Майка стояла рядом.

— Мам-ма, — повторил Малыш, не двигаясь.

— Да, колокольчик, — сказала Майка тихо.

Малыш сел — перелился из лежачего положения в сидячее.

— Скажи еще раз! — потребовал он.

— Да, колокольчик, — сказала Майка. Лицо у нее побелело, резко проступили веснушки.

— Феноменально! — произнес Малыш, глядя на нее снизу вверх. — Щелкунчик!

Я прокашлялся.

— Мы тебя ждали, Малыш, — сказал я.

Он стал смотреть на меня. С большим трудом я удержался, чтобы не отвести глаза. Страшненькое все-таки было у него лицо.

— Зачем ты меня ждал?

— Ну, как зачем... — Я несколько растерялся, но меня тут же осенило. — Мы скучаем без тебя. Нам без тебя плохо. Нет удовольствия, понимаешь?

Малыш вскочил и сейчас же снова сел. Очень неудобно сел — я бы двух секунд так не проси-

дел.

— Тебе плохо без меня?

— Да, — сказал я решительно.

— Феноменально, — проговорил он. — Тебе плохо без меня, мне плохо без тебя. Ш-шарада!

— Ну почему же — шарада? — огорчился я. — Если бы мы не могли быть вместе, вот тогда бы была шарада. А сейчас мы встретились, можно играть... Вот ты любишь играть, но ты всегда играл один...

— Нет, — возразил Малыш, — только сначала я играл один. А потом я играл на озере и увидел свое изображение в воде. Хотел с ним играть, оно распалось. Тогда я очень захотел, чтобы у меня были изображения, много изображений, чтобы с ними играть. И стало так.

Он вскочил и легко побежал по кругу, оставляя свои диковинные фантомы — черные, белые, желтые, красные, а потом сел посередине и горделиво огляделся. И должен вам сказать, это было зрелище: голый мальчишка на песке, и вокруг него дюжина разноцветных статуй в разных позах.

— Феноменально, — сказал я и посмотрел на Майку, приглашая ее принять хоть какое-нибудь участие в беседе. Мне было неловко, что я все

время говорю, а она молчит. Но она ничего не сказала, просто хмуро глядела, а фантомы зыбко колебались и медленно таяли, распространяя запах нашатырного спирта.

— Я всегда хотел спросить, — объявил Малыш, — зачем вы заворачиваетесь? Что это такое? — Он подскочил ко мне и дернул за полу дохи.

— Одежда, — сказал я.

— Одежда, — повторил он. — Зачем?

Я рассказал ему про одежду. Я не Комов. Сроду не читал лекций, особенно об одежде. Но без ложной скромности скажу: лекция имела успех.

— Все люди в одежде? — спросил пораженный Малыш.

— Все, — сказал я, чтобы покончить с этим вопросом. Я не совсем понимал, что его, собственно, поражает.

— Но людей много! Сколько?

— Пятнадцать миллиардов.

— Пятнадцать миллиардов, — повторил он и, выставив перед собой палец без ногтя, принялся сгибать и разгибать его. — Пятнадцать миллиардов! — сказал он и оглянулся на призрачные остатки фантомов. Глаза его потемнели. — И все в одежде... А еще что?

— Не понимаю.

— Что они еще делают?

Я набрал в грудь побольше воздуху и принялся рассказывать, что делают люди. Странно, конечно, но до сих пор я как-то не задумывался над этим вопросом. Боюсь, что у Малыша создалось впечатление, будто человечество занимается большей частью кибертехникой. Впрочем, я решил, что для начала и это неплохо. Малыш, правда, не метался, как во время лекций Комова, и не скручивался в узел, но слушал все равно, словно завороженный. И когда я кончил, совершенно запутавшись и отчаявшись дать ему представление об искусстве, он немедленно задал новый вопрос.

— Так много дел, — сказал он. — Зачем пришли сюда?

— Майка, расскажи ему, — взмолился я сиплым голосом. — У меня нос замерз...

Майка отчужденно посмотрела на меня, но все-таки принялась вяло и, на мой взгляд, совсем неинтересно рассказывать про блаженной памяти проект «Ковчег». Я не удержался, стал ее перебивать, пытаясь расцветить лекцию живописными подробностями, затеял вносить поправки, и в конце концов вдруг оказалось, что опять говорю я один. Рассказ свой я счел необхо-

димым закончить моралью.

— Ты сам видишь, — сказал я. — Мы начали было большое дело, но как только поняли, что твоя планета занята, мы сразу же отказались от нашей затеи.

— Значит, люди умеют узнавать, что будет? — спросил Малыш. — Но это неточно. Если бы люди умели, они бы давно отсюда ушли.

Я не придумал, что ответить. Тема показалась мне скользкой.

— Знаешь, Малыш, — сказал я бодро, — давай пойдем поиграем. Посмотришь, как интересно играть с людьми.

Малыш молчал. Я свирепо поглядел на Майку: что она, в самом деле, не могу же я один тащить на себе весь контакт!

— Пойдем поиграем, Малыш, — без всякого энтузиазма поддержала меня Майка. — Или хочешь, я покатаю тебя на летательной машине?

— Ты будешь летать в воздухе, — подхватил я, — и все будет внизу — горы, болота, айсберг...

— Нет, — сказал Малыш, — летать — это обычное удовольствие. Это я могу сам.

Я подскочил.

— Как — сам?

По лицу его прошла мгновенная рябь, подня-

лись и опустились плечи.

— Нет слов, — сказал он. — Когда захочу — летаю...

— Так полети! — вырвалось у меня.

— Сейчас не хочу, — сказал он нетерпеливо. — Сейчас мне удовольствие с вами. — Он вскочил. — Хочу играть! — объявил он. — Где?

— Побежали к кораблю, — предложил я.

Он испустил душераздирающий вопль, и не успело эхо замереть в дюнах, как мы уже наперегонки неслись через кустарник. На Майку я окончательно махнул рукой: пусть делает что хочет.

Малыш скользил меж кустов, как солнечный зайчик. По-моему, он не задел ни одной ветки и вообще ни разу не коснулся земли. Я в своей дохе с электроподогревом ломил напролом, как песчаный танк, только трещало вокруг. Я все время пытался его догнать, и меня все время сбивали с толку его фантомы, которые он поминутно оставлял за собой. На опушке зарослей Малыш остановился, дождался меня и сказал:

— У тебя так бывает? Ты просыпаешься и вспоминаешь, будто сейчас только видел что-то. Иногда это хорошо известное. Например, как я летаю. Иногда — совсем новое, такое, чего не

видел раньше.

— Да, бывает, — сказал я, переводя дух. — Это называется сон. Ты спишь и видишь сны.

Мы пошли шагом. Где-то позади трещала кустарником Майка.

— Откуда это берется? — спросил Малыш. — Что это такое — сны?

— Небывалые комбинации бывалых впечатлений, — отбарабанил я.

Он не понял, конечно, и мне пришлось прочесть еще одну небольшую лекцию — о том, что такое сны, как они возникают, зачем они нужны и как было бы плохо человеку, если бы их не было.

— Чеширский кот! Но я так и не понял, почему я вижу во сне то, чего раньше не видел никогда.

Майка нагнала нас и молча пошла рядом.

— Например? — спросил я.

— Иногда мне снится, что я огромный-огромный, что я размышляю, что вопросы приходят ко мне один за другим, очень яркие вопросы, удивительные, и я нахожу ответы, удивительные ответы, и я очень хорошо знаю, как из вопроса образуется ответ. Это самое большое удовольствие, когда знаешь, как из вопроса образуется ответ. Но когда я просыпаюсь, я не помню ни вопросов, ни ответов. Помню только удовольствие.

— М-да, — сказал я уклончиво. — Интересный сон. Но объяснить его я тебе не могу. Спроси у Комова. Может быть, он объяснит.

— У Комова... Что такое — Комов?

Мне пришлось изложить ему нашу систему имен. Мы уже огибали болото, и перед нами открылся корабль и посадочная полоса. Когда я закончил, Малыш вдруг сказал ни с того ни с сего:

— Странно. Никогда со мной так не было.

— Как?

— Чтобы я хотел для себя и не мог.

— А что ты хочешь?

— Я хочу разделиться пополам. Сейчас я один, а чтобы стало два.

— Ну, брат, — сказал я, — тут и хотеть нечего. Это же невозможно.

— А если бы возможно? Плохо или хорошо?

— Плохо, конечно, — сказал я. — Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать... Можно разорваться пополам. Это совсем плохо. Можно заболеть: называется — раздвоение личности. Это тоже плохо, но это можно поправить.

— Больно? — спросил Малыш.

Мы ступили на рубчатку. Том уже катил навстречу, гоня перед собой мяч и радостно мигая

сигнальными огоньками.

— Брось об этом, — сказал я. — Ты и в целом виде хорош.

— Нет, не хорош, — возразил Малыш, но тут набежал Том и началась потеха.

Из Малыша градом посыпались вопросы. Я не успевал отвечать. Том не успевал выполнять команды. Мяч не успевал касаться земли. И только Малыш все успевал.

Со стороны это выглядело, наверное, очень весело. Да нам и на самом деле было весело, даже Майка в конце концов разошлась. Наверное, мы были похожи на расшалившихся подростков, которые удрали с уроков на берег океана. Сначала еще была какая-то неловкость, сознание того, что мы не развлекаемся, а работаем, что за каждым нашим движением следят, что между нами и Малышом осталось что-то тяжкое, недоговоренное, а потом все это как-то забылось. Остался только мяч, летящий тебе прямо в лицо, и восторг удачного удара, и злость на неуклюжего Тома, и звон в ушах от удалого гиканья, и резкий отрывистый хохот Малыша — мы впервые услышали тогда его смех, самозабвенный, совсем детский...

Это была странная игра. Малыш придумывал правила на ходу. Он оказался невероятно

выносливи азартен, он не упускал ни единого случая продемонстрировать перед нами свои физические преимущества, он навязал нам соревнование, и как-то само собой получилось, что он стал играть один против нас троих, и мы все время проигрывали. Сначала он выигрывал, потому что мы поддавались. Потом он выигрывал, потому что мы не понимали его правил. Потом мы поняли правила, но нам с Майкой мешали дохи. Потом мы решили, что Том слишком неуклюж, и прогнали его. Майка вошла в азарт и заиграла в полную силу, я тоже делал все, что мог, но мы проигрывали очко за очком. Мы ничего не могли сделать с этим молниеносным дьяволенком, который перехватывал любые мячи, сам бил очень сильно и точно, негодующе вопил, если мяч задерживался в наших руках дольше секунды, совершенно сбивал нас с толку своими фантомами или, того хуже, манерой мгновенно исчезать из виду и появляться столь же мгновенно совсем в другом месте. Мы не сдавались, конечно, — от нас столбом шел пар, мы задыхались, мы потели, мы орали друг на друга, но мы дрались до последнего. И вдруг все кончилось.

Малыш остановился, проводил взглядом мяч и сел на песок.

— Это было хорошо, — сказал он. — Я никогда не знал, что бывает так хорошо.

— Что? — крикнул я, задыхаясь. — Устал, Малыш?

— Нет. Вспомнил. Не могу забыть. Не помогает. Никакое удовольствие не помогает. Больше не зови меня играть. Мне плохо, а сейчас еще хуже. Скажи ему, чтобы он думал скорее. Я разорвусь пополам, если он быстро не придумает. У меня внутри все болит. Я хочу разорваться, но боюсь. Поэтому не могу. Если будет очень болеть, перестану бояться. Пусть думает быстро.

— Ну что ты, в самом деле, Малыш! — сказал я расстроенно. Я не совсем понимал, что с ним происходит, но я видел, что ему действительно плохо. — Выбрось ты все это из головы! Просто ты не привык к людям. Надо чаще встречаться, больше играть...

— Нет, — сказал Малыш и вскочил. — Больше не приду.

— Ну почему же? — вскричал я. — Ведь было хорошо! Будет еще лучше! Есть другие игры, не только с мячом... С обручем, с крыльями!

Он медленно пошел прочь.

— Есть шахматы! — торопливо говорил я ему в спину. — Ты знаешь, что такое шахматы? Это

величайшая игра, ей тысяча лет!..

Он приостановился. Я принялся торопливо и вдохновенно объяснять ему, что такое шахматы — простые шахматы, трехмерные шахматы, эн-мерные шахматы... Он стоял и слушал, глядя в сторону. Я кончил про шахматы и начал про покари. Я судорожно вспоминал все игры, какие знал.

— Да, — произнес Малыш. — Я приду.

И, уже больше не останавливаясь, он побрел, нога за ногу, к болоту. Некоторое время мы молча смотрели ему вслед, потом Майка крикнула: «Малыш!» — сорвалась с места, догнала его и пошла рядом. Я подобрал свою доху, оделся, отыскал доху Майки и нерешительно двинулся за ними. На душе у меня был какой-то неприятный осадок, и я не понимал, в чем дело. Вроде бы все кончилось хорошо: Малыш обещал вернуться, значит все-таки привязался к нам, значит, без нас ему теперь гораздо хуже, чем с нами... «Привыкнет, — повторял я про себя. — Ничего, привыкнет...» Я увидел, что Майка остановилась, а Малыш побрел дальше. Майка повернулась и, обхватив себя за плечи, побежала мне навстречу. Я подал ей доху и спросил:

— Ну что?

— Все в порядке, — сказала она. Глаза у нее были прозрачные и какие-то отчаянные.

— Я думаю, что в конце концов... — начал я и осекся. — Майка, — сказал я, — ты же «третий глаз» потеряла!

— Я его не потеряла, — сказала Майка.

Глава восьмая. Сомнения и решения

Малыш уходил от корабля на запад вдоль береговой линии, прямо через дюны и заросли. Сначала «третий глаз» интересовал его. Он останавливался, снимал обруч, вертел его в руках, и тогда у нас на приемном экране мелькало то бледное небо, то голубовато-зеленое лицо-маска, то заиндевелый песок. Потом он оставил обруч в покое. Не знаю, двигался ли он не так, как обычно, или обруч надел не совсем правильно, но впечатление было такое, словно объектив смотрит не прямо по ходу, а несколько вправо. По экрану, подрагивая, проплывали однообразные дюны, озябшие кусты, иногда возникали сизые горные вершины или появлялся вдруг черный океан со сверкающими айсбергами на горизонте.

По-моему, Малыш двигался без определенной цели — просто брел куда глаза глядят, подальше от нас. Несколько раз он поднимался на гребни дюн и смотрел в нашу сторону. На приемном экране появлялись ослепительно белый конус нашего ЭР-2, серебристая лента посадочной полосы, оранжевый Том, одиноко приткнувшийся к стене недостроенной метеостанции. Но на обзор-

ном экране Малыша мы так и не обнаружили.

Примерно через час Малыш вдруг резко свернул к горам. Теперь солнце било прямо в объектив — и видно стало хуже. Дюны вскоре кончились, Малыш брел по редколесью, перешагивая через сгнившие сучья, среди корявых стволов с отставшей пятнистой корой, по бурой, пропитанной ледяной влагой земле. Раз он вскарабкался на одинокий гранитный валун, постоял, оглядываясь, потом спрыгнул, подобрал с земли два черных осклизлых сучка и пошел дальше, постукивая ими друг о друга. Сначала стук был беспорядочный, потом в нем появился ритм, а к ритму примешивалось не то жужжание, не то гудение. Звук этот, непрерывный и неприятный, становился все громче. Скорее всего, это гудел и жужжал сам Малыш — может быть, это была песня, а может быть, и разговор с самим собой.

Так он брел, стуча, жужжа и гудя, а между деревьев все чаще попадались каменные россыпи, замшелые валуны, громадные обломки скал. Потом на экране вдруг появилось озеро. Малыш, не останавливаясь, вошел в него, на мгновение мы увидели взбаламученную воду, затем изображение потускнело и исчезло — Малыш нырнул.

Под водой он был очень долго, я уже думал,

что он утопил передатчик, и мы больше ничего не увидим, но минут через десять изображение появилось снова, мутное, размытое, струйчатое. Сначала мы почти ничего не различали, но вскоре в правой части экрана появилось изображение ладони, на которой прыгала и извивалась уродливая пантианская рыбка.

Когда объектив «глаза» очистился окончательно, Малыш бежал. Древесные стволы неслись на нас и в последние мгновения стремительно ускользали то вправо, то влево. Он бежал очень быстро, но мы не слышали ни топота, ни дыхания — только шумел ветер и мелькало солнце за путаницей голых ветвей. И вдруг произошло непонятное: Малыш как вкопанный остановился перед серым валуном и погрузил в него руки по локоть. Не знаю, может быть, там было хорошо замаскированное отверстие. По-моему, не было. Когда через несколько секунд Малыш извлек руки, они были черные и блестящие, и это черное и блестящее стекало с кончиков пальцев и тяжело, с отчетливым мокрым стуком капало на землю. Потом руки исчезли из поля зрения и Малыш побежал дальше.

Он остановился перед диковинным сооружением, похожим на покосившуюся башню, и я не

сразу понял, что это — разбитый корабль «Пеликан». Теперь я своими глазами увидел, как страшно ему досталось при падении и что с ним сделали долгие годы на этой планете. Зрелище было не из приятных. Между тем Малыш медленно приблизился, заглянул в отверстую дыру люка — на мгновение экран погрузился в непроглядную тьму, — затем так же медленно обошел несчастный корабль кругом. Он снова остановился перед люком, поднял руку и приложил черную ладонь с растопыренными пальцами к изъеденному эрозией борту. Он стоял так с минуту, и мы снова услышали его жужжание и гудение, и мне показалось, что из-под растопыренных пальцев поднимаются струйки синеватого дыма. Наконец он отнял руку и отступил на шаг. На мертвой почернелой обшивке явственно виднелся отчетливый рельефный отпечаток — ладонь с растопыренными пальцами.

— Ух ты мой сверчок на печи, — произнес сочный баритон.

— Колокольчик!.. — откликнулся нежный женский голос.

— Зика! — почти шепотом проговорил баритон. — Зиканька!..

Заплакал младенец.

Отпечаток ладони резко метнулся в сторону и исчез. Теперь на экране виднелся горный склон — изборожденный трещинами гранит, старые осыпи, крошево острых камней, сверкающих изломанными гранями, поросли хилой жесткой травы, глубокие, непроницаемо черные расселины. Малыш поднимался по склону, мы видели его руки, цепляющиеся за выступы, зернистый камень толчками уходил вниз по экрану, стало слышно ровное шумное дыхание, а потом движение стало плавным и быстрым, у меня зарябило в глазах, склон вдруг отдалился, проваливаясь куда-то в сторону и вниз, и мы услышали резкий, хриплый, сразу же оборвавшийся смех Малыша. Малыш летел — это было несомненно.

На экране сияло серо-лиловое небо, а сбоку пульсировали какие-то мутные полупрозрачные клочья, словно обрывки запылившейся кисеи. Медленно прошло поперек экрана ослепительное лиловое солнце, пыльная кисея закрыла все и тут же исчезла. Мы увидели далеко внизу плоскогорье, затянутое сиреневой дымкой, ужасные шрамы бездонных ущелий, неправдоподобно острые пики, покрытые вечными снегами, — безрадостный ледяной мир, уходящий за горизонт, мертвый, истрескавшийся, ощетиненный. И мы

увидели мощное, лаково отсвечивающее колено Малыша, повисшее над бездной, и его черную руку, крепко вцепившуюся в осязаемое ничто.

Честно говоря, в эту минуту я перестал верить своим глазам и посмотрел, ведется ли запись. Запись велась. Но у Вандерхузе вид был тоже озадаченный, а Майка недоверчиво щурилась и вертела шеей, словно ей мешал воротник. Только Комов был совершенно спокоен и неподвижен — сидел, уперев локти в панель и положив подбородок на сплетенные пальцы.

А Малыш уже падал. Каменная пустыня стремительно надвигалась, слегка поворачиваясь вокруг невидимой оси, и ясно было, куда уходила эта ось — в черную трещину, расколовшую бурое поле, загроможденное обломками скал. Трещина росла, ширилась, освещенный солнцем край ее казался гладким и совершенно отвесным, а о том, чтобы увидеть дно, не могло быть и речи, — там царила сплошная тьма. И в эту тьму стремительно ворвался Малыш; изображение исчезло, и Майка, протянув руку, включила усиление, но и с усилением ничего нельзя было разглядеть, кроме струящихся по экрану неопределенных серых полос. Затем Малыш издал пронзительный вопль, и движение остановилось. «Разбился!» — подумал

я в ужасе. Майка изо всей силы вцепилась мне в запястье.

На экране виднелись какие-то смутные неподвижные пятна, все было серое и черное, и слышались странные звуки — какое-то бульканье, хриплое курлыканье, шипение. Возник знакомый черный силуэт руки с растопыренными пальцами и скрылся. Смутные пятна поплыли, сменяя друг друга, курлыканье и бульканье становилось то громче, то тише, разгорелся и погас оранжевый огонек, потом еще один, и еще... Что-то коротко взревело и пошло отдаваться многократным эхом. «Дайте инфра», — сквозь зубы проговорил Комов. Майка схватилась за верньер инфракрасного усиления и повернула его до отказа. Экран сразу посветлел, но я по-прежнему ничего не понимал.

Все пространство было заполнено фосфоресцирующим туманом. Правда, это был не обычный туман, в нем угадывалась какая-то структура — словно срез животной ткани под расфокусированным микроскопом — и в этом структурном тумане угадывались местами более светлые уплотнения и собрания темных пульсирующих зерен, и все это словно бы висело в воздухе, иногда вдруг совсем пропадало и появлялось вновь,

а Малыш шел через это, будто на самом деле ничего этого не было, шел, вытянув перед собой светящиеся руки с растопыренными пальцами, и пальцы его вибрировали и содрогались в сложном и очевидном ритме, а вокруг — булькало, хрипело, журчало, звонко тикало.

Так он шел долго, и мы не сразу заметили, что рисунок структуры бледнеет, расплывается, и вот на экране осталось только молочное свечение и едва заметные очертания растопыренных пальцев Малыша. И тогда Малыш остановился. Мы поняли это по тому, что звуки перестали приближаться и удаляться. Те самые звуки. Целая лавина, целый каскад звуков. Хриплые гулы, басистое бормотание, задавленные писки... что-то сочно лопнуло и разлетелось звонкими брызгами... зудение, скрип, медные удары... А потом в ровном сиянии проступили темные пятна, десятки темных пятен, больших и маленьких; сначала смутные, они принимали все более определенные очертания, становились все более похожими на что-то удивительно знакомое, и вдруг я догадался, что это такое. Это было совершенно невозможно, но я уже не мог отогнать от себя эту мысль. Люди. Десятки, сотни людей, целая толпа, выстроенная в правильном порядке и ви-

димая словно бы несколько сверху... И тут что-то произошло. На какую-то долю мгновения изображение сделалось совершенно ясным. Слишком ненадолго, впрочем, чтобы можно было рассмотреть что-либо. Затем раздался отчаянный крик, изображение перевернулось и пропало вовсе. И сейчас же бешеный голос Комова произнес:

— Зачем вы это сделали?

Экран был мертв. Комов стоял, неестественно выпрямившись, сжатые кулаки его упирались в пульт. Он смотрел на Майку. Майка была бледна, но спокойна. Она тоже поднялась и теперь стояла перед Комовым лицо к лицу. Она молчала.

— Что случилось? — осторожно осведомился Вандерхузе. По-видимому, он тоже ничего не понимал.

— Вы либо хулиганка, либо... — Комов остановился. — Исключаю вас из группы контакта. Запрещаю вам выходить из корабля, входить в рубку и на пост УАС. Ступайте отсюда.

Майка, по-прежнему не говоря ни слова, повернулась и вышла. Ни секунды не раздумывая, я двинулся за ней.

— Попов! — резко сказал Комов.

Я остановился.

— Прошу вас немедленно передать эту запись

в Центр. Экстренно.

Он смотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал себя нехорошо. Такого Комова я еще никогда не видел. Такой Комов имел несомненное право приказывать, сажать под домашний арест и вообще подавлять любой бунт в самом зародыше. У меня было ощущение, что я сейчас разорвусь пополам. «Как Малыш», — мелькнуло у меня в голове.

Вандерхузе произнес, кашлянув:

— Э-э, Геннадий. Может быть, все-таки не в Центр? Горбовский ведь уже на Базе. Может быть, все-таки на Базу, как вы полагаете?

Комов все смотрел на меня. Суженные глаза его казались льдинками.

— Да, конечно, — проговорил он, совершенно, впрочем, спокойно. — Копию на Базу, Горбовскому. Благодарю вас, Яков. Попов, приступайте.

Мне ничего не оставалось делать, кроме как приступить. Но я был недоволен. Если бы мы носили фуражки, как в старину, я бы повернул свою фуражку козырьком назад. Но фуражки на мне не было, и поэтому я, извлекая из рекордера кассету, ограничился тем, что спросил с вызовом:

— А что, собственно, произошло? Что она такого сделала?

Некоторое время Комов молчал. Он уже снова сидел в своем кресле и, покусывая губу, барабанил пальцем по подлокотнику. Вандерхузе, растопырив бакенбарды, тоже смотрел на него с ожиданием.

— Она включила прожектор, — сказал наконец Комов.

Я не сразу понял.

— Какой прожектор?

Комов, не отвечая, показал пальцем на утопленную клавишу.

— А, — произнес Вандерхузе с огорчением.

А я ничего не сказал. Я взял кассету и пошел к рации. Если честно, говорить мне было нечего. Даже за меньшие провинности людей с шумом и позором вышибали из космоса. Майка включила аварийную лампу-вспышку, вмонтированную в обруч. И можно было представить себе, каково пришлось обитателям пещеры, когда в вечном мраке на мгновение вспыхнуло маленькое солнце. Разведчика, потерявшего сознание, по этой вспышке можно обнаружить с орбиты даже на освещенной стороне планеты... даже если он засыпан... Такой прожектор излучает в диапазоне от ультрафиолета до УКВ... Не было еще случая, чтобы разведчику не удалось отпугнуть такой

вспышкой самое бешеное, самое кровожадное животное. Даже тахорги, которые вообще ничего на свете не боятся, тормозят задними ногами, останавливая свой неудержимый разбег... «С ума сошла, — подумал я безнадежно. — Совсем взбесилась...» Но вслух я сказал (усаживаясь за рацию):

— Подумаешь! Нажал человек не на ту клавишу, ошибся...

— Да, действительно, — произнес Вандерхузе. — Наверное, так оно и было. Она, очевидно, хотела включить инфракрасный прожектор... Клавиши рядом... Как вы полагаете, Геннадий?

Комов молчал. Что-то он там делал на пульте. Я не хотел на него смотреть. Я включил автомат и стал демонстративно глядеть в другую сторону.

— Неприятно, конечно, — бормотал Вандерхузе. — Ай-яй-яй-яй... В самом деле, ведь это может отразиться... Активное воздействие... Вряд ли приятное... Гм... У нас у всех несколько напряжены нервы в последнее время, Геннадий. Неудивительно, что девочка ошиблась... Мне самому хотелось, знаете ли, что-нибудь сделать... как-то улучшить изображение... Бедный Малыш. По-моему, это он закричал...

— Вот, — сказал Комов. — Можете полюбоваться. Три с половиной кадра.

Было слышно, как Вандерхузе озабоченно засопел. Я не удержался и оглянулся на них. Ничего не было видно за их сдвинутыми головами, поэтому я встал и подошел. На экране было то самое, что я увидел в последнее мгновение, но не успел воспринять. Изображение было отличное, и все-таки я совершенно не понимал, что это такое. Много людей, множество черных фигурок, абсолютно одинаковых, выстроенных в шахматном порядке. Стояли они как бы на ровной и хорошо освещенной площади. Передние фигурки были больше, задние, в полном соответствии с законами перспективы, меньше. Впрочем, ряды казались бесконечными и где-то вдали сливались в сплошные черные полосы.

— Это Малыш, — проговорил Комов. — Узнаете?

До меня дошло: действительно, это был Малыш, повторенный, как в бесчисленных зеркалах, бесчисленное множество раз.

— Похоже на многократное отражение, — пробормотал Вандерхузе.

— Отражение... — повторил Комов. — А где же тогда отражение лампы? И где у Малыша тень?

— Не знаю, — честно признался Вандерхузе. — Действительно, тень должна быть.

— А вы что думаете, Стась? — спросил Комов, не оборачиваясь.

— Ничего, — коротко сказал я и вернулся на свое место.

На самом-то деле я, конечно, думал, у меня мозги скрипели — так я думал, но придумать ничего не мог. Больше всего мне это напоминало формалистический рисунок пером.

— Да, не много мы узнали, — проговорил Комов. — Даже шерсти клок оказался никудышным...

— Охо-хо-хо-хохонюшки, — проговорил Вандерхузе, тяжело поднялся и вышел.

Мне тоже очень хотелось выйти и посмотреть, как там Майка. Но я взглянул на хронометр — до конца передачи оставалось еще минут десять. Комов шуршал и возился у меня за спиной. Потом рука его протянулась через мое плечо, и на пульт передо мной лег голубой бланк радиограммы.

— Это объяснительная записка, — сказал Комов. — Отправьте сразу же по окончании передачи записи.

Я прочел радиограмму.

ЭР-2, КОМОВ — БАЗА, ГОРБОВСКОМУ. КОПИЯ: ЦЕНТР, БАДЕРУ. НАПРАВЛЯЕТСЯ ВАМ ЗАПИСЬ С ПЕРЕДАТЧИКА ТИПА ТГ.

НОСИТЕЛЬ МАЛЫШ. ЗАПИСЬ ВЕЛАСЬ С 13.46 ПО 17.02 БВ. ПРЕРВАНА ВСЛЕДСТВИЕ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ-ВСПЫШКИ ПО МОЕЙ НЕБРЕЖНОСТИ. СИТУАЦИЯ НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ.

Я не понял и перечитал радиограмму еще раз. Потом я оглянулся на Комова. Он сидел в прежней позе, положив подбородок на сплетенные пальцы, и смотрел на обзорный экран. Не то чтобы горячая волна благодарности захлестнула меня с головой. Нет, этого не было. Слишком мало симпатии испытывал я к этому человеку. Но должного ему нельзя было не отдать. В такой ситуации не всякий поступил бы столь же решительно и просто. И неважно, собственно, почему он так поступил: потому ли, что пожалел Майку (сомнительно), или устыдился своей резкости (более похоже на правду), или потому, что принадлежит к руководителям того типа, которые совершенно искренне считают проступки подчиненных своими проступками. Во всяком случае, для Майки опасность птичкой вылететь из космоса существенно уменьшилась, а позиция и реноме самого Комова заметно ухудшились.

Ладно, Геннадий Юрьевич, при случае это вам зачтется. Такие действия надлежит всячески поощрять. А с Майкой мы еще поговорим. Какого дьявола, в самом деле? Что она — маленькая? В куклы она тут играть решила?

Автомат звякнул и выключился, я взялся за радиограмму. Вошел Вандерхузе, толкая перед собой столик на колесах. Совершенно бесшумно и с необыкновенной легкостью, которая сделала бы честь самому квалифицированному киберу, он поставил поднос с тарелками у правого локтя Комова. Комов рассеянно поблагодарил. Я взял себе стакан томатного сока, выпил и налил еще.

— А салат? — огорченно спросил Вандерхузе.

Я покачал головой и сказал в спину Комову:

— У меня все закончено. Можно быть свободным?

— Да, — ответил Комов, не оборачиваясь. — Из корабля не выходить.

В коридоре Вандерхузе сообщил мне:

— Майка обедает.

— Истеричка, — сказал я со злостью.

— Напротив. Я бы сказал, что она спокойна и довольна. И никаких следов раскаяния.

Мы вместе вошли в кают-компанию. Майка сидела за столом, ела суп и читала какую-то

книжку.

— Здорово, арестант, — сказал я, усаживаясь перед ней со своим стаканом.

Майка оторвалась от книжки и поглядела на меня, прищурив один глаз.

— Как начальство? — осведомилась она.

— В тягостном раздумье, — сказал я, разглядывая ее. — Решает, вздернуть ли тебя на фок-рее немедленно или довезти до Дувра, где тебя повесят на цепях.

— А что на горизонтах?

— Без изменений.

— Да, — сказала Майка, — теперь он больше не придет.

Она сказала это с явным удовлетворением. Глаза у нее были веселые и отчаянные, как давеча. Я отхлебнул томатного сока и покосился на Вандерхузе. Вандерхузе с постным видом поедал мой салат. Мне вдруг пришло в голову: а капитан-то наш рад-радехонек, что не он командует в сей кампании.

— Да, — сказал я, — похоже на то, что контакт ты нам сорвала.

— Грешна, — коротко ответила Майка и снова уткнулась в книгу. Только она не читала. Она ждала продолжения.

— Будем надеяться, что дело обстоит не так плохо, — сказал Вандерхузе. — Будем надеяться, что это просто очередное осложнение.

— Вы думаете, Малыш вернется? — спросил я.

— Думаю, да, — сказал Вандерхузе со вздохом. — Он слишком любит задавать вопросы. А теперь у него появилась масса новых. — Он доел салат и поднялся. — Пойду в рубку, — сообщил он. — Сказать по правде, это очень некрасивая история. Я понимаю тебя, Майка, но ни в какой степени не оправдываю. Так, знаешь ли, не поступают...

Майка ничего не ответила, и Вандерхузе удалился, толкая перед собою столик. Как только шаги его затихли, я спросил, стараясь говорить вежливо, но строго:

— Ты это сделала нарочно или случайно?

— А ты как полагаешь? — спросила Майка, уставясь в книгу.

— Комов взял вину на себя, — сказал я.

— То есть?

— Лампа-вспышка была включена, оказывается, по его небрежности.

— Очень мило, — произнесла Майка. Она положила книжку и потянулась. — Великолепный жест.

— Это все, что ты можешь мне сказать?

— А что тебе, собственно, нужно? Чистосердечное признание? Раскаяние? Слезы в жилетку?

Я снова отхлебнул соку. Я сдерживался.

— Прежде всего я хотел бы узнать, случайно или нарочно?

— Нарочно. Что дальше?

— Дальше я хотел бы узнать, для чего ты это сделала?

— Я сделала это для того, чтобы раз и навсегда прекратить безобразие. Дальше?

— Какое безобразие? О чем ты говоришь?

— Потому что это было отвратительно! — сказала Майка с силой. — Потому что это было бесчеловечно. Потому что я не могла сидеть сложа руки и наблюдать, как гнусная комедия превращается в трагедию. — Она отшвырнула книжку. — И нечего сверкать на меня глазами! И нечего за меня заступаться! Ах, как он великодушен! Любимец доктора Мбоги! Все равно я уйду. Уйду в школу и буду учить ребят, чтобы они вовремя хватали за руку всех этих фанатиков абстрактных идей и дураков, которые им подпевают!

У меня было благое намерение выдержать вежливый, корректный тон до конца. Но тут терпение мое лопнуло. У меня вообще дело с терпением обстоит неважно.

— Нагло! — сказал я, не находя слов. — Нагло себя ведешь! Нагло!

Я попытался еще раз отхлебнуть соку, но выяснилось, что стакан пуст. Как-то незаметно я успел все выхлебать.

— А дальше? — спросила Майка, презрительно усмехаясь.

— Все, — сказал я угрюмо, разглядывая пустой стакан. Действительно, сказать мне было больше нечего. Расстрелял я весь свой боезапас. Вероятно, я и шел-то к Майке не для того, чтобы разобраться, а просто чтобы обругать ее.

— А если все, — сказала Майка, — то иди в рубку и целуйся со своим Комовым. А заодно со своим Томом и прочей своей кибертехникой. А мы, знаешь ли, просто люди, и ничто человеческое нам не чуждо.

Я отодвинул стакан и встал. Говорить больше было не о чем. Все было ясно. Был у меня товарищ — нет у меня товарища. Ну что ж, перебьемся.

— Приятного аппетита, — сказал я и на негнущихся ногах направился в коридор.

Сердце у меня колотилось, губы отвратительно дрожали. Я заперся у себя в каюте, повалился на постель и уткнулся носом в подушку. В голове у меня в горькой и бездонной пустоте кружились,

сталкивались и рассыпались невысказанные слова. Глупо. Глупо!.. Ну ладно, ну не нравится тебе эта затея. Мало ли кому что не нравится! В конце концов, тебя сюда не приглашали, случайно ты здесь оказалась, так уж веди себя как полагается! Ведь не понимаешь же ничего в контактах, квартирьер несчастный... Снимай свои паршивые кроки и делай то, что тебе говорят! Ну что ты смыслишь в абстрактных идеях? И где ты их вообще видела — абстрактные? Ведь сегодня она абстрактная, а завтра без нее история остановится... Ну, хорошо, ну, не нравится тебе. Ну, откажись!.. Ведь так все шло славно, только-только с Малышом сошлись, такой парень чудесный, умница, с ним горы можно было бы своротить! Эх ты, квартирьер... Друг, называется... А теперь вот ни Малыша, ни друга... И Комов тоже хорош: ломится, как вездеход, напролом, ни посоветуется, ни объяснит ничего толком... Не-ет, чтобы я еще когда-нибудь в контактах участвовал — дудки! Кончится вся эта кутерьма, немедленно подаю заявление в проект «Ковчег-2» — с Вадиком, с Таней, с головастой Нинон, в конце концов. Как зверь буду работать, без болтовни, ни на что не отвлекаясь. Никаких контактов!.. Незаметно я заснул и спал так, что только бурболки отска-

кивали, как говаривал мой прадед. Все-таки за последние двое суток я не проспал и четырех часов. Еле-еле Вандерхузе меня добудился. Пора было на вахту.

— А Майка? — спросил я спросонок, но тут же спохватился. Впрочем, Вандерхузе сделал вид, что не расслышал.

Я принял душ, оделся и пошел в рубку. Давешние неприятные ощущения вновь овладели мною. Не хотелось ни с кем разговаривать, не хотелось никого видеть. Вандерхузе сдал вахту и ушел спать, сообщив, что вокруг корабля ничего не происходит и что через шесть часов меня сменит Комов.

Было ровно двадцать два по бортовому времени. На экране играли сполохи над хребтом, дул сильный ветер с океана — рвал в клочья туманную шапку над горячей трясиной, прижимал к промерзшему песку оголенные кусты, швырял на пляж клочья мгновенно замерзающей пены. На посадочной полосе, слегка кренясь навстречу ветру, торчал одинокий Том. Все сигнальные огни его сообщали, что он в простое, никаких заданий не имеет и пребывает в готовности выполнить любое приказание. Очень грустный пейзаж. Я включил внешнюю акустику, с минуту

послушал рев океана, свист и завывание ветра, дробный стук ледяных капель по обшивке и снова отключился.

Я попытался представить себе, что сейчас делает Малыш, вспомнил горячий ячеистый туман, размытые сгустки света, а точнее — не света, конечно, а тепла, и это ровное сияние, наполненное кашей странных звуков, и загадочный строй отражений, которые не были отражениями... Ну что ж, ему там, наверное, тепло, уютно, привычно и есть, ох есть, о чем поразмышлять. Забился, наверное, в какой-нибудь каменный угол и тяжко переживает обиду, которую нанесла ему Майка. («Мам-ма...» — «Да, колокольчик», — вспомнил я.) С точки зрения Малыша все это должно выглядеть крайне нечестно. Я бы на его месте больше сюда никогда бы не пришел... А ведь Комов так обрадовался, когда Майка нацепила на Малыша свой обруч. «Молодец, Майя, — сказал он. — Это хороший шанс, я бы не рискнул...» Впрочем, все равно из этой идеи ничего не получилось бы. Все-таки конструкторы ТГ многого не додумали. Объектив, например, надо было делать стерео... Хотя, конечно, ТГ предназначается совсем для других целей... Но кое-что подсмотреть все-таки удалось. Скажем, как Малыш летел. Только — ка-

ким образом летел, почему летел, на чем летел?.. И эта сцена у разбитого «Пеликана»... Планета невидимок. Да, наверное, любопытные вещи можно было бы здесь увидеть, если бы Комов разрешил запустить сторожа-разведчика. Может быть, теперь разрешит? Да и сторожа-разведчика не нужно. На первый случай просто пройтись локатором-пробником по горизонту...

Запел радиовызов. Я подошел к рации. Незнакомый голос очень вежливо, я бы даже сказал — робко, попросил Комова.

— Кто вызывает? — осведомился я не очень приветливо.

— Это такой член Комиссии по контактам. Горбовский моя фамилия. — Я сел. — Мне очень нужно поговорить с Геннадием Юрьевичем. Или он, может быть, спит?

— Сейчас, Леонид Андреевич, — забормотал я. — Сию минутку, Леонид Андреевич... — Я торопливо включил интерком. — Комова в рубку, — сказал я. — Срочный вызов с Базы.

— Да не такой уж срочный... — запротестовал Горбовский.

— Вызывает Леонид Андреевич Горбовский! — торжественно добавил я в интерком, чтобы Комов там не слишком копался.

— Молодой человек... — позвал Горбовский.

— На вахте Стась Попов, кибертехник! — отрапортовал я. — За время моей вахты никаких происшествий не произошло!

Горбовский помолчал, потом неуверенно произнес:

— Вольно...

Послышался стук торопливых шагов, и в рубку быстро вошел Комов. Лицо у него было осунувшееся, глаза стеклянные, под глазами темные круги. Я поднялся и уступил ему место.

— Комов слушает, — проговорил он. — Это вы, Леонид Андреевич?

— Это я, здравствуйте... — отозвался Горбовский. — Слушайте, Геннадий, а нельзя ли нам сделать так, чтобы мы друг друга видели? Тут какие-то кнопки...

Комов только глянул на меня, и руки мои сами протянулись к пульту и подключили визор. Мы, радисты, обычно держим визор отключенным. По разным причинам.

— Ага, — удовлетворенно сказал Горбовский. — Вот я вас начинаю видеть.

На нашем экранчике тоже появилось изображение — знакомое мне по портретам и описаниям длинное и как бы слегка вдавленное внутрь лицо

Леонида Андреевича. Правда, на портретах он обычно выглядел этаким античным философом, а сейчас вид имел несколько унылый, разочарованный, и на широком утином носу его, к моему изумлению, имела место царапина — по-моему, совсем свежая. Когда изображение установилось, я отступил и тихонько уселся на место вахтенного. У меня появилось сильнейшее предчувствие, что я сейчас буду выгнан, поэтому я принялся сосредоточенно озирать терзаемые ураганом окрестности.

Горбовский сказал:

— Во-первых, большое вам спасибо, Геннадий. Я просмотрел все ваши материалы и должен вам сказать, что это нечто совершенно особенное. Безумно интересно. Изобретательно, изящно... молниеносно...

— Польщен, — отрывисто сказал Комов. — Но?

— Почему «но»? — удивился Горбовский. — «И» — вы хотите сказать. И большинство членов Комиссии придерживается того же мнения. Трудно поверить, что такая колоссальная работа проделана за двое суток.

— Я здесь ни при чем, — сухо сказал Комов. — Благоприятные обстоятельства, только и всего.

— Нет, не говорите, — живо возразил Горбов-

ский. — Согласитесь, вы же заранее знали, с кем имели дело. Это не просто — знать заранее. А потом — ваша решительность, интуиция... энергия...

— Я польщен, Леонид Андреевич, — повторил Комов, чуть повысив голос.

Горбовский помолчал и вдруг очень тихо спросил:

— Геннадий, как вы представляете себе дальнейшую судьбу Малыша?

Ощущение, что меня сейчас же, немедленно, в мгновение ока, с наивозможной быстротой и прямотой попросят из рубки, достигло во мне апогея. Я съежился и перестал дышать.

Комов сказал:

— Малыш будет посредником между Землей и аборигенами.

— Я понимаю, — сказал Горбовский. — Это было бы прекрасно. А если контакт не состоится?

— Леонид Андреевич, — произнес Комов жестко. — Давайте говорить прямо. Давайте выскажем вслух то, о чем мы с вами сейчас думаем, и то, чего мы опасаемся больше всего. Я стремлюсь превратить Малыша в орудие Земли. Для этого я всеми доступными мне средствами и совершенно беспощадно, если так можно выразиться, стрем-

люсь восстановить в нем человека. Вся трудность заключается в том, что человеческая психика, человеческое, земное отношение к миру в высшей степени, по-видимому, чужды аборигенам, воспитавшим Малыша. Они отталкиваются от нас, они не хотят нас. И этим отношением к нам насквозь пропитано все подсознание Малыша. К счастью или к несчастью, аборигены оставили в Малыше достаточно человеческого, чтобы мы получили возможность завладеть его сознанием. Ситуация, возникшая сейчас, — ситуация критическая. Сознание Малыша принадлежит нам. Подсознание — им. Конфликт очень тяжелый и рискованный, я это прекрасно сознаю, но этот конфликт разрешим. Мне нужно еще буквально несколько дней, чтобы подготовить Малыша. Я раскрою ему истинное положение дел, освобожу его подсознание, и Малыш превратится целиком и полностью в нашего сотрудника. Вы не можете не понимать, Леонид Андреевич, какую ценность представляет для нас такое сотрудничество... Я предвижу множество трудностей. Например, подсознательное отталкивание в принципе может превратиться у Малыша — после того как мы раскроем ему истинное положение дел — в сознательное стремление защитить от нас свой

«дом», своих спасителей и воспитателей. Может быть, возникнут новые опасные напряжения. Но я уверен: мы сумеем убедить Малыша, что наши цивилизации — это равные партнеры со своими достоинствами и недостатками, и тогда он, как посредник между нами, сможет всю жизнь черпать и с той, и с другой стороны, не опасаясь ни за тех, ни за других. Он будет горд своим исключительным положением, жизнь его будет радостна и полна... — Комов помолчал. — Мы должны, мы обязаны рискнуть. Такого случая больше не будет никогда. Вот моя точка зрения, Леонид Андреевич.

— Понимаю, — сказал Горбовский. — Знаю ваши идеи, ценю их. Знаю, во имя чего вы предлагаете рискнуть. Но согласитесь, риск не должен превышать какого-то предела. Поймите, с самого начала я был на вашей стороне. Я знал, что мы рискуем, мне было страшно, но я все думал: а вдруг обойдется? Какие перспективы, какие возможности!.. И еще я все время думал, что мы всегда успеем отступить. Мне и в голову не приходило, что мальчик окажется таким коммуникабельным, что дело зайдет так далеко уже через двое суток. — Горбовский сделал паузу. — Геннадий, контакта ведь не будет. Пора бить

отбой.

— Контакт будет! — сказал Комов.

— Контакта не будет, — мягко, но настойчиво повторил Горбовский. — Вы ведь прекрасно понимаете, Геннадий, что мы имеем дело со свернувшейся цивилизацией. С разумом, замкнутым на себя.

— Это не замкнутость, — сказал Комов. — Это квазизамкнутость. Они стерилизовали планету и явно поддерживают ее в таком состоянии. Они почему-то спасли и воспитали Малыша. Они, наконец, очень неплохо осведомлены о человечестве. Это квазизамкнутость, Леонид Андреевич.

— Ну, Геннадий, абсолютная замкнутость — это теоретическая идеализация. Конечно, всегда остается какая-то функциональная деятельность, направленная вовне, например, санитарно-гигиеническая. Что же касается Малыша... Конечно, все это домыслы, но ведь если цивилизация достаточно стара, гуманизм ее мог превратиться в безусловный социальный рефлекс, в социальный инстинкт. Ребенок был спасен просто потому, что в такой акции испытывалась потребность...

— Все это возможно, — сказал Комов. — Не в домыслах сейчас дело. Важно то, что это квазизамкнутость, что лазейки для контакта остаются.

Конечно, процесс сближения будет очень длителен. Может быть, понадобится на полтора, на два порядка больше времени, чем для сближения с обычной разомкнутой цивилизацией... Нет, Леонид Андреевич. Обо всем этом я думал, и вы сами хорошо понимаете, что ничего нового вы мне не сказали. Ваше мнение против моего — и только. Вы предлагаете отступиться, а я хочу использовать этот единственный шанс до конца.

— Геннадий, не только я думаю, что контакта не будет, — тихонько сказал Горбовский.

— Кто же еще? — осведомился Комов с легкой иронией. — Август-Иоганн-Мария Бадер?

— Нет, и не только Бадер. Честно говоря, я скрыл от вас одну козырную карту, Геннадий... Вам никогда не приходило в голову, что Шура Семенов стер бортжурнал не на планете, а еще в космосе; не потому, что увидел разумных чудовищ, а потому, что еще в космосе подвергся нападению и решил, что на планете господствует высокоразвитая агрессивная цивилизация? Нам это в голову пришло. Не сразу, конечно, — вначале мы просто сделали правильные выводы из неверной предпосылки, как и вы. Но как только эта мысль пришла нам в голову, мы принялись обшаривать околопланетное пространство. И

вот два часа назад пришло сообщение, что он, наконец, обнаружен. — Горбовский замолчал.

Я прилагал гигантские усилия, чтобы не закричать: «Кто? Кто обнаружен?» По-моему, Горбовский ждал такого возгласа. Но не дождался. Комов безмолвствовал. Горбовский был вынужден продолжать.

— Он великолепно замаскирован. Он поглощает почти все лучи. Мы бы никогда не нашли его, если бы не искали специально, да и то пришлось применить что-то совсем новое — мне объясняли, но я не понял, что именно — какой-то вакуумный концентратор. В общем, мы его нащупали и взяли на абордаж. Спутник-автомат, что-то вроде вооруженного часового. Судя по некоторым деталям конструкции, его установили здесь Странники. Очень давно установили, порядка сотни тысяч лет назад. К счастью для участников проекта «Ковчег», он нес на себе всего два заряда. Первый заряд был выпущен в незапамятные времена, мы уже теперь и не узнаем, наверное, по кому. Второй заряд пришелся на долю Семеновых. Странники считали эту планету запрещенной, иного объяснения я придумать не могу. Вопрос: почему? В свете того, что мы знаем, ответ может быть только один: они на своем опыте поняли,

что местная цивилизация некоммуникабельна, более того — она замкнута, более того — контакт грозит серьезными потрясениями для этой цивилизации. Если бы на моей стороне был только Август-Иоганн-Мария Бадер... Но, насколько я помню, вы всегда с большим уважением отзывались о Странниках, Геннадий. — Горбовский снова помолчал. — Однако дело не только в этом. При прочих равных условиях мы, невзирая даже на мнение Странников, могли бы позволить себе очень осторожные, очень постепенные попытки развернуть этих свернувшихся аборигенов. В худшем случае наш опыт обогатился бы еще одним отрицательным результатом. Мы бы поставили здесь какой-нибудь предупреждающий знак и убрались бы восвояси. Это было бы делом только наших двух цивилизаций... Но дело в том, что между нашими двумя цивилизациями, как между молотом и наковальней, оказалась сейчас третья, и за эту третью, Геннадий, за единственного ее представителя, Малыша, мы вот уже несколько суток несем всю полноту ответственности.

Я услышал, как Комов глубоко вздохнул, и наступило долгое молчание. Когда Комов заговорил снова, голос у него был какой-то необычный,

какой-то надломленный. Заговорил он о Странниках: сначала подивился тому, что Странники, поставив охранный спутник, пошли на риск, граничащий с преступлением, но потом сам же вспомнил косвенные данные, согласно которым Странники всегда путешествуют целыми эскадрами и всякий одиночный звездолет в их представлении не может быть ничем иным, кроме автоматического зонда. Поговорил он также о том, что и на Земле приходит к концу полувековая варварская эпоха одиночных полетов в свободный поиск — слишком много жертв, слишком много нелепых ошибок, слишком мало толку. «Да, — соглашался Горбовский, — я тоже об этом думал». Потом Комов вспомнил о случаях загадочного исчезновения автоматических разведчиков, запущенных к некоторым планетам. «У нас все руки не доходили проанализировать эти исчезновения, а ведь теперь они предстают в новом свете». — «И верно! — с энтузиазмом подхватил Горбовский. — Об этом я как раз не подумал, это очень интересная мысль». Поговорили об охранном спутнике, подивились, что он нес только два заряда, попытались прикинуть, каковы же в этом случае должны быть представления Странников об обитаемости Вселенной,

нашли, что в конечном счете они не очень отличаются от наших представлений, но сама собой возникает мысль, что Странники, по-видимому, намеревались вернуться сюда, да вот почему-то не вернулись — возможно, прав Боровик, полагая, что Странники вообще покинули Галактику. Комов полушутливо предположил, что аборигены и есть Странники — угомонившиеся, насытившиеся внешней информацией, замкнувшиеся на себя. Горбовский опять намекнул на идеи Комова и тоже в шутку стал его допрашивать, как надлежит оценивать такую эволюцию Странников в свете теории вертикального прогресса.

Потом поговорили о здоровье доктора Мбоги, перескочили внезапно на умиротворение какой-то Островной Империи и о роли в этом умиротворении некоего Рудольфа, которого они почему-то тоже называли Странником; плавно и как-то неуловимо перешли от Рудольфа к вопросу о пределах компетенции Совета Галактической Безопасности, согласились на том, что в компетенцию эту входят только гуманоидные цивилизации... Очень скоро я перестал понимать, о чем они говорят, а главное — почему они говорят именно об этом.

Потом Горбовский сказал:

— Я вас совсем заморил, Геннадий, извините. Идите отдыхать. Очень приятно было с вами побеседовать. Мы таки давненько не видались.

— Но скоро, конечно, увидимся вновь, — проговорил Комов с горечью.

— Да, думаю, дня через два. Бадер уже в пути, Боровик тоже. Я думаю, что послезавтра весь КОМКОН будет на Базе.

— Значит, до послезавтра, — сказал Комов.

— Передайте привет вашему вахтенному... Стасю, кажется. Очень он у вас... такой... строевой, я бы сказал. И Якову, Якову обязательно передавайте привет! Ну, и всем остальным, конечно.

Они попрощались.

Я сидел тихо, как мышь, и продолжал бессмысленно таращиться на обзорный экран, ничего не видя, ничего не понимая. За спиной у меня не было слышно ни звука. Минуты тянулись нестерпимо медленно. От желания обернуться у меня окаменела шея и кололо под лопаткой. Мне было совершенно ясно, что Комов сражен. Во всяком случае, я был сражен наповал. Я искал ответ за Комова, но в голове у меня бессмысленно вертелось только одно: «А что мне Странники? Подумаешь, Странники! Я сам, в некотором роде, Странник...»

Вдруг Комов сказал:

— Ну а ваше мнение, Стась?

Я чуть было не ляпнул: «А что нам Странники?» — но удержался. Посидел секунду в прежней позе для значительности, а потом повернулся вместе с креслом. Комов, положив подбородок на сплетенные пальцы, смотрел на потухший экранчик визора. Глаза его были полузакрыты, рот какой-то скорбный.

— Наверное, придется выждать... — сказал я. — Что ж делать... Да и Малыш, может быть, больше не придет... Во всяком случае, не скоро придет...

Комов усмехнулся краем рта.

— Малыш-то придет, — сказал он. — Малыш слишком любит задавать вопросы. А представляете, сколько у него теперь новых вопросов?

Это было почти слово в слово то, что сказал в кают-компании Вандерхузе.

— Тогда, может быть... — пробормотал я нерешительно, — может быть, и на самом деле лучше...

Ну что я мог ему сказать? После Горбовского, после самого Комова, что мог сказать незаметный рядовой кибертехник, двадцати лет, стаж практической работы шесть с половиной суток, — парень, может быть, и неплохой, трудолю-

бивый, интересующийся и все такое, но, прямо надо признать, не великого ума, простоватый, невежественный...

— Может быть, — вяло сказал Комов. Он поднялся, направился, шаркая подошвами, к выходу, но на пороге остановился. Лицо его вдруг исказилось. Он почти выкрикнул: — Неужели же никто из вас не понимает, что Малыш — это случай единственный, случай, по сути дела, невозможный, а потому единственный и последний! Ведь этого больше не случится никогда. Понимаете? Ни-ког-да!

Он ушел, а я остался сидеть лицом к рации и спиной к экрану и старался разобраться не столько даже в мыслях своих, сколько в чувствах. Никогда!.. Конечно, никогда. Как мы все здесь запутались! Бедный Комов, бедная Майка, бедный Малыш... А кто самый бедный? Теперь мы, конечно, отсюда уйдем. Малышу станет полегче, Майка пойдет учиться на педагога, так что, пожалуй, самый бедный — Комов. Это же надо придумать: наткнуться — лично наткнуться! — на уникальнейшую ситуацию, на уникальнейшую возможность подвести наконец под свои идеи экспериментальный базис, и вдруг — все вдребезги! Вдруг тот самый Малыш, ко-

торый должен был стать верным помощником, неоценимым посредником, главным тараном, сокрушающим все преграды, сам превращается в главное препятствие... Ведь нельзя же ставить вопрос: будущее Малыша или вертикальный прогресс человечества. Тут какая-то логическая каверза, вроде апорий Зенона... Или не каверза? Или на самом деле вопрос так и следует ставить? Человечество все-таки... В задумчивости я повернулся в кресле лицом к экрану, рассеянно оглядел окрестности и ахнул. Великие вопросы мгновенно вылетели у меня из головы.

Урагана как не бывало. Все вокруг было бело от инея и снега, а Том стоял совсем рядом с кораблем, на самой границе мертвой зоны, перед входным люком, и я сразу понял, что это Малыш сидит там на снегу и не решается войти — одинокий, раздираемый между двумя цивилизациями...

Я вскочил и галопом понесся по коридору. В кессоне я машинально схватил было доху, но тут же бросил ее, всем телом ударил в перепонку люка и вывалился наружу. Малыша не было. Глупый Том зажег огонек, испрашивая приказаний. Все было белое и искрилось в свете сполохов. Но у самого люка, у меня под ногами, чернел какой-то круглый предмет. Я попятился. Черт знает, какая

дикость представилась мне на мгновение. Я даже не сразу заставил себя нагнуться.

Это был наш мяч. А на мяч был напялен обруч с «третьим глазом». Объектив был разбит, и вообще обруч выглядел так, словно побывал под обвалом.

И ни одного следа на снежной пелене.

Заключение

Он вызывает меня всякий раз, когда ему хочется побеседовать.

— Здравствуй, Стась, — говорит он. — Побеседуем? Давай?

Для связи выделено четыре часа в сутки, но он никогда не выдерживает расписания. Он его не признает. Он вызывает меня, когда я сплю, когда я сижу в ванне, когда я пишу отчеты, когда я готовлюсь к очередному разговору с ним, когда я помогаю ребятам, которые по винтику перебирают охранный спутник Странников... Я не сержусь. На него нельзя сердиться.

— Здравствуй, Малыш, — отзываюсь я. — Конечно, давай побеседуем.

Он жмурится, как бы от удовольствия, и задает свой стандартный вопрос:

— Ты сейчас настоящий, Стась? Или это твое изображение?

Я уверяю его, что это я, собственной персоной, Стась Попов, лично и без никаких изображений. Уже много раз я объяснял ему, что не умею строить изображения, и он, по-моему, давным-давно это понял, но вопрос остается. Может быть, он

так шутит, может быть, без этого вопроса он не представляет себе нормальный обмен приветствиями, а может быть, ему просто нравится слово «изображение». Есть у него любимые слова — «изображение», «феноменально», «по бим-бом-брамселям»...

— Почему глаз видит? — начинает он.

Я объясняю ему, почему видит глаз. Он внимательно слушает, то и дело прикасаясь к своим глазам длинными чуткими пальцами. Он великолепно умеет слушать, и хотя теперь он бросил эту свою манеру — метаться как угорелый, когда его что-нибудь особенно поражает, — я все время чувствую в нем какой-то азарт, скрытую буйную страсть, неописуемый, недоступный мне, к сожалению, всепоглощающий восторг узнавания.

— Феноменально! — хвалит он, когда я заканчиваю. — Щелкунчик! Я это обдумаю, а потом спрошу еще раз...

Между прочим, эти его одинокие размышления над прослушанным (бешеный танец лицевых мускулов, замысловатые узоры из камней, прутьев, листьев) наводят его иногда на очень странные вопросы. Вот и сейчас:

— Как узнали, что люди думают головой? — спрашивает он.

Я слегка ошарашен и начинаю барахтаться. Он слушает меня по-прежнему внимательно, и постепенно я выплываю, нащупываю твердую почву под ногами, и все идет вроде бы гладко, и оба мы вроде бы довольны, но когда я заканчиваю, он объявляет:

— Нет. Это очень частное. Это не всегда и не везде. Если я думаю только головой, то почему я совсем не могу размышлять без рук?..

Я чувствую, что мы вступаем на скользкую почву. Центр категорически предписал мне любой ценой уклоняться от разговоров, которые могли бы навести Малыша на идею аборигенов. И предписал, надо сказать, правильно. Совсем избежать таких разговоров не удается, и в последнее время я заметил, что Малыш как-то очень болезненно переживает даже собственные ссылки на свой образ жизни. Может быть, начинает догадываться? Кто его знает... Я уже несколько дней жду его прямого вопроса. Хочу этого вопроса и боюсь его...

— Почему вы можете, а я не могу?

— Этого мы еще толком не знаем, — признаюсь я и осторожно добавляю: — Есть предположение, что ты все-таки не совсем человек...

— Тогда что же такое человек? — немедленно осведомляется он. — Что такое человек совсем?

Я очень неважно представляю себе, как можно ответить на такой вопрос, и обещаю рассказать ему об этом в следующую встречу. Он сделал из меня настоящего энциклопедиста. Иногда я круглые сутки глотаю и перевариваю информацию. Главный Информаторий работает на меня, крупнейшие специалисты по самым различным отраслям знания работают на меня, я обладаю правом в любую минуту связаться с любым из них и просить разъяснений — относительно моделирования П-абстракций, обмена веществ у абиссальных форм жизни, методики построения шахматных этюдов...

— У тебя усталый вид, — сочувственно замечает Малыш. — Ты устал?

— Ничего, — говорю я. — Терпеть можно.

— Странно, что ты устаешь, — сообщает он задумчиво. — Я почему-то никогда не устаю. А что такое, собственно, усталость?

Я набираю в грудь побольше воздуху и принимаюсь объяснять ему, что такое усталость. Не переставая слушать, он раскладывает перед собою камешки, которые обработал для него старый добрый Том, придав им форму кубиков, шаров, параллелепипедов, конусов и более сложных фигур. К моменту, когда я заканчиваю, перед

Малышом вырастает сложнейшее сооружение, решительно ни на что не похожее, но тем не менее в своем роде гармоническое и странно осмысленное.

— Ты рассказал хорошо, — говорит Малыш. — Скажи мне, наша беседа записывается?

— Да, конечно.

— Изображение хорошее, четкое? Изображение!

— Как всегда.

— Тогда пусть эту фигуру посмотрит дед. Посмотри, дед: узлы остывания здесь, здесь и здесь...

Дед Малыша, Павел Александрович Семенов, работает в области реализации абстракций в смысле Парсиваля. Он довольно рядовой ученый, но большой эрудит, и Малыш поддерживает с ним постоянную творческую связь. Павел Александрович говорил мне, что Малыш мыслит зачастую наивно, но всегда оригинально, и некоторые из его построений представляют определенный интерес для теории Парсиваля.

— Обязательно, — говорю я. — Непременно передам. Сегодня же.

— А может быть, это пустяки, — вдруг заявляет Малыш и одним движением сметает всю свою

конструкцию. — Что сейчас делает Лева? — спрашивает он.

Лева — это старший инженер Базы, большой шутник и анекдотчик. Когда Лева беседует с Малышом, околопланетный эфир заполняется хохотом и азартными визгами, а я испытываю что-то вроде ревности. Малыш очень любит Леву и обязательно каждый раз спрашивает о нем. Иногда он спрашивает и о Вандерхузе, и тогда чувствуется, что сладостная тайна бакенбард до сих пор осталась для него неразгаданной и острой. Раз или два он спросил о Комове, и мне пришлось объяснить ему, что такое проект «Ковчег-2», а также зачем этому проекту нужен ксенопсихолог. А вот о Майке он не спросил ни разу. Когда я сам попытался заговорить о ней, когда попытался объяснить, что Майка, если и обманывала, то для его же, Малыша, пользы, что из нас четверых именно Майка первая поняла, как тяжело Малышу и как он нуждается в помощи, — когда я попытался все это ему растолковать, он просто встал и ушел. И точно так же он встал и ушел, когда я однажды, к слову, принялся объяснять ему, что такое ложь...

— Лева спит, — говорю я. — У нас тут сейчас ночь, вернее, ночное время бортовых суток.

— Значит, ты тоже спал? Я тебя опять разбудил?

— Это не страшно, — говорю я искренне. — Мне интереснее с тобою, чем спать.

— Нет. Ты иди и спи, — решительно распоряжается Малыш. — Странные мы все-таки существа. Обязательно нам нужно спать.

Это «мы» подобно бальзаму проливается на мое сердце. Впрочем, Малыш последнее время часто говорит «мы», и я уже понемножку начал привыкать.

— Иди спать, — повторяет Малыш. — Но только скажи мне сначала: пока ты спишь, никто не придет на этот берег?

— Никто, — говорю я, как обычно. — Можешь не беспокоиться.

— Это хорошо, — говорит он с удовлетворением. — Так ты спи, а я пойду поразмышляю.

— Конечно, иди, — говорю я.

— До свидания, — говорит Малыш.

— До свидания, — говорю я и отключаюсь.

Но я знаю, что будет дальше, и я не иду спать. Мне совершенно ясно, что сегодня я опять не высплюсь.

Он сидит в своей обычной позе, к которой я привык и которая уже не кажется мне мучи-

тельной. Некоторое время он всматривается в потухший экран во лбу старины Тома, потом поднимает глаза к небу, как будто надеется увидеть там, на двухсоткилометровой высоте, мою Базу, состыкованную со спутником Странников, а за его спиной расстилается знакомый мне пейзаж запрещенной планеты Ковчег — песчаные дюны, шевелящаяся шапка тумана над горячей топью, хмурый хребет вдали, а над ним — тонкие длинные линии колоссальных, по-прежнему и, может быть, навсегда загадочных сооружений, словно гибкие, тревожно трепещущие антенны чудовищного насекомого.

Там у них сейчас весна, на кустах распустились большие, неожиданно яркие цветы, над дюнами струится теплый воздух. Малыш рассеянно озирается, пальцы его перебирают отшлифованные камешки. Он смотрит через плечо в сторону хребта, отворачивается и некоторое время сидит неподвижно, понурив голову. Потом, решившись, он протягивает руку прямо ко мне и нажимает клавишу вызова под самым носом у Тома.

— Здравствуй, Стась, — говорит он. — Ты уже поспал?

— Да, — отвечаю я. Мне смешно, хотя спать хочется ужасно.

— А хорошо было бы сейчас поиграть, Стась. Верно?

— Да, — говорю я. — Это было бы неплохо.

— Сверчок на печи, — говорит он и некоторое время молчит.

Я жду.

— Ладно, — бодро говорит Малыш. — Тогда давай опять побеседуем. Давай?

— Конечно, — говорю я. — Давай.

БЕСПОКОЙСТВО

Глава первая

С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена, как огромная, на весь мир, рыхлая губка, как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и поросло грубым мхом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел.

Леонид Андреевич сбросил шлепанцы и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он и в самом деле погрузил их в теплый лиловатый туман, скопившийся в тени под утесом. Он достал из кармана камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, в равнодушное и глотающее навсегда, и белая искра погасла, и ничего не произошло — никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Тогда он бросил второй камешек.

— Так это вы гремели сегодня у меня под окнами, — сказал Турнен.

Леонид Андреевич скосил глаз и увидел ноги Турнена в мягких сандалиях.

— Доброе утро, Тойво, — сказал он. — Да, это

был я. Очень твердый камень попался. Я вас разбудил?

Турнен придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.

— Кошмар, — сказал он. — Как вы можете так сидеть?

— Как?

— Да вот так. Здесь два километра. — Турнен присел на корточки. — Даже дух захватило, — сказал он.

Леонид Андреевич нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени.

— Не знаю, — сказал он. — Понимаете, Тойво, я человек вообще боязливый, но вот чего не боюсь, того не боюсь... Неужели я вас разбудил? По-моему, вы уже не спали, я даже немножко надеялся, что вы выйдете...

— А босиком почему? — спросил Турнен. — Так надо?

— Иначе нельзя. Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком. — Он снова поглядел вниз. — Вон она лежит. Сейчас я в нее камушком...

Он бросил камушек и сел по-турецки.

— Да не шевелитесь вы, ради бога, — сказал Турнен нервно. — И лучше вообще отодвиньтесь.

На вас смотреть страшно.

Леонид Андреевич послушно отодвинулся.

— Ровно в семь, — сообщил он, — под утесом выступает туман. А ровно в семь часов сорок минут туман исчезает. Я заметил по часам. Интересно, правда?

— Это не туман, — сказал Турнен сквозь зубы.

— Я знаю, — сказал Леонид Андреевич. — Вы скоро уезжаете?

— Нет, — сказал Турнен сквозь зубы. — Мы уезжаем не скоро. Мы уезжаем через два дня. Через — два — дня... — сказал он с расстановкой. — Повторить?

— Сегодня я спросил вас в первый раз, — кротко сказал Леонид Андреевич.

— И больше не спрашивайте, — сказал Турнен. — Хотя бы сегодня.

— Не буду, — сказал Леонид Андреевич.

Турнен посмотрел на него.

— Я надеюсь, вы не обиделись?

— Ну что вы, Тойво...

— А вы тоже не любите охоту?

— Терпеть я ее не могу.

Турнен опустил глаза.

— Что бы вы делали на моем месте? — спросил он.

— На вашем месте? Ну что бы я делал... Ходил бы за женой по лесу и носил бы ее... этот... ружье... и разные огнеприпасы.

— А вам не кажется, что это было бы глупо?

— Зато спокойно. Мне нравится, когда спокойно.

Турнен поджал губы и покачал головой.

— Она не выносит, когда я таскаюсь следом. Она раздражается, нервничает, все время промахивается. И егеря злятся... Так что я предпочитаю оставаться. В конце концов, можно представить себе, что это даже полезно... Здоровое волнение, этакое взбадривание...

— Действительно, — сказал Леонид Андреевич, — как это мне сразу не пришло в голову? Все эти наши страхи — просто нормальная функция застоявшегося воображения... Ведь что такое этот лес? А?

— Да, — сказал Турнен. — Что он, собственно, такое?

— Ну, тахорги... Ну, туман, который, правда, не туман... Смешно!

— Какие-то там блуждающие болота, — проговорил Турнен, усмехаясь.

— Насекомые! — сказал Леонид Андреевич и поднял палец. — Вот насекомые — это действи-

тельно неприятно.

— Ну, разве что насекомые...

— Да. Так что, я думаю, мы совершенно напрасно беспокоимся.

— Слушайте, Горбовский, — сказал Турнен, — почему-то, когда я разговариваю с вами, мне всегда кажется, что вы надо мною издеваетесь.

Леонид Андреевич поднял брови.

— Странно, — сказал он. — Честное слово, я действительно думаю, что мы с вами напрасно беспокоимся.

Они помолчали.

— Я беспокоюсь о своей жене, — сказал Турнен. — А вот о чем беспокоитесь вы, Горбовский?

— Я? Кто вам сказал, что я беспокоюсь?

— Вы все время говорите «мы с вами»...

— А-а... Ну, это просто... Вы только не подумайте, что я тоже беспокоюсь за вашу жену. Если бы вы видели, как она на двести шагов...

— Я видел, — сказал Турнен.

— И я тоже видел. Поэтому я нисколько за нее не беспокоюсь.

Он замолчал. Турнен подождал немного и спросил:

— Все?

— Что — все?

— Больше вы ничего мне не скажете?

— Н-ничего.

— Тогда пойдемте завтракать, — сказал Турнен, поднимаясь.

Леонид Андреевич тоже поднялся и запрыгал на одной ноге, натягивая шлепанец.

— Ох, — сказал Турнен. — Да отойдите же вы от края!

— Уже все, — сказал Леонид Андреевич, притопывая. — Сейчас отойду.

Он последний раз посмотрел на лес, на плоские пористые пласты его у самого горизонта, на его застывшее грозовое кипение, на липкую паутину тумана в тени утеса.

— Хотите бросить камушек? — сказал он, не оборачиваясь.

— Что?

— Бросьте туда камушек.

— Зачем?

— Я хочу посмотреть.

Турнен открыл рот, но ничего не сказал. Он подобрал камень и, размахнувшись, швырнул его в пропасть. Потом он поглядел на Горбовского.

— Я еще мог бы напомнить вам, — сказал Леонид Андреевич, — что с нею Вадим Сартаков, а это самый опытный егерь на базе.

Турнен все смотрел на него.

— А ищейку настраивал сам Поль, а это значит...

— Все это я помню, — сказал Турнен. — Я спрашивал вас совсем не об этом.

— Правда? — сказал Горбовский. — Значит, я вас неправильно понял.

Алик Кутнов пил томатный сок, держа стакан двумя толстыми красными пальцами. На месте Риты почему-то расположился тот молодой человек с громким голосом, что прибыл вчера на спортивном корабле, и Турнен сидел, нахохлившись, не поднимая глаз от своей тарелки, и резал на тарелке кусочек сухого хлеба — пополам и еще раз пополам, и еще раз пополам...

— Или, например, Ларни, — сказал Алик, взбалтывая в стакане остатки сока. — Он видел треугольный пруд, в котором купались русалки.

— Русалки! — сказал новичок с восторгом. — Превосходно!

— Да-да, самые обыкновенные русалки. Вы не смейтесь, Марио. Я же вам говорю, что наш лес немножечко не похож на ваши сады. Русалки были зеленые и необычайно красивые, они плескались в воде... Только у Ларни не было времени ими заниматься, у него истекал срок биоблока-

ды, но он говорит, что запомнил их смех на всю жизнь. Он говорит, что это было как громкий комариный звон.

— А может быть, это и был комариный звон? — предположил Марио.

— У нас все может быть, — сказал Алик.

— И может быть, биоблокада к тому времени у него уже ослабела?

— Может быть, — охотно согласился Алик. — Он вернулся совсем больной. Но вот, скажем, скачущие деревья я видел сам и неоднократно. Это выглядит так. Огромное дерево срывается с места и перепрыгивает шагов на двадцать.

— И не падает при этом?

— Один раз упало, но сейчас же поднялось, — сказал Алик.

— Великолепно! Вы просто прелесть! Ну а зачем же они скачут?

— Этого, к сожалению, никто не знает. О деревьях в нашем лесу вообще мало что известно. Одни деревья скачут, другие деревья плюют в прохожего едким соком пополам с семенами, третьи еще что-нибудь... Вот в километре от Базы есть, например, такое дерево. Я, например, остаюсь возле него, а вы отправляетесь точно на восток и в трех километрах трехстах семидесяти

двух метрах находите второе такое же дерево. И вот когда я режу ножом свое дерево, ваше дерево вздрагивает и начинает топорщиться. Вот так. — Алик показал руками, как топорщится дерево.

— Понимаю! — воскликнул Марио. — Они растут из одного корня.

— Нет, — сказал Алик, — просто они чувствуют друг друга на расстоянии. Фитотелепатия. Слыхали?

— А как же, — сказал Марио.

— Да, — сказал Алик лениво, — кто об этом не слыхал... Но вот чего вы, наверное, не слыхали, так это что в лесу есть еще люди, кроме нас. Их видел Курода. Он искал Сидорова и видел, как они прошли в тумане. Маленькие и чешуйчатые, как ящеры.

— У него тоже кончалась биоблокада?

— Нет, просто он любит приврать. Не то что я, скажем, или вы. Правда, Тойво?

— Нет, — сказал Турнен, не поднимая глаз. — Вранья вообще не бывает. Все, что выдумано, — возможно.

— В том числе и русалки? — спросил Марио. Видимо, он подумал, что его мрачный сосед тоже наконец решил пошутить.

Турнен посмотрел на него. По лицу его было

видно, что шутить он не собирается.

— Я их вижу, — сказал он. — И треугольный пруд. И туман, и зеленую луну. Все это я вижу так отчетливо, что могу описать во всех подробностях. Для меня это и есть критерий реальности, и он не хуже любого другого.

Марио неуверенно улыбнулся. Он все еще надеялся, что Турнен шутит.

— Превосходная мысль, — сказал он. — Отныне нам не нужны лаборатории. Субэлектронные структуры? Я вижу их. Могу описать, если хотите. Они так и переливаются. И треугольно-зеленые.

— Мне лаборатории не нужны уже давно, — произнес Турнен. — Они, по-моему, вообще никому не нужны. Вряд ли они помогут вам представить субэлектронные структуры.

Лицо Марио утратило готовность к веселью. Обнаружилось, что глаза у него совсем не детские.

— Я — физик, — сказал он. — Я легко представляю себе субэлектронные структуры без фигур и цветов.

— И что же дальше? — сказал Турнен. — Ведь я тоже могу представить себе эти структуры. И еще многое такое, для чего вы пока не придумали закорючек, значков и греческих букв.

— Ваши представления, может быть, и годятся

для вашего личного употребления, но беда в том, что на них далеко не уедешь.

— На представлениях давно уже никто не ездит. Не вижу, чем мои представления хуже ваших.

— На представлениях физики вы приехали сюда и уедете отсюда, а ваши представления годятся только для застольных парадоксов.

— Я мог бы вам напомнить, что идея деритринитации возникла тоже из застольного парадокса. Да и все идеи возникли из застольных парадоксов. Все фундаментальные идеи выдумываются, и вы это прекрасно знаете. Они не висят на концах логических цепочек. Но дело ведь даже не в этом. Что дальше? Ну не смог бы я прилететь сюда. И что? Ведь я не увидел здесь ничего такого, чего не мог бы представить себе, сидя дома.

Леонид Андреевич не стал слушать, что там отвечает физик. Он посмотрел на Алика. Инженер-водитель тосковал. Просто встать и уйти ему, наверное, было неловко, наверное, он боялся, что это будет выглядеть демонстративно. Спор же ему был до одурения скучен. Сначала он порывался встрянуть и направить беседу в другое русло и даже сказал: «Между прочим, в прошлом году...» Потом съел кусочек маринованной миноги. Потом сотворил из салфетки кораблик.

Потом с надеждой взглянул на часы, но нужное ему время еще, по-видимому, не приспело. И не то чтобы спор ему был непонятен, он слышал тысячи таких споров — и когда сидел, обливаясь потом, за рулем вездехода, идущего через заросли, и здесь в столовой, и в мастерских Базы, и даже на танцевальной веранде. Просто все это было ему бесконечно чуждо. Он любил конкретности своего времени: ощущение микронных зазоров на кончиках пальцев, спокойный и правильный гул могучих двигателей, блеск приборов в качающейся кабине. И он всю жизнь с кротким недоумением следил за тем, как эти конкретности теряют смысл на Земле, оттесняются на периферию Большой Жизни, уходят на далекие дикие планеты, и он отступал и уходил вместе с ними, любя их по-прежнему, но постепенно теряя уверенность в их (и своей) нужности, потому что если на этих диких мирах и нельзя обойтись без его искусства и его вездеходов, то люди, кажется, намереваются обойтись без самих этих миров. Таких, как инженер-водитель Алик Кутнов, было много, гарнизоны инопланетных баз комплектовались теперь в основном из них. Это были очень способные люди (неспособных людей вообще не бывает), но области приложения их

способностей неумолимо уходили в прошлое, и большинству Аликов еще предстояло понять это и искать выход.

— Вы безобразно самоуверенны, — говорил Турнен. — Вы воображаете, что оседлали наконец историю человечества. Но вы никак не можете понять, что не нужны никому, кроме самих себя, и не нужны уже давно...

— Человечество тоже никому не нужно, кроме самого себя. Вы ничего не утверждаете, вы только отрицаете...

Алик Кутнов мастерил второй кораблик. С мачтой.

В том-то и беда. Человечество никогда никому не было нужно, кроме самого себя. Да и самому себе оно стало нужным не так уж давно. А дальше? Дальше была равнина, и по равнине пролегали широкие дороги, и петляли едва заметные тропинки, и все они вели за горизонт, а горизонт скрывала мгла, и не видно было, что в этой мгле. Может быть, все та же равнина, может быть, гора. А может быть, и наоборот. И не видно было, какие дороги сузятся в тропинки и какие тропинки расширятся в дороги...

— Алик, — сказал Леонид Андреевич, — что вы делаете, когда по незнакомой дороге вы подъез-

жаете к незнакомому лесу?

— Снижаю скорость и повышаю внимание, — ответил Алик не задумываясь.

Леонид Андреевич посмотрел на него с восхищением.

— Вы молодец, — сказал он. — Все бы так.

— Да, — оживился Алик. — Вот в прошлом году...

Снизить скорость и повысить внимание. Очень точно сказано. А за рулем восседает молодой широкоплечий парень, ему весело мчаться по прямой дороге, а лес все ближе, и парню кажется, что вот там-то и есть самое интересное, и он влетает в лес на полной скорости, не потрудившись узнать, по-прежнему ли пряма дорога в лесу, или она обернулась там тропинкой, или оборвалась болотом.

— ...И после этого, — сказал Алик, — мы больше туда никогда не ездили. — Он посмотрел на часы. — Вот теперь я пойду, — сказал он.

— И я тоже, — сказал Леонид Андреевич.

Физик посмотрел на них незрячими глазами, не переставая говорить. Турнен опять резал хлеб.

Когда они вышли из столовой, Леонид Андреевич спросил Алика:

— Неужели все, что вы говорили этому физику,

— выдумка?

— А что я ему говорил?

— Про русалок, про чешуйчатых людей...

Алик ухмыльнулся.

— Да как вам сказать... По-моему, все это вранье. Куроде никто не верит, а Ларни болел... Да вы сами, Леонид Андреевич, бывали в лесу. Ну какие там могут быть люди? И тем более русалки...

— Я так и подумал, — сказал Леонид Андреевич.

Кабинет Поля Гнедых, директора Базы и начальника Службы индивидуальной безопасности, находился на самом верхнем ярусе Базы. Леонид Андреевич поднялся к нему на эскалаторе.

Кабинет Поля с экранами и селекторами межзвездной, планетной и внутренней связи, с фильмотеками, с информарием, с планетографическими картами олицетворял на Пандоре то же, что здание Всемирного совета — на Земле: здесь было сосредоточено управление планетой. Но в отличие от Всемирного совета директор Базы реально мог управлять только ничтожным кусочком территории своей планеты, крошечным каменным архипелагом в океане леса, покрывавшего континент. Лес не только не подчинялся Базе, он противостоял ей со всеми ее миллионами

лошадиных сил, с ее вездеходами, дирижаблями и вертолетами, с ее вирусофобами и дезинтеграторами. Собственно, он даже не противостоял. Он просто не замечал Базы.

— Иногда мне хочется взорвать там что-нибудь, — сказал Поль, глядя в окно.

— Где именно? — сейчас же спросил Леонид Андреевич.

— В самой середине.

— Тогда бы мы даже не увидели взрыва, — сказал Леонид Андреевич. — А уехать вам отсюда иногда не хочется?

— Иногда хочется, — сказал Поль. — Когда много туристов. Когда на всех не хватает егерей и они начинают бунтовать и требовать права на самообслуживание.

— Вы им не разрешайте, — попросил Леонид Андреевич. — Я вот тут пошел без егеря, чуть не заблудился.

— Знаю, — мрачно сказал Поль. — А почему вы не берете с собой карабина, когда выходите, Леонид Андреевич?

— Какого карабина?

— Любого!

Леонид Андреевич поморгал.

— Боюсь, — сказал он.

— Не понимаю.

— Боюсь, — пояснил Леонид Андреевич. — Вдруг выстрелит.

— Ну?

— Ну и попадет в кого-нибудь...

Некоторое время Поль смотрел на него. Потом вынул из шкафа свой карабин и подошел к Леониду Андреевичу.

— Вот здесь в прикладе, — сказал он терпеливо, — встроен маленький радиопередатчик. Где бы вы ни находились...

— Да нет, я это знаю... — сказал Леонид Андреевич.

— Так в чем же дело?

— Хорошо. — Леонид Андреевич взял карабин и отсоединил приклад. — Так? — спросил он. — Теперь я буду брать эту деревяшку с собой. Буду носить ее в своем... ядг... ягд... в охотничьей сумке. — Он вставил приклад на место и вернул карабин Полю. — Вы довольны, Поль?

Поль пожал плечами.

— Не понимаю. Вы что — кокетничаете?

— Нет, — сказал Леонид Андреевич. — Я капризничаю.

— Когда мы с Атосом писали о вас сочинение... это было очень много лет назад... мы изображали

вас совсем не таким.

— А каким же? — спросил польщенный Леонид Андреевич.

— Вы были велик. У вас горели глаза...

— Всегда?

— Практически всегда.

— А когда я спал?

— В наших сочинениях вы никогда не спали. Вы вели корабль сквозь магнитные бури, сквозь бешеные атмосферы. Руки у вас были как сталь, и вы были стремительны...

— Так я и сейчас такой! — вскричал Леонид Андреевич. — Где здесь корабль?

Он вскочил, выхватил у Поля карабин, приложился, прищурив один глаз, и закричал:

— Тра-та-та-та!..

Потом он опустил карабин и спросил:

— Ну как?

— Не то, — сказал Поль, безнадежно махнув рукой. — Интеллекта нет.

— Очень мне нужен интеллект, — обиженно сказал Леонид Андреевич.

Он снова лег в кресло и спросил:

— Я вам не мешаю?

— Нет, — сказал Поль, пряча карабин в шкаф. — Я только все удивляюсь: что *вы* у нас на Базе

делаете?

— А вы никому не расскажете? — спросил Леонид Андреевич.

— Если не хотите, нет, не расскажу.

— Я ухаживаю, — сказал Леонид Андреевич.

Поль сел.

— Это за кем же? — спросил он. — Неужели за Ритой Сергеевной?

— А что, заметно?

— Да есть такое мнение.

— Так вот я не за ней ухаживаю, — оскорбленно сказал Леонид Андреевич. — Я ухаживаю совершенно за другой женщиной. Она уже давно улетела.

— Ага, — сказал Поль. — А вы, значит, остались на медовый месяц.

— Вы циничны, — сказал Леонид Андреевич. — Мы никогда не поймем друг друга. Расскажите лучше, что сегодня новенького.

— Рита Сергеевна застрелила тахорга, — сказал Поль значительно.

— Молодец. А еще?

— На вверенной мне Базе за истекшие сутки ничего не случилось, все в порядке, недостатка ни в чем не испытываем, — сказал Поль.

— А на базах, которые вам не вверены?

— Какие имеются в виду?

— Земля, например. Или, скажем, Радуга.

— На Земле тоже недостатка ни в чем не испытывают. Испытывают избыток. А на Радуге... Знаете что, Леонид Андреевич, сводки уже в типографии, через полчаса прочтете сами.

— Нет, — сказал Леонид Андреевич. — Я хочу узнать что-нибудь первым. Ведь вы же про меня сочинение писали, Поль. Расскажите мне что-нибудь особенное. Чего нет в сводках.

— Вас интересуют сплетни? — осведомился Поль.

— Очень, — сказал Леонид Андреевич.

— Жаль. Сплетен у меня нет. По Д-связи сплетен не передают. По Д-связи нынче передают черт знает что.

Леонид Андреевич сейчас же вытащил записную книжку и приготовил авторучку.

— Нет, серьезно, — продолжал Поль. — Сегодня ночью вдруг прервали передачу ядерного прогноза и выдали нам какую-то шифровку на имя Мостепаненко. Без имени адресанта. Это уже третий случай. На прошлой неделе была шифровка некоему Герострату, а на позапрошлой — Пеккелису. На мой запрос не ответили. Идиотство какое-то.

— Да, — сказал Леонид Андреевич. — Но зато интересно.

Он нарисовал в записной книжке женскую головку и написал под ней печатными буквами: ИДИОТСТВО; ИДИОТСТВО; ИДИОТСТВО...

— Герострат... — сказал он. — Какой же это Герострат? Не тот ли? Вообще в свете современной физической теории вполне можно предположить...

— Кто-то идет, — сказал Поль, и Леонид Андреевич замолчал.

В кабинет вбежал человек.

Леонид Андреевич не знал его, но было видно, что этот человек из леса и что он взволнован, и Леонид Андреевич сел прямо и сунул записную книжку в карман.

— Связь! — сказал человек, задыхаясь. — Когда будет связь, Поль?

Он был в комбинезоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке рации. От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми стрелками молодых побегов, правая нога была опутана оранжевой плетью лианы, волочащейся по полу, и казалось, что это щупальце самого леса, что оно сейчас напряжется и потянет человека обратно, через коридоры

управления, вниз по эскалатору, мимо ангара и мастерских, и снова вниз по эскалатору, и через аэродром, к обрыву, к башне лифта, но не в лифт, а мимо, вниз...

— Выйди отсюда, — сердито сказал Поль.

— Ты ничего не понимаешь, — задыхаясь, сказал человек. Лицо его было в красных и белых пятнах, глаза выкачены. — Когда будет связь?

— Курода! — железным голосом сказал Поль. — Выйдите вон и приведите себя в порядок!

Курода остановился.

— Поль, — сказал он и сделал странное движение головой, словно у него чесалась шея. — Честное слово, мне срочно нужно!

Леонид Андреевич снова лег. Поль подошел к Куроде, взял его за плечи и повернул лицом к двери.

— Формалист, — сказал Курода плаксиво. — Бюрократ.

— Стой, не двигайся, — сказал Поль. — Шляпа! Дай пакет.

Курода снова сделал странное движение головой, и Леонид Андреевич увидел на его тощей подбритой шее, в самой ямочке под затылком, коротенький бледно-розовый побег, тоненький, острый, уже завивающийся спиралью, дрожа-

щий, как от жадности.

— Что там, опять подхватил? — спросил Курода и полез в нагрудный карман. — Нет у меня пакета... Слушай, Поль, ты мне можешь сказать, когда будет связь?

Поль что-то делал с его шеей, что-то уминал и массировал длинными пальцами, брезгливо оскалившись и бормоча что-то неласковое.

— Стой смирно, — прикрикнул он. — Не дергайся! Ну что ты за шляпа!

— Вы поймали чешуйчатого человека? — спросил Леонид Андреевич.

— Чепуха! — сказал Курода. — Я не говорил, что эти люди были чешуйчатые... Поль, ты скоро? Это надо послать им в первую очередь! Ай!

— Все, — сказал Поль. Он отошел от Куроды и бросил что-то полуживое, корчащееся, окровавленное в диспенсер. — Немедленно к врачу. Связь в семь вечера.

Лицо Куроды вытянулось.

— Попроси экстренный сеанс! — сказал он. — Ну что это такое — ждать до семи вечера?

— Хорошо, хорошо, иди, потом поговорим.

Курода неохотно пошел к двери, демонстративно волоча ноги. Розовые побеги на его комбинезоне уже увядали, сморщивались и осыпались на

пол. Когда он вышел, Поль сказал:

— Обнаглели. Вы представить себе не можете, Леонид Андреевич, до чего мы все обнаглели. Никто ничего не боится. Как дома. Поиграл в садике — и к маме на коленки, прямо как есть, в земле и песочке. Мама вымоет...

— Да, обнаглели немножко, — негромко проговорил Леонид Андреевич. — Я рад, что вы это замечаете.

Поль Гнедых не слушал. Он смотрел в окно, как Курода сбегает по эскалатору, волоча за собой обрывок лианы.

— Похож на Атоса, — сказал он вдруг. — Только Атос, конечно, никогда не пришел бы в таком виде. Вы помните Атоса, Леонид Андреевич? Он писал мне, что когда-то работал с вами.

— Да, на Владиславе. Атос-Сидоров.

— Он погиб, — сказал Поль, не оборачиваясь. — Давно уже. Где-то вон там... Жалко, что он вам не понравился.

Леонид Андреевич промолчал.

Глава вторая

Атос проснулся и сразу подумал: «Послезавтра мы уходим». И сейчас же в другом углу Нава зашевелилась на своей постели и спросила:

— Когда ты уходишь?

— Не знаю, — ответил он. — Скоро.

Он открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами. Слева направо двигались нагруженные, справа налево шли порожняком. Месяц назад было наоборот. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое. Месяц назад я тоже проснулся и подумал, что послезавтра мы уходим, и никуда мы не ушли, и еще когда-то, задолго до этого, я проснулся и тоже подумал, что послезавтра мы уходим, и мы, конечно, не ушли, но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Впрочем, и так я уже думал раньше, но теперь-то уж я обязательно уйду.

— А когда — скоро? — спросила Нава.

— Очень скоро, — ответил он.

— Получилось так, — сказала Нава, — что мертвяки вели нас ночью, а ночью они плохо видят,

это тебе всякий скажет, вот хотя бы Горбун, хотя он не здешний, он из деревни, что по соседству с моей, и ты его знать не можешь, получилось так, что в его деревне все заросло грибами, а это не всякому нравится, мой отец, например, ушел из своей деревни, а он сказал, что Одержание произошло и в деревне теперь делать людям нечего... Так вот, луны тогда не было, и они все сбились в кучу, и стало жарко — не продохнуть...

Атос посмотрел на нее. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась, только двигались губы и время от времени вспыхивали в полутьме глаза. Когда вошел старик, она не перестала говорить, а старик подсел к столу, придвинул горшок и стал есть. Тогда Атос поднялся и обтер с тела ладонями ночной пот. Старик чавкал и брызгал. Атос отобрал у него горшок и молча протянул его Наве, чтобы она замолчала. Старик обсосал губы и сказал:

— Невкусно. К кому ни придешь, везде невкусно. Тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил, а я ходил много, и на дрессировку, и просто выкупаться, я в те времена часто купался, там было озеро, а теперь там болото, и ходить стало опасно, но кто-то все равно ходит, потому что иначе откуда там столько утопленников? И

тростник. Я любого могу спросить: откуда там в тростнике тропинки? Никто не может этого знать, да и не следует. Только там уже не сеять. А сеяли, потому что нужно было для Одержания, и все везли на глиняную поляну, теперь-то тоже возят, но там не оставляют, а привозят обратно, я говорил, что нельзя, но они и не понимают, что это такое — нельзя, староста меня прямо при всех спросил: почему нельзя? Я ему говорю, как же ты можешь при всех спрашивать, почему нельзя? Отец у него был умнейший человек, а может, он и не отец ему вовсе, некоторые говорили, что не отец, и вправду не похоже... Почему нельзя при всех спросить, почему нельзя?

Нава встала и протянула горшок Атосу. Атос стал есть. Старик замолчал и некоторое время смотрел на него, а потом заметил:

— Не добродила у вас еда, есть такое нельзя.

— Почему нельзя? — спросил Атос.

Старик захихикал.

— Эх ты, Молчун, — сказал он. — Ты бы уж лучше, Молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, очень это болезненно, когда голову отрезают?

— А тебе какое дело? — крикнула Нава.

— Кричит, — сообщил старик. — Покрикивает. Ни одного еще не родила, а покрикивает.

Ты почему не рожаешь? Сколько с Молчуном живешь, а не рожаешь. Так поступать нельзя. А что такое «нельзя» — ты знаешь? Это значит — нежелательно, не одобряется. А поскольку не одобряется, значит, поступать так нельзя. Что можно — это еще неизвестно, а уж что нельзя, то нельзя. Это всем надлежит понимать, а тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь, дом тебе дали, Молчуна вот в мужья пристроили. У него, может быть, голова чужая, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что «нельзя» — это самое что ни на есть нежелательное. Как еще можно понимать «нельзя»? Можно и нужно понимать так, что «нельзя» — вредно...

Атос доел, поставил пустой горшок перед стариком и вышел. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли видна была только тропинка, протоптанная стариком, и место у порога, где он сидел и ждал, пока они проснутся. Улицу уже расчистили, зеленый ползун толщиной в ногу, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед домом соседа, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже закис, от него остро и аппетитно пахло, и соседские ребятишки, столпившись вокруг него,

рвали бурую мякоть и совали в рот сочные комки. Когда Атос проходил, один из них невнятно крикнул набитым ртом: «Молчак-Мертвяк!», но его не поддержали: были заняты. Больше на улице, оранжевой и красной от высокой травы, в которой тонули дома, сумрачной, покрытой неяркими зелеными пятнами от солнца, пробивающегося сквозь лесную кровлю, никого не было. С поля доносился нестройный хор скучных голосов: «Эй, сей веселей!.. Вправо сей, влево сей!..» В лесу откликалось эхо. А может быть, и не эхо. Может быть, мертвяки.

Колченог, конечно, сидел дома и массировал ногу.

— Садись, — сказал он Атосу приветливо. — Уходишь, значит?

— Ухожу, — сказал Атос и сел у порога. — Что, опять разболелась?

— Нога-то? Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так — хорошо. А когда уходишь?

— Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. Придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь?

Колченог осторожно вытянул ногу и сказал задумчиво:

— Как от меня выйдешь, поворачивай налево

и ступай до самого поля. По полю — мимо двух камней, сразу увидишь дорогу. Она мало заросла, потому что валунов много. Прямо по этой дороге, две деревни пройдешь, одна пустая, грибная, грибами она поросла, так там не живут, а в другой живут чудаки, через их деревню два раза синяя трава прошла, с тех пор болеют, и за той чудаковой деревней по правую руку и будет тебе твоя глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо, сам дойдешь.

— До глиняной поляны мы дойдем, — согласился Атос. — А вот дальше?

— Куда дальше?

— Дальше в лес. Через болота. Где раньше озера были и проходила большая дорога.

— Это же какая дорога? До глиняной поляны? Так я тебе говорю, поверни налево, иди до поля, до двух камней...

Атос дослушал и сказал:

— До глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. Но нам нужно дальше. Я же рассказывал тебе. Мне необходимо добраться до Города. Ты говорил, что знаешь дорогу.

Колченог сочувственно покачал головой.

— До Го-о-орода... Так до Города, Молчун, не дойти. До глиняной поляны, например, это просто:

мимо двух камней, через грибную деревню, через чудакову деревню, а там по правую руку и будет глиняная поляна. Или, скажем, до Тростников. Тут уж поворачивай от меня направо, через редколесье, мимо Хлебного болота, а там все время за солнцем, куда солнце, туда и ты. Трое суток идти, но если надо — пойдем. Там мы горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили... Так бы и говорил, что до Тростников. Тогда и до послезавтра ждать нечего. Завтра утром выйдем, и еды с собой брать не надо, раз там Хлебное болото. Ты, Молчун, говоришь больно мало, только начнешь прислушиваться, а ты уже и рот закрыл. А в Тростники пойдем. Завтра утром и пойдем...

Атос дослушал и сказал:

— Понимаешь, Колченог, мне не надо в Тростники. В Тростники мне не надо. Не надо мне в Тростники. (Колченог жадно слушал и кивал.) Мне надо в Город. Мы с тобой уже целый месяц об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в Город. Позавчера говорил, что мне надо в Город. Неделю назад говорил, что мне надо в Город. Ты сказал, что знаешь до Города дорогу, и позавчера, и неделю назад ты говорил, что знаешь до Города дорогу. Расскажи мне про дорогу до Города. Не до Тростников, а до Города. А еще лучше — пойдем

до Города вместе. Не до Тростников пойдем вместе, а до Города пойдем вместе.

Атос замолчал. Колченог снова принялся оглаживать больное колено.

— Тебе, Молчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная. А потом шел я однажды ночью через Муравейники, нес муравьиную матку, и эта нога попала у меня в дупло, и теперь кривая. Почему кривая — никто не знает, но ходит плохо. Но до Муравейников дойду. Доведу тебя. Только не пойму, зачем ты сказал, чтобы я пищу на дорогу готовил. До Муравейников тут рукой подать. — Он посмотрел на Атоса и открыл рот. — Так тебе же не в Муравейники, — сказал он. — Тебе же в Тростники. Нет, не могу я в Тростники. Не дойду. Видишь, нога кривая. Слушай, Молчун, а почему ты так не хочешь в Муравейники? Давай пойдем в Муравейники, а? Я ведь с тех пор так и не бывал там ни разу, может, их уже и нету? Дупло то поищем, а?

Атос наклонился на бок и подкатил к себе горшок.

— Хороший горшок, — сказал он. — И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки. Так ты меня проводишь до Города? Ты

говорил, что никто, кроме тебя, дорогу до Города не знает. Пойдем до Города, Колченог. Как ты думаешь, дойдем мы до Города?

— А как же? Дойдем. До Города? Конечно, дойдем. А горшки такие ты видел, я знаю где. У чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, а из глины делают. У них там близко глиняная поляна, я тебе говорил, от меня сразу налево и мимо двух камней до грибной деревни. А в грибной деревне никто уже не живет. Туда и ходить не стоит. Что мы, грибов не видели, что ли... Когда у меня нога здоровая была, я никогда в эту грибную деревню не ходил, знаю только, что от них прямо за двумя оврагами чудаки живут. Да. Завтра, значит, выйдем. Слушай, Молчун, давай туда не пойдем. Не люблю я эти грибы. Понимаешь, у нас в лесу грибы — это одно. Их даже есть можно. А в той деревне они зеленые и запах от них дурной. Зачем тебе туда? Еще грибницу сюда занесешь. Пойдем лучше в Город. Только тогда завтра не выйти. Надо еду запасти. Расспросить надо про дорогу. Или ты дорогу знаешь? Если знаешь, тогда я не буду спрашивать, а то я что-то и не соображу, у кого бы это спросить. Может, у старосты? Как ты думаешь?

— А сам ты про дорогу в Город ничего не слы-

хал? — спросил Атос. — Ты про эту дорогу много слыхал. Ты даже один раз почти дошел до Города, только мертвяков испугался. Боялся, что один не отобьешься.

— Мертвяков я не боялся и не боюсь, — возразил Колченог. — Я тебе скажу, чего я боюсь. Как мы с тобой идти будем? Ты так все время и будешь молчать? Я ведь так не могу. Ты не обижайся на меня, Молчун, ты мне скажи, громко не хочешь говорить, так шепотом скажи. Или просто кивни. А если кивать не хочешь, так вот правый глаз у тебя в тени, ты его прикрой, я увижу. Может быть, ты все-таки немножечко мертвяк? Я ведь мертвяков не терплю. У меня от них дрожь начинается, и ничего я с собой не могу поделать.

— Нет, Колченог, я не мертвяк, — сказал Атос. — Я их сам не терплю. А если ты боишься, что я буду молчать, так мы не вдвоем пойдем, я тебе уже говорил. С нами Кулак пойдет, и Хвост, и еще несколько парней из Новой деревни.

— С Кулаком я не пойду, — решительно сказал Колченог. — Кулак у меня дочь за себя взял. И не уберег. Мне не то жалко, что он взял, а то мне жалко, что не уберег. Угнали у него дочку. Шел он с нею в Новую деревню, подстерегли его воры и дочку отобрали, а он и отдал. Нет, Молчун, с во-

рами шутки плохи. Если бы мы в Город пошли, от воров бы покою не было. То ли дело в Тростники! Туда можно без всяких колебаний идти. Завтра и выйдем.

— Послезавтра, — сказал Атос. — Ты пойдешь, я пойду, Кулак, Хвост и еще трое из Новой деревни. Так до самого Города и дойдем.

— Всемером дойдем, — уверенно сказал Колченог. — Один бы я не пошел, а всемером дойдем. Всемером мы до Чертовых Гор дойдем, только я дороги туда не знаю. А может, пошли до Чертовых Гор? Далеко очень, но всемером дойдем. А зачем тебе на Чертовы Горы? Слушай, Молчун, давай до Города дойдем, а там посмотрим. Пищи наберем побольше и пойдем.

— Значит, договорились, — сказал Атос и встал. — Послезавтра выходим в Город. Завтра я еще зайду к тебе.

— Заходи, заходи, — сказал Колченог. — Я бы сам к тебе зашел, да у меня нога болит. А ты заходи, поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят, но я не такой. Я...

Атос вышел на улицу и снова обтер ладонями пот. Продолжение следовало.

Кто-то хихикнул рядом и закашлялся. Атос обернулся. Из травы поднялся старик, потрещал

узловатыми пальцами и сказал:

— В Город, значит, собрались. Интересно затеяли, да только до Города никто еще не доходил живым. Да и нельзя. Хоть у тебя голова и переставленная, сам понимать должен...

Атос свернул направо и пошел по улице. Старик, путаясь в траве, некоторое время плелся следом и бормотал:

— Если нельзя, то всегда в каком-нибудь смысле нельзя, в том или ином, например, нельзя без старосты или без собрания, а со старостой или с собранием можно, но опять же не в любом смысле...

Атос шел быстро, насколько позволяла влажная жара, и старец понемногу отстал. На площади Атос увидел Слухача. Слухач, кряхтя и пошатываясь, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах. Атос попытался его миновать, но Слухач так ловко изменил траекторию, что столкнулся с ним нос к носу.

— А, Молчун! — радостно закричал он, торопливо снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю. — Куда идешь, Молчун? Домой небось идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что

Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле, своими глазами видел, как Нава на поле пошла, хочешь верь, хочешь не верь... Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Нава, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как на поле, никуда не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей Наве, тебя, Молчуна, может, разве искать...

Атос снова попытался его обойти и снова оказался с ним нос к носу.

— Да и не ходи ты за ней на поле, — продолжал Слухач убедительно, — зачем тебе за нею ходить, когда я вот сейчас траву побью и всех сюда зазову, потому что землемер сказал, что ему староста велел, чтобы он сказал мне на площади траву побить, потому что скоро будет собрание, а как будет собрание, так все сюда с поля придут, и Нава твоя придет, если она на поле пошла, а куда ей еще по тому переулку идти, хотя, если подумать, то по тому переулку и не только на поле попасть можно...

Он вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его выкатились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Атос приостановился. Мутное лиловатое облачко возникло возле лица Слухача, губы его затряслись, и он заговорил

быстро и отчетливо чужим металлическим голосом с чужими интонациями, чужим диковинным стилем и даже, кажется, на чужом языке, так что понятными были только отдельные фразы.

— На фронте южных земель в битву вступают новые... отодвигается все дальше на юг... победного передвижения... Большое разрыхление почвы на северном направлении ненадолго прекращено из-за редких кое-где... Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового передвижения на... Во всех деревнях... большие победы... усилия... новые отряды подруг... завтра и навсегда спокойствие и слияние...

Подоспевший старик стоял у Атоса за плечом и приговаривал:

— Видел? Спокойствие и слияние!.. Все время твержу: нельзя! Во всех деревнях, слышал?.. Значит, и в нашей тоже. И новые отряды подруг...

Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло.

— О чем это я? — сказал он. — Что, передача была? Ну как там Одержание, исполняется? А на поле ты, Молчун, не ходи. Ты ведь, наверное, за своей Навой идешь...

Атос перешагнул через горшок с травобойкой

и поспешно пошел прочь. Дом Кулака находился на самой окраине. Замурзанная старуха — не то мать, не то тетка — сказала, недоброжелательно фыркая, что Кулака дома нету, Кулак в поле, а если бы был в доме, то искать его в поле было бы нечего, а раз он в поле, то чего ему, Молчуну, тут зря стоять. Атос отправился на поле.

В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов. Разило по́том, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай был уже снят и толстым слоем навален вдоль борозды. Зерно уже разлагалось. Тучи рабочих мух толклись над горшками с закваской, а в самой гуще этого черного, отсвечивающего металлом круговорота стоял староста и, наклонив голову и прищурив один глаз, внимательно изучал каплю сыворотки на ногте большого пальца. Ноготь был специальный, плоский, тщательно отполированный, до блеска отмытый нужными составами. Мимо ног старосты по борозде, в десяти шагах друг от друга, гуськом ползли сеятели. Они больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало, и теперь ясно было, что это не эхо.

Атос пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные лица. Отыскав Кулака, он тронул его за плечо, и Кулак сразу же, ни о чем

не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью.

— Чего, шерсть на носу, касаешься? — прохрипел он, глядя Атосу в ноги. — Один вот тоже, шерсть на носу, касался, так его взяли за руки и за ноги и на дерево закинули, там он до сих пор и висит, а когда его снимут, так больше небось касаться не будет, шерсть на носу...

— Идешь? — коротко спросил Атос.

— Еще бы не иду, когда закваски на семерых наготовил, в дом не войти, шерсть на носу, воняет, жить невозможно, как же теперь не идти — старуха выносить не хочет, а сам я на это уже глядеть не могу. Да только куда идем? Колченог вчера говорил, что в Тростники, а я в Тростники не пойду, шерсть на носу, там и людей-то в Тростниках нет, не то что девок, там если человек захочет кого за ногу взять и на дерево закинуть, шерсть на носу, так некого, а мне без девки жить больше невозможно, меня староста со свету сживет... Вон, стоит, шерсть на носу, глаза вылупил, а сам слепой, как пятка, шерсть на носу, один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит, шерсть на носу, а в Тростники я не пойду, как хочешь...

— В Город, — сказал Атос.

— В Город — другое дело, в Город я пойду, тем

более, говорят, что никакого Города вообще и нету, шерсть на носу, а врет о Городе этот старый пень, придет утром, половину горшка выест и начинает, шерсть на носу, плести: то нельзя, это нельзя... Я его спрашиваю, а кто ты такой, чтобы мне запрещать, что нельзя, а что можно, шерсть на носу — не говорит, сам не знает, про Город какой-то несет...

— Выходим послезавтра, — сказал Атос.

— А чего ждать? — возмутился Кулак. — У меня в доме ночевать невозможно, закваска смердит, пошли лучше вечером, а то вот так один ждал-ждал, а ему как дали по ушам, так он и ждать перестал, и до сих пор не ждет... И старуха ругается, житья нет, шерсть на носу, слушай, Молчун, давай старуху возьмем, может, ее воры отберут, я бы отдал, а?

— Выходим послезавтра, — терпеливо повторил Атос. — И ты молодец, что закваски приготовил много. Нам...

Он не закончил, потому что на поле закричали.

«Мертвяки! Мертвяки! — заорал староста. — Женщины, назад!» Атос огляделся. Между деревьями на краю поля стояли мертвяки: двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы

их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону, огромные руки плетьми висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась, белые струйки пара мешались с сизым дымком. Мертвяки эти видали виды и поэтому держались крайне осторожно. У желтого весь правый бок был изъеден травобоем, а оба синих были испятнаны лишаями ожогов от бродила. Местами шкура на них отмерла и свисала лохмотьями. Пока они стояли и смотрели, женщины с визгом убежали в деревню, а мужчины, угрожающе и многословно бормоча, сбились в кучу с горшками травобоя наготове. Потом староста сказал: «Чего стоять? Пошли!» — и все неторопливо двинулись на мертвяков, рассыпаясь в цепь. «В глаза! — покрикивал староста. — Старайтесь в глаза им плеснуть! В глаза!» В цепи пугали: «Гу-гу-гу! А ну пошли отсюда! А-га-га-га!» — связываться никому не хотелось.

Кулак шел рядом с Атосом, выдирая из бороды засохшую грязь, и кричал громче всех, а между криками приговаривал: «Да не-ет, зря идем, шерсть на носу, не устоят они, сейчас побегут... Разве это мертвяки? Драные какие-то, где им устоять... Гу-гу-гу! Вы!» Подойдя к мертвякам шагов

на двадцать, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли, мертвяк с необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. Все снова загукали и затопали ногами, некоторые показывали мертвякам горшки и делали угрожающие движения. Травобоя было жалко, и не хотелось потом тащиться в деревню за новым бродилом, мертвяки были битые, осторожные, и должно было обойтись и так.

И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще, они попятились. «Ну, все, — сказали в цепи. — Сейчас вывернутся...» Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись внутри шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта — они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара.

Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выяснилось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. «На площадь ступайте, на площадь... — повторял каждому староста. — На площади собрание будет, так что идти надо на площадь...» Атос искал глазами Хвоста, но Хвоста в толпе видно не было. Кулак, трусивший рядом, говорил:

— А помнишь, Молчун, как ты на мертвяка

прыгал? Как он, понимаешь, на него прыгнет, шерсть на носу, да как его за голову ухватит, обнял, как свою Наву, шерсть на носу, да как заорет... Помнишь, Молчун, как ты заорал? Обжегся, значит, ты, потом весь в волдырях ходил... Зачем же ты на него прыгал, Молчун? Один вот так на мертвяка прыгал, слупили с него кожу на брюхе, больше не прыгает, шерсть на носу, и детям прыгать закажет... Говорят, Молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в Город унес, да ведь ты же не девка, чего он тебя понесет, да и Города, говорят, никакого нет, это все этот старый пень выдумывает слова разные — Город, Одержание... А кто его, это Одержание, видел? Слухач пьяных мух наглотается, как пойдет плести, а старый пень тут как тут, слушает, а потом ходит, жрет чужое и повторяет...

— Так послезавтра будь готов выходить, — сказал Атос. — Выйдем из Новой деревни. Если увидишь Колченога, напомни ему. Я напоминал и еще напоминать буду, но и ты тоже напомни...

— Я ему так напомню, что последнюю ногу отломаю, — пообещал Кулак.

На собрание сошлась вся деревня, болтали, толкались, сыпали на пустую землю семена — выращивали подстилки, чтобы мягко было

сидеть. Под ногами путались детишки, их возили за вихры и за уши. Староста, бранясь, отгонял колонну плохо обученных муравьев, потащивших было личинок рабочих мух прямо через площадь, допрашивал окружающих, по чьему же это приказу муравьи здесь ходят. Но выяснить было уже невозможно. Подозревали Слухача и Атоса.

Атос отыскал Хвоста, но поговорить не успел, потому что собрание началось, и первым, как всегда, полез выступать старик. О чем он говорил, понять было невозможно, но все сидели смирно и шикали на возившихся детишек. Кое-кто дремал. Старик долго распространялся о том, что такое нельзя и в каких оно бывает смыслах, призывал к Одержанию, сообщал об успехах на всех фронтах, бранил деревню, что везде есть новые отряды подруг, а в деревне нет, и ни спокойствия нет, ни слияния, и происходит это из того, что люди забыли слово «нельзя» и вообразили будто теперь все можно, а Молчун, например, вообще хочет уйти в Город, хотя его никто не вызывал, но деревня за это ответственности не несет, потому что он чужой, но если окажется вдруг, что он все-таки мертвяк, а такое мнение есть, то вот тогда неизвестно, что будет, тем более, что у Навы, хотя она тоже чужая, от Молчуна детей нет, и

терпеть этого нельзя, а староста терпит... К концу выступления староста задремал, но, услыхав свое имя, вздрогнул и сейчас же грозно крикнул: «Эй, не спать!»

— Спать дома будете, — сказал он, — на то дома и есть, чтобы в них спать, а на площади никто не спит, на площади собрания бывают. На площади мы спать не позволяли, не позволяем и позволять не будем. — Он покосился на старика. Старик важно кивнул. — Это и есть наше общее нельзя. — Он пригладил волосы и сообщил: — В Новой деревне объявилась невеста. А у нас есть жених, известный вам всем Болтун. Болтун, ты встань и покажись... впрочем, нет, ты лучше посиди так, мы тебя все знаем... Отсюда вопрос: отпускать Болтуна в Новую деревню или наоборот невесту из Новой деревни взять к нам... Нет-нет, ты, Болтун, посиди, мы без тебя решим, а если кто имеет мнение, то пусть скажет.

Мнений оказалось два. Одни (главным образом, соседи Болтуна) требовали, чтобы Болтуна отдали в Новую деревню — пусть-ка он там живет. Другие же, люди спокойные и серьезные, живущие на другом конце деревни, считали, что нет, женщин стало мало, воруют женщин, и потому невесту нужно брать к себе. Спорили долго и

сначала по существу. Потом Колченог неудачно выкрикнул, что время военное, а про это забывают, и про Болтуна сразу забыли. Слухач стал кричать, что никакой войны нет и не было, а есть и будет Великое Разрыхление Почвы. И вовсе не Разрыхление, возразили в толпе, а Необходимое Заболачивание. Поднялся старик и, выкатив глаза, хрипло завопил, что все это нельзя, что нет никакой войны, и нет никакого Разрыхления, и нет никакого Заболачивания, а есть, была и будет борьба на всех фронтах. Как же нет войны, шерсть на носу, отвечали ему, когда за чудаковой деревней полное озеро утопленников? Собрание взорвалось. Мало ли что утопленники, где вода, там и утопленники. И вовсе это не борьба и не война, и никакие это не утопленники, а есть это Спокойствие и Слияние в целях Одержания. А почему же тогда Молчун в Город идет? Раз он в Город идет, значит Город есть, а раз Город есть, то какая может быть война? Ясно, что Слияние! Мало ли куда идет Молчун! Один тоже шел, так ему дали по зубам, больше никуда... Молчун потому и идет в Город, что Города нет, а раз Города нет, то какое может быть Слияние? Нет никакого Слияния, одно время было, но уже давно нет. И Одержания уже нет! Потому что война! Да не

война, я вам говорю, а борьба на всех фронтах! А утопленники? А ты их видел — утопленников? Эй, Болтуна держите!..

Атос, зная, что теперь это надолго, попытался начать разговор с Хвостом, Хвосту было не до разговоров. Хвост кричал: «Одержание! А мертвяки почему? Про мертвяков молчите, потому что не знаете, что и думать! Вот и кричите про Одержание!» Покричали про мертвяков, потом про грибные деревни, потом устали и начали затихать, утирая лица, обессиленно отмахиваясь друг от друга руками, и скоро обнаружилось, что все молчат, а спорят только старик и Болтун. Тогда все опомнились. Болтуна посадили, навалились, напихали в рот листьев. Старик еще некоторое время говорил, но потерял голос и не был слышен. Тогда поднялся взъерошенный представитель Новой деревни и, прижимая руки к груди, искательно озираясь, стал сорванным голосом просить, чтобы Болтуна к ним в Новую деревню не посылали, а взяли бы невесту к себе, а уж за приданым Новая деревня не постоит... Новый спор начинать уже не было никакой возможности, и выступление представителя решило вопрос.

Народ стал расходиться на обед. Хвост взял

Атоса за руку и увлек в сторону под дерево.

— Ну когда же идем? — спросил он. — Мне в деревне надоело, я в лес хочу, в деревне скучно, не пойдешь, так и скажи, я один пойду, Кулака или Колченога подговорю и с ними вместе уйду...

— Выходим послезавтра, — сказал Атос. — Ты пищу приготовил?

— Я пищу приготовил и уже съел, у меня терпенья не хватает на нее смотреть, как она зря лежит и никто ее, кроме старика, не ест, а у меня сердце болит на это смотреть, я этому старику когда-нибудь шею накостыляю, если скоро не уйду... Как ты думаешь, Молчун, кто такой этот старик, почему он у всех все ест? И где он живет? Я человек бывалый, я в десяти деревнях бывал, у чудаков бывал, даже к заморенным заходил, ночевал у них и от страху чуть не помер, а такого старика никогда не видел, он у нас какой-то редкостный старик, я думаю, мы его потому и держим, и не бьем, но у меня больше никакого терпения не хватает смотреть, как он по моим горшкам днем и ночью шарит и на месте ест, и с собой уносит, а ведь его еще мой отец ругал, пока его мертвяки не забили... И как в него все это влазит, ведь кожа да кости, там у него внутри и места нет, а два горшка вылижет, и с собой два унесет, и горшки никогда

обратно не возвращает... Слушай, Молчун, может, это не один старик, а их двое или трое? Двое спят, а один работает, нажрется, второго разбудит и спать ложится...

Хвост проводил Атоса до дома, но обедать отказался — из вежливости. Поговорив еще минут пятнадцать о том, как на озере в Тростниках приманивают рыбу шевелением пальцев, и пообещав приготовить к послезавтрему новые запасы, а старика беспощадно гнать, он удалился. Атос перевел дыхание и вошел в дом. В голове от бесконечных разговоров и шума уже сгущался тяжелый туман, который к вечеру обычно доводил его до обмороков и тошноты.

Навы дома еще не было, а за столом сидел старик и ждал кого-нибудь, чтобы подали обед. Он повернулся лицом к Атосу и сказал:

— Медленно ты, Молчун, ходишь, я уже в двух домах побывал, везде уже обедают, а у вас пусто, потому у вас, наверное, и детей нет, что медленно ходите и дома вас никогда не бывает, когда обедать пора...

Атос подошел к нему вплотную и некоторое время постоял, соображая. Старик говорил:

— Сколько же это ты будешь до Города идти, если тебя и к обеду не дождаться? Я теперь все

про тебя знаю, знаю, как вы в Город собрались, и решил я, что с вами пойду, мне в Город давно надо, да я дороги туда не знаю, а в Город мне надо для того, чтобы свой родовой долг исполнить и все обо всем кому следует рассказать...

Атос взял его под мышки и рывком поднял от стола. Старик от удивления замолчал. Атос вынес его на вытянутых руках из дома, поставил на дорогу и вытер руки о траву. Старик опомнился.

— А еду вы на меня возьмите сами, — сказал он вслед Атосу. — Потому что я иду свой долг исполнять, а вы — для удовольствия, через нельзя.

Атос вернулся в дом, сел за стол и опустил голову на стиснутые кулаки. Послезавтра я ухожу, думал он. Послезавтра. Послезавтра.

Глава третья

Голос дежурного произнес:

— Экстренный сеанс Д-связи. Земля вызывает Горбовского Леонида Андреевича. Говорите, Леонид Андреевич...

Поль поднялся, чтобы выйти, но Горбовский сказал:

— Куда вы, Поль? Останьтесь! Какие у меня с Землей могут быть секреты? Да еще по Д-связи... Горбовский слушает, — сказал он в микрофон. — Это кто?.. Кто?! А если по буквам? Нет, на экране ничего не разберу... Ботва какая-то на экране... Бот-ва!.. Да... А-а, Павел?! Так бы и говорил. Ну как ты живешь?!

Связь была на редкость плохая. Изображение на экране напоминало полуразрушенную древнюю фреску, а Горбовский все время морщился и переспрашивал, вдавливая пальцем в ухо горошину репродуктора. Поль присел в кресло для посетителей и стал разбирать сводки.

— Как тебе сказать... Более или менее отдохнул... Что?.. А-а, да, неплохо... Пока все в порядке. А почему ты вдруг заинтересовался?.. Ну-ну!.. Опять... А нельзя ли как-нибудь этого Пряниш-

никова временно посадить под замок? Чтобы не открывал... Закрыть надо, а не работать! Слышишь? Закрыть! Контакт уже установлен?.. Ну вот. Только этого нам и не хватало... Да. Я всегда очень интересовался этим вопросом. Только не в том смысле, как ты думаешь... Я говорю: интересовался, только в другом смысле! В негативном смысле, понимаешь? В негативном!.. В смысле «да минет нас чаша сия»!.. Правильно ты понимаешь. Решительно против. Это открытие нужно закрыть, пока еще не поздно! Вы не даете себе труда подумать, что вы там делаете!..

За окном был дождь и туман. Настоящий туман. Тянуло сыростью и запахом леса, неприятным, острым запахом, который в обычные дни не поднимался на такую высоту. Издалека, из очень далекого далека, слабо доносилось урчание грома. Поль записал для памяти на полях сводки: «В 15.00 пожарная тревога, в 17.00 биологическая тревога...»

— ...Да, мне здесь очень хорошо сидеть... А в печати нужны контрвыступления... Ты мне скажи вот что. Чего тебе от меня нужно? Только прямо и без дипломатии, потому что плохо слышно... Не скажу я этого. Как я могу тебе это сказать, если я считаю, что — нет?.. Представляю. Действитель-

но, глупо. Надо как-то сдерживать... Откуда вы там взяли, что это общественная потребность? Стоит компании мальчишек поднять шум, как вы... Да!.. Да, я — нет. Решительно — нет... Нет!.. Слушай, Павел. Я об этом думаю уже лет десять... Давай лучше я подумаю еще лет десять, а?.. Кстати, какой это чудак посылает сюда шифровки на имя Герострата?.. Как много тебе нужно, чтобы я оставался твоим любимейшим другом. Ладно, передай им так. Только имей в виду, что я все равно скажу — нет... Ну как... Как ты сам только что сказал. Леонид, мол, Горбовский... Ах, на магнитофон... А что я старый стал, ты тоже записываешь?.. Значит, так... Э-э... Я... м-м-м... глубоко убежден в том, что в настоящее время всякие акции подобного рода могут иметь далеко идущие и даже катастрофические для человечества последствия. Хорошо я сказал?.. Так. Ты не хочешь, чтобы я заставлял тебя врать, но ты хочешь, чтобы врал я сам?.. Не буду я врать, Павел. И вообще, имей в виду: этот вопрос не в нашей компетенции. Теперь этот вопрос уже в компетенции Всемирного совета... Вот я и даю Всемирному совету рекомендацию... Да, мне здесь хорошо сидеть, и никаких проблем... Будь здоров.

Поль поднял глаза. Горбовский медленно вы-

нул из ушей репродукторы, осторожно положил их в кювету с раствором и некоторое время сидел, помаргивая и постукивая пальцами по поверхности стола. Лицо у него стало желчным.

— Поль, — сказал он, — вы давно здесь?

— Четвертый год.

— Четвертый год... А до вас кто был?

— Максим Хайроуд, а до него — Ральф Ионеско, а кто был до Ральфа — я уже не знаю. Вернее, не помню. Узнать?

Горбовский, казалось, не слушал.

— А чем вы занимались до Пандоры? — спросил он.

— Года два охотился, а до этого работал на мясомолочной ферме. На Волге.

Это не было похоже на беседу. Горбовский задавал вопросы таким тоном, как будто собирался пригласить Поля на работу.

— Поль, если это не секрет, как случилось, что вы сменили здесь Макса?

— Я работал у Максима старшим егерем. При нем здесь погибли двое туристов и один биолог, и он ушел. Меня назначили начальником по традиции.

— Это вам Макс сам сказал?

— Что именно?

Горбовский повернулся и посмотрел на Поля.

— Макс ушел потому, что... не выдержали нервы?

— Мне кажется, да. Он очень мучился. Со мной он, конечно, не говорил ни о чем подобном, но я знаю, что последнее время он не спал ночей. Каждый раз, когда кто-нибудь выходил на связь нерегулярно, он менялся в лице. Это я видел сам.

— Да-а... — протянул Горбовский. Потом он встрепенулся. — Что же это я тут расселся? Садитесь на свое место, Поль, а я сяду туда. Если вы меня не выгоняете, конечно.

Они поменялись местами. Несколько секунд Горбовский сидел в кресле для посетителей очень прямо и выжидательно смотрел на Поля, потом осторожно прилег.

— Лет пять назад, — сказал он, — мне пришлось участвовать в увлекательнейшей охоте. Мой друг Кондратьев... Вы слыхали о нем, конечно, он недавно умер... Кондратьев пригласил меня охотиться на гигантских спрутов. Не припомню, чтобы какое-нибудь другое существо вызывало у меня такое же отвращение и инстинктивную ненависть. Одного я убил, второго сильно покалечил, но он ушел. А спустя два месяца появилась хорошо вам, вероятно, известная статья Лас-

свица.

Поль сдвинул брови, пытаясь вспомнить.

— Лассвиц, Лассвиц... Хоть убейте, не помню, Леонид Андреевич.

— А я помню, — сказал Горбовский. — Вы знаете, у человечества есть по крайней мере два крупных недостатка. Во-первых, оно совершенно не способно созидать, не разрушая. А во-вторых, оно очень любит так называемые простые решения. Простые, прямые пути, которые оно почитает кратчайшими. Вам не приходилось думать по этому поводу?

— Нет, — сказал Поль улыбаясь, — боюсь, что не приходилось.

— А как у вас обстоят дела с эмоциями, Поль?

— Думаю, что обстоят хорошо. Я могу любить, могу ненавидеть, могу презирать, могу уважать. По-моему, спектр полный. Да, и еще могу удивляться. Вот как сейчас, например.

Горбовский тоже вежливо улыбнулся.

— А такая эмоция, как разочарование, вам знакома? — спросил он.

— Разочарование... Еще бы! Я всю жизнь только и делаю, что разочаровываюсь.

— Я тоже, — сказал Горбовский. — Я был очень разочарован, когда выяснилось, что расшатать

инстинкты у человека еще труднее, чем расшатать наследственность. Я был очень разочарован, когда оказалось, что мы интересуемся Странниками гораздо больше, чем Странники — нами...

— Правильнее сказать, Странники нами вовсе не интересуются.

— Вот именно. Я несколько приободрился, — продолжал Горбовский, — когда наметились успехи алгоритмизации человеческих эмоций, мне казалось, что это открывает широкие и довольно ясные перспективы. Но боже мой, как я был разочарован, когда мне довелось поговорить с первым кибернетическим человеком!.. Вы знаете, Поль, у меня такое впечатление, что мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так и не поняли, что из того, что мы можем, нам действительно нужно. Я боюсь, что мы не поняли даже, чего мы, собственно, хотим. Вы чего-нибудь хотите, Поль?

Поль вдруг ощутил усталость. И какое-то недоверие к Горбовскому. Ему показалось, что Горбовский смеется над ним.

— Не знаю, — сказал он. — Хочу, конечно. Например, очень хочу, чтобы меня полюбила женщина, которую я люблю. Чтобы охотники возвращались из леса благополучно. Чтобы мои

друзья не погибали неизвестно где. Вы об этом спрашиваете, Леонид Андреевич?

— Но *достаточно* ли вы хотите этого?

— Думаю, что достаточно, — сказал Поль и взял сводку.

— Странно, — сказал Горбовский задумчиво. — Последнее время я все чаще замечаю, что раздражаю людей. Раньше этого не было. Не пора ли и мне заняться чем-нибудь другим?

— А чем вы занимаетесь сейчас? — спросил Поль, делая пометки на полях сводки.

— Вот вы даже из вежливости не сказали, что я вас вовсе не раздражаю. Но кто-то же должен раздражать! Слишком стало все определенно, слишком все уверены... Я, пожалуй, пойду, Поль. Пойду побросаю камешки. Вот уж что, кажется, никого не раздражает, как я ни стараюсь... — Он сделал попытку встать и снова лег, глядя на окно, по которому текли крупные капли.

Поль засмеялся и бросил карандаш.

— Вы действительно иногда действуете на нервы, Леонид Андреевич. Но снаружи мокро и неуютно, так что лучше останьтесь. Вы мне не мешаете.

— В конце концов, нервы тоже нужно тренировать, — заметил Горбовский задумчиво.

— Тренировать свою способность к восприятию. Иначе человек становится невосприимчивым, а это скучно.

Они замолчали. Горбовский, кажется, задремал в своем кресле. Поль работал. Потом секретарь-автомат доложил, что егерь Сименон с туристом-новичком явились на инструктаж. Поль приказал звать.

Вошел маленький чернявый Сименон в сопровождении новичка, физика Марио Пратолини, оба в комбинезонах, увешанные снаряжением, при карабинах и охотничьих ножах. Сименон был, как всегда, угрюм, а Марио сиял и лоснился от удовольствия и волнения. Поль встал им навстречу. Горбовский открыл глаза и стал смотреть. На лице его появилось сомнение, и Поль сразу понял, в чем дело: новичок был явно плох.

— Куда отправляетесь? — спросил Поль.

— Пробный выход, — ответствовал Сименон. — Первая зона. Сектор шестнадцать.

— Я не такой уж и новичок, директор, — сказал Марио с веселым достоинством. — Я уже охотился на Яйле. Может быть, можно обойтись без пробы?

— Нет, без пробы нельзя, — сказал Поль. Он вышел из-за стола и остановился перед Марио.

— Без пробы нельзя, — повторил он. — Инструкцию изучили?

— Два дня зубрил, директор. Мне приходилось охотиться на ракопауков, и мне говорили...

— Это несущественно, — мягко перебил Поль. — Давайте лучше поговорим о Пандоре. Вы потеряли егеря. Ваше решение?

— Даю серию сигнальных выстрелов и жду ответа, — отбарабанил Марио.

— Егерь не отвечает.

— Включаю рацию, сообщаю вам.

— Действуйте.

Марио схватился за рацию, и Сименон едва успел подхватить его карабин. Горбовский опасливо поджал ноги.

— Не торопитесь, — посоветовал Поль, — и будем считать, что карабин вы уже утопили.

Марио воспринял это как шутку. По его движениям было видно, что рации вообще для него не диковинка, но не такие — агрегаты из коротковолнового приемо-передатчика, радиометра и биоанализатора. Марио с сопением крутил верньеры, Поль ждал, а Сименон, держа у ноги оба карабина, смотрел в угол.

— Странно, — сказал наконец Марио. — Просто удивительно...

— Да нет, — сказал Поль. — Что же тут удивительного? Вы, собственно, чего хотите?

— Ах, да! — Марио вдруг осенило. — Так я получаю концентрацию белка... Ага... Белка много... Так. Сейчас. Готово! Передавать?

— Передавайте, — холодно сказал Поль.

— Э-э... А-а... Постойте, я еще не подсоединил микрофон... — Марио засунул руку за воротник, ища шнур микрофона. — Вообще, если рассуждать логически, совершенно непонятно, как может потеряться егерь.

— Слева, слева, — мрачно подсказал Сименон.

— Да, — согласился Поль. — Егерю теряться совершенно незачем. Но можете потеряться вы.

Марио подсоединил микрофон и снова спросил:

— Передавать?

— Передавайте, — сказал Поль.

— Алло, алло, — сказал Марио стандартным радиоголосом. — База, База, говорит Пратолини, потерял егеря, жду указаний!

— Поль, — мрачно сказал Сименон. — В пробном выходе все это не так уж обязательно. Мы пройдем от ориентира к ориентиру, я покажу ему тахорга, и мы вернемся менять белье...

— А в чем дело? — спросил Марио несколько

раздраженно. — Меня не слышно? Как вы меня слышите? Алло!

— Слышу вас хорошо, — сказал Поль. — С запада на ваш сектор идет лиловый туман, приготовьтесь. Включайте пеленгатор и ждите на месте.

Марио включил пеленгатор и спросил:

— А что, лиловый туман — это существенно?

Поль повернулся к Сименону.

— Ты готовил его к выходу? — спросил он тихо.

Сименон покусал губу.

— Поль, — сказал он. — Мы идем в пробный выход.

— Ты ошибаешься, — сказал Поль ровным голосом. — Вы не идете в пробный выход. Вы сейчас идете в террарий и будете тщательно готовиться к пробному выходу. Не в кафе, а в террарий. И не рассказывать легенды, а готовиться к пробному выходу. А завтра я приму вас опять и посмотрю, как вы подготовились. Я вас не задерживаю.

— Прошу прощения! — воскликнул Марио. Глаза его засверкали. — Я не мальчик! Я охотился на Яйле, у меня не так уж много времени! Я приехал охотиться на Пандору! В Пандорианский террарий я мог бы сходить и в Кэйптауне...

— Пойдем, пойдем, — сказал Сименон, взяв его за руку.

— Да нет, Жак, что значит — пойдем? Это странный, необъяснимый формализм! — Поль холодно смотрел ему в глаза. Марио стало неловко, и он стал смотреть на Горбовского — как на знакомого человека и соседа по столу в столовой. — На Яйле я не видел ничего подобного!

— Пойдем, пойдем, — повторил Сименон и потянул его за собой.

— Но я требую хотя бы объяснений! — гремел Марио, обращаясь уже прямо к Горбовскому. — Я терпеть не могу, когда со мной обращаются как с каким-нибудь сопляком! Что это за вздор? Почему это у меня может вдруг потеряться егерь?

— Не сердитесь, Марио, — сказал Горбовский и улегся поудобнее. — Не надо так сердиться, а то на вас по-настоящему рассердятся. Вы ведь совсем-совсем не правы. Совсем-совсем. И ничего уж тут не поделаешь.

Марио несколько секунд смотрел на него, раздувая ноздри. Потом, произведя неопределенное движение рукой, он сказал:

— Это совсем другое дело. В конце концов, порядок должен быть во всем. Но могли же мне сразу просто сказать, что я не прав...

— Да пойдем же! — в отчаянии вскричал Сименон.

— Жак, — сказал Поль им вслед. — В восемнадцать ноль-ноль зайдешь ко мне.

Горбовский неожиданно вскочил.

— Подождите, Жак! — закричал он. — Один вопрос! Можно? Что вы будете делать, если столкнетесь в лесу с неизвестным животным?

— Пристрелю и позову биологов, — зло ответил Сименон и скрылся за дверью.

— Гордец какой, — сказал Горбовский и снова повалился в кресло.

— Видали? — сказал Поль. — Ну, я им покажу пробный выход, они у меня вспомнят первый закон человечества... — Он вернулся за свой стол, отыскал давешнюю сводку и приписал на полях: «22.00 — радиологическая тревога и землетрясение. 24.00 — общая эвакуация». Затем он нагнулся над микрофоном секретаря и продиктовал: «В 18.00 совещание всего свободного от дежурства персонала у меня в кабинете».

Горбовский сказал:

— Очень вы грозны, Поль.

— Тем хуже для меня, — сказал Поль.

— Да, — согласился Горбовский. — Тем хуже для вас. Вы еще очень молодой начальник. Со временем это проходит.

Поль хотел ответить, что, в конце концов, он

предпочел бы вообще не быть начальником и что на благоустроенных планетах начальники вообще никому не нужны, как вдруг под потолком вспыхнул красный свет и раздался оглушительный, неприятный звон. Оба вздрогнули и разом повернулись к экрану аварийной связи. Поль включил прием и сказал:

— Директор слушает.

Послышался хриплый задыхающийся голос:

— Говорит Сартаков! Говорит Сартаков! Как меня слышно?

— Слышно хорошо, — нетерпеливо сказал Поль. — В чем дело?

— Поль! Мы свалились! Сектор семьдесят три, повторяю, сектор семьдесят три. Слышишь меня?

— Да, сектор семьдесят три. Продолжай.

— Пеленгаторы работают, люди целы, вертолет разрушен. Ждем помощи. Ты слышишь меня?

— Слышу отлично, жди на связи... — Поль положил руки на пульт. — Дежурный, говорит директор. Один дирижабль с одним вездеходом. На дирижабль группу Шестопала, на вездеход — Кутнова. Готовность доложить через десять минут. Полный аварийный запас. Повторите!

Дежурный повторил.

— Исполняйте... Внимание, База! Заместителю директора Робинзону срочно явиться к директору в полном походном снаряжении...

— Поль! — снова проговорил хриплый голос. — Если можешь, прилетай сам, мне кажется, это очень важно... Мы висим на дереве, и я вижу очень странные вещи... Такого мы еще не видели! Объяснить тебе не могу, но это что-то особенное... Осторожно, Рита Сергеевна!.. Поль, если можешь, прилетай сам! Не пожалеешь!

— Буду сам, оставайся на связи, — сказал Поль. — Все время оставайся на связи. Оружие в порядке?

— У нас все в порядке, кроме вертолета... Он весь в каком-то киселе... И сломана лопасть...

Поль отскочил от стола и распахнул стенной шкаф. Горбовский стоял около карты и водил пальцем по сектору семьдесят три.

— Здесь уже была авария, — сказал он.

Поль подошел к нему, застегивая комбинезон.

— Где? — Руки его замерли. — Ах вот оно что... — проговорил он и начал застегиваться еще быстрее. Горбовский смотрел на него, подняв брови.

— Да? — сказал он.

— В этом секторе, — сказал Поль, — три года назад погиб Атос. По крайней мере, он пеленговал в

последний раз именно отсюда.

Хриплый голос сказал:

— Я вам, Рита Сергеевна, не советую что-нибудь здесь трогать. Давайте будем сидеть смирненько и ждать. Вам удобно сидеть?.. Ага, вот и хорошо... Нет, я сам здесь ничего не понимаю, так что давайте сидеть и ждать, ладно? Вы кушать не хотите?.. Ну и что же, меня тоже тошнит... Примите вот эту пилюльку...

Горбовский нежно взял Поля за пуговицу нагрудного прожектора и сказал:

— Можно, я с вами, Поль?

Полю стало неприятно. Этого он никак не ожидал от Горбовского. Это никуда не годилось с любой точки зрения.

— Что вы, Леонид Андреевич, — сказал он, морщась, — зачем?

— Я чувствую, что мне нужно там быть, — сказал Горбовский. — Непременно. Можно?

Глаза у Горбовского были какие-то непривычные. Полю они показались испуганными и жалкими. Этого Поль терпеть не мог.

— Знаете что, Леонид Андреевич, — сказал он, отстраняясь, — тогда уж лучше, может быть, мне взять Турнена? Как вы полагаете?

Горбовский задрал брови еще выше и вдруг по-

краснел. Поль почувствовал, что тоже краснеет. Сцена получалась омерзительная.

— Поль, — сказал Горбовский, — голубчик, опомнитесь, что вы? Я — старый занятой человек, мне это все, что вы думаете, как-то даже безразлично... Я совсем из других соображений...

Поль совсем смутился, потом рассвирепел, а потом ему пришло в голову, что все это сейчас не имеет никакого значения и думать нужно совсем о другом.

— Снаряжайтесь, — сухо сказал он. — И приходите к ангару. Извините, все.

— Благодарю вас, — сказал Горбовский и вышел. В дверях он столкнулся с заместителем директора Робинзоном, и они потеряли несколько секунд, уступая друг другу дорогу с озабоченными улыбками.

— Джек, — сказал Поль, — ты остаешься за меня. Я лечу сам. Авария у Сартакова. Туристы не должны знать. Понял? Ни одна живая душа. Там Рита Сергеевна. Объяви готовность номер один.

Глава четвертая

Атос вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До Новой деревни было километров десять, дорога была знакомая, утоптанная, вся в голых проплешинах от рассыпанной травобойки. Считалось, что ходить по ней было безопасно. Справа и слева тянулись теплые бездонные болота, из ржавой воды торчали сгнившие черные ветви, округлыми блестящими куполами поднимались гигантские шляпки болотных поганок, иногда возле самой дороги попадались покинутые раздавленные дома водяных пауков. Но что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно: из плотного переплетения древесных крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, нитей и создавали непроницаемую завесу. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с шумом падало, раздавался жирный всплеск, болото вздыхало и чавкало, и снова наступала тишина. По бездонной трясине человек, по-видимому, пройти не мог, зато мертвяки ходили везде, но мужчине мертвяки не опасны. На всякий случай Атос выломал себе ду-

бину. О лесных опасностях ходили всякие слухи, и некоторые могли оказаться верными.

Он отошел от деревни шагов на пятьсот, когда его нагнала Нава. Он остановился.

— Ты почему без меня ушел? — спросила Нава запыхавшимся голосом. — Я же тебе говорила, что я с тобой уйду, я одна в этой деревне не останусь, нечего мне одной там делать, там меня никто не любит, а ты — мой муж, ты должен меня взять с собой, это ничего не значит, что у нас нет детей, все равно ты мой муж, а я твоя жена, а дети у нас с тобой еще будут, просто я честно тебе скажу, я пока еще не хочу детей, непонятно мне, зачем они, мало ли что там староста говорит или старик, у нас в деревне совсем не так было, кто хочет, тот имеет, а кто не хочет, тот не имеет...

— Вернись домой, — сказал Атос. — Откуда ты взяла, что я ухожу? Я к обеду буду дома.

— Вот я с тобой и пойду, а к обеду мы вместе вернемся, обед у меня со вчерашнего дня готов, я его спрятала, и старик его не найдет.

Атос повернулся и пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он даже повеселел. Ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать дубиной, сорвать на ком-нибудь тоску и злость, накопленные за столько-то там лет. На ворах.

Или на мертвяках. Пусть девчонка идет. Тоже мне жена! Детей она не хочет. Он размахнулся и ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился: коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде.

Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая, время от времени она брала Атоса за руку обеими руками и повисала на нем. Она говорила об обеде, который очень ловко спрятала от старика, о том, что обед могли бы съесть дикие муравьи, если бы она не сделала так, что муравьи до него в жизни не доберутся, о том, что разбудила ее муха, а когда она вчера засыпала, Атос уже храпел...

Атос слушал и не слушал, привычный нудный гул заполнял его голову, он шагал и тупо думал о том, почему он ни о чем не может думать, может быть, это сказывалось действие бесконечных прививок, которыми так злоупотребляли деревенские жители, а может быть, сказывался весь дремотный, даже не первобытный, а просто растительный образ жизни, который он вел с незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перевер-

нулся и камнем рухнул в болота. А может быть, когда его выбросило из кабины, он ударился головой, да так и не оправился... Ему вдруг пришло в голову, что все это — умозаключения, и он обрадовался; ему казалось, что он давно потерял способность к умозаключениям и может твердить только одно: послезавтра, послезавтра... Он глянул на Наву. Девчонка висела у него на левой руке, смотрела снизу вверх и рассказывала:

— Они все сбились в кучу, и стало страшно жарко, ты знаешь ведь, какие они, а луны в эту ночь совсем не было. Тогда моя мать тихонько вытолкнула меня, и я проползла на четвереньках у всех под ногами и больше уже матери не видела...

— Нава, — сказал Атос, — ведь ты мне эту историю рассказывала уже двести раз.

— Ну и что же? — сказала Нава, удивившись. — Какой ты странный, Молчун. А что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не буду же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб... Ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном... — Она вдруг оживилась. — А знаешь, Молчун, это даже интересно. Расскажи ты мне, как мы с тобой рыли погреб. Мне еще никто об

этом не рассказывал...

Атос опять отвлекся. Медленно, покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли, кто-то сопел и вздыхал в воде, с тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают пьяные настойки. Дорога под ногами то становилась мягкой от высокой травы, то жесткой от щебня и крошеного камня. Желтые, серые, зеленые пятна — взгляду не за что было зацепиться, и нечего было запоминать. Потом тропа круто свернула влево, Атос прошел еще несколько шагов и остановился. Нава замолчала на полуслове.

У дороги головой в болоте лежал мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неестественно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жара траве, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Атос осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно: мятые пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Атос внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал. А дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот, и что было за поворотом — угадать было нельзя. Нава все оглядывалась

на мертвяка.

— Это не наши, — сказала она очень тихо. — Наши так не могут. Кулак все грозится, но он тоже не может, только болтает... Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Давай лучше вернемся...

Атос разозлился. Опять? Опять откладывать? Сто раз он ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило запомнить. А теперь, когда завтра нужно уходить, эта единственная безопасная дорога становится опасной. В Город можно пройти только через Новую деревню. Если в Город вообще можно пройти, если Город вообще существует, то дорога к нему идет через Новую деревню... Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченог, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастать, поворачивают назад.

Он нагнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Атос рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чвакнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез. По темной воде пробежала и погасла рябь.

— Нава, — сказал Атос, — иди в деревню.

— Как же я пойду в деревню, — рассудительно сказала Нава, — если ты туда не пойдешь? Вот

если бы ты тоже пошел в деревню...

— Перестань болтать, — сказал Атос. — Сейчас же беги в деревню и жди меня. И ни с кем не разговаривай.

— А ты?

— Я — мужчина, — сказал Атос. — Мне никто ничего не сделает.

— Еще как сделают, — возразила Нава. — Я тебе говорю: вдруг это уроды? Им все равно, мужчина, женщина, мертвяк... Они тебя тоже уродом сделают. Как же я пойду одна, когда они, может быть, там, сзади?

— Никаких уродов на свете нет, — неуверенно сказал Атос. Он посмотрел назад. Там тоже был поворот, а что было за поворотом — угадать тоже было нельзя.

Нава что-то говорила, много, быстро и шепотом. Атос взял дубину поудобнее.

— Хорошо, — сказал он. — Иди со мною. Только держись рядом и, если я буду что-нибудь приказывать, сразу же выполняй. И молчи. Закрой рот и молчи до самой Новой деревни.

Молчать она, конечно, не умела. Она действительно шла рядом, не забегала вперед и не отставала, но все время что-то бормотала себе под нос. Они миновали опасный поворот, затем

миновали еще один опасный поворот, и Атос уже немного успокоился, когда из высокой травы, прямо из болота, им навстречу молча вышли и остановились люди.

Ну вот, устало подумал Атос. Как мне не везет. Мне все время не везет. Он поглядел на Наву. Нава затрясла головой, лицо ее сморщилось.

— Ты меня им не отдавай, Молчун, — пробормотала она. — Я не хочу с ними. Я хочу с тобой, не отдавай меня...

Он посмотрел на людей. Их было семеро — все мужчины, все заросшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были не здешние люди, и одеты они были не по-здешнему, совсем в другие растения. Это были воры.

— Ну так что же вы встали? — глубоким раскатистым голосом сказал вожак. — Подходите, мы дурного не делаем... Если бы вы были мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой, да и никакого разговора вовсе бы и не было, приняли бы вас на сучки да на палочки, вот и весь разговор. Куда направляетесь? В Новую деревню? Ну так вот, отец, ты себе иди, а дочку нам оставь, да не жалей, ей у нас лучше будет...

— Нет, — сказала Нава, — я к ним не хочу. Это же воры.

Воры засмеялись без всякой злобы, привычно.

— А может, нас обоих пропустите? — спросил Атос.

— Нет, — сказал вожак, — обоих нельзя. Тут кругом сейчас мертвяки, пропадет твоя девка, подругой славной станет, а это нам, людям, ни к чему, да и тебе ни к чему, отец, сам подумай, если ты человек, а не мертвяк, а на мертвяка ты вроде не похож, хотя и человек ты на вид странный...

— Она же еще девочка, — сказал Атос. — Зачем вам ее обижать?

Вожак удивился.

— Почему же обижать? Не век же она девочкой будет, придет время, станет женщиной, не славной там какой-нибудь подругой, а женщиной...

— Это он все врет, — сказала Нава. — Ты ему, Молчун, не верь. Ты что-нибудь сделай скорее, а то они меня сейчас заберут, как Колченогову дочку забрали, с тех пор ее так никто и не видел, не хочу я к ним, я лучше этой славной подругой стану, смотри, какие они все дикие да тощие, у них и есть-то, наверное, нечего.

Атос беспомощно огляделся, а потом в голову ему пришла мысль, показавшаяся ему очень удачной.

— Слушайте, люди, — сказал он. — Возьмите

нас обоих.

Воры приблизились. Вожак внимательно оглядел Атоса с головы до ног.

— Нет, — сказал он. — Зачем ты нам такой нужен! Вы, деревенские, никуда не годитесь, отчаянности в вас нет, и живете вы непонятно зачем, вас приходи и голыми руками бери. Не нужен ты нам, отец, иди себе в свою Новую деревню, а девочку оставь нам.

Атос глубоко вздохнул, взял дубину обеими руками и сказал Наве негромко:

— Ну, Нава, беги. Беги, не оглядывайся, я их задержу.

Глупо, подумал он. До чего же глупо. Он вспомнил мертвяка, лежащего головой в темной воде, постарался отогнать от себя это видение и поднял дубину над головой.

— Эй, эй! — закричал вожак. Все семеро, толкаясь и оскальзываясь в болото, гурьбой кинулись вперед. Несколько секунд Атос еще слышал дробный стук Навиных пяток, а потом ему стало не до этого.

Ему было страшно и стыдно, но потом страх прошел, потому что довольно быстро выяснилось, что единственным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, Атос видел,

как остальные, довольно бессмысленно размахивая дубинами, задевают друг друга, падают от собственных богатырских размахов и попадают друг по другу. Один с шумом упал в болото и заорал: «Тону!» Двое принялись его тащить, но вожак наседал, пока Атос случайно не угодил ему по коленной чашечке. Тогда вожак зашипел и присел на корточки. Атос отскочил. Двое воров тащили третьего из болота. Тот уже здорово увяз, лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и укоризненно смотрел на Атоса. Остальные трое столпились позади вожака с грозно поднятыми дубинами.

— Дурак ты, — сказал вожак с обидой. — Долбня ты деревенская. И откуда ты такой взялся... Выгоды своей не понимаешь, дерево ты стоеросовое...

Больше Атос ждать не стал. Он повернулся и со всех ног пустился бежать вслед за Навой. Воры кричали ему вслед насмешливо. Вожак гукал и взревывал: «А держи его! Держи!» Они за ним не гнались, и это Атосу не понравилось. Вообще он испытывал некоторое разочарование и досаду и на бегу пытался сообразить, как же эти неуклюжие и неповоротливые люди могут наводить ужас на деревни да еще каким-то образом уничтожать мертвяков. Скоро он увидел Наву: де-

вочка скакала шагах в двадцати впереди, твердо ударяя в тропу босыми пятками. Потом она снова скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила, замерла на мгновение и пустилась вбок, прямо через болото, прыгая с коряги на корягу — только брызги летели. У Атоса замерло сердце.

— Стой! — заорал он, задыхаясь. — С ума сошла! Стой!

Нава тотчас же остановилась, ухватившись за свисающую лиану, и повернулась к нему. А он увидел, как из-за поворота ему навстречу вышли еще трое воров и тоже остановились, глядя то на него, то на Наву.

— Молчун! — пронзительно закричала Нава. — Ты их бей и сюда беги, здесь тропинка есть, я давно про нее знаю! А ты их бей, бей, палкой бей! Гу-гу-гу! О-го-го их!

— Ты там держись, — сказал один из воров заботливо, — ты там не кричи, а держись, а то свалишься, тащи тебя потом...

Сзади тяжело затопали и тоже закричали: «Гу-гу-гу!» Трое впереди ждали. Атос, ухватив дубину за концы и выставив ее перед собой поперек груди, налетел на них, повалил всех троих и упал сам. Он сильно ушибся, но сейчас же вскочил. Перед глазами плыли разноцветные круги, кто-то

снова испуганно вопил: «Тону!», кто-то сунулся бородатым лицом, и Атос ударил его дубиной, не глядя. Дубина переломилась. Атос бросил ее и прыгнул в болото. Коряга ушла из-под ног, он едва не сорвался, но сейчас же перепрыгнул на следующую и пошел прыгать с коряги на корягу, разбрызгивая вонючую черную грязь. Нава победно верещала и свистела ему навстречу. Позади гудели сердитые голоса. «Что же вы, руки дырявые?» — «А сам что?» — «Упустили девчонку, пропадет...» — «Да обезумел человек, дерется!..» — «Хватит вам разговоры разговаривать, в самом деле! Догонять нужно, а не разговоры разговаривать! Видите, они бегут, а вы разговоры разговариваете!» — «А сам что?» — «Ногу мне он подбил, видите!» — «А Семиглазый где? Ребята, а Семиглазый-то тонет! Семиглазый тонет, а они разговоры разговаривают!» Атос остановился возле Навы, ухватился за лианы и, тяжело дыша, смотрел и слушал, как странные люди, сгрудившись на тропе, размахивая руками, тащат из болота за ноги своего Семиглазого. Слышалось бульканье и храп. Впрочем, двое воров, подхватив дубинки, уже шли к Атосу прямо по болоту по колено в черной жиже. И опять наврали, подумал Атос, болото-то вброд можно перейти, а

говорили, что другого пути, кроме тропы, нет. Нава потянула его за руку.

— Пошли, Молчун, — сказала она, — чего ты стоишь? Пошли скорей. А может быть, ты еще хочешь подраться? Тогда погоди, я тебе палку поищу. Ты вот этих двух побей, а другие, может быть, и испугаются. Хотя, если они не испугаются, то они тебя все-таки одолеют, потому что ты один, а их... раз, два, три... четыре...

— Иди вперед, — сказал Атос. Он уже немного отдышался. — Показывай, куда идти.

Нава легко запрыгала в лес, в гущу лиан.

— А я вообще-то не знаю, куда эта тропинка ведет, — говорила она на бегу. — Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было... или нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не соображал, говорить не мог, смотрел, как рыба, потом меня к тебе приставили ходить за тобой, я тебя и выходила, да только ты не помнишь, наверное, ничего...

Атос прыгал следом, стараясь держать правильное дыхание и ступать след в след. Время от времени он оглядывался. Воры были недалеко.

— А с Колченогом мы сюда ходили, когда у Кулака его дочку воры увели, он тогда все время меня с собой брал, обменять хотел, что ли, а может,

хотел взять вместо дочки, вот и брал меня в лес, потому что очень без дочки убивался...

Лианы липли к рукам и хлестали по лицу, омертвевшие клубки их путались в ногах. Сверху сыпался мусор, иногда какие-то тяжелые бесформенные массы оседали, проваливались вниз в путанице зелени и раскачивались над самой головой. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие лиловые гроздья — Атос опасливо на них косился.

— Колченог говорил, что эта тропа к какой-то деревне ведет. — Нава говорила на бегу легко, как будто и не бежала вовсе, а валялась на своей постели, сразу было видно, что она не здешняя, здешние бегать не умели. — Не к нашей деревне и не к Новой деревне, а к какой-то другой, название Колченог говорил, но я забыла, все-таки это давно было, тебя еще не было... или нет, ты был уже, только ничего не соображал, еще тебя мне не отдали... А ты, когда бежишь, ты ртом дыши, ты зря носом дышишь, и разговаривать еще хорошо при этом, а то так ты скоро запыхаешься, тут еще долго бежать, мы еще мимо ос не пробегали, вот где нам быстро бежать придется, хотя, может быть, с тех пор осы оттуда ушли... Это в той деревне осы были, а в той деревне, Колченог

говорит, вроде бы людей уже давно нет, там уже Одержание, говорит, произошло, так что людей совсем не осталось... Нет, Молчун, это я вру, это он про другую деревню говорил...

Атос перешел на второе дыхание. Бежать стало легче. Теперь они были в самой гуще леса. Так глубоко Атос забирался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы добраться на нем до его хозяев, мертвяк понес галопом, он был раскаленный, как кипящий чайник, и Атос в конце концов потерял сознание от боли и сорвался с него. Он потом долго мучился ожогами на ладонях и на груди...

Становилось все темнее. Неба уже не было видно совсем, духота усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды, появились могучие заросли красного и белого мха. Мох был мягкий, прохладный и сильно пружинил, и ступать по нему было приятно.

— Давай отдохнем, — сказал Атос, задыхаясь.

— Нет, что ты, Молчун, — сказала Нава, — здесь нам отдыхать нельзя. От этого мха надо скорее подальше, это мох опасный, Колченог говорил, что это и не мох вовсе, это животное такое лежит, вроде паука, ты на нем заснешь и больше уже не проснешься, вот какой это мох, пусть на нем

воры отдыхают, только они, наверное, знают, что нельзя, а то было бы хорошо...

Она посмотрела на Атоса и все-таки перешла на шаг. Атос дотащился до ближайшего дерева, прислонился к нему спиной, затылком, всей тяжестью и закрыл глаза. Очень хотелось сесть, но он боялся. Сердце билось, как бешеное, и тряслись ноги, а легкие лопались и растекались в груди. И весь мир был скользкий и соленый от пота.

— А если нас догонят? — услыхал он, словно сквозь вату, голос Навы. — Что мы будем делать, Молчун, если нас догонят? Что-то ты совсем никуда не годным стал, ты ведь, наверное, драться больше не сможешь, а?

Он хотел сказать: «Смогу», но не сказал. Воров он больше не боялся. Он вообще больше ничего не боялся. Он боялся только пошевелиться и боялся сесть. Все-таки это был лес, это-то он помнил.

— Вот у тебя даже и дубины теперь нет, — говорила Нава. — Поискать, что ли, тебе дубину, Молчун? Поискать?

— Нет, — пробормотал он. — Не надо.

Он открыл глаза. Воры были близко. Слышно было, как они пыхтят и топают в зарослях. В топоте этом не чувствовалось никакой бойкости. Ворам тоже было тяжко.

— Пошли, — сказал Атос.

Они миновали новую полосу опасного мха, снова началось мокрое болото с неподвижной черной водой, на которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным запахом, а из каждого цветка выглядывало мохнатое многоногое животное и провожало их глазами на стебельках.

— Ты, Молчун, шлепай посильнее, — советовала Нава, — а то присосется кто-нибудь, потом не оторвешь, ты не думай, что раз тебе прививку сделали, то не присосется. Потом, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче...

Болото неожиданно кончилось, и местность стала повышаться. Появилась высокая трава с режущими, как у осоки, краями. Атос оглянулся и увидел воров. Почему-то они стояли по колено в болоте, опираясь на дубины, и глядели на него. Выдохлись, подумал Атос. Тоже выдохлись. Один из воров поднял руку, сделал приглашающий жест и крикнул:

— Давайте, спускайтесь!

Атос повернулся и пошел вслед за Навой. После болота идти по твердой земле казалось совсем легко, даже в гору. Воры что-то кричали — в два, а потом в три голоса. Атос оглянулся в послед-

ний раз. Воры по-прежнему стояли в болоте, они стояли в воде и даже не вышли на сухое место. Увидев, что он оглянулся, они отчаянно замахали руками и заорали снова. До Атоса донеслось:

— Наза-ад!.. Не тро-онем!.. Пропадете, дураки-и!..

Не так просто, подумал Атос со злорадством. Это вам не на Земле, здесь не верят. Нава уже скрылась за деревьями, и он поспешил за нею.

— Назад идите-е!.. Отпу-устим!.. — ревел вожак.

Не очень-то они выдохлись, если так орут, мельком подумал Атос.

Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса, перед ними открылась обширная поляна, словно выжженная и вытоптанная, без единого куста, без единой травинки. Большая глиняная проплешина, отгороженная от неба сросшимися кронами могучих деревьев. Поляна была треугольная, и деревня тоже была треугольная.

— Не нравится мне эта деревня, — сказала Нава, — здесь, наверное, еды не допросишься. Смотри, поля у них нет, наверное, это охотники, они всяких животных ловят и едят, тошнит даже, как подумаешь...

— Надо же где-нибудь переночевать, — сказал

Атос. — Да и дорогу спросить надо.

Они шли через лес весь день, и даже Нава устала и все чаще висла на руке Атоса. Издали их поразило, что на улицах не было видно ни одного человека, но когда она подошли к первому домику, стоявшему несколько на отшибе, их окликнули. Атос не сразу нашел — кто.

Рядом с домом на серой земле сидел серый, почти не одетый человек. Уже наступали сумерки, и трудно было разглядеть как следует его лицо.

— Вы куда? — спросил человек слабым голосом.

— Нам нужно переночевать, — сказал Атос. — А утром нам нужно в Новую деревню.

— Это вы, значит, сами пришли, — сказал человек вяло. — Это вы хорошо сделали. Вы заходите, а то работы много, а людей что-то совсем мало осталось. — Он еле выговаривал слова, словно засыпал. — А работать нужно, нужно, нужно...

— Ты нас не накормишь? — спросил Атос.

— Нам сейчас нужно... — Человек произнес несколько слов, которые Атос никогда не слыхал раньше. — Это хорошо, что мальчик пришел, он подойдет для... — И он опять произнес странные, непонятные слова.

Нава потянула Атоса за рукав. Атос с досадой

выдернул руку.

— Я тебя не понимаю, — сказал он человеку. — Ты мне скажи, еда у тебя найдется?

— Вот если бы трое... — сказал человек.

Нава потащила Атоса прочь изо всех сил. Они отошли в сторону.

— Больной он, что ли? — сказал Атос. — Ты поняла, что он говорил?

— У него же нет лица, — шепотом сказала Нава. — Что ты с ним разговариваешь? Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?

— Почему нет лица? — удивился Атос и оглянулся. Человека видно не было: то ли он ушел, то ли растворился в сумерках.

— А так, — сказала Нава. — Глаза есть, рот есть, а лица нету... — Она вдруг прижалась к нему. — Он как мертвяк, — сказала она. — Только он не мертвяк, от него пахнет, но весь он как мертвяк... Пойдем в какой-нибудь другой дом, только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.

Она подтащила его к следующему дому, и они заглянули внутрь, но в доме никого не оказалось. Все в этом доме было непривычное: и не было постелей, и не было запахов еды. Нава понюхала воздух.

— Здесь вообще никогда не было еды, — ска-

зала она с отвращением. — В какую-то ты меня глупую деревню привел, Молчун. Что мы здесь будем делать? Я таких деревень никогда в жизни не видела. И дети здесь не кричат, и на улице никого нет...

На сумеречной улице действительно никого не было, и стояла мертвая тишина. Даже в лесу не ухало и не булькало, как обычно по вечерам.

— Так ты ничего не поняла, что он говорил? — спросил Атос. — Странно он как-то говорил, я вот сейчас вспоминаю, и словно я слышал уже когда-то такую речь... А когда, где — не помню...

— И я тоже не помню, — сказала Нава, помолчав. — А ведь верно, Молчун, я тоже слыхала такие слова, может быть, во сне, а может быть, в нашей деревне, не в той, где мы живем, а в другой, где я родилась, только тогда это, должно быть, очень давно, потому что тогда я была еще очень маленькая и с тех пор все позабыла, а сейчас как будто бы и вспомнила, но никак не могу вспомнить...

В следующем доме они увидели человека, который лежал прямо на полу и спал. Атос нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была сухая и горячая, а мускулов почти не было.

— Спит, — сказал Атос, поворачиваясь к Наве.

— Как же спит? — сказала Нава. — Когда он смотрит...

Атос снова нагнулся над человеком. Ему показалось, что тот действительно смотрит. Но только показалось.

— Да нет, спит он, — сказал Атос. — Пойдем.

Против обыкновения Нава промолчала. Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и в каждом доме они видели спящих. Все спящие были мужчины. Не было ни одной женщины, ни одного ребенка. Нава совсем замолчала. Атосу тоже было не по себе. Спящие не просыпались, но почти каждый раз, когда Атос оглядывался на них, выходя на улицу, ему казалось, что они провожают его короткими осторожными взглядами. Стало совсем темно. Атос чувствовал, что устал до последней степени, до полного безразличия. Ему хотелось сейчас только одного: прилечь где-нибудь под крышей (чтобы не свалилась на сонного сверху какая-нибудь гадость), пусть прямо на жестком утоптанном полу, но лучше все-таки в пустом доме, а не с этими подозрительными спящими. Нава совсем повисла на руке.

— Ты не бойся, — сказал Атос. — Бояться здесь

совершенно нечего.

— Что ты говоришь? — спросила она сонным голосом.

— Я говорю, не бойся. Они тут все полумертвые, я их одной рукой раскидаю.

— Никого я не боюсь, — сказала Нава сердито. — Я устала и хочу спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь из дома в дом, из дома в дом, надоело даже, во всех домах все одинаково. Все люди лежат, а мы с тобой бродим.

Тогда Атос поискал глазами и зашел в первый попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Атос прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но слышал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала. Завтра... пораньше встать... обратно через лес на тропу... воры, конечно, ушли... а если и не ушли... как там ребята в Новой деревне... неужели опять послезавтра?.. Нет уж, завтра... завтра...

Он проснулся от света и подумал, что взошла Луна. В доме было темно, лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это свет Луны может падать и в окно, и в дверь напротив,

потом он догадался, что он на Пандоре, и настоящей Луны здесь быть не может, и тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к нему и глядел в окно, и по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и нагнув голову, как любил стоять у окна во время дождей и туманов Карл, и он отчетливо понял, что это и есть Карл, который когда-то отлучился с Базы в лес и не вернулся. Он задохнулся от волнения и крикнул: «Карл!» Карл медленно повернулся, лиловый свет от окна прошел по его лицу, и Атос увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек, он неслышно подошел к Атосу и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной, и лицо его стало видно совершенно отчетливо, изможденное безбородое лицо, решительно ничем не похожее на лицо Карла. Он не произнес ни слова, выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулясь, и когда он перешагивал через порог, Атос понял, что это все-таки Карл, вскочил и выбежал за ним следом.

За дверью он остановился и оглядел улицу. Было очень светло, потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо. Наискосок, на другой стороне улицы, возвышалось плоское,

диковинное строение, и возле него толпились люди. Человек, похожий на Карла, шел к этому строению, он подошел к этим людям и смешался с толпой. Он тоже хотел подойти к строению, но почувствовал, что ноги у него как ватные и он совсем не может идти. Он удивился, как это он еще может стоять на таких ногах; боясь упасть, он хотел ухватиться за что-нибудь, но было не за что, его окружала пустота.

Раздался крик, громкий откровенный крик боли, так что зазвенело в ушах, и почему-то он сразу понял, что кричат в этом плоском здании, может быть, потому, что больше кричать было негде. И почти тотчас же он сам ощутил острый укол в спину. Он обернулся и увидел Наву, которая, откинув голову, медленно падала навзничь, и он подхватил ее и поднял, не понимая, что с ней происходит, и ощущая страшное желание узнать, что же с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло было перед его глазами, то место, где у всех землян ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки, и у всех местных людей было две таких ямочки, но ведь это чрезвычайно важно узнать, почему у них две. Он заметил, что крик не прекратился, и понял, что ему нужно туда, где кричат. Что же

им дают две ямочки? В чем целесообразность? Крик продолжался. Может быть, в этом все дело, почему об этом никто не подумал, надо было подумать об этом гораздо раньше, и тогда все было бы по-другому...

Крик оборвался. Атос увидел, что стоит уже перед самым зданием, среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли Карл и Валентин, угрюмые и раздраженные, и остановились, разговаривая. Он видел, как шевелятся их губы, и догадывался, что они спорят, что они недовольны, но он не понимал слов, только один раз он уловил полузнакомое слово «хиазма». И тут он вспомнил, что Карл-то пропал без вести, а Валентина нашли через месяц после аварии и похоронили. Ему стало невыносимо жутко, и он попятился, толкая кого-то спиной, и даже когда он увидел, что никакой это не Карл, и никакой это не Валентин, страх его не уменьшился, он продолжал пятиться, и вдруг кто-то рядом сказал ему: «Куда же ты с ним? Иди прямо, вот же дверь, дверей не видишь, что ли?» Тогда он повернулся, вскинул Наву на плечо и двинулся по пустой освещенной улице, как во

сне, на мягких подгибающихся ногах, только не слыша за собой топота преследователей.

Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, и он опустил ее на землю. Под ногами была трава.

Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман, и дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.

— Что-то я ничего не помню, — проговорила Нава. — Почему мы здесь? Мы ведь уже спать легли. Или это мне все снится?

Атос поднял ее и понес дальше, дальше, дальше, пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел возле нее. Вокруг была высокая теплая трава. Сырости совсем не чувствовалось, никогда еще в лесу Атосу не попадалось такого сухого благодатного места. Голова у него болела, и все время клонило в сон, не хотелось ни о чем думать, было только чувство огромного облегчения от того, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.

— Молчун, — сказала Нава сонным голосом, — ты знаешь, Молчун, я все-таки вспомнила, где я слышала такую речь. Это ты так сам говорил, Молчун. Когда еще был без памяти. Слушай, Мол-

чун, а может, ты из этой деревни родом? Может, ты просто забыл? Ты ведь очень больной был тогда, Молчун, совсем без памяти...

— Спи, — сказал Атос. Ему не хотелось думать. Ни о чем не хотелось думать. «Хиазма», — вспомнил он.

Глава пятая

Дирижабль, рискованно низко ныряя над лесом в крутящихся под ветром тучах, сбросил вездеход в полукилометре от того места, где были замечены сигнальные ракеты Сартакова.

Леонид Андреевич ощутил легкий толчок, когда включились парашюты, и через несколько секунд второй, более сильный толчок, почти удар, когда вездеход, сокрушая деревья, рухнул в лес. Алик Кутнов отстрелил парашюты, включил для пробы двигатели и доложил: «Готов». Поль скомандовал: «Бери пеленг и — вперед».

Леонид Андреевич косился на них с некоторой завистью. Оба они работали, оба были заняты, и видно было, что им обоим нравится все это — и рискованный прыжок с малой высоты, и колодец в лесной зелени, получившийся в месте падения танка, и гул двигателей, и вообще все положение, когда не надо больше чего-то ожидать, когда все уже произошло и мысли не разбредаются, как веселая компания на пикнике, а строго подчинены ясной и определенной цели. Так, вероятно, чувствовали себя старинные полководцы, когда затерявшийся было противник вдруг обнару-

живался, намерения его определялись и можно было в своих действиях опереться наконец на хорошо знакомые положения приказов и уставов. Леонид Андреевич подозревал также, что они втихомолку даже радуются происшествию как случаю продемонстрировать свою готовность, свое умение, свою опытность. Радуются постольку, конечно, поскольку все пока были живы и никому ничего особенного не угрожало. Сам же Леонид Андреевич, если отвлечься от мимолетного ощущения зависти, ждал встречи с неизвестным, надеялся на эту встречу и боялся ее.

Вездеход медленно и осторожно двигался на пеленг. При его приближении растительность мгновенно теряла влагу, и все — стволы деревьев, ветви, листья, лианы, цветы, грибы — рассыпалось в труху, смешивалось с болотным илом и тут же смерзалось, стеля под гусеницы звонкую ледяную броню. «Вас видим!» — сообщил голос Сартакова из репродуктора, и Алик сейчас же затормозил. Туча трухи медленно оседала.

Леонид Андреевич, поспешно отстегивая предохранительные ремни, водил глазами по обзорному экрану. Он не знал, что он должен увидеть. Что-то похожее на кисель, от которого

тошнит. Что-то необычное, что нельзя описать. А вокруг шевелился лес, трепетал и корчился лес, менял окраску, переливаясь и вспыхивая, обманывая зрение, наплывая и отступая, издевался, пугал и глумился лес, и он весь был необычен, и его нельзя было описать, и от него тошнило. Но самым необычным, самым невозможным, самым невообразимым в этом лесу были люди, и поэтому прежде всего Леонид Андреевич увидел их. Они шли к вездеходу, тонкие и ловкие, уверенные и изящные, они шли легко, не оступаясь, мгновенно и точно выбирая место, куда ступить, и они делали вид, что не замечают леса, что в лесу они как дома, что лес уже принадлежит им, они даже, наверное, не делали вид, они действительно думали так, а лес висел над ними, беззвучно смеясь и указывая мириадами глумливых пальцев, ловко притворяясь и знакомым, и покорным, и простым — совсем своим. Пока.

Рита Сергеевна и Сартаков вскарабкались на гусеницу, и все вышли им навстречу.

— Что же это ты так неловко? — сказал Поль Сартакову.

— Неловко? — сказал Сартаков. — Ты посмотри! Видишь?

— Что?

— То-то, — сказал Сартаков. — А теперь присмотрись...

— Здравствуйте, Леонид Андреевич, — сказала Рита Сергеевна. — Вы сообщили Тойво, что все в порядке?

— Тойво ничего не знает, — ответил Леонид Андреевич. — Вы не беспокойтесь, Рита. А вы как себя чувствуете? Что у вас случилось?

— Да ты не туда смотришь, — нетерпеливо говорил Сартаков Полю. — Да вы, кажется, ослепли все!..

— А! — закричал Алик, указывая пальцем. — Вижу! Ух ты...

— Да-а... — тихо и напряженно произнес Поль.

И тогда Леонид Андреевич тоже увидел. Это появилось как изображение на фотобумаге, как фигурка на детской загадочной картинке «Куда спрятался зайчик?» — и, однажды разглядев это, больше невозможно было потерять его из виду. Оно было совсем рядом, оно начиналось в нескольких шагах от широких гусениц вездехода.

Огромный живой столб поднимался к кронам деревьев, сноп тончайших прозрачных нитей, липких, блестящих, извивающихся и напряженных; пронизывающий плотную листву и

уходящий выше, в облака. Он зарождался в клоаке, в жирной клокочущей клоаке, заполненной протоплазмой, живой, активной, вспухающей пузырями, примитивной плотью, хлопотливо организующей и тут же разлагающей себя, изливающей продукты разложения на плоские берега, плюющейся клейкой пеной... И сразу из шума леса выделился голос клоаки, словно включились невидимые звукофильтры: клокотание, плеск, всхлипывания, бульканье, протяжные болотные стоны, и надвинулась тяжелая стена запахов: сырого сочащегося мяса, сукровицы, свежей желчи, сыворотки, горячего клейстера, и только тогда Леонид Андреевич заметил, что Рита Сергеевна и Сартаков были в кислородных масках, и увидел, как Алик и Поль, брезгливо кривясь, поднимают к лицу намордники респираторов, но сам он не стал надевать респиратор, он словно бы надеялся, что хоть запахи расскажут ему то, чего не рассказали ни глаза, ни уши.

— Какая жуть... — сказал Алик с отвращением. — Что это такое, Вадим?

— Откуда я знаю? — сказал Сартаков. — Может быть, какое-нибудь растение...

— Животное, — сказала Рита Сергеевна. — Животное, а не растение... Оно питается растени-

ями.

Вокруг клоаки, заботливо склоняясь над нею, трепетали деревья, их ветви были повернуты в одну сторону и никли к бурлящей массе, и по ветвям струились и падали в клоаку толстые мохнатые лианы, и клоака принимала их в себя, а протоплазма обгладывала их и превращала в себя, как она могла растворить и сделать своею плотью все, что окружало ее...

— Нет, — говорил Сартаков. — Оно не движется. Оно даже не становится больше, не растет. Сначала мне показалось, что оно разливается и подбирается к нашему дереву, но это было просто от страха. Или это дерево подбиралось к нему...

— Не знаю, — говорила Рита. — Я вела вертолет и ничего не заметила. Скорее всего, мы налетели на этот... столб, винты запутались в слизи, хорошо, что мы шли низко и на самой маленькой скорости, мы боялись грозы и искали место отсидеться...

— Если бы только растения! — говорил Сартаков. — Мы видели, как туда падают животные, их словно тянет туда что-то, они с визгом сползают по ветвям и бросаются туда, и растворяются — сразу, без остатка.

— Нет, это, конечно, чистая случайность, — го-

ворила Рита. — Нам сначала не повезло, а потом повезло. Вертолет буквально сел на крону и даже не перевернулся, и даже дверцу не заклинило, так что, по-моему, корпус цел, полетели только лопасти винтов...

— Ни минуты покоя, — говорил Сартаков. — Оно бурлит непрерывно, как сейчас, но это еще не самое интересное. Подождем еще несколько минут, и вы увидите самое интересное...

И когда прошли эти несколько минут, Сартаков сказал:

— Вот оно!

Клоака рожала. На ее плоские берега нетерпеливыми судорожными толчками один за другим стали извергаться обрубки белесого, зыбко вздрагивающего теста, они беспомощно и слепо катились по земле, потом замирали, сплющивались, вытягивали осторожные ложноножки и вдруг начинали двигаться осмысленно, еще суетливо, еще тычась, но уже в одном направлении, все в одном определенном направлении, расходясь и сталкиваясь, но все в одном направлении, по одному радиусу от клоаки, в заросли, прочь, одной текучей белесой колонной, как исполинские мешковатые слизнеподобные муравьи.

— Оно выбрасывает их каждые полтора часа,

— говорил Сартаков, — по десять, двадцать, по тридцать штук... С удивительной правильностью, каждые восемьдесят семь минут...

— Нет, не обязательно туда, — говорила Рита. — Иногда они уходят в том направлении, а иногда вон туда, мимо нашего дерева. Но чаще всего они действительно ползут так, как сейчас... Поль, давайте посмотрим, куда они ползут, вряд ли это далеко, они слишком беспомощны...

— Может быть, и семена, — говорил Сартаков, — а может быть, и щенки, откуда мне знать, может быть, это маленькие тахорги. Ведь никто и никогда еще не видел маленьких тахоргов. Хорошо бы проследить и посмотреть, что с ними делается дальше. Как ты думаешь, Поль?

Да, хорошо бы. Почему бы и нет? Раз уж мы здесь, то почему бы и нет? Мы могли бы ехать рядом и быть настороже. Все возможно, пока еще возможно все, возможно, это лишний нарост на маске, загадочный и бессмысленный, а может быть, именно здесь маска приоткрылась, но лицо под нею такое незнакомое, что тоже кажется маской, и как хорошо было бы, если бы это оказались семена или маленькие тахорги...

— А почему бы и нет? — сказал Поль решительно. — Давайте! По крайней мере, я буду знать, в

чем будут копаться наши биологи. Пошли в рубку, надо сообщить Шестопалу, пусть дирижабль следует за нами...

Они спустились в рубку, Поль связался с дирижаблем, а Алик стал разворачивать вездеход. «Хорошо, — говорил Шестопал. — Будет исполнено. А что там внизу? Там какой-нибудь гейзер? Я все время натыкаюсь на что-то мягкое и ничего не вижу, очень неприятно, и стекла в кабине залепило какой-то слизью...» Алик делал поворот на одной гусенице и валил кормой деревья. «Ай! — вдруг сказала Рита. — Вертолет!» Алик затормозил, и все посмотрели на вертолет. Вертолет медленно падал, цепляясь за распростертые ветви, скользя по ним, переворачиваясь, цепляясь изуродованными винтами, увлекая за собой тучи листьев. Он упал в клоаку. Все разом встали. Леониду Андреевичу показалось, что протоплазма прогнулась под вертолетом, словно смягчая удар, мягко и беззвучно пропустила его в себя и сомкнулась над ним. «Да, — сказал Сартаков с неудовольствием. — Глупость какая, вся недельная добыча...» Клоака стала пастью сосущей, пробующей, наслаждающейся. Она катала в себе вертолет, как человек катает языком от щеки к щеке большой леденец. Вертолет

крутило в пенящейся массе, он исчезал, появлялся вновь, беспомощно взмахивая остатками винтов, и с каждым появлением его становилось все меньше, органическая обшивка истончалась, делалась прозрачной, как тонкая бумага, и уже смутно мелькали сквозь нее каркасы двигателей и рамы приборов, а потом обшивка расползлась, вертолет исчез в последний раз и больше не появился. Леонид Андреевич посмотрел на Риту. Она была бледна, руки ее были стиснуты. Сартаков откашлялся и сказал: «Честно говоря, я не предполагал... Должен тебе сказать, директор, я вел себя достаточно опрометчиво, но я никак не предполагал...»

— Вперед, — сухо сказал Поль Алику.

«Щенков» было сорок три. Они медленно, но неутомимо двигались колонной один за другим, словно текли по земле, переливаясь через стволы сгнивших деревьев, через рытвины, по лужам стоячей воды, в высокой траве, сквозь колючие кустарники. И они оставались белыми, чистыми, ни одна соринка не приставала к ним, ни одна колючка не ранила их, и их не пачкала черная болотная грязь. Они лились с тупой бездумной уверенностью, как будто по давно знакомой привычной дороге.

Алик с величайшей осторожностью, выключив все агрегаты внешнего воздействия, шел параллельно колонне, стараясь не слишком приближаться к ней, но и не терять ее из виду. Скорость была ничтожная, едва ли не меньше скорости пешехода, и это длилось долго. Через каждые полчаса Поль выбрасывал сигнальную ракету, и скучный голос Шестопала сообщал в репродукторе: «Ракету вижу, вас не вижу». Иногда он добавлял: «Меня сносит ветром. А вас?» Это была его личная традиционная шутка.

Время от времени Сартаков (с разрешения Поля) выбирался из рубки, соскакивал на землю и шел рядом с одним из «щенков». «Щенки» не обращали на него никакого внимания: видимо, они даже не подозревали, что он существует. Потом (опять-таки с разрешения Поля) рядом со «щенками» прошлись по очереди Рита Сергеевна и Леонид Андреевич. От «щенков» резко и неприятно пахло, белая оболочка их казалась прозрачной, и под нею волнами двигались какие-то тени. Алик тоже попросился к «щенкам», но Поль его не отпустил и сам не пошел, может быть, желая таким образом выразить свое неудовольствие просьбами экипажа.

Возвратившись из очередной прогулки, Сарта-

ков предложил изловить одного «щенка». «Ничего нет легче, — сказал он. — Опростаем контейнер с водой, накроем одного и оттащим в сторону. Все равно когда-нибудь придется ловить». — «Не разрешаю, — сказал Поль. — Во-первых, он сдохнет. А во-вторых, я ничего не разрешу до тех пор, пока не станет все ясно». — «Что именно — все?» — спросил агрессивно Сартаков. «Все, — сказал Поль. — Что это такое, почему, зачем?» — «А заодно — в чем смысл жизни», — сказал агрессивно Сартаков. «По-моему, это просто разновидность живого существа», — сказал Алик, который очень не любил ссор. «Слишком сложно для живого существа, — сказала Рита. — Я имею в виду, что слишком сложно для таких больших размеров. Трудно себе представить, что это может быть за живое существо». — «Это вам трудно представить, — сказал Алик добродушно. — Или мне, например. А вот, скажем, ваш Тойво может все это представить без малейшего труда, ему это проще, чем для меня — завести двигатель. Раз — и представил. Величиной с дом». — «Знаете, что это, — сказал успокоившийся Сартаков. — Это ловушка». — «Чья ловушка?» — «Чья-то ловушка», — сказал Сартаков. «Занимается ловлей вертолетов», — сказал Поль. «А что же, — сказал

Сартаков. — Сидоров попался три года назад, Карл еще раньше попался, а теперь вот мой вертолет». — «Разве Карл здесь сгинул?» — спросил Алик. «Это неважно, — сказал Сартаков. — Ловушек может быть много». — «Поль, — сказала Рита Сергеевна, — можно я поговорю с Тойво?» — «Можно, — сказал Поль, — сейчас я его вызову...»

Рита поговорила с Тойво. Сартаков еще раз вылез и прошелся рядом со «щенками». Шестопал еще раз сообщил, что его сносит, и еще раз спросил, не сносит ли их. А потом они увидели, как строй «щенков» нарушился. Колонна разделилась. Леонид Андреевич считал: тридцать два «щенка» пошли прямо, а одиннадцать, построившись в такую же колонну, свернули налево, наперерез вездеходу. Алик продвинулся еще на несколько десятков метров и остановился.

— Слева озеро, — объявил он.

Слева между деревьями открылось озеро, ровная гладь неподвижной темной воды — совсем недалеко от вездехода. Леонид Андреевич увидел низкое туманное небо и смутные очертания дирижабля. Одиннадцать «щенков» уверенно направлялись к воде. Леонид Андреевич смотрел, как они переливаются через кривую корягу на самом берегу и один за другим тяжело плюхают-

ся в озеро. По темной воде пошли маслянистые круги.

— Тонут! — сказал Сартаков с удивлением.

— Тогда уж — топятся, — сказал Алик. — Ну что, Поль, за ними? Или прямо?

Поль рассматривал карту.

— Как всегда, — сказал он. — Этого озера у нас на картах нет. Если карте больше двух лет, то она уже никуда не годится. — Он сложил карту и придвинул к себе перископ. — Пойдем прямо, — сказал он. — Только погоди немного.

Он медленно поворачивал перископ, а потом остановился и стал вглядываться. В кабине вдруг стало тихо. Все смотрели на него. Леонид Андреевич увидел, как его правая рука нашарила клавишу кинокамеры и несколько раз нажала на нее. Потом Поль обернулся и, моргая, посмотрел на Леонида Андреевича.

— Странно, — сказал он. — Может, вы взглянете? У того берега...

Леонид Андреевич подтянул перископ к себе. Он ничего не ожидал увидеть: это было бы слишком просто. И он ничего не увидел. Озерная гладь, далекий, заросший травою берег, зубчатая кромка леса на фоне серого неба.

— А что вы там увидели? — спросил он, вгля-

дываясь.

— Там была белая точка, — сказал Поль. — Мне показалось, что там, в воде, человек... Глупо, конечно.

Темная вода, кромка леса, серое небо.

— Будем считать, что это была русалка, — сказал Леонид Андреевич и отодвинулся от перископа.

Глава шестая

Когда Атос проснулся, Нава еще спала. Она лежала на животе в углублении между двумя корнями, уткнувшись лицом в сгиб левой руки, а правую откинув в сторону, и Атос увидел в ее грязном полураскрытом кулаке тонкий металлический предмет. Сначала он не понял, что это такое, и только вдруг вспомнил странный полусон этой ночи, и свой страх, и свое облегчение оттого, что не произошло чего-то ужасного. А потом он вспомнил, что это за предмет, и даже название его вдруг всплыло в памяти. Это был скальпель. Он подождал немного, проверяя соответствие формы предмета и звучания этого слова, сознавая вторым планом, что проверять здесь нечего, что все правильно, но совершенно невозможно, потому что скальпель, со своей формой и названием своим, чудовищно не соответствовал этому миру. Он разбудил Наву.

Девочка проснулась, сейчас же села и заговорила:

— Какое сухое место, никогда в жизни не думала, что бывают такие сухие места, и как здесь только трава растет, а, Молчун?.. — Она замолчала

и поднесла к глазам кулак со скальпелем. Секунду она глядела на скальпель, потом взвизгнула, отбросила его и вскочила на ноги. Скальпель вонзился в траву и встал торчком. Они смотрели на него, и обоим было страшно. — Что это такое, Молчун? — сказала наконец Нава шепотом. — Какая страшная вещь... Или это растение? Здесь все такое сухое, может быть, это растение?

— Почему — страшная? — спросил Атос.

— Еще бы не страшная, — сказала Нава. — Ты возьми его в руки... Попробуй, попробуй, возьми, тогда и будешь знать, почему страшная. Я сама не знаю, почему страшная...

Атос взял скальпель. Скальпель был еще теплый, а острый кончик его холодил, и осторожно ведя по скальпелю пальцем, можно было найти то место, где он перестает быть теплым и становится холодным.

— Где ты его взяла? — спросил Атос.

— Нигде я его не брала, — сказала Нава. — Он, наверное, сам залез ко мне в руку, пока я спала. Видишь, какой он холодный. Он, наверное, захотел согреться и залез мне в руку. Я никогда не видела таких... таких... я даже не знаю, как это назвать. Может быть, у него есть ножки, только он их спрятал? Какой он твердый... А может быть,

мы еще спим с тобой, Молчун? — Она вдруг запнулась и посмотрела на Атоса. — А мы в деревне сегодня ночью были? Ведь были... Там еще был человек без лица, который думал, что я мальчик... И мы искали, где поспать... Да, а потом я проснулась, тебя не было, и я стала шарить рукой... Вот где он залез мне в кулак! — сказала она. — Только вот что удивительно, Молчун. Я совсем тогда его не боялась, даже наоборот... Он мне был для чего-то нужен...

— Все это был сон, — решительно сказал Атос. У него мурашки бежали по затылку. — Забудь, это был сон. Поищи лучше какой-нибудь еды. А эту штуку я закопаю.

— Для чего-то он мне был нужен... — повторила Нава. — Что-то я должна была сделать... — Она помотала головой. — Я не люблю таких снов, — сказала она. — Ничего не вспомнить. Ты поглубже его закопай, а то он выберется и снова заползет в деревню и кого-нибудь напугает... Ну, ты закапывай, а я пойду искать. — Она потянула носом воздух. — Где-то поблизости есть ягоды. Удивительно, откуда в таком сухом месте ягоды?

Она легко и бесшумно побежала по траве. А Атос остался сидеть, держа на ладони скальпель. Он не стал его закапывать. Он обмотал лезвие

пучком травы и сунул скальпель за пазуху. Теперь он вспомнил все. Но так и не мог понять, что было сном, а что было на самом деле.

Нава скоро вернулась и выгребла из-за пазухи целую груду ягод и несколько больших грибов.

— Там есть тропа, Молчун, — сказала она. — Давай мы с тобой не будем возвращаться в ту деревню, а пойдем по тропе. Обязательно куда-нибудь придем. Спросим там дорогу до Новой деревни, и все будет хорошо. А в эту деревню давай мы не будем возвращаться. Мне там сразу не понравилось. Правильно, что мы оттуда ушли. Нам туда и приходить не надо было, тебе же воры кричали, что не ходи, пропадешь, да ты никогда никого не слушаешься, вот мы из-за тебя чуть в беду и не попали... Что же ты не ешь? Грибы сытные, ягоды вкусные, я теперь вспоминаю, мама мне всегда говорила, что самые хорошие грибы растут там, где сухо, но тогда я не понимала, что это такое — сухо. Мама говорила, что раньше много где было сухо, поэтому она понимала, а я вот не понимала...

Атос попробовал гриб и съел его. Грибы действительно были хороши. И ягоды были хороши, и он почувствовал себя бодрее. В деревню возвращаться ему тоже не хотелось. Он попытался

представить себе местность, как объяснял и рисовал ему прутиком на земле Колченог, и вспомнил, что Колченог говорил о дороге в Город, которая должна проходить где-то в этих местах. Очень хорошая дорога, говорил Колченог с сожалением, самая прямая дорога до Города, только не добраться до нее через болото-то, да и неизвестно, есть она сейчас или нет ее... Возможно, Навина тропа и была этой дорогой. Рискнуть стоило. Но сначала нужно было все-таки вернуться.

— Придется все-таки вернуться, Нава, — сказал он, когда они поели.

— Куда, в ту деревню? — Нава расстроилась. — Ну зачем ты это говоришь, Молчун? Чего мы в той деревне еще не видели? Вот за что я тебя не люблю, Молчун, так это что с тобой никак не договоришься по-человечески... Только что ведь решили, что больше возвращаться в ту деревню не станем, а теперь ты опять заводишь разговор, чтобы вернуться...

— Придется вернуться, — повторил он. — Мне самому не хочется, Нава, но надо туда сходить. Может быть, нам объяснят там, как отсюда побыстрее попасть в Город... Ты не сердись, Нава, ведь мне самому не хочется...

— А раз не хочется, так зачем ходить?

Он не хотел и не мог объяснить ей — зачем. Он поднялся и, не оглядываясь, пошел в ту сторону, где должна была быть деревня. Нава догнала его и пошла рядом. Некоторое время она даже молчала, но в конце концов не выдержала.

— Только я с этими людьми разговаривать не буду, — заявила она. — Ты теперь с ними сам разговаривай. Сам туда идешь, сам и разговаривай. А я не люблю иметь дело с человеком, если у него даже лица нет. От такого человека хорошего не жди. Мальчика от девочки отличить не может... У меня вот с утра голова болит. И я знаю, почему...

Они вышли на деревню неожиданно. Видимо, Атос взял слишком влево, и деревня открылась между деревьями справа от них. Все здесь изменилось, но Атос не сразу понял, в чем дело. Потом понял: деревня тонула. Треугольная поляна была залита черной водой, и вода прибывала на глазах, затопляя дома. Поляна вместе с деревней погружалась на дно озера. Атос беспомощно стоял и смотрел, как исчезают под водой окна, как оседают и разваливаются размокшие стены, как проваливаются крыши. И никто не выбегал из домов, никто не пытался добраться до берега, ни один человек не показался на поверхности воды. Пожалуй, самой удивительной характеристи-

кой топографии Пандоры является необычайно быстрое перемещение фронта озер и болот... Перемещение фронта... На всех фронтах... Борьба... Скальпель... Но Валентин был мертв. Он был мертв уже по крайней мере две недели... Плавно прогнувшись, бесшумно канула в воду крыша плоского строения. Над черной водой пронесся словно легкий вздох, по спокойной поверхности побежала рябь. Все кончилось. Перед Атосом было обычное треугольное озеро.

— Все, — сказал Атос.

— Да, — сказала Нава. У нее был такой спокойный голос, что Атос невольно взглянул на нее. Она и в самом деле была совершенно спокойна. Даже, кажется, довольна. — Это называется Одержание, — сказала она. — Теперь здесь всегда будет озеро, а те, кто в домах, станут жить в этом озере. Вот почему у них не было лица, а я сразу и не поняла. Кто не хочет жить в озере, тот уходит. Я бы, например, ушла, но когда-нибудь все равно всем придется жить в озере. Может быть, это даже хорошо. Никто не рассказывал... Пойдем, — сказала она. — Пойдем на тропу.

Вначале тропа шла по удобным сухим местам, но спустя некоторое время она круто спустилась со склона холма и стала топкой полоской черной

грязи. Чистый лес кончился, справа и слева опять потянулись болота, сделалось сыро и душно. Нава чувствовала себя здесь гораздо лучше. Она непрерывно говорила, и Атос понемногу успокаивался. В голове снова привычно зашумело, он двигался, словно в полусне, отдавшись случайным бессвязным мыслям, скорее даже не мыслям, а представлениям. В деревне все уже давно встали. Колченог ковыляет по главной улице и говорит всем встречным, что ушел Молчун и Наву с собой забрал, в Город, наверное, ушел, а Города никакого и нет. А может, и не в Город, может, в Тростники ушел, в Тростниках хорошо рыбу подманивать, сунул пальцы в воду, пошевелил, и вот она, рыба. Да только зачем ему рыба, если подумать, не ест Молчун рыбу, дурак, хотя, может, решил для Навы рыбу поймать, Нава рыбу ест, вот он ее и будет кормить рыбой, но только зачем он тогда все время про Город спрашивал? Нет, не в Тростники он пошел, и нужно ожидать, что не скоро вернется... А навстречу ему по главной улице идет Кулак и говорит всем встречным, что вот Молчун все ходил, уговаривал, пойдем, говорил, Кулак, в Город, послезавтра пойдем, целый год звал послезавтра в Город идти, а когда я еды наготовил невпроворот, что старуха ругается,

тогда он без меня и без еды ушел... А ведь один уходил-уходил вот так без еды, дали ему в лоб, больше не уходит, и с едой не уходит, и без еды не уходит, так ему дали... А Хвост стоит рядом с завтракающим у него дома стариком и говорит ему: опять ты ешь и опять ты чужое ешь, ты не думай, мне не жалко, я только удивляюсь, как это в одного такого тощего старика столько горшков еды помещается, ты ешь, но ты мне скажи, может быть, ты все-таки не один у нас тут в деревне, может быть, вас трое или хотя бы двое, ведь на тебя смотреть опасно, как ты ешь, наешься, а потом говоришь, что нельзя...

Нава шла рядом, держась обеими руками за его руку, и рассказывала:

— Потом жил у нас в деревне один мужчина, которого звали Обида-Мученик. Ты его не помнишь, ты тогда без памяти был. А этот Обида-Мученик всегда на все обижался и спрашивал: почему? Почему днем светло, а ночью темно. Почему мертвяки женщин угоняют, а мужчин не угоняют. У него мертвяки двух жен украли, одну за другой. Первую еще до меня, а вторую уже при мне, так он все ходил и спрашивал, почему, спрашивал, они его не украли, а украли его жену. Нарочно целыми днями и ночами по

лесу бродил, чтобы его тоже угнали и он бы своих жен нашел, но его так и не угнали, потому что мертвякам мужчины ни к чему, им женщины нужны, так уж у них заведено, и из-за какого-то Обиды-Мученика они порядков своих менять не стали... Еще спрашивал, почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того еды вдоволь, поливай бродилом и ешь, староста ему говорит: не хочешь — не работай, никто тебя не принуждает, а тот все твердит, почему да почему... Или к Кулаку пристал. Почему, говорит, Верхняя деревня грибами заросла, а наша никак не зарастает? Кулак ему сначала спокойно объясняет: у верхних Одержание произошло, а у нас еще нет, и весь вопрос. А тот спрашивает, а почему у нас Одержание не происходит так долго? Измотал он Кулака, закричал Кулак громко, на всю деревню, и побежал к старосте жаловаться, староста тоже рассердился, собрал деревню, и погнались они за Обидой-Мучеником, чтобы его наказать, да так и не поймали. К старику он тоже приставал много раз, старик даже к нему есть перестал ходить, а потом не выдержал и сказал: отстань ты, говорит, от меня, у меня из-за тебя пища в рот не лезет, откуда я знаю — почему? Город знает, почему. И все. Пошел Обида-Мученик в Город, да так больше

и не возвращался...

Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна, глухо фукали созревшие дурман-грибы, разбрасывая веером рыжие фонтаны спор; с воем налетала заблудившаяся лесная оса, старалась ударить в глаз, и приходилось сотню шагов бежать, чтобы отвязаться; шумно и деловито мастерили свои постройки разноцветные подводные пауки, цепляясь за лианы; деревья-прыгуны приседали и корчились, готовясь к прыжку, но, почувствовав людей, замирали, притворяясь обыкновенными деревьями; и не на чем было остановить взгляд, нечего было запоминать. И не над чем было думать, потому что думать о Карле и Валентине, о прошлой ночи и потонувшей деревне означало бредить.

— Этот Обида-Мученик был добрый человек, это они с Колченогом нашли тебя за Тростниками, пошли в Муравейники, да как-то их занесло в Тростники, и нашли они там тебя и притащили, вернее, тащил тебя Обида-Мученик, а Колченог только сзади шел да подбирал все, что из тебя вываливалось... Много он чего подобрал, а потом рассказывал, страшно ему стало, он все и выбросил. Такое, рассказывал, у нас никогда не росло и расти не может. А потом Обида-Мученик одежду

твою с тебя снял, очень на тебе была странная одежда, никто не мог понять, где такое растет, так он эту одежду разрезал и рассадил, думал — вырастет. Но ничего не выросло, не взошло даже, и опять он стал ходить по деревне и спрашивать, почему если любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет, а твоя, Молчун, даже не взошла. К тебе он много приставал, но ты тогда без памяти был и только бормотал что-то и рукой заслонялся... Так он от тебя и отстал ни с чем. А потом еще многие за Тростники ходили: и Кулак, и Хвост, и сам староста ходил, надеялись еще одного такого найти. Нет, не нашли. Тогда меня к тебе и приставили. Выхаживай, говорят, выходишь — будет тебе муж, а что он чужой — так ты тоже вроде чужая. А я как в эту деревню попала? Захватили нас с матерью мертвяки. А ночь была без луны...

Местность опять стала повышаться, но сырости не убавилось, хотя лес и стал чище. Уже не видно было коряг, гнилых сучьев, завалов гниющих лиан. Пропала зелень, все вокруг сделалось желтым. Деревья стали стройнее, и болото стало какое-то необычное — чистое, без мха и без грязевых куч. Трава на обочинах стала мягче и сочнее, травинка к травинке, как будто их подбирали.

Нава остановилась на полуслове, потянула носом воздух и деловито сказала, оглядываясь:

— Куда бы здесь спрятаться?

— Кто-нибудь идет? — спросил Атос.

— Кого-то много, и я не знаю, кто это. Это не мертвяки, но лучше бы все-таки спрятаться... Можно, конечно, и не прятаться, все равно они уже близко, а спрятаться здесь негде. Давай на обочину встанем и посмотрим... — Она еще раз потянула носом. — Скверный какой-то запах, не то чтобы опасный, а лучше бы его не было... А ты, Молчун, неужели ничего не чуешь? Ведь так разит, будто от перепрелого бродила — горшок у тебя перед носом стоит, а в нем перепрелое бродило... Вон они! Э-э, маленькие, не страшно, ты их сейчас прогонишь... Гу-гу-гу!

— Помолчи, — сказал Атос, всматриваясь.

Сначала ему показалось, что им навстречу по тропинке ползут белые черепахи. Потом он понял, что таких животных он еще не видел. Они были похожи на огромных непрозрачных амеб или на очень молодых древесных слизней, только у слизней не было ложноножек и слизни были все-таки побольше. Их было много, они ползли гуськом друг за дружкой, довольно быстро, ловко выбрасывая вперед ложноножки и переливаясь

в них. Скоро они оказались совсем близко, и Атос тоже почувствовал резкий незнакомый запах и отступил с тропы на обочину, потянув за собой Наву. Слизни-амебы один за другим проползали мимо них, не обращая на них никакого внимания. Их оказалось всего двенадцать, и последнего, двенадцатого, Нава пнула пяткой. Слизень проворно поджал зад и задвигался быстрее. Нава пришла в восторг и кинулась было догнать и пнуть еще раз, но Атос ее удержал.

— Какие они потешные, — сказала Нава, — и как они ползут, будто люди идут по тропинке... И куда же это они интересно идут? Наверное, Молчун, они в ту деревню идут, они, наверное, оттуда, а теперь возвращаются и не знают, что в деревне уже Одержание произошло... Покрутятся возле воды и обратно пойдут. Куда же они, бедные, пойдут? Может, другую деревню искать? Эй! — закричала она. — Не ходите! Нет уже вашей деревни, одно озеро там!

— Помолчи! — сказал Атос. — Пойдем. Не понимают они твоего языка, не кричи зря.

Они пошли дальше. После слизняков тропинка казалась немножко скользкой. Атос поймал себя на том, что мысленно перебирает известных ему диких обитателей леса. Тахорги, псевдоцефалы,

подобрахии, орнитозавры Циммера, орнитозавры Максвелла, трахеодонты... это только самые крупные, тяжелее пяти центнеров... рукоеды, волосатики, живохваты, кровососки, болотные прыгуны... Почти каждый выход в лес означал встречу с каким-нибудь новым животным — не только для чужака, но и для местного жителя. То же самое относилось и к растениям. И никого это не удивляло. Новые растения приносили из леса, новые растения совершенно неожиданно вырастали на поле — иногда из семян старых. Это было в самой природе, и никто не искал этому объяснений. Возможно, новые животные тоже рождались от старых, давно известных. А может быть, они были стадиями метаморфоза — личинками, куколками, яйцами... Эти слизни-амебы, например, наверняка какие-нибудь зародыши...

— Скоро будет озеро, — сказала Нава. — Пойдем скорее, я хочу пить и есть. Может быть, ты рыбы для меня приманишь...

Они пошли быстрее. Начались тростники. Тропа вдруг раздвоилась, одна, по-видимому, шла к озеру, а другая круто свернула куда-то в сторону. Они оставили ее слева, — Нава заявила, что эта тропа ведет вверх. Тропа становилась все уже, потом превратилась в рытвину и заглохла в за-

рослях тростника. Нава остановилась.

— Знаешь, Молчун, — сказала она, — а может, мы не пойдем к этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится. Что-то там не так. По-моему, это даже не озеро, чего-то там еще много, кроме воды.

— Но вода там есть? — спросил Атос. — Я пить хочу.

— Вода есть, — неохотно сказала Нава. — Но теплая. Плохая вода. Нечистая. Знаешь что, Молчун, ты здесь постой, а то больно шумно ты ходишь, ничего из-за тебя не слыхать, ты постой и подожди меня, а я тебя позову, крикну прыгуном. Знаешь, как прыгун кричит? Вот я прыгуном и крикну. А ты здесь постой или лучше даже посиди...

Она нырнула в тростники и исчезла... И тогда Атос обратил внимание на странную тишину, царившую здесь. Не было ни звона насекомых, ни булькания и вздохов болота, ни криков лесного зверья. Сырой горячий воздух был неподвижен. Атос сел на траву, вырвал несколько травинок, растер между пальцами и неожиданно увидел, что земля здесь должна быть съедобна. Он выдрал пучок травы с землей и стал есть. Дерн хорошо утолял голод и жажду. Он был прохладен и солоноват на вкус. Потом из тростника бесшумно

вынырнула Нава. Она присела рядом на корточки и тоже стала есть, быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые.

— Это хорошо, что мы здесь поели, — сказала она наконец. — Хочешь посмотреть, что это за озеро? А то я хочу посмотреть еще раз, но мне одной страшно. Это то самое озеро, про которое Колченог всегда рассказывает, только я думала, что он выдумывает или ему привиделось, а это, оказывается, правда, хотя, может быть, мне тоже привиделось...

— Пойдем, посмотрим, — сказал Атос.

Озеро оказалось шагах в двухстах. Атос и Нава по пояс в воде спустились по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым двухметровым слоем лежал белый туман. Вода была теплая, даже горячая, но чистая и прозрачная. Туман медленно колыхался в правильном ритме, и через минуту Атосу стало казаться, что он слышит какую-то мелодию. В тумане кто-то был. Люди. Много людей. Все они были голые и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично поднимался и опускался, то открывая, то застилая изжелта-белые тела, запрокинутые лица — люди не плавали, люди лежали на воде. Атоса передернуло. «Пойдем отсюда», — прогово-

рил он и потянул Наву за руку. Они выбрались на берег и вернулись на тропу.

— Никакие это не утопленники, — сказала Нава. — Колченог ничего не понял. Просто они здесь купались, а тут ударил горячий источник, и все они сварились. Очень это страшно, Молчун, — сказала она, помолчав. — Мне даже говорить об этом не хочется. А как их там много, целая деревня...

Они дошли до того места, где тропа раздваивалась, и остановились.

— Пойдем вверх? — спросила Нава.

— Да, — сказал Атос. — Вверх.

Они свернули направо и стали подниматься по склону.

— И все они женщины, — сказала Нава. — Ты заметил?

— Да, — сказал Атос.

— Вот это самое страшное. Вот это я никак не могу понять. А может быть... — Она посмотрела на Атоса. — А может быть, их мертвяки туда загоняют? Наловят по всем деревням, пригонят к озеру и варят... Зачем мы только из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы этого не видели, жили бы спокойно, так нет, тебе вот понадобилось в Город идти... Ну зачем тебе понадобилось

в Город идти?

— Не знаю, — сказал Атос.

Они лежали в кустах на самой опушке и глядели сквозь листву на вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой лежало облако лилового тумана. Над холмом было открытое небо, дул порывистый ветер и гнал серые тучи, моросил дождь. Лиловый туман стоял неподвижно, словно никакого ветра не было. Было довольно прохладно, даже свежо, они ежились от озноба и стучали зубами, но уйти они уже не могли: в двадцати шагах от них, прямые, как статуи, с широко раскрытыми ртами стояли три мертвяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. Эти мертвяки подошли пять минут назад и остановились. Нава почуяла их и рванулась было бежать, но Атос зажал ей рот рукой и вдавил ее в землю. Теперь она немного успокоилась, только дрожала крупной дрожью. Но уже не от страха, а от холода, и снова смотрела не на мертвяков, а на холм.

На холме происходило что-то странное. Из леса с густым басовым гулом вырывались невообразимые стаи мух, устремлялись к вершине и скрывались в тумане. Это происходило волнами. Мириады мух, гигантские рои ос и пчел, тучи раз-

ноцветных жуков уверенно неслись под дождем к холму. Склоны холма оживали колоннами муравьев и пауков, из кустарников выливались сотни слизней-амеб. Поднимался шум, как от бури. Все это поднималось к вершине, всасывалось в лиловое облако, и вдруг наступала тишина. Проходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизни оставались на вершине, зато вместо них по склонам ссыпались самые разнообразные животные: катились волосатики, ковыляли на ломких ногах неуклюжие рукоеды и еще какие-то неизвестные, никогда не виданные, многоцветные, голые, блестящие, многоглазые... И снова наступала тишина, и снова все повторялось сначала. Однажды из тумана вылез молодой тахорг, несколько раз выбегали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за собою белесые полосы исчезающего пара. Лиловое неподвижное облако глотало и выплевывало, глотало и выплевывало неустанно и регулярно, как машина.

Колченог говорил, что Город стоит на холме. Может быть, это был Город. Но в чем его смысл? В чем цель этой странной деятельности? Чего-нибудь в этом роде можно было ожидать. Но где хозяева? Атос посмотрел на мертвяков. Те

стояли в прежних позах, и рты их были все так же раскрыты. Может быть, я ошибаюсь, подумал Атос. Может быть, они и есть хозяева. Я совсем разучился думать здесь. Если у меня иногда и появляются мысли, оказывается, что я совершенно не способен их связать. Почему из тумана не вышел еще ни один слизень? Нет, не то. Надо по порядку. Я ищу источник разумной деятельности. Это, в общем, неверно. Меня совсем не интересует разумная деятельность. Я просто ищу кого-нибудь, кто помог бы мне вернуться домой. Кто помог бы мне преодолеть две тысячи километров леса. Или хотя бы сказать, в какую сторону идти. У мертвяков должны быть хозяева, я ищу этих хозяев, я ищу источник разумной деятельности. Он немного приободрился. Получалось вполне связно. Начнем с самого начала. У мертвяков должны быть хозяева, потому что мертвяки — это не люди, потому что мертвяки — это не животные. Следовательно, мертвяки сделаны. Если они не люди. А почему они не люди? Он потер лоб. Я же уже решал этот вопрос. Давно. В деревне. Я его два раза решал, потому что в первый раз я забыл решение, а сейчас я забыл доказательство... Он затряс головой изо всех сил, и Нава тихонько зашипела на него. Он затих и некоторое время

полежал неподвижно, уткнувшись лицом в мокрую траву. Почему они не животные — я тоже уже доказал когда-то... Высокая температура... Нет, вздор... Он вдруг с ужасом ощутил, что забыл даже, как выглядят мертвяки. Он помнил только их раскаленное тело и резкую боль в ладонях. Он повернул голову и посмотрел на мертвяков. Да. Думать мне нельзя. Пора поесть; ты мне это уже рассказывала, Нава; послезавтра мы уходим — вот и все, что мне можно. Но я же ушел! И я здесь, у Города! Я пойду в Город. Что бы это ни было — Город. У меня весь мозг зарос лесом. Я ничего не понимаю. Вспомнил. Я шел в Город, чтобы мне объяснили про все: про Одержание, мертвяков, Великое Разрыхление Земли, озера с утопленниками... Оказывается, что все это обман, чепуха. Я надеялся, что мне в Городе объяснят, как добраться до своих. Не может же быть, чтобы они не знали о нашей Базе. Колченог все время болтает о Чертовых Скалах и о летающих деревнях... Но разве может лиловое облако что-нибудь объяснить? Это было бы страшно, если бы хозяином оказалось лиловое облако. А ведь это напрашивается, Молчун. Лиловый туман здесь везде хозяин, разве я не помню? И не туман это вовсе... Так вот в чем дело, вот почему люди загнаны, как звери,

в чащи, в болота, утоплены в озерах, они были слишком слабы, они не поняли, а если и поняли, то ничего не смогли сделать, чтобы помешать... Когда я был еще землянином и не был загнан, кто-то как-то доказывал очень убедительно, что контакт между гуманоидным разумом и негуманоидным невозможен. Да, он невозможен. И никто мне не скажет теперь, как добраться до своих... Мой контакт с землянами тоже невозможен, и я могу это доказать. Я еще могу увидеть Солнце, если ночью заберусь на дерево и если это будет подходящий сезон. И подходящее дерево. Нормальное земное дерево. Которое не прыгает. И не отталкивает. И не старается уколоть в глаз. Но нет такого дерева, с которого я мог бы увидеть Базу... Базу... Ба-зу. Он забыл, что такое База.

Лес снова загудел, зажужжал, зафыркал, снова к лиловому куполу ринулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла над их головами и их засыпало дохлыми и слабыми, помятыми в тесноте роя. Атос ощутил неприятное жжение в руке и поглядел. Локоть его, упертый в рыхлую землю, оплели нежные нити грибницы. Атос равнодушно растер их ладонью. Потом сбоку раздался знакомый храп. Атос повернул голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел

матерый тахорг. Один из мертвяков ожил, вывернулся и сделал несколько шагов навстречу тахоргу. Снова раздался храп, треснули деревья, и тахорг удалился. Мертвяков даже тахорги боятся, подумал Атос. Кто же их не боится?.. Мухи ревут. Глупо. Мухи — ревут. Осы ревут...

— Мама... — прошептала вдруг Нава. — Мама идет...

Она стояла на четвереньках и глядела через плечо. Лицо ее выражало огромное изумление и недоверие. Атос посмотрел. Из леса вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к холму.

— Мама! — завизжала Нава не своим голосом, перепрыгнула через Атоса и понеслась им наперерез.

Глава седьмая

Трое мертвяков, подумал Атос. Трое... Хватило бы и одного. Он с трудом поднялся на ноги. Тут мне и конец, подумал он. Глупо. Зачем они сюда приперлись? Мертвяки закрыли рты, головы их поворачивались вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Атос побежал.

— Назад! — закричал он. — Уходите! Здесь мертвяки!

Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие, без единой царапины. Невероятно длинные их руки касались травы. Не спуская с них глаз, Атос встал у них на дороге. Мертвяки смотрели поверх его головы и с уверенной неторопливостью надвигались на него, а он пятился, отступал, оттягивая неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой и никак не решаясь остановиться. Нава за его спиной кричала: «Мама! Это я! Мама!» Глупые бабы, почему они не бегут? Обмерли от страха? Остановись! Остановись же! — говорил он себе. Сколько можно пятиться? Он не мог остановиться, и презирал себя за это, и продолжал пятиться.

Остановились мертвяки. Сразу, как по команде.

Тот, что шел впереди, застыл с поднятой ногой, а потом медленно, словно в нерешительности, опустил ее в траву. Рты их снова вяло раскрылись, и головы повернулись к вершине холма. Атос, все еще пятясь, оглянулся. Нава висела на шее у одной из женщин, та улыбалась и гладила ее по спине. Остальные две спокойно стояли рядом и негромко переговаривались, одна расчесывала волосы. Атос остановился и поглядел на мертвяков. Мертвяки в полной неподвижности смотрели на вершину холма. Атос повернулся к женщинам. Женщины не обращали внимания ни на него, ни на мертвяков. Они переговаривались о чем-то низкими голосами, похлопывали Наву и ерошили ей волосы, улыбались и больше всего, видимо, были озабочены приведением в порядок своих мокрых блестящих волос. Словно после купания, машинально отметил Атос.

Шагая, как во сне, он приблизился к ним.

— Бегите, — сказал он, уже чувствуя, что говорит бессмыслицу. — Что вы стоите? Бегите, пока не поздно...

Женщины обратили, наконец, внимание и на него. Они были рослые, здоровые, непривычно чистые, словно вымытые, они и были вымытые, волосы у них были мокрые, и желтая одежда при-

ставала к телу. Одна женщина была беременна, другая — совсем еще молоденькая, с розовым детским лицом и гладкой, без единой морщинки, шеей. Мать Навы была ниже всех ростом и, по-видимому, самая старшая из них. Нава обнимала ее за талию и прижималась лицом к ее животу.

— Почему вы не бежите? — упавшим голосом спросил Атос.

— Это человек с Белых Скал, — сказала мать Навы, рассматривая его внимательно, но без всякого интереса. — Они теперь попадаются все чаще. Как они оттуда спускаются?

— Труднее понять, как они туда поднимаются, — возразила беременная женщина. Она взглянула на Атоса только мельком. — Как они спускаются, я видела. Они падают. Некоторые убиваются, некоторые остаются в живых. Сейчас начнется выход, — сказала она, обращаясь к девушке. — Сбегай наверх, мы подождем тебя.

Девушка кивнула и легко побежала вверх по склону. Атос смотрел, как она добежала до вершины и, не останавливаясь, нырнула в лиловый туман.

— Ты хочешь есть? — спросила мать Навы Атоса. — Вы всегда хотите есть и едите слишком много, совершенно непонятно, зачем вам столь-

ко еды, вы ведь ничего не делаете... Или, может быть, ты что-нибудь делаешь? Некоторые твои приятели умеют работать и даже могут быть полезны для Одержания, хотя они совершенно не знают, что такое Одержание, между тем грудной младенец знает, что Одержание есть не что иное, как Великое Разрыхление Почвы...

— Ты всегда делаешь одну и ту же ошибку, — мягко прервала ее беременная женщина. — Влияние этой толстой желтой дуры сказывается на тебе до сих пор. Великое Разрыхление Почвы есть не цель, а всего лишь средство для Одержания Победы над врагом...

— Но что есть Победа над врагом? — слегка повысив голос, сказала мать Навы. — Победа над врагом есть победа над силами, которые лежат вне нас. А что значит «вне нас»? Вне нас — это не только вне меня и не только вне тебя, это вне нас всех, это вне Запада и вне Востока, ибо Запад — это тоже мы... Одержание — это не Одержание над Западом, но Одержание над тем, что есть вне Запада и вне Востока...

Атос слушал, стискивая челюсти. Все это не было бредом, как он сначала надеялся. Это было что-то обычное, просто незнакомое еще, но мало ли незнакомого в лесу? К этому надо было

привыкнуть, как к съедобной земле, к повадкам мертвяков и ко всему прочему.

Беременная женщина поморщилась и, повернув голову, небрежно протянула руку к мертвякам. Один из них тотчас сорвался с места, подбежал, скользя ногами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг как-то странно расплылся и изогнулся. Атос потряс головой. Мертвяка больше не было. Было удобное на вид, уютное кресло. Беременная женщина, облегченно кряхтя, опустилась на мягкое сидение и откинула голову на мягкую спинку.

— Видишь ли, подруга, — сказала она, — я могу ответить тебе только одно. Твои слова — это вольное и бездоказательное толкование разговоров нового времени, эти разговоры не представляют ничего нового, они начались задолго до того, как ты появилась среди нас. Поверь мне, Одержание состоит в победоносной борьбе с Западным лесом и с теми, кто этот лес ведет на нас, это знают даже мужчины. Вот он, например. Послушай, человек с Белых Скал, в чем состоит Одержание?

Атос смотрел на нее. Странная догадка появилась у него в голове. Он старался не формулировать ее точно, потому что боялся, что собьется и потеряет нить. Потом, подумал он. Потом.

— Что же ты молчишь? — спросила беременная женщина нетерпеливо.

— Оставь его, подруга, — сказала мать Навы. — Что ты хочешь от мужчины, да еще с Белых Скал? Что бы он ни сказал, это не решит нашего спора. Кого может интересовать, что он думает об Одержании? Да он и не думает о нем вовсе. Он думает о еде, о своих грязных женщинах, о своем грязном жилище. И, возможно, о мертвых вещах, которые он оставил на своих Белых Скалах. Он — ошибка, одна из многих ошибок леса, и Одержание в том и состоит, чтобы эти ошибки исправить, все равно, на Западе они или на Востоке, копошатся в грязных деревушках или мерзнут на Белых Скалах.

— Ошибки надо не только исправлять, — сказала беременная женщина. — Ошибки надо использовать. У нас не должно быть ошибок, ошибки должны быть у них...

Атос заметил, что Нава несколько раз порывалась заговорить, но каждый раз рука матери опускалась ей на голову, и она замолкала, еще крепче прижимаясь и обнимая мать.

— Кто вы такие? — спросил Атос.

Женщины с недоумением взглянули на него, как будто вспомнили, что он стоит рядом, затем

рассмеялись.

— Он что-то спросил? — сказала беременная женщина.

— По-моему, он хочет знать, кто мы такие, — сказала мать Навы. — Интересно, зачем это ему?

— Нам просто послышалось, — сказала беременная женщина. — Но ты подняла интересный вопрос. Эти люди с Белых Скал все время набивают себе головы бесполезными знаниями, я полагаю, это проистекает из их бесстыдного и противоестественного увлечения мертвой природой. Одно время я даже думала, что они сами мертвые, такие же мертвые, как их дурацкие летающие дома, их одежда и масса вещей из блестящего камня, которые они всюду таскают с собой. Это не так. Вчерашнее испытание, например, показало, что они кричат от боли в тех же случаях, что и любой мужчина... А, у меня есть идея! — сказала вдруг беременная женщина и задумалась.

Мать Навы рассеянно смотрела на вершину холма, поглаживая Наву по растрепанным волосам. Из лиловой тучи на четвереньках выползали мертвяки. Они двигались неуверенно, то и дело валились, тычась головами в землю. Девушка ходила между ними, наклонялась, трогала их,

подталкивала, и они один за другим поднимались на ноги, выпрямлялись и сначала неуверенно, а потом все тверже и тверже шагая, уходили в лес. Хозяева, подумал Атос. Это хозяева. Они ничего не боятся. Мертвяки их слушают. Значит, это они командуют мертвяками. Значит, это они посылают мертвяков за женщинами. Значит, это они... Атос посмотрел на мокрые волосы женщин. И мать Навы, которую угнали мертвяки...

— Где вы купаетесь? — спросил он. — Зачем? Кто вы такие? Чего вы хотите?

Ему не ответили. Девушка спускалась с холма, и женщины смотрели на нее, обменивались замечаниями, которых Атос не понимал. Он разбирал только отдельные слова, как в бреду Слухача. Девушка подошла, волоча за лапу неуклюжего рукоеда.

— Видите, что там делается, — сказала она.

Беременная женщина встала и принялась рассматривать рукоеда. Злобное чудовище, ужас деревенских детей, жалобно пищало, слабо вырывалось и бессильно раскрывало страшные роговые челюсти. Беременная женщина взяла его за нижнюю челюсть и сильным движением вывернула ее. Рукоед всхлипнул и замер, затянув глаза пергаментной пеленой. Женщина говори-

ла что-то: «...потому что не хватает... запомни, девочка... слабые челюсти, глаза открываются не полностью... переносить не может и поэтому бесполезен, а может быть, и вреден, как всякая ошибка... надо чистить, переменить место, а здесь все почистить...» — «...холм... сухость, — говорила девушка. — ...лес останавливается...» — «...вот и подумай над этим, — сказала мать Навы. — И не откладывай. Если ты все поняла, то мы пойдем, а ты работай». Они поговорили еще немного, а потом девушка снова пошла на вершину холма. Женщины, взяв Наву за руки и не обращая на Атоса внимания, направились в лес. Атос пошел следом.

Я зачем-то искал хозяев, думал он. Все дело в том, что я ждал совсем не таких хозяев. Я ничего не понимаю. Я думал, что хозяева совсем другие, и теперь не могу вспомнить, зачем они были мне нужны. Я искал злых, холодных, умных владык леса, они и есть владыки леса, эти бабы, но ведь они просто болтающие обезьяны, они сами не знают, чем они занимаются... И я не знаю, чем они занимаются, и чего они хотят, но если они не знают, чем они занимаются и чего хотят, то как я могу это узнать... Впрочем, мне это и не нужно знать, мне нужно совсем другое... Он сморщился

от шума в голове... Что же мне нужно узнать...

Что-то горячее надвинулось со спины. Атос оглянулся и прыгнул в сторону. За ним по пятам шел огромный мертвяк — тяжелый, жаркий, бесшумный, немой. Робот, подумал Атос. Слуга. Я молодец, подумал он. Я это понял. Я забыл, как я до этого дошел, но это неважно, важно, что я понял, сам...

— Молчун! — позвала Нава и обернулась, и увидела мертвяка. — Мама! — завопила она и рванулась вперед, вырывая руки.

Женщины величественно повернули головы. Не было в этом мире ничего такого, ради чего стоило бы оборачиваться быстро. Хозяева, подумал Атос. Мать Навы засмеялась.

— Старые страхи! — сказала она беременной женщине. Та тоже улыбалась, но с некоторым неудовольствием. — Не бойся, девочка, — сказала мать Наве. — Это работник. Посланец. Тебе не нужно их бояться. Бояться вообще никого не нужно: здесь все твое. Работники тоже принадлежат тебе. Завтра ты будешь уже командовать ими, и они будут делать все, что ты прикажешь, и пойдут, куда ты пожелаешь...

— Лес страшен только мужчинам, — сказала беременная женщина. — Потому что в лесу ни-

что не принадлежит им. Теперь ты стала нашей подругой и лес принадлежит тебе...

— Есть, однако, воры, — сказала мать Навы, обнаруживая готовность уточнять и спорить. — Вероятно, это самая опасная ошибка, но их становится все меньше...

— А я видела воров, — сказала Нава. — Молчун бил их палкой, а потом они гнались за нами, но мы убежали, мы очень быстро бежали, прямо через болото, хорошо, что Колченог показал мне, где тропа, а то нам бы не убежать. Молчун совсем из сил выбился, пока мы бежали, он совсем плохо бегает... Молчун, ты не отставай, ты за нами иди!..

Да, подумал Атос. Иду. Иду за вами. Зачем? Он вдруг понял, что Наву он потерял. И с этим ничего не поделаешь. Нава уходит к хозяевам, а я остаюсь... Остаюсь противником? Почему, собственно, противником? Какое мне до них дело? Какое-то дело есть... Что-то у них надо узнать... Нет, не то... Да, они держат в осаде деревню, значит, я все-таки их противник... Тогда зачем я иду за ними? Провожаю Наву? И его охватила тоска. Прощай, Нава, подумал он.

Они вышли к развилке тропы, женщины свернули налево. К озеру. К озеру с утопленницами.

Они и есть утопленницы.

«Мы идем к озеру, да? — спрашивала Нава. — Вы там купаетесь? Почему вы просто лежите, а не плаваете? Мы думали, что вы все утонули, мы все время думали, что вас топят мертвяки...» Мать что-то ответила ей — Атос не расслышал. Они прошли мимо того места, где Атос ждал Наву и ел землю. Это было очень давно, подумал Атос. Так же почти давно, как База... Он едва шел, если бы по пятам не шел мертвяк, он, наверное, бы отстал. Потом женщины остановились и посмотрели на него. Кругом были тростники, земля под ногами была мокрая и топкая. Нава что-то тарахтела, а женщины задумчиво смотрели на него. Тогда он вспомнил.

— Как мне пройти на Базу? — спросил он. На их лицах изобразилось изумление, и он понял, что говорит по-русски. Он сам удивился: он уже не помнил, когда в последний раз говорил по-русски.

— Как мне пройти к Белым Скалам? — сказал он.

Беременная женщина сказала, усмехаясь:

— К Белым Скалам тебе не пройти. Ты сгинешь по дороге. Даже мы не рискуем пересекать линию боев. Даже приближаться к ней...

— А ведь мы защищены, — добавила мать Навы. — Правда, там не линия боев, конечно, а фронт борьбы за Разрыхление Почвы, но это не меняет дело. Тебе не перейти. Да и зачем тебе переходить? Ты все равно не сможешь подняться на Белые Скалы...

— Тебе не пройти линии боев между Западом и Востоком, — сказала беременная женщина. — Ты утонешь, а если не утонешь, тебя съедят, а если не съедят, то ты сгниешь заживо, а если не сгниешь заживо, то попадешь в переработку и растворишься... Одним словом, тебе не перейти. Но может быть, ты защищен? — В глазах ее появилось что-то похожее на любопытство.

— Не ходи, Молчун, не ходи, — сказала Нава. — Зачем тебе уходить? Оставайся с нами, в Городе! Ты ведь хотел в Город, вот это озеро и есть Город, мне мама сказала, правда, мама?

— Твой Молчун здесь не останется, — сказала мать Навы. — Но и фронт Разрыхления ему тоже не пересечь. Если бы я была на его месте — забавно, подруга, я сейчас попытаюсь представить себя на его месте, на месте мужчины с Белых Скал... Так вот, если бы я была на его месте, я бы вернулась в деревню, из которой я так легкомысленно ушла, и ждала бы там Одержания,

потому что это неизбежно, и очередь его деревни наступит, как прежде наступила очередь многих и многих других деревень, таких же грязных и бессмысленных...

— Я тоже хочу вернуться с ним в деревню, — заявила вдруг Нава. — Мне не нравится, как ты говоришь. Раньше ты так никогда не говорила...

— Ты просто ошибаешься, — спокойно сказала ей мать. — Может быть, и я тоже когда-то ошибалась, хотя я этого и не помню. Даже наверняка ошибалась, пока не стала подругой...

Беременная женщина все смотрела на Атоса.

— Так, может быть, ты защищен? — повторила она.

— Я не понимаю, — сказал Атос.

— Значит, не защищен, — сказала женщина. — Это хорошо. Тебе не надо ходить к Белым Скалам и тебе не надо возвращаться в деревню. Ты останешься здесь...

— Да, с нами, — сказала Нава. — Я так и хотела, и вовсе я не ошибаюсь. Когда я ошибаюсь, я всегда говорю, что ошибаюсь, правда, Молчун?

Мать поймала ее за руку. Атос увидел, как вокруг материной головы быстро сгустилось знакомое лиловое облачко. Глаза ее на мгновение остекленели и закрылись. Потом она сказала:

— Пойдем, Нава, нас уже ждут.

— А Молчун? — спросила Нава.

— Ты же слышала, он останется здесь... В Городе ему совершенно нечего делать.

— Но я хочу, чтобы он был со мной! Как ты не понимаешь, мама, он же мой муж, мне дали его в мужья, и он уже давно мой муж...

Беременная женщина брезгливо скривилась. Мать Навы тоже.

— Не говори так больше, — сказала она. — Это нехорошее слово. Его надо забыть. Впрочем, ты его забудешь... Мужчины подругам совсем не нужны. Они никому не нужны. Они лишние. Они ошибка.

Атос невольно взглянул на беременную женщину. Та перехватила его взгляд и засмеялась.

— Глупец, — сказала она. — Ты даже этого не понимаешь. Боюсь, что я зря трачу на тебя время.

— Пойдем, Нава, — сказала мать. — Он останется здесь. Ну хорошо, ты потом придешь к нему.

Она потащила Наву в тростники. Нава все оборачивалась и кричала:

— Ты не уходи, Молчун! Я скоро вернусь, ты не вздумай без меня уходить, это будет нехорошо, пусть ты не мой муж, раз здесь так нельзя, но я все равно твоя жена, я тебя выходила, и ты меня

теперь жди...

Он смотрел ей вслед, понимая, что больше никогда не увидит ее, а если и увидит, то это будет уже не Нава, кивал, слабо махал рукой и старался улыбаться. Они скрылись из виду, и остались только тростники, потом Нава замолчала, послышался всплеск, и все стихло. Он проглотил комок, застрявший в горле, и спросил:

— Что вы с нею сделаете?

— Тебе этого не понять, — пренебрежительно сказала беременная женщина. — Ты — мужчина, и ты воображаешь, что ты нужен миру, а мир вот уже столько лет великолепно обходится без мужчин... Но оставим это, мне это неинтересно. Итак, ты не защищен. Иначе и не могло быть. Что ты умеешь?

— Я ничего не умею, — вяло сказал Атос.

— Ты умеешь управлять живым?

— Умел когда-то, — сказал Атос.

— Прикажи этому дереву согнуться, — сказала женщина.

Атос посмотрел на дерево и пожал плечами.

— Хорошо, — сказала женщина терпеливо. — Тогда убей это дерево. Тоже не можешь... Вызови воду. (Она сказала что-то другое, но Атос понял ее именно так.) Что же ты можешь? Что ты делал на

своих Белых Скалах?

— Я изучал лес, — сказал Атос.

— Ты лжешь, — возразила женщина. — Один человек не может изучать лес, это все равно что считать травинки. Если ты не хочешь говорить правду, то так и скажи...

— Я действительно изучал лес, — сказал Атос. — Я изучал... — Он замялся. — Я изучал самые маленькие существа в лесу. Те, которые не видны простым глазом.

— Ты опять лжешь, — ровным голосом сказала женщина. — Невозможно изучать то, что не видно глазом.

— Возможно, — сказал Атос. — Нужны только... — Он опять замялся. Микроскоп... линзы... приборы... Это не передать. — Если взять каплю воды, — сказал он, — то, имея нужные вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных...

— Для этого не нужно никаких вещей, — сказала женщина нетерпеливо. — Вы там впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших Белых Скалах, вы потеряли умение видеть то, что видит в лесу любой нормальный человек... Постой, ты говоришь о мелких или о мельчайших? Может, ты говоришь о строителях всего?

— Может быть, — сказал Атос. — Я не понимаю

тебя. Я говорю о мелких животных, которые служат причинами болезней, которые могут лечить, помогают готовить пищу и делать вещи... Я искал, как они устроены здесь, на этой земле.

— Ты так давно ушел с этой земли, что уже забыл... — саркастически сказала женщина. — Впрочем, ладно, я поняла, чем ты занимаешься. И я поняла, что ты не имеешь над строителями никакой власти... Любой деревенский дурак может больше, чем ты. Что же мне с тобой делать? Что же мне с тобой делать, раз уж ты пришел сюда?

— Я пойду, — сказал Атос устало. — Прощай.

— Нет, погоди, — сказала она. Атос ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Он рванулся, но это было бессмысленно. Женщина размышляла вслух: — Они абсолютно ни на что не годны. Ловить их для растворения — долго и бессмысленно, к тому же они дают плохую плоть. И они почти ничего не умеют, даже эти умники с Белых Скал. Но их довольно много, обидно оставлять их втуне. А почему я должна об этом думать? Есть ночные работники, пусть они и думают... — Она махнула рукой, повернулась и неторопливо, вперевалку, ушла в тростники.

И тогда Атос почувствовал, что его поворачивают на тропинку. Локти у него онемели и,

казалось, обуглились. Он рванулся изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понимал, что с ним будет и куда его отведут, но он вдруг вспомнил прошлую ночь, призраки Карла и Валентина в черном квадрате низких дверей и отчаянные стонущие вопли боли. Тогда он изловчился и ударил мертвяка ногой, ударил назад, вслепую, изо всех сил. Нога его погрузилась в мягкое и горячее. Мертвяк хрюкнул и ослабил хватку. Атос упал лицом в траву, вскочил, повернулся — мертвяк уже снова шел на него, широко раскинув неимоверно длинные руки. Это было страшно, и Атос закричал. Не было ничего под рукой, ни травобоя, ни бродила, ни палки, ни камня. Топкая теплая земля разъезжалась под ногами. Потом он вспомнил и сунул руку за пазуху, и когда мертвяк навис над ним, он зажмурился, ударил его скальпелем куда-то между глаз и, навалившись всем телом, протащил лезвие сверху вниз до земли и упал.

Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка, а тот стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан, по всей длине белесого туловища, а потом оступился и рухнул на спину, заливая все вокруг густой белой жидкостью. Он дернулся несколько раз и замер. Тогда Атос встал и побрел прочь. По тропинке.

Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать, что-то хотел узнать, что-то собирался сделать. Но теперь все это было неважно. Важно было уйти подальше, хотя он сознавал, что никуда уйти не удастся. Ни ему, ни многим, многим, многим другим.

Глава восьмая

Он проснулся, открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Справа налево двигались нагруженные, слева направо шли порожняком. Месяц назад было наоборот, и месяц назад была Нава. А больше ничего не изменилось. Послезавтра мы уходим, подумал он.

За столом сидел старик и смотрел на него, ковыряя в ухе. Старик окончательно отощал, глаза ввалились, зубов во рту совсем не осталось. Наверное, он скоро умрет.

— Что же это ты, Молчун, — плаксиво сказал старик, — совсем у тебя нечего есть, как у тебя Наву отняли, так у тебя и еды в доме больше не бывает, говорил я тебе: не ходи, нельзя. Зачем ушел? Колченога наслушался, а разве Колченог понимает, что можно, а что нельзя? И Колченог этого не понимает, и отец Колченога такой же был, и дед его такой же, и весь их Колченогов род такой был, вот они все и померли, и Колченог обязательно помрет, никуда не денется... А может быть, у тебя, Молчун, есть какая-нибудь еда, может быть, ты ее спрятал? Если спрятал,

то доставай, я есть хочу, мне без еды нельзя, я всю жизнь ем, привык уже, а то Навы теперь нет, Хвоста тоже деревом убило, вот у него всегда еды было много, я у него горшка по три сразу съедал, хотя она всегда у него была недоброженная, потому его, наверное, деревом и убило...

Атос встал, поискал по дому в потайных местечках, устроенных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел из дому, повернул налево и направился к площади, к дому Кулака. Старик плелся за ним. На поле нестройно и скучно покрикивали: «Эй, сей веселей!.. Вправо сей, влево сей!..» В лесу откликалось эхо. Каждое утро Атосу теперь казалось, что лес придвигается ближе. На самом деле этого не было, а если и было, то вряд ли человеческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу не стало больше, чем прежде. Но теперь Атос точно знал, кто они такие, и теперь он их ненавидел. Когда мертвяк появлялся из леса, раздавались крики: «Молчун! Молчун!» Он шел туда и уничтожал мертвяка скальпелем, быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся деревня сбегалась смотреть на это зрелище и неизменно ахала в один голос и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром тела распахивался страшный белый шрам. Ребятишки

больше не дразнили Молчуна, а просто разбегались и прятались при его появлении. О скальпеле в домах по вечерам шептались.

Посреди площади в траве стоял торчком, вытянув руки к небу, Слухач, окутанный лиловым облачком, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг него топтались любопытные детишки, смотрели и слушали, раскрывши рты. Атос тоже остановился послушать. (Ребятишек как ветром сдуло.)

— В битву вступают все новые... — металлическим голосом бредил Слухач. — Победное передвижение... обширные места покоя... новые отряды подруг... спокойствие и слияние...

Атос пошел дальше. Сегодня с утра голова его была довольно ясной, он почувствовал, что может думать, и подумал, что вот этот бред Слухача — это, наверное, одна из древнейших традиций этой деревни и всех деревень, потому что в Новой деревне тоже был свой слухач, и старик как-то хвастался, какие слухачи были, когда он был ребенком; можно было представить себе времена, когда многие знали, что такое Одержание, когда *они* были заинтересованы в том, чтобы многие знали, или воображали, что заинтересованы, а потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись

без этих многих — когда научились управлять лиловым туманом и из лиловых туч вышли первые мертвяки, и первые деревни очутились на дне первых треугольных озер, и возникли первые отряды подруг. А традиция осталась, такая же бессмысленная, как весь этот лес, как все эти искусственные чудовища и Города, откуда идет разрушение и где никто не знает, что оно такое, но согласны, что оно необходимо и полезно; бессмысленная, как бессмысленна всякая закономерность, наблюдаемая извне спокойными глазами естествоиспытателя... Атос обрадовался: ему показалось, что он, наконец, сумел связно сформулировать все это... и, кажется, не просто сформулировать, но и определить свое место... Я не во вне, я здесь, я не естествоиспытатель, я сам частица, которой играет эта закономерность.

Он оглянулся на Слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Наверное, уж много веков тысячи Слухачей в тысячах деревень, затерянных в лесах огромного континента, выходят по утрам на пустые теперь площади и бормочут непонятные, давным-давно утратившие всякий смысл фразы о подругах, об Одержании, о слиянии и покое; фразы, которые

передаются тысячами каких-то людей из тысяч Городов, где тоже забыли, зачем это надо и кому.

Кулак неслышно подошел к нему сзади и треснул его ладонью между лопаток.

— Встал тут и глазеет, — сказал он. — Один вот тоже глазел-глазел, переломали ему руки-ноги — больше не глазеет. Когда уходим-то, Молчун? Долго ты мне голову будешь морочить? У меня ведь старуха в другой дом ушла, и сам я третью ночь у старосты ночую, а нынче вот думаю пойти к Хвостовой вдове ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старик уже жрать не желает, кривится, говорит: перепрело у тебя все, не то что жрать — нюхать невозможно... Только к Чертовым Скалам я не пойду, Молчун, а пойду я с тобою в Город, наберем мы там с тобой баб, если воры встретятся, половину отдадим, не жалко, а другую половину в деревню приведем, пусть здесь живут, нечего им там плавать зря, а то одна тоже вот плавала, дали ей хорошенько по соплям — больше не плавает и воды видеть не может... Слушай, Молчун, а может, ты наврал про Город или привиделось тебе, отняли у тебя воры Наву, тебе с горя и привиделось. Колченог вот не верит: считает, что тебе привиделось. Какой же это Город в озере — все говорили, что на холме, а не в

озере. Да разве в озере можно жить, мы же там все потонем, там же вода, мало ли что там бабы, я в воду даже за бабами не полезу, я плавать не умею, да и зачем? Но я могу, в крайнем случае, на берегу стоять, пока ты их из воды тащить будешь... Ты, значит, в воду полезешь, а я на берегу останусь, и мы с тобой эдак быстро управимся...

— Дубину ты себе сломал? — спросил Атос.

— А где я тебе в лесу дубину возьму? — возразил Кулак. — Это на болото идти надо — за дубиной. А у меня времени не было, я еду стерег, чтобы старик ее не сожрал, да и зачем мне дубина, когда я драться ни с кем не собираюсь... Один вот тоже дрался...

— Ладно, — сказал Атос. — Я тебе сам сломаю дубину. Послезавтра выходим.

Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился. И никто из них не изменился. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли, а может быть, ничему не поверили. Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно. И начала надвигаться слишком давно. Может быть, дело было в том, что гибель — понятие, связанное с мгновенностью, катастрофой, сиюминутностью. Они не умели обобщать, они не

умели думать о мире вне своей деревни. Была деревня и был лес. Лес был сильнее, но лес *всегда* был и всегда *будет* сильнее. При чем здесь гибель? Такова жизнь. Когда-нибудь они спохватятся. Когда не останется больше женщин, когда болота подойдут вплотную к домам, когда посреди улиц ударят подземные источники, и деревня начнет погружаться под воду... Впрочем, может быть, и тогда они не спохватятся — просто скажут: «Нельзя здесь больше жить», — и уйдут в Новую деревню...

Колченог сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднявшихся за ночь, и готовился завтракать.

— Садись, — сказал он Атосу приветливо. — Есть будешь? Хорошие грибы.

— Поем, — сказал Атос и сел рядом.

— Поешь, поешь, — сказал Колченог. — Навы у тебя теперь нету, когда еще без Навы приспособишься... Я слыхал, ты опять уходишь... Что это тебе дома не сидится? Сидел бы дома, хорошо бы тебе было. В Тростники идешь или в Муравейники? В Тростники бы я тоже с тобой сходил. Свернули бы мы сейчас с тобой по улице направо, перешли бы через редколесье, там бы грибов набрали заодно, захватили бы с собой бродило,

там же и поели бы, хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут, да и в других местах тоже, ешь-ешь, и все мало... А как поели бы, вышли бы мы с тобой из редколесья, да мимо Хлебного болота, там бы опять поели, хорошие злаки там родятся, сладкие, просто удивляешься, что на болоте и такие злаки произрастают... Ну а потом, конечно, прямо за солнцем, три дня бы шли, а там уже и Тростники...

— Мы с тобой идем к Чертовым Скалам, — терпеливо напомнил Атос. — Послезавтра выходим. Кулак тоже идет.

Колченог с сомнением покачал головой.

— К Чертовым Скалам... — повторил он. — Нет, Молчун, к Чертовым Скалам нам не пройти. Это ты знаешь, где Чертовы Скалы? Их, может, и вообще нигде нет, а просто так говорят: скалы, мол, Чертовы... Так что к Чертовым Скалам я не пойду: не верю я в них. Вот если бы в Город, например, или еще лучше в Муравейники, это тут рядом, рукой подать... Слушай, Молчун, а пошли-ка мы с тобой в Муравейники, и Кулак пойдет... Я ведь в Муравейниках как ногу себе сломал, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, все просила меня: сходим, Колченог, в Муравейники, охота, видишь, ей было посмотреть дупло, где я ногу сломал, а я ей

говорю, что я не помню, где это дупло, и вообще, может, Муравейников больше теперь нет, я там давно не был...

Атос жевал гриб и смотрел на Колченога. Колченог говорил и говорил, говорил о Тростниках, говорил о Муравейниках, глаза его были опущены, и он только изредка взглядывал на Атоса. И Атосу вдруг пришло в голову, что Колченог только с ним говорит так — как слабоумный, не способный сосредоточиться на одной мысли, что вообще-то Колченог хороший спорщик и видный оратор, и с ним считается и староста, и Кулак, а старик просто боится его и не любит, и что Колченог был лучшим приятелем и спутником известного Обиды-Мученика, человека беспокойного и ищущего, ничего не нашедшего и сгинувшего где-то в лесу... И тогда Атос понял, что Колченог просто не хочет пускать его в лес, боится за него и жалеет его, что Колченог просто добрый и умный человек, но лес для него — это лес, опасное место, гибельное, куда многие ходили да немногие возвращались, и если уж полоумному Молчуну удалось один раз вернуться, потеряв там девочку, то дважды таких чудес не случается...

— Слушай, Колченог, — сказал он. — Послушай

меня внимательно, послушай и поверь. Я не сумасшедший, и к Чертовым Скалам я не потому иду, что мне дома не сидится. Люди, которые живут на Чертовых Скалах, это единственные люди, которые могут спасти деревню. К ним я и иду. Понимаешь, я иду звать их на помощь.

Колченог смотрел на Атоса. Выцветшие глаза его были непроницаемы.

— А как же! — сказал он. — Я так тебя и понимаю. Вот как отсюда выйдем, свернем налево, дойдем до поля и мимо двух камней выйдем на тропу, эту тропу сразу отличить можно — там валунов столько, что ноги сломаешь... Да ты ешь грибы, Молчун, ешь, они хорошие... По этой, значит, тропе дойдем до грибной деревни, я тебе про нее, по-моему, рассказывал, она пустая, вся грибами поросла, но не такими, как эти, например, а скверными, их мы есть не будем, от них болеют и умереть можно, так что мы в этой деревне даже останавливаться не будем, а сразу пойдем дальше и, спустя время, дойдем мы до чудаковой деревни, там горшки делают из земли — вот додумались, это после того случилось у них, как синяя трава через них прошла — и ничего, не заболели даже, только горшки из земли делать стали... У них мы тоже останавливаться не будем, нечего нам у

них там останавливаться, а пойдем сразу от них направо — тут тебе и будет глиняная поляна...

Атос глядел на него и думал. Обреченные. Несчастные обреченные. Правда, они не знают, что они несчастные. Они не знают, что сильные этой планеты считают их лишними, жалкой ошибкой. Они не знают, что сильные, занятые своей непонятной всепланетной деятельностью, уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса. Они не знают, что все для них уже предопределено, что будущее человечество на этой планете — это партеногенез и рай в теплых озерах и, что самое страшное, историческая правда на этой планете не на их стороне, что они являются реликтами, осужденными на гибель объективными законами, и что помогать им — означает на этой планете — идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта...

Но только меня не это интересует, подумал Атос. Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс, я и прогрессом-то его называю только потому, что нет другого слова для обозначения объективного направления истории. Здесь выбирает не голова, здесь выбирает сердце. Может быть, хотя теперь я вижу, что это невозможно,

но предположим... Если бы подруги подобрали меня, вылечили и обласкали, приняли бы меня как своего, пожалели бы — может быть, тогда я сломал бы себя и объединил бы сердце с головой, встал бы на сторону этого прогресса, и Колченог был бы для меня просто досадной ошибкой, с которой слишком уж долго возятся... Но меня спас, выходил и обласкал Колченог, и деревня стала моей деревней, и ее беды стали моими бедами, и ее ужасы стали моими ужасами... И мне плевать, что она досадный камешек в жерновах прогресса, я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормозили, и если я доберусь до Базы, я сделаю все, чтобы эти жернова остановились, а если мне это не удастся, — а мне почти наверняка не удастся уговорить их, — тогда я вернусь сюда один и уже не со скальпелем... И тогда мы посмотрим.

— Значит, договорились, — сказал он. — Послезавтра выходим.

— А как же! — немедленно ответствовал Колченог. — Сразу от меня налево...

На поле вдруг зашумели. Завизжали женщины. Много голосов закричало хором: «Молчун! Молчун!» Колченог встрепенулся.

— Пойдем! — сказал он, торопливо поднимаясь. — Пойдем, посмотреть хочу.

Атос встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине.

Глава девятая

— Сегодня мы наконец улетаем, — сказал Турнен.

— Поздравляю, — сказал Леонид Андреевич. — А я еще останусь немножко.

Он бросил камешек, и камешек канул в облако. Облако было совсем близко внизу, под ногами. Леса видно не было. Леонид Андреевич лег на спину, свесив босые ноги в пропасть и заложив руки за голову. Турнен сидел на корточках неподалеку и внимательно, без улыбки смотрел на него.

— А ведь вы действительно боязливый человек, Горбовский, — сказал он.

— Да, очень, — согласился Леонид Андреевич. — Но вы знаете, Тойво, стоит поглядеть вокруг, и вы увидите десятки и сотни чрезвычайно смелых, отчаянно храбрых, безумно отважных... даже скучно становится, и хочется разнообразия. Ведь правда?

— Да, пожалуй, — сказал Турнен, опуская глаза. — Но я-то боюсь только за одного человека...

— За себя, — сказал Горбовский.

— В конечном итоге — да. А вы?

— В конечном итоге — тоже да.

— Скучные мы с вами люди, — сказал Турнен.

— Ужасно, — сказал Леонид Андреевич. — Вы знаете, я чувствую, что с каждым днем становлюсь все скучнее и скучнее. Раньше около меня всегда толпились люди, все смеялись, потому что я был забавный. А теперь вот вы только... и то не смеетесь. Вы понимаете, я стал тяжелым человеком. Уважаемым — да. Авторитетным — тоже да. Но без всякой приятности. А я к этому не привык, мне это больно.

— Привыкнете, — пообещал Турнен. — Если раньше не умрете от страха, то привыкнете. А в общем-то вы занялись самым неблагодарным делом, какое можно себе представить. Вы думаете о смысле жизни сразу за всех людей, а люди этого не любят. Люди предпочитают принимать жизнь такой, какая она есть. Смысла жизни не существует. И смысла поступков не существует. Если поступок принес вам удовольствие — хорошо, если не принес — значит он был бессмысленным. Зря стараетесь, Горбовский.

Леонид Андреевич извлек ноги из пропасти и перевалился на бок.

— Ну вот уже и обобщения, — сказал он. — Зачем судить обо всех по себе?

— Почему обо всех? Вас это не касается.

— Это многих не касается.

— Да нет. Многих — вряд ли. У вас какой-то обостренный интерес к последствиям, Горбовский. У большинства людей этого нет. Большинство считает, что это не важно. Они даже могут предвидеть последствия, но это не проникает им в кровь, действуют они все равно исходя не из последствий, а из каких-то совсем других соображений.

— Это уже другое дело, — сказал Леонид Андреевич. — Тут я с вами согласен. Я не согласен только, что эти другие соображения — всегда собственное удовольствие.

— Удовольствие — понятие широкое...

— А, — прервал Леонид Андреевич. — Тогда я с вами согласен полностью.

— Наконец-то, — сказал Турнен язвительно. — А я-то думал, что мне, бедному, делать, если вы не согласитесь. Я уже собирался вас прямо спрашивать: зачем вы, собственно, здесь сидите, Горбовский?

— Но ведь вы не спрашиваете?

— В общем — нет, потому что я и так знаю.

Леонид Андреевич с восхищением посмотрел на него.

— Правда? — сказал он. — А я-то думал, что

законспирировался удачно.

— А зачем вы, собственно, законспирировались?

— Так смеяться же будут, Тойво. И вовсе не тем смехом, какой я привык слышать рядом с собой.

— Привыкнете, — снова пообещал Турнен. — Вот спасете человечество два-три раза — и привыкнете... Чудак вы все-таки. Человечеству совсем не нужно, чтобы его спасали.

Леонид Андреевич натянул шлепанцы, подумал и сказал:

— В чем-то вы, конечно, правы. Это мне нужно, чтобы человечество было в безопасности. Я, наверное, самый большой эгоист в мире. Как вы думаете, Тойво?

— Несомненно, — сказал Турнен. — Потому что вы хотите, чтобы всему человечеству было хорошо только для того, чтобы вам было хорошо.

— Но, Тойво! — вскричал Леонид Андреевич и даже слегка ударил себя кулаком в грудь. — Разве вы не видите, что они все стали как дети? Разве вам не хочется возвести ограду вдоль пропасти, возле которой они играют? Вот здесь, например. — Он ткнул пальцем вниз. — Вот вы давеча хватались за сердце, когда я сидел на краю, вам было нехорошо, а я вижу, как двадцать миллиардов си-

дят, спустив ноги в пропасть, толкаются, острят и швыряют камешки, и каждый норовит швырнуть потяжелее, а в пропасти туман, и неизвестно, кого они разбудят там, в тумане, а им всем на это наплевать, они испытывают приятство оттого, что у них напрягается мускулюс глютеус, а я их всех люблю и не могу...

— Чего вы, собственно, боитесь? — сказал Турнен раздраженно. — Человечество все равно не способно поставить перед собой задачи, которые оно не может разрешить.

Леонид Андреевич с любопытством посмотрел на него.

— Вы серьезно так думаете? — сказал он. — Напрасно. Вот оттуда, — он опять ткнул пальцем вниз, — может выйти братец по разуму и сказать: «Люди, помогите нам уничтожить лес». И что мы ему ответим?

— Мы ему ответим: «С удовольствием». И уничтожим. Это мы — в два счета.

— Нет, — возразил Леонид Андреевич. — Потому что едва мы приступили к делу, как выяснилось, что лес — тоже братец по разуму, только двоюродный. Братец — гуманоид, а лес — не гуманоид. Ну?

— Представить можно все что угодно, — сказал

Турнен.

— В том-то и дело, — сказал Горбовский. — Потому-то я здесь и сижу. Вы спрашиваете, чего я боюсь. Я не боюсь задач, которые ставит перед собой человечество, я боюсь задач, которые может поставить перед нами кто-нибудь другой. Это только так говорится, что человек всемогущ, потому что, видите ли, у него разум. Человек — нежнейшее, трепетнейшее существо, его так легко обидеть, разочаровать, морально убить. У него же не только разум. У него так называемая душа. И то, что хорошо и легко для разума, то может оказаться роковым для души. А я не хочу, чтобы все человечество — за исключением некоторых сущеглупых — краснело бы и мучилось угрызениями совести или страдало бы от своей неполноценности и от сознания своей беспомощности, когда перед ним встанут задачи, которые оно даже и не ставило. Я уже все это пережил в фантазии и никому не пожелаю. А вот теперь сижу и жду.

— Очень трогательно, — сказал Турнен. — И совершенно бессмысленно.

— Это потому, что я пытался воздействовать на вас эмоционально, — грустно сказал Леонид Андреевич. — Попробую убедить вас логикой.

Понимаете, Тойво, возможность неразрешимых задач можно предсказать априорно. Наука, как известно, безразлична к морали. Но только до тех пор, пока ее объектом не становится разум. Достаточно вспомнить проблематику евгеники и разумных машин... Я знаю, вы скажете, что это наше внутреннее дело. Тогда возьмем тот же разумный лес. Пока он сам по себе, он может быть объектом спокойного, осторожного изучения. Но если он воюет с другими разумными существами, вопрос из научного становится для нас моральным. Мы должны решать, на чьей стороне быть, а решить мы этого не можем, потому что наука моральные проблемы не решает, а мораль — сама по себе, внутри себя — не имеет логики, она нам задана до нас, как мода на брюки, и не отвечает на вопрос: почему так, а не иначе. Я достаточно ясно выражаюсь?

— Слушайте, Горбовский, — сказал Турнен. — Что вы прицепились к разумному лесу? Вы что, действительно считаете этот лес разумным?

Леонид Андреевич приблизился к краю и заглянул в пропасть.

— Нет, — сказал он. — Вряд ли... Но есть в нем что-то нездоровое с точки зрения нашей морали. Он мне не нравится. Мне в нем все не нравится.

Как он пахнет, как он выглядит, какой он скользкий, какой он непостоянный. Какой он лживый, и как он притворяется... Нет, скверный это лес, Тойво. Он еще заговорит. Я знаю: он еще заговорит.

— Пойдемте, я вас исследую, — сказал Тойво. — На прощание.

— Нет, — сказал Леонид Андреевич. — Пойдемте лучше ужинать. Попросим открыть нам бутылку вина...

— Не дадут, — сказал Тойво с сомнением.

— Я попрошу Поля, — сказал Леонид Андреевич. — Кажется, я пока еще имею на него какое-то влияние.

Он нагнулся, собрал в горсть оставшиеся камешки и швырнул их вниз. Подальше. В туман. В лес, который еще заговорит.

Тойво, заложив руки за спину, уже неторопливо поднимался по лестнице.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «И начинанья, взнесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия» (Шекспир, «Гамлет»).

2 «Муж, упорный в своих намерениях» (Гораций).

3 [broken link: #r03] Из «Переводов» С. Я. Маршака.

4 [broken link: #r04]

> *Выройте мне могилу, длинную и узкую,*
> *Гроб мне крепкий сделайте, чистый и уютный!..*
>
> ***Народная американская песня***

5 [broken link: #r05] Английская детская считалка.

6 [broken link: #r06] Из «Переводов» С. Я. Маршака.

КОММЕНТАРИИ

ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ

С. 7. *«То были дни, когда я познал, что значит: страдать; что значит: стыдиться; что значит: отчаяться». Пьер Абеляр* — Л. Фейхтвангер, «Испанская баллада», 3, 3. М.: Издательство иностранной литературы, 1958, с. 329. Перевод Н. Касаткиной и И. Татариновой. Обработка Фейхтвангера («Das waren die Tage, da ich erfahren habe, was es heißt: leiden, was es heißt: sich schämen, was es heißt: verzweifeln») перевода «Письма Абеляра другу» или «Первого письма Абеляра» в издании В. Фреда («Die Briefe von Abälard und Heloise». Herausgegeben und eingeleitet von W. Fred. Leipzig: Insel Verlag, 1911, S. 83): «Das waren die Tage, in denen ich erfahren habe, was Leiden sind, was Schämen heißt, wohin einen Verzweiflung treiben kann». Оригинальная латинская цитата из Абеляра: «Quanto autem dolore aestuarem, quanta erubescentia confunderer, quanta desperatione perturbarer; sentire tunc potui, proferre non possum».

С. 7. *«Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход*

вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?» Эрнест Хемингуэй — «Пятая колонна», 1, 3, перевод Е. Калашниковой и В. Топер («<...> оружии, для <...> обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?»).

С. 8. *...принялся поправлять красную повязку на голове <...> чтобы узел повязки был точно над правым ухом, как у носатых ируканских пиратов.* — ср.: «...Петр Алексеевич <...> пунцовый платок <...> повязал на голову по примеру португальских пиратов...». А. Н. Толстой, «Петр Первый», 3, 6, 1.

С. 13. *«И здесь он, по-видимому, ляжет — один из тех, что были с ним».* — А. Дюма, «Три мушкетера», 1, 5: «— Здесь, — сказал он, пародируя стих из Библии, — здесь умрет Бикара, единый из тех, которые с ним». Перевод под ред. А. Попова. Издание романа: М.–Л.: Academia, 1936. С. 87. Оригинальная цитата из Дюма: «Ici, dit-il, parodiant un verset de la Bible, ici mourra Biscarat, seul de ceux qui sont avec lui». Библейский источник пародии — Откровение Иоанна (17, 14): «...Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные» («...qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les

vaincront aussi»).

С. 14. *Когда враг не сдается, его уничтожают.* — заглавие статьи М. Горького: «Если враг не сдаётся — его уничтожают».

С. 15. *«В тридцати шагах промаха в карту не дам» <...> «Право? <...> А ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?» <...> «Когда-нибудь мы попробуем <...>. В свое время я стрелял не худо».* — диалог из повести А. Пушкина «Выстрел», 2 («<...> промаху <...> а ты <...> Когда-нибудь <...> мы <...>»).

С. 17. *«И начинанья, взнесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия» (Шекспир, «Гамлет»).* — акт 3, сцена 1, перевод М. Лозинского.

С. 24. *Человек пять <...>. Вздор. <...> — Вздор!* — скрытая цитата из главы 43 «Гиперболоида инженера Гарина» А. Н. Толстого: «— Восемь человек, вздор, вздор!».

С. 26. — *Ну, мертвая!* — цитата из стихотворения Н. Некрасова «Крестьянские дети».

С. 51. *«Быть или не быть?»* — монолог Гамлета из одноименной трагедии У. Шекспира (3, 1).

С. 68. *...один заснет, а другой, рыгнув, скажет: «Это, — скажет, — очень все бла-ародно...»* — восходит к: «Медик пьян, как сапожник. На сцену

— ноль внимания. Знай себе дремлет да клюет носом. <...> Медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает: «Что он говорит? Бла-а-родно? — «Благородно» — <...> «Брраво! — орет медик. — Бла-а-родно. Браво!» А. Чехов, «Скучная история», 3.

С. 69. *...вечный бой...* — цитата из стихотворения А. Блока «На поле Куликовом», 1: «И вечный бой!»

С. 69. *Не высокий, но и не низенький, не толстый и не очень тощий, не слишком густоволос, но и далеко не лыс. В движениях не резок, но и не медлителен...* — восходит к описанию Чичикова: «...не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако же и не так, чтобы слишком молод...». Н. Гоголь, «Мертвые души», 1, 1.

ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ

С. 204. *Любят там друг друга двое аристократов, а родители против.* — аллюзия на трагедию У. Шекспира «Ромео и Джульетта».

ДАЛЕКАЯ РАДУГА

С. 275. *Ледяной Сфинкс* — заглавие романа Ж. Верна.

С. 277. *«tenacem propositi virum». «Муж, упорный в своих намерениях» (Гораций).* — «Оды», 3, 3, 1.

С. 277, 339. *Тоска! Предчувствия!, Тоска, предчувствия, заботы...* — цитата из стихотворения А. Пушкина «Няне».

С. 284. *«Влюбленный болен, он неисцелим»* — неточная цитата из рубаи О. Хайяма: «В том не любовь, кто буйством не томим, — / В том хворостинок отсырелый дым. / Любовь — костер пылающий, бессонный. / Влюбленный ранен, он неисцелим». Перевод И. Тхоржевского.

С. 293. *Мне нужна жена, / Лучше или хуже, / Лишь была бы женщиной, / Женщиной без мужа... Из «Переводов» С. Я. Маршака.* — Р. Бернс, «Песня. На мотив народной песни “Покупайте веники”».

С. 296. *Я буду властвовать, предварительно разделив!* — восходит к крылатой фразе «Разделяй и властвуй», авторство которой по различным источникам приписывается македонскому царю Филиппу II, Людовику XI или Н. Макиавелли.

С. 298. *Помните эту <...> книгу, где человека*

высекли за то, что он не гасил свет в уборной? «Золотой козел» или «Золотой осел»?.. — отсылка к эпизоду главы 13 части 2 романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок». Упоминается классический античный роман Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел».

С. 298. *Нулевик нулевику был друг, товарищ и брат...* — перефраз положения из Морального кодекса строителя коммунизма: «Человек человеку — друг, товарищ и брат». Программа КПСС (1961 г.), 2, 5, 1, в.

С. 304. *Вся ваша физика и вся ваша энергия не стоят одной Алиной слезинки.* — ср. императив из «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского об истине и слезинке ребенка (2, 5, 4).

С. 320. *Лже-Нерон* — заглавие романа Л. Фейхтвангера.

С. 332. *Куприн, «Если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колеса, и если в этот последний миг меня спросят: “Ну что, и теперь жизнь прекрасна?” — я скажу с благодарным восторгом: “Ах, как она прекрасна!”»* — цитата из главы 21 повести «Поединок».

С. 339 [broken link: #ref026]. *Dig my grave both long and narrow, / Make my coffin neat and strong!..,*

Выройте мне могилу, длинную и узкую, / Гроб мне крепкий сделайте, чистый и уютный!.. Народная американская песня — песня из репертуара П. Сигера, альбом «The Pete Seeger Sampler», Folkways Records, New York, 1955 («Go and dig my grave <...>»).

С. 360. *Шер-Хан* — персонаж «Книги Джунглей» Р. Киплинга.

С. 384. *Больше жизни!* — «Спортивный марш» из к/ф «Вратарь», слова В. Лебедева-Кумача, музыка И. Дунаевского: «Эй, товарищ! Больше жизни!»

С. 392. *«Подвергай сомнению!»* — цитируется ответ К. Маркса на вопрос анкеты «Ваш любимый девиз?»: De omnibus dubitandum (лат.) «Подвергай всё сомнению». Последнее, в свою очередь, от мысли Р. Декарта De omnibus dubito (лат.) «Во всём сомневаюсь».

С. 392. *Когда, как темная вода, / Лихая, лютая беда / Была тебе по грудь, / Ты, не склоняя головы, / Смотрела в прорезь синевы / И продолжала путь... Из «Переводов» С. Я. Маршака.* — стихи из подборки «Из лирической тетради» принадлежат С. Маршаку.

МАЛЫШ

С. 403, 451. *...сражался с дохой, как барон Мюнхгаузен со своей взбесившейся шубой..., ...поднять себя самого за волосы.* — эпизоды из рассказов о Мюнхгаузене, собранных Г. Бюргером и Р. Распе.

С. 408. *...все подвергнешь сомнению...* — вариация ответа К. Маркса на вопрос анкеты «Ваш любимый девиз?» — De omnibus dubitandum (лат.) «Подвергай всё сомнению». Последнее, в свою очередь, от мысли Р. Декарта De omnibus dubito (лат.) «Во всём сомневаюсь».

С. 434. *А вы знаете, что у алжирского дея под самым носом шишка?* — заключительная фраза «Записок сумасшедшего» Н. Гоголя («А знаете ли, что <...>»).

С. 453. *Человечество никогда не ставит перед собой задач, которые не готово решить.* — К. Маркс, «К критике политической экономии», предисловие: «...человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить...».

С. 460, 469. *Маугли, Доброй охоты, Стада в хлевах, свободны мы до утренней зари* — Р. Киплинг, «Маугли. Из Книги Джунглей», третья цитата

— из «Ночной песни Джунглей» (глава «Братья Маугли»), перевод С. Займовского («Стада в хлевах, — свободны мы / до утренней зари...»).

С. 479. *Сверчок на печи* — заглавие рассказа Ч. Диккенса, перевод М. Шишмаревой, реже под тем же заглавием печатался перевод М. Клягиной-Кондратьевой.

С. 480. *Чеширский кот* — персонаж «Приключений Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла.

С. 483. *...метался <...>, словно кот Тома Сойера, хлебнувший болеутолителя.* — отсылка к эпизоду главы 12 «Приключений Тома Сойера» Марка Твена.

С. 484. *Щелкунчик* — заглавие сказки Э. Т. А. Гофмана.

С. 490. *Сосуд скорби* — стилизация под выражение «сосуды гнева», Книга пророка Иеремии (50, 25).

БЕСПОКОЙСТВО

С. 567. *«да минет нас чаша сия»* — см. Евангелие от Матфея (26, 39).

С. 606. *...земля здесь должна быть съедобна.* — ср. параллель в книге А. Кауэлла «В сердце леса», гл. 19. «Землееды»: «...тхукахаме — одно из немногочисленных племен земного шара, которые регулярно употребляют в пищу землю. ~ Возможно, именно из-за присутствия минеральных солей земля занимает такое важное место в питании тхукахаме». М.: Мысль, 1964, с. 202. Перевод Н. Высоцкой и В. Эпштейна.

С. 610. *Мухи ревут.* — ср. параллель в «Белых стихах» Б. Пастернака: «На станции ревели мухи».

С. 629. *Разве вы не видите, что они все стали как дети? Разве вам не хочется возвести ограду вдоль пропасти, возле которой они играют?* — отсылка к повести Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (22): «...я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не

сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи». Перевод Р. Райт-Ковалевой.

С. 629. *Человечество все равно не способно поставить перед собой задачи, которые оно не может разрешить*. — К. Маркс, «К критике политической экономии», предисловие: «...человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить...».